ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

1

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ
1





ЛЕОНИД ЛЕОНОВ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ

*



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

✽

ТОМ ПЕРВЫЙ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

Р2
Л47

Вступительная статья и примечания
ОЛЕГА МИХАЙЛОВА

Оформление художника
М. ШЛОСБЕРГА

Л $\frac{70302\text{-}353}{028(01)\text{-}81}$ подписное 4702010200

О ЛЕОНИДЕ ЛЕОНОВЕ

1

Настоящее Собрание сочинений знакомит читателя с творчеством одного из крупнейших писателей XX столетия. Выпускаемое массовым тиражом и обращенное к самой широкой аудитории, оно является наиболее полным в сравнении с предыдущими изданиями Леонида Леонова (с добавлением ряда его ранних произведений и расширением публицистики).

Первооткрыватель принципиально новых путей в реалистическом искусстве, художник многогранного стиля, писатель-энциклопедист, Леонид Леонов выделяется глубоко интеллектуальным складом своего дара. Его многомерное слово, его философская партитура потребуют от читателя определенных усилий, даже труда, к которому мы не всегда приучены в торопливой суетности быта. Леонова невозможно прочитывать «на бегу» — нужно остаться наедине с книгой, всматриваясь в ее глубины. Зато труд будет вознагражден сторицей в постепенном открывании для себя огромного художественного мира, вобравшего культуру прошлого и устремленного в завтра.

Оказавшийся в эпицентре революционного шквала, Леонов несет в себе спокойную рачительность в долготерпеливом наблюдении за новыми ростками — ч е л о в е к а. Говорить о Леониде Леонове — значит говорить о принципиальном, неколебимом художнике-гуманисте нашего времени, познавшем все пласты мировой культуры, чтобы двинуться в неизведанное — дальше.

Достоевский, Лев Толстой, Лесков, Островский, Чехов, современники — Горький, Блок, Есенин,— весь материк разнородных пород, золотоносных жил и алмазных трубок был познан им, как неутомимым

и зорким путником и творцом, который одновременно строил свой, ни на кого не похожий художественный мир, населяя его по образу и подобию Природы и зверем, и птицей, и гадом.

Тут целый мир, живой, разнообразный,
Волшебных звуков и волшебных снов...
Он стóит тысячи миров.

Ф. И. Тютчев

В своем творчестве Леонов прошел как бы несколько эпох, на новых уровнях воссоздавая панораму гигантских исторических свершений, отобразив и расцвет народной нивы, и скоропашку, при которой, во имя людского блага, подсекались, словно ботва, судьбы, запечатлев радость бытия, драму разума, предназначение человека, наконец, полемизируя как с великими художниками слова прошлого, так и иногда с самим собой — прежним. Непрерывное движение Леонова-писателя совершалось в направлении все большей емкости и, используя его слова, сказанные по другому поводу, «обобщенной алгебраичности» творчества, исключающей «частное и местное, с выделением более чистого продукта национальной мысли».

Леонов с первых же литературных шагов, с первых своих произведений приковал к себе внимание и читателя и критики, о нем писали так много и так серьезно, как вряд ли о каком-нибудь другом художнике советского времени (начиная с 20-х годов, со статей А. Воронского и Д. Горбова). Однако остается все же ощущение некоей загадки Леонова, таинственным светом мерцающей в сокровенной глубине личности этого писателя-мыслителя, писателя-философа, его творчества.

В письме к одному из исследователей его творчества — В. А. Ковалеву — Леонов поставил сверхзадачу, которая (несмотря на целую — и очень богатую — библиотеку леоноведения) все еще ожидает своего разрешения: «...мне всегда казалось, что у настоящего писателя его книги есть его духовная биография, и не хулить ее надо либо в рамки своей схемы вгонять, а вот так и рассматривать — ее всю, как историю заболевания некоей мечтой или идеей. Дело критика, поскольку ему видней со стороны, помочь нашему брату увидеть себя во весь (возможный также) рост, найти свой голос, структуру творческого кристалла. Иногда нам труднее это дается — изнутри, из этой душной тьмы, откуда мы рвемся с нашими живыми куклами, двойниками, фантомами на голубой свет господний...

Разумеется — в случае, если у него, литератора, есть своя, эта биография, задание неба, которое он и выполняет горбом и кровью души, своя окрестность наконец, в которой есть где и интересно (не-

зависимо от данной темы, книги и сюжета) побродить современнику (читающему)»[1].

Присущая каждому истинно большому художнику духовная биография определена здесь словами вещими, намекающими на толщу спрятанного за ними смысла: «История заболевания некоей мечтой или идеей». Очевидно, что угадать этот смысл — хотя бы в первом, предварительном приближении, выйти к подножию вершины,— возможно лишь при условии охвата всей «истории»: от ранних ее истоков и до того позднейшего момента, когда проросшее через все существо художника «задание неба» становится вдруг логически понятно ему самому. А как быть, если каждый из писавших и пишущих о Леонове (в том числе и автор этих строк) видит и описывает лишь то, что увидеть в силах — в меру остроты своего зрения и уровня жизни и души.

Быть может, леоновские слова об «истории заболевания некоей мечтой или идеей» и дадут спасительную Ариаднину нить в лабиринтах его творчества? Быть может, она поможет проследить, как росла душа писателя и вместе с ее ростом менялся не просто художественный масштаб изображения (это как бы внешний каркас), но философский масштаб постижения сущего — тайны жизни, предназначения человека, трагедии природы и самой материи...

2

Вступая в пределы художественного мира Леонида Леонова, не видишь его горизонтов: бескрайний материк, сам населенный множеством миров.

Вот истоки, миры молодого Леонова. Цветными экзотическими пятнами, двоясь в ирреальность, возникают: поморский остров Нюньюг на Крайнем Севере России («Каб и впрямь был остров такой в дальнем море ледяном, за полуночной чертой... — быть бы уж беспременно поселку на острове, поселку Нель, верному кораблиному пристанищу под угревой случайной скалы». — «Гибель Егорушки», 1922); необыкновенная, рожденная деревенской фантазией Испания, в которой туземные графья едят щи, пьют чаи из самовара, носят пиджаки, называют сына Ваней («Бурыга», 1922); средневековая Монголия, где победитель русских при Калке, свирепый и могучий Туатамур, почувствовав, что «пробито сердце насквозь», умирает не от меча, а от любви к дочери Чингиса, прекрасной Ытмарь, которая предпочла ему голубоглазого «оруса»,

---

[1] Цит. по кн.: В. А. Ковалев. Этюды о Леонове. М., «Современник», 1978, с. 306.

павшего в сече («Туатамур», 1922); Ближний Восток времен библейской Книги Бытия и всемирного потопа, судьба Ноя и трех его сыновей — Сима, Иафета и Хама, проклятого отцом («Уход Хама», 1922); Персия, где родилась любовная легенда о Халиле, который «не проливал чужой крови, и не раздавливал чужих сердец напрасными мечтами, и не строил лишних городов», но истаял, охваченный чувством к прекрасной луне,— переданная в торжественно-одических тонах традиционно восточной касыды и выписанная со стилистическим изяществом древней миниатюры на слоновой кости («Халиль», 1922) — сплав фольклора, русских сказок, истории, мировой мифологии, впитанной огромной книжной культурой...

Лишь приглушенно, сквозь историческую толщу и мглистую изморось мифа, в трагедийных поворотах сюжета доносятся здесь до читателя отголоски громовых событий, только что пронесшихся над Россией,— в фатальной гибели героев: Егорушки, Туатамура, Ытмари, Халиля или даже, как это явлено в «Уходе Хама», в наступившем конце мира: «И прииде потоп, и погубе вся...»

Отдаленные, долетающие из самых недр истории, из начала начал сполохи освещают сомнамбулически неподвижную Русь молодого Леонова. В метафизическом сне застыли, слились историческое время и географическое пространство в недрах патриархального бытия: в городке Гогулеве с его аборигенами — летописцем Ковякиным, приставом Хрыщом, брандмейстером Обувайло («Записи некоторых эпизодов, сделанные в городе Гогулеве Андреем Петровичем Ковякиным», 1923); в примонастырском селе Петушихе, пробуждающемся только раз в году, на Ильин день, для драк и незатейливого пьяного веселья («Петушихинский пролом», 1922); в патриархально-неподвижном, лабазном и трактирном Зарядье («В безвыходных каменных щелях дома в обрез набилось разного народу, всех видов и ремесл: копеечное бессловесное племя, мелкая муравьиная родня. Окна в дому крохотные, цепко держат тепло. Голуби живут в навесах, прыгают оравами воробьи. Городские шумы и трески не заходят сюда, зарядцы уважают чистоту тишины... Жизнь здесь похожа на медленное колесо...». — «Барсуки», 1924). Но уже надвигается неотвратимо, все ближе и ближе, неся конец этому миру медвежьих углов и барсучьих нор, великий тектонический сдвиг земных пластов — Революция.

На гигантском социальном изломе Революция резко и зримо обнажила перед молодым Леоновым залежи людской руды и людской пустой породы.

Скупо и кратко сказал он о себе, двадцатичетырехлетнем: «Я родился 19 мая 1899 года в Москве. По сословию крестьянин Калужской губ⟨ернии⟩. Угол наш — глухой угол. Дед был лавочником в Зарядье.

Отец — крестьянский поэт-самоучка, журналист. Кончил я Московскую 3-ю гимназию (1918). В приеме в Московский университет было мне отказано (в 1922 г. после демобилизации из Красной Армии), живал я и в Архангельске (там отец, сосланный еще при Николае в 1909—10 году)... Много писал стихов. Прозой занялся с начала 1922 года»[1]. За этими лапидарными строками — драгоценный опыт, который только и могла дать развороченная революцией действительность, испытания гражданской войны, работа военного журналиста в Красной Армии. Для всей молодой советской литературы опыт этот означал начало нового художественного мировоззрения.

Невиданная прежде, жестокая правда открылась ее взору. Литературное поколение Л. Леонова стало свидетелем того, как до основания треснул старый, привычный гуманизм и новая шкала ценностей принесла конец мелкому человеку. Мотивы конца недаром становятся излюбленными в леоновских произведениях 20-х годов, повторяясь даже в заглавиях (повесть «Конец мелкого человека», 1924, «Конец Зарядья» — глава из «Барсуков»). Герои мимоходом, как о чем-то мало значащем, рассказывают о таких вещах, которые могли бы потрясти воображение «старой» литературы (рука шестнадцатилетнего гимназиста, едущего искать хлеб для больной матери, которого не пустили в вагон солдаты и который срывается, гибнет на безвестном переезде — «Барсуки»,— или тот отставной одноногий полковник, герой-инвалид, которого «по ошибке» кончили прямо в бане веселые молодые чекисты,— «Скутаревский», 1932)...

Л. Леонов открывает нам обширную галерею «лишних людей», в оригинальнейшем повороте их глазами стремится передать происходящие катаклизмы. Проблема «интеллигент — революция», раскрытая в «Скутаревском» и — особенно глубоко и мощно — в романе «Русский лес» (1953), тогда, в 20-х и начале 30-х годов, ставится по преимуществу на материале негативном. Художник уводит нас на дно, в выгребную яму, «трюм жизни», открывая «бывших»: от профессора палеонтологии Лихарева («Конец мелкого человека») до вчерашнего участника гражданской войны, красного командира, ставшего в пору нэпа королем воров Митьки Векшина («Вор», 1927). Он показывает нам, говоря словами Горького, «какой гнилью нагружена душа» подобных личностей, оставшихся в наследство от старого общества.

Недавний «мозг» страны Лихарев воспринимает происходящее вокруг него как тотальное наступление мезозойской эры. Он входит в обширный паноптикум «бывших», в котором верховодит доктор Елков,

---

[1] «Литературная Россия». Сб. современной русской прозы под ред. Вл. Лидина, I. М., «Новые вехи», 1924, с. 171—172.

считающий большевиков «иглокожими» и вожделенно мечтающий тиснуть на Западе книжечку «пальца в два», где можно было бы разделаться с новыми порядками. Фигура его, кстати, выглядит весьма актуально сегодня, ибо разного рода «мелкие» не перевелись и стремятся к тому же, что и Елков, только обрамляя свои писания новомодными фигурами — вроде незапеленгованной подводной лодки, ушедшей на дно, или прямо уподобляют собственные сочинения подземному городу, метрополю, укрывшись в который можно подтачивать и разрушать духовные ценности, и толкуют разрядку как полную идеологическую распущенность...

Л. Леонов сам, как ученый-палеонтолог, открывает причудливые характеры «ископаемых» — Ковякин, Елков, Лихарев или мещанин Брыкин, подавшийся из московского Зарядья в «зеленые», в «барсуки». Барсук — животное, сходное по лапам с медведем, а по рылу, стати и шерсти со свиньей,— становится символом косной старой деревни, мелкобуржуазной стихии, поднявшейся в конце гражданской войны против советской власти, против города, отбиравшего по продразверстке у деревни хлеб. В норе без окон, на белом атласном диванчике из сожженной усадьбы помещика Свинулина держит свой военный совет «лесная братия» — Семен Рахлеев, принявший имя Барсук, Мишка Жибанда и красавец Гурей (переодетая в парня дочь купца из Зарядья Настя).

В «Барсуках» расцветает и гибнет миф о сказочной, светоносной деревне и патриархальной чистоте ее отношений; в другом крупнейшем произведении — романе «Вор» (1927) — Леонов широкими мазками рисует засасывающую, обезличивающую стихию косной провинции в самом городе, в столице, в Москве. И если воры из бывших свинулинских крепостных, некогда получивших заветный Зинкин луг, разозленные на город, уходят в разбойничье барсучье логово, то Митька Векшин дичает душой среди московского равнодушного многолюдства и в каменном лесу города превращается из героя гражданской войны в благородного разбойника, «русского Рокамболя» — вора. Метафора, развернутая в «Барсуках» для выявления косной стихийной силы, обретает новое, разветвленное значение: своей судьбой Векшин мстит за несбывшиеся надежды и романтические иллюзии, перечеркнутые нэпом.

Нэп был ударом по абстрактной революционности, он отразился в литературе длинным списком вчерашних участников гражданской войны, чистых и прямолинейных бойцов, выбитых из колеи сложностями обыденности (вспомним «Гадюку» и «Голубые города» А. Толстого, «Черную пену» М. Герасимова, «Лирическое отступление» Н. Асеева и др.). Однако Леонов в своем романе не желает ограничиваться лишь отражением «сиюминутного», преходящего, злободневного. Всегда стре-

мившийся к взлету **над** избранным жизненным материалом, к осмыслению его в тех обобщенных категориях, которые предполагают уже философские формулы, он свои молодые надежды и разочарования, безусловное восхищение размахом событий в развороченной России и ужас перед отверзшимися ему безднами воплощает в формы экспериментального, «умственного» романа. Одновременно с некоторыми западными писателями — к примеру, англичанином Олдосом Хаксли («Контрапункт», 1928) — и независимо от них он обращается к «интеллектуальной прозе», где содержание и даже структуру произведения обсуждают сами герои, вводит фигуру писателя Фирсова, который строит свой сценарий, как бы «роман в романе», полемизируя с возможными критиками, и, словно в системе двойных зеркал вместе с автором, отображает дробящуюся, зыбкую правду жизни и драму души. Но одна существенная черта резко отделяет Леонова от западноевропейских интеллектуалов, в сущности, умов глубоко космополитических,— национальное содержание романа.

Тема России, Руси в ее исторических истоках и плодотворной национальной самобытности, точно поиски затонувшего града Китежа, проходит через все творчество Леонова. Мысль писателя беспощадно высвечивает все негодное, подгнившее, лазерным лучом отсекая его от завтрашнего дня. Горькой насмешкой, обломком прежней России выглядит в романе «Вор» «толстый барин» Манюкин, кое-как «перебравшийся через огненную реку революции» (одна из возможных модификаций Свинулина), который зарабатывает на пропитание, рассказывая ворам красочные небылицы из своего прошлого...

Уже в 20-е годы Леонид Леонов как художник — на магистралях гуманизма — становится продолжателем традиций великой русской классики — Гоголя, Достоевского, Лескова. На эту преемственность указывали наиболее чуткие критики той поры. Так, характеризуя реалистический метод Леонова, Д. Горбов отмечал: «Леонов не столько хочет вписать в жизнь свою авторитарную оценку явлений, придать этим явлениям им самим изобретенную чеканную форму, врезать в жизнь черты своего законченного, а потому неизбежно и замкнутого миропонимания, сколько откликнуться на все ее звучания, как чуткая и верная мембрана. Это — глубоко русская и даже великорусская черта. За стилизаторскими опытами художника мы не перестаем ощущать его собственный внутренний стиль. Внутренний стиль Леонова — это плавная и гибко-извилистая река центральной полосы России, послушно отражающая в своем чистом, прозрачном, но и глубоком потоке все разнообразие прибрежной жизни и изменчивость неба над ней. Эта река вышла из недр земных на поверхность, когда в небе была буря» [1].

[1] Д. Горбов. Поиски Галатеи. М., «Федерация», 1929, с. 168—169.

Когда критик писал эти строки, в «бурных» произведениях Л. Леонова действительно изображались преимущественно чрезвычайные жизненные положения и доведенные до трагического предела чувства (опустившийся на дно и ставший воровским королем Векшин в «Воре»; благолепный, счастливо и мирно доживающий свои дни старец, оказавшийся провокатором,—«Провинциальная история», 1927,— или тот ни в чем не повинный плотник, которого мужики отправили на расстрел вместо конокрада на том основании, что преступник — единственный в селе кузнец, а плотников много —«Приключение с Иваном». — «Необыкновенные рассказы о мужиках», 1928).

Лишь стороной, лишь заходя извне появляются в леоновских произведениях тех лет фигуры другие —«голубые люди», большевики. Они несут свое, принципиально новое представление о мире, жизни, человеке и его переделке, преобразовании. «И ты не мной осужен... ты самой жизнью осужен,— говорит в романе «Барсуки» брату-мятежнику Павел-Антон. — И я прямо тебе говорю, я твою горсточку разомну! Мы строим, ну, сказать бы, процесс природы, а ты нам мешаешь...» На удивление человечеству, именно из России явились невиданные, практически осуществимые законы переустройства жизни, хлынули ослепительные протуберанцы ленинских идей, вызвавшие восторженную признательность бедных всего мира...

Проникнуть в самый процесс истории, угадать ее законы, тождественно совпадающие для Павла-Антона с устремлениями революционного класса, становится задачей задач Л. Леонова. Столкновение города и деревни, неравное состязание есенинского «красногривого жеребенка» с железным поездом «на лапах чугунных» перерастает — уже в философских категориях — в великое противостояние: «наука — человек», «наука — природа», «наука — национальное самосознание». Ростки этих будущих, магистральных для Леонова глобальных сопоставлений угадываются уже в «Барсуках».

Время, злободневность, насущные требования дня, с их жестоко суженным кругозором, с великими победами и заблуждениями, открытиями и упрощениями не могли обойти молодого писателя и его книги. Дань этому мы видим в самих фасадах построенных им зданий, когда рядом с мрамором, бетоном и розовым туфом появляются наспех раскрашенные фанерные щиты (как бы для заключительного митинга на заводе, где выступает ученый Скутаревский); среди бронзовых фигур, на века изваянных творцом, кое-где понатыканы алебастровые времянки, которые крошатся при читательской пальпации. Все это было следствием неоднозначного отношения писателя к тому, что он изображал.

Но Леонид Леонов принял новь — в главном, невзирая на трагизм отдельных судеб и суровые издержки времени.

Подводя итоги собственному творчеству 20-х годов и вглядываясь в ближнюю даль, он с глубокой искренностью сказал на Первом Всесоюзном съезде советских писателей: «Мы пришли в гражданскую войну (я беру на себя смелость говорить от имени некоторой части моего литературного поколения) с кое-какой зарядкой старой культуры. Большинство из нас проходило первую литературную учебу в фронтовых газетах. Это определило нашу судьбу... Нас привлекла тогда необычность материала, юношеское наше воображение поражали и пленяли иногда грозные, иногда бесформенные, но всегда величественные нагромождения извергнутой лавы и могучее клубление сил, запертых в глубине жизни... В вялые паруса нашего поверхностного романтизма ударил грозовый ветер, и если они зазвучали, как бубен, то не революции ли мы обязаны всякими нашими успехами, если только они были?»[1]

3

Никто, даже самые проницательные критики, не мог предположить в середине 20-х годов, что Л. Леонов, сосредоточивавший свой изобразительный талант по преимуществу на тех социальных пластах нашей действительности, которые играли в ней роль второстепенную, пассивную, выйдет к совершенно новым горизонтам и твердым резцом очертит х о з я е в жизни, «генштабистов индустриализации», таких, как руководитель Сотьстроя Увадьев («Соть», 1930), неутомимый ученый-энергетик Скутаревский («Скутаревский», 1932), вожак и политработник Курилов («Дорога на Океан», 1935).

Как это бывает всегда, жизнь, действительность открыла большому писателю новые горизонты. Поездки Леонова на новостройки бумажной промышленности — Сясь и Балахну — увлекли его грандиозностью размаха первых пятилеток в попытке перестроить самодовлеющую природу. Рейд в Среднюю Азию с писательской бригадой обогатил его впечатлениями целенаправленной борьбы со стихией, воплощенной в страшном нашествии саранчи, которое символически обобщенно отразилось в повести «Саранча» (1930) как соединение темных сил природы с началом социальной и политической косности, враждебной социализму.

Это был масштаб, который только и могла позволить себе Р е в о л ю ц и я, сметавшая на своем пути затхлые монашьи гнезда, сопротивление «бывших», сколачивавшихся в банды, средневековую ярость туркменских кулаков, темное недоверие мужика, наконец, косность самой

[1] «Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет». М., Гослитиздат, 1934, с. 152.

природы, веками дремавшей в мудром своем круговороте. Вместе с другими советскими писателями Л. Леонов воспел героику первых пятилеток, энтузиазм созидания, формирование нового человека.

Мы еще, кажется, недостаточно внимательно прочли, проникли в философскую суть трех леоновских романов, прослеживающих, как вконец пробудившийся человек уверяется в том, что обладает монополией на творчество, и идет в лобовую атаку на природу, чтобы поработить ее, как шекспировский волшебник Просперо в сказочной «Буре» подчинил ее силы,—«Соть», «Скутаревский», «Дорога на Океан».

Смысл, суть каждого из этих романов неоднозначны. И если (с согласия автора) на их страницах «солируют» безусловно верящие в научный прогресс как в конечный смысл бытия партийные вожаки и беспартийные технократы — Потемкин, Увадьев, Бураго, Курилов, Скутаревский, если они несут с собой безусловную правду, которая необходима жизненно, целебна для оголодавшего и темного народа сейчас, то это вовсе не означает абсолютности их правды во времени большом, там, завтра, для ближних и отдаленных потомков.

Говорить об этих романах — значит говорить не только о Леонове-художнике, но и о Леонове-мыслителе и Леонове-ученом. Задолго до того, как встревоженные философские умы указали нам на недостаточность технического прогресса и упрощенность представления о природе, могущие иметь самые фатальные последствия для человечества, зоркий Леонов в столкновении идей, буре мыслей напомнил нам о том, как примирить «треск социального половодья» и «мудрую проницательную тишину» («Соть»).

Вот, устав от бесконечной борьбы со стихией Соти, почти покорив ее, Увадьев забывается и видит выросший тут, рядом с целлюлозным гигантом, непрерывно пожирающим трупы деревьев, веселый новый город («Соть»). И — слушайте, слушайте! — одновременно все, что он видел, «представлялось ему лишь наивной картинкой из букваря Кати, напечатанного на его бумаге век спустя...». Сон облачком наплыл на Соть, притушил грохот стройки, зашептал свои вещие сказки даже беспощадному Увадьеву, тому Увадьеву, который «вообще не любил ничего, что не крошилось под грубым рубанком его разума».

А неподалеку, оттесненный топором человека, но все еще могучий и прекрасный, спит и видит свои таинственные сны русский лес. Кто там бредет через него, рискуя пасть от ножа философствующего бандита Виссариона? Похоже, мы знаем его. Он останавливается у гигантских порубок, зарастающих сорняком, вглядывается в забитую молем Соть, что-то высчитывает, в темноте пытается занести на бумагу. Это, конечно, лесовод Иван Вихров («Русский лес»). Мы узнали его по при-

храмывающей походке. Он готовит очередную статью в защиту разумного использования леса. Но в отсталости и непонимании нужд социализма его обвинит сейчас не только демагог Грацианский, но и Потемкин с Увадьевым: «Газеты той поры набатно звали к непрерывному трудовому героизму, а профессия Вихрова не содержала в себе таких возможностей». Еще мало что говорило в те поры человечьему уху то, что главным залогом благополучия грядущих поколений является содержание понятия, которое скучно зовется «экология».

Для постижения этих отдаленнейших задач время еще не приспело, не пришло. Необходимо было сперва накормить голодных, просветить отсталых и темных, сделать страну могущественной экономически и независимой от внешнего, враждебного мира. Буря революции пронеслась над ней, оставив вместо очагов цивилизации обломки и тлеющие угли противодействия, а вокруг — нетронутое царство первозданной природы. Люди мечтали о самом простом и необходимом как об отодвинутом в грядущее: «Будут дни, взроем поля машинами, обрастут раны свежим мясом, а разутые ноги шевровыми штиблетами» («Петушихинский пролом»). Чтобы взломать косные покровы, нужны, необходимы были железные большевики — Потемкины, Увадьевы, Куриловы, Черимовы и фанатически преданные науке «спецы» — Скутаревские и Бураго...

Но Леонов не был бы подлинно большим художником, если бы, понимая эту насущную правду времени, не сознавал и ограниченность, конечность такой правды. Оттого-то, условно говоря, в его «производственных» романах звучит полифония мнений, сшибающихся точек зрения, голоса разъятой на свои составные абсолютной правды. Спорщики при этом поставлены в неравные условия, в их сшибке победный результат как будто бы предопределен. Но это обман зрения.

Вот он, великий энергетик Скутаревский, прозванный за неистовый научный темперамент, за стремительность мыслей и свершений Кометой. Скутаревский, который занят вещами, неизмеримо более важными и глобальными, нежели целлюлоза: «Дело касалось использования удаленных топливных бассейнов и тех десятков миллионов киловатт, которые бесполезно, гремучей пеной бегущих вод исходили зря на дикостных реках Сибири...»

Леонов демонстративно, недвусмысленно отдает внешнее предпочтение уже победившему, торжествующему Скутаревскому, но не раз на протяжении романа позволит другим, чаще всего малопривлекательным персонажам довольно едко обличать и даже развенчивать философию своего волшебника Просперо. Например, неудачнику (если не сказать — перерожденцу), сыну ученого, Арсению, который безразличным тоном опустившегося человека напоминает Скутаревскому: «Это

ведь твои слова: нечего горевать об утрате каждой отдельной особи... Ты ведь и раньше прощал этой земле все: войны, дома терпимости, крестовые походы, мечтателей в стиле Чингисов и Торквемад... И это не от безвольного великодушия, не от расслабленности интеллигентской, а потому, что для тебя это лишь электрохимические процессы... Даже не политэкономия, свирепую мораль которой мы все ощущаем на себе, а просто движение атомов по Лапласовым координатам, игра сложного химического реактива, совокупность миллиарда физических законов, электронный ветер... вот что для тебя мир!»

Слова холодные и страшные.

Арсений вправе позволить себе такую филиппику не только как сын, но и еще как (пусть и неважный) энергетик. Скутаревскому дается возможность возразить, сформулировать собственное отношение к человеку и человечеству, к жизни, к космосу. Но Просперо молчит, молчит и автор, который знает все.

Кстати, одна из особенностей интеллектуализма Леонида Леонова заключается, по всей видимости, в том, что ему важно донести до читателя свою мысль любой ценой: и если цельная, словно атомное ядро там, на высотах его духа, она вынужденно расщепляется в «обычных», «земных» условиях, художник не препятствует этому процессу, оставляя ей единство — в полифонии, в многоголосии, в спорах. При этом многие герои получают строго служебную задачу: надставить свое, недостающее звено в общем, гигантском витраже многоцветной истины. Так основы философии Леонида Леонова явственно проступают уже в этих произведениях, продолжая духовную биографию писателя.

Увадьевы, Скутаревские, Черимовы, Куриловы уверенно шли на штурм Вселенной.

Люди добывали целлюлозу, строили заводы и электростанции, сажали яблоневые сады, достигали высот героизма, в то время как другие совершали диверсионные акции, разочаровывались в прежних идеалах, становились бродягами,— но все они не переставали находиться в фокусе такого количества силовых линий, полей, влияний, словно на самом деле были подопытными частицами в некоем вселенском синхрофазотроне.

Литература художественная всегда стремилась к обобщению человеческих качеств, стараясь примерить жесткую оболочку образа к бешеной пляске электронов психологии. Пожалуй, лишь Достоевский, художник необычайно близкий Леонову, некогда осмелился первым открыть шлюзы «текучей» душе, постоянно сопряженной с косным тяготением юдоли испытаний — земли и горним притяжением неба, космоса. Привычные литературные характеры часто становились для него (как и позднее для Леонова) стягивающей истинное лицо героя маской,

под которой угадывалось порой нечто неожиданное или даже ужасное. Эту устремленность пытался продолжить позднее символизм, уроки которого учел молодой Леонов. Однако, нападая на плоское описательство, символизм впадал в другую крайность, безоглядно устремляясь вглубь, к метафизической «сущности» видимого мира. Не имея на то приглашения, он поэтому так легко поддавался в итоге поверхностно понятым религиозным и мистическим догматам. Впрочем, возвращаясь к науке, осмыслению места которой в судьбе человечества так много уделял внимания Л. Леонов, видишь, как порою технический гений человека, обгоняя в развитии собственные нравственные и духовные возможности, уже почитает себя мудрее самой Природы.

Скутаревский глубоко и всеобъемлюще познал какую-то изолированную *часть* Природы и без колебаний стремится распространить открытые им законы на Природу *всю*. Он и сам себя, свое неизбежное старение готов рассматривать с покорной грустью в качестве распада «прославленной человеческой *реторты*», которая погибнет из-за «отускнения ее, коррозии ее плывучего и непрочного металла». Он сам, как и его не менее великие коллеги из соседних областей наук, осмысляет свои преобразовательные задачи, не вполне учитывая *саморазвития* жизни. Казалось бы, только разворошить, расколотить это старье, снести под корень дряхлых бревенчатых уродцев, заключить реки в дамбы, наставить целлюлозных и прочих заводов по берегам, укротить первобытный бег воды турбинами, пробить трансъевропейско-азиатскую магистраль — от Атлантики через СССР и Китай к Тихому океану («Дорога на Океан») — и дивно преобразятся Природа и человек. Потери? Возможно, погибнет чуткий лось, что так сторожко пил воду из Соти, еще не отравленной целлюлозными отходами, или сгинет лиса, ушедшая от неумелого выстрела Скутаревского...

Но Природа далекими (успевшими в долгом пути приобрести черты упрощенные и даже искаженные) сигналами посылает все-таки нам свои предостережения — из самой себя, из той людской толщи, которая остается ее частью. Крестьянская, неграмотная, вскормленная на бабьих сказках и древних поверьях среда, сама искрашиваясь, погибая в силу жестокой, но целесообразной исторической необходимости, молит нас не спешить, не торопиться, пока самодовольная, механическая организация науки не превратила человечество в единый дисциплинированный муравейник с закостеневшими функциями. Через многие книги Леонова проходят эти мужицкие россказни-страхи. Например, мы находим их в «Барсуках», где лукавый Евграф Подпрятов у костерка вещает собравшимся «Про неистового Калафата», реформатора, решившегося пронумеровать все в Природе, вплоть до самых звезд, и не внявшего мудрым советам лесного старичка в шляпе из деревянной коры.

Конечно, идея, заложенная в «сказочке»,— это полемически заостренная крайность, полярная технократическому утилитаризму Скутаревского и несущая в себе немало от темного недоверия «мужика» к машине и городу. Однако несомненно принципиальное значение для Леонова этой притчи: недаром в юности он пишет поэму «Сказание о Калафате» (1916), а затем создает рассказ «Калафат» (1922), вошедший в роман «Барсуки». Калафатовщина становится явлением нарицательным. Вот мещанин, «благонадежнейший председатель домкома» Чикилев («Вор»), которому представляется человеческое счастье как массовый продукт машинного производства, вроде галош или лампочек. Но разве не калафатовщина разгадывается в картинах рисуемого им будущего — царства серийно одинаковых людей: «Кабы одинаковость произвести везде, кабы догадалась природа все человечество на один образец соблюсти... чтоб рожались одинакового роста, весу, характеру, тогда бы и счастье поровну... И зверей тоже, и деревья, и реки уравнять бы для простоты учета...»

Леонид Леонов запечатлел и картины другого утопического будущего или даже Будущего, где эти противоречия давно сняты, позабыты перед лицом новых и еще более величественных задач. Еще на Первом Всесоюзном съезде советских писателей он говорил о том времени, когда «на повестке дня будут стоять уже не только вопросы, трактующие рождение нового человека, но вопросы могущественной борьбы со стихиями, все большего расширения деятельности человека в космосе». В романе «Дорога на Океан» Рассказчик и старый большевик Курилов (чьи образы двоятся, дискретно воспринимаются в двойном времени — Курилов в этой действительности обречен, дни его сочтены из-за неизлечимой болезни почки) посещают другой, прекрасный мир, мир будущего и новых людей, в которых «улучшилась сама человеческая порода» и где осуществлен дерзкий прыжок человека в глубины Вселенной.

Но этот далекий мир, «город Солнце», сам миражно зыблется, как некий чаемый волшебный сон, геометрический очерк, «отвлеченный, теоретический чертеж»[1], и в силу своей удаленности не может дать спасительных ответов...

Между тем уже известный нам старичок в шляпе из деревянной коры, выйдя на опушку Природы, встретил там не царя Калафата, возжелавшего пронумеровать травинки и звезды, а юного Ваню Вихрова и преподал ему первый урок народной науки как любви ко всему сущему: воде, пчеле, белке, дереву, человеку.

---

[1] Р. Мессер. Дорога на Океан. — Журн. «Литературное обозрение», 1936, № 7, с. 21.

4

Старика прозывали Калиной, и слыл он в деревенских домыслах да пересудах не то лешим чудесной силы и замысловатого озорства, не то бежавшим от царского палача подручным самого Степана Разина. А на самом деле был Калина просто умудренным собственным нелегким опытом и памятью сонма предков старым человеком, несущим в себе, как и этот бор, частицу России. Встреча Калины у малого родничка с будущим профессором, подвижником-ученым, жизнь положившим ради Истины, намечает, кажется, конец противоречию внутри генерализующей идеи — о смысле жизни, предназначении человека, о судьбе природы,— которая терзала в полярных метаниях леоновских героев. На новом витке философской мысли Леонова происходит слиянность масштаба — частного, где все индивидуализировано до поражающих воображение подробностей, и обобщающего, охватывающего предмет как целое, с новой, небывалой дотоле философской силой и мощью. И в этом отношении роман «Русский лес», за создание которого автор был удостоен Ленинской премии (1957), явился важнейшей вехой, принципиальным этапом в леоновском творчестве.

Уже говорилось не раз, и придется напомнить слова о живой и разветвленной символике романа, в частности, об образе родничка, дающего начало живой воде половине России.

Трижды, глубинным символом начала жизни, целомудренно-сокровенного зарождения ее повторяется этот поэтичный и одновременно обобщающе-философский образ на протяжении романа, глобально размещая силы Добра и Зла. «Из-под камня в пространстве не больше детской ладони роилась ключевая вода. Порой она вскипала сердитыми струйками, грозясь уйти, и тогда видно было, как вихрились песчинки в ее размеренном, безостановочном биенье. Целого века не хватило бы наглядеться на него...» Его беззащитное лоно, воистину «сосуд нерукотворный, в который небо снизошло», стремится пронзить палкой зловещий «бес» Грацианский, которого приводит к родничку Вихров.

Именно вблизи до святости чистого родничка, как гоголевский колдун, не выдерживает, обнажается, открывает свою мертвящую сущность этот гений миметизма, приспособленчества, зла: «Нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копье, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал козак — старик» («Страшная месть»).

Родничок воистину — ключ, в двойном понимании этого слова, отпирающий души и выявляющий их суть и ценность. И в конце ро-

мана Вихров, завершая свой подвиг и свой путь, вновь приходит к родничку, видит, как «вздымался в своей норке хрустальный бугорок и сплетались струйки бессонной воды», и, потрясенный, встречает мальчонку, которого зовут так же — Калинкой, как старца, некогда открывшего ему простые и прекрасные тайны Природы...

Дивно и стройно, в симфоническом великолепии, в половодье красок и звуков сплетаются здесь картины и образы, разрешаясь в сложном и гармоническом контрапункте. Но лейтмотивом проходит мысль о русском лесе как воплощении всего доброго и светлого на Земле.

Много и хорошо писали об этом В. Ковалев, М. Лобанов, В. Архипов, В. Чивилихин, М. Щеглов, Е. Сурков, но хочется еще и еще раз подчеркнуть значение русского леса во всей системе леоновского творчества. Многозначность живого этого мира, занимающего среди прочих миров писателя совершенно особое, исключительное место, воистину невысказываема. Лес как одна из важнейших народнохозяйственных и экологических проблем нашей страны, во имя верного разрешения которой писатель поднял одним из первых свой голос, лес как источник нравственных и духовных сил великого народа, сохранения великой нации на Земле, лес как залог здорового будущего всего человечества, лес просто как добрый друг, как русский богатырь, напоминающий о себе постоянно и по разным поводам, вплоть до того, что он укрывает разведчицу Полю от врага...

Уникальный художественный образ-символ русского леса резко распределяет героев романа по разным сторонам нравственной границы: хамски разнузданный промышленник Кнышев, барыня Сапегина, маклер Золотухин, наконец, сам «бес» Грацианский — и противостоящие им мудрый старец Калина, профессор Иван Вихров, его приемный сын Сергей, Поля.

Вихров и Грацианский — это глобальные фигуры, несущие при всей полноте психологической и бытовой достоверности каждый еще и до отвлеченности обнаженную философскую идею. «Художникам не надо бояться отвлеченности...» — сказал сам писатель устами одного из персонажей повести «Evgenia Ivanovna» (1938—1963). Символический, интеллектуальный реализм Леонова находит в образах Вихрова и Грацианского, кажется, свое наивысшее выражение, спрессовывая в каждом характере как бы содержание характеров нескольких, дополняющих и раскрывающих один другой.

Вот почему в романе Грацианский являет нам множество разнообразных ликов, расплывающихся в «мелкой колдовской ряби», — левака-студента; декадентствующего умника-петербуржца поры безвременья; мещанина-наполеончика, мечтающего стать «вождем» России; карьери-

ста и демагога на ниве отечественного лесоведения; наконец просто агента охранки и мелкого провокатора. Многие Грацианские, целая толпа Грацианских образует грацианщину во всех ее проявлениях — от высокого, почти трагического сальеризма и до мелкой, гаденькой самгинщины. Художник как бы экспериментирует, проявляя это особое, наиболее ядовитое вещество ненавистного ему мещанства на разных уровнях, в разных жизненных и социальных условиях, в разной общественной и бытовой среде.

Вот почему, с другой стороны, скромному, застенчивому, неказистому внешне Ивану Вихрову автором дозволено прочесть ставшую знаменитой в нашей литературе лекцию о лесе с таким блеском и поэтичностью, словно это не он, не Иван Вихров, а вся Россия, вся русская история и культура заговорили его устами.

Лекция Вихрова — это поэма и научный трактат, это вдохновенная песнь о России, зажигающая патриотическим огнем молодые умы и сердца, это слово, обращенное в Будущее:

«Было бы неблагодарностью не назвать и лес в числе воспитателей и немногочисленных покровителей нашего народа. Точно так же, как степь воспитала в наших дедах тягу к вольности и богатырским утехам в поединках, лес научил их осторожности, наблюдательности, трудолюбию и той тяжкой, упорной поступи, какою русские всегда шли к поставленной цели. Мы выросли в лесу, и, пожалуй, ни одна из стихий родной природы не сказалась в такой степени на бытовом укладе наших предков. Дерево является сырьем, годным к немедленному употреблению, и любой кусок заточенного железа, насаженный на рукоять, превращал его в ценности первобытного существованья. Еще круглее будет сказать, что лес встречал русского человека при появлении на свет и безотлучно провожал его через все возрастные этапы: зыбка младенца и первая обувка, орех и земляника, кубарь, банный веник и балалайка, лучина на девичьих посиделках и расписная свадебная дуга, даровые пасеки и бобровые гоны, рыбацкая шняка или воинский струг, гриб и ладан, посох странника, долбленая колода мертвеца и, наконец, крест на устланной ельником могиле. Вот перечень изначальных же русских товаров, изнанка тогдашней цивилизации: луб и тес, брус и желоб, ободье и мочало, уголь и лыко, смола и поташ. Но из того же леса текли и побарышнее дары: пахучие валдайские рогожи, цветастые рязанские санки и холмогорские сундуки на тюленевой подкладке, мед и воск, соболь и черная лисица для византийских щеголей...»

«Ваш урожай будет зреть долго... редкий из вас застанет жатву... Но однажды взволнованно, с непокрытой головой, вы пройдете по шумящим, почти дворцовым залам в Каменной степи, где малахитовые

стены — деревья, а крыша — слепительные, рожденные ими облака. Сам... Докучаев и его упорные подмастерья видели их лишь в своем воображенье. Мечта для строителя людского счастья такой же действенный инструмент, как знание или идея, а лесовод без мечты совсем пустое дело... И кто знает, когда седыми вы придете под сомкнутые кроны своих питомцев, не испытаете ли вы гордость вдесятеро бо́льшую, чем создатели иных торопливых книг, полузаконченных зданий или столь быстро стареющих машин».

Снова размышляешь об удивительной способности художника-мыслителя выразить с наибольшей полнотой и силой, яркостью и блеском дорогую ему идею, используя для этого весь арсенал средств, все многообразие поводов, даже если к ним не хотела или не умела прибегать литература традиционная.

5

Все творчество Леонида Леонова — это драма идей, подчас зашифрованных, просвечивающая сквозь внешний сюжет, материал, систему образов и даже их прожигающая. Форма — романа ли, повести или рассказа — порою здесь лишь здание, в котором дается представление разных зрелищ, как говорили в старину, позорищ. В этом, широком смысле театром Леонова является совокупность написанного им: когда герои-актеры разыгрывают заданные им роли и когда длится ожесточенная война мыслей, чувств, страстей («Не трогайте человеческих сердец, они взрываются»,— говорит один из его персонажей), наконец, когда, как бы под скальпелем гениального патологоанатома, в подвале того же здания, происходит поучительное разъятие притворяющихся живыми трупов и упырей. Однако в мирах Леонова существует и богатейший мир собственно драматургии, резко специфической, что и позволяет говорить об особенном, леоновском театре.

Он закладывался, обозначался сперва с инсценировок и драматургических вариантов — романа «Барсуки», повестей «Унтиловск» и «Провинциальная история». Но затем писатель вышел на широкую дорогу самостоятельного пьесотворчества: «Волк» (1938), «Половчанские сады» (1938), «Метель» (1940), «Обыкновенный человек» (1940), «Нашествие» (1942), «Лёпушка» (1942), «Золотая карета» (1946)... Своеобразие театра выявило новые грани в магии леоновского таланта, где главное выражено не только в словах, но и помимо слов, о чем точно сказал сам писатель: «Трудность работы над моими пьесами заключается в том, что у меня зачастую слова означают только поверхностное начертание,

молекулярное натяжение сверху, а все главное — там, под текстом. Надо идти глубоко»[1].

Не в этом ли разгадка трудности в постановке леоновских пьес? Огромный опыт мирового театра (начиная с античных хоров и кончая масками символизма) вошел в сценический мир Леонова и претворился в строительный материал, послужил лишь «старыми мехами» для «нового вина».

Свирепые бури, разрушительные ураганы, обезвоживающие суховеи проносятся в театре Леонова через человеческую душу. Грандиозность конфликтов, вызванных в самой действительности революцией, коллективизацией, эпохой первых пятилеток, а затем и Великой Отечественной войной, отражалась чуткой мембраной художника в острейших столкновениях, напрочь рвущих родственные узы в непримиримом поединке, выявляющем во враге — отца, брата, сына, рождающих нестерпимую боль, которую надобно скрывать ото всех. Так, в пьесе «Провинциальная история» Андрей, убедившись, что его отец Пустыннов — провокатор, гибнет под тяжестью открывшейся ему тайны; в «Половчанских садах» Исайка подслушивает, случайно узнает, что он сын врага народа Пыляева, и с проклятием бросает в него свои костыли; в «Волке» возникает Лаврентий Сандуков — священник, которого стыдится и прячет даже от самых близких его дочь Ксения; в «Лёнушке» Илья Дракин обнаруживает, что он сын предателя, пособника фашистов, и жаждет «такое... сделать, чего никто не может»; в «Нашествии» блудный сын Федор Таланов возвращается в родной дом, однако признается «своим» не тогда, когда, озлобленный и нераскаявшийся, переступает его порог, но лишь после того, как, выдав себя за руководителя партизанского подполья, героически погибает; наконец, в «Золотой карете» чистую, голубиную душу — Марьку Щелканову оберегает от правды об ее отце, трусе и дезертире, тот самый Березкин, который должен нести ему возмездие...

Однако постоянное драматическое напряжение и накал поддерживаются в пьесах не столько прямолинейностью конфликта, сколько обнаруживающейся за ним многозначностью человеческого существа. Вот жалкий и бездомный священник Лаврентий Сандуков, который, по всем прописным статьям, должен вызвать у читателя и зрителя только гадливость и отвращение, но который, поднимаясь в своем слепом отцовском подвиге над нормативными фигурами окружающих «живых кукол», будит сочувствие и уважение.

---

[1] О пьесе «Золотая карета» (Беседа с Л. М. Леоновым). — «Золотая карета. Материалы к постановке пьесы Л. Леонова». М., изд. ВТО, 1946, с. 24.

Леонов строит многоголосие припевов... — просодий, когда каждый герой, как вестник в античном театре, ведет свою линию, свою правду. И в этом смысле не только «отец Лаврентий», но и сам «волк» — его сын и брат Ксении, страшный Лука, не укладывается в привычную схему разоблачительной пьесы о диверсантах конца 30-х годов с обязательной фигурой учтивого работника НКВД под занавес. Ибо Лука тоже несет свою, «звериную правду» — правду лесного волка, бегущего от людей и уже офлаженного (как несли в себе «мужицкую правду» ушедшие в «норную» жизнь свинулинские «барсуки»).

Эта непростота леоновской драматургии принципиально отлична как от театра Чехова с его настроением, создаваемым подтекстом, так и от символического театра масок — Метерлинка, Блока, Леонида Андреева (о вторжении стилистики которого в пьесы Леонова писала тогда критика). Драматические столкновения напоминают у Леонова скорее трагедию, разыгрывающуюся в Космосе: вспыхивают и гибнут не люди, но целые миры, уносящие с собой неразгаданный потенциал. Так, разоблачаемый как агент иностранной разведки Пыляев (следующая после «Волка» пьеса «Половчанские сады») говорит о себе в третьем лице: «Отгромыхал Пыляев, и ни следа позади, как за мертвецом на воде», но мы одновременно узнаем, что когда-то «в шорохе имени» этого гаденького старичка «людям чудились горные обвалы»...

Леонов остается в пределах реализма, создавая свои сценические маски, ибо под ними бьется и пульсирует живая кровь, а не прячется отвлеченность или «бездна». Но творит он новый — «сгущенный» реализм, который можно бы еще обозначить как реализм интеллектуальный. На небосклоне его драматургии символы появляются, как сгустки мысли с чудовищным сжатием художественного вещества внутри; это и придает необходимую многозначность. Так, победитель в жизни Маккавеев («Половчанские сады»), отец четырех богатырей и красавицы дочери, герой гражданской войны и директор совхоза, сам воплощение телесной мощи («Ложись ко мне на стол... Я из тебя трех комсомольцев выкрою», — шутит его сын-хирург), полагает, что идет по цветущему яблоневому саду, тогда как ступает по хрупкому льду. Недаром, посреди торжества и фанфар, выращивания небывалых еще сортов яблок и приготовления необыкновенного сидра, с возвращением в «эту» жизнь Пыляева жена Маккавеева Александра Ивановна «с ужасом» предрекает: «Мне все чудится, вот двери рухнут, и целое кладбище ворвется за ним».

Символы порою вспыхивают грозно и зловеще упреком несправедливости жизни и самой творящей Природы: как возмездие детям за их отцов (так, Исайка рождается калекой как бы в отместку за то пре-

ступление, которое Пыляев совершит много лет спустя и только несет его в себе). И здесь уже, если говорить об аналогах театра Леонова, необходимо снова вспомнить театр античный, с его идеей рока, возмездием, Эриниями: родившиеся из упавших на землю капель крови изувеченного Урана, Эринии неутомимо преследуют и мстят преступнику даже в последующих его коленах. Впрочем, сам же Леонов и преодолевает идею проклятия, тяготеющую над «детьми» за грехи «отцов». Это превращение Эриний из грозных богинь мщения в богинь-благодетельниц — Евменид происходит в одном из самых значительных драматических произведений — пьесе «Золотая карета» (к которой писатель возвращался, после создания ее в 1946 г., еще дважды — в 1955 и 1964 гг.).

Между этими редакциями «Золотой кареты» был написан «Русский лес»; «Золотой карете», в которой обобщенно извлекаются нравственные уроки Великой Отечественной войны, предшествовали такие созданные по горячим следам фронтовых событий вещи, как пьесы «Нашествие» и «Лёнушка», повесть «Взятие Великошумска» (1944). Война прошла через сердце разгневанной России и через сердце Леонова. Она придала накал его страстной, патриотической публицистике, вызвала неотвязное желание «нанести фронтальный удар почти плакатного воздействия», «заклеймить подлого врага прямым лобовым ударом».

На страницах «Правды» в 1941—1945 гг. печатались страстные — гневные и величальные — статьи Леонова о ратном подвиге советского народа, в кровавой купели подтверждающего свое право на историческое бессмертие («Наша Москва», «Слава России», «Величавая слава», «Немцы в Москве», «Утро победы», «Русские в Берлине» и др.). «Набатный колокол бьет на Руси. Свирепое лихо ползет по родной стране... Второй год от моря до моря, не смолкая ни на минуту, гремит стократное Бородино Отечественной войны»,— так начинается очерк о мальчике-партизане Володе Куриленко, отдавшем короткую свою жизнь за настоящее и будущее России. И в этой одной, отдельной судьбе, в этой сгоревшей жизни писатель видит всю «ярость благородную» священной войны с фашизмом.

Писатель-патриот, Леонов становится в эту пору боевым журналистом, который огненным скальпелем слова рассекает коричневые метастазы гитлеризма, запятнавшего себя величайшими в истории преступлениями против человека и человечности. Леонов пишет письма «Неизвестному американскому другу», разъясняя Западу, что фашизм несет смертельную угрозу прогрессу и цивилизации, выезжает на фронт, находится в качестве корреспондента «Известий» на харьковском судебном процессе над «питекантропами в гестаповских мундирах»

(статьи «Ярость», «Примечание к параграфу», «Расправа»), а затем присутствует на судебных процессах палачей из Бельзенского концлагеря и главных фашистских военных преступников в Нюрнберге («Когда заплачет Ирма», «Поездка в Дрезден», «Нюрнбергский змий», «Людоед готовит пищу», «Тень Барбароссы» и др.).

Неутомимо, неустанно набатным словом Леонов стремился в пору войны приблизить День Победы.

Впрочем, Леонов не был бы Леоновым, если бы при выполнении и этой, пусть неотложной, как отправляемые на фронт снаряды, задачи попутно не поставил бы перед собою еще и некую «сверхзадачу», обращенную оттуда, из огненных лет, потомкам. Спеша откликнуться на обжегшие его душу события войны, он по-прежнему идет в своих произведениях от самых глубинных истоков культуры и народной жизни. Древняя притча о блудном сыне («блудный сын — ранняя могила отцу»,— сказывают в народе) берется отправной точкой для передачи п р е о б р а ж е н и я души, воскрешения Федора Таланова, который воистину, смертию смерть поправ, духовно воскрес подвигом («Нашествие»).

Здесь целебным лекарством для ожесточившегося и озлобленного сердца становится принятие на себя безмерного народного г о р я. «Оглянись, Федя... — говорит ему старик Таланов,— горе-то какое ползет на нашу землю. Многострадальная русская баба сгорбилась у лесного огнища, и детишечки при ней, пропахшие дымом пожарищ... и никогда он не выветрится из их душ». Но пока еще Федор не готов ответить — нутром — на простой и ясный вопрос: «Сто миллионов разве больше, чем я?» Страдания пятнадцатилетней Аниски, распятой фашистскими изуверами на дровах, в сарае, возвращают Федора в ряды «ста миллионов» мстителей, от имени которых он говорит гестаповцу: «Я русский. Защищаю родину...»

Идея национального романтизма и национальных святынь обретает теперь такую одухотворенную высоту, с которой к а ж д ы й — будь то знаменитый танковый комкор Литовченко («Взятие Великошумска») или ослепленный в бою танкист, звездочет Тимоша («Золотая карета»),— может увидеть духовным зрением как нечто целое Р о д и н у, Россию. «Здравствуй, первейшая любовь моя»,— восклицает в «Золотой карете» «совесть войны» полковник Березкин и на недоуменный вопрос молодого Кареева: «Кого вы подразумеваете?» — отвечает: «Россию».

Великая Отечественная война неизбежно стала источником небывалого духовного и национального подъема народа, заставила его осознать себя как целое — не только в географическом пространстве, но и в историческом времени. Символом этой России видится в «Нашествии» старик с мальчиком — т а м, в подвале, перед казнью, в бла-

говейной тишине объясняющий ему: «Поди, проходили в школе и про Минина Кузьму, и про Сусанина Ивана?.. То бородачи были, могучие дубы. Какие ветры о них разбивалися. А ты еще отрок, а вровень с ними стоишь. И ты, и ты землю русскую оборонял». Высокая, героико-патриотическая тональность творчества Леонова этих лет была глубоко созвучна самому народному характеру войны и выражала те же святые мысли и чувства, что высвечивало вещее слово других русских писателей.

Образ Китежа, прекрасного града, который ушел под воду, в Светлояр и спасся тем от свирепой орды, по разным поводам возникает у Леонова. В обращении к нему видится не просто пересмотр и преодоление прежнего представления об уездной России, Руси как застойном болоте. Этот образ являет нам органическое, вместе с Родиной, движение чуткого художника к более глубокому познанию себя и мира. Через боль и страдание, через очищение огненным шквалом захолустное гнездо возвращает себе свой истинный облик — теплого, живого, как сердце, комочка, «малой родины», страны детства и страны любви, за которой неизбежно возникает, ширится и образ Родины большой. «Вот он, твой желанный за дремучими лесами Китеж-град»,— не без легкомысленной иронии говорит своему отцу Юлий в «Золотой карете», когда мучимый тоской по прошлому Кареев через много лет приезжает в родной городок. И та же сила владеет разноликими персонажами Леонова — изгнанной ветром истории из России и навестившей родину (уже как именитая иностранка, уже как на экскурсии) со смертной пустотой в груди Евгенией Ивановной («Evgenia Ivanovna»), и идущим на свою очистительную Голгофу Федором Талановым («Нашествие»), и ворвавшимся во главе танковой бригады в родной город (тоже после долгой разлуки) генерал-лейтенантом Литовченко, прозванным уважительно врагом «ein grosser Panzermann»[1] («Взятие Великошумска»). Однако в «Золотой карете» образ «малой родины», искомого «Китеж-града» поворачивается новой и важной гранью, ставя перед героями (и читателем, зрителем) задачу, трудную, словно в русской сказке: что же такое человеческое с ч а с т ь е...

Чехов обронил как-то: «Толстой говорит, что человеку нужно всего три аршина земли. Вздор — три аршина земли нужно мертвому, а живому нужен весь земной шар»[2]. Сколько же нужно человеку для счастья? В одном из своих ранних произведений (из цикла «Необыкновенные рассказы о мужиках») —«Темная вода» (1927) — Леонов передает историю ослепшей старухи батрачки Марфы. И вот: величайшая

[1] Великий танкист *(нем.)*.

[2] Цит. по кн.: И. А. Б у н и н. Собр. соч., т. 9. М., «Художественная литература», 1967, с. 221.

человеческая беда, оказывается, мало что изменила в привычках и образе жизни Марфы, лишь немного сузив прежний, и без того тесный, ее мир. А почти через двадцать лет писатель выводит в «Золотой карете» молодого астронома, ослепленного войной. Тимоша лишился на Курской дуге глаз, а значит — и любимой профессии, и права на чувство и красоту возлюбленной. Не Земля — Вселенная открывалась его вооруженному оптикой взору, а теперь лишь большой черный глобус звездного неба — в подвале, в бывшей котельной, где живут Непряхины,— траурно напоминает о разбитых мечтах. Слепой гармонист, он играет на чужих свадьбах, радуется чужому счастью и в порыве самоотвержения, кажется, готов исполнить эту роль и на свадьбе своей любимой — Марьки...

В работе над пьесой Леонов, возвращаясь к первой редакции, дважды менял финал, существенно уточняя акцентировку в нравственном наполнении героев. В варианте 1946 года Березкин (потерявший всю свою семью в этом городке), уводил Тимошу, став его «тенью», за собой на возвышенный подвиг, а Марька садилась в «золотую карету» Каревых (Кареевых); затем, иронически переосмысляя фигуры академика и его сына, автор оставлял Тимошу вместе с Марькой, в их скромном Китеж-граде; наконец, в последней редакции Леонов как бы философски обобщил прежний эмпирический материал, снижая максимализм прежних решений. Березкин зовет «в дорогу к звездам» не того истово решительного Тимошу (как в первом варианте), а человека, колеблющегося в выборе, молящего: «Проститься»,— и слышащего ответ полковника: «Не мешай ей, солдат. Сейчас ее увезут в золотой карете... и до первых, скорых слез она не вспомнит о тебе ни разу. Не расплещи своего горя, солдат, оно поведет тебя в зенит...»

Решение вопросов отодвинуто здесь за рамки пьесы. Ни Тимоша, ни Марька еще не готовы к тому, чтó есть и подвиг, и великое искусство повседневной жизни,— к своему счастью. «Так что же, по вашему мнению, прежде всего надо человеку в жизни?» — спрашивает Кареев у Березкина. «Сперва — чего не надо,— уточняет тот. — Человеку не надо дворцов в сто комнат и апельсинных рощ у моря. Ни славы, ни почтенья от рабов ему не надо. Человеку надо, чтоб прийти домой... и дочка в окно ему навстречу смотрит, и жена режет черный хлеб счастья. Потом они сидят, сплетя руки, трое. И свет из них падает на деревянный некрашеный стол. И на небо».

Умудренный временем, опытом работы над «Русским лесом», автор растворяет дидактику в живой диалектике жизни. Он теперь щадит тех героев (не считая дезертира Щелканова), которые в своем благополучии и самодовольном превосходстве выглядели нравственно мел-

ками. Недаром в последнем варианте одну из своих любимых мыслей — об опасности, которую несет в себе неуправляемая цивилизация и технический прогресс, Леонов отдает академику Карееву, говорящему о капиталистическом Западе: «...мне и до войны бросалась в глаза этакая гибельная дымка над мнимым праздником, что-то грешное в их безумном, опережающем поиске все новых средств для утоления еще не проявившихся потребностей... Отсюда естественный вопрос — в чем же конечная цель цивилизации с ее сомнительными обольщениями, с преизбытком всяких блистательных и полубесполезных вещиц, на которые, признаться, мы так падки иногда...»

Мысль эта, углубляясь и разрастаясь в философских обобщениях, становится ведущей в творчестве Леонида Леонова последних лет.

6

Гуманист и принципиальный оптимист, Леонов издавна провидел главную задачу человечества, которое, разрешив социальные задачи, сможет устремиться ввысь — к звездам, «умным посевом разбрызнуться по Большой Вселенной».

О небе герои Леонова мечтают постоянно — даже простой крестьянин Чмелев, которому агроном однажды дал взглянуть в телескоп: «И уже казалось Пантелею Чмелеву, что врастает он сам головой в эту черную зовущую пучину, в которой вдруг нашелся свой план и смысл» («Барсуки»). Именно России, которая опередит все остальные державы, предвещает писатель «путь к звездам» («Evgenia Ivanovna»). И как закономерный промежуточный итог длительного исторического движения человечества восприпимает он — с гордостью советского патриота — выход Юрия Гагарина в ближний космос: «На долю этого человека выпало счастье совершить первый, качественно непохожий на все прежние, немножко жюль-верновские, космический облет планеты. А на нашу не меньшее — быть его согражданами, современниками, соучастниками, помощниками, земляками — его народом» («Прыжок в небо», 1961).

Очерк «Прыжок в небо» характерен для публицистики Л. Леонова послевоенной поры. Как и другие выступления писателя (знаменитая статья о лесе 1947 г. «В защиту друга»), и этому очерку присуща планетарная масштабность, стремление к предельной философской обобщенности. Вся история цивилизации, более того — все развитие живого на Земле проходит как накопление опыта, позволившее парню из Гжатска совершить свой подвиг. Раздвигаются масштабы мысли писателя и философа, проникающей далеко за горизонты видимого. Такой же глобальный прицел и у литературных выступлений Леонова, когда

великие фигуры русской классики — Грибоедов, Достоевский, Лев Толстой, Чехов, Горький — рассматриваются как маяки, вознесенные всем массивом человеческой культуры. В их творчестве, в порыве их гения Леонов усматривает то же устремление к небу, к звездам, только уже не физическое, а духовное.

Однако уже в очерке «Прыжок в небо» Леонов задается и вопросом о непрочности цивилизации и крайней опасности игры «с грознейшими силами природы», когда опередившая нравственность техническая революция ставит под сомнение не просто социальное благополучие, но само существование цивилизации. Никогда еще не было такой поры, когда человечество оказалось бы под угрозой полного уничтожения, когда так называемый технический и научный гений, не сумев решить проблемы личного счастья, долгожительства, исцеления от мучительных болезней, успешно решил проблему другую: как умертвить или по крайней мере отбросить к физической и умственной деградации всех людей. Гуманист, мыслитель, Леонов поднимает эту проблему со все большей ясностью, твердо очертив ее во фрагменте из нового романа «Последняя прогулка»[1].

Для Леонова-писателя издавна было характерно то, что наравне с художественным он обладал и научно-техническим мышлением. В нем, очевидно, всегда жил и крупный ученый-изобретатель, и незаурядный теоретик. Академик В. Болховитинов напомнил нам, к примеру, что идея радара «была высказана мельком Л. М. Леоновым еще в 1935 году («Дорога на Океан»)»[2].

Грозным предостережением замечательного художника-гуманиста и художника-ученого является фрагмент из нового романа. По отрывкам, напечатанным Леоновым («Наука и жизнь», 1974, № 11, и «Москва», 1979, № 4), можно угадать лишь очертания огромного художественного мира — пока еще скрытого от нас. Но даже эти фрагменты убеждают в глубинной мощи принципиально новой интеллектуальной прозы, обращенной одновременно — и к жгучей злободневности, и к вечности. Виртуозный, на пределе возможностей русского языка стиль Леонова, в котором мысль часто раздваивалась, уходила вглубь, мерцала изнутри, намекала, теперь достигает такой чистоты, словно бы мысль, минуя слово, ложится на бумагу, проступает крупной солью на черной горбушке жизни, образует твердо очерченные многогранники — как бы интеллектуальную решетку кристалла.

---

[1] Леонид Леонов. Последняя прогулка. Фрагмент из романа. — «Москва», 1979, № 4.

[2] «Наука и жизнь», 1974, № 11.

Язык и стиль Леонова, всегда восхищавшие современников, отмечены непрестанным движением и совершенствованием. От ранней орнаментальной прозы, с ее виртуозной стилизацией, тяжелой архаичностью и густой живописью, художник уже к концу 20-х годов приходит к «корневому», окрашенному диалектизмами, просторечьями русскому слову, национально самобытному и в то же время очень чуткому к социальной нови. Прочитав «Соть», Горький писал Леонову: «Анафемски хорош язык, такой «кондово» русский, яркий, басовитый, особенно — там, где Вы разыгрываете тему «стихии», напоминая таких музыкантов, как Бетховен и Бах...» [1]

С тех уже далеких пор леоновский стиль пережил значительную эволюцию, в том же, что и его творчество, направлении, «с выделением более чистого продукта национальной мысли». В итоге, через достижения в таких шедеврах, как «Evgenia Ivanovna» или «Русский лес», выработался совершенно особенный художественный язык, стремящийся структурно так соответствовать алгебраической сложности жизни, чтобы не утратились, не утекли мимо слбва самые малые противоречия, горячее сдвижение которых и движет бытием.

Воистину, Леонов стремится возвратить слову его изначальную власть в его простонародной глубинной значимости и в том, куда будет направлено слово, вобравшее в себя кровоточащий опыт человечества, усматривает далеко идущие последствия: «Опаснейшее это приобретение людей, плод бессонных раздумий и колебаний, высоких вдохновений пополам с разочарованием и прямым отчаяньем, является, конечно, бесценным сырьем для еще не написанных шедевров, но и взрывчаткой для пересыщенных знанием наших душ, если это поистине дьявольское сокровище своевременно не загнать в бумагу, холст и бронзу — не запечатать магическими литерами и нотными знаками, как всегда оно бывало в истории человеческой культуры» («Достоевский и Толстой», 1969).

Трассирующим, вспыхивающим озарениями видится путь мысли Леонова — от ранних, нарочито заземленных, отяжеленных лепкой мастерского сказа произведений и до философских работ последних лет.

Идя вглубь, он одновременно движется вширь, обретая в отдельном человеке, его душе, его личности «малый космос», пребывающий в непрестанном динамическом взаимодействии с космосом большим, со Вселенной. Переводя эту общую идею на язык леоновской философии, воспользуемся словами героя его отрывка «Мироздание по Дымкову»:

---

[1] М. Горький, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 30, с. 186.

«В земных печалях та лишь и предоставлена нам крохотная утеха, чтобы, на необъятной карте сущего найдя исчезающе малую точку, шепнуть себе: «Здесь со своей болью обитаю я».

И вот уже фотонной ракетой уносится дерзкая мысль писателя в глубины космоса. Тает внизу, крохотной точкой становится остров Июньюг, стирается под туманной пеленой Зарядье, голубой ниткой мелькнула и исчезла Соть, все выше, дальше,— зеленым, переходящим в лиловые тона тонет внизу русский лес... Огромная без краев чаша Земли сужается, становится улетающим в бездну шаром, превращается в колючий глаз звезды, а там и растворяется вовсе в млечности мириад превосходящих ее неизмерно шаров. И, обретая надкосмический масштаб, беспредельная мысль человека угадывает «трепетное мерцание неузнаваемой среды высшего порядка», «не зримые нами антимиры», которые «в силу единой системы неминуемо размещаются бок о бок с нами, в том же жилом объеме, что и мы»...

И навстречу писателю, презрев и бездны космоса, и страшный циклический процесс «выжигания времени», идет все тот же лесной старичок в шляпе из деревянной коры, учивший Калафата, что до неба «и другие дороги есть». Это от него, вечного и живого, исходит «тот самый свет предвечный народных сказаний, в пучинах коего рассеяны миры, погребены давно прошедшее, вызревающее и еще не родившееся» («Мироздание по Дымкову»). Так замыкается философия Леонова выстраданной мыслью о цели, к которой выйдет человечество, «умело пробиваясь против течения».

В своем прекрасном «Венке А. М. Горькому» Леонид Леонов сказал о памяти народной, в которой не умрет признательность к великой русской литературе и ее подвижникам. В их ряду, в ряду самом высоком, находится он сам — крупнейший писатель-гуманист нашего времени. Глядя на столетие вперед, Леонов заметил с затаенной грустью: «Не будем льститься чрезмерной надеждой: по собственному опыту известно нам, насколько необязательны для потомков дедовские кумиры и привязанности». И все же, на наш взгляд, вернее и справедливее другие его слова: «И еще настанет когда-нибудь, уже без нас, очередного столетия точно такой же вечер. Другие, еще не вошедшие, еще не родившиеся, заполнят ваши места в этом зале, но, как бы ни было бесценно их время, немыслимо, чтобы периодически они не вспоминали о нас с вами, которые затратили во имя их, завтрашних, столько жизней, жаркого пота и вдохновений: себя!»

ОЛЕГ МИХАЙЛОВ

РАННИЕ РАССКАЗЫ

БУРЫГА

В. Д. Фалилееву

I

В Испании испанский граф жил. И были у него два сына: Рудольф и Ваня. Рудольфу десять, а Ване еще меньше.

В средних еще годах профершпилил граф все свое состояние на одной комедиантке заезжей, а к старости остался у него лишь пиджак да дом старый, который даже и починить не на что было. Тогда же жена графова от огорченья и померла.

...Вот живет граф в нижнем этаже, там еще хоть мебель осталась, а в парадных залах, наверху, живому не житье: крыша протекает, зимой топить нечем,— там графовы дедушки на портретах помещаются, им-то все равно. Сам граф на почте главным служил, ребята его испанскую грамоту учили, кухарка суп варила; так и жили.

Да пришел к ним в одном студеном декабре случай непредвиденный: пошла ихняя кухарка на реку белье полоскать, нашла детеныша-нос-хоботом. Вышла она к реке, глядит и видит — сидит в сугробе этакой мохнатенький, замерзает, видимо. Из-под рубашонки копытца торчат, а нос предлинный, нечеловечий нос,— ручонками он его трет.

Жалостлива кухарка была, руками всплеснула, головой замотала:

— Экой ты! Ведь замерзнешь!..

А тот поглядел на нее исподлобья да басом на нее:

— Ну-к што ж... обойдется!

Разволновалась баба, схватила детеныша в охапку, запихала под белье, домой пустилась опрометью...

Всю дорогу детеныш из корзины трубел:

— Ни к чему все это, пустяки одни! Зря это ты, баба...

II

Принесла домой, отрезала ему хлебца с фунт, шубейкой накрыла, стала насупротив, удивляется:

— Откудова ты, экое дитятко? И на обезьяна и на дитенка похож...

Урчит детеныш с набитым ртом:

— Мы не тутошние!

А сам ухватился за краюху, жрет,— только хвостик из-под шубейки вздрагивает. Был у него хвостик так себе, висюлькой, а рожки конфетками.

Тут вышел на кухню сам испанский граф самовар поставить, увидел детеныша, отскочил даже сперва, а потом на кухарку наступать начал:

— Этта что такое?.. где такое диво выискала? Зачем он тут?

Стала кухарка сказывать:

— Как вышла я этто к реке, вижу,— сидит в снежке, ножонки поджал, замерзывает...

Гмыкнул граф, поближе подошел:

— Н-да! И нос у него, действительно.

Задумался сперва, а потом взял детеныша за нос, дернул слегка.

Заворочался детеныш, взъерошился, буркнул прямо в упор графу:

— Дурак ты, паря, чего привязался?

Дал ему граф за такие слова затрещину, но потом погладил ласково, спросил:

— Так вон оно как, даже разговаривать можешь... Тебя зовут-то как?

Протянул деловито:

— Буры-ыга!

И как вымолвил это детеныш, обрадовался граф, захохотал, как из бочки, посуда на полках запрыгала, канарейка спросонья с жердочки свалилась, заслонка у печки грохнулась. И откуда глотка такая: сам никудышный, сквозь пиджак ребра видны. Хохотал-хохотал, да вдруг взугрюмился, боясь кухаркино уваженье потерять, показал бабе на Бурыгу, прикрикнул и настрого приказанье дал:

— Ты его мылом карболовым да с нафталинцем протри опосля мытья. Мы его в лакеи приспособим!

И ушел граф спать, про самовар забыл.

Весь вечер ел Бурыга кухарке в диковину, а Рудольф с Ваней весь вечер проспорили: настоящий это детеныш или так, только нарочно. И уж под самую ночь, когда все спали, а Бурыга лежа дожевывал четвертый фунт, притащили графовы ребята сигару детенышу, у отца стащили. Бурыга взял сигару, молча съел, причмокнул и сказал:

— Ну-к што ж, ничево! Приходите, когда не сплю,— расскажу кой-што там, бывалое...

Но тут замотал головой, втянул носом воздух, как насосом, и пронзительно чихнул. Ваня вздрогнул и вылетел из кухни стрелой, другой за ним. А Бурыга чихнул им вдогонку еще раз, зевнул и стал засыпать.

В кухне пахло щами, тараканами и карболкой. И уже спросонья мечталось Бурыге так:

«Э-эх, бруснички ба!..»

III

Хорошо жилось Бурыге в зеленом приволье леса. Там по утрам солнце ласково встает: оно не жжет затылка, не сует тебе клубка горячей шерсти в глотку, оно свое там, знакомое. Там затянет по утрам разноголосая птичья тварь на все лады развеселые херувимские стихеры, там побегут к болотному озерку неведомые, неслыханные лесные зверюги... Ранними утрами поет там лес песню, а над ним идут, идут, идут алые облака, клубятся, сталкиваются: то не ледоход небесный — то земные радости плывут.

Выходит из своего логова детеныш Бурыга,— он летом в норке мшистой живет. Он спросонья на пни натыкается, зеленый, в зеленом крадется кустарнике, он похрамывает по кисельным зыбунам, шустро сигает через мертвые пни, кубарем катится, вьюнцом идет... Вот он сядет на прогалинке, он хихикает и морщится, он сидит-прискакивает, греет спинку, сушит шерстку под солнышком, а солнышко теплой лапкой его гладит,— жмурится и щурится, мурлыкает незатейную песенку, язык мухоморам кажет... А те нарядились, как к обедне, выстроились толстые и тонкие в ряд... Шесть их по счету, и весело им поэтому.

...А уж и вечер. Солнце спряталось, по небу обсосанная карамелька, луна, ползет. Тут и начало развеселой гулянке ночной.

Шагает Бурыга к старому лохматому пню, там живут его приятели и знакомцы — Волосатик и Рогуля. Волосатик, он и кругленький и мохнатенький, вроде как бы лешев внучек, гнилая осина мать ему, а Рогуля — полосатый, серое с зеленым, сухой да тонкий, как аршин, кривулинка на ножках. Он все больше насчет божественного любил: откуда свет пошел, кто лешему нàбольший, почему вода мокрая... Волосатик же покуролесить страсть любил, похихикать. Бурыга — бруснику.

...Как оденет влажный падымок озерки, зазвенят жалобно комариные клубки, — повалятся с дерев, как желуди, вылезут из-под земли, выскочат из пней, вышмыгнут из ерника болотники да окаяшки разные, нечисть лесная.

Вот крадутся по земле длинноногие и коротышки, взрачные и никудышные, гораздые и мразь. Уж они рассядутся по пням, по выпученным корневищам, облепит лужайки беспутная, срамная, нечистая чадь, — калякает по-своему лесное сонмище, игры разные как бы устраивают, а некоторые, срам сказать, на балалайках-самодельщинках трынкать навыкли.

Тут заурчит дурак-пугач, векша зашевелится в кустарнике; порскнет, пугаясь ночных кустов, заяц; шарахнется нетопырь — чертова игрушка. А в небе снова месяц стал — не карамелькой уж, а необычайным пером райской птицы. Тогда с тайной сладостью затенькает вверху соловей, и вдруг осторожный хруст за болотной топью сменится отчаянным смертным криком: то зеленоглазый окаяшка оседлал подвернувшегося зайца. Лихо идет по бору гул да уханье...

Но едва пролетит полночь по небу, тогда сразу куда что денется: комарье в болотную труху, окаяшки — кто в землю, кто в воду, под желтые купавки уйдут, а кто зацепится железной когтей за сук, да и провисит так до завтрашнего вечера на манер осиного гнезда.

Бурыга уж и спит. Уткнул нос-хоботом в трухлявую прошлогоднюю листву, дрыгает во сне нóжонками, а из носу у него свист и пар: ни одна букашка бесприютная или загулящий жук-фуфыра не решатся пристроиться на ночлег в Бурыгином носу.

Идет по бору зеленый храп. Качаются сонно багуны да лютики. А из-под красных козырьков мухоморы угрюмо смотрят: шесть их по счету, никто их не видит, и обидно им, и не спится им поэтому...

IV

Осенью развешивал вечер по небу мокрые тряпки, выжимал насухо, и из них шел на землю серый скучный дождь.

Давно уж на бору оталели бусы рябин, отшуршали краснолистые осины,— примета: лесной твари спать.

Рогуля лазил на зиму в самое болото, в зеленое нутро, в теплую тинку — туда мороз не дощупает: сидел там, размышляя всю зиму о таинствах естества божья. Волосатик у знакомого медведя в берлоге угол снимал, а Бурыга все бродил по лесу, ждал, не выползет ли солнышко. Солнышко не выползало, а заместо него карабкались по небу мокрые тучи.

Пробовал Бурыга шапку-непромокайку из старого воронья гнезда смастерить, да только вышло из этого огорченье одно: дожди шли сильные, а в том вороньем гнезде черноголовые мураши жили... Бродил по лесу.

А тут по лесу бродить нельзя: на Ерофеев день, на волчью свадьбу, уставлено нечисти пропадать. В ту пору ходит дед по бору с дубиной, а в самом скука, и сам весь всклокоченный. Ему попадись тогда под руку, он тебе либо хребет перешибет, либо доведет до смертной икоты.

А Бурыга вот ходил, хныкал, спрашивал заблудную ворону, не видать ли где солнышка; каркала ворона, а Бурыга воронья-то языка и не знал... Да если б и знал, не легче б было!

И уж когда пропадала совсем вера в нем, залезал в дупло незанятое и ворочался там без сна всю зиму. Точила его тоска, да и холод на бору не тетка!

V

Зато весной, бывало, на бору-то не наглядеться! Развертывает по снегу алые ленты весна. Радуется дерево солнцу, земля проталинкам, душа весне...

Да вот не дождалось раз весны такой озорное племя, пришло горе горькое. Однажды утром громко запели топоры, они хряснули весело сизыми ладонями, они пошли гулять-целовать: куда поцелуют — там смерть. А еще тем же утром жестокими зубьями заскрежетали пилы, загрызли громко, запели звонко,—

не замолишь слезой их лютого пенья. Встал на бору железный стон.

Всполошились окаяшки, да уж тут что поделаешь! Зимой другого жилья не сыщешь, против железа не забунтуешь; смирись, подставь глотку под синие зубья, молчи.

Выскочил Бурыга из своего дупла сохлым листом, шмыгнул в орешину — никто не видал, помчался в дедову берлогу.

— Деда, а деда... Там лес рубят, там топоры пришли...

Безволосыми ресницами заморгал старик:

— Какие такие топоры. Ничево, милачок. Вот я их ужо, вот я им покажу...

— Да што уж тут показывать... Идут, завтра здесь будут!

— Завтра, говоришь? Пущай, милачок! Вот я их ноне ночью и попужаю...

Успокоенно пробурчал Бурыга:

— Дедь, так я уж у тебя здесь ночку посижу, а?

— Сиди, милачок, сиди.

Пошел ночью дед лесорубов пугать: захохотал страшно, гугыкнул дважды, вдарил оземь прелым осиновым пнем, чтоб треску больше было, на четвереньках пробрался к прорубям. Глянул из-за орешины — затрепетал весь: там затоптана сапогами лесорубов высокая лесная папороть, полыхают веселые костры, дремлют возле них усталые топоры, а ребята похлебку варят: на поверженных березах в кумачовых рубахах сидят, поют. И песня их, с дымом мешаясь, по земле стелется. Лежит любимая лешева береза по земле, лежит, как зеленая лесная хоругвь.

Постоял дед, поморгал глазами, понял, что уходить надо: парни — в плечах сажень, любой с удару сосну собьет. Побрел дед обратно, а завидел детеныша — проскулил ему жалобно:

— Беги, милачок, куда знаешь, а здесь ноня не житье нам боле, беги-и!

Поворчал Бурыга, и в ту же ночь разошлись они в разные стороны: пошел дед к своему племяннику — тот лешим в соседнем бору состоял. Была у него в котомке страшная святочная харя — про всякий случай, паспорт на имя какого-то Мокея Степанова, с подписями и приложением казенной печати — не подцарапаешься, а на самом армячок мужицкий.

А Бурыга бродил-бродил, вышел на деревню. Та деревня, Власьев Бор, невелика, да в ней люди добрые проживали.

VI

Жила-была на деревне бабка-повитуха, люди Кутафьей звали. Про нее разное сказывали: она-де зла может принесть; она-де девку присушит — кости из кожи, как пух из перины, вылезут; она-де ежели в ссоре с кем, так и килу может и хомутик подкинуть сумеет — станет не человек, а безногая кабацкая затычина. Только неправда все это: Кутафья — добрая бабка. У ней в красном углу Неопалимая висит, и всегда перед ней лампадка оправлена; у ней в красном углу и страстотерпец есть такой, что от тридцати трех болезней помогает, и пузырек с ерданской водицей, из Святой земли привезен.

К ней и забрел Бурыга по снежному первопутью: забрался в клеть, в комочек свернулся, сидит-повизгивает. А Кутафье и снадобилось, как на грех, туда по делам пойти. Вошла бабка и застыла — холодной водой по спине: сидит мохнатый, ктобысь — не видно, визжит да словно бы топорище греет. Старуха к нему:

— Ты что это, супостат? Ты по каким таким делам по чужим клетям таскаешься? Эка, уж не обворовать ли меня, бабку, вздумал?!

Бурыга зубами стучит.

— Я,— говорит,— сдыхать к тебе, бабка, пришел.

Видит бабка — не вор, значит — добрый зверь.

— Да ты кто таков, чем займаешься?

— Да вроде ничем! Оттудова мы, из лесу. Лесные...

Бабку недоумок взял:

— Ну, ладно. Холодно мне с тобою растабаривать, подь в избу, там столкуемся!

И впрямь столковались. Вымыла его бабка в бане, чтоб избу не поганил, дала ему мужа покойного валеные, картуз дала мужнин вроде рукомойника. Стал Бурыга у бабки жить, на полатях спать, стал Бурыга словно бы деревенский мужичок.

Кутафье занеможется — детеныш в зимнюю пору и за дровами на огород сходит, и воды принесет, и курочку у соседа скрадет для хворой бабки. А людям и невдомек спросить, что, мол, это у тебя за дитенок, Кутафья, объявился. Думали все — внучек порченый.

Бурыга на Власьевом Бору обжился, иной раз и на девичьи вечерки хаживал. Придет, встанет в угол от ребят порознь, глядит исподлобья; девки его за блажного

считали, насмехались все: над блажным посмеяться — тебе не грех, а тому души спа́сенье. А одна девка, Ленка,— вот насмешница:

— Выходи,— смеялась,— за меня замуж, Бурыга... Ой, я тебя в жаркой баньке попарю, спать с собой положу, а любить-то я тебя как стану-у...

Ворчал Бурыга себе под нос, оглядывал Ленку с головы до пят,— Ленка крутобедрая, парни зубами лязгают,— трубел хмуро:

— Врешь ты все! Не будешь ты меня любить, не за што...

А Ленка пуще изгилялась, в самые глаза Бурыгины заглядывала:

— Да я уж и ума не приложу, как тебя замуж-то взять... Уж больно целоваться-то с тобой неспособно, ты мне своим носищем все глаза повыколешь!

Сопел.

VII

Да вот что потом случилось.

Приехал на масленой в деревню Власьев Бор барин-брюкина-улицу, при часах и штиблетах, в руке заграничная палка, толстый, из города. Приехал-то он по делам: к Семену Гирину лес торговать, а Бурыга, как на грех, по воду о ту пору и шел. Увидел его барин, смекнул в башке, помчался в Кутафьину избу, пристал к бабке как банный лист. Уговаривает бабку, в лицо ей винищем так и разит:

— Он что, внучек тебе, што ли?

— Внучек, батюшка, внучек.

— Врешь, бабка,— энтот экземпляр не человечий... Ты мне продай, бабка, детеныша! Человек я хороший, ему у меня неплохо будет. Буду его колбасой кормить, научу на велосипеде ездить, буду людям за двугривенные показывать... Продай, бабка, тыщу не пожалею.

Бабка и туда и сюда; и жалко, и как будто ни капельки: все одно к лету сбежит, а барин из себя важный, да и тыщи на полу не валяются. К тому же скажем так: давно хотелось бабке для праздников платье такое иметь,— чтоб шурстело, и в горошек коричневое.

— Что ж,— сказала,—возьми, не нехристь же ты, кормить-поить станешь... Да только мало уж очень, сынок, тыщи-то, пожалей старушку, прибавь три рубли.

Барин тут гоготать взялся. Прыгает у него на грудях золотая цепка, брюхо, того гляди, из-под жилетки вывалится. Достал барин портмонет, отсчитал сто рублей копейками, благо старуха неграмотна, а от доброты еще три рубля прибавил и за сговорчивость полтинник дал.

Расцвела Кутафья, помогает барину в мешок Бурыгу укладывать, а тот было отбиваться стал, барина зубами за варежку. Зашипел барин:

— Я вот тебе, чертище...

Дал детенышу под микитки, тот и стих: много ль безродной окаяшке надо!

Просунул барин в мешок хлебца краюху, чтоб с голоду детеныш в дороге не подох: сто три с полтиной — деньги не малые, швырнул мешок в сани, погоготал еще по-жеребиному и уехал. Даже у подрядчика не побывал: заспешил с чего-то барин.

Долго потом тосковала Кутафья, что за Бурыгину кофту придачи с барина не взяла.

VIII

На станции переложил барин Бурыгу из мешка в чемодан, еще хлебца дал, ключом защелкнул, залез в вагоне на верхнюю полку спать.

Всю дорогу зверем храпел. Поспит, проснется, просунет руку в чемодан, дернет Бурыгу за нос сонного, а то и ногтищем в нос прищелкнет, для собственного удовольствия, и конфетку даст.

Было в чемодане душно, но было и еще кой-что: прямо в живот Бурыге уперся железной своей головой граненый флакон и как будто насквозь Бурыгу хотел проткнуть. Но детеныш надувал живот, и флакон нехотя отодвигался в сторону. Тогда свирепела щетка, бывшая у Бурыги в головах, и всеми своими тонкими иглами, как шильями, впивалась в Бурыгину шею. Бурыга огрызался как мог, плакал тихонько и закусывал корочкой.

...Барин из пролетки вылез возле большой деревянной коробки с облупленной вывеской и строго глянул на извозчика. Тот виновато поморгал рыжими глазами, стыдливо почесал кнутовищем лошаденкину спину и вдруг лихо выбросил:

— Двугривенничек!

Барин молча протянул ему фальшивый четвертак и важно прошел в подъезд. Человек, сидевший за конторкой, дважды сложился ножиком и благоговейно застыл. Барин грохнул чемодан на прилавок — флакон и щетки сразу напали на детеныша! — и проговорил с достоинством:

— Гривен за восемь...

Ножик зашипел, подсовывая грязную большую книгу:

— Распишитесь... фамилию-с!

Барин расчеркнулся: Гейнрих Бутерброт... и, уже уходя, бросил к вящему ножикову недоумению:

— Пришлите самовар и таз!

Войдя в свой номер, он неторопливо распаковал детеныша, налил из самовара в таз кипятку, вкось пощурился на сжавшегося в углу Бурыгу и сказал хмуро:

— Мыла-то вот и нет у меня... Ну, да ничего, я тебя, тварь, и щеткой славно обработаю!

У Бурыги при тех словах шерсть шишом встала. Но барин, не теряя времени, сунул его в кипяток и принялся тереть головной щеткой.

Щетка восторженно заходила по Бурыгину телу, неожиданно прыгала с детенышевой ноги прямо на шею и там оставляла свой свирепый след. Потекло с Бурыги родное, зеленое, а барин отдувался, скоблил разными острыми предметами Бурыгины копытца, сопел сильно, утешая изредка:

— Ничего, чертище, потерпи... на человека зато похож будешь!

Уж он рассердиться собирался, лесной детеныш, но тут кончил Бутерброт, снял простыню с кровати, вытер истово Бурыгу насухо. Слиплась мокрая шерстка на детеныше, согнулись зябко коленки, хвостик понуро повис. Оставил его барин, за котлеты принялся, ел их, широко открывая беззубую пасть,— зубов у него было всего четыре, и то спереди только, для видимости. Бурыге же снова хлебца дал.

Вечером барин Гейнрих Бутерброт спрыснул Бурыгу одеколоном, запер в чемодан и повез в цирк. А Кутафьину кофту ножику отдал:

— Старьевщику продадите — можете себе взять. В наши,— говорит,— дни и гривенник деньги!

IX

Вот дела-то: Бурыга — человеком стал. Его портрет на бумагу пропечатан, и сам он уж в сюртуке ходит, волосы бобриком стрижет. Но серыми мутными утрами, когда зашевелится в бесьем сердце лесная тоска, ворует он рюмками у Бутерброта коньяк.

А Бутерброт разбогател: себе в пасть золотые зубы вставил, а мог бы и брильянтовые, да отсоветовал один там: не практично, говорит. Купил машину самоезжую и парня в шубе к ней, купил шляпу ведром. Разбогател Бутерброт, собирая двугривенные за Бурыгин позор...

Беда Бурыге! По утрам вертел его барин так и сяк, пока у детеныша зеленый пот не проступал, а вечером Бурыга сам уже привычно лез в чемодан и защелкивался изнутри ключиком.

...В цирке сам Борис Исакыч Меер выводил Бурыгу вместе с рыжим клоуном Осипом Иванычем на арену: там ждал их подсобный малый с лицом истязателя. Он ловко швырял Бурыгу с подкидной доски вверх на трапецию, а Осипу Иванычу одновременно совал в нос щепотку белого порошка, от которого плохо видели глаза и страшно чесалось в носу. Бурыга кривлялся там, наверху, а Осип Иваныч ходил, припрыгивая, по арене и мучительно чихал под оглушительные аплодисменты публики.

Бросали иногда Бурыге конфеты и яблоки,— их тотчас же за кулисами съедал Бутерброт, а однажды какой-то жизнерадостный мальчуган швырнул Бурыге апельсин и попал ему в нос. Бурыга и на это проговорил хрипловатое, увесистое «мерси», а ночью поплакал от обиды.

Вскорости Бурыге совсем конец пришел. Цирковый мучитель был выпимши и не сумел дошвырнуть Бурыгу до трапеции. Детеныш лепешкой ударился об песок, и его на руках унес за кулисы Осип Иваныч под безудержный хохот весельчаков.

Когда нес его клоун,— Бурыге было очень больно везде,— они глядели друг другу в глаза. На них в свете ярких ламп смотрели тысячи зорких глаз, и никто не заметил ничего; их слушали тысячи длинных ушей, и никто не услыхал ни слова из того, что говорили эти двое скоморохов друг другу. А они говорили вот что:

— Я тебя ужасно полюбил, Бурыга...

— И я тебя тоже, Осип Иваныч.. очень! За то, что уж больно ты на нашего брата, лесного, похож.

Сломаться в Бурыге было нечему: костей в проклятиках не бывает, но Бурыга наутро не встал. Барин Гейнрих Бутерброт был в отчаянии, барин Гейнрих Бутерброт рвал себе волосы на висках,— на других местах не рос у него волос... Барин Гейнрих Бутерброт хотел с горя в запой удариться, но тут подошло ему избавление.

X

Заехала совсем случайно в тот самый городишко одна испанская купчиха. Муж-то ее еще год назад выиграл на билет двести тысяч и помер от радости, а купчиха поставила на мужа памятник, стала жить да поживать, деньги проживать, кататься в полное свое развлечение по белу свету. Везде побывала баба, все главнейшие вавилоны объездила.

Давно уж она сердцем беспричинно тосковала, а как увидела Бурыгу, детеныша-нос-хоботом, так и вострепетала вся. Ворвалась к Бутерброту через неделю после Бурыгина падения, с ножом к горлу пристала,— так ей захотелось Бурыгу себе заладить:

— Продай ты мне, купец, детеныша... Возьми сколь душе твоей угодно, а доставь мне такое полное удовольствие!

Бутерброт заломался сперва:

— Помилте-с,— возразил,— он мне, можно сказать, как сын: в одной кровати, можно сказать, спим... из одной тарелки кушаем!

На дыбы взвилась купчиха:

— Ах, нет, нет! Уважь ты меня, господин!.. Я его наукам обучу, человеком в свет выпущу, доброе дело сделаю за мужнин упокой!

Бутерброт рожу скривил: в душе-то он и сам был не прочь от детеныша избавиться,— хлопот больно много стало с ним: то ученые приезжают, мерку с Бурыгиной головы снимают, через телескоп на него глядят, то газетчики оравой наедут, пристанут с расспросами: «А может ли он по-французски разговаривать, а может ли гвозди есть...» — страх!

Чавкнул вставными зубами Бутерброт:

— Мильон... — Да испугался, что купчиха так уедет.— А с вас только пять тыщ возьму... Извольте адресок и задаточек,— упакую-с и пришлю-с.

Купчиха ему все деньги сразу выложила.

— Твой,— говорит,—товар, мои деньги: получай за наличный расчет.

Рассовал барин бумажки по карманам, надел шляпу ведром, поехал деньги пропивать.

И Бурыга уж у купчихи выздоровел.

XI

Не все же по заграницам шататься, пора и домой: отправилась купчиха в Испанию. Тут множество она неприятностей вынесла: у Бурыги паспорта своего не было, а за сына родного его принимать непригоже купчихе,— засмеют земляки. Пришлось за Бурыгу заплатить дорогую пошлину, как за продукт иностранного производства.

Ехал детеныш в теплом ящике, закутанный в одеяло, которое купчиха взяла на память при отъезде из гостиницы, по испанскому обычаю.

Ехали-ехали — и приехали.

Дома у купчихи стал детеныш Бурыга третьим: первой была купчихина комнатная моська Аннет, с человечьими глазами, вторым попугай Зосима, которого покойный купец в свободное время обучил ругаться неприличными словами. Бурыга же третьим стал.

Кормили у купчихи плохо: утрами к зеленой бархатной подушке, где выздоравливал Бурыга, приносила горничная крохотную чашечку кофию и просвирку за упокой купчихина мужа. Бурыга съедал это немедленно и немедленно же принимался за поиски съестного в купчихином доме: крал пищу у попугая Зосимы, выпивал масло из лампадок — у купчихи их до сотни висело, жевал купчихины валенки под диваном, а однажды стащил втихомолку с кухни три с половиною фунта ядрового мыла. Окаяшке все на подхвате давай сюда. Бурыга все ел, и все ему было мало.

Но как только он насыщался, тут и начинались его смертные муки: выходила купчиха обучать его разным наукам — арифметике, географии, закону божью и всякому глубокомыслию, от которого тоскливо коробилась кожа на лбу и уныло морщилась бесья душа.

И думал тогда Бурыга:

«Куда уж Рогуля премудрость любил, а и то сбежал бы... Ей, сбежал бы!»

XII

В яркий день на зимнего Николу — в Испании и по воскресеньям мороз щиплет! — вышла купчиха на урок в розовом капоте. Волосья у ней на голове, смирившись под деревянным маслом, дорожками пролегли, а на затылке были так туго заверчены, что вот-вот масло с них закаплет.

В тот день вселилась радость в купчиху: обещал к ней главный испанский архирей приехать. Третьевось у обедни насчет Бурыги ее расспрашивал и так высказался: «Наслышан я об вашем, с позволения сказать, детеныше... Непременно нужно его, знаете ли, в испанскую религию привести, а потом в лес пустить: пущай он и там нашу веру разводит». А купчиха так и расцвела усердием послужить своей испанской вере.

Вот вышла она к детенышу, села на стул, стала молитвы спрашивать. Прочел ей Бурыга испанскую «Богородицу», рассказал ей про тамошнего чудотворца, что по морям пешком ходил,— отчетливо рассказал; не удержалась купчиха и погладила его по шерстке, по головке. Погладила, да и нащупала бесьи рожки... Посинели тогда купчихины щеки, волосья поднялись из деревянного масла, а из глотки такой полоумный визг выкатился, что стало вдруг детенышу не по себе. Посмотрел он исподлобья на купчиху, и не стерпело окаяшкино сердце,— расшеперился проклятик, боднул и разок и другой купчиху, хотел перестать, да уж размахался очень: и по третьему разу боднул.

Завизжала купчиха, как немазаная дверь, затявкала шавка эта ее несчастная, зубами в Бурыгину ногу вцепилась... суета поднялась... И пока поили нашатырным спиртом обезумевшую хозяйку, удрал Бурыга в одной рубашонке, как был, из купчихина дома.

Верст десять с воем бежал, копытца в снегу вязли, нос туда-сюда мотался, да наконец силы не стало: повалился в сугроб у реки замертво. Тут его и нашла графская кухарка.

А купчиха в тот же день два водосвятных, один за другим, молебствия отслужила — по случаю избавления от беса.

XIII

Готовился граф к именинам. Неизвестно, когда его свят-ангел по испанским святцам, а только Бурыга заранее по суматохе догадался.

За неделю стал граф к празднику готовиться: пирог испекли в сажень, колбасы корзину целую купили; сам граф, рукава засучив, яблоки рубил, наливки на разных травах настаивал.

К тому времени не столько во избежание простуды, а забавы ради сшили Бурыге мундирчик с эполетами из валявшейся на чердаке попонки,— совсем шутяка гороховой масти стал. Вот наступил торжественный день. Пришел графов дядя, лысый старикан под названием Иван Сергеич, прикатил испанский архирей со свитой, прибыла та испанская купчиха, соседка графова; притащилась одна глухая барыня и невест с собой привела: две дочки как бочки, а третья сухая черная загогулинка в кисейном платье... И другой мошкары уйма налетела.

И пошло среди них веселие отчаянное: развалились гости на диванах, пьют наливки, колбасой закусывают, лимоны чисто репу жрут. Сам граф вприсядку поперек квартиры ходит, лимонад и наливки бутылками гостям раздает, былые времена раздольные вспоминает.

— Пейте,— говорит,— пейте, пожалуйста. Упивайтеся заместо вина, для здоровья! А я вам тем временем сюрприз подготовлю!..

Собирался граф одним секретцем своих гостей подивить, показать им напоследях детеныша-нос-хоботом. А как подошло то время,— гости песни орут, архирей шатуном меж столами бродит,— снарядил граф Бурыгу подносом, на поднос бутылок наставил, выпустил его через дверь на середину. Трется нос о поднос, идет Бурыга.

И вышел он посередь, да как завидел купчиху — грохнулся поднос о пол,— на полу винное море, по нему стеклянные острова пущены.

Купчиха-то и не разобрала спросонья, с чего грохот пошел, на голову она слаба была, а граф рассвирепел: вытащил Бурыгу за дверь, там ему потасовку смертную дал и в заключение ногой пристукнул.

С этого Бурыге болезнь пристала.

XIV

Лежит на кухне под кроватью, половиком накрыт, детеныш-нос-хоботом: лежит — сопит, в нутре искры шипят, в голове смолу варят, из ног нитки тянут: граф ему главную жилу надорвал. Дает кухарка Бурыге огуречный рассол пить, да ведь только рассол против отбития и перешибу не помогает.

Лежит Бурыга, и идет от него по кухне тяжелый дух. Скучно ему так лежать, нет-нет да и выползет на середину, на солнышко... Тут и быть беде: вошел граф неслышно на кухню,— у него к ногам резина приделана,— вошел и увидел Бурыгу.

Зашипел испанский граф, зубами так и хрустнул,— глазом вертит, руками машет — стал кухарке так приказывать:

— Выкинь его за ворота, там его подберут... Или нет, ты его лучше завтра утром соседу в колодец брось! — У графа с соседом давние нелады были.

Накричал, вышел и дверью шибанул.

Заплакала было кухарка, но снизошло на нее тут просветление: снесла кухарка Бурыгу в конуру к Шарику. Графского распоряжения ослушаться не смогла баба из боязни потерять место.

Шарик же был пес сторожевой, бывалый зверь, усы у него седые. Шарик — кухаркин первейший друг, к нему и поселили Бурыгу.

И подружился детеныш с Шариком, делились они костями и спали вместе, как родные.

Тогда зима еще не кончилась.

XV

Раз — в Испании феврали свежи случаются! — одна ночь холодна была. Спали весь день два лохматых в собачьей конуре, друг дружку грели,— ночью на двор вылезли.

Луна в небе, звезды к краям ползут,— ночь глубокая. Посидели дружки на синем снегу, на луну повыли в голос, а потом домой вернулись, залегли, укрывшись старым лоскутом,— кухарке доброе здоровье.

Вздохнул Бурыга, стал Шарику свои странствия рассказывать:

— Происходим мы из лесу, откуда сюда солнце приходит. Кроме меня, еще Волосатик там жил, а с нами еще один — Рогуля... И жил в том бору один старец справедливый, Сергий,— он бога славил и всю земную тварь любил. Раз в зиму одну... а у нас зимы лютые: там утром примерзнет солнце к самому краю земли и встать не может, темь весь день! — раз в ту зиму,— некуда нам деваться, теплин ни одной не было,— мы и залезли к старцу в трубу печную,— там и проживали. Знал это старец и молчал и оставлял иногда нам, как бы случаем, на шестке то хлебца корочку, то щец в плошке, а мы и сыты...

Да вот пришла Волосатику пустая блажь — старичку тому табачку нюхательного подсыпать. Посмеяться и мы были не прочь... А старец, надо сказать, строг был: блоху жалел, себя же еженощно терзал по-разному.

Откудова достал, не знаю — и посыпал Волосатик табачком старцеву просфору... Затихли мы в трубе, ждем. А Волосатик мне хвостом ноздри щекочет, смех меня разрывает...

Тут мы слышим вдруг чихание и гневный клич: «Ты, говорит, Волосатик, сгоришь золотым цветом на Иванов день. Тебя, говорит, Рогуля, зашибет дед на Ерофея до смерти. А ты,— это мне-то он говорит,— Бурыга, с перешибу от поганой руки будешь в чужой земле сдыхать,— не сдохнешь, но завоняешь...»

Вот как вышло. Нету теперь моих приятелей... один я, да ты у меня.

Завздыхал Шарик, душа в нем не по-людскому отзывчивая. Думает Шарик свои думы, Бурыга свои... Тепло в конуре, шерсти много.

А за конурой идет бледная луна, остановилась синяя ночь, звезды по небу, повыть охота!..

XVI

Раз как-то в начале марта случилась такая же пронзительная ночь.

Лежал-лежал детеныш да повернулся к Шарику, взглянул на друга — и как взглянул, так в самом дух и замер:

— Шарик, а Шарик...
— Ну, чево тебе?
А Бурыга замолчал. Потом опять:
— Шарик...
— Да чего тебе, право, не лежится?
— Я, Шарик, домой собрался... туда!
У Шарика под сердце подкатило:
— Зачем тебе туда?
— Не то у вас тут, у нас лучше... Тебе, Шарик, не понять. Я туда пешком пойду.
Опять оба замолчали.
...В небе синяя ладья. В ладье той плывут неведомые сны, по земле цветут синие снежные цветы,— кто Хороший посеял вас?
Только здесь Шарик с ответом собрался:
— Ну что ж, валяй... оно ведь как, у каждого свое влеченье сердца!
И спиной повернулся к Бурыге. Потому и повернулся, что не хотел показывать свои собачьи слезы.
Бурыга спросил обеспокоенно:
— Ты с чего это, Шарик?
Проскулил Шарик грубо:
— Так это, пустяки у меня... видать, от старости.
В эту ночь они в последний раз на луну сообща повыли. Больше лун не было,— крались исподтишка по небу сырые низкие тучи, караулили весеннее солнце.
И однажды собрался.
Март на исходе,— у Бурыги в тряпку кости завернуты, хлебца кус там же, на самом кофта ватная старая — кухаркин подарок. Добро вам, три добрые!
Постояла кухарка на крыльце, поглядела на окаяшку, прошептала жалостливо, как молитву:
— Ну, ступай!.. замерзла я тут с вами. Да смотри под машину не попади! Эка нескладный зародился...
И ушла.
Подсел Бурыга к Шарику, лизнул его тот в нос-хоботом и опять спиной повернулся: собачьи глаза слез не держат.
Вышел Бурыга за калитку.
И опять в небе ночь была. Она шептала молитвенно вниз:
— Ступай, Бурыга, ступай... Я тебя, где нужно, в тьму закутаю, где нужно — на крыльях пронесу,— ступай.

...В ту ночь до утра выл Шарик на дворе. В одиночку выл, вытянув в небо круглую свою глупую волосатую морду... И выл и выл, не давал графу спать, не давал тишине землю сном окутать...

Понятно: собачья тоска — не фунт изюму!

Так дед Егор из Старого Ликеева рассказывал.

Январь 1922 г.

БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ

I

Этой девочке кукол дарили на елку, а было ей всего четырнадцать лет. И была у этой девочки своя солнечная комнатка в мезонине над сиренями. Там дремлет бабушка в овальной раме за пыльным стеклом, и дедушка храбро выставляет гусарскую свою эполетку ветреным потомкам напоказ. Виден из окна этой комнатки парк, большой, как море, а над ним всегдашнее облако, белое, как бабий сарафан на успеньевской гулянке.

А парк был липовый. Когда цвели,— столбы благоуханья липового ходили по необозримым лугáм, как смерчи. Попадешь в столб — закрутит, завертит, потеряешь голову, дороги не найдешь...

Звали девочку Леночкой.

II

Няньку Степаниду не прогонит Сергей Николаич со двора. Нянька Степанида самого его вынянчила. Няньке Степаниде шестьдесят восемь, и она теперь из ума выжила: то и дело воюет Степанида с тараканами, с бродячими собаками, с дикими всклокоченными котами. Но пуще того воюет с чертями,— ходит и воюет. Приедет сам Сергей Николаич с фабрики,— круглый он, под бобрика, и пот ручьем,— увидит — ходит нянька по углам да вязальной спицей чертей шпыняет,— остановится Сергей Николаич пот с шеи вытереть, спросит:

— Что, Степанида Филиппьевна, воюешь?..

Повертывает нянька лицо,— лица и нет, одни морщины.

— Воюю, Сереженька, воюю... Ишь ведь сколько их у тебя напихано,— как мухи развелись. Шкипидарцем бы!

...А еще любит Степанида Филиппьевна на картах гадать. Каждому может она все, что будет, задаром серебром предсказать. К примеру, говорила она Груше про червонную радость с бубенным королем,— и верно: ровно через восемнадцать недель опосля того вышла Груша замуж за кучера Миколая. Только в том и ошиблась, что бубенный-то король, конечно, видом шатен, а Миколай совсем брюнет, вроде перса, какие по дворам с шарманками ходят.

У няньки Степаниды и колода есть такая гадательная, старая: много по ней радостей и огорчений предсказано. Многих карт давно и нет в колоде: червонная десятка погибла случайно под Миколаевым каблуком,— теперь вместо нее шустрая новенькая двойка орудует. Пиковый же туз за дряхлость был выброшен в помойное ведро. Ныне властвует по пиковой части засаленная семерка из чужой колоды. И, между прочим, есть в колоде бубновый валет. Он молодой, у него глаза печальные, у него секира деревянная в руке... Другие — разве могут они с таким сравняться?

III

...Не знал никто, никто не догадался, что в поздние дремотные часы, когда по влажной ночной синеве распространялись майские сирени,— поднимался по скрипучей лестнице к Леночке, в высокий ее мезонин, бубновый валет. А ночи тогда стояли лунные, соловьиные,— не заметишь, как отдашь сердце свое в такие ночи...

Когда под синим колпаком дремоты про полночь пели петухи,— скрипели знакомые половицы, и тихо приоткрывались дверцы, и нежно раскрывались глаза... Становились Леночкины глаза темными и большими, принимающими в себя. И уходил тогда криворогий месяц за деревья липового парка и ходил там по прохладному стеклу ночной реки.

...Нежно приоткрывалась дверца, нежно расцветали глаза. Лежала в девичьей кроватке, слушала милый скрип знакомых половиц и слабый шорох дверцы Леночка, беленькая вся, а он входил и ставил в угол деревянную секиру, и подходил, пугливо озираясь по углам, и становился на коленки, и глядел, все глядел в Леночку застылыми бубновыми глазами.

...И та, распущенный косы локон прижимая к горящим губам, шептала:

— Ты мой славный, мой гадкий... Мой хороший, глупый мой, бубновый валет!..

Томительно долго текло время в зеленые глубины соловьиных ночей. А когда взбирался снова над парком, цепляясь острым рогом за облачко, лунный серп, уходил валет в свою колоду, где ревнивая усмехалась подведенными глазами крестовая дама и шушукала червонной шестерке что-то ужасно обидное про бубновую любовь...

IV

К осени печалятся глаза.

У Леночки тоже...

К осени мутнеют лесные озерки, и там, где растворялась весеннего утра голубизна, зыбятся в косом дожде оловянные воды.

К осени променяла Степанида Филиппьевна вязальную спицу на скалку: скалкой-то их способнее. Его стукнешь по головке, он и боится. А проколешь спицей,— так вони много... У них глаза с зеленцой, а хвостишши крысиные: шкипидарцем бы!

...К осени печалятся глаза. На клумбе в парке посередь последних астр тайком ерошится пугливо мышиный горошек, и каменеют жесткие крапивы в пасмурных днях...

Нянюшка Степанида Леночке говорит:

— Чтой-то ты, Леночка, не в себе, и глаза у тебя темные... Пойдем,— погадаю тебе! Ох, устала...

Весь день нянька чертей колотила, вот и устала.

— Погадай! — У Леночки проснулось что-то там.

Пошли вниз, в столовую, там сели. Расклала нянька карты по дивану, красные и черные, семерки и тузы...

— Вот, девонька, вот... Сейчас я счастье твое выгадаю. Выходит тебе... Ты слушай!.. Выходит, видишь, тебе большая удача с червонным антиресом... Любит тебя, вишь, девонька, бубновый шатин, а ему винновая дама на пути досаду строит... Ишь ведь глазишши вытурила, каверза! Но ты не беспокойсь: опосля трех крестовых дорог приезжает к тебе, значит, винновый король из казенного дома, и станешь ты без никаких досад

королевной за винновым-то королем! И-и, не печалься, вырастешь — забудешь, забудешь — другая станешь...

...На тераску, где тарелками Ксюша громыхала, Сергей Николаич взошел. Ох, уж и смех у него: словно бревно под гору.

V

Ездили каждое лето на дачу; своя была у них дача, в Барановке. Там бабушке Параскеве Иванне внезапно изъяснился в пылком приступе бригадирской своей любви Варежников, Николай Петрович. Там умерла скоропостижно по причинам неизвестных обстоятельств тетушка Агриппина и родился с неистовым криком Сергей Николаич сам.

...Каждое лето. И была Леночка все прежняя, черный бант — как бабочка-кудесница в тугой ее косе. Походка Леночкина та же, легкая, но что-то начинает тяжелеть.

Все то же. Как и раньше, веснами, лиловым набатом буйствуют под Леночкиным окном веселые сирени. Нестареющий гусар гарцует потускневшей эполеткой из-за пыльного стекла и подмигивает кому-то в сумрак потухшим оком.

По ночам все так же скрипит седьмая сверху половица и неслышная распахивается дверь. И опять он встает на коленки и ждет, покорно складывая руки на груди, хороших Леночкиных слов, но молчит Леночка, и холодна душа ее, как февральская земля, обещающая ласку к весеннему дню: надоели Леночке бубновые слезы, опротивела бубновая, ненастоящая любовь. Видела Леночка во сне другого, который лучше. Спала, раскинув руки, не слыхала валетовых слов. Леночке в сентябре шестнадцать минет.

...Все реже улыбалась Леночка, когда проникал сквозь закрытую дверь знакомого шага шорох.

VI

Когда кончилась осень, наступила зима. Потом прожурчало солнцем вверху лето, и снова осень, в которой было много дождей. Алым тлело подмерзшее золото лип, а на клумбе, раздавленной дождем, качал разбухшей головою чертополох...

Ныне нянюшка Степанида Филиппьевна в земельку ушла,

на спокой, а Леночка невестой стала. И стала веселой вдруг. А в сундучке у Степаниды Филиппьевны — чахнул среди лысых тузов и неласковых дам бубновый валет, тот самый...

А случилось это жданно и гаданно. В воскресенье, после завтрака, в два часа дня сидел Сергей Николаич в кресле на терраске и сонливо изучал строение своего правого штиблета. Вдруг на извозчике — Алексей Семеныч. Сергей Николаич всегда гостям рад: «Ксюша, самоварчик, да тово, этово...» Распахнул объятия, но тут-то и заметил: на Алексей Семеныче сюртук, с носу пот и вообще именинником весь. Сергей Николаич, конечно, сразу прекрасно все это понял, пуговицы застегнул и помычал в знак того, что он прекрасно все понимает. А Леночка уже заметила и убежала спрятаться в мезонинчике.

Алексей Семеныч, не теряя времени, свирепо потер руки и приступил к делу:

— Вам, конечно, известно, Сергей Николаич, что при моем положении в университете, и так далее...

Сергей Николаич вытер лысину и спокойно ответил:

— Что ж, не мне решать судьбу, и так далее...

Тут выбежала Леночка, бросилась Алеше на шею, и все было кончено.

Тогда Алексей Семеныч снял сюртучок, повесил его на кресло и сел пить чай, а Сергей Николаич ему наливал и рассказывал, как и что, а Алексей Семеныч поддакивал.

VII

Все молчит, все спит, убаюкиваемое косым царапаньем редкого дождя. Порой в канаве грязной под забором, где пахнет сорной пустотой, пошевелится ветер и снова спит... И только изредка собачий лай из недалекого Усолья облетит дозором тишину.

У Леночки веселый огонек, в мезонинчике дружный смех. Сидит Леночка рядом с женихом. Запрокидывается в смехе Леночкина головка на женихово плечо: Алексей Семеныч Леночке растопыренными пальцами козу-дерезу строит.

Звенят два смеха в тесной комнатке, где бригадирша, Параскева Иванна, жеманно морщит детский ротик и в который раз вдыхает с приятностью несуществующие запахи нарисованного букета.

— Вот на этот пальчик мы наденем колечко простое, а на этот обручальное...

— А этот?

— А этот мы поцелуем!..

...И не слышал из них никто за смехом и дробными стуками дождя, как скрипнула седьмая сверху половица, как приоткрылась узкой щелью дверь, как ахнуло растерянное сердце, когда увидел другого в мезонинчике испуганный валетов глаз. Но спустился он все так же тихо вниз, заглянул в столовую — тишина; прокрался неслышно к нянькину сундуку, который забыла Степанида Филиппьевна, уезжая на тот свет. И там, в колоде, между двух ветреных шестерок, горько сжимая деревянную секиру, поплакал втихомолку бубновый валет. Сзади него шептались о суетности здешних дел два лысых туза, на сердце навалилась каменной колодой винновая девятка. И ревнивая дама пикового свойства, высунувшись из колоды острым краешком, хихикала неслышным едким хохотом, смахивая скупую винновую слезу на кружевное свое плечо...

Потом уехали Варежниковы в город. Нянькин сундучок не с собой же везти!

Через две недели, одетую в белое, увез Алексей Семеныч Леночку к себе. И пришло к ней червонное счастье, и была она как королевна за своим винновым королем... И только однажды, когда стукнуло Елене Сергеевне сорок,— всю ночь, в отчаянье и в слезах, целовала она в памяти своей бубнового покинутого валета.

Март 1922 г.

ГИБЕЛЬ ЕГОРУШКИ

М. В. Сабашникову

I

Каб и впрямь был остров такой в дальнем море ледяном, за полуночной чертой, Нюньюг-остров, и каб был он в широту поболе семи четвертей,— быть бы уж беспременно поселку на острове, поселку Нель, верному кораблиному пристанищу под угревой случайной скалы. Место голо и унынно, отдано ветру в милость, суждено ему стать местом широкого земного отчаянья. Со скалы лишь сползают робкие к морю три ползучие, крадучись, березки, три беленькие. Приползли морю жаловаться, что-де ночи коротки, а ветры жгучи. Море не слушает, взводнем играет, вспять бежит.

Над Нюньюгом по небу в зимние ночи полыхают острозубые костры сияний северных. За Нюньюгом в морской глубине летними ночами незаходимого солнца пожар стоит. А по болотным нюньюгским местам расползлась на все восемь разноименных сторон невеликая ягодка клюковка, единая радость голого места за полуночной, последней чертой. Еще растет по Нюньюгу брусничка, клюквина сестричка, матушке морошке сноха. Птица, протяжным криком осеняющая нюньюгскую весну, клюет ее. А еще курчавится в зыбинах мох белый. А на самой последней тупине, где ночные воды лижут непрестанно зуб-камень, встала посередь кукушкиных ковров единая сосна, рослая старуха, глухо шумящая на ветру.

Приходил сюда один самоедин смелый, молодой человек, по взбудному следу зверя. Ветер душу его к сосне пригвоздил. Провисела душа на гвоздике долгое множество лет. И состарилась. И скатилась к морю гнилым дуплом, безглазым отрубком.

II

Олень не тощ, а нарта справна, а малица не ветром стегана,— выехать тебе из Нели поране, к обеду сумеешь до Егорушки берегом домчаться. Там забудешь под пресветлым взглядом его и про всякую скорбь жития, и про то, что с головой тебя завеять сбирается встречный снег в кривом овраге над Выксунью.

Тихое, неветреное небо живет в Егоре. Было утро однажды, чайки гнали криком воронью зиму,— белый ошкуй, на ледяном откосе с Егорушкой встретясь, земно поклонился ему, теленком мыча.

А в ту пору, когда рыхлой земле сырой от роду еще не боле трех дней было, наступил морской Никола нечаянно, землю дозором обходя, на смутную грань моря и суши первозданных и след свой оставил здесь... Промелькнули потом буйной оравой не уловленные в память дни, канули в пустотные тартарары вся сотня сотен и тьма тем. И в том Николином следу вырубил отец Егорушкин хижинку себе двуглазку и сараюшко к ней. А чтоб неповадно было косоглазым бурьям под крыши заглядывать, придавил он крыши каменными круглыми лепехами.

Отошел к дедам Егорушкин отец; деревянное распятье могилки его еженощно хорява-ветер целует, отправляясь на разбой. Прикупил тогда себе Егорушка карбасов новых два, сплел себе сильны яруса, взял в жены себе узкоглазую Иринью, Андрея Фомича дочь из поселка Нель... Иринья, вот она: в глазах ее щебечут серые ласковые пичуги, сердце же подобно обители веселых зайчат. Два лишь года отделили Егорушкину свадьбу от нонешнего дня.

Так и живут они. Ходит Егорушка на грудастом карбасе по заливчику, снимает яруса, а жена ему веслом привычным правит путь. Ветер им песню котенком мурлычет. Волны бегут, торопясь разбиться. Глазу широко, и душе легко.

III

Зачнем рассказ свой с единой рыжей осени.

Вечер обозначил лиловой тучей в закате поздний путь свой. Полнеба в огне, полнеба в пене морской. А по Нюньюгу расползлись туда и сюда огненных колымаг колеи.

На зализанной морем отмели, возле карбасов, сидят два. Колеблет ровный ветер бегучую зелень моря и прибитые былинки, касаясь и головы Егорушкиной, осиянной светлым льном волос. Торчит несуразно у Ириньи под холстинной юбкой выкруглившийся полной луной живот ее. И это хорошо, что на девятом месяце она. Скоро-скоро, недолго ждать осталось, заплачет маленький на острову. И отмерит Никола рыбной благодати нескупо на сынишку Егорушки, нагоняя рыбу в заливчик, подобно весеннему тюленю. Что ж, выедет Егорушка в утрее время, да и подцепит пикшуя пудов на двенадцать... Вот дивень, на таком и в Соловки обыденкой скатать возможно!

Сидят два. Неторопливым ручьем разговор идет. Одиночью не замутить сердец их.

— Сергей-то Яковлич, хорошо, мучки догадался.

— Наказывал я ему про мучку, с весны еще наказывал.

— И сахарку тож. Для маленького-то ко времени подошло.

— И сахарку...

Золотой буерак в небе из пены вылез. На нем замечательный, неувядающий расцвел раскидисто небывалый огненный цвет.

— Егорушка, слышь, звон идет.

— Зво-он!

— Может, с Кондострова то?.. в набат колотят?

— Пора не пожарная. Вечерний то звон.

Порождая смиренство духа на встречных кораблях, на малых островах, на рыбных ловах, в кораблиных становищах, идет по соленой ряби моря ледяного Саватеево благовестие.

Побурели болотца радужной ржой. Тащут ветры в синие погреба грузные ижемки свинцовых облаков. А небо великим пожаром журлит, клокочет цветным, как пасхальная в Нели ярманка.

— Иринь, а ведь пора б ему быть. Когда девятый минет?

Круглым животом ластится к мужу Иринья.

— Пора, пора. Парус ставлю намедни, а он и трепыхается, птенчик-то! Чать, в неделю эту прибудет.

Взрезали тут, там и еще подале зеленую гладь острые играющих рыбин хребты. Заплескалось, ослепляя, драгоценное потухающее каменье.

— А назовем-то мы его как?

Егорушка думает:

— Варламом мы его назовем.

— Так ведь, может, девочка придется!..

Машет рукой Егорушка:

— Ну, вот, скажешь тоже, девочка. К чему ж девочка, раз мне в помощнике нужа̀!

Тихо улыбается Иринья, полузакрыв глаза. Как в бреду:

— И будет он Варлам Егорыч зваться. И будет на быстрых ёлах по белым морям ходить. Женится...

Радость низошла на нюньюгских двух.

— Шняку себе купит! Намедни в Нели норвежин один, пьяный, шняку свою продавал. Отец сбирался купить, не знаю. Хорошая шняка, птичкой, зря не купил ты!

— Пьяный мне не продавец!

Чайки плещут крыльями по серебру. Идут в закат стадами сгорать золотые невиданные звери.

— А што я думаю, Егорушка... До неба небось и в пять годов не дойти, каб лесенку туда приставить?

— Хе, жена: откуда ж плавнику ты на такую лесенку наловишь. Туда лесу прорва пойдет!..

Под простором белых крыльев ночи нюньюгской не цветет, не расцветает алый цвет. Зато невидимо расцветает по Нюньюгу маленькая душа Варлам Егорыча. Ну да, ну конечно! Станет Варлам Егорыч бородатым промысловым купцом, суровым капитаном своей посудине. Будет он низкое небо мачтой веселой ёлы чертить, будет процеживать ветровые потоки парусами, а море карманами. Будут здоровкаться его покрученники со встречными в ледяном море кораблями:

— Ма-арк Кузьмичу, на-аше ва-ам!..

— Варлам Егорычу, пожалста, здравствова-ать...

— Как пожива-аешь, Варлам Егоры-ыч?

— Ничево-о-с! Никола не забывает да Елисей Сумской...

Нюньюг ты, Нюньюг, рыжий теленок, унынный ты! Через двадцать восемь ден отстегнут морозы пуговку-клюковку. Выскочит и оглянется белый зверь. Синим снежным облаком пушистым разволнуется болотная твердь. И замрешь и повянешь под черным небом непроходной ледяной стороны.

IV

Потому ли, что была то пятница первозимнего октября, ночью взбесилось море, взбеленилась буря, закричала больно, как полярный сыч глазастый, в куропачий силок попав.

Словно зубами море скрипело,— трещали, сталкиваясь, в обширных пустынях ледяные тороса. В брюхе у страшного Сядея урчало с голоду,— волны исступленную пляску на отмелях завели.

Ветер слонялся и проваливался в бездонные ржавые кисели. Злился, с маху бил по средине воздуха, по киселям, по рыжему покорному теленку. А воздух несся и гудел, подобно ошкую, ужаленному меткой острогой прямо в глаз.

В такую-то ночь и опросталась Иринья. К утру заплакал маленький Варлам, и громкий плач его сменил трудные стоны Ириньины. И улыбнулась мать, услыша у сердца сыновний голос.

Вописуется в небе первой радостью радость матери, а второю — радость впервые узревшего свет.

...В то же утро пошел Егорушка на колодезь за водой, для надобностей Ириньиных, с бадьей, а вернулся с ношей. Была ноша черна, на голове же напяленный клобук воду высачивал. Сама же ноша кряхтела сильно, словно не Егорушка ее, а она Егорушку тащила.

Повалил ношу на пол:

— Счас вернусь. Пущай полежит человек сей... Бадью захвачу!

Приподнялась Иринья на печке, видит: лежит человек, монах. Облепила черная крашеная холстина занемевший его сухожильный костяк. Растекается лужа по полу, из-под рясы же торчат, узкими носами вверх, на деревянной подошве бахилы. И вот открыл правый свой, потом левый глаз и пошарил Иринью невидящим взглядом и всем животом под намокшей холстиной вздохнул, и встретились взгляды, два. Ребенка от груди оторвав, потому что ахнуло внезапь испуганное сердце, вскрикнула Иринья — выскочили два слова и замерли:

— Ты кто?

Сквозь семерых передних зубов гниль, сквозь рыжую щетину моржовых усов, словно горстка воды перелилась, сказал синеющими губами:

— Слуга бо́гов, Агапий я.

Не остановилась Иринья:

— А черный такой зачем?

Закрылись глаза, ноги колодками обозначились по мокрой рясе, замер деревянный лик, имеющий подобие осенней тундры с чахлым кустиком облетелой осенней сихи под губой.

Лежит безответно морской подарочек, сопит. И вот страшно закричала Иринья, и ребеночек звонко заплакал, ручонками тарахтя, вместе с матерью.

Тут Егорушка взошел. Закидала его Иринья словами:

— Егорушка, зачем он тут?.. — зачем у него глаза голые? Маленький напугался наш...

Бадью на лавку, чебак на гвоздь:

— Буря его к нам выкинула. От Саватея небось монашек-то. Пущай, не трожь, приютить надо. Со вчерась лежал, головой сюда, а ноги в воду.

Утро тянулось у окна серым, закрученным в жгут полотенцем. Капала с него по капельке тусклая поганая муть на душу. Днем, когда отобедали:

— Егорушка, ей не лгу, на лукешку он похож! Я на картинке, в девках, у отца видела. Ты б его назад снес, ну его!

Упреком распрямились Егорушкины глаза:

— Зима, куда ему ноне?

— Егорушка, боязно!

— Самой себя страшися, люди ни при чем.

Так и было порешено об Агапии-монахе, в котором сызнова начинало биться сердце.

А на синие берега выползал мочливый ветер. Облака неслись, опускались за краем и наново выбегали с обратной стороны. Туманилась и блекла крайняя черта моря в мелких и частых переметах дождя.

V

Упрямо, угрюмо и гордо, с Успеньева дня дỏ льду, бороздят крепкими носами промысловые суда в осеннем тумане морскую зыбь. Шарят сети тонкими пальцами по дну, вытягивая полезную людскому брюху тварь. Гонит тогда прямо в сети обезумевшую рыбу тюлень.

Большому кораблю все моря от края до краев путь, но Егорушке заказа́н лишь кусочек тот водного места, у которого сидит домок его.

Вчера сказал Агапий Егорушке, из-за стола встав:

— Конешно, постник я, поелику возмогаю при немощи тела. Однако не желаю и корочку хлебца у тебя задаром есть. Буду тебе помогать в делах твоих.

Ему Егорушка всем сердцем:

— Дело твое. Хлебом не затруднишь, рыба — вон она. А за подмогу спасибо, Иринье с маленьким легче!..

Так говорили вчера. А ныне ходит уж карбас по ярусам, сбирает дань. В карбасе двое, и вторым, на веслах, Агапий. Уж больно дикой он в чебаке-то,— чистое водяное пугало, рыжая голова!

Тянет намокшую, медленно, тяжелую веревку из-за борта Егорушка, Агапий же глушит колтухом несчастливых рыбин. Когда бьет, складываются губы его властно, одна на другую. Плещется рыбная благодать серебряными боками, и все глубже усаживается карбас в упругую зелень вод. А вперемежку, между ярусами, ведут они разговор. Агапия слова суровы и остриями тверды:

— Так, значит, без церкви и живете?

— А для ча?

— Для ча, для ча... за грех молить!

Засмеялся Егорушка:

— Гре-ех? А ну те, монаший ты человек, к богу в рай!

Ходит карбас утюгом. Осенний ветер брызжет пеной над головами, дует свежестью в ноздри рыбаков. Нашел Агапий, что искал:

— Вот смеетесь вы часто. Иринья вчерась в захохот чуть не впала. А Исус, скажи, знали ли от смеха уста его?

Карбас беззвучно к ярусу подскользнул, снова зашевелился Агапий:

— Тебе правила-т подвижников как, жук нагадил?.. паук наплел? Василь Великой смех-от начисто запретил, тебе как?

Кустик под Агапиевой губой к носу задрался, а глаза прижали к доске тихую душу Егорушки. Нет ответа у Егорушки, он молчит.

Под взмахом гибкого весла, в порыве верного ветра идет к берегу рыбачья посудина, внезапным парусом указуя жизнь на дальнем сем море. Когда к берегу подходили, Иринью с младенцем, сидящих на берегу, завидя, молвил Агапий как бы невзначай:

— Дохлый у тебя паренек-то, не выживет!

Когда говорил, дрожали у него руки крупной дрожью. Когда сказал, семь больших раз и еще два раза завертелась в ветровом водовороте случайная чайка, в смертной судороге упадая на крыло.

Громко закричало Егорушкино сердце: «Зачем ты говоришь мне все это, зачем?»

VI

Затягивает тина морская белых ночей решето. Море темнеет ликом, рыба уходит в глуби, затяжелевшее небо ночью нависает вниз.

Сломала первая метель недолгого лета весло, зашвырнула промысловые суда в серые кораблиные закутки. Гнусавую песню о погибающих в море, о разбивающих душу свою о камень — тянет ветер.

Клочьями мокрого снега рассыпались над Нюньюгом остатки октября. Ледяной коростой устилают морозы свирепым братьям-декабрям путь. Опустели окружные камни, птиц нет.

Приходит ночь, встает ледяное молчанье,— клюковка пала, мороз ей ниточку перегрыз. Начало наступило.

Шаманит тундра, а в мерзлом воздухе олени роют снег. Стоит на сугробной дали Сядей-Махазей вьющимся снежным столпом, слушает, как плачет маленький Варлам Егорыч у отца на заливчике.

Еще он слушает, как поет самоедин в нартах, уныло и длинно, на пути к чуму своему:

«У меня триста оленей. У меня к осени будет пятьсот. У меня в чуме много добра. Я убью нерпу и продам Марку, а Марк мне даст водку и острый нож... Я пойду на лед и добуду ошкуя. Будут говорить русаки: «Тяка ошкуя руками задушил». А я буду сидеть на его белой шкуре и точить нож, который мне даст Марк».

Еще он слушает, как колдует в становище Нель потный шаман в душной избе, беспамятно скрежеща ногтями в бубен.

Потом в снежном затишье,— неизвестно: зверь, птица или ветер,— был крик.

Паром застоялась изба. Пар идет из плошки, а в плошке щи. Сидят вкруг три живых человека, с половиной. За половинку считай Варлам Егорыча, друг!

Тянется ручонками на кашу Варлам Егорыч. Тихо внутри себя смеется Егор. Полная материнской ласки, улыбается Иринья.

Как бы просветлившись, берет Агапий на руки ребеночка, кидает, подкидывает вверх-вниз, сам же затягивает грубым, как тугой канат, голосом:

— Ходи в петлю, ходи в ра-ай...

Остановится, да подмахнет рукавом — и сызнов, словно и нет у него других песен:

— Ходи-и в дедушкин сарай...

И вот негромко, но все неистовей и громче зашелся ребячьим плачем Варлам Егорыч. Покраснело голенькое, анисовым яблоком, маленькое тельце. А тот все:

— В петлю... в рай...

Встрепенулся в страхе внезапного понятия монаховой сущности Егорушка и крикнул:

— Не пой, не пой так, Агапий!

А уж поздно было: и смех и горе. Вышло, что замарал ребеночек Агапию черную его рясу ребячьим. Тяжело Агапий, дух переводя, поворочал язык за скулами, потом хмурую допустил усмешку на деревянное свое лицо.

— Не петь?.. а тебе што, анхимандрит грамоту из шинода прислал, чтоб не петь?

Набежала тучка на слабый Егорушкин умок:

— Да нет, не присылал... Ох, поди вытри рясу-то, поди, снежком. Изместил тебе Варлам Егорыч!

— Что ж, и поду и вытру. Не годится на монашьей одеже подобный орламент носить.

Иринья, ложку бросив, сует Варлам Егорычу полную грудь, но тот кричит, захлебываясь и замирая. Покуда оттирал Агапий шершавым снегом ребячий поминок, зябко топчась на снегу, пришло Егорушке спросить, и спросил ввечеру:

— Агапь, ведь ты поп?

— Поп.

— А где ж он, крест-от, у тебя?

Смиренно опускает глаза Агапий, и неслышно, но слышал Егорушка:

— В море потерял.

VII

Затягивается ночь, как петля, на шее всяческой души.

Спят в избе, а за избой всякие нечаянные звуки сторожит тишина. Шла большая ночь и шла маленькая. Среди той, большой, и среди этой, маленькой, проснулся Егорушка, словно за руку его кто потянул и сказал: выдь и слушай.

В душном сонном мраке похрапывала долгим и ровным храпом Иринья. Не выдалась она ростом, да недаром из колмогорских Андрей Фомич: грудь у Ириньи крепкая и тяжелая... Ей помогал, подхрапывал по мере сил Варлам Егорыч: отставал, нагонял, опережал даже порою.

Во тьме пощупал место рядом, на полатях, Егор. Заморгал, удивляясь: пусто место, нет Агапия. Соскочил разом, и пимки словно бы сами на ноги ему наделись. Подбросил в очаг поленце на пламенного уголья потухающий тлен. И не скрипнула дверь, и другая в сенях не скрипнула... Вышел и напряг ухо.

Высоко, от моря этого до всех других ледяных морей, шатались, ходили, местами менялись смутные морозные столбы. Была такая тишина, что, кабы крикнуть, не погас бы звук, покуда не устало б слушать ухо. Сердцем угадав за сараем Агапия, пробрался Егорушка, согнулся и выглянул. Не обманулось сердце...

Черный и клобучный стоял голыми коленками в снег, а лицом в поле, Агапий. Руки порой вздымая к полыхающим в небе кострам, звал он кого-то без имени. И то падал всем костяком на разброшенные ладони, то закидывался назад, обнажая деревянное лицо, обостренное мольбой и мукой. Было чудно глазу и непостижно уму видеть такое, и не поверил Егорушка. Схватив снега горсть, сунул в горячую пазуху. Когда же обожгло там холодом, замер, прислушиваясь:

«И еще известил меня дух твой, что Егор с Нюньюга сыном твоим наречется. Не могу преступать путин твоих, но молю: пусть в горниле испытания умудрится дух его. Пусть...»

Не от слов ли безумного Агапия бушевало все сильней и сильней морозное пламя неба?..

«И пусть умрет сын его, Варлам. Пусть порвутся яруса его и лопнут щепьем карбаса его. Пусть останется с единой душой да с телом, как Иов. И тогда ударь его в голову...»

Не дослушал Егорушка, выбежал к заливчику, рухнулся всем лицом в острый снег. Ужалила его стужа тысячью тупых игл в колени, в руки и в лицо. И, полежав так, закричал в небо голосом, полным дикой тоски:

— Эй-ва, вы там, господин Никола милосливый, Зосим с Саватеем, настоятели,— дайте немому слово сказать. Ничего не боюсь, все пусть! Эй-ва, только бы мне насчет Варлам Егорыча...

Не знал продолженья мольбе своей нюньюгский рыбарь, встал. Растаявший снег жег кожу за пазухой. Огляделся: синее безмолвие висит, и ночь идет, и на снегу отчетливы собственные следы.

Вошел, а монах уж на полатях под малицей ворочается. Хриплым спросонья, не своим голосом, словно полуда в глотке

отпала, закашлялся надрывно Агапий. Прокашлявшись, замолк, и сказал ему Егорушка, как бы оправдываясь:

— До ветру ходил... Светлынь на дворе-то!

Агапий почесал ногу, потом отвечал:

— А я тебя во сне тут видал. Будто снимки с полагушки сымаешь...

С печки сонно спросила Иринья:

— Полагушка-то как, с верхом, ли наполовину?.. не полна, так болесть в дом!..

Агапий не отвечал. Маленький с плачем заискал материной груди. Опять заперхал монах, колодой подкидываясь на досках. Егор все думал о чем-то и не мог додумать до конца, разума не хватало. А Иринье виделось: идет странник,— сзади крылья, спереди собачья голова. Тут жучок ползет, но странник наступил сапожком и прошел. Вели блистающие крылья собачью голову вперед...

К утру забыла сон свой Иринья,— тому не до снов, кому хлопот полон рот.

VIII

А по прошествии восьми ден весело гудело самопрялково колесо, прыгало проворное в ловкой Ириньиной руке веретено, и тянулась нитка — как ночь, а ночь — как нитка. Длилась та же большая ночь, и не ближе была весна, и не короче пути снегам.

Егорушка из пыжиков шапку Варлам Егорычу кроит. Жадно и сухо горенье Егорушкиных глаз. Агапий повествует на память негромко, водя перстом по воздуху, и глядит глазами в трепетную тьму углов. Копотно и трескуче горенье жира в плошке.

— «...довелось читать в старой книге Вила, игумена Лифазоменского монастыря. В стране, имеющей имя Египт, произошло так. Был там искусный музыкант, Василид по имени. Слава о нем шла до самых Белых Гор. Он радовал уши египетцев дивными песнями из инструмента своего, покуда утробы их наполнялись мерзостями пищи...

...однажды пришел Василид от одного вельможа, осыпанный дарами, сел и почуял близость смерти, которая не спит никогда. Тогда разбил он дивный свой инструмент, роздал нищим изобильное имущество, сам же сел на горбатого зверя велбуда и поехал к старцу Патфитану, который ушел в пу-

стыню искать скорбь. Приехал и сказал: «Авво, укажи путь мне!»

...сказал старец: раздай нищим пожитки, приходи ко мне. Я живу в темной змейной пещере. В одном углу живет птица стратон, она приносит мне пищу. В другом — лев, он охраняет меня... Сказал Василид радостно: все оставлено, опустошена жизнь. Нет у меня ничего, кроме как в душе любовь к малой моей дочери. Сказал старец: разбей о камень душу. Возвратись и заколи дочь свою и приходи ко мне. Иди и делай.

...погнал Василид велбуда. И трижды останавливался на пути, крича в небо: «Авво, дочь — единый мне свет в близкий канун мрака!» Но молчало ему, и с новой силой загорался в нем дух...

...приехал, вошел в дом и вознес нож над спящей дочерью и не мог сперва. Оглянулся, жутко ища,— не видать нигде, ни в углах, ни под матицей, десницы, протянутой удержать нож. Тогда, крича сердцем, ударяясь душой о камень...

...и вошел нож в дочь его, и умерла та. Снова на велбуде бежал Василид к старцу. Лев облизал ему убившую руку, а птица стратон поклонилась ему. Так разбил душу свою музыкант Василид в рыжей стране Египт...»

Звонко-звонко тут зашелся маленький на печке, подтвердило ветром в трубе. Ахнул, на лавку приседая, Егорушка, визгнула с разбегу самопрялка, замертвевшим колесом порывая нитку. Пошел Агапий к ушату, зачерпнул ковшом и выпил, потом вбил последний гвоздь лжи своей.

— Справедливы дела времен прошлых по вся дни!

Склоняясь головой, спросил Егорушка с надеждой:

— Хорошо сказываешь, как по книге... А старик твой безумный что?

Нехотя продолжал Агапий:

— Старец-то? А когда нагнулся Патфитан обнять Василида, возрыдавшего перед ним, не принял тот поцелуя. Вскочил Василид и проклял имя бога Патфитанова. И так до конца дней ходил нераскаянно по земле, сам себя отвергая от путей к небу.

Расступилась тишина, и в нее вошел клином стон Егорушки:

— Как же все вышло-то так?

Словно прямую черту провел, отрезал монах:

— Так вот оно и получилося.

IX

Каб родился Исус не в Вифлеемской земле, а на Нюньюгской, не пришли б к нему волхвы на поклоненье. Но пришел бы Егорушка, принес бы пикшуя в пуд. Пришла б бобылка Мавра из Нели, принесла б морошки лукошко да клюквы короба два. Пришел бы самоедин Тяка, третьим пришел бы, подарил бы Исусу пимки малюсеньки да песенку б спел про себя, про Тяку веселого.

Днесь рождается царь на Нюньюге, Исус имя ему. А морозы белыми козлами тундру жуют в тишине Вифлеема нюньюгского. И гуляет, гуляет по всей бескрайней снежной глубине легкий вьюжный вьюнок, белый медвежонок.

В полночь выходили Агапий и Егорушка с женой к снегам петь о рождестве. Христославили, стоя лицом к востоку. Егорушка смотрел в ночь и все хотел легким тенорком поусердствовать, Агапий же скрипел, словно бочку-тресковку с дробью по земле катал, пугая Варлам Егорыча, сидящего на руках Ириньи... Выходило так: два младенчика,— быть одному из них рыбаком, быть другому царем. Поймает рыбак рыбу и принесет царю.

Но к пробужденью упала та звезда, которая с Вифлеемской собиралась в шаг идти: заболел Варлам Егорыч. Лежал, хрипло надувая тяжелым воздухом живот, Егорушкин первенец, борола его болезнь. А был ли то утин, или горлянка, или черный монаший сглаз,— не дознаться было. Каялась после ужина мужу Иринья:

— Мыла его, побежала... стукнул кто-бысь в окошко, дверь не прикрыла...

Но молчал Егорушка, обезумел в нем дух. Не переставала течь бабьими неутешными слезами Иринья. Восписуется в небе первым горем горе матери, а вторым — закрывающего навек глаза.

Запоздно, перед сном, подкараулил Егорушка Агапия в сенцах:

— Слушай, Агап. Я помру — сгнию, ты помрешь — вышний чин примешь. Но съели б рыбы тебя и праведность твою, когда б не я о прошлую осень!..

Спросил Агапий:

— Жалости просишь?

— Не жалости, а правды. Был ты слаб, а я силен, теперь я слаб...

Усмехнулся Агапий:

— В хлебе попрекаешь?

— Не в хлебе, а к разговору токмо...

— То-то, к разговору! Воспомни сказанного Василида и не дай умереть душе.

После чего внезапно чихнул Агапий и вышел в дверь.

X

Вот пошли двое на тюлений лов: ходили долго, видели лед, не видать было зверя. Держали остроги да крючья наготове, а некого было бить. Уж собирался назад Егорушка, как вдруг выникнул из промыва усатый мурластый морж... Хотел бежать морж, да замешкался самую малость. Тут и зашвырнул ему Агапий острогу в угон. Вскорости был морж положен на санки и волочен к дому.

Егорушке с утра, как встал, сердце щемит. Ныне же, идя с монахом по охотничьей узкой тропе, постигает Егорушка неисповедимые пути Агапиевой справедливости. Важно, как сосуд небесный, несет Агапий свою голову. Глуха и торжественна речь его:

— ...затрубят витые трубы на низкие лады. Восстанут моря от лон, упадут на города. И будь ты хоть солдат, хоть праведник, аль в новехоньких полсапожках, все мы снидемся тамо, на страшное господнее судилище...

Покорно тащит тяжелые сани по еле заметной тропке Агапиев слушатель. Зубчатой ледяной стеной, золотым гребнем, радужной лентой возгорается и перебегает небо. Смотрит мертвый морж в ночь, а ночь идет над ним спокойная, ровная, не в обхват большая бесшумная, как на лыжах.

— ...утренней зари сам Савоф. Солнце покажет красный язык и умрет,— тут уж не надо солнца! Выйдут силы и тьмы и протянут над миром мечи свои и сабли. А в мире будут стоять тьмы и толпы народу всякого, мужики и бабы. Изыдет сын и сядет одесную...

Очи широко в снежную тьму раскрыв, остановился Егорушка, изнемогло в нем сердце. Остановился и монах. Рукой в варежке так и рубит он морозный, тугой воздух.

— ...отец сыну. И повторят горы речь его: сын мой, Иеус. Ты приходил к ним светом тихим, а они гвоздями тебя... Ты

висел распятый, страдая и зовя, а я сидел вон на том облаке да бороду себе рвал. Не мог я остановить пути твоего. Ныне ж пришел сам я распять их...

Ждет Егорушка, шатает его. Словно оловом жидким каплет Агапий на голый череп Егорушкиной души.

— ...и промолчит Исус.

— Врешь, ты мне и вчера то же во сну говорил, и я тебе не верил...

Так закричало неистово ущемленное Егорушкино сердце. Весь трепеща крупной задрожью, бросил себя камнем в сугроб, ища там приюта помутившемуся взору своему. Склонясь над кричащим человеком острова Нюньюга, шептал глухо и страшно Агапий:

— Успокойсь, парень! Тебя-то он в перву голову к себе призовет. Подь, скажет, Егорушка, ко мне на два слова...

Стеная, навзрыд кричал человек в снегу:

— Не хочу, не хочу. Пускай моего Варлам Егорыча назад берет!..

Долго они так: один кричал, другой уговаривал.

А когда подъезжали с моржом к дому, выскочила с воем простоволосая Иринья,— закатились у ней глаза. Крепко прижав к полной напрасным теперь молоком груди голенького Варлам Егорыча, завизжала, порезая безмолвие ледяное криком, как ножом:

— Помер, Варлам Егорыч помер...

Запушила пена Ириньины губы, и упала баба, не сгибаясь, наземь и загрызла зло и жадно снег. А Варлам Егорыч, богатый промысловый купец, как скатился к санкам, так и застыл личонком вверх.

Неугасимо колебались в безветренних вышних пустынях желтые и в прозелень синие широкие столбы.

Подуло холодом. Бормотал Агапий молитву, избавляющую от удара. Иринья лежала, как спала, а поодаль, заснувшая навек, лежала мертвенькая благостынька нюньюгского рыбаря.

Не знал, где потерял свою ушанку Егорушка. Все силился вспомнить — и не мог. А вдруг увидел: шевельнул мертвый морж оскаленным закровенившимся клыком и вроде подмигнул тот, другой, рядом.

Два дня, раскинув руки по снегу, выла баба на острову.

XI

Загоготала малица, спрыгнула с нарт. За ней совик прет, кулек несет, порядочный кулек.

— И-га-го, здорово, кобелики! Стречай тестя, кунья голова...

Олени паром зашлись, заморил их Андрей Фомич, чуть хорей не поломал, в зады им тычучи. Вошла малица в дом, легла малица задом на пол.

— Стаскивай малицу-т! Какой ты есть зять? Ох, да рук-то пожалей... небось самовару — и тому рук жалеешь... А я еще бегаю, живой, и-га-го!

Соскочила малица с крикуна, очутился в избе толстый мужчина, корноухий, — пьяного семь лет назад сова цапнула, сам сказывал.

Андрей Фомич все лицо Иринье мокрыми усами и бородищей закрыл.

— Грешен человек, до баб я слаб, слаб — зато и ласков.

Егорушке руку повертел.

— С чего, паря, стоишь, как помороженный?

Руку повертел и всего прижал, обжигая винным духом щеку. Увидев монаха, устремился на него залпом:

— Монах-в-клобуке, Енарал Кузмичу. Здорово чудак-рыбий-глаз, отвечай — здравия желаю!!

Обиделся Агапий:

— Я тебе, купец, не рыбий глаз, а слуга богов.

Загрохотало, словно телега с бочками опрокинулась. Кланяется купец низко, рукой до земли:

— О! когда так, отцу монаху мир, пойдем в трахтир! Молчу, молчу, отбрил во все концы...

А сам Егорушке на ухо:

— Хорош у тебя работничек, этакий отпоет, и не услышишь!

Вдруг огляделся Андрей Фомич:

— Да вы что, рыбья чума вас одолела?

Отвечает за всех Иринья, всхлипывая и глядя в пол:

— У нас тут ребеночек помер, четвертый день нынче как зарыли...

Не понимает Андрей Фомич:

— Я что-то не пойму, чей ребеночек?.. монахов?

Будь у Агапия рот пошире, проглотил бы купца, с пимками и ремешками. Иринья:

— Не-е... наш ребеночек, Варла-ам Егорыч!

Помолчала Андрей-Фомичева туша, хлюпнула раздумчиво губой и вновь смехом разъехалась.

— И-га-го, греховодники, а я-то думал... Выходит — ладил тесть на Новый год, попал на поминки. Помянем, помянем молодого человека. Эй, чернота, кадило найдется?

Пуще насупился ушатом черный клобук:

— Отстань, ответишь.

Взыгрался Андрей Фомич:

— Ох, да не гляди ты сычом на меня, еще напужаешь. Вишь, я слабенькой, меня вострым взглядом наскрозь проткнешь! Но какой же, однако, ты монах, бескадильный-то? Жулье, один водопровод, значит! Ты не серчай, нечего тут. Андрей Фомич сразу видит: духовный финьян, альбо гусь лежалый! О-он все ви-идит!!

И толстым указательным перстом с серебряным обручем покачал Андрей Фомич перед самым носом обозленного Агапия. Все молчали и сопели. Вдруг у тестя недоумок на веселую половицу встал:

— Эха, уж и накачаю я вас нонс. Чтоб в голове шумело и в пятках темно было, накачаю! Григорий, ты што-о гробовиком в дверях стынешь? Вынай балалайку, куль разгружай... балалайка-то цела? Я надысь чуть голову Гришке балалайкой не пробил, баловаться винишком стал. А ну, дай ему, дочка, посудинку под водку. Э, да нет, покрупней тащи! Давай сюда, в чем младенца крестили, во!

Над Нюньюгом в небе вдруг погасли огни. За Нюньюгом в море ухнуло отдаленно, и узкорылый серый зверь стал красться обходом на избу. Вязкие и низкие, над самой головой, скрутились жгутами тучи. Будто ударило по барабану, заплясал передний вал, прищелкивая ветром. Собаками зарычали овраги. Поднялась тундра...

А в избе затихло. Сердце упокоя просит, стонет жалобно душа. Булькает ледяная водка в выпрямленное Егорушкино горло. Вскакивает он и опять садится. Всем своим объемистым животом налез на него через стол пьяный тесть.

— Как, жжется?

— Ух, Андрей Фомич, огнем горит...

— Так, воистину. Селедочки возьми, а то и семужки. Ну, как играет?

— Играет, Андрей Фомич, очень. Чихнуть охота!

— Ничего, чихни... На, пей еще. Да ты сразу, как из ружья стреляют, пей!

Булькают, друг на дружку налезая, глоткй. Руки потирает, языком щелкает Андрей Фомич. Жадно глядит в опустелую посудину полупьяный Агапий. Иринья кашляет, жалобно и стыдливо загораживаясь кулачком. Всю душу навыверт вытряхивает Андрей Фомич:

— Пей, дочка, на-ко тебе вот наперсточек, не ломайсь! Был бы муж, а ребята будут... Эх, глядеть на вас — глаза ломит. Рази в наше время так пили? Моему дядьке под Кемью ворон глаз клевал, а он и не слышал, выпимши! Вон как у нас... А ты, Гришка, ну, махни по струнам, приходите девки к нам. Шпарь, жарь, самоварь... А ну!

А за стеною свирепеют дали. Первым ударом в бок избы опрокинулся ветрового прибоя вал. Снеговые колеса заскакали по тундре бешено. Белые козлы по пятеро в ряду копают снег. Ах, и как тут не пить, как тут не кричать, головой не биться о каменные локотки, коль от земли до неба полтора вершка!.. Потому и душе приволье, хоть рассудку и теснота. Весь клокочет, распухая от хмеля, тесть:

— Даве еду... и-га-го! над Выксунью, а изо льда личность на меня глядит. Я ему — ты что, черрт? А он мне — бя-а, бараном, сволочь, ословый хвост! Напужать мене хотел, умора...

Иринья, с непривычки хмельная, Егорушку за шею потными голыми руками обвив, лопочет, а глаза у ней смутные:

— Егорушка, другой у меня скоро Варлам Егорыч будет... Чую, будет!

Трудно лоб наморщив и губы поджав, отстраняется Егорушка:

— Не трожь, не трожь...

И Агапий — налилась бесстыжая слякоть в небесный сосуд. Кряхтит на ухо Егорушке:

— Плюнь ей в глаза, срамотной. Другую завтра у бога вымолим, плюнь!

Гуляет и уж пляшет в одиночку Андрей-Фомича живот:

— Вот я ему: ты что, черрт? А он мне... Эй, Гришка, поддай, поддай, а то ноги стынут. Дочка, становись! Андрей сам Фомич плясать будет. Вы рази мужики? Вы кто? Кобеляточки... а я? А я — будьте здоровы! И-га-го...

Подмахивает платочком Иринья, бабьим озорством глаза налились. Похаживают Ириньины пимки по кругу, — дзинь, брынь, тарарынь, ты пляши, пляши, Иринь! Агапий палец грызет. А Гришка, потный весь и очумелый, вконец балалайку меж ног задавил. Пищат струнки от такого обращения, а одна все навзрыд, навзрыд прыгает. Поддудакивает балалайке тесть кулаками по собственному брюху, стаканы зеленым звоном звенят. А вот и сам пошел...

Бурлит во тьме за стеною снежная яростная пьянь. Карбасу лежать невмоготу стало, пляшет и он, кружит восьмеркой по берегу. Сдвигаются тороса теснее в груду хороводной оравой на Нюньюг... Держись, Нюньюг, держись, малый, держись, кунья голова!.. Дым коромыслом, спина горбом. Андрей Фомич вприсядку, брюхом по полу, идет. Не рак клешнем, не морж хвостом, — ногами половицы разметает на стороны тесть.

Застекленевшими глазами смотрит захмелевший Егорушка, видит нехорошо. Нависая над деревянной бадейкой, приплясывает на подвесе глиняный рукомойник, отфыркиваясь водой во все концы... И вот в захохот впал Егорушка, бьется о стол, волосами по винным лужам, по селедочным костям. Но сразу тишиной их накрыло всех. Вскочил Агапий, второпях напяливая на голые глаза клобук.

— Стой, стань, купец! Баба, застынь! Я теперь буду, я вам фок-пок покажу, вот допью только. Счас, счас... будет вам чудо-юдо по половичке гулять!

Тинькнула порванной струной, срыву замирая, балалайка. Сизым удушьем задымила новая лучина. Вылупились в тревожном ожиданье три пары пьяных глаз, Гришка — тверезый, черт. Берет Агапий стакан, полный в обрез водой, шатко ставит на клобук, замирает весь, даже глазом не поводит застылым:

— Ну пьян?.. пьян. Донесу?.. донесу!

В тишине, подобной волчьей стойке, делает Агапий первый шаг. Остановился: половичка, не дергайся! Вновь остановился: не сплеснись! Мерит Агапий косым глазом четвертый намеченный шаг.

Исподлобья, недоверчиво глядит Андрей Фомич. Ворот расстегнул. Бродит в нем водка синим пламенем. Иринья, за рукав мужа схватив, пугливо ждет. В Егорушке замедлилось дыханье, тени от лучины резко пролегли по лицу.

Посинели губы у Агапа,— пятый. Закруглились брови,— шестой. Бегут капельки пота из-под клобука, повисают на губах. И тут ахнул навскрик Егорушка, не выдержал, а лицо руками запахнул. Грузно — как у него лоб кровью не лопнул? — вскочил Андрей Фомич, рванул как на покрученника в мурманску страду:

— Хватит... черт!!

Тогда закачался стакан на монаховом клобуке и вдруг ахнул брызгами стекла и воды по полу, вразлет. С виноватостью глядел протрезвившийся Агапий. Нехорошее молчанье вошло посреди людей. И, точно дырку желая заштопать в распьяняющей этой ночи, высоким голосом грянул было песню Агапий, но сломалось веселье. В избе захолодало. Хмурый, не глядя никому в глаза, напяливал на себя поддевку тесть.

— Сунь, Гришк, балалайку-те в мешок. Наигрались, хватит. Эй, зять, баба с дуплом, подушку давай, я тут на лавке пристроюсь. Ох, ты мне, ословый хвост!

Сонными, выгоревшими в винном пару глазами, словно разбуженная, глядела Иринья, как подгибался на сторону черный и тонкий уголек лучины.

XII

Бегут дни, а незаметно, что бегут. Как ни глянь — все ночь, как ни кинь — все темь. Тундра спит, еле тлеет под снегами тихая лампадка единой земной радости за полуночной чертой,— клюковка.

Поет самоедин в тундре:

«Сказал Сядей Тяке: «Тяка, хочешь быть солнцем?» Сказал Тяка Сядею: «Нет». Спросил Сядей Тяку: «Ты будешь резв, как собака, а красив, как олень,— зачем не хочешь?» Ответил Тяка Сядею: «Потому что Тяка я!..»

По льдам, обреченным на таянье, по снегам, по водам, где есть, проходят странных трое: Трифон из Печенги, Иринарх Соловецкий, Елисей Сумской. Украшается бытие твари нюньюгской радостным благовестием о приходе вешнем.

XIII

Средь глубокого сна, когда по голубому в тонком плывешь, вышло, будто разбудил Агапий Егорушку. В пимах и совике, весь готовый, сказал он Егорушке:

— Слышь-ко, птицы человечьи счас полетят. И нам пора...

Сонно и покорно отвечал Егорушка, из сна пробуждаясь в сон:

— Пойдем.

Скуп и резок Агапиев голос. Наспех оделся Егорушка, с порога оглянулся назад. Сквозь вершковые наросты на окне пробивались на лавку невнятные лучи ночи. В свете ее валялись недошитые на лавке Варлам-Егорычевы пыжики. Дернулась злоба поперек Егорушкиной души, но оглянулся на него Агапий с суровой укоризной. Смолчал Егорушка, и только проглотил соленые непрошеные слезы.

Вышли, пошли. Неведные, чуть не заячьи тропки ведут их. Лыжами до первого таянья будет обозначен по снегу к месту гибели Егорушкиной нечеткий лукавый путь. Вот поднимаются в гору — кольцом черная, спускаются с горы — обступила ночь. На восточной тупине, у сосны, стоящей в одиночье и слушающей песни нюньюгского ветра, сказал Агапий, приближая деревянное лицо свое к запустевшим Егорушкиным очам:

— Как полетят, хватайся за птичью-то ногу, лети. А в тех птичьих краях, куда лететь, там твой-то, в голубенькой рубашке, поясок шелкóвый, а волосики расчесаны, ходит. Там-то золоты яблочки на серебряных деревах растут! И я туда за тобой...

Не смекает речей монаховых Егорушка, присел в снег, голову закинул, ждет. Небо черное, как для бега ровное, матерь холода и ночи, нависло вниз. В снег же опустился монах. Так сидели. Много ли ночи протекло — некому было мерять.

— Ну, летят. Не бойсь, парень, только б захватиться крепчай!

Тут приблизилось движение воздуха и крякот низких птичьих голосов. Мерно и грузно хлопанье тяжелых птичьих крыл. Еще тут крохотный кусочек ночи скользнул. Вдруг просунулась в синем мраке шумная низколетящая стая медленных белых птиц. Вперяет в гудящую мглу измученный, ждущий взгляд свой Егорушка,— закосились вконец гла-

за, заломились брови, как женские над головою руки,— видит: летят впереди пять белых птиц человечьих снов — у них головы как палки, а глаза мертвые, недвижные, глядят в ночь.

— К последнему, к последнему цепись,— так шипит Агапий, и головой трясет, и за плечо Егорушкино хватился крепко.

Мрак синь и широк, а птицы белы, черны и розовы. Взмахи крыл шумны, а ночь ровным-ровна. Метнулся Егорушка со снегу, с маху вцепился обеими за корявую холодную ногу, проносимую в согнутом положении, подтянулся и застыл, неживой. Подивилась птица сонным крякотом, и вся стая повернулась мертвыми глазами,— не нашли; мерно поднялись ввысь, к потолку неба, понесли. Холодом и пустотой ударило Егорушку в лицо, было здесь еще синее — слепительная бескрайнего ледяного покоя синь. Тут его крылом задело, как огибала птица синий в небе холм. Зажмурился и застонал Егорушка и рот раскрыл от боли, а сбоку Агапий:

— Не кричи, парень, не кричи... всякий крик тут попусту.

Рядышком, к ногам длинной, худящей, остроклювой птицы нацепясь, летел головой вперед, разметаясь по небу заиндевелым совиком, Агапий. Самое небо скользило над ихними головами, веяло стужей смерти, обступало каменной стеной. Чиркали порой остроперые крылья по небесной черноте, обдавало лица ледяной пылью, коченели тела двух, летящих к небывалой Варлам-Егорычевой стороне.

— У меня, Агапь, руки зашлись... — скрипливо покричал Егорушка.

— А у меня конь-от тощ попал, сдавать стал, не жирен... — в голос ему Агапий, половчей перехватываясь за облезлую птичью длинную шею и паром дыша.

Так они летели из мрака в мрак, из холода в холод, ледяное небо плыло, а птицы стрункой, как низаные, направляли к дальнему краю широкие весла крыл. И тут пришло Егорушке вниз глянуть. Что там позади остается, какая там земля пошла? И подогнул голову и бросил вниз взор свой...

Увидел он ночные ровни, выстланные снегом. Моря увидел он,— они крутились как бы на осях и слали неумолчные льды во все края... Глушь и пустоты увидел, где жил и ждал

Варлам Егорыча, ныне гуляющего в голубенькой рубашке по берегам небывалых рек. И всходило с восточного конца весеннее солнце, и было прекрасно, и таяла вместе с весенним снегом душа, и как бы хотелось вырасти, чтоб заполнить самим собою безвоздушную ледяную пустоту. В неугасимой тоске безумия своего навзрыд закричал Егорушка:

— А-а-а... птицы-птицы!

Обернулся конь Егорушкин и стебнул черным клювом прямо в голое темя,— давно провалилась в снежный низ шапка Егорушкина, когда летели не то над морской пучиной, не то над какой-то глубокой дыркой в пустоте. Руки раскидывая от острой зловещей боли, ринулся Егорушка вниз. Воздухи его подхватили, вертали задом и передом, кидали в сторону и, сжалясь, с маху метнули вниз. Внизу было море,— оно позыбилось и расступилось, впуская в себя. В море и заглох крик нехотения Егорушкина, как заглох в поднебесьях сонный крякот сонных птиц.

Страшного крика мужнина не слыхала спящая Иринья.

XIV

Трижды радостная проходит за полуночной чертой весна. Робкие, нечаянные зори осеняют не сгинувшие покуда льды.

Вечером первой белой ночи сидят трое на берегу, на серой отмели. Агапий сидит поодаль и все раскидывает — пришли в Нель весенние корабли, ли нет. Ветер идет над ними сильный, он ест снега, гонит льды, треплет черную тряпку монахова клобука.

Голову спрятав в коленях жены, бессмысленно смотрит в серо-синее небо Егорушка и слушает Ириньину песню:

Бpателка Романа убили-и,
В серы-ый мох схорони-или...

Не слышно ни для кого зацветает клюква на голом лице болот. Не наступи на нее, идущий на зверя: пожалей, брат!

Вдруг вскакивает Егорушка и кричит:

— ...и станет он Варлам Егорыч зваться!

Голову от земли подымает монах:

— Завтра идти мне в Нель. Пора кораблям. Саватей гневается...

Иринья,— отцвели у Ириньи губы:

— В Нели-то скажи отцу, чтоб наведался. Придавило, мол.

Монах:

— Скажу, зачем не сказать. А вы молитесь чаще, оно помогает.

Иринья, острым взглядом щупая щебневой на отмели камешек:

— Помолимся!

Пожаром встает незаходимое. Бегут волны и тают на песке. Ветры гудят в высотах. Чайкам привольно, глазу широко, а душе легко?..

Март 1922 г.

ВАЛИНА КУКЛА

I

Плакала девочка Валя. Валины слезки — бусинки стеклянные; на троицыных ярмарках пятачок нитка,— хорошо.

Было в детской темно, а в саду ветрено. Осень стояла на дворе. Осеннюю желтую паутинку порывает косой дождь. Между двух туч улыбнулась нечаянная звезда, и опять все прежнее.

Да и было чему плакать: кукла Валина убежала, в Америку убежала кукла, с оловянным солдатиком. Давно уже она ему глазки строила, и полюбил ее солдатик всем своим оловянным сердцем.

А прошлым утром, когда все еще спали, а солнце неслышно протаивало хрупкие льдинки на вчерашних лужицах,— выскочил оловянный кавалер из своей синей коробки деревянной, подскочил к старому креслу, где кукла жила, шепнул ей на ухо три слова нежные, накинул на плечи ей свой синий плащ, и айда за окно... А там и Америка близко!

Был оловянный солдатик — гусар-человек: у него сабля предлинная, у него на шляпе синее перо... Как не полюбить такого!

II

Утешал Валю папа.

— Ты не плачь, Валенька, не надо плакать: глазята заболят. Будешь плакать — Горыныч прилетит...

Не переставала Валя:

— Пускай летит... Все равно мне теперь!

Еще говорил Вале папа:

— А мы кукле в Америку открытку напишем, чтоб вернулась,— она и вернется. Нечего ей там одной делать: вернется твоя беглянка! (А про оловянного-то солдатика и не знал папа ничего.)

Засмеялась Валя, не узнать. Села к папиному столу,— мамин портрет на котором,— стала письмо писать. Вот что ее каракули значили:

«Мы все тебя, кукла, очень любим. И я тоже. Прошу тебя: ты приезжай назад. На дорогу посылаю тебе рублик. Ты его даром не истрать. Твоя мама Валя».

Сама в окно видела Валя, как папа ее письмо в ящик опускал. Увидала и в ладоши захлопала и песенку про лисичку спела.

Только вечером другого дня, когда спать ложилась,— тихонько, чтоб никто не заметил, ни папа, ни картонный верблюжонок, ни ветер, ни черный дедюк, который тайком в углу за шкафом живет и конфеты таскает по ночам,— поплакала, потому что одиноко стало вдруг. И никогда не спала Валя так крепко, как в ту ночь, потому что всегда ужасно хорошо после всякой грусти спится!

А на конверте папа адрес смешной придумал:

«Валиной кукле, в штат Ориноко, в Америку».

III

На почте чиновник был. Глаза колючие, бороденка помелом, и сам не то — Кощеев брат, не то Кощеев дядя,— и не разберешь! Всю он жизнь свою тем и прозанимался, что письма на почте разбирал.

Прочел он когда письмо-то Валино — рассердился очень, чуть ногами не затопал. Недаром его Палкзмич звали. Потом ругаться стал:

— И без того работаешь как собака день и ночь, а эта шушера даже минутку свободную норовит отнять. Свинство!

И хоть не был Валиной куклой, письмо распечатал и прочел с негодованием на неизвестного шутника.

Долго, с другим таким же почтариком, изыскивал выход Палкзмич, куда — за отсутствием адресата — девать обнаруженные деньги. Ближе к ночи порешили сделать акт находки и, засургучив в казенный конверт, препроводить в

государственное казначейство... да передумали по дороге. Во избежанье волокиты прокутили сослуживцы Валин рублик. Из-за них и не попало Валино письмо в Америку.

IV

У Вали игрушек тьма-тьмущая: штук тридцать.

Вот, например, рыба на ниточке; она железная, а в головке у ней пружинка спрятана. Если ключиком пять разиков завести, станет рыба весело рот разевать. Если же восемь разков повернуть, как выяснила Валя,— никогда уж больше не будет этого рыба делать, и можно будет этой рыбкой гвоздики забивать.

А вот вам кукла Маня. Она совсем как барышня: Надавите, пожалуйста, ей пальчиком на животик, и хотя ей совсем не больно, она вам поплачет немножко. Все куклы к Мане в гости ходят. У нее и платье замечательное, первый сорт.

А вот поглядите сюда,— здесь птица Небылица. Она может клювом своим землю насквозь проклевать, даже Горыныч и тот ее боится.

Горыныча же Ванька-встанька боится страсть,— вон он на полке стоит. Ванька-встанька просто ужасный весельчак. Как ни унижай его, все ему нипочем. Наклони его разок, он в ответ двадцать разов прокланяется... Кроме того, он совсем безносый: вместо носа у него только видимость, а пощупать — так и нет ничего. Руки у него всегда в карманах, а вид такой: все знаю, мол, милые, меня на киселе не проведешь. Не любила Валя толстяка.

В следующую же ночь, кто бы мог подумать, сбежал и Ванька-встанька в Америку. Уж о нем-то не плакала Валя, даже обрадовалась!

V

...В детской темно. На дворе ветрено, шумно, словно мальчики играют в жмурки. Ветер — как мальчик сам. То сорвет шляпу с прохожего, гоняется с ней, как с обручем, то кленовый лист, как бубнового туза, на спину ему приклеит... Вот подхлестывает извозчикову лошаденку, а извозчик спит, согнувшись, как лопух. Вот пыхтит, тащит облако. А на что ему облако?

— Послушайте, не шумите там, пожалуйста: Валя спит. Вот улыбнулась во сне,— словно кто-то Добрый бросил голубенький цветочек нам с седьмого этажа в декабрьское хмурое утро.

VI

Здесь бы точку поставить, а не ставится, потому что не все еще про куклу рассказано.

Как приехали в Америку, по-американски-то не знают ни слова,— смеху сколько было! Вокруг толкотня, суета, чуть трамваем обоих не переехало...

А главное дело, оловяшка-то эта несчастная тычется вокруг да около с чемоданом. Люди обступили их, хохочут, сверху пальцами показывают. Собачонка одна чуть было голову солдатику не скусила. Кукла терпела-терпела, да и не выдержала:

— Вы какой-то оловянный, даже краснеть за вас приходится. И не гнетесь совсем, то ли Ванька-встанька был, такой услужливый!

Сели, отдохнули немножко.

Билось оловянное сердечко у солдатика, как мячик. И не зря: предчувствовало!

...Сняли они комнатушку полутемную на окраине,— два окна, оба в помойку. Она-то в горничные определилась, а он в водопроводчики поступил. Тут и стали у них отношения портиться: и грязный-то он всегда, и пахнет-то от него неприятно, и чумазый.

Сперва еще терпела, Колей звала. Придет с работы, подойдет скрепя сердце, выберет на нем местечко чистое, поцелует. А потом серчать стала и слова выбирала пообиднее:

— На вас,— скажет,— и краска-то вся облупилась.

— Вы,— усмехнется горько,— способны рази полюбить женщину, такую, как я, и оценить всю мою любовь по заслугам? Мне даже и глядеть-то на вас смешно!

— Из-за вас,— плакалась,— меня и соседки все оловяшкой стали звать...

Такие разговоры ровно два с половиной месяца у них тянулись.

А тут и еще беда приключилась: полез оловяшка в подвал трубу какую-то поправлять, сорвался с лестницы, да ногу себе сломал: оловянная, долго ли до греха!

Свезли малого в больницу, а там уж его чахотка доконала. Всегда это у тех, кто без надежды любит: с виду ничего, а в нутре — чахотка.

VII

Ушла тогда кукла, к Ваньке-встаньке ушла.

Ванька-встанька уж к тому времени Иван Терентьичем заделался, трактиришко открыл. С виду-то так оно и есть: трактир, а на деле Иван Терентьич краденым стал промышлять, со всеми конокрадами и жуликами подозрительную компанию свел. Кукла же у него Марь Семенной стала.

Сидит Марь Семенна за выручкой, на публику поглядывает. Чуть что заметит, сейчас своего супруга кличет:

— Ванюша, получи вон с того, что в пенснях... Ишь, гладкий, не заплатимши норовил уйти!

Сам-то, Иван Терентьич, крайне музыку любил, не заснет, бывало, без музыки. Потому-то и купил он себе патефон замечательный: что угодно может сыграть. В праздники, бывало, сидят с женой, слушают хор песенников, чаишко гоняют да вполголоса патефону подтягивают.

А ночью занавески спустят, сядут деньги считать. Отсчитают сто рублей — сейчас их в чулок, а чулки на печку складывали. Гости как зайдут, бывало, к ним на квартиру,— видят, будто ноги резаные на печке лежат.

Уж в тузы вышел Ванька, а кланяться не разучился: выше взойдешь с поклоном-то.

И Марь-то Семенна, вот раздобрела! Даже храпит по ночам и порой вскрикивает диким голосом: повадился к ней во сне солдатик приходить.

Придет, протянет прозрачную руку и скажет:

— Эх, Марь Семенна, сгинул я из-за вас зря!

И в стенку скроется.

Про Марь Семенну сам-то приятелям хвастался:

— У меня Марь Семенна не женщина, а куколка. Ананас!

VIII

А Валя тем временем совсем выросла. Глаза у нее все те же, синие, точно воспоминаньем подернутые, а косы как лозы над омутом,— там еще стрекозы вьются.

Куклы лежат в чулане, в большой шляпной коробке. Состарились куклы: за двенадцать-то годков любая повянет.

У куклы Жени, например, мышонок косу сгрыз, а по кукле Кате моль ползает. Лежат они лысые, покинутые, одна на другой, тесно им и неудобно так. То и дело слышно:

— Подвиньтесь хоть чуточку! Вы мне всю ногу отдавили...

А другая еще сварливее:

— Ах, отстаньте! Что вы ко мне все привязываетесь? Сильфида какая...

Май 1922 г.

ТУАТАМУР

I

Арба, имеющая две оглобли, идет прямо и хорошо. Арба моего счастья имела только одну.

Мать моя — Зенбиль-ханым. Верблюд, который принес мою жизнь, унес ее. Она была из поколения Кенкит. Она была бурджигин. Я — сын Дарбутая, который был сын Аймура, сына Ярим-Шир-Букангу,— мир ему. Я родился на месте Кадан-Тайши, где потом в семидесяти котлах варил Чингис мятежных тайджутов, где за полосами рыжего песку лежит белая гора,— ее зовут Кунукмар, потому что она все равно что нос большого убитого человека.

Когда родился я, никто не сказал: «Вот родился, который будет счастлив, у него голубое лицо». Но все говорили: «Вот родился улуг-дудурга»,— так как в руке моей был зажат комок крови. И потому я плакал тогда так сильно.

Я — Туатамур, тенебис-курнук и посох Чингиса. Это я, чья нога топтала земли, лежащие по обе стороны той средины, которая есть средина всему. Это я, который пронес огонь и страх от Хоросана до Астрабада, от Тангута до земли Алтан-хана, который сгорел в огне.

Мы — тьма, мы идем твердо. Это я, который вместе с Джучи-ханом, сыном Солнца, уничтожил имя страны Тумат, где сидел сильный Татула-Сукар, и попалил землю найманов. Вместе с Джагатаем, который убит у стен Бамиана, я измерил высоты гор глупых меркитов. Токтабики бежал к найманскому Буюруку, а потом за Ыртышь. Я догнал, я зарыл его в землю. Сабля Тули-хана и моя сарцинская сабля выбрили наголо поля выносливых джурджитов, поклоняющихся камню и умеющих делать из овечьего молока напиток, который поднимает устав-

шего в бою. Копыта моих коней растоптали зеленые равнины джабдалов,— у них кожа черна от солнца, они умеют камнем пробить грудь врагу на расстоянии пяти полетов копья.

Я сказал,— вот одиннадцать сулданов, двенадцатым сулдан Эврума, платят исправно ясак в сорок тысяч эшрефов каждый год. Я ударил,— вот балдакский кариф стал ежегодно присылать тюки серебряных мискалей, стада верблюдов, много алого сукна, бахты и ковров. Я сказал и ударил,— вот галапский сулдан, Сари-Махмуд, отдал Чингису дочь, ее имя Сероктен, она была подобна луне. Когда отдавал — плакал и ел землю, но Сероктен родила Ытмарь. Да будет неувядание красоты ее всюду, и там, куда ушла!

Я — Туатамур, тень смерти и радость каана. Я приносил ему добычу и те цветы, какие есть в степях. Каан любил меня, покуда не выпали мои острые зубы и не взошла над степями гордая звезда Кирагая-юлаши.

И вот я лежу у шатра чужой жены, солнце лижет мне темя, а если бы хвост был у меня,— я вилял бы им, потому что — ныне кто назовет меня иначе, чем дряхлой собакой Чингиса, ушедшего в закат?

Вот слушайте: я любил Ытмарь, дочь хакана. Чингис, покоритель концов,— да не узнают печали очи его, закрывшиеся, как цветы дерисунха, на ночь, чтоб раскрыться утром! — отдал бы ее мне. Это я, который снял бы с нее покрывало девства, когда б не тот, из стороны, богатой реками, Орус, который был моложе и которого борода была подобна русому шелку, а глаза — отшлифованному голубому камню из лукоморий Хорезма.

Пусть засыплют песком мою кровь,— слушайте! Так говорит Туатамур, последняя собака и тень Чингиса.

II

Ытмарь, дочь каана!

Она не носила кызыл-джаулык, ее волосы видели все, кто хотел видеть. Они были черны и свешивались с седла. Но ее лук весил десять батманов.

Ытмарь,— она была гибка, как павлинья джига праздничного феса мурзы. Она скакала по степи верхом, быстрая, подобная камню, выпущенному из пращи. Никакой ветер не мог ссадить ее со скакуна.

Она не страшилась боли нисколько. Аммэна,— когда тяжелая стрела найманского барласа приколола ступню ее к боку лошади,— я видел: поднялся на дыбы ужаленный жеребец, усмешкой удлинились губы Ытмари. Тогда догадался я, что пьяны и сладки поцелуи Ытмари, как первое молоко кобылиц.

Ее внимательно слушали в собраниях грая древние мурзы и атабеки, качая вышитыми тубетеями,— не потому только, что была она дочь каана.

Смятые, растерявшие стрелы и надежды, ряды моих дада, моих нукеров, устремлялись вперед по ее первому зову — не потому только, что был ее голос тверд, как красный камень в тюрбане хоросанского Джеллаледдина, и нежен, как качанье бубенца в теплом ветре весны.

Бросался, распахнув руки, на копья трех Мстиславов, ища смерти, Туатамур,— не потому только, что надоело старому тенебису-дудырге видеть, как, прекрасная, орошает сожженную степь луна, и слушать, как мурлычет на вечернем ложе любовную песню маленькая Бласмышь, прося ласки.

Ытмарь, дочь каана! Когда б хаканом я был, я прославил бы с минаретов Хорезма губы твои. Я выбрал бы среди молодых земли — красивейшего, я вырвал бы сердце из него, чтоб не смело оно биться для другой.

Дочь каана!

III

В год Коровы, когда кибитка третьего полнолунья той осени остановилась над улусами Иллиджака,— Дурбан, инак хакана, пришел в мой шатер и сказал:

— Великий хакан хочет, чтобы Туатамур, тенебис, пришел к хакану.

Я встал. Я надел синюю джапанчу. Я пошел в шатер каана.

Тогда был вечер, как и теперь. Невдалеке за ордой, по ту сторону стана, плакала в сукае ночная птица. Был треск,— бурханы били в две палки, а в стане звонко доили кобылиц.

Я распахнул белый занавес. Я трижды упал ниц. Я поднял голову. Я увидел хакана. Чингис — мир ему! — лежал на ложе из белого войлока и глядел в прорезь шатра. Он думал. За шатром ночь вышивала небо бисером, подобно Ытмари, ко-

торая возле хаканского тахта вышивала синий халат отцу. Она вышивала турпана, пожирающего птенца. Она не взглянула на меня. Она журчала песню неполным голосом, а мне показалось, что моя Бласмышь поет эту песню лучше, чем Ытмарь. Тогда Туатамур еще ласкал Бласмышь и тех тридцать, которые баюкали сон Туатамура, а среди них Нунашь.

Вот я сел на войлок. Я сказал:

— Да будет свято имя твоей матери, которое есть Улунь.

Потом я молчал, опустив голову. Вот я услышал слова каапа:

— Туатамур, верный мой! Везирь Киренен сказал вчера так: в направлении стрелы третьего Разбойника ночного неба живет буйное племя Дешт-Кипча. Они не платят нам ежегодно двадцать тысяч котловых овец, они не слыхали полетов наших стрел... Ты пойдешь туда. Ты возьмешь с собой Джебе и Субутбия. Первый молод, второй стар. Решимость и хитрость — буякши!

Я стал думать. Когда бывает третье полнолунье осени, тогда надо ждать первого новолунья зимы. Когда бывает зимний ветер — коням трудно рыть снег, людям скрывать следы, стреле летать далеко. Пятигодовалый верблюд сломает ногу, если попадет в мышиную нору. Я сказал про это каану.

Чингис — мир ему и радость сада! — раздумчиво теребил гагатовую пуговицу халата. Он закрыл глаза и запахнул халат. По халату были черные и красные полосы: одна — черная, другая — красная, но между ними белая звезда. Справа Чингиса сидела Бурте-Кугинь, мать сыновей, и та, черноволосая Кенджу, которою хотел откупиться Алтан.

Я повторил про верблюда. Тут вскочила Ытмарь. Женщина скорее дабылбаз укроет у себя за пазухой, нежели крупинку гнева в глазах! Я удивился: у меня было много шрамов от залеченных ран, а рана сообщает воину бóльшую мудрость, нежели женщине ее красивость. Она крикнула:

— Тенебис! Мне говорили мои разведчики: туда девяносто дней езды. Весна принесет победу. С тобой хакан отпустит меня, а — где я, там не бывает кривого удара стрелы. Ты не так стар, чтобы бояться, что кости заболят от долгой езды!

Мне было тогда лет четыре с половиной раза по двенадцать. Я взял городов втрое, а ран у меня — вчетверо. Я сжег Нишабур и Термиз. Я пробил стены Балха и Бедехшана. Я снял ворота с Конкирата. Расстояние между моими ногами было в пятьдесят фарсангов. Я был батырь-дудурга.

Но я склонился с покорностью верного к подножью престола. Чингис любил Ытмарь. Хга, никто не знает счета своим будущим дням!

Я спросил:

— Когда прикажешь, хакан, созвать курултай?

Каан сказал:

— Сегодня в ночь.

Я повторил:

— Сегодня в ночь. Эйе! Когда поход?

Чингис сказал:

— Завтра,— когда Железный Кол наклонится над юртом.

Я повторил:

— Завтра.

А Ытмарь хлопнула в ладоши, и клубок синего шелка, ненужный в военном обиходе, покатился прочь.

— Завтра на рассвете бить в большой барабан.

Я встал. Я отдал приветствие. Я пошел домой. Ночь проходила светлая и чистая, словно омытая верблюжьим молоком. У костров говорили про меня.

Один сказал:

— Вот идет Туатамур-воитель.

Другой добавил:

— Он суров. Его брови соединились, как половинки лука, у которого натянута тетива. Это сулит поход.

А третий шепнул:

— Поход? Буякши! Война дает добычу, а добыча — новую войну.

Я думал: трудна равнина зимой. Я знал многое, но не знал до конца. Это хорошо, что не знал. Познанье конца расслабляет героя. Я был герой, я мог сильным кулаком сваю вколотить в песок, мокрый после дождя, но я был рожден женщиной. Рожденный женщиной не живет, когда пробито сердце насквозь. Аммэна, Туатамур — сильный батырь Чингисовых улусов. Он мог ломать четырнадцать связанных вместе копий ударом о колено.

Вот слушайте: я переварился в боях, как ячменное зерно в брюхе верблюда! Я лежу у шатра чужой жены. Мне трудно поднять высохшую руку, чтобы взять чашку кумыза, которую мне дает Иналь-ханым. Солнце лижет мне голое темя, а ночь насыпает на грудь холодный песок. Кто даст хоть один пул, пробитый ножом, за голову Туатамура?

Мин улымь!

IV

Поутру, когда звездное соединенье Уркура спешило спрятаться в голубой траве, барабанный бой разбудил солнце. Оно, хромая, поползло над ордой. Заржали кони поутру. Скрипуче запели кибитки и арбы. Загыкали встревоженные верблюды с бараньими жирными тушами и с тяжелыми тушами стенобитных баранов. Столпились стада за рвами, гурты и табуны. Все ждали, пока хакан не взмахнет тупой каанской саблей и не крикнет священного слова: алдында.

Я посмотрел на луну. Она желтой коровой уходила в розовое большое облако, обещавшее кровавый дождь. Я посмотрел кругом. Складками серого грязного войлока, затоптанного тьмой, лежала равнина. Я посмотрел на Чингиса — мир ему! Он не спал ту ночь, но искры не потухли в его глазах, а на лбу и в углах рта, скошенного решимостью, запечатлелась мудрость Худды. Ему было уже много лет,— пять Мышей пробежали в небе, и чуткое ухо слышало ровный трепет крыльев разлучающей навсегда.

Вот он огляделся. Вот крикнул:

— Алдында! Кагер тушсун душманга!

Больше я не видел Чингиса. Когда в третью осень года Барса я послал к нему каберчи Алака с рухлядью кангитов,— на престоле хакана сидел Угэдэй.

И он крикнул. Блеснула молния клинка красным. Священный кумыз пролился на землю. Крик нукеров загудел, ворвался в меня, смял мне душу. Вот вспомнил я большой курултай на реке Онкопе. Тогда душа моя, как стебель травы, срезанной под корень, склонилась вниз.

Билегез кышилерим! У Чингиса было два сердца. Одно было твердо, как круглые медные щиты галапских бойцов. Стрела ломала жало свое о них. Другое — сердце Ытмари,— розовый, нежный плод солнечного дерева, цветущего в долине Джауфрата. Когда я, большой, как верблюжья туша, лежал распростертым на зеленом войлоке курултая, склонился ко мне Чингис.

Первое сердце сказало:

— Иди, меным итаатлим! Я и мои семь предков с тобой. Жги и коли: кровь не оскорбит землю.

Второе прибавило глухо:

— Худда да охранит тебя в твоих путях, Туатамур!

Я поднял сухие глаза. Я пристально взглянул в хакана. Когда он был вознесен в шатер деда, Исукая-Багадура, он был другим. Он был молод. Он был как клинок сабли. То было давно. Тот чатыр был на холме. Холмы стали над Онкопом. Чатыр белого атласа с парчовым верхом. Уйгур Мурда сделал по нему сивую лань, которая любовно соединяется с бурым волком, чтоб родить Темуджина.

Я глядел. Но вот отвернулся я. Чингис бессильно — картка кайга! — повел челюстью, и белая капля слюны выползла на серебряный цветок халата...

Тут гулко ударили бесчисленные кони тысячами жестких копыт в прах. Они, щуря привычно-умные и в бешеных скачках глаза, пошли топтать страны, где я нашел богатую добычу, но потерял себя.

Когда родился я,— никто не сказал: «Вот родился, который счастлив,— у него голубое лицо!» Когда я родился, Худда переломил первую оглоблю арбы, в которой мое счастье.

Мой верблюд шел первым. Вторым шел белый верблюд под зеленым сукном. На том верблюде был золоченый балдахин. В балдахине сидела Ытмарь. А мои батыри качались в седлах, сгибая упругие станы, и пели. Им подпевали колеса кибиток, копыта коней, стрелы в колчанах подпевали им:

«Улымь душманга! Чингис посылает Туатамура. У Туатамура острые зубы и верные люди,— бис дженебис! В колчанах много стрел, в сердцах много ярости, а впереди Ытмарь...»

В небе выникнул ястреб из облачного куста. Он мерил крыльями даль и не сбивался. Справа от меня угрюмый, с носом как ржавый терпуг, ехал на рыжем азбане Гемябек. Вайе! Вскоре после прихода на место кипчакский князь вырвал глаза Гемябеку и насыпал туда соль. Я отмстил.

Слабый утренний ветер скользил по золотому шитью его эмирского тубетея и пригибал на сторону селезневое перо.

Я сказал Гемябеку:

— Ястреб в небе, стрела в колчане, победа в поле,— болсун шулай!

Гемябек ответил:

— Эйе.

Тогда заплясал вдруг в воздухе,— так пляшет красивая плясунья на пиру,— голову через крыло, ястреб и упал комом жирной земли подле меня.

Я почуял тоску. Я словно бы услышал позадь войска мелкие шаги осторожных зверей, которых дело — поедать трупы.

Я оглянулся на верблюда Ытмари. Всё по-прежнему над зеленым балдахином, как хмельные в солнце цветы, реяли перья каанского опахала.

Впереди был последний перевал между двух озер. За озерами не было ничего. Сзади, совсем далеко, белыми птицами уселись по иссера-зеленой глади растоптанной бессчетные шатры покинутого стана.

Сабля слушала тяжелое уханье сердец. Ухо слышало издалека идущий глухой рев покинутых улусов.

В углу неба выползала на мое темя черная, синими свитками, туча последней осенней грозы.

Равнина была широка. Сильный станет великим в ней, слабого убьет унынье. Мы называем эту равнину — Улуг-Ана, потому что она родит великих. Я знаю — сам Чингис не смог бы докинуть копья до ее края. Первые брызги дождя упали мне на лицо и руки, держащие поводья.

Я почуял так: к сердцу присосалась пустота. Я ударил себя в грудь, потом ударил коня. Орда пошла быстрее.

В середине мелко и глухо зарычал барабан. Тяжело по влажной равнине, заросшей сукаем, стелилось мерное дыханье наше.

V

Вот слева, на путь двадцати алачей, гора, а где-то справа луг. Мы на голом, мокром и красном, как обожженная глина, песке.

Вот слева стало две горы, а не одна, вдруг. Мудрый знает: гора родит гору. Верный верит: когда Худда рассердится на людей, он спустит на них горы. Сильный скажет: болсун шулай... Эй, Худда, беним юраклы алаимны сакла!

Я остановился на день. Для победы нужны хлеб, стрелы и отдых. И еще милость Худды. Кто думает иначе — тому первое копье в грудь. Дождь бьет в полотно моего походного шатра. За кибиткой звучно жуют кони. Сквозь частые удары дождя слышу, как в третьей по первому ряду палатке ругается со своей Хатимэ, которая стала старой, кутлыбек Гайсан. У Гайсана спина широка, как расстояние между колесами арбы. Эвва, Гайсан!

...Сегодня тринадцатый день похода.

Барабаны дождя выбивают тревогу, но взгляд покоен мой. Мне поет песню Бласмышь. У нее маленькие груди, а глаза —

как полевые мышата. Я не люблю ее, но мне приятно слушать песни, которые поет она. Вот она поет, и покрывало ее, подобно белой кошке, прилегает к ее ногам. Бласмышь — красивейшая из тысяч, Ытмарь — из ста тысяч!

А я пью бол из деревянного иракского в серебре ковша, и мне хорошо. Никто не сказал: «Я видел спину Туатамура-воителя». Никто не скажет, эйе!

...Вчера, в полдень осеннего дня, я выехал вперед искать следы. Я нашел в поле мертвую голову человека. Дожди вымыли кость. Ветер и пыль отчистили ее до блеска. Она была бела, как зуб молодого коня. Я ударил кость копьем, ибо не смеет мертвый глядеть в живого глазами, как у покорителя. Тогда из кости выскочил крот. Он не успел отбежать на полторы стрелы. Я наступил на него конем, ибо не должен жить в голове человека крот. Со мной была Ытмарь. Я сказал:

— Кто-нибудь прицелится хорошо, и я вот так же лягу под голой луной, посередь чужого поля, головой в закат...

Сказала Ытмарь:

— И я.

Сказал я:

— Но я не буду умирать. Я буду слушать потрескиванье дерисунха. Я буду гадать по ночному небу о судьбе тех, у кого есть судьба, если ворон оставит мне глаза...

Ытмарь сказала:

— И я.

Вот песня, которую поет Бласмышь:

«Мне даст Худда бело-пурпурные шаровары и туфли, вышитые, как хаканский тубетей. Мне скажет Худда: пляши, ханым! И я закружусь, как ветер вкруг копья, и перегнусь, как сабля аганы Туатамура, а бубен звоном, нежным, как поцелуй цветка, забьется над головой. И скажет Худда: ты хорошо пляшешь, ханым!..»

...Глухие барабаны дождя выбивают тревогу. Небо не прояснится до весны. Скоро-скоро Обезьяна родит Курицу. Бурхап сказал, что пятое новолунье Мыши даст победу острейшему копью. Буякши!

Я пью бол. Бол даст приятность сердцу. Я сплю.

Кургакам моим шепчет Бласмышь:

— Сеид-ата Туатамур спит. Пусть не поднимет голоса никто...

...Эй, Худда, беним юраклы алаимны сакла!

VI

Ытмарь ошиблась: мы шли не девяносто, но сто двадцать дней. Четвертая луна рождала серп, когда Джебе на пути своем разбил ясов, а Субут — касогов.

Ытмарь сказала правду: мои батыри — я знаю, ни один не отвратил бы лица и от барса! — не роптали, если вьюга за ночь наносила в шатер вороха острого снега, если люди вмерзали в грязь, а лошади убывали так же быстро, как убывали уши и носы у людей.

Аммэна, то было смешно! Женщины бранились. К весне у меня было пять тысяч безносых и безухих людей, эйе. Я составил из них передовой отряд и дал им атабеком немого Хагадакана. Они были выносливы, как каменная плита, положенная на пороге большого шатра, а быстры — как звук серебряной трубы на каанской охоте. Скажу так: стрелу, которая летит быстро, может остановить только сердце врага. Они были храбры, эти добыватели Темуджиновой славы. После первого удара по Кипче, эйе, Ытмарь отдала им священное перо птицы Гармы. Хагадакан носил его на своем малахае как акам. Эджегет Хагадакан! Он лег головой в закат на Тангутской равнине.

Хга, все ушли теперь от Туатамура. Один он. Он лежит у шатра Иналь-ханым и шамкает собакой, напрасно скаля пасть, в которой нет зубов. Где Гемябек? Ушел! Где Джебе, где Субут? Кагер, его голова моргала мне с копья проклятого Мстислаба. Где Котлубяк? Ему влетела в рот стрела, когда он пел о победе. Где батырь Толгый? Ушли! Ушли с Чингисом в закат, на пир Худды. За чашами весеннего кумыза они не вспомнят про Туатамура, старшего покинутого брата. Кручина болезни и старости — ярмо мое, вайе!

В закате сто двадцать первого дня ко мне пришел эмир Гемябек. Он сказал:

— Хаким-ата! За полдень езды правее солнца, которое уходит в сторону Терис-Тустук, мои разведчики видели табуны коней и большие стада овец. Всаднику объезжать их четыре дня. Мои убили кипчакских сторожей.

Он замолчал. Я спросил:

— Е, таген?

Гемябек сделал пальцами щелк-щелк.

— Они привезли пленного хана. Его настигли на охоте. Он бился хорошо. Когда его привезли, в рукаве нашли два ножа.

Я приказал:

— Приведи сюда.

Тогда была уже ночь. Небо синим войлоком накрыло степь. Теплый ветер приносил в шатер мой тихое дрожанье земли и созвучные, дружные шумы отдыхающей орды.

Тогда была весна, и скот мой радовался зелени,— ее было много. Степь под весенним солнцем, буякши! Это — Бласмышь, которая вот надевает на себя зеленую ханджаулык, чтоб учить меня любви.

Я услышал шаги. Шли трое. Один — был Гемябек. Другой был толмач. Третий был гибок и хорош ростом. В его глазах сверкало бесчинство, а в мочке уха красным камнем серьга. Руки его были стянуты ремнем за спиной. Рука, стянутая ремнем за спиной, синеет быстро и скоро делается как чужая.

Я сидел и молчал. Я смотрел. Его грудь была зашита в кожу, а кожа была раскрашена. Я увидел красного зверя, голубую птицу и желтое дерево. Я понял, что он храбр, и спросил его:

— Какого ты аймака и кто ты?

Он молчал. Неистовство дернуло его челюсть. У него было волос под губой столько, сколько ног у коня. Лицо его было молодым. Я пожалел его молодость. Я спросил его:

— Ты нем?

Он молчал, но если бы он сказал «эйе», я отпустил бы его. Гемябек — у него был красный лоскут над сердцем! — ворчал:

— Шайтанга! Давеча он ругался, и слова его были ядовиты, как сок травы Бармык. Намажь им стрелу, и она родит смерть!

Я спросил:

— Ты башкурд?

Хга, толмач был ненужен, — пленный знал наречие моих дада:

— Собака лучше башкурда!

Во мне рванулось сильно, так, как если бы сам Голубой Бык обломил себе рог, напоровшись на камень:

— Слушай, ты, у которого не две, а одна голова. У тебя есть спина. На спине есть кожа. Аммэна, ею я обтяну барабан, и завтра же он двинет моих на твои кочевья. А ты — ешь грязь! — ты...

Он прервал меня. Его глаза стали красны в цвет серьги. Он закричал:

— Называй меня «сеид-ата», раб, — я сын хана.

Я хотел встать. Мне захотелось видеть, как он умрет. Он закричал еще. Хрустнула кость в сердце стоявшего передо мной. Он крикнул кипчакским наречием восемь бесчестных слов, эйе! Он плюнул в огонь, я слышал имя Чингиса — мир ему! — в его устах. Я видел, как испуганно закрыл рябое лицо руками толмач, упадая в страхе на колена. Потом я видел: мыча, скакнул на пленного Гемябек. Аммэна, так прыгает дикая кошка из заросли саксаула на суслика! Он прыгнул и рванул серьгу из уха, вместе с ухом, прочь. Я подался, чтобы видеть. В руке Гемябека рваным краем лежало красное и чужое, а там, где было ухо, не было серьги. Я узнал: горяча кипчакская кровь, как красная эмалевая пряжка астрабадского серебряного стремени, накаленного солнцем.

Потом я узнал еще. Того, которому Гемябек вынул ухо и проломил сердце кингаром — кингаром о трех гранях, — звали Улган. Его отец был Котян,— пусть жалит его змея!

Вот что было потом. Улган обнажил зубы и замычал, и хлюпнуло обидой внутри его. Ударь собаку ногой в брюхо, она вот так же зарычит — бессильно и жалобно.

...Слушайте все, кому не стыдно слушать. Вот Угэдэй ударяет меня в лицо золотым каанским буздыганом и говорит: «Ты стар, Туатамур, глаза твои сожжены солнцем и хотят плакать. Они видят не дальше, чем на двенадцать ячменных зерен, уложенных в ряд. Ты передашь алам тенебиса Кирагаю, которому два Барса дали победы, а третий власть дает». Так же тогда хлюпнуло пронзительно и во мне,— Туатамуру хотелось тогда кричать, как женщине, рождающей копье!

Гемябек пыхтел, кулаки его ждали душить. Я отвернулся. Темнело.

В ночном небе тогда кочевал Уркур, и девяносто весенних ветров неслись по птичьей дороге неба.

Это случилось в закате сто двадцать первого дня. В утро, которое пришло на смену, я повел своих дада за холмы.

VII

Мы тьма, мы твердо идем. Когда мы идем, трава перестает расти, а камень кричит в поле, покрываясь росой, красной, как кровь. Земле трудно тогда дышать от ударов и падений тел.

Мы вышли на заре. Когда соленое озеро, обросшее бударапом, осталось влево,— мы увидели чужих всадников. То были Дешт-Кипча.

Мы увидели коней с большими гривами и железными ногами. Люди на конях были невысоки, — может быть, оттого, что прилегали к седлам. Оскалив копья зубами, они стремили на нас.

...Был у меня славный воин —Азарбук. В его сердце жили барс и конь. Смешной,— он так любил коней! Когда одичалый, загнанный найман подбил моего серого тулпара, он плакал, грызя древко своего копья. Это про него говорили, что он родился с конем. Сюкэмли, гайретлы яш, горный ручей!

Теперь он выехал вперед орды, легкий, как покрывало Ытмари. Он помчался. Его копье было славное, хорошее копье, оно было наперевес. Из рядов Кипчи выехал другой, тоже с копьем, на коне, достойном хакана. Орда затаилась. Топот двух коней был отчетлив уху. Они ударились крепко. Я ждал, что искры попалят землю. Но у Азарбука сломалось копье. Милый, сюкэмли яш! Я видел, как из спины его, разрывая бектер, показало мне острый язык кипчакское копье. Мне вдруг стало тесно в груди, я почувствовал, что это старость. Я выпрямился в седле, дрожа, как тетива. Я крикнул,— моя ярость смогла бы прожечь камень:

— Дам кибитку, сбрую и коня... Яшасын кагерман! Дам тарханный ярлык с тамгой хакана, кто принесет мне глаза того, в сафьяновом малахае!..

Мои ринулись волной. Аммэна, — это прекраснее весенней степи, набухшей цветами, чтоб родить, двадцать тысяч алтабасных тубетеев на храбрых головах. Но тот бежал. Я видел его спину. На ней была нарисована красная птица, а нужно б туда крота! Эйе, у них были воровские глаза, и я не жалел их. Я приказал ударять их только по разу. Страх наносил им второй и последний удар.

Вот я увидел Ытмарь. Семеро вознесли над головой ее копья. Одно из них разорвало сафьян нагрудника, и вот я увидел грудь Ытмари с царапиной копья. Я не двигался. Стрела сорвала мой фес и приколола к груди нукера, но я глядел. И вот закружила Ытмарь саблю, как бубен в пляске, над головой. Тогда трое упали с коней, как кожаные сабы с кумызом. Четвертый бежал. Я убил пятого. Но в глазах Ытмари была досада. Она дышала тяжело:

— Ты сделал плохо, тенебис. Ты оскорбил. Защита и помощь другу не признанье ли слабости его?

Слушайте все, тут я полюбил ее. Я был тогда не стар. Я мог три дня носить на плечах четыре хорвара пшеницы на пятерых лошадей. Я сказал:

— Ытмарь, дочь каана! Туатамур хочет любить тебя...

Она ответила быстро, как быстр на тонкой нити бисер:

— Я пою песни, но умею петь только про войну. Я умею вышивать, как всякая другая, но вышиваю только коня, колчан и воина. Я не знаю песен про любовь, Туатамур!

Тут она ударила коня хлыстом. Хлыст висел у седла. Конец хлыста был пучком алой шерсти. Было так, словно коснулся хлыст лица моего, с которого я не стер крови.

...А гаскеры Илдуркин-юрта были уже далеко. Я поехал туда. Я бился тогда хорошо. Я не жалел никого.

Мне было смешно, когда воробьиной стаей налетела слева на меня борзая орава кипчакских ребят. Хга, они пришли отмстить за отцов. Они кричали и плакали, пуская стрелы, а я смеялся громко. Эйе, я смеялся,— ребячьи стрелы не жалят сильно! Мои прошли по ним своими конями. Я кричал моим:

— Меным батырлар ытагатлы, тынлагез! Тот сделает хорошо, кто не даст щенку стать собакой. Кынà!..

...Приходил вечер. Кожаные дабылбазы громыхали победу. Аммэна, мои устали поднимать сабли. Мы возвращались. Вода в озере была соленой и пропиталась закатом до дна. Я говорил своим дада так:

— Тынлагез! Согеш ве улымь! Вы все батыри, все — заставляющие дрожать. Каждый достоин надеть эмирский бешмет. У вас косые выцветшие глаза, — какие глаза красивей? У вас широкие скулы, — чьи скулы красивей? Ваши станы прямы, как путь взбесившейся стрелы. Кто красивей вас?

Так говорил я, а в душе не смолкал восторг перед Ытмарью. Ровно в полночь, — Колчан в небе встал прямо, как колос ячменя, — я услышал: жмется ко мне Бласмышь, прося ласки. И вот я вспомнил Ытмарь. Вот я выгнал Бласмышь из шатра.

Была ночь тиха. Дада, когда спят, прячут дыханье в себя.

Была ночь тиха, а я лежал и дышал — один, как те тридцать ханов, которых мы убивали в Хорезме, у стены.

Я знаю, люди говорят: «У Туатамура бычье сердце, большое, как кузнечный мех. Он может вобрать в себя запах всех

цветов невытоптанного луга и стать вдруг жестким, как пара досок, положенных одна на другую».

А я стонал, и никто не слышал.

VIII

Трусы, шакши кочиклар! Для неудач в бою они выдумали слово «пощада». Трусы и вынудчики,— они послали в Орус скорых, как хвост зайца, карбекчи просить о помощи. Прошаки и кроты! Тесть послал к зятю, Котян к Мстиславу. Мстислаб продал свое войско за стадо буйволов, женщин и коней.

Я послал сказать в Орус:

— Я не вас коснулся, но Кипчи. Они конюха и рабы Чингиса. Кипча — донгузлар, у них воровские глаза. Я пришел наказать Кипчу,— вы не Кипча.

Мстиславы подкоренили моих послов.

Я послал им еще сказать:

— Если у вас воинов тысяча,— у меня их впятеро. Если их у вас двадцать тысяч, у меня вдесятеро! Но я не коснулся вас. Копье не сломается о сноп соломы.

Тогда Мстиславы собрались в большом городе, где золота на их дворце больше, чем воинского разума в головах. Они решили пойти на нас.

Я выслал сторожей и ждал.

Курица, рожденная Обезьяной, родила седьмую луну.

IX

Тогда настала страшная жара. Сильные дымы шли. Горел куст. Горел курган. Горел камень.

Если медный котел, в котором варят бол накануне большого похода, накаливать четырнадцать дней,— он станет бел, и глядеть на него нельзя. Земля под ним растрескается. Аммэна, — солнце у Кипчи было подобно тому котлу. Оно расширилось во все небо и накрыло степь. У человека, который ляжет в полдень на земле, — к закату лопнут кость головы и жилы в ногах. Земля могла гореть, как смола, которой мажут кожу. И я поверил Чегиркану, что не было в этой стране дождя с того самого дня, когда великий Угуз-хан убил в Кашмире Ягму.

...В глазах заволакивало смертной мутью. Все высохло. Я вырыл сто двадцать глубоких колодцев, но только десять давали воду. Мои гаскеры жаловались, что увяли их стрелы в колчанах и стали как руки женщины в брачную ночь.

Лошади падали, люди хотели любого конца. И я решил, что пора быть концу. Не живет крот в сердце того, у кого на плече алам воителя.

...В те дни Мстислабы обходом взяли мои стада и убили сторожей. Я не хотел боя. Двенадцать малых кругов времени они шли по моим следам. Эйе, у Туатамура широкие следы, их найти нетрудно!

Они перешли большую реку. Они не отставали. Днем солнце жгло, а вечерами жужжали стрелы, но я молчал.

...В полдень, раскаленный добела, весь в пыли, прискакал на распаренном коне Ташукан, брат Гемябека, с черным ремнем на хребте. Голосом, который был не его голос, он сказал:

— Худданыз джяр болсун! Хаким-ата, Гемябека нашли в кургане. Котян выжег ему оба глаза и положил туда соль.

Я не ответил. Я встал. Сердце воспламенилось к истреблению. Потом я сказал:

— Мыши... заплатят вдевятеро. Каждый сын их, каждая дочь их — рабы!

Я приказал остановиться. Я приказал провести три перекопа. Цветной лоскут с тамгой Чингиса вяло повис в безветренном дне над моим шатром.

А жар был силен. Когда повелит Худда, чтоб горы потоптали всех живущих, поднимется тогда такая же жара — от дыхания людей и коней.

Между мной и Мстислабами легла река. Они ее звали Калка. Мы никак ее не звали, так как была она подобна мокрому хвосту паршивого коня. Ее суслик перебегает вброд.

На том берегу сидел Ярун-бий кипчак, на моем сидел и слушал немой Хагадакан.

X

Была ночь. Я вышел из шатра.

Степь была широка. В степи было светло. Луна, полная, как вымя кобылицы, струила над степью молоко. Степь гола — буякши: глаз не наколется на опаленный куст вдалеке.

Калка была ручьем. Ее начало потерялось в озерах лунного молока. Калка была как серебряная уздечка, потерянная в степи батырем, который объезжает небо на Голубом Быке. По берегам к реке скользили люди, чтобы напиться. Кроме того, приятно каждому дыхание холодного ручья.

А звезды в небе были как белые шатры. Луна была кругла, и я вспомнил песню про царевну, которая бродит в небе, выгнанная отцом.

В степи было светло. А мне хотелось Ытмари. В жилах ворчала обезумевшая кровь. Я вернулся в шатер. Я лег. Но вот увидел я, как наяву, грудь Ытмари с царапиной копья за лоскутом зеленого сафьяна.

...Теперь кружка кумыза и ячменная лепешка,— больше не надо ничего. Хга, Туатамуру было этого мало! Я встал. Я снова вышел из шатра. Вот я пришел в шатер Ытмари. Перья каанского опахала над шатром были как крыло лунной птицы. Сквозь прорезь в шатре упадала луна. В изголовье, влажном от лунного молока, я увидел лицо Ытмари. Она спала. Я сказал:

— Ты прекрасна. Луна — рабыня тебе. Твои губы — как цветок керальыня. Я люблю тебя.

Но я не сказал этого. Это сказали мои глаза.

Я склонился к ложу Ытмари, и я раскрыл перед ней ковер моего сердца, прося прийти. И я сказал:

— Хатунь! когда коснутся тебя губы мужа твоего — я увижу звезду Омур-Зайя. Я уйду в закат.

Но я не сказал этого. Это сказало мое сердце. Она спала и не знала. А мне захотелось перебить себе кость, чтобы была боль. Мне захотелось иметь голубое крыло. Я беру Ытмарь на руки, я взмахиваю крылом девять раз. Я кладу Ытмарь на легкое облачко, плывущее к луне.

Как бы стрела вошла глубоко в мою голову, и я вскочил с места. О, кривая стрела любви! Я бежал к реке, я лег грудью на влажный песок, и если б послал тогда Ярун кипчакскую стрелу в меня, я не жалел бы, эйе.

Стали приходить дуновения ветра. Все молчало. Я услышал голос Субута. Он говорил в кругу атабеков:

— Хаким-ата слушает, что говорит земля. Земля говорит о победе. Земля говорит, что завтра степь изменит запах, а река — цвет.

Эй, Худда, да сохранят пучины Ытмарь, добычу сердца Туатамура!

XI

Утром я снова ходил по лагерю. Подобно насекомому, созданному, чтоб жалить, выкатывалось в тусклое небо небесное колесо. Шайтан бил по нему палкой, и оно катилось ровно, изредка прыгая вперед. В тот день одна треть потерявших жизнь была насмерть ужалена солнцем в темя. Они почернели к концу дня.

Ночь и утро были холодны. Калка дымилась. Ее серебро алело, зная о кровавом дне. Мои нукеры не спали. Они лежали прямо по земле, прижав к телу копья, сабли и стрелы.

Атаклы балалыр! Я понял тайный смысл. Они хотели, эйе, отогреть оружие, чтоб сабля стала гибкой, стрела быстрой, копье не устающим бить. Я знаю, железо любит греться о теплое — будь то солнце, кровь или огонь.

Я поглядел назад: нас было много. У всех были бритые головы и узкие глаза. К бою я назначил только четыре больших томана всадников: я хранил людей.

...Пыль прилегла за ночь, и я не просил дождя. Дождь прибивает стрелу, расслабляет тетиву кызылбашского лука. Но я хотел туч. Туч не было. Небо было как закопченный голубой камень.

Вдруг пернатыми хвостами засвистали стрелы. Вот, таясь в тишине, заворчали барабаны в нашем стане, закричала труба за рекой. Субут не спал. Бдительность — добродетель воина. Яшасын кагерман!

Хга! На левое крыло моих рядов, там, где был край вала, упала стая стрел. Там захрапели лошади и люди. Зашлепали удары железом о мясо. Переплелись, как в дожде, копья. Молодая ватага с молодым же князем — эйе, я не видал его спины, я видел лишь три белых кисти его неудержимого копья! — хлынула внезапным валом. Потом подошел еще людской поток, все стихло, но вот тишина и трубы родили визг и гул, а через Калку все шли и шли они.

...Вот я вижу Ташукана. У него убили коня, — копье в глаз. Ташукан ревел и тряс головой, а рубил — как батырь смерти. Аммэна! Он знал хороший удар: клинок через голову, вправо и в грудь. Я был спокоен за него. Так он бился с кипчаками. Кипча билась с ним по пятеро в кругу, звездой.

Тынлагез! Я увидел молодого князя. Он был как розовое дерево весной. Свои кричали его Джаньилом. Это у него борода была как русый шелк. Вайе, Ытмарь хорошо ударила его саблей, и он хорошо принял удар, не качнулся в седле. Ему на подмогу летел четвертый Мстислаб, мыча, как немой. Но он не успел опустить меча. Он упал с коня одновременно с ним самим, ударив подбородком в луку седла.

Катилось медленное солнце вверху, и оловом безумства наливались головы. В меня метили хорошо. В меня нельзя не попасть: я большой, я широкий, у меня конь — как я сам. Вот длинная стрела, треть копья, сорвалась с тетивы толстого орусского барласа в красном колпаке. Она впилась мне в руку выше локтя. Аммэна, хга! Я вырвал стрелу и бросил ее обратно. Колпак стал еще красней, а толстый упал грузно вниз, как турсук с вином, пробитый ножом сквозь.

День приходил к концу. Олово начинало стынуть. У меня растрескался язык и мешал дышать. Калка запрудилась. И вот тут случилось это: мои дада дрогнули. Юк,— они не бежали, нет, они стали оглядываться на меня, то хуже. Тогда я ударил немым Хагадаканом в толщу людского затора, и вот он разорвал ряды, как ветер тучу...

Я сразу увидел тысячу согнутых спин. Мои рычали. Их лица, смоченные потом и кровью, покрылись коркой пыли. Их лица были страшны. В каждом был Чингис, а я почуял вдруг, что не один, а тысяча таких, как я, гневно ревут в моем сердце.

Мы перешли Калку. Барабаны хрипели о победе уже за три фарсанга впереди. Стрелы не достигали нас. Я пустил узбеков добивать.

Над самой Калкой, на том холму, который был невысок, два Мстислаба окружились кольями. Они не хотели терять ни надежды, ни жизни,— крот, раздавленный копытом, все же ползет к норе. А третий Мстислаб бежал. И того, который бегал так хорошо, оруслар звали Удалым. Я Борзым его назвал, он был непостижимой быстроты. Мстислаб Борзой, буякши! Он был толст, конь спотыкался под ним. Он перешел большую реку. Он сжег лодьи. Он не оглядывался. Может быть, у него было лицо ночной мыши, я не узнал.

Я приказал словом хакана:

— Догнать, хотя бы он уцепился за небо. Аммэна,— всу-

нуть в него палку и вертеть, покуда не отдаст жизни, ненужной и камню!

Вайе, Хагадакан не сумел догнать. Смелый бегает, как лунный поток, трус — зайцем. У волка острые зубы, но заяц бегает быстрей.

Засевших в кольях окружил Чегиркан с людьми Ташукана. Ташукан не был на моем пиру. Ташукан ушел в шатер брата. Полдневная рана в живот означает конец, будь то конь или воин.

XII

...А ночь пришла лунная. Лунное холодное молоко текло, все текло. Степь и ночь, пропитавшись им, делались прозрачными, стыли так. Семь Воров Неба натянули луки в Горного Козла.

А на большом поле с пустыми колчанами, с пробитыми головами лежали мои, победившие, добыватели славы. Так же, обнимая друг друга, держа стрелы в глазах, лежали и не мои, никого не победившие. От них пахло сыромятным ремнем: запах свежей раны, куда поцеловала смерть. Голова моя начинала тяжелеть, и я снова припомнил про старость, но это было не то. Лежали по земле, среди тел, стяги и колчаны. Подобные безлистым палкам бударана, торчали копья и стрелы из тел.

Я поехал по полю. Луна текла мне навстречу. Вот, перегнувшись спиной надвое через разорванное брюхо коня, лежал лицом вверх князь. На его шее золотая цепь, а на груди вышит красным шелком человек с крыльями, как у птицы. Левый глаз его был закрыт, а правый прищурился в небо. Его лицо показалось мне храбрым. Я повернул человека, ища раны. Я нашел рану. Рана была ниже спины, осколок копья в локоть торчал оттуда, как хвост. Я ткнул мертвого один раз ногой, ибо что́ стоит сердце мертвого труса? Я засмеялся ему в лицо. Я сказал, подставляя ему грудь, на которой не было даже кожаного нагрудника:

— Ты трус и заяц. Бей!

Он промолчал. Я сказал:

— Ты грязная собака. Бей!

Он опять молчал. Я отъехал прочь. Зверь, который съест его сердце, умрет, не увидев луны следующего вечера.

Потому, что я услышал тихий плач с реки, я поехал туда. Я увидел. Я сотрясся. Согнувшись над человеком, лежащим неподвижно на песке, лицом к лицу, негромко плакала Ытмарь. Я подъехал.

Ее косы были гладко заплетены. В луне мерцал бледнозолотой шелк ее наха. Вайе, кривые стрелы! Я приподнял ее за плечи. Она взглянула на меня глазами жеребой кобылицы, у которой рана в живот. Ее глаза были туманными от тоски. Она не увидела меня.

Я наклонился к человеку. Я узнал его. Это был тот, молодой эджегет орус, Джаньил. Его девятиглазая байдана была пробита и порвана лоскутом. Кольца сияли в луне. В дыре я увидел сгусток крови в ладонь.

Я взглянул в небо. И вот теперь я почуял, что сломана вторая оглобля моей арбы. Я дрогнул. Я увидел в небе звезду Омур-Зайя и понял, что ресницы мои сосчитаны. Она висела надо мной, острая, подобная триграннoму кингару. Она незаметна для тех, про кого говорили: «Вот родился, который счастлив, ибо у него голубое лицо...»

Я сказал тихо:

— Ты хорошо бьешь, Ытмарь. Одним ударом — трех.

Тынлагез баргузда! У него были синие глаза, а у меня — цвета обожженного камня. У него была борода, как русый шелк, а у меня подбородок давно опалился солнцем и огнем.

Его глаза! Они наполнились лунным молоком, как чаши Худды, но там, на дне их, я увидел две черных точки смерти, малых, как срез конского волоса. Два укуса разлучающей навсегда!

Он был как мальчик. У него был вид, словно он не переломил ноги ни одной курице. И он стонал. Аммэна! У него была одна рана, и он стонал, а у меня были четыре раны, я прокусил язык, чтоб не упасть с коня, и я молчал... Аммэна, я молчал! Кто слышал?

Я слез с коня и сказал:

— Не надо плакать. Мертвым обидны слезы живых.

Она не оглянулась, но вздрогнули в ее волосах горячие зеленые камни бугтака и тесней сомкнулось гагатовыми зернами чернобусое ожерелье у нее на шее. Гагат растворяется в луне, как соль в воде, и луна делается горькой, как вкус гохай ширгкэк, вырастающей из безводного камня.

Луна текла в небе. Мертвые караулили живых! Из куста над обрывом вырвалась птица чибис.

Ытмарь, раскачиваясь, пела одними губами. Эйе, никто не целовал их — только луна, как сестру,— она пела песню.

Я прислушался, я услышал. Я понял все, и мне захотелось, чтобы кто-нибудь другой встал под кингар смертной звезды. То была старость. Текла луна. Мертвые караулили живых. В замутневшее, неостылое небо покойно глядели недвижные голубые глаза. Ытмарь раскачивалась, подогнув ноги, и пела неслышно про царевну Луну, полюбившую батыря Дубарлана.

Я встал с колен. Эвва, кто мог знать, что завтра же пика в черном войлоке встанет над юртом в знак смерти дочери Покорителя Средин?

Текла луна.

«...И тогда пришла Луна в шатер Дубарлана. И заглянула ему в глаза. А он... был... мертв...»

XIII

В пору, когда ложатся спать,— тогда была старость шестой луны,— карбекчи принесли мне две вести.

Один сказал:

— Чегиркан взял колья. Плоскиня выдал князей. Их шестеро, а седьмым он сам.

Плоскиня был бродник. Он целовал мне землю, но перешел к князьям. А когда перешел — изменил им. Он изменил дважды. Разжиревшая собака кусает хозяина. Я приказал:

— Плоскиню повесить на шею верблюда и бить кнутом.

Второй вестник сделал руками щелк-щелк, боясь слов. Я сказал, чтоб говорил. Он сказал потом:

— Ытмарь... убила себя.

Хга, теперь я умею только лаять, а тогда я умел рычать. Вот я зарычал: дым гнева исшел из моей гортани. Я с маху вонзил саблю в землю по рукоять. Я бросил горсть земли за пазуху. Я вскочил с войлока и разодрал на полы свой эмирский халат. Голосом, как медь, я крикнул на весь стан:

— Бетты юлды хакан кызы! Доски и князей сюда! Мы сядем на грудь князей. Мы будем пить бол и есть самусек.

Тело их — еда собакам. Кагер душманга! Здесь голубые глаза жалят сильней стрелы...

Я рычал, эйе! У меня были четыре раны, а про пятую не знал никто. Люди закрывали лица, чтобы не видеть моих глаз.

Тогда принесли доски. И тогда привели князей. Они жались друг к другу. Ытлыр, — на каждой из моих скул сядет по одному! Мои глаза раскосились назад. Я сложил их, князей и зайцев, как тангуты кизек, и положил на них доску.

Тогда в котлах принесли бол, и к ногам, подобные собакам, прилегли покорно сабы с кумызом. Вот мы сели, двадцать, на одну доску, буякши! Мы стали пить. А в тот вечер небо набухло громами, и ветер был в сторону Кипчи. Я приказал зажечь степь. Аммэна, — дочь хакана уходит в голубые улусы Худды!

...Небо пылало закатом. Закат будто сошел в степь. Она пылала, и мы были как в небе. И мы не знали, где начинается небо и кончается степь. Я был как пьяный. Тысяча подобных мне, столпясь в табун, выли во мне, как волки в зимней степи. Кто слышал?

А мои гаскеры, добыватели славы, пели у костров:

«Чингис поцеловал Туатамура. У Туатамура острые зубы и верные люди. Люди как зубы, зубы как люди, — мы перегрызаем всё. В колчанах много стрел, в сердцах много ярости,— победа цветком алым на новом щите!»

Шестеро стонали под досками, песня заглушала стоны те. Эвва — только один из них просунул ко мне голову и крикнул громко. Его голос был грозен, он был подобен реву хаканской трубы:

— Не хочу, чтоб поганый твой зад раздавил мне сердце. Хочу копья в грудь!

Я вытащил его из-под доски. Я поглядел ему в глаза, в них не было страха. Там были покой и ненависть воина. Я сделал так, как он просил.

Хга, пусть смелый плодит смелых. Пусть у смелого будет пестрый дом с золотым очагом! Сделай то, о чем тебя просит смелый!

А мои дада всё пели и пели всё. Приятен сердцу воина напев победы.

«Туатамур принесет добычу каану. Хакан скажет: алды

реза болсун, Туатамур! Мы не плачем о мертвых. У нас косые глаза. Чьи глаза косее? У нас бритые головы. Кто красивей нас?»

...То была последняя ночь в степи. В ту ночь пришли тучи и пролились вниз. Я приказал покрыть головы князьям и проломить спины. Они трусливо легли один к одному, в чужом поле. И глаза им засыпали песком.

А сам я лежал на войлоке в пустом шатре. А в шатре Субута, слышу, смеется Бласмышь. Это хорошо, что она не со мной. Женщина не должна видеть слез воина.

XIV

Когда герой ищет смерти — слух об этом поднимает волю сильного и вселяет в сердце слабого страх.

Я ураганом прошел по степи. Потом я ударил по юрту кангитов. Там, на широком тогае, я потерял глаз, а хотел потерять жизнь. Когда небо свершило три оборота и Мышь родила Корову, я пошел домой.

Я не застал Чингиса. Он умер в год Свиньи. Солнце ему тубетей!

Вот, когда я пришел к Угэдэю, я принес ему не лесть, я привел ему стада овец и верблюдов, нагруженных дорогою рухлядью. Я привел ему двадцать тысяч сивых коней и двадцать тысяч черных и еще двадцать тысяч белых. Я привез в его юрту много хорваров хлеба, а ему самому белого кречета с красными ногами. Я простерся на войлоке перед Угэдэем и сказал:

— Худдай сакла ханный, бир она узун кымер!

Но он ударил меня золотым каанским буздыганом в лицо и выбил зубы. И женщина Букяй, вторая жена каана, смеялась над моей кровью. Я понял, что мстил он за смерть сестры. Тогда я встал на колени и так выполз вон.

И я не показывал никому лица своего, пока три новолунья не загладили шрама. А на восходе другой луны он прислал мне стрелу без перьев и кафтан без пояса. Почему не прислал ты мне и мертвую мышь?.. Но я не сказал никогда, что черно сердце хакана, как дно походного котла!

...Тогда всходила над равниной Улуг-Ана сильная звезда Кирагая-юлаши. Ныне ходит он с мечом по чужим полям, и мои гаскеры поют ему:

«Угэдэй поцеловал Кирагая. У Кирагая острые зубы, и сам — как зуб. Оклар куб калды! В сердцах много ярости. Над нами в небе ястреба...»

И вот, кто даст хоть один пул, расплюснутый копытом, за голову Туатамура, лежащего у порога чужой жены? В беззубый рот мой глядит ночь. Луна — как золотой чурбан, с которого упала голова Ягмы. Ныне я — дряхлая собака Чингиса, ушедшего в закат.

И я не хочу видеть, как завтра взойдет луна. Слушать, как доят вечерних кобылиц, вдыхать ветер, идущий с цветов первого круга,— не хочу...

Мин улымь!

Май 1922 г.

СЛУЧАЙ С ЯКОВОМ ПИГУНКОМ

Все дело у Якова Пигунка было в бороде. Была она спутанная и черная от дыма и копоти и свисала низко, на манер мочалки, которой печные горшки моют. И ведь, право, до чего дело дошло: полтора года жил в Пигунковой бороде паук, Иван Иваныч. Пигунок так про него и думал: живешь — и живи; каждая тварь должна себе пристанище на земле иметь: пес в копуре, дьякон на фатере, береза в лесу.

И паук, ничего, жил: сделал в бороде шалашик такой и прятался там в пасмурные дни, а в вёдро выползал Иван Иваныч на Пигупков нос, оглядывал оттуда окрестные божьи места и дышал чистым воздухом. Случайно попал он на заре своих зрелых дней и весеннего утра под лапоть Якова Пигунка, и господь принял в лоно свое вопль издыхающего гада.

Это-то и определяет бытие и сущность Пигунка Якова. Яков есть сонный старичище. Жил он много лет. Дни текли своим чередом, а он своим. И боялся господь вынуть из него душу, потому что вся она пропиталась дегтем насквозь. Куда такую пустишь?!

Тут-то и надо сказать главное. Якову Пигунку от рождения еще было суждено дегтярником стать: годовалым мальчишком полчашки дегтю выхлебал. И стал он вскорости после этого — дегтярник.

Но!! Деготь гнать — это, извините, даже глухой сумеет и немой поймет! Нет, а ты вот сам набей бересто, да натащи короба его к шалашу, да снасть устрой, а там уж и гони!

Яков Пигунок все делал сам. Силы в нем,— ей! На четырех генералов хватит. А почему? Да потому, что деготь он уж очень любил. Заболеет, к примеру, у Пигунка Якова нога,— сейчас он выпивает кружку дегтю и снова на ногах.

Деготь! Да ведь как и не любить-то его: с дегтем, извините, даже чай пить приятно, и ничего в нем поганого нет, а только чистота березового сока и всякое прочее. В жилах у Пигунка — это можно доподлинно теперь сказать — заместо кровей деготь протекал. Вот потому-то и сидела у него жизнь паучком в каждом суставчике.

Жил Яков в лубяном шалашике, вроде, скажем, пустынника, а шалашик стоял над ручьем в лесу. Был тот лес березовый, верстах в двадцати от села Долдоньев Кус, а на полпути лежали «Гурмачи», именье генерала Васютина. Мы этого генерала припомним и на пальце загнем: пригодится нам потом генерал, да и дьякон из Долдоньева Куса тоже.

Господи, березка!

Березка с языка божественного обозначает жизнь. Березка,— это когда девушка смеется жениху. Каб на земле не росла березка — не стоило бы жить нам тогда. Мне сама Филимониха сказывала: сколько в году берез срубят, столько в году народу перемрет. Я Филимонихе верю: она хоть и на помеле, да в Ерусалим ездила.

Веснами — когда бурно зеленится апрель — ты отдели ножичком береста лоскуток, лизни там,— вот-то сладко!

Веснами — если ты не вор и умеют твои глаза небо видеть — ты наземь в березовой роще брюхом упади, думай про живую щуку — она от нечисти хороша — и слушай. По прошествии двух часов услышишь, будто кто ногтем скребет,— это зелень: ты плюнь, и перестанут. Потом сопенье с кряхтом услышишь, будто к тебе бревно ползет,— это от грибного росту. Напоследки услышишь тихое журчание медового ручейка,— это деготь рекой в земле течет. Тогда уж ни звука не пропусти!

Тут, представьте, слетает к вам светлый луч и говорит:

— Послушьте, господин хороший! Заместо того, чтоб ничком лежать да, конешно, пинжак портить, вы бы лучше молитву сотворили какую ни на есть между прочим...

А вы ему:

— А ты кто есть?

— А я — ангел, должон я нынче из вас душу вынáть.

А вы ему так тогда:

— Душу вынáй: твое дело. А про пинжак не беспокойсь! Березовые рощи — приятно.

Был вечер. Май, уходя, соловьем в зеленях пел. Все кругом, и даже солнце, невидное за лесом, пропиталось животворящей зеленцой. И небо было очень хорошее, и будто мостик через небо все.

Упомянутый дед Яков Пигунок сидел на пеньке возле шалаша и дремал бородой и обоими глазами. В котле ровно трещало బересто, в подтопе прыгали желтые язычки, как ребята через прыгалку, а в корчагу — затвердели по ней дегтевые отеки — выкапывали медовые, густые слезки. Попахивало майским тленом прошлогодней листвы, немножко деготком и просыревшей землей, из которой должен вылезть вскорости ласкового июня цвет.

Вдруг глаза сонные раскрыл Пигунок: запершило, заворочалось в корчаге желтым пузырем, захепькило нечисто в подтопе вдруг, и будто что-то вот так:

— Яшк, а Яшк...

Тут бы Пигунку и заснуть снова, а он взял да и подумал про чертенков. Ему б заснуть, а он нет: протер глаза да и подумал, а как подумал, так оно и приключилось.

Я надысь Филимониху спрашиваю: «баушк, говорю, а где ж это черти живут?» А она мне: «а везде, говорит, сынок, живут: где подумал, там и живут».

А Пигунок не только подумал, а даже приглядываться стал и тем самым окончательно он нечистое бытие утвердил. Вылезает из корчаги.

Да нет! Ему б тут заснуть, а он возьми да и подумай. Вот и вылезла из корчаги небывалая коришневая голова — без носа, без рога, глазищи как шилья, но шильев острей. Притом же — голый весь.

Пигунок молчит: к блазне-то привык он. Еще когда из солдат пришел — повадилась к нему скакуха одна по ночам приходить. Посадит Пигунка сонного на спину себе и давай скакать. Да ведь как! Все губернии, все уезды, бывало, за ночь-то перескачет! До луны прыгала скакуха! Одинова, как Яков башкой-то об луну-то стукнулся, чуть ума не тронулся. Да стал Пигунок сыромятный ремень с гусиной головой на поясе носить, тем лишь и избавился.

А в позапрошлую осень пришел к Пигунку мужик выше лесу, в сибирке, усы вниз, и говорит: «Хочешь, говорит, Яков, я тебя лесиной хряску?!» А Пигунок-то чуть ему наговором-то божественным хребет не переломил.

Научился Пигунок блазну назад в нечистое ведро вгонять.

Тут вылезает из корчаги голый, коришневый, ростом в аршин с вершком, прямо неприличный, и даже шестипалый на левую ногу. И прямо на Пигунка.

А Пигунок начинает наговор читать,— тот остановился. Дошел Пигунок до трех святителей, как они камень Алатырь в воде хоронили, да и забыл дальше. Лаптем досадливо в землю постучал Яков,— не идут на память слова. Ладошкой затылок потер,— забыл. Ворочается растерянно Пигунок, в ногах даже от досады закололо, глаза таращит, а тот ему:

— Ты, Яшк, брось, говорит, ты не то читаешь! Я банничек, а ты на лешаков читаешь.

Опешил Яков. Он хоть и сонный, да добросовестной:

— Постой! Как же это так? Я на банников-то и не знаю. Ты погодь тут, я на тебя гусиную голову из сундучка достану, притащу счас.

Рванулся было, да тот ему дорогу заступил:

— Смирись, дед. От меня не отботаешься гусиной-то головой, ни-ни! Тюря!

В Якове сила его обиделась:

— Ты чего же, это, ругаешься-то? Я на тебя управу найду! Ты мне деготь весь запоганил,— да еще ругаться тут.

Смеется только ненашик,— зубы показал. Гребешком у него зубы, прямые — землю грызть.

— Смирись, не то хуже будет... Все равно, знай, буду теперь я у тебя жить.

Слезливо заморгал Яков, бороду затеребил растерянно, да вспомнил вдруг Иван Иваныча и только рукой махнул:

— Живи-и... У, тварюга... Живи у меня...

А солнце так мягко шелестело в зеленях веселых берез. Кукукнула кликушей птица там одна. И шел полдень синим и светлым, до боли, небом, бурля, как расплавленная медь.

Снизошел на землю молитвенной стопой поздний час июня. Сидели оба возле шалаша: Яков все выдумывал, чем бы это блазну банную назад вогнать, а блазна сидела около да зубы скалила. Со стороны — нехорошо так.

Ушло солнце с засиневшего к ночи неба. За орешиной в копортнике шевелился кто-то изредка: знамо, не живой!

Чайничек одиноко повис над костром.

Заговорил ненашик ласково:

— Ты вот что, Яшк, ты меня сынком зови... Я тогда смирный буду... Ты мне, старик, по душе очень. Ты меня сынком, а я тебя Яша.

Разозлился дед:

— Какой же это ты мне сынок,— шестипалый-та! Ты блазна, ты скакухи вроде, ты недоросток. Я тебя Долбун буду звать,— всю ты мне своими словами голову продолбил!.. Блазна безносая, пра-а...

А тот зубы скалит, голую коленку гладит себе:

— Зачем же — Долбун! Ты уже лучше Кирюшей меня покличь,— будто человек я... Мне и приятно... И потом: скаку-уха. Скакухи на горах живут, а я банничек. Я и скакать-то не могу...

Дед и отвернулся и плюнул сгоряча.

А вечер протекал тихо, как светлый ручеек. Омой в нем лицо — и будешь светлый!

А свет ручьился с неба вечерней тишью... В березовой роще всегда ласково. Всегда в ней слышно, как зеленые херувимы воркуют на сучках. Приди сюда хоть конокрад, по защебечет в нем душа херувимом, и станет спасенником конокрад.

В березовых рощах рождаются райские птицы из зеленой тишины позднего часа.

Яков Пигунок отошел:

— Ты от какого ж блуду повелся-то такой?

Долбун ртище свое до ушей расстегнул:

— Ха, откуда! Это ты хорошо спросил: я люблю сказывать. Пашка плотник, когда лавочнику Столбунову баньку строил — подкинул ему гвоздик ржавый под закладное-то бревно. Вот я из гвоздика и повелся. А раз пошел сам-то Степан Максимыч со Столбунихой париться, а я ему из каменцы-то кашлянул, да и пискнул, «топи, говорю, баню крепчее,— подымется дух жарчее». Пискнул, не смеху для: да самое-то Столбуниху и попарил веничком. Глуп был — вылез из чугуна — тут меня и накрыл шапкой Столбунов сам, а потом щуку живую подпустил... Едва убег я...

Слушает,— сидит он на сундучке,— Пигунок да на ус мотает. Из бороды Пигунковой деготь можно гнать.

— Ты что же, ненаш, боишься, значит, щук-то?

А Долбун-то и распустился весь, руку к тому месту прижимает, где у нас сердце, а у зеленей — кила.

Мне Филимониха надысь сказывала: «у зеленей, говорит,

нету сердца, у зеленей у всякой заместо сердца кила, и корешки из ей растут»...

Разошелся Долбун:

— Да я всего боюсь: и щук, и мышей. Мне баушка Василиса напророчила: тебя, говорит, либо крапива загрызет, либо мышь летучая голову откусит...

Наматывает Яков:

— Та-ак, значит, щучка? Та-ак...

Вдруг спохватился Долбун. Снова отточились гневной яростью шилья в глазах, навострились зубы гребешком.

— А ты что, меня назад вогнать собрался? Ты брось, дед, думать... А не то я тебя во сне чуркой хлопну, да-а...

Пигунок,— эх! Сила-то в нем сонная! — Так и осел, а тот пуще, пуще:

— Я у тебя зиму и лето жить буду, так и запомни! Ну теперь есть давай мне... Есть хочу!

Пигунок,— что же! Он и паучка не тропул: каждый может себе на земле фатеру какую ни на есть иметь.

— Вон, говорит, бери: каша в горшке. Бери, тварюга!.. Каша хорошая,— пшенная...

Расшипелся Долбун:

— А-а, ты, никак, насмехаться вздумал? Кашу? Нет, дед,— я только землянику есть могу,— ты поди вот насбирай мне земляннчки туес! Ну!

Чуть не плачет Пигунок Яков, за бороду ухватясь:

— Да что ты, тварюга! Окстись, Долбун проклятух! Как же это ты, неправославный-то, да землянику... Рази же это возможно? Шестипалый!

Визжит Долбун, как хорек на привязи:

— А-а... А я шестипалым стал из-за кого? Из-за тебя! Ты меня в корчаге передержал. Я тебя два часа ждал. Поджидал, пока подумаешь... Вот что, дед. Я тут вот спать прилягу — ежель ты мне к утру туеса не насбираешь, я тебе бороду головешкой спалю! Так и знай!

Мотнул Пигунок головой покорно,— фатеру дал, давай и пропитание! — выбрал туесок, который помене, и побрел дед в лес...

И огорчился Пигунок, и бороду уныло повесил. Эх, хоть бы дождик, что ли, пошел!

Прошел шагов двадцать, вернулся опять в шалаш, а Долбун уж храпит. И храп у него нечистой; храпит, словно ножик точит.

Наклонился над ним дед на коленки, бормочет:

— Долбун, а Долбун!

Спит. Не слышит банная тварь.

— Эй ты, тварюга, долбунишша проклятая, слышь-ко, чугунная ржа!

Проснулся тот:

— Чево, Яшк, зря ты пристаешь ко мне?

Чуть не плачет дед:

— Долбу-ун! А как же я тебе зимой-то землянику стану искать,— не растет ведь!

Зевнула блазна и только вильнула досадливо хвостом:

— Не горюй! Будешь ты для меня в теплые страны ездить. Я тебя на помеле летать научу...

Ссутулился дед: то скакуха на его спине, то мужик лесиной, а то вот на — сам он, Пигунок, на помеле, за земляничкой, на-кось!

В зеленой тиши березовых лесов сладкое шуршанье вечерней листвы дороже мне материнной колыбайки.

Святись, душа!

В березовой зелени лесной тиши сладко шуршит листвою вечер.

Пой!

Низошла на березовые рощи голубая тишина. Долбит в нее крепким носом дятел. И когда продолбит дырочку — выглянет оттуда, из голубой-то тишины, первая звезда.

И дороже мне та звезда материной улыбки надо мной, когда смутный ветер мяукнет в трубе, прячась от дождя...

С туесом идет по лесу Яков Пигунок, горбясь от нежданной беды. Пришла та беда, села на ворота, взяла Пигунка за ухо, говорит беда:

«Стой, Яков, не трясись: я у тебя на постой встану».

Горько Якову Пигунку, ох, горько. Землянику собирай для банной блазны, ох! И Филимониха-то небось ушла уж на богомолье: сбиралась давно. Разорвись, а корми блазну земляникой!.. А что есть земляника? Березовая пречистая кровь, вот что: всегда она на березовых порубях, на березовых палах капельками тает под солнцем на горках гнилой листвы...

Трудно сгибаться Пигунку. Двадцать лет у дегтярной корчаги продремал дед, а тут — на. И ничего тут стыдного для Пигунка нет! мало ль что бывает... Бывает и красив, да глухой, и умен, да кривой,— разное.

Надо непременно тут речку вам показать.

Протекала за лесом речка. Прекрасная речка,— назовем, чтоб не узнали, Шепелихой. Рыбу в ней ловить — толстящий невод можно порвать,— не об корягу, а от рыбного множества.

Не широка, но глубока. Не длинна — зато богата и красива, как девица под венцом, золотым обручем заката.

Дед бродил-бродил — а в туеске только днище закрыто, пока — ноги закололо и туб... Вышел дед нечаянно на реку.

Несомненно тут Провидение сказалось. Мне Филимониха сказывала: «без господней воли — чирей не вскочит, лист не завянет, кура яйца не снесет». Я Филимонихе верю.

Вышел,— видит: греются лиловые тучки шелковыми поясками в последних лучах, а еще ближе — «Гурмачи» видны,— васютинский белый дом как на ладошке,— а на берегу речки — мужички копошатся, два...

Как завидел Пигунок, сообразил в три счета, так и подлетел веником к ним, быстро. Кланяется,— туесок на песок,— ласковый:

— Здорово, ребятки!

— Что ж, здорово, коли не шутишь...

Один, постарше, глаза вскинул:

— Чтой-то чумазый ты, как домовик... Не домовик ли?

Подхихикнул Пигунок веселому рыбаку:

— Не-е! Дегтярник я... Вы не Конешемски ли?

— Костриковские мы...

Заглянул одним глазом Пигунок в бадейку — ворочаются оттуда здоровенных три щучьих хвоста. Как увидел,— даже затрясло всего.

— Вы, никак, ребятки, рыбкой занялись?

— Не-е, мы дрова рубим,— помоложе который...

Опять подхихикнул Яков Пигунок, будто не дрожь в нем, а непомерное веселье:

— Ребятки-и... А дайте мне щучку одну. Очень уважите. Блазна меня одолела...

Рыбаки глаза вскинули:

— Какая блазна?

— Банничек. Залез в корчагу, а ноне,— сбирай, говорит, земляничку, а то чуркой в затылок или в бороду, говорит, головешку суну, когда спишь.

Засмеялись оба:

— Так, ежели банник, так ведь его не щучкой. Это он тебе сказал про щучку — обшеловить тебя хотел. Его на уголек надо...

— Как это, на уголек?

— Эка, как! Сто лет прожил, а ума не нажил! Ступай, да к полночи на уголек возле его масло лей. Как он тебя спросит: «ты, скажет, Яшк, зачем...»

Так и прискочил на месте Яков Пигунок, дегтярник,— борода подсказала, что неладно тут:

— Ой, робята! Постойте-ка! Откуда ж вы меня за Якова-то знаете. Я ведь вам не сказывал. Христос с вами. Я молчал...

Тут протирает Пигунок глаза: пусто место, и следов на песке пет. Легли туманы белым дымом по лугам. Стекает сверху густая синь на сонные поляны.

А щучки, три, в бадейке трепыхаются.

Почесал Пигунок бороду: вот те и на! Рыбачки-и! Такой рыбачок подденет на крючок,— вертись!

И стало вдруг тоскливо Пигунку: все один да один, никого возле. Посетил было гость, и тот чертом оказался.

Схватил Пигунок бадейку да бежать. Кипит в нем досада ключом, катышом застилает глотку досада. Четко шлепают лапти по мокрой траве.

Мелькнул знакомый пень, покатилось из-за него круглое и свалилось в овраг на самое дно, дребезжа водянистой кожей по сучкам. Знает Пигунок.

В овраге — зелень, плюнь и перестанут. Зелень,— это не страшно: зелень — дыханье майских дерев, старых пней, прелой земли, тайных трав дух... А шалашик — вон он, светится в темноте лубяной крышей, как простыня на суку.

Подкрался в тишине к шалашику, видит: в мерцающем потуханье уголья от костра — чайничек как висел, так и висит — спит Долбун. Присмотрелся Пигунок — голый; поворчал в бороду — у, проклятух! Ножик точишь?! Блазь! Достал щучку за хвост, на руку золы посыпал горстку, чтоб не скользнула,— размахнулся, ворча,— борода как парус надулась,— хлоп с маху щучкой Долбуна по спине!

Вскочил этот, глаза засверкали, зубы длинней оклычились:

— Ты что, Яшк, хлестаться? Я тебе бороду спалю. Ты забыл, что я тебе говорил даве...

Пыхтит Яков, отводит щучку назад, молчит. А Долбун вдруг тихим ребячьим голоском ему:

— У тебя, дедушк, что в руке-то?

— В руке-то?.. У меня-то?.. Щучка.

Как сказал Пигунок это слово, так и умчало этим словом блазну. Только издалека, та́я в тишине, выплакала она жалостливо:

— Эк ты, дедушк... Я к тебе всей душой, а ты ко мне всей спиной! Ты б меня Кирюшей,— я бы смирный был!..

Прорычал Пигунок:

— У, тварюга. Погодь, часом доберусь до тебя...

Хрустели по рощам шаги выгнанной блазны.

Луна вскорости на небо вышла,— толстая, красная, на Столбуниху похожа.

Столбуниха! Это женщина?! Это не женщина, извините, а...

Гуляла луна по небесным пустырькам, май, уходя, соловьем свистел, зелень ползла в траве, ползла куда-то.

Эх, ползунки вы, ползунки! Береза плакучая!

«Гурмачи» лежали в туманах и спали, спали благородные цветы, спали две благородные канарейки, в парке спал голый мраморный арап, но генерал Васютин, Никанор Иванович, рвал и метал.

Он в бешенстве ходил по кабинету, испуская зловещие стоны. И это понятно станет каждому: у генерала Васютина болел зуб.

Было поздно. Генеральша видела конец четвертого сна. Столбуниха пыхтела, выхваляясь вверху всем своим неприличием. Свечи на столе оплыли, впрочем не столько от долгого горенья, сколько от нежного дуновения слабого ветерка, надувавшего занавеску, словно за ней чужая спина была. Ветерок тот блуждал по кабинету.

Генерал Васютин был не молод. Он был даже стар. Даже больше: он был и стар, и лыс, и плюгав, но он был храбр. Под Бородином одна и та же бомба оторвала ногу его отцу и голову деду.

В жилах Никанора Васютина текла, правда теперь немного с плесенцой, но все же бурная когда-то кровь генералов Васютиных.

Конечно, был храбр и он, генерал Никанор Васютин!

Но при чем же тут храбрость, если болит зуб? В зубной червоточине гибнут навсегда все добрые порывы и внутренние спасительные помыслы. И вот Никанор Иванович совсем не

страдал недугом пьянства, но он выпил полбутылки коньяку. Он выпил и даже намазал щеку коровьим маслом, но эти фланговые удары ему не удались: зуб вел себя по-прежнему и производил вылазку за вылазкой. Тогда Никанор Иванович решил ударить с фронта. Он со стоном пересел к зеркалу, поставил на подзеркальник свечу и чернильницу с керосином, а потом раскрыл рот. Зуб — это был последний собственный зуб — сидел близко-близко, убийственно направив свою червоточину, как мортиру, в самое искаженное лицо генерала.

Никанор Иваныч обмакнул спичку с ваткой в керосин и решительно сунул ее в дупло... Зуб, скрежеща, подпрыгнул от неожиданности, ошеломленно молчал первую минуту и вдруг свирепо вскрикнул глоткой генерала Васютина и всей своей зазубренной пастью вгрызся в генеральскую щеку.

Генерал согнулся, разогнулся, испустил вздох и, решив сызнова ударить по флангам, допил коньяк.

Зуб не сдавался и контратакой ударил на Васютина. Это вышло потрясающе.

В этот момент в дверях появилась белая фигура, фигура была со свечкой. Это была супруга Никанора Иваныча,— Клавдия Николаевна. Между прочим, конечно, это была прекрасная женщина,— кто же не знает Клавдии Николаевны?! Женщина строгих добродетелей и неотразимых прелестей, но, извините, усы все-таки более подходят исправнику, нежели такой женщине, как Клавдия Николаевна... Не может женщина безнаказанно усы носить.

Клавдия Николаевна остановилась в дверях и собиралась заявить, что Никаноров зуб не дает ей спать, что она четвертую ночь спит из-за этих воплей где-то на терраске, что у нее... Но она не сказала: она ахнула.

Ахнула она потому, что именно в эту минуту и произошло появление Долбуна. Занавеска стала отдуваться все больше и подозрительней, потом отогнулся край, и оба супруга ясно увидели коричневую неприличную спину Пигунковой выдумки...

Никанор Иванович сразу понял суть дела и молча, с некоторой укоризной, взглянул на пустую бутылку. Он испуганно вдавился в кресло, но, боясь выдать себя генеральше, молчал и ждал: Клавдия Николаевна не переносила винного запаха.

Ясно: тут бы и послать человека за Филимонихой в Долдоньев Кус, но Никанор Иваныч был дряхл и недогадлив. Когда кровь претворяется в грибную подливку,— значит, плохо

дело, тут только Филимониха может. Генеральша тупо глядела вперед.

Влезшая тварь была, конечно, Долбуном. Тварь злобно посмотрела на страдательное лицо генерала и промычала:

— Ну, вот что: я у тебя буду жить. Меня Яшка-дегтярник Долбуном назвал,— я ему штуку подкину. А ты меня Кирюшей зови!

В душе генерал уже догадывался: недаром вино с кислинкой было, но все же он тайком ущипнул себя за подбородок,— ощутительно, помножил одиннадцать на одиннадцать — вышло верно.

Генеральша шагнула несколько шагов вперед и вдруг прорвалась:

— Это ужасно! Нет, это ужасно... Голый парень лезет в окно, я здесь, и вы молчите... Вы кричите всю ночь, как угольщик. Я прихожу к вам, а вы суете мне в лицо голого парня... это возмутительно!

Генерал соображал туго,— мешал коньяк. Зуб притаился, прислушиваясь к начинающейся истории, и выжидал только удобного момента, чтоб гаркнуть васютинской глоткой.

Этим-то и воспользовался Никанор Иваныч. Он ожесточенно выскочил на Долбуна и взвизгнул в безудержном гневе,— тут ему помог, конечно, зуб:

— Что-с? Потрудитесь называть меня превосходительством! Я — майор-с! Я вам не рядовой-с! Вы ногтя моего не стоите-с! Я вас в форточку выкину-с!

Насчет форточки,— это он, конечно, напрасно: окно было раскрыто. Никанор Иваныч и спохватился:

— Что-с? в форточку? Вы хотите в форточку! Я вас в окно-с! Я вас под суд отдам! Вы хам-с!

Долбун растерянно глядел на обоих, по очереди переводя взгляд то на него, то на генеральшу. Та, наконец, не вынесла:

— Ах! Да дай же ему хоть абажур, пускай прикроется. Я же не могу глаз раскрыть! Голые в моем доме. От него смазным сапогом пахнет! Защитите же меня, он меня укусит. Это сумасшедший. Это не человек, а зверь!

Генерал наступал по всем правилам, размахивая руками, и вот сурово постучал пальцем по столу:

— Вы ответите! Потрудитесь сообщить немедленно ваше имя.

Потом опять не удержался:

— Я тебя в каторгу, в Сибирь-с! Про-хвост!

Долбун видел уже, что дело складывается неблагоприятно, но на всякий случай выдохнул ласково:

— Зови меня Кирюшей, будто человек я,— мне и приятно. Ты мне нравишься, лысенький, ровно банничек.

Генерал отскочил и вдруг, начиная понимать, протяжно прошептал:

— Так ты кто же?

— Я? Я вроде как бы черту свояк. Вот хлопну тебя по лысине, и станешь — белый кот.

Именно в этом месте генеральша пронзительно ахнула, ибо увидела у голыша длинный хвостик, и, как подкошенная, свалилась на ковер. Генерал испуганно визгнул. И конечно: при чем тут, право, оторванная нога отца и голова деда?! Разрешите Никанору Васютину быть Никанором Васютиным до конца! Пусть лицо его почернело со страху.

На шум прибежали васютинские люди: босой кучер Федька — он бы самого Вельзевула в бегство мог обратить, потом Марфушка, васютинская горничная, чуть не голышом — известная она бесстыдница, да еще там двое-трое.

Федька оторопело глянул на Долбуна, смекнул вслух: «анчутка», перескочил через барыню и закричал так, что генеральский зуб затих сразу:

— Эй, гей! запирай, Марфуша, окна... Мы его в бочку посадим, потешимся. Эй, запирай!..

Но Марфуша, несмотря на все свое бесстыдство и другие гибельные для девушки качества, склонилась над бездыханной барыней.

Федька сигнул на Долбуна, но тот кувылькнулся в окно, показал коришневый язык из-за ноги обалдевшему Федьке и прошипел уже из-за клумбы,— а на клумбе росли разные благородные цветы:

— У-у, падúны!

Федька отпрянул от окна...

В небе было чисто тогда. Слава тебе, господи: Столбуниха-то спать пошла. Пора, тетенька!..

И ведь какие случаи происходят: в ту же ночь у Васютина серого выездного жеребца со двора свели!

Ночь катилась медленно. Над полями, над дымящейся синим, сладким паром травой — разлеглось ночное небо, широ́кое, как луговина в цветах. По траве елозит тихая зелень в

ночной звездящейся тишине. И каких ведь здесь только нет: «большой, автоматический — выбор-с»,— как лавочник Сумянкин из Конешемского говорит. И, главное дело: никому и в голову не придет ведь, что зелень-то эта и есть самое счастье. Мне Филимониха сказывала: «расщепи, говорит, пень на Духов день, да поймай в рощеп-то черта носом: что ни попросишь — все будет; хочешь — денег мешок, хочешь — масла горшок, сруб, корову ли, жену».

Вот над Долдоньевым Кусом пролетело по небу большое,— сзади хвост помелом. Только не Филимониха то: она на богомолье сбиралась.

Долдоньев Кус! — Сто сорок домов да церква Благовещенска. В Долдоньевом Кусе — ох, конокрадов много! Сказывали, будто даже Трифоныч сам по ночам на промысел ходит. Я не поверил: с такой-то бородой, с такими-то глазами? Но врал, конешно, Митька Кузяков неспроста.

Храм зато обширный, благолепие! Конокрад и пить может, и убить может, и бога не забудет. Конокрад есть русский человек.

А при храме есть, между прочим, дьякон Логин. Труба! Труба, а не дьякон,— зверь! Многолетие зачитает,— беги, убьет! Достигает дух диакона Логина до первого небесного круга, простирается нутро Логиново необъятно. Еще когда в стихарь посвящали — крепко пил: труба промывки требовала. Был неоднократно потому в крайней опасности жизни. О! Ему б полководцем быть! Саблю, пушку и коня!

Ныне пьет он от тоски,— третий день. Дьяконская тоска — это когда дерево трещит, ломаясь. Да вот, загляни в раскрытое-то его окошко: необычайный лик и на нем нос лиловым бутоном. И ведь недаром: у Логина порядок такой — бутыль в день. Днем на сеновале пьет.

Вот в приливе грусти допил стакан, повесил голову на руки и задумался. Логин всегда думает вслух. Слушаем:

— Суета сует. Кому повем печаль мою! Эх, застрелиться, что ли?..

— Нет, ты лучше утопись!

В необъятное изумление впав, повертывает голову налево Логин, видит черта. А это был не черт, это был Долбун. Отчетливо понимает дьякон нечистое появление: после трех-то бутылей и не такие посетят.

Рассуждает Логин:

— Та-ак-с! Значит, до точки дошел. Та-ак. А почему же ты не страшный? Почему у тебя хвостец вертеном, а без кисточки? Почему рогов нет? А ну-ка, бодни меня рогом, ну?! Не-ет, меня, брат, не проведешь! Самозванец... Ты лучше бы змием явился ко мне!

Конфузится Долбун:

— Я рычать могу-у...

Логин руками развел,— я, мол, тут ни при чем:

— Чудно́, рыча-ать! Я тоже рычу, а вот я не черт, а пятнадцать годов — дьякон! Черт есть зло! Какое ж ты есть зло? Ты погань и винный осадок, ты есть пьяное недоразумение моего дьяконского воображения!..

Долбуну сразу обидно стало.

— Не надо ругаться... Я из тебя могу клок волос вырвать. Могу сделать, что хромать будешь...

А Логину и смешно: пил-пил, думал, явится допивать самый главный,— глаза как уголья, из поздрей смрад,— а тут на — голый поганец и даже без рогов. Спрашивает дьякон, смешно ему:

— Поцелуй-ка вот тот подсвечник.

Рад ненашик доказать, что ошибается Логин, целует умильно подсвечник коришневой губой, скосив глаза. А дьякон хрипит винным хрипом:

— Какой же ты есть черт? Да разве ж черт может церковный предмет лобызать? Ты ведьмак! Иди вон, я тебя не боюсь. Ты тень пустой бутыли... Уходи...

Чуть не плачет Долбун:

— Я у тебя жить буду... Ты меня лучше Кирюшей зови, я смирный буду. Я врал это, про клок-то волос. Меня Яшка выгнал, меня Никанорова барыня чуть не съела. Я же добрый ведь...

А Логину спать охота, берет дремота его. Не боится он чертей: таково есть дело дьяконское — за бутылями с чертями воевать.

— Ну что ж, живи! Я тобою попа по праздникам пугать буду, злобится он на меня. Лезь в бутылку, там и живи... Я тебя мухами кормить стану. Идет?

Плаксиво носом хлюпнул Долбун:

— Му-ухами? Ты лучше меня Кирюшей зови...

Но Логин храпел уже. И не посмел Долбун нарушить дьяконский сон. Постоял, поглядел. Слеза набежала,— проглотил. Обидно стало,— смолчал.

Влез на подоконник, поморгал, оглянулся. Возит дьякон по полу стопудовый храп. Дьякона Логина волоса полстола застелили рыжей пряжей.

И вылез Долбун за окно. Была в нем звериная грусть, хотелось зареветь и палец прокусить кому-нибудь.

Поднималось медленно солнце сбоку зеленого благовещенского купола, меж зеленых березовых, дальнего леса, куп.

Пели утренние петухи. Мычала корова, просилась на луг. В утреннюю прохладу тоненькими ручейками протекали запахи веселых зеленых полей.

Эх, живут долдоньевские конокрады в земном раю...

Пигунок сидел и дремал.

Все дело у Пигунка было в бороде. Борода-то и клонила его в дремоту, потому что каждую ночь паучком бродил по ней сон.

Дремал.

Дятел долбит — кукушка тоскует, мне Филимониха надысь сказывала. Кукушку не так спрашивать нужно — «сколько мне лет жить», а вот как — «кукуш-кукуш, сколько бы мне дней, столько тебе детей» — завсегда она тебе сорок раз по сорок сороков тогда прокукует.

В подтопе желтые дразнятся язычки,— шустрые такие. Заливает жаром небо, но утренних птиц до полдня не унять! Эй, вы, конокрады! Не ходите вы в церкви, ходите в березовые рощи слушать пенье птиц... Просветятся души,— и будете вы, как березки, сами в белых рубашках по земле гулять!

Закрыл глаза Пигунок свои, хорошо ему. Течет деготь под землей, течет деготь за берестом белых стволов, течет деготь в жилах Пигунка Якова.

Вдруг слышит Яков жалобное:

— Дедушк-а-а...

Знает дед: помстилось; опять:

— Дедушк... Пигуно-ок!

Открыл глаза, ба — Долбун стоит!

Закипятился Яков вдруг:

— Я вот тебя щучкой хвачу ноня!.. Прокляту-ух!

Остановил Долбун Якова,— печаль в нем:

— Не подействует на меня щучка. Щучкой меня не взять! Ты на меня хомут надень — я и пропаду весь...

Не понимает Яков,— пальцы растопырил:

— Это зачем же пропадать. Ты живи, как все живут, имей себе фатеру для своего удовольствия, где хочешь, и не трогай никого...

Горько Долбун усмехнулся,— «пожалей Долбунца, банную блазну — всякая жалость в небе засчитается!».

— Не жилец я тут... Как пни вы. Надень на меня хомуток, дедушк-а... Не могу боле!..

Недоверие в Пигунке.

— А потом пакость какую ни на есть выкинешь? Будешь деготь поганить мне. Блазна...

Но увидал слезинку Яков,— поверил.

— У, ты и впрямь так? Эк тебя закорежило за одну-то ночь! Ну-к, ладно, посиди здесь... Подложи дровец под котел,— посмотри. Поду принесу счас...

Пошел дед. И, пока ходил,— думал: что ж,— кажный обязан свою погибель иметь; дьякон гибнет от запоя, кура от чумы, береза под топором принимает смерть.

А Долбун сидел на корточках, глядел на корчагу, на небо, на Пигункову шапку,— старую и рваную,— добавок к бороде. Было ему нехорошо.

Притащил Пигунок. Старый хомутище, с залыселым войлоком — цепной пес напугается... Таким бы хомутом да скакуху! Просит Долбун, как безногая дворняжка под телегой, от деда отвернясь:

— Только ты сразу, дедушк-а, чтоб не больно... Я тебе, Пигунок, врал тогда про головешку-ту. Вра-ал...

Поднял Пигунок хомут, но опять опустил — и головой качнул неодобрительно.

— Нет, уж ты лучше живи! Ты только уходи от меня. Хошь — так я тебе шалашик устрою и пшенца отсыплю. Ты тварь, и я тварь, какая разница...

И сел, было, опять на пень Пигунок, да в ноги упал Долбун.

— Надень! Изнемог я. Меня дьякон обидел,— захирел ноня... Ты меня, дедушка, уважить должон.

Поднялся сызнова дед.

— Правильно сказал: должна тварь твари уважение сделать. Сиди!

И произошло. Как накрыл Долбуна хомутом — не стало блазны,— лежит ржавый на травке гвоздик, и головка погнулась у него. Пигунок гвоздик этот в березу вбил и повесил на гвоздик шапку — добавок к бороде. И опять сел и стал сидеть.

В корчагу каплет, дятел долбит, бересто высочивает деготь, а Пигунок спит.

В небе мостик перекинулся от облака к облаку. Вот бы погулять-то по тем мостикам.

Шумит, шумит березовая роща. Отрадно сердцу слышать шум этот. Тут слетает к вам, представьте, светлый луч и говорит:

— Я — ангел господен. Я вам благодать принес...

А вы ему:

— Положь ее, друг, на травку и не мешай!

Слушаю я, как березки поют!

Мне Филимониха надысь сказывала: «береза, говорит, затем поет, чтоб деготь гуще был».

Знаю и верю. А поют они, как девушки в хороводе на Троицын день...

Июнь 1922 г.

УХОД ХАМА

Тогда цвела земля.

Не оставались бесплодны поля: платил колос земледельцу семь полных горстей зерна за зерно. Домой не возвращался без добычи зверолов,— топором он убивал двух, сидящих в западне, сразу. Радовалось сердце виноградаря: каждый грозд винограда его, насыщенный солнцем, был прозрачен и нежностью походил на грудь женщины Киттим из Элассара.

Цвела черная плоть земли, которая — как рабыня под солнцем, господином. Было звонко ее цветенье — как крик буйволицы о весне. Цвело и пело все, обладающее жизнью. Пел зверолов, напрягая лук в онагра,— земледелец, вскапывающий поле, пел. Пел пастух, ведя вечерних овец к водопойному корыту,— виноградарь, выжимающий сок гроздьев, пел. Пел репей, простирая колючки над песчаным камнем,— и птица пела, вдоль Хиддекеля направляя широкое крыло.

А на земле жил пастух Ной, в нем кровь Сифа. Его отец — Ламех, сын Мафусала, которому удлинен путь дней. Тот, которого жилище Гаукад, северная гора земли, щедро наградил Ноя и жизнь его насытил обилием дней.

Старыми глазами глядел Ной назад и не видел дальше Ламеха. Старыми глазами глядел он вперед и не видел дальше трех сынов и пятерых внуков, которые покоят глаза Ноя, пастуха.

Сеннаара глубокие долины жаждут прохлады и сна. Орел дважды облетел по кругу над Гаукадом, рассыпая в тишину мелкие крики. Небо молчит.

Варит мясо на костре Иафет, первенец. Солнце, которое опускается по ту сторону земель Адмы, дает нам видеть Иафета.

О, Иафет! Ты рыжий буйвол. Твоя грудь — грудь буйвола, рост твой — рост белого тополя. Лоб твой сулит рога. Когда западню на зверя ставишь ты, шепчет серна-мать детенышам своим: «Вот звенит тополь помутневшей листвой,— то Иафет ставит западню на вас». Ты идешь, когда все спит, и звезды светят только Иафету. Семени своему дашь ты гордость разума, крепость мышц.

Варит мясо на костре Иафет, стрижет овна Сим. Солнце, уходящее за черные столбы неба, кидает к нам черную тень Сима.

Ты — как вол, Сим, которому надломило шею деревянное ярмо. Всю тяжесть знойного поля выносишь ты. Острый пот полуденного труда заставил моргать чаще твои зоркие глаза. Не сломается мотыга твоя о камень, не ошибется в выборе из двух баранов глаз. Будут недалекие дни, загородят горы путь к Эдему, но теменем пророешь нору, длинную в широту горы, и выйдешь к воротам, где меч, щуря узкие глаза. Спросит: кто ты? Ответишь: я человек твой, Сим. Не гони, яремного быка не тронь. Ты разбивал градом колосья отца, я не поднял на тебя бранного слова. Я дал тебе сто пятнадцать мелкорунных овец и двенадцать больших быков, вожаков стада. Но ты скажи, и я дам больше. Скажет: приди.

Варит мясо Иафет, Сим стрижет овна, в тимпан ударяет Хам. Вот слова песни Хамовой:

«Утром я пришел к источнику, где виноградники отца. В воде я увидел человека, подобного мне. Я сказал: земля цветет. Он ответил: да. Я сказал: земля, хорошо. Он ответил: да. Я сказал: гонится за нами солнце, скоро ребенок дотянется до него рукой. И он ответил мне...»

Чернота приходит с севера, ярче пламя костра. Не кричат внизу стада Ноя. Горы прилегли к земле и спят.

Оглянись,— две женщины прячут у шатров мягкое руно овец. Сыновья Ноя мужья им. Третья доит козу привычной рукой. Она — Селла, жена Сима. Глаза ее черней ясписа, за который платят купцы из Теруана по двенадцать кòров пшеницы. А вот женщина Иска, она родила Иафету Фираса и Мадая. Ее волосы и под небом ночи не изменят цвета — цвета огня, пожирателя нив. Вот женщина Кесиль, жена Хама, неплодная, как Киттим из Элассара. Ее тело длинно, неутомимо в страсти, неутолимо в ласках, неумолимо в любви.

Ночной камень смотрит в звезду и впитывает влагу, идущую от Хиддекеля. Тимпана низкое гуденье рукой приглушает Хам.

Тогда цвела земля. Благоуханьем сада было дыханье всякого живого. Плоды в садах были — как солнце, и солнце самое — как созрелый плод. Утром встал от сна пастух Ной и сказал всем, живущим в его шатрах:

— Пусть никто не говорит со мной. В ночь, которая прошла, я пошел во тьму Гаукадского камня. Небо лопалось и шумело, а я вышел из круга стад и пошел к холмам, которые по ту сторону отражает Хиддекель. Они круты, молнии ломают на их склонах свои спины, спеша упасть. Я прислонился к стене и сделал себя подобно тыкве, выдолбленной для чужого вина. Был отдаленный гул, словно горы дули в трубу. Я задержал дыханье. Вот завет минувшей ночи, слышанный мной:

«Я Отец. Я кладу конец дням земли. Криком людей не сжалить ухо отца. Седьмое солнце уйдет за Гаукад, вот я кидаю воды. Они войдут во все трещины земли, будь то уста царя или щель горы, лоно женщины или чаша цветка. Построй дом, чтоб плавал. Ты покинешь долину Хиддекеля, где качаться отныне станут рыжие горячие пески. Никакой не скажет: здесь жили. Никакой не ответит да».

Когда услышал, запел Иафет, потрясая топором. Голос его был тягуч и низок, как звук рыкающего льва. Сим затаил усмешку, меря привычным глазом расстояние до неба, еще не грозившего дождем. Хам сидел, зажав лицо в коленях, и не говорил.

Потом они построили ковчег, видом как дом, но плот — вот основанье ковчега. Он был разделен на части, чтобы туда, где человек, не вошел гад, а туда, где спала коза, не прокралась львица. Когда стал готов дом, воспели славу Отцу все Ноевы. Но молчал Хам, не отрывавший устрашенного взгляда от Гаукада, куда уходили корни солнца.

А когда смолили ковчег, к ним пришел человек в льняной одежде, Иавал из Элассара. Он привел сына и дочь. Она, юная, имевшая имя Имны, была невестой Хассу, сына Акталла, царя Адмы.

Иавал! — он упал на колени перед Ноем и поцеловал нижнюю грязь кожаного его плаща, говоря:

— Знаю о гневе, знаю о гибели. Слушай, Ной. Я прошел трудный путь двух дней. Не должно погибнуть семя Иавала на земле. Вот я прихожу и стучусь. Спаси семя Иавала в сыне моем!

Молчал Ной, три сына его молчали. Еще сказал Иавал, простираясь в грязь и прах вчерашней непогоды:

— Тяжела борода моя днями, как медом пчелиный сот. Пастух, возьми бороду мою и, намотав, как веревку, дерни вверх и вниз. И вытри ею ослий помет с порога твоего шатра. Спаси сына!

Молчал Ной, закрывая полою плаща лицо себе, ибо тут обнажил старик тело дочери и стал кричать, ударяя себя в щеку:

— Ее имя полнозвучно, как звучащая медь Бауроха. Розовость ее груди — гляди! Как будто в розовой раковине родилась она. Живот ее дышит,— разве плохо тебе положить сюда свою голову, тяжелую гневом, и спать, покуда будешь плыть и подыматься выше гор. Раствори врата девства ее, но спаси Иавалова сына!..

Ной открыл уста говорить, но подошел Иафет к уху Ноя и произнес отцу:

— Кто он, Иавал, чтоб спасать его семя? У него дрожит голова, а этот не задушит и собаки. Пусть уходит! Слепого, когда в огне ищет убежища, разве пощадит огонь?

И поднес Сим тонкие губы к другому уху отца:

— Ты возьми дочь, а этого мы убьем в ковчеге. Равно ему, где гибнуть, если гибель ждет его.

Тогда показал спину Ной пришедшему Иавалу:

— Иди в Элассар. Нехорошо умереть вне дома. Семя твое пожрут рыбы с зелеными пятнами на голове.

Иавал! — он упал на плоский камень, на котором резал обычно мясо добычи Иафет. Вот крик Иавала:

— Горе всем, кому завтра уже не будет горя... Моря уходят из скалистых лон. Реки посылают им вдвое воды. Горы перестают ползти на север. Пусть шило порабощения проколет мне ухо,— не хочу гибели семени моему...

Сын Иавала молчал. Он был мальчик и не знал. Имна сказала:

— Не плачь. Хочу ласки свои отдать Хассу. Ложе царя менее жестко, чем ложе пастуха, спящего на козлином помете...

Им, повернувшимся уходить, вдогонку швырнул камень Сим, но не убил. Они уходили за рубеж горы, трое, посредине Иавал, в город, над которым висел зной блуда женщины Киттим. Та ночь пришла без звезд, потому что была кануном водного низвержения.

Бьет в медные доски Эласcар, плачет на камне Адма, стонет Герар, ударяя себя в грудь. Ужас гибели овладел ими. Вот идет туча, она подобна горе.

Ветер течет и растаптывает глубины. Он вырвал дерево и несет его как птицу. Гул громов проскакал по тучам. Молния бежит.

Сотрясаются стены далекого Фесрима, и колена преклоняет Теруан. Раскалывается Баада железная голова, дрожат исступленьем ужаса Салимские равнины.

Осмолен ковчег, затворяются двери. Окружен ковчег Ноя людьми, которые плачут, и ветрами, которые ждут знака, чтоб двинуть дом спасения по пустыням вод.

Кричит из затворяемого ковчега связанный братьями Хам.

Первая бездна упадает. Ключарь неба отверз узы Кешиля. Воин тьмы разрубил узел Химы. Отвесные ручьи бегут и топят. Плачь, Адма! На зубец упадающей башни надень венец царя...

Низвергается вторая бездна. Плачь, Эласcар, и воем зверя вой на гордых стенах своих. Острый крик твой пусть пробьет тучу, чтоб скорее приблизила смерть.

Черным туманом проносится третья бездна, с деревьев обрывая померкший лист. Бушует ветер, ломает крыло птице. Прибегает, подобная вепрю, буря, смысл ее бега вот: налетит на дерево — не будет дерева, ударится о гору — будет дыра в горе.

Опрокидывается чаша четвертой бездны; хлещет и кричит. Трижды омылось глиняное подобие Отца на ковчеге Ноя. Запрокинулись руки Имны над неподвижным Иавалом,— не Хассу ли зовет она к себе?

Пятая бездна рушит слабые преграды низких туч. Вот тридцать восемь пастухов в равнине. Догадавшись о гибели, они не бежали в горы от стад своих. Козы плачут и плавают в водах, ревом смерти трубят козлы. Плащами закрыли себе

лицо пастухи, ибо не может пастух видеть, как волк умерщвляет стадо, и не убить волка.

Умирает на дозорной башне Киттим. Останавливается биение жизни в ее жилах. И уж не видит никто, как, потрясая тускнеющим золотом запястий, ласку свою предлагает Отцу Киттим, чтоб жить.

Медник Баурах, отец Герарского истукана, садится в медный котел и плывет. Хитростью вора щурятся круглые его глаза. Упадает огонь на стриженое темя Бауpaxa, становится чашей возмездия — спасения медный котел.

Улеглись бездны над городами земли. Над водой летит уцелевшая птица. Жалобен крик птицы, потерявшей гнездо. Она кружит ослабевшим крылом и садится на ковчег Ноя, плывущий во тьме. Рука человека высовывается из окна в крыше и машет бичом и прогоняет птицу. Она подымается высоко, но ветер бросает ее в пучину. Жалобен крик птицы, падающей в пучину.

Шестая бездна низверглась.

Видишь — это воды. Прыгнув до облаков, они застыли, они ровны. Верь слову Иафета: солнце будет всходить под водой. Теперь так: вверху небо, внизу вода. Небо жидкое, как вода, вода синяя, как небо. И если перевернуть дном вверх, не различит око Сима, где произрастал колос плоти, где ковался серп гнева.

Теперь считать так: сорок дней изливались дожди, сорок ночей приходили воды. А усиливалось чрево пучины сто пятьдесят дней. В девятый день Иафет выглянул в щель ковчега и увидел: среди зыбей тела мертвых. Они плыли в разные стороны, но одинаково расступались, давая путь ковчегу, влекомому неспешно восточным ветром. Плачущее лицо Иавала увидел Иафет у одного из плывущих и сказал Симу. Сим выглянул, но уже не видел.

Один из дней седьмого месяца был пределом паденью вод. Встала тишина и стояла до десятого месяца. Однажды взошло солнце, но не увидело, для кого бы изливать ему свет и жар. Опечалясь, ушло оно в воду. В десятый день одиннадцатого месяца вылезла мокрая глава Гаукада. В пятнадцатый день Ной открыл окно в крыше и выпустил орла в синеву очистившегося неба. Орел вернулся, принеся чужую руку. Потом Ной выпустил голубя, но возвратился тот, ибо была ночь, насыщенная страхом. В двадцатый день голубь принес листок маслины

на сожженную крышу ковчега. В двадцать девятый день он не возвратился. Но все еще колыхались воды, и скрипели устои ковчега, колеблемые течением вод.

Полночь и тишина. В просторе огромных вод корабль Ноя идет к горе Спасения. Все спит в нем, кроме людей, они слушают скрип оснастки и плеск бессонных струй по обшивке ковчега. В полутьме поблескивают туши животных, насыщенная испарениями духота скопилась под низким потолком. Иафет открыл люк над головой, по пояс высунулся наружу. Разбухшие тела плывут под луной, каждое к своей судьбе. Все мертво кругом, кроме рыб, которые затаились в страхе, будто умерли.

Ночь темпа. Ной дремлет. Холод утишает рябь воды. Красная луна высунула острие серпа из пучины.

Иафет высек огонь. Сухое дерево горит, капли смолы сбегают вниз. Сим точит нож о камень. Хам глядит в угол. Во тьме угла львица спит с оленем, буйволица кормит грудью своих. Потом стал петь:

«Слушайте, моя песнь о начале. Была пустота, и все было одинаково. Тишина охраняла все. Отец сказал, чтоб земля и солнце стали быть. Солнце и земля, села̀! Она зачала от солнца и родила яблоню, человека и пчелу. Села̀! Солнце лежало в правой руке Отца, а в левой — земля...»

Факел посылает струйки дыма вверх. Иафет пришивает заплату на плащ Мадая. Вторит Хамову голосу глухая кожа тимпана:

«Были пустоты и глубины наполнены водами мрака. В них отражался Отец. Тот, который был отражением, пришел неслышно. Когда был близко — выхватил землю из руки Отца и прыгнул в глубину и пустоты. Он стал тогда вторым Отцом земли. Бытие дала ему земля...»

Страхом напрягается лицо Ноя. Львица облизывает губы. Ветер ударяет по ковчегу крылом.

«Тогда вздрогнуло сердце Отца. Он метнул яростной десницей солнце вслед похитителю. Он дал ему силу камня лететь, жар огня жечь. Оно качнулось, пламенной дугой летя. И тогда сорвались все шары, висевшие в глубинах и пустотах, и понеслись вкруг них, чтоб видеть, как ярость солнца пожжет грех земли. Ибо земля зачала от похитителя и родила Левиафана...»

Ной гневно восстает на сына, но заглушает Ноевы слова грозное гуденье тимпана.

«...бежал и уносил землю. А солнце приближало гнев, укорачивая пути и суживая кольца. Они бежали, а над ними бежали пустоты и глубины. Вечность — вот имя пробегающих над головами нашими пустот и глубин. В те дни сказал похититель: ты умрешь, думающая о солнце. Я кладу конец дням земли. Криком людей не сжалится ухо Отца. Хотя бы и я умер с тобою...»

Слова разгневанного Ноя вот:

— Или ты думаешь, что я поклонялся похитителю в благостную ночь завета?..

Бич опоясал голую спину Хама. Иафет пошел к ложу жены. Сим попробовал на волосе острие ножа. Хам спросил у Ноя:

— Кто дал силу разуму твоему бить меня?

Слова Ноя:

— Долголетие жизни моей.

Слова Хама:

— Дает долголетие человеку остроту разума, но не самый разум!

Слова Ноя:

— Твоя цена — цена пса!..

...Ночь темна. Луна уходит в воду. Стоглазый увидит столько же, сколько и слепой. В ту ночь огонь поднялся и стал пожирать крышу. Семирогий вол прыгнул в воду и хотел плыть, но рога увлекли его в пучину. Он ушел в Теруан, мертвый ныне, ибо над Теруаном проплывал ковчег. Вот почему не осталось в Салиме семени семирогого вола...

Пламя сползло на стены, но встала туча и спасла жизнь всем Ноевым. Они окружили мокрые камни затушенного очага и дрожали. Был свиреп холод тех ночей. На заре, когда солнце обсушивало, Сим подошел к Хаму и сказал ему в ухо:

— Когда зажигаешь дом, клади огонь не под крышу, а в основанья стен. Тот, кто зажигает, должен округлить глаза и кричать больше всех...

Приближался конец двенадцатого месяца, стал неподвижен ковчег. Заблеяла коза, лев облизал когти, на обгорелую стену вползла змея.

Ной вышел на плоскость горы, лежавшей под ковчегом.

И вышел, кто ходил, вылетел, кто летал, выполз, кто ползал. Все стали на краю горы и глядели вниз.

Много озер образовалось по земле. Они гнили, но отражали голубой блеск, а вся земля была сера и зелена, потому что омертвела. Стволы, окутанные тиной, не имели листвы. Смрад,— так дышит убитый,— носился над холмами, поднялся и ударил в ноздри людей. Люди глядели и видели.

На ближнем камне принес благодарную жертву Отцу пастух Ной. У него были глаза вора, когда он раскладывал огонь. Дымились благовония, но отнимал их от ноздрей Отца смрад земли.

Потом пошли новые дни.

Редеет облако над равниной, шары жертвенного дыма разбиваются ветром на голубые круги.

Снимает шкуру с овна Сим. В небо смотрит Ной, стараясь угадать. Уходит Иафет в долину ставить западни. Лопаются почки миндаля. Клювастая птица смыкает тесные круги над котловиной, где гниет зверь. В шатре своем сидит бессильный Хам.

К Ною подходит Сим, второй Ноя.

— Я Сим. Благослови меня.

Ной:

— Но Иафет первенец мой.

Слова, исходящие с дрожащих губ Сима:

— Я давал тебе хлеб и дам до конца дней. Выя моя — дом твой. Рука моя — посох тебе. Иафет!.. кто станет опираться на облако и ходить по краю обрыва? Он уходит, и каждый куст в болотах земли Хавила ему — шатер отца. Мое же сердце — ковш. Пей из него отдых полной мерой.

Ной говорит:

— Но Хам... Он последний мой.

Сим:

— Хам, неплодный Хам!

Тогда возложил Ной руку отца на голову Сима и низвел твердость железа на семя его. Благословляя, плакал, усомнившись в Иафете. Из праха, где лежал, восстал благословенный Сим и стал петь. Были коротки и хриплы порывы его голоса:

«Радуйся, Луд, мудрость твоя везде. Возвеселись, Элам, вижу я огромность стад твоих. Смейся, Ассур, ты воссядешь по стенам земных городов. Иафет, что ты? Тебя разрубят

крылом птицы веков на части. Ты облако. Мы пройдем сквозь сынов твоих, как сквозь дым! Хам, кто ты, чтоб поднимать сердце,— или нет такого же сердца во мне? Зверь будет поедать твое семя. Иафет вознесет меч, а Сим опустит его на выю Хама... Я, Сим, иду, как шар. Я все топчу, и все идет за мною. Я взрыхляю землю, чтоб дала плод. Я благословенный Сим!..»

Вечер пришел. На жертвенном камне обуглились кости. Женщины ушли в поле, но не Кесиль — полная, чтоб родить. Когда взошло солнце другого дня, Кесиль родила сына. Хам вышел на равнину и увидел радугу, очертившую небо. Хам понял и назвал тот день Днем Раскаянья.

Ханаан был первенец.

Забыла земля.

Опять цветут лилии в Салиме и прежние подъемлют чаши на длинных стеблях. Гудит пчела и садится в чашу и дальше уносит крыльев своих низкий звук. Ждут влаги умыться пыльные листья маслин. Но везде, куда достанет взгляд, репейниковые стада бегут по солнечному лугу.

Цветет забывшая земля, и золотая пыль цветенья висит до облака, свисающего грузно вниз. Мотыке взрыхлять землю, западне ждать зверя, лопате окапывать виноградники.

Далеко, под горой, на которой ночуют ветры, сгнивает ковчег Ноя. Репейники бегут по сорному праху Элассара и качаются в зное на размытой Герарской стене.

И уже созревал плод осени и готовился упасть. Жар замутил небо. В прозрачной тени виноградника Хамова круглые солнца лежат по песку. Тропинку, заросшую травой, пересекает Хам. Здесь хорошо уронить утомленное тело и познать сладость полуденного сна.

Тут видит Хам страшное для своего разума. Кулак он поднял над головой и бежал к братьям, которые ели овечий сыр в тени большого дерева. Он звал их, и они пришли, а Хам скакал и протягивал палец бесчестья в отца, спавшего в любовной истоме под виноградным кустом с женой его, Кесилью. Но братья закрыли лица свои и не видели.

Когда Ной, восстановленный в силах гневом, увидел, что узнано его дело, крик сломал губы ему. Он проклял Хама, как Отец землю в дни ковчега:

— Покрой лицо себе копотью очага и уходи от моих шатров. Две беды, два льва загородят путь тебе, но ты жди четырех. А когда придут четыре,— жди восьми. Ханаан — раб Фираса и Мадая, Луда и Ассура. В Ханаане, в семени своем выпьешь ты позор, как горькое вино неудачной осени. И страус, который скачет, птица желтой пустыни, положит яйца в горячий песок на пороге твоего шатра... Пусть забудет об огне отросток Ханаана!

Тут падающего Ноя поддержал благословенный Сим. Он вытер от песка голое плечо отца и спросил громко Хама, плакавшего невдалеке:

— Где тимпан твой, последний Ноя?

Дождь предзимней непогоды падает скупо. Туман позднего месяца ложится на луга. В нем повисла тусклая луна,— она как убитый заяц. Спит Ной и все, кто в его шатрах. Уходит Хам из шатров отца. Ветер идет с севера.

Дрожит маленький Ханаан в кожаном мешке на спине осла. Напрасно ищет взгляда мужа адмянка Кесиль. Облепили ветры ее горячее тело мокрым плащом. Хам выходит за рубеж стад. Лицо его заострилось, а спина погнулась, как коромысло, на котором носят воду, когда источник далеко. Камень усиливается под ногами.

Перед лицом горы, вкруг которого шагают бешеные ветры, остановился Хам. Последняя песнь Хама:

«Холод усыпляет Ханаана. Ветер гонит в спину меня. Когда приду на место, не стоящее под непогодой, положу четыре камня, высеку огонь. Я обсушу мокрую спину и пошлю камень в ту сторону, где твои стада. Пусть ты, услыша свист его, вспомнишь жалобные дни ковчега.

Дни текут, как овцы к водопою. Кто остановит, смелый, теченье вешних вод и напор безудержного стада! Я увижу правнуков Ханаана. Когда я буду уходить, вот я говорю им: это Тот, который там, вверху, велел вам забыть об огне и кричать так, как кричат ночные звери. Это Тот...»

Идет скот, треть от Ноева скота. Их головы направлены туда, за хребты подернутых изморосью гор, куда уходит солнце на ночь и птица в зимние дожди.

Там, в полуденном жару настигающего солнца, потемнеет лицо Хама.

Июль 1922 г.

ХАЛИЛЬ

Тане

Дай мне чубук и кофе, или кинь серебряный грош на коврик мне, или тихое салям скажи мне, если ты торгуешь керманским тмином, или льстивыми месцеви, или крупинками мудрости твоей,— я подарю тебе четырнадцать касыд про Халиля, о котором не осталось памяти в сердцах людей, ибо он не проливал чужой крови, и не раздавливал чужих сердец напрасными мечтами, и не строил лишних городов.

КАСЫДА О ВСТРЕЧЕ С ТОЙ, КОТОРАЯ ПРОХОДИТ НОЧНЫМ НЕБОМ

За Джейхуном — там охотится Халиль.

Протяни свое ухо по ветру,— кричит за рекой звонкое золото охотничьих труб. Голоса, пробиваясь в чащах, медные глухари и топот конский, летя из дебрей, стремглавые свисты Халилевых бейлербеев напугали светлые сумерки гор. Вершины тревожней вздымаются. В светлые воды Джейхуна острые камни угрюмей глядят.

Случайный, посторонись! Пестрый барс несет на вздрагивающей коже недлинную канайскую стрелу. Хорошо о любви к рыжеволосой Хаккы поет тростниковая флейта чернобаранного пастуха, но и тетива Халилева лука поет о смерти не глуше,— барс знает это.

Льется кровь из яростного турьего глаза. Крепко целуют тонкие губы черноволосой Кыссе, когда быков к ночному водопою в долину пригоняет Максуд,— не менее крепок укус нежданный тонкого Халилева копья.

Кабан пропарывает влажные сумерки острым клыком и диким взглядом, волоча тяжелый капкан. Страшись кабаньего

лихого взгляда! Напрасно будет ждать тебя сладкоустая Тайгутлы в пастушьей хижине и лить сметану в бурхани,— тебе не вернуться к ней.

В девять раз чаще, чем сердце труса перед копьем, ударяют ноги Халилева коня. Легкая, впереди него, на лету рожденная, ищет выхода из ущелий коза. И на лбу ее белом гнутые каменные рога трубят о гибели в приподнятые страхом уши.

Тут запела Халилева стрела, в полет срываясь. Так поет, протяжно и унывно, заглушаемая зурна нищего. Тогда раздвинулись ее тревожные ноздри, а взгляд стал тяжел, как вьюк с песком. В ночь, приходящую отовсюду, рванулась пробитым сердцем и упала.

Он поднял глаза, Халиль, и увидел луну.

Медленная, в небе проходила черная верблюдица — ночь. Меж горбов ее качаясь круглых, над кызыловыми дебрями плыла луна. И она была прекрасна, как та, единственная, которой ты сложил свои месневи.

Мир над тобой, Халиль,— твое сердце истечет любовью. Семнадцать раз зацветали ясмины в лощинах и будили кровь в ноздрях,— ты же не выходил из турбэ, окруженный улемами. Вот ты познал радостные законы солнечного бега и дикую тайну звезд, нависающих дождем, и веселые имена морей, опоясавших твой Херат... Но разве знаешь ты закон и тайну своего сердца? Но разве сказали тебе улемы имя той, которой ты кричишь теперь:

— Прекрасна ты... Мужем твоим хочу быть!

КАСЫДА О ХАЛИЛЕ ПЛАЧУЩЕМ

Над Хератом кричат муэдзины. Мирных лютней смолкают струны. Тухнет в небе перламутровых раковин игра. Тени, закутанные плотно, спешат по узким улицам к ночлегам.

А вверху, в острой облачной лодке плывет — и не плещут весла — вечер тихий туда, где входы, царящие над светом, сторожит Ризван.

Кричат муэдзины над Хератом.

Ты, когда расстилаешь на плоской кровле коврик для намаза, гляди в небо. В нем развернута звездная книга, а в ней все написано: и когда потухнет звездный щит Симака, и когда в Самарканде умрет Шахрох, и когда лопнет копыто Хюсейнова жеребца, и когда пламень разотрет твое тело быстрыми

ладонями в золу. Ты гляди в небо. Оно тихое и простое, бегущее с востока неустанно. Пусть таким будет сердце у каждого, кто стопы свои направил в хадж.

Ныне, во время эзана, ты стоишь на стене Халилева дворца. Ты глядишь далеко и видишь большие пространства остывающего огня. Теперь ты глядишь ближе, ты видишь прямо перед собой голубую Халилеву чалму. Он сидит на кожаной подушке, а лицо его такое, словно сидит на стреле. Кто уронил круглые алмазы в серые его глаза, кто заставил плакать Халиля?

Вошедший Берамугур, асаф Халиля, говорит:

— Чем слезы собирать в рукав, вели созвать мудрых со всех земель, которые под Хератом и глядят на тебя. Спроси у них о том, что печалит тебя, они скажут.

Халиль сказал:

— Завтра, едва заря, пусть трубят трубы громче, чем в дни бедствий. Пусть придут ко мне отовсюду. Я буду искать в них.

Берамугур сказал:

— Да.

БОЛЬШАЯ ЛЮБОВНАЯ КАСЫДА ХАЛИЛЯ

Семь глубоких долин до Симурга, семь острых глаз у безумного Иблиса, семь фарсахов орлиных до луны...

В сердце моем, которое истекает любовью, написано:

Ты рождаешься в желтом Мекране, соседнем со страной Зибадж, где каждая лужа в немощеной улице и каждая жемчужина в круглом женском ухе робко отразили бледную ровность твоего лика. И ты падаешь, легкая, как перо райского фазана, на снежные острия Кафских гор. Там спишь. И когда несут тебя над кровлями Херата черные верблюдицы облаков ночных,— кто из тех, чьи пальцы одинаково искусны и в военной игре и в игре любовной, не отвращал глаз от врага и губ от невесты для тебя?

И когда светлеет восток по утрам, какая, луноликая, равна тебе?

КАСЫДА О ХАЛИЛЕВОМ ФИРМАНЕ

Один, который продавал на улицах черные бусы и бусы синие, сказал другому:

— С самого утра гремят сегодня трубы с Халилевых стен.

Может быть, умер? Или луристанские собаки пришли с мечом на Самарканд? Или убежал какой-нибудь от веревки?

Другой, который предлагал громко с утра до вечера жареный миндаль по два тенке за полную горсть, сказал:

— Нет. Но Халиль, да осияет его пути свет пророка, заболел сердцем. Шерифы понесли по всем углам земель фирман Халиля. Давай будем слушать.

Так говорили все на площади, и без того шумной по утрам.

Кричат с дворцовой кровли Халилевы трубы, и среди них огромная одна. Это она гремела, когда поганый Хулагу раздавил веселый Аламут и зеленую твердыню Дженашека, когда огонь пожирал Сенамарову мечеть, когда тысяченожка укусила Халилева отца, правоверного. Медный голос трубы — в нее дуют семеро, а пятеро подымают вверх — подобен он реву пустыни, когда зимних бурь кривые когти терзают красную ее, неостылую грудь.

Люди бегут услышать. Вот кричит один, с красным лицом:

— Слушайте фирман Халиля! Слушайте все фирман Халиля! Всякий, кто сможет излечить падишахово сердце, пусть идет к воротам Халиля. Он платит по двести магрибских динаров за каждое слово, означающее исцеление сердца. Слушайте фирман Халиля...

МАЛАЯ ЛЮБОВНАЯ КАСЫДА ХАЛИЛЯ

Зачем, зачем не знает ухо твое о крике моей души?

Сказал мубарек, написавший золотую книгу: течет в садах пророковых река Тесним, воды ее — сладостный напиток блаженных. Но сладостней двадцати больших кубков Теснима была бы мне капля шербета из уст твоих!

Там, где ты, там снег. Здесь, где я, здесь розы. Ты урони снега высот твоих на мои розовые сады. Пусть увянут под снегом. Пусть только узнает о крике моем ухо твоей души!

КАСЫДА О ПРИЕЗДЕ СТАРИКОВ

Караваны приходили из Тадвана, покуда плакал Халиль. Привез тадванский караван не овечью шерсть и не вьюки с пахучим кардамоном,— трех стариков привез он, которые имели слово к падишаху. Были их носы в уровень с подбородками, от науки стали слепы их глаза.

Из Шифтэ-Абдура трех улемов, знавших про пути в небо, привезли. Чалмы их были из соломенной циновки, а ноги их босы.

Из области Гамедантской, где высится гора Эльвенд, привезли не сандалоцветную камедь, не камни, которые по ночам освещают любовным огнем ухо харемной рабыни,— привезли трех. Были их бороды сложены впятеро, чтоб не измялись ветрами пустынь в пути.

Белые одежды надели на них, с золотыми зарукавьями. Каждому дали по посоху. На головы им возложили полосатые чалмы, чтобы еще яснее обнажилась мудрость их в глазах народа. Они ехали на белых верблюдах, мюриды в зеленом направляли им путь. И никто не знал, что не мудрость несли они к Халилю, а тяжелое бремя своих седин.

...Урьян, золотых дел мастер в Херате, спросил у того, который стоял рядом:

— Кто тот, у которого глаза подобны глазам дикой сайги, и чем знаменит он?

Тот, который был кадием в Херате, ответил Урьяну, стоявшему рядом:

— Это Имадеддин из Багдада. Он семь раз ходил в Каабу разными дорогами. Его зовут Бургали за твердость кожи, не уязвимую даже и копьем. Такая кожа дана ему за святость его.

— А этот кто,— одно его ухо равно уху осла, а другое — уху гончей собаки?

— Тому имя Фареддин Задэ. Когда Тимур брал Испахан, Фареддин совершил омовение и камень в двенадцать дангов упал на эмира Салтыя, старшего из Тимуровых. Тот же камень переломил ногу и Тимуру.

— А кто тот, которого борода — как хвост павлина? У него нет одного глаза, и он все же сумел выбрать себе самого рослого верблюда и самого красивого мюрида.

— Не смейся над ним. То сам Хаджи-Бекташ. Левый глаз ему выклевал священный Хумай!

Такие вопросы и ответы слышались на улицах в утро приезда стариков. А старики ехали, блестя глазами, как сосуды с драгоценным римским вином, надменные и недвижные, потому что боялись расплескать мудрость, везомую к Халилю.

КАСЫДА О ДРУГОМ ХЕРАТСКОМ УТРЕ

Сокол, слуга царей, принес в шатер Мусы большой зеленый изумруд. Пророк сказал:

— На что мне? Отдай людям.

Сокол уронил изумруд в Херат. С тех пор таит в себе хератское утро прозрачную зеленость пророковой тишины.

...Опять бегут люди видеть. Через площадь трех колодцев, гулямами ангелоликими ведомые, идут старики в мечеть. Их бороды — как облака. Пятилетняя девочка спросила свою мать: не облака ли идут в дом пророка?

...Муса, пророк, когда его сердце нальется гневом, скажет соколу, слуге царей:

— Иди и принеси мне изумруд, который отдан Херату.

Сокол возьмет клювом.

Тогда сотрясутся минареты Херата, и навсегда уничтожится утро,— время, когда так хорошо тебе тянуть кальян или жевать индийский орех да слушать, как поет тонкая струна под смычком искусника Урьяна.

КАСЫДА О МУДРОСТИ ЧЕТЫРЕХ ПЕРВЫХ СТАРИКОВ

Сожигали мускус и алоэ, ждали стариков. Сказал Халиль:

— Пусть придут. Хорошо мне, молодому, отпробовать старого вина.

Он сидел на парчовой подушке и отпивал понемногу из шербетного кубка. Стояли по стенам дворца ряды черных тавашей.

Спросил Халиль первого, которому имя было Имадеддин Багдадский:

— Вот, я люблю луну. Ты, если знаешь об этом, скажи!

Сказал старик, гладя толстые свои щеки:

— Ты сказал: луну? Слушай меня, сахыб, который мог бы быть мне внуком, когда б я халифом был. Вот ответ от полноты мудрости моей. Ударять в гладкую кожу черепаховых гитар легче, нежели изучать науку хадисов. Обучить пьяного верблюда науке хадисов легче, нежели победить в споре Имадеддина из Багдада. Победить в споре десятерых Имадеддинов легче, нежели стать мужем той, которая проходит ночным небом. Я ничего не знаю об этом, так как это невозможно для меня!

Ему на это вскричал Халиль:

— Назвать тебя старой корзинкой, набитой гороховой соломой, и кинуть тебя в сорную яму для меня легче, нежели наградить тебя обещанными динарами, так как это невозможно для меня!

Обратился Халиль ко второму:

— Я знаю, тебя зовут Ахлат-эль-Кыз. Мир тебе! Слух о тебе приносит каждый, кто приходит из твоих краев. Что ты хочешь сказать мне о моей любви?

Ахлат-эль-Кыз был остронос и лукав. Ахлат-эль-Кыз сказал:

— Помни, господин,— тот, кто подымается как сокол, часто падает как курица. Подобает ли это соколу — падать курицей?

Смеялся Халиль:

— Не бойся, старый Ахлат-эль-Кыз! Ты никогда не упадешь курицей, так как только соколу дано летать.

К третьему старику направил слова свои Халиль:

— Что ты знаешь о том, что сумело бы облегчить мне мою тяжесть?

Так отвечал Хаджи-Бекташ, стуча ногою в камень пола:

— ...Я? Вот, я скажу. Когда Джелаледдин из Руми извел пером суфия сладкое вино газэл из сердца своего, он произнес так: свершай частые странствия в Каабу души своей и там стучись в священный камень сердца, ибо все в нем. Все, что вне его, ничто. И когда дед мой, Ахмед Есеви, извел посохом хаджи воду из камня, он сказал: положи сердце свое на ладонь и швырни его о камень, если оно укушено змеей мечты. Теперь отвечай ты мне: где лежат динары, ради которых я переезжал пустыню?

Яростно закричал Халиль, кидая чалму в самое лицо Хаджи-Бекташа:

— Когда я поленом гнева изведу глупую душу из этого дырявого бурдюка, я скажу: ты пришел за динарами — наградой мудрого, а получил удары — награду осла!

И у четвертого старика спросил Халиль:

— Может быть, и ты скажешь мне то же, что вытащил из себя этот одноглазый мул, или смеющийся верблюд, или лисица, притворяющаяся слоном? Я хочу знать, где путь той, которая проходит ночным небом.

Стал говорить Мустафа-баба из Хорсана. Он кланялся и делал рукой, будто вытирает стену, а говорил так:

— Хэ, пусть ухо падишаха усладится мудростью старого Мустафы. Рождаются только намеченные к смерти, и умереть не хуже, чем родиться. Ибо умирает не только сердце, истекающее любовью, но всякое, истекающее любовью, умрет. Ты призвал меня, потому что боишься смерти. Зачем же ты боишься, если хочешь, чтоб истекало любовью твое сердце?

С грустью ответил Халиль:

— Когда тебя спрашивают о твоем имени, разве ты называешь имя твоей лошади? Плохо, когда женщина, у которой просят только взгляда, дает поцелуй. Я просил тебя указать, где пролегает путь, а ты рассказываешь мне, из чего сделаны дороги.

Потом сказал Халиль, роняя слезу в шербетный кубок:

— Не приводите их больше в этот день, ибо я боюсь пожалеть, что отец мой не бежал от моей матери, как от бешеного кабана, а, напротив,— целовал ее крепко и до самого утра называл сахарогубою.

ПЕРВАЯ НОЧНАЯ КАСЫДА

Сорви ветку ясмина, что цветет в твоем садике, и ступай на площадь, где главный хератский фонтан. Там ты сядешь на плиту ступенек и будешь нюхать ясмин и глядеть в звездное небо Реджеба Халилевой поры.

А когда утихнут городские шумы и усилится до предела твое желанье, ты ступай неспешным шагом к той, которую в своих месневи превыше всех возносишь ты.

Темны улицы, но у тебя фонарик. Ты не бери с собой большого огня туда, где и фонарик достаточен. Все равно ты его затушишь рукавом, после того как выпьешь кружку дуки и приготовишься поедать горстями душистые финики любви.

И когда ты будешь спать на груди твоей сахарогубой, пусть тебе снятся ясминовые сны...

КАСЫДА О ДВУХ УЛЕМАХ

И в другое утро сел Халиль под фонтаном, подымавшим нардовые струи к мерцающей небесной голубизне. Он велел ввести стариков.

Тому, которого звали Фареддин Задэ, задал Халиль вопрос:

— Я полюбил луну. Ты что об этом думаешь?

Вот слова Фареддина Задэ, более горькие, чем сабур, который дают от павлиньей болезни:

— Старому лишь благопристойно любить недостижимую мечту. Ибо к чему способен старый? Ты будешь умирать и скажешь: разве нужно было это мне — рвать финики, прежде чем они созрели. И потом я никогда не видел и не слышал, чтоб возможно было полюбить луну!

Вот неутешаемый рев Халилева сердца:

— Что ты можешь услышать ухом, которого у тебя нет, и увидеть глазом, которому цена не больше, чем простой стеклянной бусине?

Слезы омочили глаза Халиля. Вытерев их, он спросил следующего:

— Ты скажи мне, Ахмед Кешеф, ибо борода твоя внушает мне доверие. Признаюсь, я боюсь твоего ответа, ужаленному змеей свойственно бояться и веревки!

Но ответил с печалью Ахмед Кешеф:

— Я бы ответил тебе все, что ты хочешь знать и что может принести тебе пользу, если б только был я Ахмед Кешеф.

Халиль опустил глаза:

— Кто же ты?

— Я брат Ахмеда Кешефа. Меня схватили по ошибке: накинули мне мешок на голову, когда я ел. А тот, который был моим братом, умер. Но он был мудр, мой брат, как сам Имадеддин из Багдада!

Тут прояснились улыбкой Халилевы глаза, и сказал, принимая трубку кальяна из Берамугуровой руки:

— Он хорошо сделал, что умер, твой брат, Ахмед Кешеф.

И добавил при этом:

— Воистину приходит исполнение словам Махмуда-странника: когда переведутся мудрые, земля треснет, как гнилой орех.

ВТОРАЯ НОЧНАЯ КАСЫДА

Он ушел из дворца перед полночью и тоску свою понес с собой. Белую чалму надел на себя и рваные тырке, так что никому не узнать Халиля.

Тишина над Хератом: ни муэдзин, ни ветер, ни собака. Халиль идет. Ты, если бы встретил его, подал бы ему медный тенке и пожалел бы родившую его.

Тут слышит Халиль тяжелый звук струн. Он подходит ближе. А там был сад, окруженный высокой оградой. Звук шел из сада. Халиль догадался, потому что ждал этого. Халиль подумал: «Ну да, это она, которая проходит ночным небом. Она не знает, что я тут, и, ударяя в бербут, зовет меня!»

Тут подул ветерок, слабый, как шелест страницы Алкорана. К самым ноздрям Халиля донес он ясминовое дыхание сада.

КАСЫДА О ТРЕХ ПОСЛЕДНИХ СТАРИКАХ

Но все же призвал к себе улемов и хадисов утром, надеясь, что каждая громада пустого праха носит в себе хоть крупинку золотого песка.

Вошел Ахлат-баба. Его спросил Халиль:

— У шестерых я спрашивал, как сделать женой ту, которая наполняет напрасным желаньем мои ночи. Они говорили, что скорее жареная куропатка научится пенью Алкорана трудным хеджасским напевом, нежели луна сойдет на ложе Халиля. Теперь говори ты.

Ахлат-баба опустил глаза и стал думать. Он думал столько времени, сколько нужно, чтоб съесть двадцать пирожков сабуниэ. Так подумав, он прокричал тонким голосом:

— О, я знаю. Надо тебе разлюбить луну. Она проходит так высоко, что не слышит твоих любовных криков, сахыб. Напрасно ты ударяешь в грудь, когда встаешь с ночного ложа и когда идешь в мечеть, когда идешь в Диван говорить с дикханами и когда ложишься спать. Но не лучше было бы для тебя, если бы и услышала она твои призывы. Ибо какой величины нужно иметь ухо, чтобы услышать вздох хератского падишаха? Разве полюбил бы ты женщину, ухом которой можно укрыть от дождя два отряда тавашей?

Гневно вскричал Халиль Ахлат-бабе, упадающему в страхе на колена:

— Или это нужно было пророку, чтобы хатайские обезьяны ежедневно наполняли ухо мне своим ревом?

Когда ударяемого по спине вытолкали Ахлат-бабу, вошел поступью павлина Изеддин из Маджара. Он прямо стал говорить, не стуча себе в лоб, как другие, чтоб разбудить спящую там мудрость:

— Ты хочешь луну иметь женой себе? Почему же ты не позвал меня первым? Вот: дай мне десять тысяч конских та-

бунов. Из хвостов их я сплету аркан и пойду на гору Эльвенд в месяце Сафар. Вот: будет луна проходить близко от Эльвенда, я накину на нее аркан и, сделав ей страшно, но не вредно, затащу к тебе в Херат. Прежде чем тутовый лес станет шелком, она произведет тебе двух,— сильных и красивых, как ты сам.

Горько усмехнулся Халиль:

— О, зачем в юности моей верблюд не наступил мне на ухо? Я бы не услышал теперь ни рева ослов багдадских, ни вопля хатайских обезьян!

К последнему, простираясь в прах перед ним, в отчаянье воскликнул Халиль:

— Ты, Моххамед-Ак, говори! Не может иметь глупого сора в голове тот, кто носит имя пророка...

Но молчал Моххамед-Ак. Халиль спросил его:

— Ты почему молчишь? Разве забыл ты разум свой дома, в бараньем загоне? Или ты не хочешь открывать рта, потому что оттуда пахнет гнилой рыбой, как из ямы? Или тебе не нужны магрибские динары, раз корзинка дервиша на твоем боку?

Но молчал Моххамед-Ак. Когда его выволокли, ударяя по голове его же корзинкой, спросил его Берамугур:

— Может быть, молчал ты потому, что не хотел нанизывать жемчужин твоей мудрости на гнилую нитку Халилевой страсти?

— Нет. Но если бы я сказал ему свои слова, он захлебнулся бы гневом. Кроме того, он приказал бы набить меня самого теми магрибскими динарами, как огурец семенами.

— Что же ты имел сказать ему, Моххамед-Ак?

— Хотел сказать: оттого не слышит луна Халилева зова, что любит другого, кто красивей и сильней его!

...Снова вечером пошел бродить Халиль. И пришел к тому месту, где накануне слышал нежные звуки бербута. В эту ночь звук бербута соединялся с голосом женщины и плыл по тишине, имея последнею целью не Халилево ли сердце?

Сладких уст тех песня вот:

ТРЕТЬЯ НОЧНАЯ КАСЫДА

Ты приходишь, молодой и нежный, и проходишь мимо, а я напрасно жду. И напрасно я раскрашиваю ноги до колен, а бокалы ониксовые наполняю шербетом.

Слушай, я никого не целовала и не поцелую никогда, кроме тебя, единственного!

Вчера я проснулась рано, солнце пробилось сквозь мои ресницы ко мне. Оно бросилось на меня, как барс, как сокол на фазана. Но я сказала ему:

— Ты не тронь меня. Мой единственный,— он лучше тебя.

Тебя влекут пламенные кони, а мой проплывет по ночному небу в золотом челноке, запряженном павлинами.

Твой поцелуй — поцелуй накаленной подковы. Целовать его — все равно что пить снеговую воду, подслащенную ранним медом.

Когда б пришел он, не изошли б ласки из моего горла, покуда в бурдюках его страсти не иссякло б вино.

Мое имя Баялунь, почему же не приходишь ты?

КАСЫДА
О СЛАДОСТНОМ ХАЛИЛЕВОМ ЗАБЛУЖДЕНЬЕ

Тогда шепнул себе Халиль: «Ну, да, это она! Та, которую ищу, близко, а девять мудрых не знали! Вот я приду к ней и буду счастлив. Ведь я и не знал, что она ждет меня так же сильно, как я!»

Перелез Халиль через ограду и пошел в глубь сада, откуда неслось пенье и происходил голубой свет. Он прошел мимо водоема, полного прозрачной лунной воды, и тут увидел ее. Шепнул неслышно сам себе Халиль: «Если б ты и не была Луной, все же я сказал бы, что сама луна затяжелела от весеннего ветра и родила тебя!»

К ней, прекрасной — словно она держала розовые жемчужины во рту, вышел Халиль, нежданный и нежный, как месяц перед полночью. Тогда порвались все преграды между ними. Схватив его за рукав, она повлекла его в пестрый шатер, где стояли кальяны и узкогорлые кувшины с серандибским шербетом. Уже стучала разбуженная кровь Халиля. На пестрой шкуре, кинутой наспех посреди шатра, они прижались друг к другу.

Но прохладны ясминовые ночи и хотя бы и способствовали любви, зато скорее приближают пробужденье. На заре, когда из гор пришли утренние росы и дерево бан наклонилось по ветру, проснулся Халиль, говоря:

— Воистину ты Луна, проходящая ночным небом. Пусть будут для всех безлунные ночи, для меня никогда не угаснешь ты!

Сдвинулись удивленьем брови женщины:

— Нет, я не Луна. Я Баялунь, дочь Халилева дикхана. Но ты, разве ты не Месяц, который проходит ночным небом, которого я ждала и призывала столько дней?

— Нет, я Халиль. Я не хочу знать тебя, Баялунь. Но разве не для меня пела ты свою вчерашнюю касыду?

— Нет, я пела для Месяца, который проходит ночным небом... Но разве не Месяц ты?

— Нет...

Они стояли друг перед другом, оба молодые и нежные, и плакали. Может быть, они плакали о том, что любовь не лишила их языка

ПОСЛЕДНЯЯ КАСЫДА

Когда умирал Халиль, луна ему светила прямо в очи, и сердце его истекало любовью, подобно тому, как истекал соком гранатовый плод в саду его. Кричали муэдзины над Launch Launchератом.

Будь тогда у Халиля сто языков, он кричал бы, стоустый:

— Когда подымаются волны любовного моря, ты не бойся ни молний, ни рифов. Отпихни ладью от берега, а весло выкидывай за борт.

И когда будет она разрезать играющие волны, подобно тому, как остроносые корабли купцов иеменских режут мякоть моря в бурю, ты молчи и помни только, что лютня поет не хуже тебя.

Ибо, когда две бабочки соединяются в пахучем лоне цветка, разве плохо, что не слышат и молчанием связываются крепче, чем ненадежными узами слов?

Тебя — да охранит пророк от судьбы Халилевой.

Август 1922 г.

ДЕРЕВЯННАЯ КОРОЛЕВА

I

И уж конечно, ничего тут чудесного нет.

...Ночью однажды сидел Владимир Николаевич у столика и отдыхал за шахматами,— повторял стаунтоновский, раннего периода, королевский гамбит, помещенный еще в «Palamède» в семидесятых годах. На столе позади него пел медную песенку хромой хозяйкин самовар.

Тогда за окном пушил декабрь, и белые снежные кони хорошей метели вихрем несли по городу синие санки сна. И как будто кто-то играл на флейте, и, возможно, флейта играла сама.

Эта партия, игранная в Авиньоне лет семьдесят тому назад, была, пожалуй, самой изящной у Стаунтона. Атака белых коней, после внезапного нападения черного ферзя, была размеренной, четкой и строгой, как математическая формула, где знаки так хорошо и магически вплетаются друг в друга... А самая середина партии, когда черные выправляют свои смятые пешки и черная ладья, пользуясь замешательством неприятельского фланга, выплывает с b8 на b4 и уводит белого коня,— это ли не вагнеровский лейтмотив, гневная медь которого расцветает над головой нечаянным звенящим цветком?

Самовар вздыхал начищенной своей грудью, стихал на минутку крошечную, и снова потом начинала сонно ползать по комнатке тихая песенка самоварной тоски. В таком перерыве Владимир Николаевич передвинул ладью и задумался над ферзем. Стаунтон уходил здесь в неясные дебри конной атаки и с непонятно диким упорством бил конем с f3 на d4, а потом развивал прекрасную комбинацию на левом своем

фланге... Владимир Николаевич ясно представлял себе другой вариант, а именно: королева идет с d5 на a5, как играл впоследствии Андерсен против Кизерицкого, а оттуда,— правда, рискуя катастрофой,— можно было прямо поставить угрозу белому центру... Владимир Николаевич решил разработать этот вариант и, закурив папиросу, устремил глаза за окно.

...Там неслышный лёт ветровых копыт пронизывал синюю ледяную глубь ночи. И уносились и набегали новые, и весь тот снежный поток как флейта был. И странно, что многие в городе бессознательно слышали ту смеющуюся флейту, кроме одного лишь Владимира Николаевича.

Внимание его было поглощено белой пешкой,— в ней лежала причина некоторых осложнений и туманности, но уже и теперь становилось ясным: c4 било f7, а g7 черных...

Вот тут-то Владимир Николаевич пристальней вгляделся в ночь и лишь теперь нежданно услыхал тихий, влекущий в равнины декабря, свист метельной флейты. И случилось так, что это напомнило ему письма тоненькой девочки Марианночки, которая за год перед тем под лиловой шалью пробежала мимо его сердца. Владимиру Николаевичу живо вспомнились глаза и губы в особенности, которые на всю жизнь так и растворились в пенье снежной флейты.

Но тотчас же вслед за милыми губками Марианночки почему-то припомнился хитроумнейший вариант Морфи, и тогда Извеков одной насмешливой улыбкой смел всю эту розовую муть с души, как лужу метлой с тротуара, а Стаунтон, по совету непогрешимого Морфи, прыгнул конем вперед и угрожающе поднялся на дыбы перед самым носом ошарашенного короля.

И снова запела флейта. И, покоряясь чему-то, что было прежде, а теперь ушло, Владимир Николаевич подошел к окну и стал смотреть.

Между домами,— в их низкие и вторые этажи поглядывали заплывшие метелью желтые глаза,— неслись, разбрызгивая синие хлопья по сторонам, снежные табуны, увлекая в ледяную муть беззвездной ночи весело кувыркающихся слонов... Потом проскользнула, кружась неистово, узорчатая вся, как клубок снежного кружева, башня под самым окном. И опять кто-то затерявшийся среди той метели повторил знакомую мелодию, устремляя бескровные губы к флейте.

Стало вдруг необычайно хорошо,— не потому ли вдруг оборвалось медное курлыканье самовара? И взамен его тихий

женский смешок пробежал по комнате, вбежал в ухо Владимира Николаевича и спрятался у него в сердце самом. Ясно, что он обернулся,— но то, что он увидел, было не совсем ясно. Он заметил на шахматной доске, сразу разросшейся вовсю...

...А флейта все пела. Пробегала по ней белая рука вперед, убегала назад...

Он отчетливо приметил, как, перебежав на b7, передать хотела черная королева крошечную записку беленькую чужому офицеру, покуда за резной башенкой наклонял лысую, в короне, голову над рыженькой толстушкой, которых на шахматной доске ровно восемь у него, черный король... Едва успел: тотчас закаменело все, и за шелковыми складками королевина платья испуганно спряталась тонкая ее точеная рука,— сдвинулось, вздрогнуло и замерло так.

...Взмахом белых рук за окном оборвалась флейта, и на некоторое время снова, унылый и одинокий, затянул прерванную песню самовар. Только две вещи и запомнил тогда Владимир Николаевич,— первое: глаза королевы своей — быстрые, глаза метели снежной, в которой столько всегда разных равно близких сердцу глаз, но среди них — одна... И второе: фигуры на доске оказались расставленными именно... Это было поразительней всего,— Владимир Николаевич ясно своими глазами видел то, о чем не мечтал Стейниц и не смел предполагать Андерсен. Это было неожиданней, чем самый искрящийся, внезапный, как водопад, гамбит Эванса. То было неизвестное еще положение в игре офицера и королевы... Легко было запомнить: королева на d2 и с нею рядом, на одном ходе коня, чужой офицер. Неразрывные, как якорная цепь, пешки бегут в атаку, погибают две, и через три лишь хода тот же офицер, который прятал любовную записку, шахует растерявшемуся королю.

И опять флейты.

Недоверчивым взором ощупал Извеков и эти четыре крупно разросшихся стены, и этот разбухший в медную гору самовар. Да,— он сам теперь, Владимир Николаевич Извеков, стоял на шахматном поле, на ход коня от королевы, и та протягивала ему сложенную вчетверо записку. Он взял, подержал незаметно у сердца и, едва скрылась та в треугольном, с отворотом, кармане его камзола, полностью осознал всю непоправимость происшедшего превращенья. Было отчего прийти в ужас: он стал черным левофланговым офицером деревянного короля.

Еще мгновенье, и сознанье начало стынуть в нем, и лакированным деревом в уровень с глазами блеснула собственная его рука, приподымающая шляпу, вытереть испарину испуга. Последним бешеным скачком исчезающей воли вырвались у него четыре деревянных слова:

— Нет, не хочу, нет...

Теперь уж совсем недалеко пропела громкая, как охотничья труба, метельная флейта. Потом что-то передвинулось, возникший было острый угол стал тупым и пропал, уничтожился на одной прямой в ничто. Нечто качнулось, как цветок, и снова треугольником стал печаянный квадрат тот.

Самовар вернулся откуда-то и стал слышным, а сам Извеков оказался сидящим в трехногом,— а четвертою хозяйкино ведро,— кресле и как будто задремавшим даже. Он протер глаза, припомнил, попытался улыбнуться витиевато проскользнувшему сну, но... на доске было то самое, из миллиарда единственное положение, когда черный ферзь и чужой слон во имя блистательнейшего из концов взаимно связываются тонкими нитями шахматной интриги.

Метель стихала, тикали на стенке часики. Остекленевшим, замороженным глазом глядел в спину Владимира Николаевича фонарь с улицы сквозь затянутое легким ледяным кружевцем стекло. Метель стихала, но красный спирт на шкале за окном все ниже прятался в свой стеклянный шарик. А на полу, возле самых ног, упавшая о т т у д а, белела записка. И в ней, как признак свершившегося безумия,— слова:

«Освободите, хочу всегда с вами быть. Рвусь к вашему сердцу вся из моей деревянной клетки. Один вы у меня родной,— все они, кругом, деревянные...»

II

Борис Викторович Коломницкий был, во-первых, музыкантом и еще страстным любителем всяких шахматных несообразностей, а во-вторых, веселым и верным другом, хотя немножко с язычком. Именно по долгу дружбы он и состоял давним и терпеливым поверенным немногочисленных тайн Извекова.

Было уже поздно, Борис Викторович лежал в кровати и держал прямо перед носом у себя обрывок газеты, в ожидании, покуда вчерашний суп разогреется на керосинке.

Было поздно, близ двенадцати уже. Сквозь оловянное стекло непреодолимой дремоты старался Коломницкий проникнуть в таинственный смысл некоторых слов, стоящих на газетном том клочке: ...экстра файн... 22.10... фулли — гуд — фер... 19.10... Конечно,— если бы не дремота эта самая,— несомненно, сразу же сумел бы он понять, что это просто-напросто сводка хлопковых цен на июль. Но дремота удаляла типографские знаки далеко-далеко,— верст на двадцать, и потом начиналось их обратное непреодолимое наступленье, пока не заполняли всего сознанья, пока не падала оцепеневшая рука... А спать было еще рано.

Тут-то и вошел Владимир Николаевич, и побежденный, скомканный клочок газеты полетел в темный пыльный угол, где желто-красный живот свой выпятила виолончель.

— Я, Борьк, к тебе, вот.

— Эге, понимаю. Кто она и сколько?

— Да нет, деньги у меня самого есть: получил сегодня... Тут вот книжку, которую ты разыскивал, принес.

— Купил?

— Купил...

— А когда покупал,— Коломницкий сурово поглядел на Извекова, но за серьезным взглядом его прыгали озорные черти безудержного смеха,— не спрашивал ли тебя приказчик: не задумал ли, мол, Коломницкий жениться?

Извеков руками всплеснул:

— Вот что значит одного тебя оставлять. Да ты, отец, совсем у меня свихнулся!

Тот сел на кровать и протер кулаками глаза:

— Угу, непотребно это, братик, одному быть! Каждый молодой, правильно сделанный мужчина обязан, понимаешь ли, когда-нибудь полюбить. Что есть человек без любви? — Коломницкий отвел указательный перст правой руки в сторону.— Микроб двуногий или глупая зеленая водоросль.

Коломницкий опустил выпуклые свои смеющиеся глаза вниз и тяжело вздохнул:

— Ты вот что, Володьк,— ты знаешь, какой слух ребята в консерватории про меня пустили?.. будто я с виолончелью живу, понял? А тут девушка, умная, очень даже ничего себе, но ты не беспокойся: до свадьбы не познакомлю!

Владимир Николаевич заугрюмился:

— Шахматы где у тебя, тарантул?

— Вон, в углу. Столик вчера опрокинула хозяйка,— разбежались, как тараканы... Поищи, коли нужда есть!

Владимир Николаевич заползал по полу, пошарил рукой под кушеткой, вытащил коня, стал расставлять фигуры.

— Борьк, тут пешки одной нет!

— Белой?

— Белой.

— В постоянном и безвестном отсутствии. Не огорчайся, замени пробкой... пустяки!

Владимир Николаевич начал с муциевского гамбита, выбросил слона, отдал коня и рокирнул... Коломницкий помычал, взглядом проскользнул зорко по доске и вот подошел, стал глядеть.

Извеков вел умело. Трах — ладья перескочила за борт, прямо в лужу вчера разлитого чая. Раз-два-три — белые слоны топчут правый фланг черных, король с d7 снова возвращается на d8 и опять выплясывает там свой убогий королевский танец на месте под кривыми кнутьями враждебных коней. Еще два хода — e4 бьет g5,— слон растаптывает пешку на пути ферзя, и вот...

Коломницкий был изумлен. Больше того,— он был подавлен и как-то по-собачьи ласково заглянул Извекову в глаза.

— Слушай, но ведь это же невозможно! Постой, слон бьет g5... Да ведь пойми ты, сам Филидор взлетел тут на воздух со чадами и домочадцами своими!.. Ведь это все равно что живую Венеру найти... паровоз изобрести! — Коломницкий был вне себя, восхищение как-то придавило его.

...Тихая начинала журчать поземка в улицах, разливалась луна, безбрежно и широко,— и, как острова в ледяном лунном половодье, торчали в черном небе метельные облака.

— Вот что, Извеков! Я четыре месяца добивался вот этой самой раскладки фигур. Мне давно уж казалось, что должно же и в шахматах быть такое положение, когда женщина изменяет только ради самой измены, в которой тайна и разная там магия... Да нет,— ты что, сон, что ли, видел шальной?.. ты, по крайней мере, понять-то меня способен?

Можно было бы рассказать все ясно и просто, утаив про записку,— и ничего бы не случилось тогда, но Владимир Николаевич предпочел показать ту самую записку, из другого плана, из деревянной шахматной клетки. Он протянул приятелю руку открыто, как протягивал сердце свое в течение долгих лет, и тот взял нерешительно.

Тут побледнел весь Коломницкий, и задрожала у него нижняя почему-то губа, и спросил, досадно и враждебно усмехнувшись:

— И ты с ней давно знаком?

— С кем?

— С Анкой...

— Кто?

— Ты.

— Да я совсем никакой Анки не знаю... Ты с чего нахмурился-то?

Тот перебил Извекова, и в голосе вздрогнуло нехорошо:

— Ты-то, конечно, ни при чем тут! Все дело в том, что записку эту писала невеста моя... вот про которую я тебе расписывал давеча. Здесь и буквы ее внизу: А. и Р., и почерк ее. Для меня это удар, признаюсь...

Извеков тупо глядел на приятеля, плохо понимая происходившее, но что-то уже начинало его раздражать. Потом догадался, покуда Коломницкий молча жевал папиросу, и принялся горячо, но сбивчиво рассказывать и объяснять приятелю и про то, как нежно пела флейта во вчерашней метели, и как записку уронила ему черная из шахматных полей королева, и еще подобную же чепуху... Говорил искренне, не скрывая ни слова, чуть не целых полчаса говорил. Но когда в котелке над керосинкой забурлило вдруг, Коломницкий встал, обрывая Владимир-Николаевичевой речи нестройный поток, зевнул и сказал:

— Я тебе не верю, потому что не верю ни в чох, ни в сон, ни в рыбий глаз, ни в какие чудеса не верю. И потом вот что: сейчас я буду ужинать, еды у меня на двоих не хватит, а потом я спать залягу.

Владимир Николаевич был очень душевный человек.

Он постоял еще минутку для приличия, надел не спеша шубу, вздохнул поглубже и вышел, не прощаясь, вон.

...В переулке со снежных гор, будто на весело хрустящих полозьях, соскальзывали лунные тени вниз. Было очень свежо и приятно. Выходило, будто луна пробивалась сквозь мех и знобяще прилегала к спине,— это бодрило походку. Хорошо, когда скрипят шаги по целине и собственная тень, как верная собака, бежит впереди, головой нащупывая каждую в дороге выемку.

Но плохо чувствует себя человек, возвращаясь после обидной неприятности в свое пустое, неприютное жилье.

III

Еще не раз, в вечерах, все той же метелью отмеченных, видел Владимир Николаевич, как оживала черная королева, обозначавшая себя в записке тонкими, без нажима, буквами: А. и Р. И всякий раз, когда ходом коня становился он на шахматную клетку рядом, успевал поймать один лишь ее беглый и ставший милым взгляд. Но едва усилием воли пытался продлить свое деревянное счастье, молнийно делался треугольником неведомый квадрат, и распрямлялся некий угол иной математической яви, и выпадало тайное из цепи звено. Он просыпался из сна в наш, этот сон, и снова застревал в гуще житейских мелочей и воспоминаний неутоленной минуты.

И вот пришла тогда к Владимиру Николаевичу любовь, необыкновенная, как семибашенный дворец. И стала душа его жить в этом здании, и было ей очень хорошо.

...Днями бегал по урокам. Вечерами же иногда, если метель пушила, клал на раскрытую ладонь свою деревянную королеву и ждал, не расцветет ли дерево это под его горячими глазами цветами алыми или голубыми, подобно библейскому Ааронову жезлу.

Но чаще молчало все, не просыпалась в точеных изгибах вещи ее деревянная душа. Вечер проходил и записывался в памяти чернильным лиловым карандашом — п у с т о т а.

С Коломницким порвалось все само собой, раз не верил тот ни в чох, ни в рыбий глаз, а Извеков, выходило, верил. Из десятых уст слышно было, что тот пьет, из восьмых — разрабатывает какое-то невероятное шахматное контрположение, из четвертых — что сильно обтрепался и еще больше порыжел... Потом все стихло.

Покуда распевал то глуховатым баритоном, то медным тенорком самовар на столе, по-прежнему садился у окна и, когда начинали разбрызгивать снежную муть тени белых, в синих яблоках, коней метельных, а флейта — петь, караулил минутку, когда возникнет вдруг из ничего тот тайный, радости пресветлой угол, который Коломницкий чоху и рыбьему глазу приравнял,— не вплетется ли в цепь знакомых и адски надоевших колец королевиного пробуждения звено.

И в один из вечеров случилось большое горе: королева пропала. Ее не стало нигде — ни здесь, ни там, ни вот там... В тот вечер бомбой вылетел Владимир Николаевич на кухню, где стирала белье толстая ведьма Наталья.

— Она выходила отсюда, ты видела? — допрашивал Владимир Николаевич, стараясь заглянуть в глаза.

Ведьма ниже наклонилась к корыту и сумела только промычать:

— Да не-ет... никто вроде не выходил, не замечала.

Владимир Николаевич знал, как нужно с ведьмами разговаривать.

— Заходил ко мне кто-нибудь? — Чуть руку ей не вывихнул Извеков.

— Тот рыжий, товарищ твой, был. Потом ушел, письмо тебе к стенке наколол.

— Долго пробыл?

— А кто ж его считал? Не раздевался...

— Купил он тебя, ведьма!

— А ты подсматривал?

Ну конечно, это был Коломницкий,— он и унес крошечный кусочек дерева, где спала королевина душа. Извеков застонал тут особым проникновенным манером и, согнувшись, бросился в комнату искать записку. Она висела на стенке, приколотая к обоям ржавым пером:

«Ухожу вместе с ней. Нужно было на f6, конем, чудило! Ты меня не разыскивай,— не вводи меня во искушение».

Владимир Николаевич раза четыре схватывался за голову, потом два раза за одну мысль дурную, которую родило отчаянье, потом за шапку и вылетел на улицу, оставляя за собой дребезг опрокинутого стакана, хлопок, откинутой наотмашь двери, на которой остался, вероятно, добрый след извековского локтя, и жалобный взвизг подвернувшегося по дороге пса.

...Влажные, слегка оттепельные сумерки действовали на него благотворно, хотя и медленно. Часа полтора он рассеянно скользил по переулкам, погруженный в разрешение какой-то задачи — шахматной, конечно,— смысл которой представлялся ему теперь смыслом всего его пребывания на земле. Эта убийственная растерянность не покидала Владимира Николаевича вплоть до той минуты, пока он не столкнулся с фонарным столбом. Плохо соображая действительность, он приподнял с извинением фуражку и направился домой.

Ночь подкрадывалась, как черная кошка, невидная, неслышная и близкая совсем. По небу разлеглись низкие облака, похожие на кошачьи хвосты. На душе скребли кошки... У самого подъезда тощая черная кошачья тень скользнула через

дорогу. Владимир Николаевич плюнул ей вдогонку,— снова такая гнусная тоска заполнила душу, впору хоть шахматную доску сгрызть.

Вошел в комнату,— Наталья неодобрительно и обидчиво выпятила губу,— бросился в кровать, схватил зубами подушку и продырявил новую наволочку насквозь. Горю его не было предела, а зубы были молодые и вострые.

IV

И вот началось...

Добрая старушка, которая в письмах своих ласкала дорогого и единственного Володеньку своего старческими нескладными словами, как умела, не опознала бы его теперь: осунулось лицо, а нос заострился, а глаза стали подозрительными и острыми, и щетка волос на подбородке придала всему облику его какой-то серый, бродяжий налет.

Вечера напролет упорно бродил он по сумеркам, перебегал улицу, заглядывал в темные лица встречных, подглядывал в чужие окна,— искал. Не сомневался, что это совсем рядом, так что, если чуть волю поднапрячь, как при утерянном ключе вскрывают дверной замок, он сразу ворвется к ней в ту мнимую математическую даль.

Еще совсем недавно, четыре дня назад, встретил Владимир Николаевич ту, кого искал. Снова клубилась метель, самая большая в той метельной зиме, белые столбы шли очередями, и в каждом столбе глаза — выбирай! Вдруг она прошла мимо, а с нею два офицера, вплотную, как конвой, шли по сторонам. Один, конечно, Коломницкий, другой — тот шахматный, строгий, как секундант, потерявшийся у Извекова недели еще три назад.

Они шли, как плыли. Прижавшись к стене, проводил их Владимир Николаевич глазами, услышал, как звонкие хлопья смеха королевина прореяли над его сердцем и растаяли в крутящемся столбе; деревянное лицо крайнего обернулось на мгновенье и исчезло во мгле... И вот далекая, из серых, зыбящихся круч, опершихся в дрожащие крыши, донеслась поющая флейта.

Когда услышал, бросился вдогонку, но колючий вал мокрых, исступленно сомкнувшихся в призрачную лавину хлопьев залепил глаза и уши... Очнулся и опять ринулся было вперед,

но синее и визжащее встало перед самыми его глазами на дыбы, простирая высоко над домами снежные когтистые лапы. Владимира Николаевича, по счастью невредимого, вытащили из-под колеса...

В другой раз видел ее на улице. У магазинной витрины, призрачным силуэтом отразясь в зеркальном стекле, поправляла шляпу.

...Потом однажды, поздно, она переходила улицу, близкая до боли, под руку с высоким стариком, а смех ее был как фарфоровый шарик на веселом серебре.

Тогда, сиплые от морозца, попугивали запоздавших старушек автомобили на перекрестках и оглушительно звонили трамваи. Мучила навязчивая мысль, почему каким-то пятидесяти разнокалиберным людям потребовалось именно в этом трамвае именно в этот час ехать в одну и ту же сторону... Тогда зажигались на большой улице среди клубящихся метельных валов — дуговых фонарей молочные шары. И непонятно было, где была записана их идея до того, как они повисли в этой снежной высоте. Так потихоньку Владимир Николаевич сходил с ума.

V

В тот именно вечер пришла Извекову новая мысль. Он в подробностях представил себе шахматную расстановку, когда королева, играя с ближним офицером, Коломницким, не замечает угрозы от другого, тоже на ходе коня. И тут прояснилась наконец полная позиционная уязвимость его соперника.

...Извеков бежал домой, натыкаясь на прохожих, на встречного ветра живые валы,— размахивал руками... Лишь в самых дверях остановился, вытер лоб рукавом, не раздеваясь присел к шахматам.

Вместо отсутствующего ферзя в клетку королевы встала притертая от графина пробка, вместо Коломницкого — огарок стеариновой свечи... дуэлянты встали по местам. Извеков криво усмехнулся кому-то, невидно стоявшему у стены, подмигнул и кашлянул, игра началась.

Опять метелило в переулке. Заволокло окно морозной занавеской с той стороны, но смахивалась наотмашь от легчайшего прикосновенья торопившихся мимо теней. Иные приникали на мгновенье к самому стеклу в намерении заглянуть во-

внутрь и, как-то так получалося, все теперь, не только один успех любовный, зависело от того, как растасуются фигуры на доске.

Белый конь вышел вперед. Стеариновый огарок отступил и телом своим прикрыл притертую стеклянную пробку. А8 сделала набег на а5, заворочались белые слоны... Королева уводит пешку с доски прочь. Конь убивает вторую пешку, и потом еще одну, и еще.

Владимир Николаевич не выдержал,— тому, кто незримо стоял у стенки, прислонясь к дверному косяку, просмеялся он тихо:

— Что же вы меня на простака-то ловите? Не раскаяться бы...

...Стало очевидным: нужно было изолировать королеву, удалить метким ударом Коломницкого с доски.

Извеков разогрелся и сбросил шубу с плеча, а голова работала все отчетливей. Противник отступал, метался, и — странное ощущенье — с каждой мельчайшей передвижкой на доске менялись сочетанья каких-то более значительных узлов, перемещались где-то вдалеке глыбы времени и враждебных воль, и вот уже судьбой становилась пустяшная, казалось бы, игра.

Тут всклокоченный, над доскою, человек напрягся до последнего предела,— что-то грозило лопнуть... двадцать два, двадцать три. На двадцать четвертом ходу белый конь безошибочно шагнул на d6, а двадцать пятым ходом черная шахматная ладья, угрожая спрятавшемуся королю, опрокинула Коломницкого и... Все было кончено, трехходный мат был ясен,— филидоровская развязка!

...Вяло склонился в кресле, и сразу стала душа его как пустая зеленая бутылка, а глаза сомкнулись, будто стопудовая усталость опустилась на веки ему. Потом сдвинулись два разных пути, и обозначился угол... а возле самого уха заколебался близкой флейты свист. Потом все переместилось, и в тишине прорисовался только что выявленный оттуда женский тихий смешок...

Он повернулся так, что скрипнули все три кресловых ноги, раскрыл все свои сто тысяч глаз, и нестерпимая сладость вновь отвоеванной близости облила его холодным потом с головы до ног.

Она стояла возле, в черном вся — столько раз желанная, выигранная и не достигнутая никогда, метельные глаза остановив

на нем. Сердце его потянулось к ней,— он рванулся, он схватил ее руку, гладил точеную милую ее ладонь и пальцы. Глядел в глаза, в уме повторяя всю свою блистательную партию наизусть, бормотал ее,— одинаковое с начала и конца,— Анна, родное имя,— и еще какой-то причудливый любовный вздор, чудесно вплетавшийся в пенье флейт над головою. Партия была закончена, дальше начиналось счастье.

Почтительно раздавшись, взирали на них остальные фигуры с доски, немые от волненья, тронутые длительностью поединка, глубиной верности и чувства, заслуженно увенчанного победой. Для полного блаженства нужно было теперь только остаться навсегда в их кругу и все глядеться в очи любимой, покамест пальцы иной судьбы не разведут их, бедных деревяшек, для новой игры.

Едва подумал, тотчас же закостенело все кругом, прежде всего — остановленное блаженством время, и вот еще не изведанная немота стала вливаться в его затекшее тело. Живыми пока глазами смотрел он на свою, достигнутую, из облекавшей его тело древесины,— скованная рука уже не тянулась к ней...

Тут рывком потухающего сознанья он раздвинул смыкавшийся угол, и тот послушно исчез на прямой. Деревянным смехом рассмеялись где-то за обозначившейся вдруг стеной уходящие флейты. И ничего не стало.

Владимир Николаевич раскрыл глаза, пощурился на окно, прислушался к самоварной песенке, в раздумье и не без сожаленья разжал ладонь — там лежал шахматный, деревянный, согретый его теплотою ферзь.

Зима еще пушилась снежным навесом в окне, но что-то успело измениться вокруг, и, если вглядеться попристальней, сквозь округлые сугробы внизу просматривались рябые от ветра талые лужи.

Вошла в комнату толстая ведьма Наталья:

— Там к тебе тот, рыжий, пришел...

Июль — август 1922 г.

ПЕТУШИХИНСКИЙ ПРОЛОМ

И. С. Остроухову

I

Ходил раз один этакий старичок-моховичок за мшарины, где выгон петушихинский потом, за голубикой, насбирал сколько надо, больше некуда,— идет домой, тянет богородичну молитву, озирает сенокосные луга — все ли там в порядке. Тишина вокруг него вечерняя, как медовая сыта в глубоком голубом ковше,— не расплещи дара божьего!

Тут пролетает над старичком — вот крыльями хлопает! — вихирь ночной. Подымает старичок голову поглядеть, какой такой шутуляк тишину поганым крылом колотит,— поднял, да зацепился за кочку лапотком: и сам тут хлоп, и голубику рассыпал. Присел потом на пенек, плачет да ряской прохудалой вытирает глаза...

А тогда пролетал через воздух пчелиный рой. Подлетает к старичку пчелиная матка:

— Ты што, почем плачешь, деушк?..

— Во,— голубику рассыпал... Весь день сбирал! Так-то обидно, пра-а, труды свои потерять!..

— А ты не плачь, не по чем. Счас мы ее тебе сызнова сберем!

И не успел старичок последнюю слезу обмахнуть, взвились пчелы, ударились оземь проливным дождем, разлетелись. И собрали ему голубику всю и в туесок поклали, а промежду прочим подсунули медку в каждую ягодку, чтоб слаще старичку. И не знали, что старичок-то Пафнутий сам.

И воспрянуло сердце Пафнутьево к радости, и стало словно б преображенье на душе. И захотелось ему радость этому

месту луговому приустроить. Хотел сперва церкву. «Нет,— говорит,— от церкви земле тяжело». Хотел потом дом постоялый либо колодец, да порешил вот:

— Пускай на сем месте люди будут жить. А óбок деревне — пчельник где-нибудь возле ручья. Вот и ладно будет.

А не знал Пафнутий, что на месте слез его случится великий пролом не в одном человеческом сердце.

Так и стала быть Петушиха тут — семь дворов, пять ворот, из подворотен дым идет. Источены были сильно петушихинские избенки осенними ветрами да зубастыми напастями.

А Петушихой она не потому, что первым здесь человеком человек Петухов Абрам был, а потому, что пели в тот день предосенний за линючей неба облачной занавеской знойного лета голубые петухи.

Так Пафнутий сам повелел Петушихе быть. Тому двести тридцать лет.

II

Петушихинские жители наперечет все. Конечно, во-первых, Петухов, главный, Василь Лукич, в городе пирогами вразнос торгует,— большаки его потом увезли. От горькой осины яблочка не жди: сынок у Василь Лукича — носатая верзила, непьющий, жадоба,— Лукой по деду. Жил бы он в Петушихе, стал бы он старостой, была б у него бородища в аршин. Помер,— полили б его попы елеем, и вбили б люди в смертную память ему матерного слова кол. Нам с ним не встречаться, по миру вместе не ходить,— бог с ним! От Палагеи добра и ждать было нечего: могла ль такая каркодильная утроба с толком разродиться.

Еще есть человек Федор. Был он кузнец, глядел в жизнь,— ныне загуменная безногая колода, в смерть глядит: впредь не станешь, дядя, хворых старух из огня таскать! Подкармливает отца, по силе возможности, парень молодой воровским своим рукомеслом,— кто ж не знает, что Талаган вор? Сторожите семеро гнедого мерина, не смыкайте глаз,— сведет! Зато и песни поет он, как никто во всей округе, зато и пляшет — холодеют груди у молодок, запирáет дух у стариков... А потому, что шапка на затылке, нож за голенищем, голь в глазах! Поймали б, так избили б смертным боем: ребрышки б Талагановы об

коленку пополам, да не попадался, как карась склизкий и черен как ночь, взад-вперед измеренная зорким конокрадовским шагом.

Петушиха знает вся, Петушиха ведает: Аннушка, вертоглазая бобылка, худое слово зря,— Талаганова прихехенька. У ней дом шалашом, ляжешь на полати — небо видать, да петух деревянный, вырезной над крыльцом, да бусы вокруг шеи красным горохом, и шелковый повойник алый, три с четвертаком,— на!

...Раз в Троицу,— гоготала зычно Петушиха шатуновскую гармонную песнь,— пристал к Аннушке рябой Петруха-лавочник, Василь Лукича братан:

— Вы уж очень завлекательные-с, Анна Устинна, приятные-с! Дозвольте ущипнуть?

Аннушка бровью взмахнула, брови — коромысла, носят они ласку ведрами Талаганову сердцу:

— Уйди...

Красную тогда хмельную рожу подкачнул к Аннушкину уху лавочник, руки за спину заложив, и шепотком:

— Напрасно вы этто карачитесь, жаль мне вас! Опосля первого же брюха бить он вас станет. Э-эх-ха, зарежет тебя Талаган, бусы на тебе больно красные!

Потянулась Аннушка лениво,— что для ней, мирского человека, конокрадовой ярости нож:

— Уж уйдите вы, Петр Лукич. Уж больно рожа у вас, словно муравли проточили. Глядеть не могу...

Проглотил Петруха, козырек послюнил:

— Покорниче балдарим, на поминках будем!..

Зарезать-то ее потом зарезали, только не Талаган.

...Есть и еще в Петушихе люди, заплелось в пестрый жгут племя человека Петухова, смешались кумовья с деверьями, золовки с невестками, добрый все народ — а попроси под окошком водицы умирающий, скажет Аннушка та же:

— Не знаем мы ничево. Пил один надысь, да ковш стянул.

Скажет Талаган:

— Эк ты, человек, несообразительный! Я сплю, а ты мене понапрас тревожишь!..

Выглянет из окошка Палагея заспанным, свиным глазом, Лукичова жена:

— Подь на колодец, да и лакай. Ишь пристал, барабан солдатской!

Вот и пойми тут волчье их родство: бегут волки стаей, все други, подкачнись на бегу,— сгрызут.

Ошибусь ли: сия Петушиха процветет еще тихим цветом скупым, как бурьян подзаборный, двадцать лет. Опосля того приедет сюда барин с кокардой, да нехрист с аршином, да купец с кошелем — выстроит тройня сия кирпичный завод... И будут они здешней земли каленые пряники на мужицких, за рупь с копейками, подводах к железной дороге возить. И прославится Петушиха, место на земле, сперва хлюпкими дорогами, черт шею своротит, потом монастырем Пафнутьевым прославится, а пуще прославится полновесной шестивершковой кирпичиной.

Экое веселие покоишь ты в себе, рыжая ты земля, по оврагу, петушихинская!

Но покуда теплится в Колушовском лысистом овраге дедушка Хараблев Савосьян, пчелинец по слову Пафнутия, не полетят,— так сердце верует,— над медоносными лугами черные мухи копоти заместо золотых, звенящих круглым крылом пчел. Ибо зажалили б пчелы барина, Семкина кобыла перепелесая залягала б нехриста, зарезал бы купца с кошелем Талаган.

...Вейтесь, вейтесь над Петушихой людского сердца, золотые хлопья пчел!

III

Ныне вставало над оврагом Колушовским прохладное, голубым сквозное утро июньского дня. Птицы-то — когда поют, не затуманятся глаза печалью, хоть тут же медвежьей лапой по небу нежданная гроза ударь! Так вот: пели в то утро птицы.

Савосьянов овраг вроде ижицы: два крутых сбежались в один с пологими склонами, и в месте сбега их пчелиных двадцать три пенька. Сказывают, будто давно, когда еще Пафнутий по земле пешком ходил, текла здесь река, а вокруг леса были. Потом с мужичками сообща да с божьей помощью принялись монахи за лес и свели. В последний час поднялась река к небу, опрокинулась прощальным диким проливнем на опустевшие поля, и нет ее. И стало место пусто, и стали пни гнить, а люди мельчать, а в зеленеющем лоне реки бывалой объявился Савосьян и с ним Алеша, белый мальчик,— бог над ним!

В это утро медовое ходил с дымящейся гнилушкой Савосьян по ульям, задувал серые кольца дымка в ототкнутые летки: по-пчелиному — пчел подкуривал. Были пчелы вялы, был пудовый дурман и в лапках и в надкрыльях у них. Но взлетали, щетинясь гневным гудом крыл, щетинясь жалом и переливным взглядом тысяч глаз, а сам-то Савосьян был ух смешон в плетеной морде, надетой поверх: прямо леший либо полевик,— только б вот ему костыль цепом.

Ломал мед, любовно складывал в липовое корытце восковых сундучков многие тысячи, бело-прозрачным липовым же медом налитые до краев. Пахло воском, и было солнечно над головой. Всякий знает: мед от пчел, а пчелы от солнца, а солнце гость чудный — здравствуй, гость!

Подбежал к старику Алеша, внучек, зажимая игластое, круглое в полу рубахи синей:

— Деушк, а я в омшанике ежа поймал... Вошел, а он под колодой, в которой, помнишь, летось мыша нашли... Торчит чернота,— я его рукой, он иглой,— тут я его и взял. Колючий, на!

Дед, пятерню в бороду запустив, зорким взглядом на Алешу сквозь сеть проскользнул:

— Ну-к ладно, подь тащи в избу, молочка ему. Он, еж, мышей ловить горазд!

Гладит осторожно Алеша ежиную колкость, говорит тихо:

— Я ему, знаешь, ежиху найду, чтоб не скучал... Деушк, бывают они, ежихи?

Стенку в пеньке открыл и улыбнулся не без лукавства:

— Как же не бывать, бывают! Раз еж, значит, и ежиха... Ежи, они все женатые!

Поднялись Алешины тонкие брови:

— А колючие-то как же они?

Роями взвиваются пчелы, ищут, кто, недобрый, с ножом в руке вошел в дом их. Смеются Савосьяновы глаза:

— Колючие-то как? Так вот и колючие. Осподь помогает, значит. Беги... ох, матка б не уплыла! Да глянь, щи не ушли бы там...

Засверкали пятки Алешины по траве, июньские росы теплые,— солнечные кудри у тебя, Алеша!

Издалека кричит, похваляясь:

— А мне Талаган ножик даве наобещал,— во!..

Ворчит Савосьян:

— О, связался шут с младенцем! Наградил господь сынищем кузнеца. На меня б его, Талагашку!..

...Солнечно блестит в корытце мед; две корчаги-тетехи медом доверху. Да и вся земля медом густым была до краев полна.

...А тогда распускался медленно над ржаными полями, над мшистыми порубями знойного дня цветок. Липы и дикие яблони, опушки обступив, белые русалки петушихинских весен, простерли поверху лапы и руки свои. Но там, над ними, верстами превыше их, поднимался в небе мальчик тихий, несущий пасмурную песню другого утра в красных и вялых устах своих. Он шел ровно, как Алеша ходит Хараблев, приближался тихо к тому месту неба, прямо над головой, где, знали люди, если встанет солнце, быть тогда смертной беде живым.

IV

А когда отходил Пафнутий, повелел Единый темной ночи быть. И была ночь.

Трудно расставался дух его с телом,— и не нужно было, чтоб видел чужой какой-нибудь мимоходный глаз, как сгибалось на подстилке из прошлогоднего, палого листа в убогом шалаше Пафнутия худое тело, как, свистя, рвался горячим паром дух жизни из ноздрей, как предавалась земле серым налетом подернутая персть и великий конец становился началом.

Стояла ночь. И склонялись под мокрым ветром голые березы и осины и случайная темная ель, укрывая Пафнутья от дождя. И умер. И расступились деревья, давая пройти. И прошел. И зашумели.

Свалился тогда возле лисьего жилья дряхлый гриб-трясовик, запоздавший сгинуть, ибо давно осень была, а накануне целый день проплывали журавли по небесным дорогам промеж облачных гор,— бегли от холода, от голода, от зимней поры. А солнце росло и пухло не теплым желтым одуванчиком, а негреющим красным маком, который ровно уголь из потухающего под дождем костра.

Потом — так говорили попы — гнал мужик лису по первозимнему следу и нашел нетленного Пафнутия, и будто бы иконка в головах. И не дознаться было, кого привела лиса к Пафнутьевой нетленности: мужика с ружьем, ли попа с крестом. Но была великая неправда в том, в лисе.

...А потом еще годы шли мерно и строго, как слепые старики на богомолье. И случилась вдруг часовенка негаданно, а потом монастырек как-то ненароком,— в нем и поныне тридцать монашков черными локтями да мужицкими крепкими лбами в медную рая дверь стучат. Достучался ли хоть один, кто знает? Да и стоило ль стучать по-настоящему: от добра добра не ищут! А игумен здесь податливый, именем Мельхиседек.

Был Мельхиседек допрежь того купцом, запоец и похабник был, торговал скобяным товаром, и звали его, по пьяному делу, Митрохой Лысым. Слух ходил, что однажды, в пьяном образе, прокатался он целую ночь по городу верхом на свинье, когда же, вдребезг пьяненький, успокоился в канаве, то явился ему будто на утрий час Пафнутий и велел: «Будь у меня игуменом». И стал, преобразясь в Мельхиседека.

Еще в начале самом бил поклоны пламенно, и был сладок ему горький елей монашеского жития. Воздержан был: дважды падал, истомясь, широкой спиной у заутреней, а потом с чего-то трудней стало в безмолвийное небо мертвые камни молитв швырять. Потянулись надоедливо монастырские дни,— тихоходное бессловесное зверье. К тому же случился с ним тогда большой перелом.

Наложил раз на монаха эпитимью за бурное слово, а сам встал на колени и молился весь день и всю ночь. Был обилен пот, нескупы слезы, и на рассвете, когда заломило огненным сверлом в спине, придвинулась душа его ко краю, и, на коленях стоя, высунул он Пафнутию прокушенный свой, в бешеном исступленье, багровый язык. Ибо требовала в последний раз душа его пламенем сверкающего чуда, но не было чуда, и ни молния, ни гневная морщь в Пафнутьевом темном лике. А зорко глядело из Мельхиседековой груди озорное сердце Митрохи Лысого. И когда не стало чуда, сделалась заместо сердца коряга, и коряга та свиной щетиной поросла.

С той поры залоснились Мельхиседековы щеки, голос позычнел и походка утруднилась обилием тела.

...А слухи о Пафнутьевых останках стали дымом распространяться по земле, потом претворились слухи в славу,— трухлявый господин заезжий ревматизмы вылечил,— а слава в буйную разрослась молву.

И шла она, молва, людским трезвоном по полям бездорожным, по лугам заливным. Входила молва в мужицкие избы, придавленные горем,— залезала в уши к безногим мужикам

на полати, к бесплодным бабам в сердца, в головы пустые к невидущим старухам, тем, которые с растопыренными пальцами и с глазами, налитыми темной водой, вымаливают благостыньку на больших дорогах пространной нашей земли.

И плелись они, бабенки с пустыми глазами, конокрад свихнувшийся, бобыль с бородой,— богомольная, нищая босота, каменное горе под юродным крестом,— с клоками сена в волосах, с колокольцами в сердце, ползли безногие на мозластых пятернях, и там, перед серебряным сундуком, слепые подымали головы, провидя страшные выси в куполах, мертвым взглядом угадывая Пафнутия, возлежащего в славе, перед собою, бесплодные выставляли вперед пустующие брюхи, и рычало в жалобном ожиданье нутро их:

— Пафнуть, освяти, подай мужичка родить,— назову Пафнутием,— крикунка махонького!!

О, сколько раз протягивали вы Пафнутию корявые тяжелые ладони, копейки ваших душ...

...А когда на обеднях затаенными голосами пелась херувимская и кричали навзрыд кликушами пучеглазые Мишки Кукареку, двоюродни Митрохи Лысого, торжественный, как каменный Ваал, стоял Мельхиседек на ковровой игуменской вышке и потел от скуки, а сердце, спрятанное глубоко в черном, не ускоряло к вечности бега своего.

И по мере того как окружалась Пафнутьева нетленность серебром лампад, мерцающих горѐ лукаво, окружалось жирком бренное игуменское тело и славой неугасимой — белые стены монастыря.

«Что ж, Митроха, живешь неплохо,— поговаривали иные,— поистине претворился полынный елей монашества в сладостное уединенья вино!»

V

Озорует каждый год, проступает цветным, сквозь вековечные заплаты, три дни пьяная пестюрьковская подмонастырская округа на Ильин день.

Пестюрьки — село обширное, на горе, а под горою, в тенистом лозняке проползает безназванная речка мелкая: окуню впору, налиму в самый раз.

Гуляет, позвякивая в дырявом кармане пожом о непропитый грош, лапотная удаль, гуляет пестюрьковский поп с по-

падьей под цветастым зонтиком, гуляет степенный мужик на два с полтиной, Аннушка гуляет, Василь Лукич... Ухает презычно луженая ярманкина глотка, весело таращится в небо пьяный глаз с бельмом, а в небе туча, и в ней Илья. Катится лапотный вал за валом, щурится раскосым взглядом, хромают гармошки, давясь плясовой, дороги пылят... Подкатываются тележки к ларям окрайным, к трактиру, к божьей церкви,— пять белых над ней куполов. Тут ударяется вал о глухую стену, вливается в пустые жилы ярманочных рядов черная, мужицкой гульбы кабанья кровь.

С вечера задвигалось цветное, с ночи загудело громко, засверкало с утра. Раздвинулись ноги в сторону, грудь колесом, похваляясь, что быстро кровь бежит:

— Ба-аранки, баранки... Копейка штука, сдобы пуд!

На голову крендель трехфунтовый напялив, орет шаромыжной глоткой мужичина страшенный, масленую рожу выставив из холстинного шалаша,— и та же гульба за скошенным на мальчишку взглядом, и та же буйная сила, связанная юродством крепко, в корявом, зазывающем персте.

— Ай вот ситец, ситец, ситец... дарма отдам! Э-гей, вековухи, ситцу...

Бабы грудью наперли, девки ходят колесом вкруг ларя,— камка, китайка, синее с голубым: «Энтот почем с каемочкой?» — «Не напирай, баба, не скотный двор!» Треплет незлой июньский ветер кумачовый печатный платок на жерди,— желтые розы цветут пасхальным колером по его красному полю, до первой стирки цветут! По радужным ситцам тем прыгает деревянный хозяин, скачет как полоумный щербатый да замызганный аршин.

В расписном ларе — ребятье беловолосое, Митьки, Никитки, Васятки тож, никнут неутоленно к маковым медовикам, никнут к вохряным бокам ларя: стопками разлеглись друг на дружке меж изюмных мешков удалые сверкающей радугой пряники... А по пряникам скачут храбрые Еруcланы, алые солдаты сахарные на кургузых конях, а по пряникам цветут нетутошние, удивительных стран цветы,— был бы ты барин, весь век бы ел!

Течет, кипя разнозвучным гулом, ильинского дня бесшабашная ярь, расплясался с пономарем заедино достоенского колокола на колокольне развеселый, запьянцовский звон. А небо распростирается синей степью над головами, и по той степи летит, звеня серебряной подковой, свирепого Ильи

гривастый конь... И небо все — как кибитка, быстронесомая тем конем, и пляшущий гик поповского трезвона, и ярманкино сердце как кибитка, которая не знает: обрыв, дорога или удерж где...

— У-ай, подходи... плошки, корчажки, обливные горшки... кому уважу?.. Не стукайте, не стукайте, ишь звон какой! Эй, рыжак, ногой передавишь...

Так заливается круглая баба с воза, голосит, красноголосая, над поливным своим товаром, над черным горшком.

...По второму ряду, на самом краю, встал житель петушихинской, Мирошка,— бороденка у него без аршина вершок, а хитер, как слепой на свадьбе, невелик-мелкий человек. Горы целые щепного товару позадь него: тут и дубовая пудовка на мерной стоит, тут и березовых скобленых оглобель розовые частоколы,— мятным ли тестом, горькой ли осиной несет от них, не поймешь... И шкуреные дуги на жердях, как калачи, лесной товар — товар праведный, дуб, береза и липа тут.

Стоит Мироха, прищуря оловянный глаз, слушает слезливую песню мимоидущих слепцов, их трое: два заросших и безбородый один,— у него красные, ветром полевым высушенные веки:

А-а ишоо по-омяни, о-споди-и,
Та-а-во кня-азя бла-аверн-а-ва...

И поводыренка голубоглазого голос знакомо летит в Мирохины длинные уши:

— Па-адайте, дяденьки, невидущим Христа-ра-а-а...

Знает что-то свое про поводыренка там, внутри, и, застыдясь невзначай, сует мальчонку в руку:

— Это тем, бог с ними, а это беспременно на гостинец тебе!

И вдруг, заметив смешливый взгляд соседа, завопил, срываясь с цепи:

— Ну-ну, не застаивайся! Ишь вылупился баран на новые ворота...

А уж издали слепая песнь из-за гама ярманочного,— пахнет дегтем и ситцем, мятным коржиком и навозом конским развеселый гам тот:

А во то-еей ли там це-еркве бо-ожией,
Там пы-илали за престолом семь свечей!

И тонкой стрункой поводыренок в голос:

...се-емь све-ечей...

И тут со стороны, слова вразброд, лапти с гиком в стороны, Тимошка, жарь! —

А-ах, дома нечево кусать,
Сухари да корки.
Па-ашла плясать,—
Скидавай опорки!..

Лаптями, локтями, винным духом пробивают для плясу столбовую дорогу в крикливой сутолоке пьяным-пьяпых два,— узит смехом глаза пуговичник седатый, худой как гвоздь, из-за убогого лотка соседке, бабе с пирогами,— она как пуговица:

— Хы-ы, ледоколы-ы!.. Ну и публика... во народ!

Облака идут бесконечно, белых облаков стада по голубым чистопольям неба; оседают лиловой морщью за селом ильинские те облака, ждут поля громов и ливней скорых... Деревья вытянули сучья по ветру, и стали листья пеплового цвета, и затемнилось небо,— будет дождь.

За трактирными столами у Маныкина, в горячем кухонном пару, кипением кипит трактирное действо. Шпарят себе китайским кипятком досыта набитые утробы разношерстные торгаши, жрут, потеют и снова пьют, и великая благодать покоя за свое унынное раздолье, за вольное под голым небом обширных полей наших житье, теплится из потемневших благодушно глаз.

Савосьян, как продал две привезенные пудовки, пошел было чай с Алешей пить, но сидели недолго. Как снег на голову — шум неистовый, голоса рычат, визг бабий; столпилось шумливое и грозное за двором, где кормушки, кулаки гневные вздымая вверх. Бросил трактирному мужику пятак на стойку Савосьян и вышел с Алешей вон, и спросил Савосьян:

— Скажи, человек, с чего это люди шумят?

Блеснул зубами мужичонко, оживленно потрясая ладонью, вытянутой кверху:

— Конокрада пымали, счас бить будут...

Тучи всё оседали и рваными клочьями неслись над головами, ярманка гудела приглушенным гулом, как шмель, забывший дорогу, телега проскрипела над самым ухом, солнца нет,— с возу баба охриплая закричала:

— Ма-ашельник... учить их надоть! Чего глядите? Ишь, кобели, расставились...

Тогда рыкнуло головастое сборище, кидаясь вперед, и что-то хряснуло сырым ударом, и опять голос, скрипучий, как колодезное кольцо:

— Ты ему в грудь, в грудь наддай за чужую лошадку... по ногам, по ногам тож!..

Расступились, давая четверым, озверившимся, бить. Кинулся Алеша, увидел Талагана там, лежащего в кругу. В крови были Талагановы губы и нос, в крови и руки,— ими он растерянно проводил по кровяным течам, и глаза, направленные в небо, были как угольные ямы: черные, ждущие, приемлющие смерть.

Топталось вокруг него четверо: барышник один губастый, весь острый и кривой телом, как рогожная игла, потом Василь Лукич, петушихинец, он все тыкал кулаком в восковые скулы Талагана, сперва не сильно, но крепче час от часу,— не жалел, что размочалится кулак, он все ярился, и глаза вращались, как жернова, тяжелые, не знающие милости... Потом был мужичонка тот горластый, глядел взглядом застылым, место выбирал, ударить куда, а четвертым пономарь пестюрьковский, плюгавый, но старательный в битье человек: все плясал вокруг да около сумасшедшей блохой, приглашая созерцателей:

— Эк, здорово я ево... Подь, дай ему пинка,— человек он казенный ноне! Хороша лошадка, на погост бы ему на ней, а? Счас на ребро ему насяду...

Пропускали некоторые смех сквозь неумолимую суровость свою:

— Ишь ты-ы, кулаком-то как поп орудует... как поп кадилой!

— Зуда ево берет, пузастово... вот и орудует!

— Клещ прямо!

Тут с маху, дрожащий и красный, вдарил Василь Лукич лаковым сапогом в Талаганов бок, как в мешок с паклей,— не пожалел Василь Лукич нового сапога для дела обчественного. Сперва стихло, удивленное, вокруг, водя отупелым взглядом, и в кладбищенской тишине той остро и хлюпко сказал крупный, черный мужик, скаля цыганские зубы:

— Бей, чево там, кончали б до дожжа!..

Сдвинулось, топоча, захрипело,— хлынули черные сапоги на вздувшуюся смертным вздохом Талаганову грудь. В общем кряхте кто-то грохнул страшными словами, заглушая рьяный шум ярмарочного пляса:

— Да не бей, не бей в морду-та, девки любить пе станут. Ты ему в живот, в брюхо жарь!..

И тут-то закричал пронзительно Алеша, руки заламывая над головой, и, рухнувшись наземь среди застылых в тревожном ожиданье мужиков, лягушкой заквакал, лягушкой прыгая из черного кольца. Савосьян к нему,— тот мужик большой грозно чвакнул пьяными словами, ворочая широкой медвежьей губой, над Савосьяном:

— Порченых водят... Сам сед, а ума нет.

Вытащили Алешу, из бадьи поливали водой. Толклись и кричали над Талаганом.

А небо, как половиками, тучами устлалось сплошь. Громовый ветер обнажил вдруг солнце на единую минуту, оно было исполнено гнева. Потом снова предночная тишина... И тут вьянула с разбегу буря в гробовые доски туч. Молнии прошли скрозь, осенили синим, и ливень ильинский хлынул ручьями вниз.

Тогда разорвалась людская петля Талагана вкруг, и побежали, и первым бежал Василь Лукич, держа руками брюхо, чтоб не упало. Талаган лежал красный и мокрый, удалецкая поддевка в скоморошьих лоскутах, живой. Благодарствуй Илье, Талагашка: Илья конокрада от лютой смерти упас!.. Потом перестал ливень, выглянуло солнце, омыло ярмаочных ларей расписные ряды, вымыло сельской площади стоптанную зелень, омыло людей.

Подошла старуха старая к лежащему, вытерла лоскутом Талагановой же рубахи кровь с лица, сказала обыденные слова:

— Небось матка есть... Видно, матерня-то молитва об тебе, ох, плоха-а!

Сквозь кровяной сгусток обеззубевшего рта протянул, как мальчик, гнуся кровью:

— Бауска-а...

А уж там, возле колокольни, отзванивали плясовую по висячим бутылкам карусельные вертуны,— шпарили, крутили в синих бабьих кацавейках, валяными сапогами перебирая грязь... Летали вкруг облитой копеечным зеркалом башенки карусельные чуда-юда. Тут и конь Сабатан с пламенной гривой,— не жалел маляр бакану! — и птица Аксафат горняя, семьдесят семь крыльев серебряных на ней; тут и Махметан на карачках, в нагбенном положении. И, сидя верхом на них — на конях, на слонах, на деревянных Махметанах, под веселых

двадцати семи бутылей дрынканье, под кабацкую, заливную, забубенную гармонь ухает оголтелое ребятье, катит все вокруг да около дребезжащего радужного, пустого места, девки визгают, чуть не кудахчут зазывно, как куры в первый апрельской пасхи день... И над ними, озорными, визгом покрывая бутылочную чечетку, орет проголодавшийся Петрушка и в который раз за трудный нынешний день колошматит липовой орясиной деревянного попа в накрашенную залихватски рожу, честно зарабатывая горстку медных пятаков на верещащего хозяина.

Когда оправился Алеша, и глядел вяло, и словно слезами внезапными исцарапались голубые глаза, и весь как кукушонок покинутый был,— повел Савосьян Алешу к горшечной бабе, сказал Алеше:

— Выбирай,— вишь, какой товар навален!.. Свистульки, пистульки, ребячьи утехи...

И выбрал Алеша средь глиняной рухляди Егорья глиняного. Долго глядел перед выбором на него, как сидел он на круглошеем коне, а заместо копья струганая палочка, как сверкала красным и синим вычуром под полуденным солнцем Егорьева броня. А потом погладил ласково, как гладил ежа накануне. Стоил, оказалось, Егорий двенадцать медных копеек лишь. Потом сел Савосьян на подводу — и домой, в свой двуединый овраг, обок Петушихе, осьмнадцать верст песками, лесом и горой. Ехал-ехал и обмолвился благодарно:

— Эк, обожаю дожжик!

Каждый год заходит в громовую тучу солнце, полуденный пряник ильинской ярманки. И до вечера позднего, покуда пьяным храпом не устлалась земля, горланили неугомонные Пестюрьки.

— Ай-гой, кому остатки... вот тут кудель, пенька и веревка. Э-эй, зипун, подходи!

— Почем конец вот энтот?

— Энтому четвертак вся цена...

— Четверта-ак? Ну-к сам на ем удавись!

До самой утренней зари,— избитого, кровоточащего Талагапа в канаве, возле ямщицких кормушек, нечаянно найдя,— плакала сурово злыми, бабьими слезами Аннушка, лила, не жалея, водку в запекшиеся губы, щупала синеющую полуаршинным кровоподтеком грудь и живот, раздувшиеся страшно. И, грозя бессильным бабьим кулаком, звала огненную, нищую беду на пьяную, рыкающую округу.

VI

Висит месяц над осиновым пнем, глядит пень унылым глазом в месяца, и знает месяц, что есть подле низового бора глупый, осиновый пень. И знает пень, что есть месяц светлый в облачных пучинах вверху. И так они одиноких два: бродит один, ищет,— сиднем сидит другой, знает —«не найдешь!».

Раскинулись широко по небесам большие пастбища лилейные, неужто же травы на них не растут, прикрыш не ползет, донник, гулевая трава тоски, трын-трава, не цветет тусклым цветом, цветком-бельмом?

Плавают ночные блудливые тени в синем молоке вечерних рос. Проходит, наскрозь проходит свою землю Пафнутий, чует беду.

Порхнула мышь сквозь ночь.

Прикидываются тени людьми, люди — зверьми, звери — пнями; присядут на корточки в кромешной тиши, и не разберешь тогда: ли пень, ли тень, ли человек с ножом, ли рысь усатый, но взмахнет хвостом, заиграет рогом,— увидишь: див.

Не ходите в полночные леса, девки, по ягоды, мужики — по дрова, трухлявые старухи — за грибами: встретишь дива, он куражиться горазд, гаркнет — станешь пень.

Ходит див по полям то гадюкой сереновой, то галкой нелетучей, то зверем почным о двух хоботьях. И где покрестит Пафнутий, там плюнет див.

Нет больше месяца над осиновым пнем: сизое облако на него набежало. Береза по-вдовьи над камнем плачет, сыч надрывно кричит. О чем тут плакать, о чем кричать?

Разве затем лишь небо, чтоб облака в нем плавали?

Разве затем лишь глотка, чтоб кричать навзрыд?

VII

Дадено Савосьяну не храпеть никогда. Знамые люди сказывают: у кого в сердечнике щель, тот не храпит,— щель мешает.

Он спит хорошим сном сорока праведников, коим обетовано царствие... А месяц стоит опять в небе, а на месяце сидит мальчик и песенку поет, мальчик-сон, болтая из серебряного лычка лапотком вниз. Спит и Алеша,— да охранится от дива

некрепкий сон его. Под тулупом волчьим Савосьяна, где спит он, пусть приласкает мальчик-сон его девичье сердце!

А на подоконнике, весь под светлым месяцем, стоит Егорий глиняный, и коня его раскрытые чутко ноздри слушают прохладные запахи полночи, которая течет за окном. Егорий вот каков: на самом три ладка, и конь дудкой тоже,— подуй ему в хвост, зажми ладок умелым пальцем, и запоет Егорий, и потеплеет глина, и содрогнешься весь.

Проползают, пробегают под самым окошком легкие и тяжкие, пузатенькие и тощие крапивные сны и пряничные, проходят мимо, заглядывая в окошко лунным глазком.

Куда послал вас Мальчик, милое, ночное зверье?

— Бабка Аграфена счас помирать будет... Обступим, чтоб легчае было!

И тут слышит Алеша гудочек тихий сквозь сон и открывает глаза и видит. Пляшет под Егорьем на залитом луной подоконнике глиняный его норовой конь, и гудочек призывный — из окна. Не сводит темных, потому что увидели другое, глаз строгих Алеша... А месяц стоит в окне, а яблони молчат в луне, и небалаканые воды тишины текут в глухом овраге, как давняя, забытая река.

Спрыгнул конь на пол, дрогнуло Егорьево копьецо. Раскрылась дверь, и вышагнул конь, и засиявшее Егорьево лицо осветило темные сенцы: решето на стене, два корытца липовые и прялку старую,— Савосьянова бабка пряла семь годов назад. И, позванный одним немым взглядом, пошел Алеша за Егорьем,— вышел и застыл, пораженный радостно.

...Обступили кругом камни, страшной силой раскиданные между великих гор, на них леса взмахом до неба, над ними дикие пучины черных небес. С камня перескакивая на камень, с горы на гору, нес Егорья чудесный конь. И рос и рос на коне Егорий глиняный,— вот стал ростом в семь дубов больших, вот затерялся в сером облаке мимобегущем золотой его шишак. Обрадованный, шел за ним Алеша по бездорожному каменью в синие пучины, в синей рубашонке сквозь вечную ночь. И когда блеснул месяц негаданный меж двух обширных гор, догадался Алеша: да не подкова ли серебряная коня Егорьева — в осенних ночах встающий месяц?

А как перестал видеть Егорья, увидел Алеша пещору,— рос вокруг пещоры красный перец и острогон. Он вошел в пещору и увидел трех, седящих рядом дьявоилов на свинцовом

сундуке, руки — словно вилы навозные. Один был хвостач, другой крылач, а третий рогач.

Догадался Алеша про бесов, говорит:

— Здравствуйте, бесы, три.

Отвечают дьявоилы хором, нестройным рыком, Алешиного взгляда голубого сторонясь:

— Мы не бесы, мы полубесы...

Говорит Алеша тихонько:

— Здравствуйте, полубесы.

Отвечают бесы, озираясь пугливо, орлиным клекотом:

— Мы не полубесы, мы вертопрахи...

В третий раз говорит Алеша, желая дознаться:

— Здравствуйте, вертопрахи.

Чуть не плача, отвечают дьявоилы скрипом хрипучим надломленного дерева:

— Ох, мы не вертопрахи, мы Радости человечьей сторожа...

И тогда понял Алеша: там, в свинцовом сундуке обширном, на дне, связанная лежит в неволе Радость. Усмехнулся этому Алеша и вышел вон.

И, пройдя еще немного, увидел как бы большого идола-болвана, седяща на камне с дом. Глядь, а это не идол, а чугунный слепой дед что-то в ступе толчет. Поднял дед на Алешу невидущие глаза:

— Ты кто?

— Я Алеша. Будь здоров, дед,— Алеша говорит.

— Как же мне здоровым быть, когда меня, может, и нет совсем! — отвечает дед.

Сурово бровями шевельнул Алеша, удивляясь:

— Как же нет, раз в ступе толчешь?

— А может, и ступы-то нет!..

Улыбнулся дед про себя. Глянул ему на руки Алеша, удивился: по три ногтя у деда на каждом пальце.

— А что же это толчешь-то ты?

Насупились чугунные брови над пустыми глазами:

— Толку землю твою. Растолку — пущу по всем четырем ветрам, двадцати поветерьям. Пущай по всем краям полымем процветет.

И усмехнулся Алеша, и пошел прочь, и тут увидел стклянную гору и мужика в ней, вертящегося бешено, косматого. Покачал головой Алеша, вошел в гору, поклонился в пояс мужику:

— Ты с чего ж это, дядя, вертенье-то принял?

Остановился мужик, отер страшный, разбойный лик рукавом рубахи рваной:

— А верчусь, вознестись чтоб; тыщу лет верчусь. Меня дикие напасти грызли и лютые болести точили, а я вертелся все... Вознесут меня шестикрылые, поведут под руки в райский-то сад, а я плюну им в рожи и назад уйду.

— Куда ж уйдешь ты?

— Здесь, в стклянной горе сызнов вертеться буду, чтоб грех замолить.

И опять глубоко понял Алеша косматого мужика, усмехнулся про себя, помолчал, а потом спросил:

— Тебе, может, водицы принесть, дяденька?

— Не, мне не надоть. А ты закрой глаза, на меня нельзя долго глядеть,— сам вертеться станешь!

И закрыл Алеша, занавесил сонным шелком ресниц ласковый взгляд свой, да потом захотелось Алеше взглянуть: какая борода у мужика — черная, ли рыжая. Раскрыл — и увидел, что сидит он на лавке, у себя дома, съехал на пол дедов тулуп, и все по-прежнему: месяц в окне, Егорий на коне...

Что-то вспомнил Алеша и усмехнулся и протянул, принимая тулуп с пола:

— Чудно-о...

И снова сном тихим стали смыкаться глаза.

А мимо окна, пузатенькие и безбрюхие, уже в другую, обратную сторону,— крапивные и пряничные бежали сны.

— Ты откуда бежишь, кочевая, мирская скотинка?

— Мы от бабки Аграфены — успокоилась нынче бабка.

— Что ж ей снилось, бабке, отходила когда?

— Снилось, будто черная туча, а она ведет, сама Аграфена, к близкой деревне, где в девках жила, белого, за рога, барана. И будто голос из тучи: спеши, спеши, Гарафена,— счас, как пройдешь, гроза будет. А она спрашивает: кака гроза? А голос ей: «людская!»

...Месяц в окне, Егорий на коне.

VIII

Раз в сто лет кричит Мизга в болотах, обмахивая гнилые колья затона черным бесперым крылом. Когда кричит,— купи у Воронкова в Пестюрьках миткалю недорогого аршин десять,

отдай радушке своей — пусть саваны загодя шьет на обоих вас.

Раз в сто лет расцветает диким розаном калужница в болотных топях, и кто б ни был ты,— поп, судейский, нищий с сумой, баба на кочерге, лесная страховуля, ли ноздрастый черт,— беги на деревню, бей в набат. И как сберутся толпы разных людей на поля, разбуженные твоим набатом, ори что силы есть:

— Бя-да-а-а!..

По четырнадцатому году слышал прохожий юрод в пестюрьковском болоте безродную Мизгу, видела Аннушка калужинный розан в трясине, что за Большими Песками. И впрямь: застучали барабаны в городах, стали трехгодовалые ребятишки все больше в солдатов играть, а потом прискакал красномордый урядник из волости, объявил на сходе, что-де вот, мол, война, в солдатах большая надоба,— так нет ли молодых у вас, для войны, призывных людей. Вспомнили мужики Талагана.

— Вот,— говорят,— был один, Талагашкой звали, да сплыл!

— Каков Талагашка? Как его по-крестьянски-то? — будто не понял урядник.

— Этово мы не знаем. Про это надо у отца спросить.

— Где ж он, отец?

— У Савосьяна, пчелинца, живет ноне,— приятелями с малолетства они.

Пошел урядник на колушовский пчельник:

— Твой Талаган?

Сидел Федор на порожке, колоду долбил:

— Мой, кабысь.

— Где ж он, когда твой?

— Били ево летось на ярманке, пропал весь.

Вспомнил урядник конокрада, видались как-то при неприятностях, да захотелось потешиться: любил доспрашивать пьяных, темных и иных людей.

— Этта за что ж его били-то? Вот меня, к примеру, не трогают!

Тут вступился Савосьян:

— Эк ты, человек, человека не жалеешь! Ты ево приласкай, а потом и мучь...

Хараблевской бороды устыдился урядник, но успел безногий выдохнуть:

— Конокрад был, сам знаешь.

Закрутил урядник карий ус и уехал на дрожках. Потом шли раз некрута через Петушиху,— было веселей им под гармони осеннюю грязь толочь. Останавливались у колодцев отдохнуть.

— Куда, робятки, путь ваш? С кем хотите воевать-та?

— Не знаемо,— с ерманцем, сказывают. Поп по газете изъяснял, будто ерманец землю отымет, а мужиков всех в Сибирь сгонит.

— Како-ой, в Сиби-ирь... Ишь ты-ы!

Так прошел год. В темные, раздрябанные вечера осени, если раскрывалось над моросящей далью желтое око зяблой луны, после сходов, а то и так, амбаров возле, на бревнах, на завалинках толковали про то, про се, а про войну ни крохотного слова:

— В Хрыму, говорят, будто круглый год апельсины растут. Будто на березах даже...

— На березах?.. в Хрыму? Брешут.

...А Мельхиседек в своем как-то захиревшем за войну монастырьке преклонял заплывшее колено пред Пафнутием, вымаливая победу серошинельному, боголюбивому воинству. И горели опрятно лампады и поредевшие свечи, и, опровергая всей тяжестью подспудного баса звонкую аллилуйю молодых монашков, рыкал с амвона гривастый Никодим.

...А воинство шло и пело, штыками синими блестя в утренних хмурых начатках дня. И была у тех, кто краснощек, страшная тоска в глазах. И была у тех, кто не краснощек, жуткая, угрюмая, зловещая чернота в лицах. И когда умирал какой-нибудь, елозя пробитым животом по несжатому полю, копошилось в нем безответное рыдание и делалась суета души. Небо же брюзжало беспрестанно оловянным осенним дождиком, все моросило да брызгалось.

...А в городах, встревоженных далеким уханьем, деловито и поспешно шили кисеты под махорку, в лазареты к калекам носили на постном масле вкусно прожаренные с капусткой пирожки.

...А по деревням сперва была тишь грозовых пор. Потом прокрались серые, далекие дымы, и стал гул. Потом доползла до бабьих сердец красная змеища бабьего отчаяния,— шуршала змеиная кожа. Спрашивала мать Егорку:

— Штой-то Марфушка-то даве больно выла?

Отвечал мальчонка, прилаживая к змею мочальный хвост:

— К ней Серега без ног приехал.

И пуще тревожилась баба за своего Серегу, который собственной еще покуда рукой писал редкие писульки из неведомого огненного далека.

...Были ветры, пахли дымом.

Потом еще прошли года. Была зима первого года, но ушла зима, и стало лето. Лето было как зима, а цветы в полях были без запаха. Был второй год, был третий. Мы все их знаем, все их помним, проклятые, свинцовые года!

А однажды крякнуло и надломилось. Опять слухи пошли мимо дорог железных, мимо телеграфных столбов, по полям пешком, по оврагам ползком. Зарождался слух из руки безрукого солдата, из городской тротуарной тумбы, из гнилого пня в осеннюю ночь, пору звездных дождей и снов диких.

Открылось, что царь больше не царь, а заместо царя — епутаты. Говорили, будто попов больше не надо и бога не надо, так как на поверку оказалось, что бога нет, а заместо бога просто дыра в никуда. Мирошка петушихинской ловко про это слукавил:

— Что ж, епутаты,— что ли они на подзорных трубках в небо лазили, никого там не нашли?..

Вскорости после того,— тогда подходила крайних стуж унылая пора,— сказывали приезжие, что епутатов всех выгнали помелом взашей, а заместо епутатов незнамые ныне люди, большаки...

Хмурился Мельхиседек, чувствовал с тревогой, что нет в нем теперь, когда нужней всего, ни веры, ни надежды, ни любви ни к чему. Косился хмуро на тусклый Пафнутьев сундук и сердился, что не видно сурьезных мужиков на обеднях,— одни слабоумные юроды верещат истошно, да старых баб ржаными устами зацеловано вконец линялое золото Пафнутьевой басмы...

Приехал в рождество Василь Лукич на Петушиху, зыкнул с разбегу на одуревшую от радости Палагею свою и весь день зачем-то гвозди в стену вбивал, полки ни к чему, озираясь, делал, а назавтра запряг с утра свою перепелесую кобылу, покатил в Пестюрьки, к рябому братану, пить.

Там рассказывал Василь Лукич, что-де все солдаты нонче в большаки пошли и наотрез сражаться отказалися с врагом

отечества, а города-де загажены паршивым плевом и что, мол, город скулит ноне, как пес дворовый без еды. А люди-де теперь не люди стали, а так себе, тараканьих какашек вроде, псивые. Был сильно растерян, а хмур оттого, что встретил на дороге случаем Талагана, и долго ему Талаган вослед глядел глубокими черносливными глазами,— в них тайная, острая была усмешка.

Талагана же встретил днем как-то и Савосьян. Возвращался старик от обедни, видит — солдат, на нем рваный военный лохмот. Пригляделся — Талаган. Усмехнулся пчелинец встречному:

— Ты хрещеный?

— А что?

— А што не кланяешься?

— Незачем,— голове, а не бороде кланяются!

И тут закашлялся Талаган, а Савосьян увидел на рукаве продранной шинели его, когда тот губы вытер, вроде кровь.

— Э, ты не большаком из войны-то вышел?

— Большевик, да-а... — сурьезно так Талаган протянул, по-настоящему.

Угукнул Савосьян. Незачем ему было больше выспрашивать, дальше пошел. Дома сказал Федору:

— Большака стретил.

— Чей?

— Не наш...

Пожалел Савосьян Федора.

...И опять годы шли вперемежку с сильными днями, когда сверкало полымя из дней, как из ружья, опаляя ястребиную зоркость смелых глаз, затеняя черной копотью глаза тихих и ввек слепых. Случилось однова: на второй год, на пасху, Василь Лукича увезли. Приехали люди от исполкома, чужие, с ружьями,— сильно один меж ними ерепенился, кричал все, пистолет у него за поясом запросто, как колотушка: взяли, увезли. Догадались мужики: Талаган виной, видели много крат Талагана. Аннушка-то у него забылась, видно,— черное баба из бабушкиной скрыни стала на себя надевать, и про это бабы сообразили.

И вдруг нà: как прикрепили Петушиху за малолюдством к Семеновскому сполкому, заехали мужики в волость, для города пропуск брать, а там Талаган сидит, и все его — товарищем Устином. Поняли: вылупился после боя из озорного Талагашки сурьезный мужик Устин,— харкал кровью, говорил мудреные слова и, когда говорил их, горел

весь и чаще собирал в этакую тряпочку кровяные сгустки изо рта.

Тут опять дни пошли тревожные и непонятные, черные и белые, как зубы собаки гнилой. И чуял Савосьян, к примеру, что воздух полегчал будто, и все ждал, что зацветет после грозы вся земля озорным, весенним цветом,— глина произрастит яблоню, а чертополошный песок горючий, трудный мужицкому колесу, великий барыш и душе и карману даст. Но было с чего-то тревожно и что-то не выходило, как следует для порядка.

А однажды приехал на Петушиху кожаный человек с граммофоном. Показал десятскому, по-теперешнему — председателю, мандат, револьвер, созвал мужиков да баб, какие налицо, завел пружину,— стал граммофон говорить. Что, мол, вот нонче на шее сидеть никто не имеет никакого полного на то права, и все в таком-то роде. И про фабрики, и про землю, и про дома...

Как дошло дело до домов и про то, чтобы всем вместе, заворочались старики, а Мироха и тут поспел:

— Как же этто сообча, ежель у нас каждый человек, можно сказать, во-о-р? Не-ет, нам этто ни к чему!

Тут кожаный человек поправил револьвер и объяснил, что, мол, это называется коммуна и что тогда совсем хорошо будет жить. А мужику что? Коммуна так коммуна, лучше так лучше: валяй, значит, Тимошка, жарь!

Потом смеху-то что было: вот начинается новая пружина, уперся граммофон на слово и давай поднажимать: ...голова-ва-а-а-а... Хр, хр, хр... А-а-а...

Марфушка долго слушала, потом не выдержала:

— С чего это, девоньки, завякал-то он?

Савосьян тут как на грех случился:

— А это,— говорит,— он нас убеждаеть!..

И больше всех смеялся кожаный тот человек. Объяснил потом и про пружину, и про то, как граммофоны делают, и про большаков кстати захватил, и попов ругнул. Два дня опосля того разговоры по Петушихе были:

— Здорово это он про попов-то! Энто, говорит, пауки, и дальше этак-то, как на тройке под гору... во, ему б в попы-то! Эк, человек пропадает зря...

— Пустобрех, с завода он... его семеновски знают!

Девчонка одна слово вставила:

— Ево б про ведьмов-то спросить, как они — летают, ли ползком.

Смех смехом, но заугрюмились мужики, тронутые новой думой.

А Савосьян шел к себе в овраг, и яма росла внутри его, и в яму проваливались степенные года его и телесная немогота. И удивлялся всю дорогу: с чего это левый глаз чешется, руку ломит, ровно б всю неделю оглоблей махал, разгоняя ворон с огородов, а ноге вот почему-то захотелось в пляс...

IX

За неделю узнала округа Петушихинская: большаки в ту пятницу приедут Пафнутья вскрывать. Ворчали:

— Добрали-ись!

— На земле тесно большакам, на небо захотелось...

— Эко дерзновение, пра-а, святого перетряхивать!

...Тогда дул вешним ветром Федул теплый, и по низинам морщилась зима. Но еще противился водяному зною закоченевший лес, и цвела еще, цвела, случайная, в ближней овражине лесной, сосна нетающими снежными цветами.

В пятницу забили к утрене, но был то не утренний, а черный звон. Хотел Мельхиседек преобразить ту пятницу в страстную пятницу, велел бить медленным, отрывным ударом, раз от разу уменьшая силу. Не ждала чуда запустевшая душа его.

Накануне, созвав монахов, усадил их рядышком, тридцать живых, и смиренным голосом, переползая от одного к другому, умаливал их о прощении, а какого греха,— не сказал. Некоторые плакали, а некоторые кукиш в карманах казали, а еще некоторые все слушали, все слушали и не понимали ничего. А нужен был игуменскому сердцу порыв какой-то, и порыва этого ради преклонял ныне пред братией смиренные колена он.

А когда разошлись все, не к молитве, нет, а пугливо думая о завтрашнем дне, постучался поздно ночью в Мельхиседекову келью монах Ермоген. Был Ермоген из строевой колоды вытесан, был оглобельного роста, а лик у него был черный и плоский, и были ручищи в грабли и ладонь в поднос. Мельхиседек чайком занимался в то время, когда пришел Ермоген, а славился Ермоген своим великим послушанием.

Он уселся без спросу против игумена и долго глядел исподлобья в Мельхиседека, ожидая гневного пастырского взгляда: был бы ему утешителен гнев игумена, но молчал тот. И сказал Ермоген как бы ненароком, исподлобья пуская слова и прилипая страшным взглядом:

— Вот придет завтрий день... придет день после ночи... и грянет гром над головами их!

Мельхиседек обронил глухо, бегая взором:

— Не грянет, нет.

И, как-то по-своему поняв ответ игумена, поднялся Ермоген, и вдруг пугачевское озорство и удаль бродяжная,— был до пострига бродягой Ермоген,— пробежали у него в синяках глаз, и, протянув дрожащую руку вперед, с дерзостью небывалой потрепал игумена по плечу... Засматривали в вымытые окна голые, бесприютные липы из ночных глубин.

— Так, может, не давать им?.. ворота на запор и в набат? А то и так: Пафнутья к тебе под кровать спрячем,— скажем, что ушел, мол, ночью, а?

Угрюмо поднялся Мельхиседек. Голосом,— словно гвозди рассыпались по камню,— густым и звенящим, произнес со страшной, умиротворяющей силой:

— Иди, Ермоген, с миром. Накладываю на тебя тыщу поклонов, а по прошествии еще поговорим.

И когда ушел Ермоген, темнее ночи ставший, но без единого слова, и это было плохо,— послал игумен верхового обыденкой к викарному в город с письмом: не найдет ли, мол, его преосвященство возможным поприсутствовать на завтрашнем увеселении. Так и было написано в посланье: «...Извещены мы, что приедут завтра холуи, опосля заутрени увеселение над Пафнутием, мужикам на посмех, производить. Так вот, уведомляя о сем преосвященство ваше, просить всепокорнейше осмеливаюсь поприсутствовать на холуйском сем увеселении. Все это к тому, что и вы знаете, и я знаю все, так скрывать нам нечего...» Писано было это письмо рукой Мельхиседека и душой Митрохи Лысого.

Поздно ночью прискакал игуменский посланец назад: викарного большаки накануне увезли в комиссию, духовные чины в смятении, ожидают больших бед.

Сказывал это верховой, стоя в дверях, а Мельхиседек, в одном белье, слушал из смежной комнаты, свесив с кровати отекшие ноги, и морщился порой, словно от внезапного прили-

ва тошноты. Потом, уже перед рассветом, подошел к шкапчику,— по бокам висели черноклобучные его, в вечном успении, предшественники,— и привычно-сторожким, чтоб не разбудить старичка келейника, движеньем достал оттуда бутыль с перцовкой. Но пить не смог,— рукой махнув и воздыхая дубовой грудью, бессильно ввалился в кровать и увял неспокойным, коротким сном до утра.

Игуменские окна смотрели прямо на собор. Был собор семиглавый, и золоченые кресты были хороши в апрельской утренней лазури. На голом суке ближней липы сидела ворона и как будто вороненок с нею молодой,— они кричали все утро, до самого благовеста.

X

Их приехало четверо, и между ними Талаган, и еще семеро солдат, но одетых не по-солдатски, с ружьями. И все эти четверо были такие, что придраться к ним взглядом никак было нельзя.

Один был в поярковой шляпе и в очках, темных, но ослепительных, когда становился против солнца. На боку у него сложенной гармошкой висел аппарат. «Позор-то, ох, позор-то. Осподи-осподи, владыко живота...» — так раз семь прошептал игуменский келейник, завидя мышиные глаза гостя в очках. Другого звали товарищем Арсеном,— был это высокий, голубой весь человек: иссера-голубые глаза, рубашки ситцевой бледная голубизна выглядывала из-за распахнутого нагольного полушубка, и даже слова его немногие, какие произносил он тихо, настойчивым по-женски тоном, отливали голубизной, и даже жилки виднелись голубые на виске, где удивительно среди жилок этих пробегал голубой шрам. Но происходила голубизна Арсена Петрова от железа. Третьим был Талаган, теперь — товарищ Устин, а четвертым длинный человек с фамильей Якайтис.

Когда все четверо шли в игуменскую келью с бумажками единообразными в руках и безоружные все четверо, шел товарищ Устин позади, спутанный, затаившийся и темный, и весь, как мокрый мышь. В голове Мельхиседека, глядевшего из окна, с облегченьем мелькнуло тут: а пиджак-то на тебе, братец, чужой, чужой!.. У товарища Арсена нашлись вот какие голубые слова:

— Мы приехали произвести вскрытие находящихся здесь

мощей... вы получили уведомление? Мы сделаем все, чтоб не оскорбить ни ваших чувств, ни чувств молящихся граждан. Наши мандаты вот.

Мельхиседек грузно и через силу улыбнулся при слове «мандаты» и, взяв в руки целую пачку проштемпелеванной бумаги, неуверенно проглядел их, но документы, по рассеянности, держал некоторые верхом вниз.

Арсен Петров заметил, но продолжал:

— Ну, так вот. Вы уж поприсутствуйте на вскрытии,— вам придется протокол подписать потом. Вам ничего покуда не угрожает, так что можете быть в полном спокойствии. Фамилии наши вот,— это на всякий случай, мало ль что,— может, обидитесь. Моя — Арсений Петров, а это товарищи мои — Порфирий Мохлин, Устин Петухов, от местной власти, и товарищ Якайтис... это вот он.

Якайтис моргнул с головокружительных высот своего роста.

Мельхиседек острым, насмешливым взглядом уставился на Талагана:

— Личность мне ваша знакома. Видались с вами при неких обстоятельствах на Нижних Плесах. Вы там у нас, в скиту, помнится, коня свели.

Тут голубой человек, знавший все про Устина, встал между ними и заступил мгновенно вороно̀й, запрыгавший Талаганов взгляд:

— Ну, так вот и ладно, прошу любить да жаловать... Люди знакомые, значит, свои все.

Талаган глухо, всем своим кровяным нутром, закашлялся в кожаный картуз. Красный весь, пыхтя от обиды и смущенья перед Талаганом, сказал тихо, по-игуменски выпрямляя стан и разводя перед собой тяжелыми руками, Мельхиседек:

— Сколь ни отяготительно всем нам присутствие ваше, однако, в промысел веруя, не боюсь... А памятуя, что благоприветливость есть украшение всяческого человека, даже и в трудный для него момент жизни, осмелюсь пригласить вас выкушать чайку, поелику гости вы. И поелику с дороги, можно приказать... яичек тож.

Но голубой человек уже отвернулся, пряча клинок внезапной насмешки в морской синеве глаз, и слова тут выросли в нем простые, корявые, мужицкие, несуразные, как поленья:

— Нам это ни к чему, отец. Не в гости приехали... Хлопотливость ваша зазря! Ведь в ладонях стер бы, каб тебе власть?

Мельхиседек молчал, глядел в пол, и они ушли, тихо притворив дверь один за другим, четверо. И тот, которого звали Якайтисом, все щурил, оглядываясь, близорукие, беззрачковые глаза. А Мельхиседек почуял себя, как отрок в печи Навуходоносоровой: огонь, но не жарко, напротив, пальцы захолодали холодным липким потом нехорошо.

Подошел к нему келейник-старичок, глуховатый, безбровый монашек:

— Большаки-то ишь,— большаки ведь, а поют-то, как ангелы...

— Аггелы! — гаркнул ему на ухо разбойным гуком Мельхиседек.

XI

Всей тебе, земле моей, нескончаемому человечьих слез кольцу, и людям твоим, волчьему стаду, гонимому ветром, поклоняюсь духом своим. И еще кланяюсь кирпичному заводу и рыжему прянику земли петушихинской, крепкому шестивершковому кирпичу, новому твоему сердцу, поклоняюсь.

Хозяйка-хозяйка, хочешь — желуди рожай, хочешь — яблоко жизни вечной, хочешь — волчьи ягоды,— все в тебе.

Вижу стены твои и народы приходящие,— и ты даешь им огненной пятерней. Вижу башни твои, взнесенные в небо, горящие в заре, как свечи, семь.

И когда затрубят росных утр твоих серебряные трубы, привяжу на горбатую спину мою вешнего ветра крыло, полечу, взвиваясь звонко, над балакаными водами твоей весны.

Свет тебе и мир.

XII

Когда они вошли, Савосьяна, пришедшего говеть, придвинула глазастая толпа людская близко-близко к серебряной раке, где Пафнутий.

Расширился Савосьян в плечах за ту весеннюю неделю, и налились синевою густою апрельских вод глубокие чаши старых глаз. И еще висела смешно и грустно в бороде Савосья-

новой заблудившаяся и мертвая теперь пчела: всю неделю оправлял ульи, прислушивался, как просыпается пчелиная жизнь в медоносных колодах, как жужжит в омшанике буйный пчелиных крыл взлет. Тогда сходили снега, вылезала на солнцепеках сморщенная благостыня апрельских зеленей. А вербы в монастырской ограде совсем белыми стали, и белость их просвечивала зеленцой.

Печальнее, чем всегда, был той пятницы великопостный звон. Едва вошли они, следом вошел Мельхиседек и камнем встал на игуменской вышке.

Четверо пошептались, и тот, который носил название Порфирия Мохлина, принял у близстоящего монаха спокойным поворотом руки серебряный ключик от раки и всунул его в замочную щель,— замок оказался со звоном. И тотчас же, как бы пугаясь предстоящего, быстро наклонился к уху Арсена Петровича товарищ Устин с короткими суетливыми словами. Но тот укоризненно повернул к нему голубые глаза, мельком взглянув и на застывшего Мельхиседека и на все это, замершее в пугливом любопытстве, сборище:

— Стыдитесь, товарищ, об этом раньше нужно было думать.

И Устин, голову словно от грома втягивая в плечи, протянул неуверенно руку — поддержать приподнятую крышку раки.

Тут бабий вздох:

— Ох, осподи, полымем бы их!..

За кружевным серебром крышки лежало тяжелое золото парчи. Бледный, но спокойный видимо, Арсен Петров приподнял парчу. И тогда пахнуло неуловимо затхлой, сырой гнильцой в зорко растопыренные, сторожащие ноздри Савосьяна.

А солнце шло над полями, разрывая облачные путы, и беззаботные под солнцем чирикали воробьи на нестаявшем снегу, в углу сорном двух монастырских стен. Тогда была ледоходная, бурливая пора, и на пестюрьковской безназванной речке тронулись льды. И шли ватагами теплые ветры, и когда подходили к колокольне монастырской, сами веселым гулом гудели колокола.

А за парчой, обнаженные дневным светом и не одной сотней остановившихся в безумном ожидании глаз, голые лежали на лиловом блеклом шелку темные немногие кости Пафнутия и малый череп его. Некая серость была в нем, и дряблость распадающегося дерева, и грустная умилительность горько оби-

женного ребенка. Потом жуть правды, выставленной напоказ, была.

Стояли в первом ряду Савосьян с Алешей, две бабы — одна бельмастая, другая брюхата на седьмом, мужичок с хохолком напереду и слепец-нищий, зорко внимавший шелушивым ухом свершающегося пролома ходу. Едва стихли все... на весь храм слышно стало, как соседка соседке жарко шепнула: «Чего жмуришься... глянь-ка лучше, что лежит перед тобой!» И та отвечала тем же смятенным шепотом: «А чего ж, он тебе любым предметом прикинуться может: на то и святой он!» И тут, приседая плечом, ворочая затекшей от напряженья головой, как-то нечаянно,— никто не ждал,— взял слепец вытянутой сухой рукой череп Пафнутия и, большие, черные свои пальцы вложив в глазные костяные Пафнутьевы впадины, произнес негромко — скрежещущим плясом отдавали слова:

— А вот тут у нево, у старичка, глаза были... и не стало. Эко дело!..

И тогда в тишину, которая как омут, острым колом ввалился надрывный, сверлящий крик забившейся кликуши. Пробегал мелкосеменящей рысцой игуменской вышки Устин Петухов выводить припадочную бабу,— проснулся мгновенно Митроха Лысый в Мельхиседеке, а в Митрохе злой персюк, и звенящим голосом, как плевком, обрушиваясь на Талагана, гаркнул яро Мельхиседек:

— Конокрад!..

Сомкнулись бормочущим кольцом; ропота шорох глухой, но растущий быстро, прошуршал осенним листком. А Мельхиседек, вконец покинутый духом смиренномудрия, терпенья и любви, не смыкал разверстой Митрохиной глотки:

— Эй, ты, дьякон,— гони их взашей! Подсвешником по шеям, сволоту...

В разбредающемся гуле медленно повернул вместе с головой в Мельхиседека пегие навыкат глаза Якайтис и шею побагровевшую почесал карандашом и рванулся нерусским словом:

— Ччито-о?

Но остановился, как остановилось все, смиренное железным взглядом голубого человека:

— Нну, вы!!

И продолжал:

— Вы б потише, отец, здесь как-никак церква, а не кабак-с.

Поворотясь к человеку Порфирию Мохлину, проговорил полным голосом:

— Вот вы о деликатности говорили... Э, какая тут к черту...

А толпа, раздавленная благоговейным испугом, и монахи, тревожно разинувшие помутневшие глаза, растерянно слушали тяжеловесные лохмотья шумов, криков и шорохов, перелетавших гулким эхом в невысоких куполах... И не знали: бежать ли, кричать ли, хватить ли оглоблей по клобуку расходившегося игумена или укусить за ногу приезжего латыша...

Стоял Мельхиседек с лицом, разорванным надвое: в одной половине — отчаянье, в другой — гнев. И, палец закусив, не расплакаться чтоб, покачивался возле него келейник и все ждал, ждал чего-то от игумена. А тот, все еще вылупив налитые волчьей кровью глаза в Пафнутьев образ, повешенный серебряному, раскрытому сундуку наискосок, глядел и глядел, не моргая, глотая ведрами воздух, сквернословничая обезумевшей мыслью своей... И вдруг ясно различил ответное, жестокое действо там, на доске: кротко усмехнулся с басменой доски Мельхиседеку святой.

Остальные-то и не заметили. Гармошку свою раздвинув на Пафнутьевы останки, щелкал пружинкой Порфирий Мохлин и вынимал, и новые вставлял, и опять щелкал,— теперь уже всех: и народ глазеющий, и всхлипывающего молоденького монашка на темном клиросе, и диким взглядом, как оглоблей, размахнувшегося игумена.

Лицом неладно бледнея, сбросил с себя клобук Мельхиседек, и тут все увидели, что игумен был лыс. Угрюмым солдатским шагом, раздавливая захрустевшую картонку, пошел он к двери, из собора вон. Чуялось в его твердом шаге неслышное величие уходящего мертвеца.

Но этим не кончилось: ему, уходящему, заступил путь монах Ермоген. Он жевал губами,— может, язык свой жевал! — и, на вершок выпячивая каменную свою челюсть, проговорил отчетливо:

— Что ж, молчишь!.. ты меня водицей святой поил, когда я без ног лежал. А хошь, в ухо дам тебе?..

Суровой рукой, широким оглобельным движеньем отведя монаха в сторону, вышел из собора Мельхиседек.

Когда ушел, в растерянности общей, чуточку колеблясь, но снова овладевая собой, выкинул Арсен Петров голубую улыбку, как мяч, в посеревшее лицо Савосьяна:

— Ну, что, как,— видел, дедушка?

Разводя руками, словно на жмурках, вытянул из себя размашистые, недопускающие и скрытные слова Савосьян:

— Что ж, оно конешно! Наше дело махонько: живем в лесу, молимся колесу...

Алеша был с дедом и видел все.

Кончился день так: пришли когда к игумену подписать протокол, увидели, что игумен висит у печки. Оказалось еще, что кружкой глиняной было разбито стекло в иконе: глиняные черепки вместе с лампадными осколками были разметаны по полу в масляных густых пятнах там и сям. Буянил, видно, сильно сам с собой перед смертью игумен. Сделали в протоколе приписку, что, по независящим обстоятельствам, игумен руку приложить не мог. Тогда же железом своим понял Арсен Петров: не захотел Мельхиседек махать пустым кадилом,— ни ладану, ни жару в нем.

У Талагана была черная охотничья собака, любил ее очень: когда харкал кровью, она его, единственная из живых, жалела, руки лизала. Воротясь в тот вечер домой, запер дверь на крючок и бил растерянную, визжащую, плачущую по-собачьи, голым дрожащим кулаком.

...Где-то по дороге домой Алеша черемы белой благоуханное облако увидел.

XIII

Установилась мокредь. И когда гулял в Пестюрьках мужик, опившись самогону, не знал, куда и бубенцы навязывать: на дугу ли, к саням ли, к веселой таратайке.

Далеко еще, хоть и не особо, было до медвяных рос мая, но уже несла, несла Евдокея лето за пазухой,— стужищам конец...

Вечерами, вечера весенние — светлые, раскидывал тихий ветер шелковые облачные невода, ловил месяц, и когда кувыркался тот испуганно, порывая облачный шелк,— было и смешно и хорошо. Но росли опять слухи и на людей шли, темные и пасмурные, словно горы сдвинулись с мест. О, кто послал их на людское племя,— первую б пулю тому!

Притихшие, по вечерам, говорили у колодцев, у изб, расходясь с редких сходов:

— Пашке в городе сказывали, будто семнадцать енаралов на нас войной пошли...

— Чужих, говоришь?

— На нас. Прут со всех концов. Талагашка-то тож добровольцем удрал... Кровью человек исходит,— куда ему!

— Ишь ты, прыткай.

— Еще надысь видел кто-бысь,— монах один, от Пафнутья-то в большаки пошел... С револьвертом ходит. Хоть бы бородишшу-то рыжую свою снял!

— В большаки? Дяла-а... Да и тово ль от нас ждать можно Сами-то: осподи-осподи а чуть что — и в ухо норовим...

Потом еще:

— Говорят, будто Китай за нас.

— За кого за нас?

— Как за кого? Да вопче...

— То-то и оно!

Бывали и такие разговоры:

— Аннушка-то Талаганова с комиссаром связалась!

— Ей-бо? Заместитель, гы-ы...

— Хо-хо, осподи!

Так сидели и говорили, пищали и шамкали беззубыми ртами, пока дороги пылились копытцами верещащих баранов; пока коровы, глаза плошками выпятив и выменем переполненным болтая, приходили; пока кони сбирались у водопойных корыт.

Пастуху Павлу Коркуну, когда гостевал у Палагеи, рассказывала между делом, подставляя тугие свиные щи:

— Большаки-то, слышь, хлеб будут отбирать... Приказ вышел, будто мужикам и без хлеба ладно!

— Жулье народ, да-а...

— Мы, говорят, ваши, а раз ваши,— хлебец-то и выкладай!

— Ишь ты! А-а-а... Молодцы робяты!

Кровяные лошадиные глаза супил, не понимая к Палагеиной досаде, Павел, гладя бороду, пахнущую полями, придвигая поближе щи.

XIV

...И был день в той весне, который сменился ночью. И опять текла тишина в Колушовском двуедином овраге, как давняя забытная река.

А сны бежали под окошком, заскакивали мимоходом к Алеше на лавку, на ухо ему шептали ладные песни, и было

сладко это спящему, как если бы проводил кто-нибудь уставшего пушистым, мягким соболем по лицу.

Среди ночи скрипнуло что-то, и потом гудочек. Проснулся Алеша и сел. Видит: темнота. Слышит: Федор на полатях храпит. Тишина вползает из оврага через подоконник. И в чуткой тишине — Егорий на коне.

Прыгнул конь на пол, словно крылья помогли глиняным, незаправдашним ногам,— и в дверь. И все так же, как давно когда-то, пошел Алеша за Егорьем вслед, ступая по тропинке кремнистой среди черных, превысоких гор на босу ногу одетыми лаптями.

Вот вырос конь с гору, и красным, как кровь, сверкнул месяц-подкова меж серых облак, словно истекало кровью копыто Егорьева копя. Обернулся Егорий, спросил нестрашно, но жалобно:

— Ты кто?

— Я? Алеша.

— Иди.

И увидел пещору и вошел. Стоял там свинцовый сундук по-прежнему, но дьявоилов трех не видать. Обернулся Алеша, ища,— увидел: все красным залито, и трепещет красное и горит нескончаемо.

Усмехнулся Алеша: «Вот, мол, я человечью-то Радость и погляжу счас». Поднял крышку и увидел там темное, холодное, пустое место, и не было дна той нехорошей пустоте.

И поклонился Алеша сундуку и вышел вон.

Идя дальше, увидел камень, на котором прошлый раз слепой чугунный дед толок Алешину землю. Не видать было деда, а ступа стояла каменная, и пест в ней. Выходило, будто позвали деда обедать наскоро, он и оставил. И усмехнулся Алеша и заглянул в ступу. Был камень в ямках весь изнутри, и не было в нем ничего.

И поклонился Алеша ступе и пошел ко стклянной горе по памяти.

Там сидел косматый, прежний мужик и горько плакал. Были слезы его тяжеле золота, и была печать людского горя на лбу.

— Ты с чево это так,— спросил Алеша,— зачем не вертишься?

Поднял мужик отчаянные глаза:

— Вертелся-вертелся, думал — вознесусь, плюну. Воз-

несся, ан плевать-то и некуда,— пустое место там... Вот и плачу.

— Ишь ведь ты вертун какой,— сказал Алеша и пошел вон, а поклониться-то и забыл. Вернулся с дороги поклониться, а мужика-то и нет. И горы нет. И ничего нет. А сидит он, Алеша, на лавке. И в мертвой тишине Егорий на коне.

Тут пошел дождь.

XV

Весенние дожди теплые,— давай их бог ежедень!

Утром расклонились повсюдно зеленые горки,— зеленые горки, чтоб яйца катать. Был то понедельник страстной. Шумел березовый, круглый, молодой — и над оврагом продольный, плакучей ивы, лист. Хоть сегодня идти бы девкам венки завивать. Но был у солнца в то утро особый ястребиный взлет.

И потом,— того никто не видел,— мальчик неба, несущий тихую песню утра в устах своих красных и вялых, встал негаданно в отвесное место над головой.

Савосьян, места не находивший всю неделю, где сесть, где лечь, где плюнуть, в то утро молча встал на лавку и достал Пафнутьеву иконку из угла. Потом вынес ее за дверь, прислонил к косячку,— моргая слезливо, сказал тихо,— но двинулась из тихости его суровость взбунтовавшегося духа:

— Ну, вот што! Теперь ступай, Пафнутий... Ты мужик, я мужик,— наши с тобой разговоры коротки... Поне и в лесах ночевать тепло.

Воротясь в избу, сел на лавку и вот принялся дно у бадьи щупать. Спроси его тут: что, Савосьян, работаешь? — не ответил бы.

Оторвался Федор от сапога, глянул в красный угол.

— А где ж он, Пафнуть-то, у нас?

Вот что Савосьян ответил:

— Уходить я ему велел.

На лету поймал приятелевы слова Федор:

— Как же это ты теперь без Пафнутья?

— А так вот и без Пафнутья,— выпрыгнуло из Савосьяна железное слово, как пуля.

И вдруг, всхлипнув, бросился за дверь, где осталась икона.

Там стояла у косячка, прислоненная тылицей, пустая доска, а Пафнутья на ней не было. Доска желтая, олифы много, древоед по краям проточил. Внес бережно пустую доску и поставил на подоконник рядом с Егорьем глиняным и махоткой закисшего молока. И про себя, для себя, не для Федора, выплакал строго, но строгость ребячья,— стар ты стал, Савосьян!

— Как же ты ушел от меня, в такую-то лукавую минуту! возмог как?

Вбежал в ту минуту Алеша, ясный как день.

— Дедушк, пчелы-то, глянь-кось,— пляшут и падают, пляшут и падают... и не жалят совсем!

Но, видно, крепко захромала Савосьянова голова, не вышел и все посматривал украдкой на пустое от Пафнутья место.

А нужно б было к пчелам выйти; нашел на пчел диковинный мор: взлетали и падали в траву, и в жалкой тряске шевелили лапками, твердеющими смертно.

Савосьян тут же залег на печку, а Федор на карачках выкарабкался кое-как к ульям. Там взял он горстку мертвых пчел на руку — золотых с чернью и немеющих навсегда,— и ответил Алеше, начинавшему догадываться:

— Кончено. Энто на них пчелиный чемерь налетел...

Вечером слез Савосьян с печки, показал Федору на пустую доску, спросил:

— Видишь Пафнутья?

— Вижу, вон он!..

— Врешь, ушел Пафнутий.

XVI

Люди называют голодом, а мы смертью назвали воскресной тот мертвый год. Видно, и впрямь мертвыми телами обозначен путь наш к светлым небесам!

Будут дни, взроем поля машинами, обрастут раны свежим мясом, а разутые ноги шевровыми щиблетами,— и будем вспоминать, как в страшные проломные, бессолнечные дни, когда переходили через горы, опрокинулась на наши головы из синей выси лютая огненная бочка.

Пройдут неладные дни, наденем бархатные штаны, сядем за электрическими самоварами,— вспомянем, вспомянем, как плясали обезумевшие от бездождья ветры, черные старики,

за деревенскими околицами, как без гробов, без саванов шли безвинные наши Митьки, Никитки, Васятки тож на обчественный, бескрестный погост. А погост — вся она, от края до края луговая земля.

А еще вспомянем, как отбивали мы волю нашу кумачовыми быть, босые, раздетые, с глазами, распухшими от жестких предзимних ветров, как закусывали соломенным хлебом боль пролома, как шли на штурм, кутаясь в ворованные одеяла от холодной вьюжной измороси да от вражьих пуль, как кричалось в нашем сердце больно: колос-колос, услышь мужичий голос, уроди ему зерно в бревно!

Все припомним сразу, чтоб в жизни будущего века навсегда забыть!..

XVII

Шел Савосьян полем.

Уж как-то слишком сильно разрослись к той осени полынь, крапива и репей, голодные жесткие травы. Всюду они лезли из земли, сухой, как палка, пыльные, наглые, твердые, туда-сюда колючим будыльем.

Все лето из круглого, железного неба в самое темя целилось испепеляющее солнце,— потому-то так легко и подымались первое время колосья: нет в них зерна.

А земля была ладная: выросли б заместо ржаных колосьев чертовы, холодные пальцы по ней, меньше б удивленья жуткого и обиды горькой было в мужиках. И картошка не лучше: не яблоки ядреные, по фунту, а так себе, земляные штучки в ноготок.

Встречались два в поле, говорили:

— Бедуха!

В голос ему другой:

— Бя-да-а...

Но еще оставались припрятанными где-то, может, за пазушкой, на сердце самом, мучки ржаной мешок, да еще лошадка на дворе про всякий черный случай стояла. Потому-то, расходясь, и напоминали друг другу:

— Будто, говорили, уж где-бысь за глину мужики принялись.

— Неуж за глину?

— Глину.

— Вот и мы доживем, коль дожжа не будет.

— Доживем...

И расходились, и каждый нес в сердце своем гвоздь, вколоченный крепко.

И так все лето: днем — зноем пропитанная даль опаляла вконец потускневшие в безнадежье глаза мужиков. Ночью метались над испепеленными полями бесплодные, впустую брюхатые тучи... И крались ночи, как куницы к курятникам, к человечьим сердцам, последнюю выпивали надежду.

А когда стало поздно,— глухие, не наши ветры чесали железными гребнями пустые колосья, тонкие, как бабьи волосья, не поправишь их и обильным недельным дождем,— смирились, сложили руки, стали ждать. И тишина стала, словно покойник в доме.

Пришли осени страдные дни, но страд не было, а был как бы праздник. И вдруг потом, на! — дожжичок необильный прошел. Резали на задворках последнюю корову, а хлеб с осиновой мешали корой; злобно глядели на старух, завистливо — на птиц, улетавших к теплому морю, посылали вдогонку им крепкое слово,— эх, некому вас в синем небе жрать!

Вдруг безработным стал Павел Коркун — не людей же на подножный гонять, раз скота не стало! — в город ушел.

Ерепенились некоторые, у кого кровь кипятком: сеять пора, озимое время. И все глядели в небо,— а из неба кукиш, и в закрома заглядывали,— а там пустота. Были и такие: по вековечной привычке своей, с последним лукошком обреченных на бесплодье зерен, шли на полосы, взоранные не съеденной еще клячей,— ветер ей орать помогал,— там швыряли полными горстями зерно направо-налево и прямо под себя, измороси настежь распахивая ввалившуюся камнем грудь. Была некая хмельность в их швырках, а хмель был от ужаса. И только хитротца лукавого «авось» сеяла надежонку махоньку-невелику в продырявленном мужицком сердце.

А однажды раскрылись небесные прорвы, и полновесных дождей осенних страшные бороны со свиным хрюком поздних громов повлеклись по мужицкому сеянью.

И сидели в избах озверевшие мужики, шевелили из заплаканных окошек несытыми глазами, как тараканы из щелей,—

и крушил какой-нибудь тяжелым, смертным словом, как дубиной, и царя, и бога, и разноличных епутатов... И костил собственную мать, голодную, слепую Аксинью на печи, породившую его на свет не для солнечных утр, а для лихого матерного зыка.

И грянул мор, и мерли ж! В Петушихе по пятеро в день, а всего-то в ней домов, в Петушихе: семь дворов, пять ворот, из подворотен дым идет,— земля мерла!

...Шел полем Савосьян,— часто он так ходил за последние дни, и все глядел, и все думал, что не всегда слепым худо быть. И сжимался крепко кулак на невидного врага: плевком доплюнешь, а кулаком не достать. Распадался в пыль Савосьянов дух, и падали крупинки по дорогам, где проходил. Слушай: ежель уродятся стоеросовые люди с кистенями вместо голов по дорогам впредь,— так это, знай, Савосьян сеял!..

Услышал тихий голос старик:

— Савосья-ан...

Не с трех, а с одного раза поняв,— кличут! — не подымая к небу головы, чтобы не увидеть, спешил, спотыкаясь, пчелинец в свой овраг, где ни пчел ныне, ни яблок, а колючее логово осеннего ветра лишь.

Когда прибежал,— слег, и не вставал больше... Было ему написано умереть.

Что ж, помереть, значит, снова вырасти,— жалеть тут не приходится! В каждом великом племени мужик мужика родит.

XVIII

Приятели, известно, завсегда вместе: и в кабак, и в острог, и на погост. Умирали они вместе, Савосьян с Федором.

Алеша,— хранил его покуда Егорий,— ходил по людям, в кусочки, да мало оставалось людей, мало подавалось и кусочков.

Лежали старички на полатях без бабьих охов, тихонькие, сурьезные, мором сваленные, на лесосеке людской. Но не трогало их красное, зловещее пятно: кожа была на них таковская.

Временами, особливо по утрам, находила на Федора туманность, и тогда, под полушубком ежась, все просился домой,

со слезой и жалобно, а Савосьян, он крепче был, смеялся беззлобно,— так смеется белый лунь, малым клювком метясь в пробегающую рыбу:

— Куда тебе, домо-ой... У нас дом один,— здесь. А тама мы с тобой как есть бездомные!

...Тот день был единственным среди всех соседних дней. Подморозило и цепным льдом понакрыло вчера еще глубоватые лужи. И солнце стояло невысокое, не имеющее жара, лишенное силы и крепости, румяное по-стариковски, как печеная скрижапь. Был жуток вид бурых лугов и голого неба безветренный пустырь, и все это, лежащее ныне перед мысленным взором нашим, все было как большой, дохлой бабочки увядшее крыло.

Вечер давно наступил, и ни шорох ветра, ни острокрылый свист быстромелькающей вечерней птицы не нарушали покоя замертвевших полей. Стало некому кричать об этом: ушли в неизвестные разные места все те, кого еще двужильные ноги таскали, да кто сберег захудалую кобылу на лихой конец. Сказывали, будто голос им был: «Куда хотите, туда и идите»...

Пуста Петушиха, жерди крыш обнажились — ни человека, ни собаки, ни паука за мокрыми порогами. Кажется: занесет Петушиху снегом, не верь в Петушиху, брат!..

Сказал Федор:

— Это ты, Савосьян, ты к богу за пазуху полез. Вот и помираешь!

А тот:

— И ты до завтра помрешь: даве все домой просился... на тебя темь находила.

Тут ветер ночей совиных с маху ударил в окно, и за дверь, которая распахнулась рывком, скользнул молнией, бледный, весь трепещущий Алеша. Швырнув на пол суму пустую, пустую третий день, схватился, будто в нем судорога, за дверную ручку, не выпуская ее ни на минуту, словно боясь, что войдет кто-то и подавит все кругом темным, неморгающим оком,— а сам взвизгивал нечеловечьим, заглушенным визгом.

Первый спросил его Савосьян:

— Ты штой-то, Алексей?..

Забормотал невнятно в ответ,— трудно было понять его:

— ...столб, черный столб идет. За мной всю дорогу шел... От Семеновска бегом драл. Два их было... один над Петушихой рассыпался!..

Переглянулись старики, у них стало холодать в спинах. И слышали, покуда замолк Алеша: над проклятыми, обеспложенными полями звенело темное солнце, как навозная желтая муха в цепкой паутине беды.

Переждав мгновений двадцать, приоткрыл дверь осторожно Алеша, выглянул и, визгом страшным и предельным потрясая звенящее молчанье,— упал, мягко и сильпо, затылком чавкнув об зашарканный косяк лавки.

Так и остался лежать. Звал его Савосьян, да и Федор тоже, разов семь подряд, а подняться сами не могли: «Алеша... Алеш... Але-ешенька!» Ответа им не было.

К вечеру начались у них, у обоих почти сразу, смертные перехваты,— у Савосьяна у первого. Он лежал и все поскребывал трудно одеяло, словно чесалось одеялу, костенеющей рукой. Что-то неслось, увлекающее, темное и густое и липкое до противности, перед мутнеющими взорами, наваливалось на живот, и потом,— будто гумно не полото.

— Федорушко, а Федорушко, чево ж это гумно-то у нас бурьяном заросло... заросло, и монашки ходят!..

Но Федор молчал долгим, упорным молчанием. Опять встрепенулся Савосьян, захрипев:

— Марь, Марья, заткни леток,— улетят ведь!.. А его не зови... не зови. И зачем, ушел ты зачем?

Тут как раз стало Федору холодно,— ночь шла Колушовским оврагом, глубокая, мутная, без креста, без звезд. И увидел Федор: воздвиглась перед взором слабеющим облачная церква, а креста-то на ней и нет. И пошел будто Федор к церкве той, а Савосьянов отдаленный голос сзади:

— Ох, Федорушко, и зачем же страшно-то мне?

Обернулся Федор и закричал приятелю:

— А ты не бойсь, ты с закрытыми глазами иди, тогда не страшно... Ты корачиться-то не надо!

И вошел Федор в церкву. И когда вошел, все кончилось.

...В темноте ледяным дождем брызнуло в окна, а в голых сучьях притаился ветер. А потом ка-ак взмахнет! И пошло, и пошло...

XIX

Ночью очнулся Алеша и услышал гудочек. Открыл глаза Алеша и взглянул в вышину над собой. Увидел: в беззвездной, страшной вышине — Егорий на коне.

Обступили толпы его большие, много было средь них и петушихинских,— и все со страхом взирали на Егорьево черное лицо, искаженное мукой.

Крикнул тут Егорий:

— Веди их, Алексей Хараблев, к свинцовому сундуку. Пускай сами узнают. Прямиком веди. Дорогу помнишь?

Ответил Алеша громово:

— Знаю.

И пошел впереди. И будто горы вместе с ними шли.

Ты ли, ты ли, Алеша милый, волчьего стада безвестный поводырь?..

Октябрь 1922 г.

КОНЕЦ МЕЛКОГО ЧЕЛОВЕКА

I

Поздним вечером одной зимы, когда, после долгих и бесплодных поисков какой-нибудь пищи, тащился он домой бесцельно, встречен был им неожиданный человек с лошадиной головой под мышкой. Федор Андреич на месте остолбенел при мысли, что именно ему в конце концов суждено, быть может, стать счастливым обладателем упомянутой головы.

Небывалым прыжком, тяжко дыша и размахивая руками, подскочил он к неожиданному тому человеку, чтоб с разбегу предложить ему за голову мильона полтора-два. Но, очевидно, парабола прыжка была так невероятна, а вид Федора Андреича так свиреп, что неожиданный человек тот немедленно выбросил лошадиную голову в снег и, как бы с шипеньем, пустился бежать от огромного и взъерошенного человека, каким в снежном сумраке представился ему Федор Андреич. Бегал он не плохо, даже удивительная для того времени резвость была у него в ногах,— скоро и совсем исчез он в густой копотной мути завечеревшего переулка.

Федор Андреич добросовестно проводил его недоуменными глазами, а потом потуже запахнул старое свое, среднего цвета, пальтецо, подобрал лошадиную голову и, прижимая ее к себе, побежал тяжелым, гулким бегом в обратную сторону. Без особого греха можно было бы сказать, что бежал он вприпрыжку даже, если бы не противоречило это представлению нашему о наружном виде и о внутреннем состоянии Федора Андреича.

Был в отца — крутоват Федор Андреич,— был, ибо с некоторых пор вся его грузность внезапно пропала, уступив место даже чрезвычайной худобе, а жировые вместилища на щеках

повисли смешно и необыкновенно жалко над немытым воротничком; характернейшей чертой тогдашних настроений Федора Андреича было полное, в наружности и мыслях, пренебрежение к благообразию. Росту он был выше среднего, особых примет не имел, а просто всем видом напоминал того дикого и бесполезного в конце концов медведя, о вымирании которого никто не думал, никто не плакал в ту лихую пору.

Лишь остановившись у двери своей, отдышался он первым делом, а потом постарался во мгле длинного лестничного проема, шахтой уходящего вверх, разглядеть голову, приобретенную им так счастливо и неблаговидно. Голова оказалась уже ободранной, и одного в ней глаза совсем недоставало, а другой ледяным, равнодушным зраком наблюдал высокое плечо нашего Федора Андреича.

На мгновенье задержалась тут у него неладная мысль, что ведь голову-то мог бы съесть и сам тот неожиданный и пугливый человек из Мухина переулка, но это продолжалось именно не более одного мгновения. Вслед за тем внутренний голос шепнул Федору Андреичу, что ничего безнравственного в подобном способе добывания пищи нет, да и быть не может, ибо не только глупо, но и вредно голодному разбираться в моральности своих поступков. Потому-то по приходе домой сразу и принялся Федор Андреич за варку головы без всяких самоупреков и угрызений совести.

Тут и сказалось прирожденное неуменье Федора Андреича и сестры его обращаться с лошадиными головами. Во-первых, не был положен в котел лавровый лист или другое что-либо пахучее. А во-вторых, улучив подходящую минутку, когда сестра вышла ненадолго, кинул он на глазомер горстки полторы соды в котел, в видах экономии пары-другой поленьев, так как сода весьма способствует быстрому развариванию совершенно твердых предметов.

Сода была уже непростительным промахом. Получилась в котле этакая лошадиная каша дикого цвета и мыльного запаха, да и голова-то, в довершение всего, оказалась с душком.

Впрочем, Федор Андреич и сестра его ели с таким удовольствием, что только потом обратили внимание на вкусовую причудливость блюда. И потому, в меру посмеявшись необычайности ужина, они провели остаток вечера в беседе, наполненной воспоминаниями.

После беседы Елена Андревна прилегла часика на два в своей комнатушке, не раздеваясь: стоял на квартире у них

зверский холод, а в три нужно было ей идти занимать масляную очередь. Были то жестокие в смысле масляном и хлебном времена.

Вслед за ее уходом и произошел с Федором Андреичем припадок. Во время сна стал у него в груди пошевеливаться дикий хрип, и в привычной тоске налетевшего смерчем удушья медленно похолодели концы пальцев. Его разбудило собственное же дыханье, рвавшееся знойно и бешено, как через барьеры обезумевший конь. Федор Андреич рывком раскрыл глаза и не увидел окна, синеющего ночью.

Мрак висел в комнате острой, ясно ощутимой пылью. Потому-то стало его дыханье клокочущим и быстрым, как дым, пробегающий в широкий дымоход при хорошей буревой тяге.

Сперва показалось, что правой стены в комнате нет, а вместо нее длинный, пугающий черным коридор. Федор Андреич мучительно пошарил там обострившимся взглядом, и, когда наткнулся взгляд его на нечто, пошевелившееся спиной, больно и сильно укололось сердце о знакомый неумолимый шип.

Он колыхнулся всем телом, кольнуло вторым больным уколом в сердце,— хотел закрыть глаза, но они, разбухшие жестоко, не закрывались. Все нервы натянулись до предела, за которым разрыв, и тогда без труда различил Федор Андреич на дрожащей неспокойной синеве окна, ромбически скошенного и налитого ночью, четкий силуэт прокрадывающегося ферта. Казался неслышным и скользким шаг его, направленный к нему по кривой из коридора,— отчетливо рисовалась знакомая лошадиность в линиях широкой фертовой челюсти и высокого не по-хорошему лба.

— Здравствуй,— отрывисто сказал ферт, подходя шага на полтора и пристально всматриваясь в лицо Федора Андреича, сморщенное мукой. Тогда сердце его, ущемленное тоской, прыгнуло куда-то в пустоту, и синее окно с маху задернулось черной занавеской.

II

Фамилия Федору Андреичу была Лихарев, а лет ему было... Затруднительно сказать, сколько было Лихареву лет.

С того самого дня, как над Россией прозвенело стальное крыло небывалых сотрясений, и понеслась она из мрака в иную, огнедышащую новь, где, подобно быкам, ревут громо-

вые трубы, земля стала в двенадцать раз быстрей обращаться вокруг солнца, а дома и люди, по той же причине, научились стариться скорее ровно в двенадцать раз...

Вследствие таких причин, если Лихареву до начала, скажем, поры этого медного быка было пятьдесят два, то в дни рассказа нашего было ему пятьдесят два с пребольшущим хвостиком.

Эти свои пятьдесят два не истратил Федор Андреич как ни попадя, впустую, без следа. Длительным напряжением ума и воли он так глубоко проникнул в неисповедимые глубины палеонтологической и других, родственных этой, наук, что, пожалуй, и жил все время там, в допотопном где-то, считая настоящее за нестоящее отражение тех невозвратных времен.

Федор Андреич умел работать, почти не уставая, как хороший семижильный вол. А если припомнить попутно, что и дарованьем не был он обижен, станет понятным, почему научное имя его ценилось так высоко у нас и как будто даже за границей. А за год приблизительно до медного быка Лихарев, гуляя на закате в окрестностях одного курортного городишка, нашел в рыжем, размытом овраге некоторый камень серого цвета, неприличной формы, без запаха и как будто с носом даже. Находка эта так вдохновила Лихарева, что он, ни минуты не медля, перетащил камень к себе и, водворив его на почетное место между фотографией матери и гипсовым Томсеном, в ближайшую же ночь начал писать обширный по размерам и значению для человечества труд о климате мезозойской эпохи.

Труд этот, который, к слову сказать, должен был вызвать крупнейшие толки, а может быть, и раскол в ученых кругах, подвигался успешно, и вдохновенный Лихарев, кроме всего прочего, ухитрился даже восстановить новое ископаемое неслыханной величины по совершенно ничтожным и весьма своеобразным данным окаменелости. Об этой работе Федора Андреича много в свое время говорили, ожидая появления ее в свет с непрерываемым интересом. Однако к самому моменту ее окончания, когда к печати были готовы почти все двадцать два листа, быками заревели трубы, и вся сокрушительная суть мезозоя стремительно надвинулась на тихое бытие города в самых характерных особенностях, подробно описанных Лихаревым.

Одновременно участились припадки сердечной болезни. Да и все здоровье Федора Андреича, требовавшее основательной

поправки где-нибудь на теплом берегу голубого моря, перестало позволять ему, как прежде, просиживать ночи напролет за изучением носатого камня. Что-то с кровью оторвалось внутри, что-то утерялось навеки,— стал камень жить своей мезозойской жизнью, а Лихарев настоящей и сильно неладной своей. Не подоспей сестра вовремя,— давно перестала бы ползти к зениту лихаревская звезда.

Елена Андревна в первой молодости была печальной, но там, внутри, очень жизнеодаренной, как все печальные девушки,— жила у тетки в провинции, писала белые стихи про королевичей, у которых во лбу звезда, и про всякое тому подобное... И все ждала она неустанно одного такого, чтоб пришел издалека и сжег душу ей горячей лаской всю, без жалости и без остатка.

Но время шло,—«бурьянами одиноких лет стала зарастать девушкина душа, как зарастает нежилой, весь белый, над рекою старый дом»,— так описывала она себя в своем дневничке той поры. Негаданно стукнуло ей двадцать пять, потом сразу двадцать семь, потом три года подряд твердила всем и сама старалась верить, что ей двадцать шесть. Ясно обнаружилась бесцельность бытия ее здесь, на подлунной. Потом ударило тридцать, и тут она заметалась. «Никому я не нужна... а королевичи перевелись, а завтра мне тридцать...»— горько записала она в той же толстой своей тетрадке, набухшей невыплаканными слезами, невысказанными обидами, несбывшимися снами. Тогда, гуляя с подругами, совсем нечаянно ушла она за сосновую рощу, где безвестно куда струилась железная дорога, и там, едва зашлепало вдалеке гулкое дыханье паровоза, легла на рельсы. А в поезде попортилось что-то, как на грех, и паровоз остановился шагах в сорока от лежавшей на рельсах. Получилось смешно, фальшиво и целительно поэтому.

Спокойная, сутулая немножко, встала Елена с земли, уже холодевшей вечерне, и медленно пошла домой, где ждали ее за веселым самоваром. Больше она не пела песенок про королевичей, больше не ложилась на рельсы. Годы, мелькавшие доныне, как встречные поезду, в широком поле, поезда, стали неторопливыми, перестав быть непосильной ношей для Елены.

Как раз это исцеление Елены от мечты как нельзя лучше поправило неважный быт Федора Андреича, старшего брата, профессора, вылитого отца по нелюдимости, по серьезности отношения к жизни, по непокорному спереди клоку волос, вздыбленных седым фонтаном. Этот медвежий человек, погру-

женный в глухие льды и безбурные затишья допотопных пор, не любивший никого, кроме своих ископаемых чудищ, жил одиноко и тускло, если поглядеть со стороны, как живут многие проходящие жизнь бочком, чтоб не задеть никого и самому не ушибиться.

Вдруг тетка в провинции умерла. Жить одной стало Елене невмоготу в этой «суконной дыре, где в трехоконных домишках, похожих на керосинки, войлочные души, как мухи, сидят,— где лишь раз в неделю кудрявым колокольным трезвоном прерывается утробный храп...» — так с пафосом горечи и стыда описывала она теткин город на последней страничке законченного дневника. Сестра послала брату телеграмму: «еду»,— брат ответил: «место найду». И вот Елена Андревна прочно водворилась в бытие профессора Лихарева, сделавшись ему столь же необходимой, как стакан крепкого чая по утрам, как пузатая стеклянная чернильница, верная собеседница лихаревских ночей.

Они переехали на Шестаковскую улицу, в нижний этаж большого безалаберного дома, населенного всякою людскою мелочью. Квартирка им попалась небольшая, и комнаты, заставленные чем попало, деревянным, на гвоздях, бедно и раскосо глядели на улицу, длинную-длинную, скучную-скучную, кривую, Шестаковскую.

Федор Андреич неладно зажил в последнее время, хотя и помогал Лихаревым переходить через этот медный кусок времени некий Исаак Иванович Мухолович. Стерся ныне из памяти душевный облик этого человека, столь утомительно-подвижного, что рябило в глазах, в проштопанной фуфаечке под пиджаком, с постоянным мешочком благодетельной пши в руке. Растроганный однажды приношением Федор Андреич высказал ироническую мысль, что имя его сохранится в веках как покровителя палеонтологической науки.

III

Утром, когда проснулся, было очень холодно, и мокрая сыпь на потолке и на стене, защищающей от улицы, заметно усилилась. На замерзших сплошь окнах выпукло заплелись расцветшие за ночь диковинные мезозойские цветы,— разноцветно играло в них холодное декабрьское солнце. Тут как раз дверь щелкнула ключиком, Елена из очереди пришла.

Оказалось, масла в очереди не дождались, а выдали всем по фунтику крупки неизвестного происхождения.

Сидели в то утро и пили чай, покуда трещали над керосинкой и дымили вкусно ржаного теста рваные куски. Федор Андреич жаловался на ночную историю, рассказывал ее колко во всех, за исключением ферта лишь, подробностях, и получалась такая из его слов видимость, что именно Елена виновата во всей истории своим несвоевременным уходом.

Елена давно свыклась с мыслью, что брат, всего себя отдающий науке, естественно, имеет право быть иногда немножко несправедливым, и молчала, решив, однако, осторожно надоумить брата сходить к врачу.

— Ты, Федор Андреич,— она так и звала его, Федор Андреичем, а Федей очень редко,— ты пошел бы к врачу! Вот Елков, он давно познакомиться с тобой хотел, мне Бибихины говорили, даже зайти собирался. — Лихарев молчал и хмурился. — Ты ужасно похудел за последние дни, как-то опустился весь...

Насупясь глядел Лихарев, как пар из чайного стакана, такой приятный по утрам, правда отдающий пареной морковью, подымается обильно к потолку. Ржаной колобок лежал возле,— из разломанной обугленной корки уныло выглядывало непропеченное кислое тесто.

— Э, не в том дело! — с тоскою, чтоб отделаться, ответил Федор Андреич. — Тут твоему Елкову делать нечего, тут уехать надо. Уехать к теплому морю, подальше от греха уехать,— повторил он, возвышая голос, но тотчас же стих. — У нас от головы-то осталось что-нибудь? — спросил он, о чем-то соображая. — Ты бы подогрела мне к вечерку, я пройтись пойду.

Елена казалась смущенной:

— Керосин у нас, Федор Андреич, весь вышел. На вечер-то, пожалуй, и хватит. Я вот насчет завтра хотела тебя спросить, как... — Она закашлялась и порозовела.

Лихарев зябко потер руки.

— А Мухолович не приходил еще? — Уже не тоска, а раздражение промелькнуло в голосе у Федора Андреича. — Удивляют меня подобные люди: шляются, распинаются в любвях к наукам — черт бы их брал!.. а как вплотную, то и не разобрать тогда,— где ему, Мухоловичу твоему, начало и дряни рыночной конец!

Елена попробовала робко, но горячо вступиться за Мухоловича:

— Я бы не стала на твоем месте... нельзя так. Мухолович редкий в наше время человек, может быть, единственный. — Она подчеркнула последнее слово. — И потом, не кажется ли тебе, Федя,— Федей она называла его в минуты, когда требовалась убедительность, когда и жалела и боялась за брата,— что Исак Иваныч и так уж очень много сделал для нас. Ведь если бы не он, то, в сущности...

Лихарев недовольно поднялся. В улице проехал, сотрясая воздух, редкий для той поры грузовик.

— Ты мне, сестра, перестань об этом. Должен же меня кормить кто-нибудь! — отчаянно крикнул он. — Ведь не лодырь же я в самом деле, ведь работал же всю жизнь, для них же работал! — Он ткнул пальцем в улицу, слабо гудящую за морозным стеклом. — Я-то виноват, что им потребовалось весь этот перекувырк устраивать? Ведь вот вчера, когда этот ферт... — Лихарев остановился, смущенный своим признаньем.

У Елены дугами удивленья поднялись брови.

— Ты про какого это ферта? Ты мне не говорил...

— А так, пустяки... я спутал... — Федор Андреич смешался и покраснел; не хотелось ему дальше признаваться в ферте, он встал. — Ну... я пойду, пищи вокруг порыскаю.

Сестра с тревогой, такой понятной и женской, смотрела ему вслед.

— Ты вернешься когда?.. чтоб голову разогреть ко времени...

— К трем разогревай,— ответил Лихарев, запихивая ногу в продырявленную калошу. — Может быть, на обратном пути я зайду к твоему Елкову,— сказал он в знак примирения.

— Адрес-то его знаешь? — спросила сестра.

— Записан где-то... помню,— невпопад соврал Федор Андреич и вышел не простившись, как всегда, вон.

IV

Лихарев ходил не быстро,— при первом же сильном движении впивалась жаба в сердце, а беспрерывно колющее сосание ее кончалось потерей сознания. Он ходил не быстро, затем, чтоб не растрачивать зря калории, и по той же причине самосохранения старался не видеть ничего. Но улица

помимо воли ухитрялась залезать в мозг и хозяйничала там и галдела разнозвучно и смешивала мысли, как кости на столе.

Так же вот и нынче. Возле лошади, брошенной посреди улицы, стояло много людей, и один матерой мужичище все старался увести от лежащей с откинутой головой матери маленького сосунка, тощего и быстрого, но тот выгибал спину месяцем и не хотел уходить, упираясь в незаезженную мостовую всеми четырьмя. Лихарев сообразил, что мужичище одолеет, конечно, конюшонка, и прошел мимо. Увидел еще двух мальчишек, которые дрались, и какого-то человека неопределенной сущности, который блестящим, остановившимся взглядом наблюдал их. Человек тронул лихаревское плечо и сказал, не глядя на него:

— Обратите внимание... ведь в кровь, в кровь!..

То был хороший морозный день. Иней запушил и тонкие, охваченные солнцем, нити проводов, и негибкие ветви деревьев розовыми и голубыми соболями. Паром и колким снегом отовсюду выбивался мороз. И даже дощечка эмалированная, с фамилией доктора Елкова и часами приема, замеченная случайно, тоже поголубела вся в тончайшем налете утреннего инея.

Лихарев постоял перед ней, перебирая в голове невнятные, вялые мысли. Мороз обжигал лицо, а делать было нечего. Он решил зайти.

Поднявшись в третий этаж, Федор Андреич остановился перевести дух и постучал, не доверяя звонковой кнопке. На стук дверь открылась, и чрезвычайно худая дама, оказавшаяся женой Елкова, рассеянно указала пальцем Лихареву, куда пройти.

Комната, предназначенная для приемной, была большим, нетопленным пространством,— свету сюда падало достаточно через огромное, полторы сажени в квадрате, окно. Поэтому ледяность воздуха была здесь досиня прозрачная, насквозь проникнутая острым солнечным морозцем.

Снова приподняв опущенный было воротник своего пальто на уши, Федор Андреич присел на стул возле круглого, облупленного столика. На нем, как это сразу попало в поле его зрения, валялась грязная варежка, широко вздувшаяся от чьей-то подпухшей ладони; огромный палец ее, перештопанный во многих направлениях, раздражил Лихарева своим видом. Федор Андреич задвигал носом и сделал движение

рукой, чтоб смахнуть ненавистную варежку в угол, но огляделся вовремя и заметил тогда в дверной щели, куда упадало солнце, рыжеватую бородку и круглый глаз, подозрительно наблюдающий за ним, Лихаревым.

— Да-да, я к вам... здравствуйте! — заторопился Федор Андреич, но глаз отскочил и спрятался поспешно, а затем раздались осторожные, на цыпочках, шаги отбегающего человека. Лихарев едва не погрозил кулаком в сквозящую светом щель и хотел снова усесться, но дверь отворилась, на этот раз совсем, и сам Елков в продранном коричневом пиджаке и в клетчатой шали, накинутой поверх, неопределенным жестом попросил Лихарева войти.

В кабинете Елкова стоял некоторым образом содом. Частью происходило это от печки, брюзжащей грязно-серым дымом, частью же и от самого Елкова, расставившего вещи так, словно хотел взять от них минимум их полезности и максимум неудобства. Перед Федором Андреичем в колеблющихся слоях дыма повисло бледное, узкое лицо с вытянутым, неприятным носом, с рыжеватым взбитым пухом на лбу.

— Садитесь,— распялилось в улыбке лицо и дернулось вперед, потягивая за собой тощее и короткое туловище.

— Я сяду, сяду... не беспокойтесь... — оторопело заявил Лихарев, оставаясь стоять.

В кабинете было гораздо меньше света, чем в приемной, благодаря гобеленовой гардине, которая, казалось, невыразимо неловко чувствовала себя среди всех этих новых, наглых вещей: дырявого мешка с картошкой, салазок, давно отслуживших санный век и чиненных медным проводом, топора — зазубренного, кургузого, и, наконец, печки — непрерывно кашлявшей едким, тяжелым дымом.

— Садитесь же,— повторил Елков и сам сел в плюшевое когда-то кресло, вонзаясь в пациента пронзительным, неспокойным взглядом.

— Что это вы так в меня уставились? — спросил с любопытством Федор Андреич, садясь в другое кресло, и вдруг полетел вместе с креслом на пол.

— Ах, чудак вы, вы не то кресло взяли,— у этого ножка от сырости отпала! Вот на этом, нате, без риску можно сидеть, присаживайтесь,— с усмешечкой заскрипел Елков, подставляя Лихареву новое из темноты в простенке кресло, явившее в оконном свете свой убогий и обтрепанный вид. — Чего уставился-то?.. А уставился потому, что вид у вас аховый, в глазах у вас

этакое... — Елков обозначил рукою в воздухе то неприятное, что он успел разглядеть в тусклых измученных глазах Лихарева. — А ведь я знаю вас,— заспешил куда-то Елков, встряхивая пухом на лбу,— давно знаю! Вы ведь Лихарев? ну да, так и знал, помню, помню... как же! был раз на докладе вашем в геологическом, кажется, обществе,— о четвертичном периоде изволили читать. До войны еще было, в августе! Тогда еще братец мой, нежнейшая душа, кузен — как говорится, Пирожков, Валерьян Михайлович, с вами насчет ледникового периода поспорил, а вы его невежей при всех выбранили... Да ничего, ничего, не морщитесь,— другой и в физию бы прямо въехал,— чего там, ради высокой науки...

Лихарев досадливо дернул плечами.

— Ну, и что ж из того,— я вас спрашиваю, что вы хотите этим сказать? Он и есть невежда. Он ведь такую в тот раз чушь смолол, что... — Лихарев чихнул. — Простите, имени-отчества вашего не знаю?

— Иван Павлыч! — подскочил словами с разбегу Елков,— но также Иван Петропавлычем величают...

— Петропавлычем-то для чего же? — грубо подивился Федор Андреич.

— А вот! — страшно дергаясь, пропел Елков,— на матушку клевещут. Может быть, и правда, мне ведь неудобно спросить... — Он задумался. — Нет, неправда, года не сходятся,— вскричал он через минуту раздумья. — Петр Аркадьич тогда в Самаре жил! Впрочем, я ведь потому вам это привел, чтоб людей въяве показать,— волки, сущие волки, тем и кормятся! Дикий готтентот черепа сбирает для коллекцийки, встретит себе подобного, сейчас — «разрешите вашу черепушку залобанить»... Так ведь он дикий, даже себя самого не видит, а наши... — Лихарев приглядывался к Елкову и ничего не понимал. — А ведь это только теперь они распоясались, потому что усложняется кругооборот вещей! — доверительно сообщил Елков собеседнику, постукав пальцем по его коленке. — Э, да что там мымрить, давайте я вам лучше веселую историйку расскажу,— на днях случилась. Видите ли, я теперь, в целях заработка, по всем отраслям практикую: и акушером действую, и зубы рву... Так вот на днях... Виноват, вы не курите? Ну, как хотите, я тоже не курю, дрянь в груди завелась... Приходит мальчик, безусый, знаете,— Колюнчик, Сергунчик, что-нибудь вроде. Садится, плачет. Осматриваю... — Елков выгнулся из кресла и шепнул нехорошее, шипящее слово на ухо Лихареву. — Ну, я

ему и сообщаю, что, мол, так вот и так, молодой человек! А он на крик: лжете, кричит, лжете, я никогда, никогда... ни разу еще! А потом тихонько и со стыдом: разве, говорит, во сне только... Что ж, в наши дни, говорю я ему, и во сне налететь можно! Ужасное паденье нравственности... скорблю и ужасаюсь, однако уповаю! — передразнил он кого-то, Лихареву неизвестного.

«Сильно же тебя заездили,— подумал Федор Андреич,— весь ты как на ниточках». Так подумав, он решил было ничего Елкову не говорить о себе. Но Елков, развинтившись совсем, и не дал бы ему ничего сказать.

— Как хотите,— балаболил он,— а ведь неимоверные вещи проистекают, потому что всеобщий заворот мозгов-с... всеобщий-с! — Елков хотел вздохнуть, но поперхнулся, опомнился, сжался и в упор ударил сухим вопросом: — Ладно, что у вас?.. не в гости же вы ко мне притащились, с больным-то сердцем, да на третий еще этаж! Ну и глаза-то у вас, право, словно тараканы, которых перстом... запятыми по стене! — Он сделал соответствующий жест пальцами. — Ну, рассказывайте, чего ж греха таить?!

Елков приготовился слушать, а Федор Андреич, странно покоряясь этой прыгающей машинке, собрался скрепя сердце рассказывать, но вошла к ним давешняя худая дама. Нажимая на слова так, что каждое слово свистело обидой, она заговорила резким и жалобным тоном:

— Ваня, когда ж ты мне дров дашь? Я же шить не могу, у меня руки пухнут! Нельзя же так, мне стыдно за тебя, Иван!..

— Ну, ладно, ладно, принесу сейчас... Вот только с Федором Андреичем покончу и принесу,— вы не знакомы? — посуетился Елков, делая плачущее лицо, но суету изображал он не сходя с места. — Экая ты торопыга, все бы тебе в карьер... Ну, ступай, ступай!

— Мне надоело это, Иван,— раздраженно перебила та мужа,— сейчас давай, я сама отнесу. Верите ли,— обратилась она к Лихареву,— он от меня дрова в книжный шкаф прячет, книгами их заставил... а когда уходит — запирает. А мне шить надо!.. Право же, я собственным дыханием комнату отапливаю,— еще горше прибавила она, переполняясь слезами; повторялось это, видимо, каждый день.

— Да сейчас, сказал тебе — сейчас. — И даже ногой гневно топнул Елков. — Вы извините, это ей пусть будет стыдно,— бросил он Федору Андреичу, уходя в угол, где нетрудно было

разглядеть, несмотря на второе, занавешенное окно, большой книжный с дверцами шкаф. — Ни минуты покоя не дадут, волчьё! — слышалось оттуда елковское ворчанье.

Чтоб не мешать им, опять о чем-то вполголоса заспорившим, Лихарев встал и пошел к окну, покуда муж со скрежетом отсчитывал женины поленья.

Возле самого окна висела большая фотография, изображавшая человек сорок разных мужчин, сидевших и стоявших. В центре были самые толстые и добрые, а чем дальше — тем обиднее складывались улыбки, и самые крайние тоскливо выглядывали из-за чужих спин, как бы стыдясь своего скучного и заезженного вида. Федор Андреич от нечего делать разыскал и самого Елкова,— тот, довольный и пухлый, лежал у чьих-то ног в очень такой непринужденной позе и держал для приличия толстую книгу в правой руке.

— Бойкая баба... трын-баба, между нами говоря! — затрещал сбоку Елков и состроил гримасу, словно зуб заболел. — Вы простите, что так вышло,— но ведь теперь и в каждой семье собачник! Так что чем богаты, тем и... Вы временем-то располагаете? Ведь не работаете теперь? Да и какая теперь может быть работа! Тут плюхнуться в кровать впору, высунуть язык на плечо и лежать, покуда весь дух выйдет. В вас есть дух? Вот иглокожие уверяют, что нет, а просто так, пшик... А, да-а... — сделал вид, что спохватился, он,— я и забыл, что вы по делу ко мне... Головные боли, с сердцем нелады, так, что ли?

Лихарева начинали сердить мучительные судороги Елкова.

— Не с сердцем, а вот что... — решил ошарашить его залпом Федор Андреич. — Ферт ко мне начал заходить, вот!

Хозяин мгновенно спрятал улыбку и сел в кресло. До этого признанья он стоял перед Федором Андреичем, спиной к окну.

— Фе-ерт! — протянул Елков, выпятив губу. Потом погрозил гостю пальцем и подошел поближе. — Вы когда, батенька, в последний-то раз у врача были?

— Ночью приходил... — вспоминая и не слушая, сказал Лихарев.

— Ночью? Ну да, когда же ему и приходить, как не ночью! А вы что же... — Елков кивнул головой в сидящего перед ним и снова, в раздумье, подогнул палец. — Вы, тово, разговаривали с ним?

— Такая гнусь... — отвернувшись, продолжал вспоминать Лихарев,— руки в боки, морда плюгавая и этакое плебейство во

всей фигуре... с души воротит! А хуже всего то, что я и сам не знаю, откуда я его взял... плохое дело!

— Кого взяли?.. — переспросил Елков, тыкаясь в гостя мутным взглядом.

— Да его, его, я же говорил вам... вы где были? — рассердился Федор Андреич.

Елков придвинул кресло еще ближе.

— Так, значит, ферт? Так-таки уж и ферт? — тихим шепотом осведомился он.

— Фе-ерт... — странно протянул Лихарев.

Их глаза блуждали, и у того и у другого. Взгляды встретились. Как бы пробужденный, Елков вскочил и постучал себя пальцем по лбу:

— Да и все мы теперь тронутые, знаете...

Лихарев вспылил, поднимаясь с места:

— Как это... тронутые? Сходите себе с ума на здоровье, коли охота,— я тут ни при чем. Вам самому доктор нужен, вот что,— черт меня к вам понес в такую несуразную пору...

— Ах, да не сердитесь вы, Федор Андреич... или Федор Иваныч? Ну, значит, не ошибся. Я ему всего два слова сказал, а он уж и на дыбы! Ну, сядьте же, прошу вас. Не пойму, на что еще в наше время обижаться можно! Успокойтесь, а я вам за это еще историйку расскажу, тоже — дальше ехать некуда. Вчера посетил меня экземпляр. Пришел, сел сюда вот, где вы сидите — и в рев. Плачет, да ведь как плачет-то, глядеть на него больно. Я, говорит, чихать не умею. Я ему: ну что ж, говорю, и не чихайте себе на здоровье! А он еще пуще заливается: с самого детства, говорит, не чихнул ни разу, и насморка даже ни разу не было, что ж, по-другому устроен я, что ли? Каково, а? Ведь — прямо вынь да положь ему чихание! — Елков выпятил руки вперед, как бы представляя любезному вниманию Лихарева этот особый вид головного вывиха.

Но, рассказывая это, сам Елков вертелся и кидал слова то вверх, то вниз, то туда, то сюда, словно не один, а дюжина Лихаревых была распихана и развешена по комнате там и сям.

— И гляжу я на него,— продолжал хозяин,— и знаю: вот сидит человек в слабости души своей, а подойди да не поверь, либо еще что-нибудь такое,— так ведь укусит, как бог свят, укусит! А обратили вы внимание, народец-то какой стал, скулы-то у них как вылезли,— словно у каждого татары казанские в роду! А вот третьего дня иду по улице...

Федор Андреич решительно встал, боясь, что ему станст плохо в конце концов от елковских наскоков,— рассерженный и злой.

— Я у вас совета хотел попросить, доктор. Слушайте, вы — доктор? Вы не военного времени доктор? Были и такие, кажется... — Лихарев поежился. — Разговоры у вас такие, словно непременно хотите, чтоб спятил ваш пациент.

— Да, да, прохладно... но способствует работоспособности,— запутался Елков, обратив внимание только на то, что гость его зябко поежился. — Так не работаете вы? А я вот все работаю, все работаю,— великое дело — труд! Фактики теперь собираю. Они так и бегут ко мне, фактики!.. На ловца, как говорится, и зверь... Человечек повесился, а я его под номерок; лошадка упала на улице,— а я ее под номерок: такого-то и такого-то, мол, числа и так далее. Юношу за чрезмерную пылкость грохнули,— мы и его пометим. Ах,— с болью и стоном вырвалось у Елкова,— соберу я книжечку пальца в два, да в Европу туда, ко всем этим, как их... Как поленом шарахну я их книжечкой! — Елков трясся, клетчатая шаль сбилась ему под ноги, но он не замечал. — Глядите, как мы дохнем, дохнем,— мы просияли в муках наших! И ведь мы не только для себя, но и для вас! И быть может, даже из-за вас, дьяволы... У нас дворняжка последняя больше всех вас выстрадала. И назовем мы книжечку — Преображение России, вот... Впрочем, пустяки,— так закончил он свой малосвязный поток.— Исключительно самобичевание и расхлябанность,— иглокожие правы! Ах да, кстати,— вдруг перескочил он и весело прищелкнул себя пальцем по лбу,— забегайте ко мне вечерком, как стемнеет, около восьми, в пятницу... Люди духом отощали, так вот я собрал их у себя, наиболее обалделых, и граммофончиком потчую. Такой, знаете, паноптикум у меня, такой зверинец, просто антик! Вам это вместо лекарства, на них без смеха и глядеть нельзя... Ах, смех — великое дело. Каменные стены смехом ломаются, да-да! У вас ферт, значит? Как хотите, а под номерок и вас поставлю. Так и запомните, нумеро ваше — семьсот тринадцатое. Фамилию, конечно, называть не буду, тайна, тайна! — Он сделал страшную рожу и потрепал Федора Андреича по плечу,— а под номерок занесу. Не могу — бисер под ногами валяется... Вы уже идете? Постойте, я вам рецептик накатаю, один момент, с рецептиком легче! — Он присел к столу и заскрипел пером. — А ферта вы не бойтесь, еще и пострашнее бывает... — говорил он, записывая узкую полоску бумаги свер-

ху донизу и ставя вихрастый росчерк в конце. Он встал и уже смеялся. — У меня, знаете, вчера утром чернила замерзли. Встал, тюкнул пальцем, а льда-то и не проколотишь! — Он похохотал еще, зорко высматривая внутренние движения гостя.

Уже в прихожей, где Федор Андреич угрюмо метился разношенным штиблетом в калошу, снова набросился на своего редкостного пациента Елков.

— Ведь вы не знаете, откуда вам знать!.. Бессмыслица, а не целесообразность. Где ж он — центр-то мирозданья, это я-то центр? Враки, враки,— кто вокруг меня, жеваного, ходить будет? Я, Федор Андреич, сами видите, корчусь, а кому они, корчи эти мои, нужны? Я спрашиваю, кому они понадобились? Черту лысому они нужны — вот кому! — Елковское неистовство вдруг обратилось в робкое отчаяние. — Я... месяц назад... братишку схоронил. Поехал за картошкой, а привез сыпнячок. Послушайте, вы знаете, что это значит,— близкого схоронить? Вы попробуйте, вы попробуйте тогда из себя выдавить— «да будет воля твоя», попробуйте! — Он хрустнул руками и повернулся боком.

Было Лихареву и жалко и тошно.

— Мириться нужно,— мир так устроен, что все переплелось. Щепочку вытянуть — и развалится все,— неумело рассуждал Федор Андреич.

— Правильно, правильно,— чтоб и розы пахли и покойнички? Не хочу, не хочу-у! — процедил исступленно хозяин.

Но Лихарев уже сходил вниз по лестнице. Ему, склоняясь в пролет, крикнул, видимо оправившись, Елков:

— В пятницу приходите!

Оттуда, из глубины, черневшей колодцем, долетел к ушам Елкова отголосок своего же:

— ...ите.

Елков постоял и плюнул вниз. Белое пятнышко скользнуло во мрак колодца, и через мгновение долетел обратно четкий звук шлепка. Потом Елков покрутил плечами, втянул голову и вскочил проворно в свою холодную, нетопленную конуру.

V

Дома Лихарев застал у себя Муховича.

— Я у вас вот уже часик посиживаю, хе-хе... — Мухолович всегда был жизнерадостен, но в смехе своем экономен. —

Я вас тут ждал-ждал, думал-таки конец профессору. Вы, господин-товарищ Лихарев, не надо хмуриться. Меня давеча Сара спрашивает: ты куда ушел, Мухолович? Я ей отвечаю: к профессору Лихареву. Она меня спрашивает: что ты будешь говорить профессору Лихареву, ты ж глуп! Я, говорю я ей, глуп только в профиль, а в три четверти так очень даже ничего себе, хе-хе... Сара, если хотите знать, она ж добрая женщина, но она... — Мухолович лукаво нарисовал восьмерку перед самым своим лбом,— она ничего не соображает в культуре! Ну, чего она может понимать в слове культура? Ничего! — отведя ладошку в сторону и пожимая плечами, пропел Мухолович и стих.

Лихарев улыбнулся, не мог он не улыбнуться, хотя настроение у него после Елкова было дрянное.

— С чего это вы такой разбитной сегодня, вы не именинник ли нынче?.. У вас как,— бывают именинники? Завидую я вам, Мухолович, право,— этакая живучесть в вас! — Лихарев всегда говорил с Мухоловичем немножко свысока и всегда как с ребенком.

— О! Я и сам давеча себя спрашиваю: чему ты, рваный Мухолович, радуешься?.. меня раз собакой травили... — доверчиво сообщил он Лихареву. — Был один такой в России господин, с воображением, знаете, так они меня чуточку не разорвали! На мне тогда теплые штаны были, хе-хе... Так вот: чему, говорю, ты, разорва̀нный Мухолович, радуешься? Или солнце светит для тебя одного? Я ему тогда так: зачем мне только? — Мухолович, точно отказываясь, выставил обе ладони вперед. — Его на всех хватит!..

— Кому ж это ему? — поинтересовался Лихарев: было всегда любопытно Лихареву, как текут мысли в этом маленьком человечке.

— Как кому? — удивился тот,— другому Мухоловичу! Так ведь их же у меня двое сидят, словно компаньоны в каком-нибудь магазине, сидят и спорят. Когда один говорит, так другой ругается... ах! — вскричал Мухолович,— как они нехорошо ругаются промежду собою! Один говорит: Исаак, ты — падаль, ты два раза падаль!.. А другой вот: Исаак, не верь ему, он же дрянь,— для тебя тоже солнце светит,— ходи веселей! А я слушаю-слушаю, да и говорю им: кому ж, говорю, Мухолович нужен, раз один вовсе не подает руки Мухоловичу, а другой насылает на тебя собак? — И вдруг Мухолович сделал умильное, целящееся лицо,— второй-то мне говорит: Исаак, слушай, Иса-

ак, ты культуре нужен, о! — Мухолович поднял перст, дважды погрозил им кому-то и с внезапной стыдливостью спрятал назад, в кармашек.

Федору Андреичу стало неловко от Мухоловичевой откровенности, и, словно желая исправить получившееся молчание, Мухолович вынул из кармана маленький какой-то пакетик и с осторожностью подсунул его на колено Лихареву.

— Что это? — спросил Федор Андреич, все еще улыбаясь и шаря рассеянно в жилетном кармане.

— Это? О, культура! — Опять перст Мухоловича величественно проткнул невидимую плоскость перед самым носом и опять с неловкостью спрятался в карман. — А это... это пуговицы, чтоб удобней было... А вы почему смеетесь? То вы должны сидеть и себе шить, шить... А то вы наставляете вот эту головку вот так, чик и... — Мухолович с восторгом защелкнул механическую пуговицу и на ладошке протянул Лихареву.

— Эх, вы, чудак,— посмеялся ему Федор Андреич,— какой вы! Неужто ж вся культура только в том, чтоб с меня брюки не упали! Разве человек на земле ради пуговицы живет?

Мухолович стесненно молчал. Только постояв несколько минут, он снова заговорил — о новом для Лихарева, не высказанном ему еще ни разу. Оглянувшись на кухню, откуда был слышен плеск,— сестра занялась стиркой,— Мухолович подошел вплотную к Федору Андреичу.

— У нас будет небольшой взаимный разговор... — с обычными ужимками почтения начал он, притворив дверь на кухню. — Ваша сестра очень больной человек, ее беречь надо, однажды может не вернуться из очереди... Сейчас разогревала на завтрак вам лошадиную голову и сказала, что вы писали большой труд об этом... ай, забыл! Я же не ученый, я человек дела...

— Ну, о мезозойском климате, скажем, писать не ко времени пришлось! А в чем дело? — уже не раздражаясь, отозвался Федор Андреич.

— У меня правило копейки не доверять людям, они над тобой же смеяться будут. А Мухоловичу же неинтересно, чтобы над ним смеялся профессор Лихарев. Вот, мы заключаем с вами договор без наклейки марок: вы пишете дальше свой труд, а я вам за это ношу всего... ну не всего, конечно! Где достанешь для профессора портвейн или ветчину, когда и мыло по карточкам. Просто все падает из рук...

За месяц их знакомства Федору Андреичу как-то не приходилось вникать в душевные побужденья своего благодетеля;

приношения Муховича, сельдь и пшено, доставлялись через задний ход и там же, на кухне поступали в разделку. Внешне поведение Мухоловича вполне удовлетворительно объяснялось полагающимся благоговением последнего перед культурой. Но с некоторого времени Федор Андреич начал испытывать неловкость при произнесении этого хоть и высокого, но слишком отвлеченного пароля, содержавшего сомнительное право на чужой паек.

— Простите, Исак Иваныч... разумеется, это глупо — выяснять происхождение каши, которую в полупещерных условиях тебе дарует судьба,— нетерпеливо забормотал Федор Андреич,— однако не скрою, до смерти интересно узнать, какого черта ради вы расстаетесь с имуществом, составляющим первоочередную, даже философскую ценность нашего времени?

Тот вполоборота, не без испытующего лукавства, покосился на любознательного профессора:

— А культура?

— Культура... — немедленно раздражился тот,— есть совокупность всех духовных и материальных приобретений нации... это в обоих смыслах — состояние народное! И оно не может, черт возьми, держаться иждивением частных лиц.

Мухолович помолчал, и вдруг поразительные перемены стали происходить в его облике, и прежде всего исчез анекдотический акцент, как только сквозь манеру поведенья стала просматриваться душа. Впервые Федор Андреич различил уже совсем немолодой возраст и неказистый облик самого волшебника, должно быть немало навидавшиеся горя, с насупленными бровями, глаза, и вот, машинально сравнивая, даже коснулся своих запущенных, как ни странно — таких же, как у Мухоловича, серых и впалых — щек.

— Вы хотите начистоту?.. не знаю, попробую! — пожал плечами Мухолович, не спуская с Федора Андреича странно проблеснувших глаз. — Я вам скажу: сколько лет, и уж дети, а еще вижу во сне, как я бегу по двору от спущенной собаки, и такой симпатичный, знаете, господин в халате с кисточками наблюдает мне вдогонку. Это, наверно, очень смешно смотреть, как человек в чем-то длинном, как в мешке, убегает вприпрыжку... ну, как же она называется, эта зверская порода, когда морда как чугунный замок и немножко набок? О, не-ет, теплые штаны даже и летом полезная вещь. И тогда у меня открылась странная психология, после того переживания: мне

ужасно захотелось, чтобы профессор Лихарев написал свою книгу про то, чего нет...

— Чувствую в вашем рассказе что-то бесконечно болезненное, даже дерзкое, но, простите, не понимаю,— мучительно тянул Федор Андреич.

— А вам непременно надо все понимать? Это никакой головы не хватит, если все понимать! — И снова потешный акцент зазвучал в речи Мухоловича. — В конце концов, пшено же — это более нормально для человека, чем лошадиная голова. Не думайте, чтобы я принципиально возражал против конины... Говорят, это даже характерно в переходные, к счастью, эпохи! Но только лошадиная голова... лично я как-то не могу считать лошадиную голову за хорошее питание, это скорее историческая необходимость. Я бы сказал, для нее, кроме аппетита, нужен еще героизм и даже немножко зверство!

Разогретый воспоминаньем, он стал разматывать с шеи грязный вязаный шарф.

— Много у вас детей? — помедлив, размышляя о сказанном окольным путем, спросил Федор Андреич.

— Трое... но не думайте о моих детях! Это моя забота... — так же тихо отвечал Мухолович и напрасно ждал очередного, всеразъясняющего вопроса хотя бы, для начала, только о месте происшествия.

Откинувшись спиной к стене, Федор Андреич рассеянно глядел на мезозойский камень, причудливо освещенный помаргивающей лампой. Очень болело где-то под лопаткой. Свечерело совсем.

— Вот что, Мухолович. Когда у меня будет тепло и мне не нужно будет красть лошадиные головы в темных переулках, я и сам начну работать, но пока не обещаю. У меня все вразброд разбежалось,— нужно еще собирать их, мысли, с год... да мне и немного осталось... не жить, а писать немного осталось! — резко поправился он.

— Можно на минутку к вам? — просунулась в дверь голова сестры; не дожидаясь ответа, она вошла, торжественно неся в руке сковородку с поджаренной рыбой и стакан настоящего, судя по запаху, кофе.

— Это давеча Исак Иваныч принес. Он прямо волшебник у нас, Исак Иваныч,— вся сияя, заговорила она. — Федя, ты попросил бы кстати у Исак Иваныча дровец достать, а то...

И тут о н о накатило вновь, как всегда без предупреждения.

— К черту... — шепотом рванулся достигший какой-то внутренней точки Федор Андреич и в ярости вышиб кулаком завтрак из рук Елены. Рыба, с легкостью для нее неожиданной, взлетела вверх, переломилась в воздухе и шлепнулась к ногам испуганного Мухоловича.

— А где же культура! — жалобно вскричал Мухолович, подымаясь на цыпочки.

Одновременно с криком знакомо обозначился у Федора Андреича укол глубоко под ребрами. Елена с Мухоловичем исчезли за пелену внезапного тумана, а из окна, сереющего ранним вечером, вылез не спеша ферт.

— Чего ты ему позволяешь, спустил бы собак на паршивца! — ухмыльнулся ферт, подбочениваясь. — И охота же тебе этакие воды психологии разводить!..

Закрывая лицо руками и сгибаясь всеми костями, Федор Андреич повалился на кровать.

VI

Был когда-то Федор Андреич совсем маленьким, славным был бутузом-карапузом, кушал кашку, не знал ничего. А когда на ночь, бывало, не хотел ложиться Феденька, брыкал няньку барской ножкой, показывала та сурово костяным пальцем в окно, за которым, вдоль и поперек полей сугробных, искала баба-вьюга нетеряную кладь... И боялся, и детским сердцем обожал ту непутную бабу Феденька.

Происходил Федор Андреич из краев, что особо славятся буранами, и до зрелых лет воздыхал с сожалением о былых поездках из Пензы в Городище, к бобылю-отцу на рождественские каникулы; обычно дорога выпадала на ночь. И всякий год, помнится, везло Феденьке на снежную непогоду: завернув ноги в веретье, по маковку в пушистом сне да сене, качался он всю полсотню верст в уютных тамошних ро́зваленках, положась на ямщицкую смекалку и крестьянского коня. И чем разбойнее свистали белые вихри-дядьки над головой, тем слаще удовольствие: никто в уезде, мороз в том числе, не посмел бы обидеть, не по чести обойтись с сынком всемогущего, по старинке крутого исправника Лихарева.

Но то ли грудная жаба да суставный ревматизм, только с годами пооcлабло у Федора Андреича романтическое рвение к российским снегопадам. Да, видно, и снежок не тот стал, и

когда отправлялся Федор Андреич к ненавистному Елкову в гости, просто мокрая липучая гадость тяжкими хлопьями летела ему навстречу, поминутно залепляя глаза.

Улицы той пятницы были темны, и никого в них, кроме шагающего неторопливо Федора Андреича. Он шел, наслеживая огромными калошами по пухлым снежным поверхностям и время от времени протирая рукавицей глаза. В душе он очень досадовал на себя, что опять потащился к Елкову, и, чтоб сократить время досадования своего, заметно ускорил шаг.

Его, поднимающегося по лестнице, казавшейся шаткой из-за темноты, перегнал некто тяжелый и пыхтящий. Состояние Федора Андреича было таково, что ему непременно требовалось если не увидеть, то, по крайней мере, услышать голос этого, перегоняющего.

— Скажите, в котором... в котором этаже квартира доктора Елкова?—спросил он, чтоб только спросить о чем-нибудь.

Из тьмы прозвучали размашисто сказанные слова:

— Елкова? А-а... вы, значит, тоже к Ивану Павлычу? Так это нам вместе, вы держитесь за мной!..

Но уже через полминутки тот же, невидимый, разделяя вопросительными промежутками слова, осведомился:

— А вам, извиняюсь, зачем... туда?

— Да так, от одиночества людского... — признался Лихарев.

Тотчас же тот, невидимый, зажег спичку, и в ее мерцающем туманном круге клубами двух дыханий наметились два лица: второе принадлежало ширококостному, приземистому, с бородишкой, человеку в простенькой, серошинельной поддевочке. Лицо Лихарева рассеяло страх, прятавшийся в глазах незнакомца,— последний засмеялся, протягивая руку в варежке:

— Водянов... Сергей Трофимович,— разрешите рекомендоваться. На граммофончик изволите? Позвольте, я сейчас еще спичечку вздую, чтоб видней. Вы не профессор ли будете? Иван Павлыч так и обещался, что новый номерок явится. — Он подсмеялся, скаля большие, желтые в свете спички, зубы.

— Да-а, на граммофончик иду,— тоже с чего-то заулыбался Лихарев, при свете третьей спички оглядывая нового знакомца.

— Э, да вы не глядите так на мои наряды. Мы это при первой возможности снять можем. Мы это, чтоб на жулика походить, сейчас обязательно надоть под жулика. Но мы хоть

и пугаем, а нас пугаться, извините, пе следует: мы ж люди безобидные! Безобидному-то и нужно под жулика рядиться, чтоб не обидели, истинпо говорю... Ну, вот мы, кажется, и доехали,— сказал Водянов, стуча в дверь четыре раза и потом еще один.

Они вошли в уже знакомую Лихареву прихожую. Встретил их сам Иван Павлыч, ставший вдвое оживленнее потирать руки при виде входящего Лихарева.

— Пришли же? — с радостным упреком и поиграв тощими бровями, кинул Елков, вешая лихаревскую шубу поверх целого вороха разных одежд. — Ну вот и прекрасно, вот и прекрасно,— я знал, что придете! — повертелся он. — А поленце принесли? — обратился Елков к Водянову, тотчас же поясняя Федору Андреичу: — У нас, видите, порядок — по поленцу! За обозревание паноптикума платы не взимается, но, в виде компенсации, за беспокойство... — Елков игриво тряхнул пальчиком,— по поленцу. Даже и в наши времена это не разорительно, раз-то в неделю!.. А позвольте, я вам помогу,— наклонился он к огромному водяновскому карману, откуда беспомощно и тупо выглядывало круглое березовое поленце. — Ну-с, прошу, кавалеры!

— Дело-то в том, что я порядков ваших не знал, полена не принес. Возмещу потом... в долг поверите? — засмеялся Лихарев.

— Ну, вот еще, пустяки какие! — отмахнулся хозяин. — Вы в нашем зверинце самый крупный будете, чудище, с позволения сказать... мезозавр!.. — рассыпался смехом Елков. — Ну, теперь ввожу, приготовьтесь,— что это вы карманы ощупываете?

— Носовой платок дома забыл... — вставил в елковскую трескотню Лихарев.

— А я уж решил было, что вы это из предосторожности... всех мастей карты в моей колоде имеются. Обратите вниманье на того битюга, Грещенко... обладает полумистической способностью хвосты у всех видеть. В наше, говорит, время бесхвостых нету, вывелись! А рядом, с ликом святителя выдающийся спекулянт по гороховой части, Косов. Тоже малость чем-то тронутый, только не разгаданный пока, иначе не тянулся бы ко мне... Дальше сами разбирайтесь, ступайте знакомиться! — Елков выдернул руку из-под лихаревского локтя и как-то мгновенно истаял в саднящем слоистом чаду.

В комнате,— это был елковский кабинет,— было дымно, и потом ошарашивала махорочная тошнотворность. Махоркой дымил усатый, которого Елков назвал Косовым,— усатый сидел в углу, за столиком, и спорил с печкой, кто больше напустит дыма.

Лихарев, разобравшись в лицах, плававших в дыму, пошел знакомиться.

— Кромулин, Алексей Георгиевич, поэт... — произнес настороженно пегий юноша, поджимая вдавленную грудь; пригладив прилизанный пробор, он шаркнул ножкой, повалил стул, вспыхнул и обиделся.

— Лихарев, профессор... — в тон ему ответил Федор Андреич.

— Сиволап,— сказал другой и протянул квадратную ладонь Лихареву, не сразу догадавшемуся, что это фамилию свою произнес стоящий перед ним массивный человек.

— Титус! — назвался третий мужчина, длинный и тонкий, вылезая из дыма. — Вы не щурьтесь,— вызывающе резко добавил он,— не псевдоним, настоящая! Моя фамилия — большая редкость, пожалуйста. Бывший капитан и рубака, а ныне тлен и раб прохвоста Елкова... — пожаловался он потише, щекотнув бакенбардами ухо Федора Андреича.

— Рытова,— с интонацией обиженного достоинства назвалась немолодая дама с волосатыми родинками по лицу. — Очень приятно.

Лихарева устрашили сидевшие дальше, на диванчике, мрачные люди, и он ограничился общим поклоном.

— Господа,— закричал Елков, когда все уселись,— все познакомились с Лихаревым, Федором Андреичем? Ну и ладно. А теперь попросим Алексея Георгича продолжать чтение своих стихов: подыхать, так с музыкой! — гримасничая, через всю комнату пояснил он Федору Андреичу.

— Я больше читать не буду,— покраснел юноша, останавливая близорукий взгляд на новоприбывшем.

— Почитайте, ну что с вами?.. Почему вы не хотите доставить удовольствие? — затараторила сморщенная старушка, выплывая из соседней комнаты.

— Это мамаша моя,— подхватил ее под руку Елков,— та самая... А это Федор Андреич, профессор бывших наук,— знакомьтесь, мамаша! Ничего, Федор Андреич, не краснейте,— она ж понимает... — сказал Елков нахмурившемуся Лихареву.

Сунул по дороге поленце в печку и отскочил в сторону, легко, как в танце.

— Не знаю, что это с Ваней делается, ума не приложу,— жалобно зашептала старушка, усаживаясь возле Лихарева.— По ночам все кричит во сне, днем с этими мазуриками связался... Словно в сумасшедшем доме живу. Вы меня Анной Евгеньевной зовите... меня Анной Евгеньевной зовут,— сокрушенно объявила она.

— Конечно, конечно, почитай,— что тебе стоит! — басом затрубил волосатый Косов. — У меня вот письмоводитель был, необыкновенный зуд к стихам имел. Раз казенное письмо в стихах исполнил, со службы выгнали, запил и сгиб. А что?— спросил он при общем смехе,— разве смешно? — И сам засмеялся.

Кромулин украдкой бросил вопросительный взгляд на Лихарева.

— Простите... Алексей Георгич, кажется? Читайте, читайте, прошу вас... — заспешил Лихарев. — Я, правда, незнаком с нынешними направлениями...

— Я без направления,— глухо сказал Кромулин,— но читать не буду.

— В прошлый раз обещал, Алеша,— укоризненно бросил Елков.

— Не могу, не хочется,— отвернулся тот.

— А про что же он больше пишет? — начал свой разговор со старушкой Федор Андреич.

— Как про что? — обиделась та. — Про Россию, батюшка, про Россию, господин профессор. В слезу вгонит, жалостно. Я уж и то намедни говорю, выкладывай все про Россию, не жалей меня, старуху... Он еще и про любовь пишет, только у него про любовь хуже выходит. Да и какая нынче любовь!

Старушка кивнула головой и, заметив, что невестка за каким-то делом зовет ее, пугливо тараща глаза, поднялась и уплыла.

— Так что же может он написать про Россию? — недоуменно и вслух протянул Лихарев.

— Виноват, что вы сказали? — грузно придвинулся к нему вместе со стулом Сиволап.

— Да вот удивляюсь,— пожал плечами Федор Андреич,— удивляюсь, что можно написать про Россию с таким лицом!.. Уж очень вид-то у него... пробор этот к тому же.

— А-а! — одобрительно отозвался Сиволап. — Вы про племянничка елковского? Так себе, горемыка бумажная, глаза б мои не глядели! Россия, можно сказать, родит в исторических, жизнеопасных муках, заметьте... потому что дите-то, чего доброго, может побольше матери оказаться на поверку... тогда плохо дело! Да тут песни требуются, литавры, в трубы пламенные надо трубить, чтобы, белые рубахи чистые надемши, сходились отовсюду народы к нам в место главного сборища... А они, пташки экие, вокруг порхают, свиристят невесть что! Мне бы их под начал, я бы... — Он осекся, закашлялся, приметив устремленные на себя насторожившиеся взоры елковских гостей, и отправился к столику посреди, где вместо угощения поставлен был графин с подкрашенной сиропом водицей и рядом полосатенький такой стаканчик.

— Некипяченая... — откуда-то и с понятной целью сказала старушка.

— Ничего, меня нонешняя зараза не берет! — туда же, в дым, кипул Сиволап и, нацедив, выпил два стакана разом.

Тут оказалось, Елков давно уж сидит возле Федора Андреича.

— Ну-с, какова коллекция? — похвастался хозяин. — Стоит поманить только, и идут. Страшно одному в пустыне-то ночной, вот и летят отовсюду на огонек... мошки разные, этакие жуки хватательные. И знаете, иной раз занятные штучки залетают...

— А кстати, кто вон тот, в валенках? — негромко спросил Федор Андреич, показав глазами на Сиволапа. — Из прозревающих, что ли?

— О, присмотритесь, коллега... распервейший враг мой. Но тянет нас друг к дружке взаимно, ни пятницы не пропустил... как, впрочем, и вы отныне станете ходить, хотя порою и со скрежетцем! — смешливо поскрипел Елков. — Ветеринар он, однако теперь вместо скотов и нашего брата, двуногих, по необходимости пользует... хотя все лекарства по-прежнему в лошадиных дозах предпочитает. Под номером сто десятым числится в моем собрании... Любопытную теорийку сочинил, будто птички, зайчики там, вообще скоты и есть нормальное колесо в колымаге природы... человечество же, напротив, есть колесо с оси соскочившее, которое вот и мчится по буеракам вдоль столбовой дороги и вопреки видимой логике, пока не успокоится в какой-нибудь канаве. Колымага же, видимо, и дальше проследует в нескончаемые века.

— Занимательно, непременно расспрошу поподробней при оказии... — приглядываясь к домодельному философу, заметил Федор Андреич. — А тот дальше, с бакенбардами, тоже из свихнувшихся мыслителей будет?

— Это Титус-то? О, любопытнейшая карта в моей колоде! — обрадовался Елков. — Имеет загадочный камень на душе, значительного веса и, видимо, причудливого содержания. Все стряхнуть хочет, а не может... плохо кончит, по-моему. Позвольте, никак началось... давно откровения от него жду!

Толкая новичка под локоток, хозяин повел Федора Андреича в угол, где в окружении небольшой аудитории, сосредоточась в одной точке и с недобрым блеском в глазах, долго, словно в дальнюю дорогу, набивал себе трубку Титус.

— Можно и нам, Сергей Яковлич? — присаживаясь в компанию, спросил Елков.

— Отчего же... — чуть поморщился тот,— только ведь я так, пустячок один. Мы тут спор завели насчет подсознательных человеческих побуждений, и так у нас получается, что все вроде ни к чему!

— Это в смысле добра и злодейства, что ли? — ловко вплелся в рассуждение Елков. — Так ведь эти вещи лишь на мелких, частных примерах людского поведения проследить возможно. А ежели в историческом разрезе да с близкого расстоянья взять...

— Начинайте же! — закричали со всех сторон.

Неверной рукой Титус поднес спичку к отверстию трубки, пустил клуб-другой махорочного дымка, потом дал спичке догореть в пальцах.

— Был у нас в Тридцать восьмой артиллерийской бригаде забияка один, Жеромский, крайне неприятный господин. Из оригинальности маску демоническую сочинил себе и, сплетничали, будто средневековый яд в перстне носил...

— Вот такие головорезы и прут с Деникиным на матушку-Москву. Дай им волю... — начал было Сиволап и замолк, зашиканный со всех сторон.

— А этот напротив,— вкось огрызнулся Титус,— хоть и с игрой был, однако над весьма многим задумывался, христианство критиковал, даже пытался искать правду жизни... в меру умственных способностей, разумеется! Незадолго до войны, поздней осенью все случилось, перед самым снежком. Стоял наш дивизион в ужасной одной дыре, каких и в России немного: до офицерского собрания — от квартиры триста сорок шагов

всего — в седле приходилось добираться. Ну, кто чем занимался в этакой тоске да грязище,— пили, банчишком баловались... мой Жеромский очень выпукло рыцарскую любовь к командирской дочке изображал, причем имел в этой части достойного себе партнера и соперника. В житейском обиходе, кстати, этот самый соперник Варнавин, много моложе его, довольно застенчивый и приятный юноша был. Началось у них, как всегда, с ерунды, с несогласия по поводу погоды и постепенно докатилось до неукротимой обоюдной ненависти. И так как нужна им была точка, ось для взаимного кругового преследования, то и выбрали ту чрезвычайно худосочную девицу с бархатной ленточкой на шее. Вертушка была и уже довольно зрелая, но за отсутствием других женщин и в обстановке постоянного боготворения чертовски расцветала иногда. Видать, оба холостяка ей нравились, но, как тоже часто случается, все тянула с выбором, промахнуться опасалась... И тут прибыл к нам, помнится, на учения инспектор артиллерийский: гаубичный бас, борода в аршин, самого только на лафете возить. Вечерком после муторных учебных занятий сидим за кофейком в собрании, балаболим, в карты режемся, кто что... Варнавин близ своей девицы, сидевшей с котенком на коленях, гитару щипет. Время позднее... и тут поднимается вдруг мой Кукович, внушительно просит всеобщей тишины...

— Вы его вначале Жеромским назвали,— вразумительно напомнил Кромулин.

— Пардон, словесная осечка... — с гримаской досады поправился Титус. — Подходит он к Варнавину с двумя бокалами, в один высыпает на глазах у всех содержимое из перстня, производит путаную рокировку бокалов раз и два, после чего предлагает противнику, поскольку дуэли запрещены, выпить наудачу за здоровье прекрасной дамы и тем самым под благовидным бескровным предлогом разрубить затянувшийся спор. «Не угодно ли, Владимир Каэтанович? — спрашивает. — Берите любую, мне — оставшаяся!» Тот заметно бледнеет от неожиданности одной. «Бросьте, Жеромский,— примирительно отвечает,— вы просто в карты продулись сейчас и лишнего глотнули... а вообще нам всем на боковую пора». — «Вот разопьем по последней,— цедит сквозь зубы Жеромский,— и разойдемся действительно в разные сторонки! Ну, полно трусить, прелестный вьюнош... ай кишка слаба?» Тут всеобщее замешательство, потому что все это бесконечно глупо, а во-вторых, у Варнавина, как оно положено в таких историях, престарелые родители,

сестрица неизлечимая и неугасимый талант к музыке. Вдруг наша барышня с черным ошейником поворачивает головку к Варнавину да капризно так: «Неужели вы божьего суда боитесь, Костя?» Ну, дура, дура!.. Наступает всеобщая похоронная тишина, слышно, как муха крылышки чистит...

— Какая же муха перед снежком-то! — почти любовно усовестил Елков.

— Специально посадил, ваше внимание проверить... — с выраженьем злого вдохновения в лице усмехнулся Титус. — «Ну, раз отказываетесь от моего тоста, я тогда оба за нашу даму выпью»,— Жеромский-то говорит и, прежде чем кто успел из руки выбить, опрокидывает залпом один бокал за другим, после чего садится на стул, начинает трубку раскуривать... Между прочим, перед командиром батареи, этакий апоплексический толстяк был!.. рюмка перед ним стояла,— по окончании разжал он ладонь, а она в крови вся от раздавленного стекла... вон как! И хотя впоследствии почти все возмущены были подобным вызовом, тем не менее ужасное дело сделано, и яд внутри начал свое действие, все смотрят осудительными глазами на притихшего Варнавина, который вслед за тем стремительно убегает. А по прошествии минут двух поднимается со стула и наш несостоявшийся покойник. «Действительно, расходиться всем нам пора, говорит, а за здоровье мое не бойтесь, поскольку это была всего лишь шутка... обычная сода была: после вчерашнего перепоя зверская изжога гложет!» И представьте, ушел как ни в чем не бывало...

— А Варнавин этот? — спросил кто-то со стороны изменившимся голосом.

— Помнится, застрелился он тут же, как ушел... неустойчивая натура был. Кроме того, с легкими у него было наследственное неблагополучие,— с неудовольствием ответил Титус. — Но я все это к тому лишь рассказывал, чтобы показать на примере моего Жеромского истинные потемки человеческой души...

Все в молчании курили, сосредоточенно сердясь на что-то.

— А видно, дрянное у вас офицерство было, коли никто вас за это как сучку не пристрелил! — после паузы с одышкой презрения подвел итоги Сиволап, снова и шумно отправляясь по воду.

— Да кто вам дал право думать, что это я, черт вас возьми? — в спину ему разъярился Титус.

— Господа, господа... — хлопотал среди галдевших гостей хозяин,— вступайте в дискуссии, однако же без драки, прошу вас...

— Вот и я тоже, поскольку вы заняли вниманье наше, хотел бы выяснить смысл как содеянного вашим Жеромским преступления, так равно и басни вашей в целом,— раздельно вставил Водянов.

— Ишь чего захотел,— жарко вступился за рассказчика Елков,— этак вам нынче маленькую цель подай, а завтра вам вообще высшей мудрости, а то и бога в этой червоточине захочется. Нельзя, батенька, быть столь привередливым, особливо в наши дни! А скажите, во всей истории людской, в Астиагах этих и Дариях, в героях корсиканских и македонских виден вам какой-нибудь единый замысел?.. в непрерывных злодействах во имя целей, так и не осуществленных никогда, во имя креста, полумесяца и других геометрических фигур, означающих личное благоденствие... в мультисожжениях и сажаниях на кол по три тыщи в шеренге, в расстрелах, резнях и потоплениях... Словом, сквозь всю эту кровцу и уголек просматривается вами какая-нибудь высшая мораль, мысль творческая? Ибо за все эти благородные порывы кровью сполна вперед уплочено. Вот вы на историю не злитесь, а на отдельную особь наваливаетесь, потому что в истории-то взять не с кого. А не надо бы, понимаете?.. не надо!

— Чего, чего не надо? — хоть и в драку готовый подступил Сиволап.

— Не надо, говорю, смысла искать в этом бурленье вещества... переселениях, извержениях вулканов, нашествиях саранчи, во всемирно-эпохальных преступлениях... — стал отступать Елков.

— А что надо тогда? — допытывался тот со сжатыми кулаками.

Оба они взирали теперь друг на друга с такой ненавистью, что уж вовсе необъяснима была и бессмысленна сила, соединившая их здесь.

— Из-за чего вы сцепились с ним, Елков? — засмеялся Федор Андреич. — Выходит, вы же целиком согласны с ним, что человечество не что иное, как сорвавшееся с оси и покатившееся самостоятельно под откос природы колесо!

— А ну вас к черту всех,—после паузы махнул рукой хозяин.—Давайте лучше музыку слушать... Господа, прошу внимания, завожу,— возгласил он. — Перед вами, господа, пред-

стает сам профессор Вергилий Ранзато со скрипкой,— прошу!..

Граммофон щелкнул пружиной, крякнул на повороте и, входя мало-помалу в силу, томно засвистел неистовой скрипкой. Выходило нечто румынское, но с писком. Елков, опустив голову, с неспокойным и усталым лицом думал о чем-то постороннем. Кромулин сосредоточенно грыз ноготь. Косов взволнованно бормотал что-то на ухо Титусу. Порой, когда Ранзато разделывал пьяниссимо, можно было услышать: «За кого же он меня принимает!»

— Ну, как вам эта адажийка нравится? — вновь лихорадочно оживился Елков, когда Вергилий Ранзато досвистел до конца свое соло. — Ну, а теперь я вам поставлю... знаете, кого я вам поставлю? — нескупо поулыбался он,— ха, вы себе даже представить не можете! Теперь вот из этой самой дырки будет петь... сам Тита Руффо! Да-да, тот самый, настоящий. Темперамента, зною в нем — казарму отапливать можно! Да нет, кроме шуток! Я на днях и грелся этим итальянцем, дрова все вышли...

Граммофон снова издал вначале несколько глухих непривлекательных звуков, и вот засевший внутри господин, верно с богатыми усами, запел, несмотря на тесноту ящика, нечто длительное и безутешное.

— Как, милейший Федор Андреич, нравится? — с гордостью обладателя спрашивал Елков, пока певец то возносился на недоступные обычному голосу высоты, то морским прибоем, с воркотанием, разбивался у ног роскошной красотки. — Подумать только, какой сытости была эпоха, чтобы с подобной, главное безответной беспечностью тратить жизненно необходимые соки по таким сущим пустякам...

— Какой у вас кот, я бы сказал, благоприятный... — невпопад пошутил тот, беря на руки вышедшего из-под кресла крайне упитанного кота. — На него и глядеть-то, знаете, даже слюна бежит непроизвольно. Отличный съедобный экземпляр! А что, если зажарить такого по поводу какого-нибудь там очередного торжества?

— Как у вас язык не сломается от подобного употребленья... — пугливо вскинулся Елков, отбирая на всякий случай у гостя своего любимца. — Матушка моя только для него и живет. — И вдруг задумался: — ...Вот, кстати, как полагаете, не совестно для кота жить?

— А чего ж стесняться? При ваших взглядах на цель существованья...

— Я так полагаю, что, направляясь в неизвестность, ни с чем не стыдно идти,— уклоняясь в свою мысль, перебил Елков. — Да и куда с ними, с такими вот людишками, идти? Да разве можно, голубчик, грязными-то ихними руками да деликатные зданья возводить! Да они, извините, весь этот деликатный домик по кирпичику растащат! Чего смеетесь? Посмотрите годиков через пять, сами увидите. Выпороть если их предварительно всех по разу, тогда, может быть, и... нет, по разу не хватит, по два надо! Впрочем, и тогда не выйдет ничего! — заключил он тихо.

— Но позвольте,— собрался возражать Лихарев, но Елков, рукой махнув и крикнув: «Заводу не хватило, кстати, извините, я иголочку переменю»,— побежал к граммофону. Тита Руффо стал хрипеть, и являлось опасение, не сломается ли от этого вся машина.

— Ну, как? — покрывал гуденье всего зверинца Елков, когда знойный итальянец, воспарив к небу, томно и жалобно спустился оттуда, как бы на обломанном крыле... — Силища ведь! Эх, как это говорится: если бы я не был Цезарем, хотел бы я быть Титой Руффой.

Косов сказал басом:

— Да, музыка колоссальная. Дивно, прямо дивно.

Некто из глубины откликнулся тенором:

— Действительно, вещь хорошая, но самый голос как будто подпитой.

Водянов горячо докончил:

— Нет, голос отчетливый, истинно говорю.

Елков с видимым наслаждением приглядывался ко всем троим. Федор Андреич поднялся и стал прощаться. К нему подошел Титус:

— Мы вместе идем, кажется... Нам ведь по дороге?

— Не знаю, мне налево.

— Как, разве налево? Ну, все равно... Не прощаюсь, значит.

Все выходили в прихожую.

— Сергей Яковлич! — громко, среди всеобщего шарканья, окликнул Титуса хозяин с выраженьем охотничьего лукавства в лице,— что это я вас хотел спросить?.. Вы тут упомянули, что в Тридцать восьмой служили, кажется?

— Ну,— ждал Титус.

— А долго ль вы там побыли?

Титус вскинул на мучителя мутные, красные глаза.

— Служил сколько? Сейчас, э-э... Полтора года служил, вот.

— Полтора? — повторил Елков. — А не знавали ли вы там прапорщика Ишменецкого, Казимира Игнатьевича... двоюродного брата моего?..

— Так разве он вам брат двоюродный? Вот ка-ак... — протянул Титус, осторожно берясь за скобку двери,— как же, как же! Умный малый, только горячка такой...

— Вот и поздравляю, не было у меня там никакого Ишменецкого, не было-с! — Верхние веки Елкова, опущенные низко, наполовину срезали зрачки. — Как же тогда-то?

— Я ведь и не настаиваю, не настаиваю,— забормотал невнятно при общем молчании Титус и, рванув скобку, исчез за дверью.

К Лихареву, как бы затем, чтоб оправдаться, подошел Елков.

— Видали, экземплярец какой?.. Объясните его поведение! Главное в том, что ведь он и действительно в Тридцать восьмой служил, я уверен, что так. Приходите-ка в пятницу,—поленца можете не приносить, вы еще покуда гостем у нас... Мезозавр Андреич. Еще не такие фортеля увидите!

— Нет,— грубо ответил Лихарев, надевая калоши,— не приду, пожалуй.

— Придете, Мезозавр Андреич... зачем неправду говорить? — с укоризной заметил Елков.

— Врешь, черт, не приду!! — бросил Лихарев, надвинул шапку и вышел.

Внизу в темноте под лестницей ждал его Титус.

— Вы мне вот что... — начал он, шаря пуговицу на лихаревском пальто. — Вы мне верьте, это не я Варнавина сгубил!

— Я вам и верю, отчего не верить?.. — с непонятным отвращением отозвался Лихарев в темноте, чувствуя, как вибрирует каждым кусочком нервов странный этот экземпляр елковского паноптикума.

— Вы, может быть, думаете, что я просто так, жулик, а я ужасно как мучаюсь... и даже хотел у вас попросить...

— Да излагайте же, в чем дело, черт вас возьми: торчим с вами на сквозняке...

— Видите, какое у меня дельце... как-то не позаботился вот с утра, и к вечеру оказался без единого рублишка. А мне при моих обстоятельствах без денег возвращаться просто зарез. У меня, знаете, дома очень нехорошо! А давеча что-то на ред-

кость симпатичное в вашей манере... ну, подкупило меня! вот я и решил: у профессора и перехвачу. Не окажете ли на несколько дней доверие?

Голос Титуса звучал заискивающе, но выражения глаз не прочесть было в потемках.

— Правду сказать, я и сам не при деньгах,— замялся Федор Андреич. — Много ли надо-то вам?.. надо посчитать сперва, может, и наскребу немножко.

Нашлась спичка, при ее желтом шарахающемся свете Федор Андреич коченеющими непослушными пальцами принялся расправлять смятые бумажки из кармана. Между прочим, он обратил внимание, что Титус смотрел не на руки ему, как теперь полагалось бы, а испытующим взором в самое его лицо.

— Мне бы миллионов хоть сорок на первое время... — сказал Титус.

— Вот здесь их ровно пятьдесят восемь, половина ваша! — и, на глазок разделив свое сверхэпохальное богатство пополам, протянул половину Титусу.

— Вот спасибо... мне как раз за починку сапог платить и еще текущие расходы! Я вам их вскорости же, в очередную пятницу и возвращу...

Сразу хлопнула за ним выходная дверь... и вдруг Федору Андреичу показалось, что не деньги нужны были Титусу, а замаскированная в просьбу потребность выяснить отношение к себе постороннего сурового и порядочного человека. И Федору Андреичу стало смешно, что кто-то на свете еще мог дорожить его мнением о своей особе.

VII

Федору Андреичу отперла Елена, держащая лампочку с приспущенным фитилем, несказанно бледная и дрожащая. Но Федор Андреич не увидел ее, весь сосредоточенный на своем. Еще на улице стало больней сжиматься сердце, а тоска, всегдашняя спутница удуший, затемняла разум.

— Я там тебе на столе покушать оставила, закуси, а чай холодный в чайнике синем,— сказала сестра, запахиваясь в шубку и неудержимо кашляя.

В комнате было темно. Елена внесла лампочку и поставила на стол, но тьма обступала по-прежнему чадный керосиновый огонь. Есть не хотелось. Федор Андреич отодвинул стул от стола и сел.

В сердце совсем перестало колоть. Где-то под столом, в уголке, поцарапалось коготком. Федор Андреич напряженно вгляделся и увидел крохотную мышку, которая блеснула глазком и метко скользнула в еле заметную дырочку, темневшую у плинтуса стены.

«Какая маленькая»,— подумал Лихарев про мышку и снова ждал, забывая даже ногу за ногу заложить. Снова она, мышка, перебежала к шкафу и обнюхала краешек, на котором уже виднелись острых зубок ее белые следы. «Меня боится,— мелькнуло у Федора Андреича, и потом еще: — Небось и потомство есть, она для них ищет...»

Нечаянно появилась хитрая мысль, что ведь мышку нетрудно поймать и рассмотреть вблизи, что за мышка. Федор Андреич, прикидывая возможности, сощурил левый глаз. Делать было все равно нечего, а ложиться Федор Андреич боялся, припадок мог застать его на кровати и в темноте. Мало ли какие мысли приходят наедине с собою!

В соседней комнате с глухим кашлем проснулась сестра. Федор Андреич подождал две минутки, пока затихло, потом взял со стола коробку от макарон, принесенных Мухоловичем, выправил промятое дно. Мышка мгновенно спряталась. Лихарев стал на коленки и полез под стол. «Как выскочит, так и накрою, никто не видит».

Окно было по-прежнему подернуто перегнувшимися туда и сюда мезозойскими листьями. В комнате стояла тишина, везде вокруг тоже была абсолютная недвижность: все жадно насыщалось сном. Сделав губы калачиком, Федор Андреич затаил дыхание и приподнял край коробки: «Вот я ее сейчас и прикрою...»

— Только сразу нужно накрывать, а то убежит! — сказал кто-то сзади знакомым голосом.

Лихарев дрогнул и, разжимая руку, выглянул из-под стола. На кровати, заложив ногу на ногу, сидел ферт. Свет, скошенный абажуром по кривой, упадал на сложенные руки ферта,— лицо его, ухмыляющееся ехидно, оставалось в тени. Дверь в кухню и, помнится, на улицу оставалась незаперта.

Федор Андреич выполз и поднялся. Мозг работал с отчаянным напряжением, в висках мерно и глухо пульсировала кровь. Бочком, чтоб не выпускать ферта из поля зрения, Лихарев направился к двери.

«Дверь была открыта... Сестра забыла ее закрыть»,— сказал он, берясь за скобку.

«Нет... это я,— пройти прошел, а затворить забыл»,— возразил ферт и, соскочив с кровати, перед самым носом Федора Андреича прихлоппул дверь.

За скобку они держались вместе, рука ферта была как лед. Отходя, ферт задел неосторожно локтем прямо в бок Федора Андреича, под самое сердце.

«Ну, это уж хамство!» — с озлоблением выкрикнул Лихарев и покривился от болезненного душевного вывиха, похожего на тот, какой бывает в плече от удара в пустоту.

«Слава богу, сдвинулись...» — фыркнул ферт; не рассчитывая на ответ, он снова уселся на кровать.

Лихарев не отвечал и все глядел с презрительной усмешкой в убогое, испитое лицо ферта.

Ферта никакого он и знать не хотел, но мысль о том, что кто-то, хотя бы этот несуществующий, видел его на четвереньках, была ему обидна и болезненна.

«Вы меня не опасайтесь, Федор Андреич, я никому про это болтать не стану... Да у меня и память прескверная, все равно забуду! — не переставал лезть с разговором ферт. — Но только и вы уж никому тогда не говорите — вот и будет у нас маленькая, наша, тайна...» — В этом месте ферт даже улыбнулся, фамильярно распялив губы.

Федор Андреич не менял своего решения молчать и не замечать ферта,— но глядел и глядел, не отрываясь. Невольно, вспомнив елковские слова, подумал Лихарев, что, пожалуй, и вправду не перестать ему, Лихареву, ходить по пятницам в елковский застенок.

«С Россией-то что делается!..» — опять с лукавостью начал ферт.

«Да что с ней делается? Ничего с ней не делается...» — не выдержал Лихарев.

«Помилуйте, Федор Андреич! — радостно зашептал ферт, ерзая по кровати, так что одеяло должно было бы сбиваться на сторону. — Что вы, Федор Андреич, миленький, да ведь экзамен, так сказать, держат. — Ферт патетически всплеснул руками. — Мелкий человек экзамен держит, коленки дрожат, сердчишко трепыхается,— а вдруг да выдержит? — Тут ферт даже с кровати привстал. — Вот Елков уверяет, что, мол, кирпичик по кирпичику растащат, а вдруг да врет пошляк Елков? Он гибели хочет, потому что в ней все его оправдание!.. Нет, а кроме шуток,— вот возьмут да и не растащат. Ведь какие дела-то сотворятся! Все наизнанку вывернется,— светопреставь-

ленпе, смерть мухам... К несчастью, у нас с тобой, Федор Андреич, уж больно размах-то нечеловечий... Вот пойдет завтра он, Ванька наш, кирпичики класть, сооружать деликатное-то зданье свету всему на удивленье и на устрашение миллионам Елковых, черт бы их взял, а?.. Класть будем и плакать будем... Слезами прозренья мир затопим, Федор ты мой Андреич, родненький. Вот дела-то сотворятся, эпо́пия!..» — Ферт, уже не сдерживаясь, затрясся весь в беззвучном смехе.

«Ты это не хорошо делаешь, что смеешься,— поморщился всем телом Федор Андреич, внимательно, впрочем, прислушиваясь. — Про такие вещи стоя надо говорить, а ты морду строишь...»

«Стоя? Это нам-то с тобой стоя? Да бог меня упаси! Я ж все это тебе для смеху болтал... чтоб тебе же веселей стало. Ты думаешь, и в самом деле не растащат? Да разве ж это люди? Пузыри, на вековой тине пузыри, и вонь внутри... точно! Ах, Федор Андреич, ах, милый,— нельзя же в наши дни таким ребенком быть. Зачем правды бояться? Человечина — штука земная, зачем с нее разных там благородных штук спрашивать!»

«Каких это штук?» — переспросил Лихарев и тотчас же вспомнил, что уже слышал где-то этот же самый вопрос.

«Человечности, человечности, милостивый государь, вот чего! За благородство, за правду кровью платить надо, а кровь — она дороже всяких правд стоит...» — Тут ферт присвистнул даже.

«Брось, брось, это все елковские выверты!» — сумрачно вставил Лихарев.

«А какие же тут выверты: растащат по слабости человеческой, как пить дать!.. Между нами-то говоря, и сам ты... пускай один какой-нибудь кирпичик, но предпочтительно из фундамента, тоже утащишь... заместо бювара на стол положить!»

«Кто же это мне позволит, из фундамента?» — покосился через силу Федор Андреич.

«А никто... сам же, чуть подоспеет случай, так и возьмешь под тем предлогом, что из-за одного-то вся махина не рухнет, не развалится. Ведь и у каждого так на уме!.. люди как дети, дети, они и есть самый жестокий и распотешный народ на земле... и в том, пожалуй, единственный смысл и оправдание всемирной истории всей. Сперва воздвигнут что-нибудь этакое из зыбкого песочку, а после сами же ножкой и сровняют с землей... и нечего с них спрашивать. Я так думаю, Лихарев,

ничего нет вреднее для людей, как лучше думать о них, чем они есть. И не лесть им воспевательская, не гнев за великие провинности или жалость за безмерные страдания,— им голая, стопроцентной крепости справедливость нужна, из десяти пунктов комендантское расписание, как у Моисея! Конечно, иных похвалить, иных постегать придется, как же без того! Да одного твоего папашку взять: ведь степенный был, душа общества, покровитель трезвости и благомыслия, а ведь при случае подвернись ему под руку благодетель твой, Мухолович, скажем... так он бы его знаешь как?..»

«Ты отца моего не тронь,— рванулся Лихарев и чуть не до полу согнулся, запуская гипсовым Томсеном в ферта. — Пошел вон...»

Тот ускользнул, успел просочиться в дверь, и бросившийся вдогонку Федор Андреич чуть не рухнул на разбуженную этой перепалкой сестру.

— С кем ты воюешь, Федя?.. что с тобой?

— Я ему покажу, как хамить со мной,— с сумеречным, невидящим взором рвался вперед Федор Андреич. — Пусти меня к нему...

— С кем ты, с кем? — не понимая ничего, жалкая и зябнущая, твердила сестра.

Федор Андреич только ахнул в ответ и, качнувшись дважды, упал на пороге в коридорчике. Сердце его окунулось в колючую, непереносимую боль и, казалось, перестало колотиться.

Войдя в комнату брата, Елена увидела несчастного Томсена и догадалась. Она потерянно обвела глазами мрачные, сырые, в плесенной сыпи, стены и закашлялась. Это в первый раз за все время с переезда к брату она кашляла так больно и длительно. Это в первый раз с той минуты, когда закончился дневничок, у Елены горлом показалась кровь.

VIII

В очередную пятницу тем объяснял себе Лихарев свое намерение навестить елковский зверинец, что нужно же, мол, проветриться и с Титуса должок получить, очень необходимый вследствие случившейся у Лихарева денежной заминки.

Все уже в сборе были, когда вошел Федор Андреич,— все, за исключением Титуса. А из граммофона надрывался уже

русского происхождения горластый мужчина про какой-то крест, висящий у него на груди.

Лихарев поклонился, перхая от дыма,— сообразил, что за руку можно и не здороваться, огляделся и сел в уголок. И почти тотчас же возле него оказался Кромулин.

— Простите, Федор Иваныч, на минутку займу ваше внимание... — заговорил он чахлым, прерывающимся голосом.

— Андреич... — сухо поправил Лихарев, недоброжелательно косясь на граммофон.

— Разве Андреичем? А мне Иван Павлыч так сказал, что Иванычем... извините,— кромулинские уши загорелись красным, а сам он заискивающе и виновато заглянул в глаза Федора Андреича. — Я ваши книжки читал, очень вас за них уважаю, и вот о чем сказать хотел вам... об этом вот...

— О чем же таком именно... об этом? — раздражаясь его суетливостью, спросил Лихарев.

— А вот о чем,— начал Кромулин, пытаясь выбирать слова пожестче и попроще, чтоб не так ему, Кромулину, стыдно было; таилось в нем нечто готовое в любую минуту распуститься неутешными ребячьими слезами. — Вы... прошлый раз, когда вон там сидели... вы подумали... подумали, что я дрянь, что я даже...

— Позвольте, да откуда же вы взяли? — недоуменно выпячивая нижнюю губу, попытался остановить кромулинский наскок Федор Андреич.

— Да-да, я знаю, вы не отнекивайтесь,— поэт задвигал носом, а руки его стали еще подвижнее. — Вы в прошлый раз Сиволапу говорили, что я не чувствую России, не понимаю...

— Положим... — терпеливо ждал Лихарев.

— А я вам хочу сказать, что я не дрянь, потому что я ее понимаю... чувствую... — с дрожанием в голосе закончил Кромулин. — А я не могу даже жить, когда знаю, что обо мне кто-нибудь плохое думает...

— Ну и слава богу,— вторично попробовал отвязаться от навязчивого молодого человека Федор Андреич. — Ее, Россию-то, главным образом и нужно понимать... а еще того лучше — понимать и молчать о ней. Молчание наилучший разговор-с!

— Зачем же вы презираете меня? — вспыхнул Кромулин. — Позвольте... я вам сейчас стихи прочту, я для вас нарочно и писал... Вы тогда увидите всего меня, увидите!

— Ну, что ж, спасибо... Только вы напрасно беспокоились, я ведь в стихах... не особенно. — Лихарев пожалел его и потому согласился. — Ладно, читайте уж.

— Ничего, у меня понятные! Я только что написал их... не отшлифовал еще как следует. Называются они: Тебе, Россия.

Лихарев переспросил, с усталости закрывая глаза:

— Как, как называются?

— Тебе, Россия! — Ответив так, Кромулин подвинулся к Лихареву поближе, кинул досадливый взгляд на Сиволапа, который жевал собственный ус, прислушиваясь, и начал нараспев, по моде тех лет, читать в лихаревское ухо:

В тот страшный вечер перестанут
Слепые ветры гнать судьбу;
Сберутся птицы и заглянут
На возлежащую в гробу...
И, подпимаясь с грозным криком,
Отчаянным, как в дни Суда,
Они расскажут всем о диком
Конце...

Я тут рифму пока не подобрал... но самый смысл-то — вы понимаете? — смутясь, заговорил Кромулин.

— Ну-ну, читайте же дальше! — Федор Андреич яростно покрутил головой.

Кромулин продолжал окрепшим и бодрым голосом:

Но с полюсов и с Гималаев,
Крутясь столбами, в дальний путь
Пойдут снега, чтобы, растаяв,
Тебя в кольцо свое замкнуть.

И вновь, как встарь, ледник возляжет
На ветровой твоей груди...
Россия,— кто кому расскажет
О том, что было позади?..

— Все? — спросил Федор Андреич, когда Кромулин затих и щурил глаза на сиволаповский валенок, притопывавший, словно кого-нибудь давил. — Что ж, стихи у вас ладные вышли,— хотя ветровая грудь мне не шибко нравится. А во-вторых, вы что ж, под Гималаями Китай, что ли, подразумеваете?.. Китайцы — темка, большого размышления достойная!..

— Нет... это в поэтическом смысле,— увильнул, ужасно багровея, Кромулин.

— Угу, та-ак... — со вздохом протянул Федор Андреич. — У вас что, чахотка, что ли?..

— Да, у меня оба затронуты... а вы как об этом догадались? — Кромулин, сутулясь, робко поднял на Лихарева голубоватые, цвета линялого ситца, приговор ожидающие глаза.

— Оно и по стишкам видно! — не выдержав, вмешался Сиволап и подошел ближе. — Вы, молодой человек, по России... — он поправил выглядывавшее из кармашка пенсне, словно собирался в рукопашную,— не убивайтесь! У вас Россия не в сердце, а на языке. Вы б пописывали про напрасную любовь, и безвредно и жалобно, куда вам! Уж больно всем вам хочется, чтоб прежде вас умерла, а она назло тебе возьмет да и выживет. Ведь непременно хочешь,— настойчиво продолжал Сиволап, хотя Кромулин только одного хотел, чтоб отодвинулась от него эта липкая, грузная гора человечины,— хочешь, чтоб унизилась паче меры! А когда унизится — сядешь, возьмешь лиру и восплачешь... — взъярился Сиволап. — В тебе сердце такое, что в наперсток влезет, крохотное!.. И кабы пришли да вспороли всех нас, мужиков и баб, просвещенные усмирители, ты бы ожил тогда!..

— Бросьте, нехорошо вы говорите,— поморщился Лихарев и задвигался на стуле.

— Да нет, чего уж там... А ты тайгу нашу знаешь?.. ты видел ее, тайгу?.. — перекрикивая граммофон, щетинился Сиволап.

— А вы, господин, вы в Чеке не служите? — мелко дрожа и с сощуренными глазами прошипел Кромулин, порываясь вскочить на обидчика.

— Я? Эх ты, бычок несуразный... Михрютка... — совсем запьянев пафосом, грохотал Сиволап шатающемуся Кромулину. — Ты поди сам голыми-то руками поля пахать,— вот тогда и пой...

— А ты сам пашешь? — напряженно улыбаясь, спросил через всю комнату слушавший все это Елков.

— Что ж, кабы не возраст поганый да сердце, может, и впрягся бы... — издалека откуда-то откликнулся Сиволап. — Впрочем, пока еще есть время впереди...

— Вот как холку-то пособьют тебе, приползай лечиться тогда! — как-то звеняще кинул Елков.

Тут разгульная и немолодая, видимо, дамочка стала покрикивать из граммофона с приглашением улететь в дальний край ради свободы, любви и наслажденья.

Никто, кроме Федора Андреича, не приметил, как в дверь, неслышно при поднявшемся гаме, заглянул Титус. По тому,

как он неискусно шатнулся было на пороге, напустив на лицо выраженье бесшабашного удальства, вначале, кажется, было у него намеренье выдать себя за пьяного,— но быстро спохватился, так что, когда и остальные обратили на него вниманье, он выглядел, пожалуй, даже слишком трезво для подобной компании. Как если бы только его и ждали все, ссора тотчас была забыта и все замолкли враз, кроме разволновавшейся певички; кто-то из вблизи стоящих нажатьем рычажка остановил пластинку.

Не снимая шапки, еще со снежком на плечах, Титус прямиком проследовал к печке и, наклонясь, грел руки у раскаленной докрасна чугунной стенки.

— А мы уж, признаться, решили, что ты и не заявишься к нам боле после того вечерка,—почти дружественно обратился к нему Водянов, верно, в надежде на столь же занимательное продолжение рассказа.

Тот не ответил, словно не слышал. И уже бежали про него сниженные до шепота разговоры вокруг:

— Это он на костерок забрел. Атавистическая привычка, не может человек отказаться от огня: пускай хоть стружечка махонькая полыхает, а ведь как-никак все же — щепотка солнца в ней.

— Да я сюда, господи, только ради этой печки и хожу... по нынешнему времени — королевское сооружение, цены нет!

— А как он пожухнул-то с прошлого раза!.. — и не могу уловить, чего это изменилось в нем? Видать, имеет нарыв на душе...

— Это хвост у него подрос... вот на нем он и задавится!

Сейчас все уж откровенно ждали продолжения от Титуса, кто-то даже подставил ему стул для удобства. Он сидел перед открытой печной дверцей, свесив меж колен руки, на которых багрово играли отблески огня, ловко уплетавшего полено. Что-то непоправимое происходило с этим человеком, и если только не сыпным тифом заболевал, значит, бывают и другие недуги, что сопровождаются подобным же помутненьем взора, чернотой глазниц, безразличием к окружающему. Но, что бы ни происходило с ним, значит, даже на людях, в мучительной обстановке перекрестного любопытства, было ему все же легче, чем наедине с собой.

— Вот и начнем, пожалуй, наш большой разговор... — с аппетитом приступил к делу хозяин. — В тот раз, Сергей Яковлич, после вашего ухода, долго мы еще тут обсуждали

ваше любопытнейшее недоразумение с Варнавиным. И волей-неволей пришли к такому заключению, что главную-то часть вы нам и не досказали... утаили от общества, так сказать. И решили тогда отложить вопрос до новой пятницы... если в настроении окажетесь!

Титус обвел всех медленным отсутствующим взором:

— У меня дома, кроме всего прочего... окно без стекол, одеялом забито,— чуть не по слогам, как в лихорадке, произнес он. — И надо всю ночь ходить... и вот я ходил всю прошлую ночь.

— А может, лучше музыку послушаем? — пожалел его Кромулин.

— Музыка завсегда при нас, вон она! — кивнув на ящик, настаивал Водянов. — А тут живое слово... Да ты чего жалеешь-то ее, накипь с души?

— Может, стыдно ему самое главное-то открывать... — высказал кто-то догадку со стороны.

— Э, сейчас, милые, уж никому ни про что не стыдно,— махнул рукой Водянов. — Да ты слышишь ли нас, Сергей Яковлич?

Тот поднял, верно от непогоды и гляденья в огонь, покрасневшие глаза:

— Я же сказал вам тогда, что был, а мне возразили, что не было... — с трудом проговорил он.

— Так ведь Ишменецкого-то черт этот, Елков, действительно для проверки, вроде мухи вашей, выдумал, а мы сейчас про Тридцать восьмую бригаду говорим... — добивался чего-то Водянов.

— Тридцать восьмой не было,— тускло отвечал Титус.

Водянов быстро переглянулся с Елковым, словно нуждаясь в быстрой медицинской справке.

— Это нам и без того ясно, Сергей Яковлич, что из понятных соображений изменили вы и номер бригады, и фамилии участников,— тихо, как к ребенку, обратился Елков. — Но мы ведь и добиваемся всего лишь этого... постигнуть истинную пружину описанного вами происшествия. Жеромский-то был ведь?

— Жеромского не было,— качнул головой Титус, не отрываясь от огня.

— Правильно, поскольку под Жеромским скрывается некоторое иное лицо, но ведь Варнавин-то...

— И Варнавина не было. Они все умерли, их никто не помнит... — запинаясь бормотал Титус. — А чего уж не помнит никто, значит, того и не было...

— Блестящая мысль... — в колено толкнув Федора Андреича, чтоб не отрываться от допроса, вскользь шепнул ему Елков. — То, чего не помнит никто, того могло и не быть... отсюда все существует, пока есть кому помнить... и кто знает, может быть, бесчисленное множество, кроме памятных нам, осталось позади криков, убиений и мечтаний!.. но вот все вчистую померли, кому полагалось бы благоговейно помнить это... и, значит, когда-нибудь также канут в ничто и наши нынешние судороги и воздыханья. Так что вот уже и нет ничего, и вот вам весь чертов смысл истории, и вот уже можно, кому нравится, начинать ее наново... Приступайте, уважаемые потомки!.. Обратите вниманье, господа, кажется, все мы довольно успешно начинаем сходить с ума... довольно щекотное ощущенье, не правда ли? — Вдруг он по-сумасшедшему невидящим взором уперся в недвижное лицо Титуса. — Но ведь выто, Сергей Яковлич, вот он, пощупайте себя... вы же себя-то помните пока, значит, существуете... ну!

— Нет,— шевельнулся тот,— я тоже умер. Никого не осталось.

Здесь полагалось быть самой интересной страничке того вечера, «о резекции души!» — как доверительно пошутил Федору Андреичу сквозь зубы Елков... и, очевидно, следовало ждать от приходившего в себя Титуса хотя бы частичного пояснения его недуга, но вдруг произошел переполох — из-за внезапного, чреватого многими последствиями во вьюжные ночи тех лет, нетерпеливого стука в заднюю дверь. От предчувствия наихудших неприятностей все повскакали с мест и замерли, пока трясущаяся со страху хозяйка ходила открывать почти крепостной у Елковых засов. Вслед за тем взволнованный девчоночий голосишко громко назвал на кухне фамилию Лихарева, и тогда все разом осмелились загалдеть, каждый на свой лад. Оказалось, Елене стало очень плохо, у нее шибко пошла горлом кровь... При уходах Федор Андреич неизменно оставлял адрес, где его искать при нужде, хотя возможность этой внезапной потребности в нем совпадала в сознании Лихарева с понятием чуда, и вот перепуганная соседка, несмотря на поздний час и вопреки сопротивлению больной, послала дочку на его поиски. Только высшая душевная привязанность к обреченной лихаревской родственнице могла толк-

нуть обеих, мать и дочь, на столь беззаветный, по ночному времени, подвиг.

И настолько интересный оборот с Титусом намечался как раз, что Федор Андреич направился в прихожую не без некоторого сожаления; признаться, имелась и другая, не для широкого оповещения, причинка, тормозившая, казалось бы, естественный для брата порыв души. При всей общепризнанной порядочности Лихарева, возможно несколько преувеличенной его незаурядной научной репутацией, нередко странное темноватое чувство этак подобно ледку сковывало его — как раз в моменты, когда требовалось поделиться частицей сердечного тепла с кем-нибудь из близких, попавших в беду; экономя свое душевное равновесие, необходимое ему для свершений на поприще науки, Федор Андреич как-то и не пытался никогда рассматривать эту гадковатую свою особенность... Словом, не столько долг и совесть, а скорее стыд перед почтительно взиравшей на него, вконец зазябшей девочкой заставил Федора Андреича столь быстро покинуть натопленную, насквозь пропитанную уютным, наводящим дремоту дымком, до ненависти пришедшуюся ему по сердцу елковскую дыру.

В три небрежных маха Лихарев разыскал свое пальто в ворохе сваленной прямо на пол чужой одежды, всадил с ходу ноги в громадные, хлюпающие на ходу фетровые ботинки и опрометью ринулся вниз по лестнице. По счастью, никто не попался ему навстречу.

IX

За руку девчонку прихватив, чтоб не отбилась в ночном, хуже пустыни страшном городе, Федор Андреич мчался домой по каким-то извилистым и, как положено быть во всякой червоточине, темным улицам, мчался во весь дух — даже порой с риском вызвать преждевременный припадок, мчался, на бегу выспрашивая у маленькой спутницы своей, при каких о н о обстоятельствах случилось, посредством чего обнаружили. И правду сказать, смысл его допроса заключался не столько в стремлении выяснить состояние Елены, а — в каком приблизительно масштабе ожидают его хлопоты по возвращении па квартиру.

Постепенно прояснялось, что соседка постучалась к Лихаревым вернуть взятые накануне десять спичек, но дверь стоя-

ла незапертая, так что, войдя на кухню, она прямо и наткнулась на Елену Андревну в ее шубке, лежащую, подогнувшись на бочку, с лужей крови возле головы и рядом пшенца тюричок, рассыпанного при паденье. Можно было подумать, что это грабители, так почудилось сперва при жалком свете коптилки, а уже на крик соседкин ворвалась и ее девочка, рассказчица, и таким образом всякий жуткий пустячок в описанье случившегося, вроде бегавших по крупке мышек, следовало считать вполне достоверным свидетельством очевидицы.

Федор Андреич, конечно, и без нее знал, что положение сестры безнадежное, и это несколько облегчало ему досадное чувство вины, что в суматохе упустил из виду прихватить с собою доктора Елкова, а бежать за ним три улицы назад — просто и духу не хватило бы! Словом, обстоятельства сложились так, что Федору Андреичу можно было и не торопиться. В сущности, абсолютно ничем теперь помочь сестре он уже не сможет, да и самой Елене при ее просто неописуемом душевном благородстве приятнее будет отмучиться, уйти из проклятой жизни совсем тихонечко, не причиняя затруднений никому; впрочем, Федор Андреич и сам был согласен, чтобы и с ним о н о произошло без посторонних свидетелей. В силу всего этого он даже остановился передохнуть посреди одной горбылем вздувшейся площади и в одышке стоял без шапки, глядел в бессмысленную высь, пока снег лепился ему в глазницы и на седую, вспотевшую от бега голову.

Так он выстоял никак не меньше полминуты с невыразимо острым и целительным ощущеньем, как постепенно, затягиваясь благодетельной пленкой времени, становится прошлым почти невыносимое настоящее. Уже согласованные между собою, еще роились давешние мысли, и на первом месте — о необходимости сбережения души для предстоящих впереди свершений... он опять повторил себе, что и самой Елене Андревне при ее исключительной душевной щедрости было бы приятней, чтобы брат не тратился на бесполезное отныне состраданье к ней, а лучше бы, согласясь на предложенье Мухоловича, сохранял бы силы для продолженья великого труда о климате мезозоя... Но тут ему представилось вдруг — а что же будет, если вся его нация от моря до моря превратится в этакую мертвую груду окаменевших сердец, и кому тогда к черту понадобится его ученая ахинея! И так на мгновенье стыдно стало Федору Андреичу, так жалко одинокой, в насквозь промороженной квартире, всегда такой безответной

сестры, что, чертыхнувшись и всхлипнув чуть не навзрыд, с новой тоской ринулся в оставшийся путь.

Сам Федор Андреич, в сущности, никогда всерьез не болел и оттого имел преувеличенный страх перед любым нездоровьем, и потому по мере приближенья к дому воображение рисовало ему невероятные картины Елениной поломки, состоявшие из крови, крика и кромешной боли. Тем более насторожила его стоявшая в квартире тишина, оглашаемая лишь стуком пудового маятника из его рабочего кабинета. Только свежеподмытое пятно на кухонном полу выдавало приключившуюся, уже часа два назад, неприятность с сестрой. Елена Андревна лежала у себя в нише, на коечке, для тепла накрытая поверх одеяла старенькой теткиной шубкой с лисьим воротником. Нетронутый стаканчик чая стоял в головах у ней, на столике, и только что заправленная лампа, керосиновая. У водопроводной раковины выжимала мокрую тряпку соседка, которая заодно произвела небольшую приборку в квартире, хотя, в сущности, сора в ту зиму нигде не бывало. При появлении Федора Андреича она неслышно, с опущенным от почтения взором, скользнула в дверь, так как, по-видимому, наслышана была от больной о его первостепенно важном для культуры мезозойском труде.

Именно это печальное благообразие и подчеркивало происшедшую катастрофу, значения которой для будущего лучше было даже не устанавливать пока; очевидно, и сестру терзала та же мысль о завтрашнем дне профессора Лихарева... Заслышав шорох на пороге, Елена попыталась повернуть голову, но из-за слабости сделать это ей не удалось, и брат сам догадался войти в поле ее зрения.

— Ну, поотвлекся немножечко? — так проникновенно и приветливо спросила сестра, что у брата непрошеные слезы встали в горле. — Вот далеко только, а то неплохо где-нибудь душу-то отвести...

Он придвинул табурет к койке Елены:

— Слушай, да как же так произошло все это?.. ведь раньше-то крови у тебя не случалось!

— Нет, и раньше бывала, Федя, скрывала я, чтоб зря тебя не расстраивать,— кротко пояснила Елена Андревна. — На юру стояла в очереди, с вечера еще продрогла вся... ну, как номер-то начертили мне в ладошку чернильным карандашом, так и побежала домой горяченького хлебнуть... да тут запершило сперва, потом сразу теплота в гортани обозначи-

лась... и вдруг такая приятность, знаешь, словно в длинной люльке понесло меня куда-то! Очнулась уж на полу...

— Ничего, к утру встанешь... — грубым голосом, чтоб не разреветься, для поддержания скорей себя, чем сестры, сказал Федор Андреич.

— Хорошо бы, кабы подняться-то мне! А то в очереди завтра сальце обещали по шестому талону выдавать... Постирать тебе собиралась, а не могу, извини!

— Вот я к тебе завтра Елкова приведу, чтобы прописал тебе что следует...

— Что ж Елков-то, ведь он не бог! — улыбнулась Елена Андревна.

И такая честная, жгучая правда заключалась в ее словах, что опять не по себе стало Федору Андреичу. Вдруг он взял обвисшую до полу руку сестры и разглядывал вблизи этот маленький чудесный инструмент, которым так много было сделано в его жизни. По мелким жилкам, просиневшим под кожей наподобие весенних ручьев, можно стало судить о состоянии ее истощенного, умирающего тела. Потом повернул обратной стороной и глядел на жирные, три, лиловые цифры в ладони, обозначавшие порядковый номер в очереди, пока сама Елена не выдернула у брата своей руки.

— Ты не падай духом-то, Федя, держись... все паладится. Сначала всегда трудновато бывает... первое время и соседка тебе поможет. У ней муж слесарь на фронте, а гляди, как и без него по дому управляется... — Она понизила голос до шепота. — Ладно, устала я чего-то, Федя, спать ступай...

Голос ее звучал совсем спокойно. Последние месяцы из-за каждодневного ночного стоянья на убийственных уличных сквозняках, с чем было сопряжено добыванье пищи, болезнь ее потекла втрое быстрей, но скорая развязка уже не пугала ее. Кабы не мысль о брате, о предстоящем ему сиротстве, с которой и засыпала нехорошим потным сном, и просыпалась на окрашенной кровью подушке, лучше и не придумать было, как растаять по весне, утечь вместе с речкой в милые материнские моря и уж оттуда изредка проплывать бы облачком над самыми родными местами на земле!

И так все отчетливо предстало перед Федором Андреичем, собравшимся уходить, что не решился переступить порога.

— Ты уж не умирай... ради бога, не умирай, Елена! — попросил он с закушенными губами. — Ну, пожалуйста...

— Ну, что ты, Федя, — ну, зачем же умирать... мне и

самой не хочется! Я встану. — Голос ее дрожал и звучал не слишком убежденно, но почему-то даже это было очень утешительно для Федора Андреича.

Утром Елена не поднялась, и когда Федор Андреич вошел на кухню, она уже проснулась, а может быть, вовсе не спала,— и лежала, как и накануне, лицом вверх, с какой-то особой за ночь появившейся пристальностью во взгляде. Попозже обошлось, едва печку затопили, даже улыбнулась дважды, к великой воскрешающей надежде Федора Андреича, и лежа руководила приготовлением завтрака, причем пошутила снисходительно над удивительным неумением мужчин в отношении легчайших, казалось бы, мелочей жизни. Потом вдруг попросила брата подойти поближе, чтобы в предстоящем разговоре глазами досказать то самое, чего не посмеет языком.

— Ты, Федя, все же сходи в очередь-то... жалко, если сальце пропадет. — Она запнулась от мысли о возможности такой потери. — Можешь стульчик себе взять... там многие сидят на стульчиках! Тебе вообще первое время придется самому заняться э т и м... ну по хозяйству! — и озабоченным взором, по частям, окинула зачем-то все помещение, в котором находилась. — Я, конечно, отлежусь вот немножко и встану... буду тебе хоть штопать, печку топить. А глядишь там, и обед тебе иной раз сварить сумею...

— Но я сам тебе вставать не разрешу... — забубнил безоговорочно Федор Андреич, тревожно вглядываясь в чуть изменившееся, не то чтобы постаревшее, а вдруг какое-то отсутствующее лицо сестры. — Где у нас, кстати, тот мешок с картошкой... помнишь, у того краснобая на мой летний костюм выменяли? Я, знаешь, деловой... как за дело примусь, только шелуха полетит...

Елена Андревна усмехнулась его беспомощности:

— Так ведь он давно кончился, мешок твой... на одной картошке весь месяц и жили!

— Тогда позволь... как же нам быть тогда? — растерялся в предвестье наихудших бед Федор Андреич.

Однако вскоре положение несколько улучшилось, когда удалось выменять стоячие кабинетные часы в саркофаге мореного дуба на древнюю, особо прочную, следовательно экономную фасоль, тем уже одним удобную, что много на голодный желудок не съешь из-за опасности вовсе расстаться с жизнью... кроме того, и Мухолович кое-что принес, пока сам Федор Андреич стоял в очереди за керосином. Иногда Елена Андревна

действительно находила в себе героическую решимость подниматься с кровати, но приготовлением пищи, как и добыванием ее, занялся в меру способностей сам Федор Андреич. Соответственно весь лихаревский обиход подвергся стремительному упрощению. В частности, горячая пища отныне приготовлялась впрок, на неделю вперед, и так как ввиду особо холодной зимы отлично сохранялась между рамами от порчи, то по здравому смыслу она и не нуждалась в разогреванье, содержа в самой себе необходимые для своего освоения калории. Все же обнаружилось через некоторое время, что наличные запасы доедены, спасительная сода израсходована и пожжены остатки дров. То самое, отвлеченное и мезозойское, о чем писал в своем сочинении и от чего грудью обороняла брата Елена, теперь просунулось прямо в лихаревское бытие.

Благодаря всем этим переменам Федор Андреич имел возможность произвести над собою большой познавательной ценности опыты — насколько выросший в условиях современной цивилизации человек способен отказаться от некоторых насущных потребностей, удовлетворение которых недавно считалось желательным, обязательным и даже, смешно сказать, жизненно необходимым; трудней и, пожалуй, унизительней всего оказалось привыкать к недостатку пищи. Но и в этом направлении человеческая воля, при небольшом усилии, проявила способность к преодолению и голода — в числе прочих атавистических навыков. Стоило лишь улечься поудобней, чтобы не тратиться на бесполезные теперь мускульные усилия, и сосредоточиться на какой-нибудь идее в ее графическом начертании или, еще лучше, на особо запомнившемся эпизоде прошлого — разменяв его на составляющие элементы для большей длительности действия, чтобы больше копеек было!.. — можно было надолго отключаться от действительности и связанных с нею низменно-томительных желудочных ощущений. При навыке упражнение это почти всегда приводило к приятной дремоте... Выяснялось попутно, что мысль — наиболее экономный вид горения, и мозгу для принятия величайших решений требуется несоизмеримо меньше энергии, чем, скажем, руке почесать бок. И в том, что собственное умирание свое Федор Андреич как бы делал объектом научного исследования, сам он хотел видеть архимедовское, по его убеждению, высокомерие к действительности.

С недавнего времени в целях прояснения своих отношений с окружающими и, как ни странно, с Мухоловичем в особен-

ности, Федор Андреич все чаще стал оживлять в памяти одну давнюю картинку детства: квадратный, подавляющий, как пустыня, мощенный булыжником двор в городищенской усадьбе отца. Гимназист Федя, гостивший там на летних каникулах, всякий раз испытывал щемящую тоску, пересекая это щербатое бездарное пространство от крыльца до ворот — какое, к слову, нередко подвертывается всем нам на житейском пути. Там, в глубине двора, на террасе — такого крохотного из-за расстояния! — одноэтажного дома сиживал в часы вечернего затишья исправник Лихарев, и в ожидании его повелений пыхтела невдалеке здоровая дворняга со свешенным для проветривания адским языком. Не хватало какого-то легчайшего толчка, чтобы привести в движение этот заржавевший цепной механизм, где роль звеньев играли — отец в халате, готовый к действию пес на цепи, поникшая от засухи листва желтой акации вдоль забора, степной, как бы с кочевым дымочком, застойный воздух городка и еще кто-то там,— в нерешительности застывший на улице, кому оставалось только толкнуть ногой калитку...

Но вместо того, который вовсе не выходил теперь из мыслей и чье появление полностью подтвердило бы некоторые догадки Федора Андреича, совсем другой, неожиданный и непохожий, заглянул к нему сквозь портьерку: оказалось, наконец-то доктор по приглашению пришел больную навестить.

— Вон где наш медведь валяется... — потирая руки с холоду, тоном старой дружбы затрещал Елков и с ходу сделал попытку удержать хозяина на диване в лежачем положении. — Не подымались бы, нонче деликатности можно побоку... я хотел сказать, ведь и по-римски, лежа на боку, можно беседовать! Не посетуйте, в срок получил открытку вашу, да все както непопутный ветерок. Вроде и пациенты повывелись, а некогда... Дорогою открыл сейчас, что цивилизацию страны, кроме мыла и всего прочего, можно мерить и количеством времени, какое приходится тратить на непроизводительные пустяки. А вы совсем опустились, батенька, видать вовсе на людях перестали показываться...

— Воротник можете отогнуть... здесь у меня потише, чем на улице, но вот раздеваться не советую. Как, ветрено нынче?

— ...опять же бородищу запустили, печь топить — не топите, хотя со всех сторон в дровишках! Роскошные дрова... — не слушая, трещал Елков, прохаживаясь,. поглаживая, пальцем пощелкивая массивную мебель, чему-то все посмеиваясь;

он задержался лишь у письменного стола с аккуратной, вершка в два, кипою намелко исписанной бумаги. — Ага, вот оно, знаменитое лихаревское сочинение, которого так и не дождалось человечество в своей пещере! Тоже, имейте в виду, славно горит, если все время палкой в печке помешивать, поковыривать... словари, фолианты всякие! хотя, правду сказать, от культурных ценностей тепло получается шибко второй сорт: нервное, неровное, ненадежное в смысле биологической стойкости тепло. И даже дверь перестали запирать, товарищ Лихарев, а в первом этаже живете... только слабых людей на грех наводите! Как врач делаю вам замечание: в большие морозы, как нынешний, не переставайте двигаться, а то, знаете,— был фонтан — сосулькой стал. Так где у вас больная-то?.. — вдруг оборвал он.

Федор Андреич провел доктора на кухню, откуда ни за что не желала перебираться в комнаты сестра — под предлогом близости к мнимому, давно остывшему очагу. Елков тотчас велел хозяину оставить его наедине с больною, и о чем они там восемь минут беседовали, так и не узнал никто. Все это время Федор Андреич простоял над столом, на выбор пробегая глазами четкие, убористо исписанные странички рукописи. Плохо верилось, что все это, глыбистое и бесконечно сложное, сработано собственным его мозгом и рукой, временами даже пугала слишком уж неузнаваемая давность самого почерка, иные слова вовсе не удавалось разобрать. Когда с кухни показался Елков, неестественно оживленный, чем-то затуманенный слегка, ему пришлось дважды окликнуть Федора Андреича, чтобы воротить к действительности.

— Так вот, как старый эскулап упорно настаиваю на этом... — с разбегу приступил он, словно и не прерывался у них разговор,— никак нельзя, батенька, в кроватку раньше времени укладываться... держаться надо. Вон токаришку с завода на днях в квартиру ко мне вселили... так по личным наблюдениям доложу я вам, что пайки и харчи у них там тоже далеко не важные, к тому же потомства у жильца моего что песку морского... заметьте, природа всегда атакует грядущую неизвестность мельчайшим множеством!.. так вот и младенцы ихние, представьте, тоже безотказно и безжалобно сосут оную всемирно-историческую воблу... мудрецы ведь, а? Вот народище: стенкой стоит, не гнется, черт его возьми, да еще на фронтах мировым державам по сусалам выдают... хе, с подтянутым-то животишком. А ведь тех, на той-то сторонке, кормят знаете

как?.. небось пищу в нутро под давлением вводят, судя по лоснящейся добротности кое-кого из них. Не-ет... самое главное нынче, миляга вы мой, не поддаваться на жалость к себе, интереса к жизни не утрачивать — ни в очереди, ни под дулом, ни в узилище подвальном... нигде! А то не успеешь оглянуться, а тебя уж в салазках под рогожкой волокут. И первым делом — жрать, жрать... Откуда пропитание-то достаете?

— Все время Елена у меня по этой части вертелась, доставала... — пожал плечами Федор Андреич, скорее из странного смущенья, нежели из эгоистической осторожности решив не упоминать о Мухоловиче и наводя внимание на сестру. — Вот, слегла, знаете, не ко времени...

— Итак, жечь все подряд и жрать... Вон у вас коврище какой на стене, а ведь он тоже съедобный. Конечно, нормальная моль и за семь лет его не слопает, а отощавшему человеку едва на завтрак по-нонешнему... Э, я и сам знаю, батенька, что тяжелый! — перехватил он возражение Федора Андреича, рукою подавив его сопротивляющийся жест. — Да вам и не придется самому на рынок его тащить. У меня тут личность одна ногастая подвернулась... непременно расстреляют со временем, а жаль: самый выдающийся спекулянт и мародер всех времен и народов. Все скупает, подозреваю — даже души человеческие, хотя не щедрей как по гривеннику за штуку. Вот я завтра и подошлю его, ногастого, он вам тут живо почистит... а уж вы зато побалуйте чем-нибудь ее, сестрицу-то свою, чтобы самому на закате не каяться. Эх вы, Байбак Мезозаврыч этакий... — ткнул он пальцем в бок Федору Андреичу, чтобы скрасить шуткой мрачное свое предостереженье.

Было что-то пугающе-тревожное в зловещей настойчивости, с какою он, придя единственно ради этой цели, обходил молчанием положение больной. Тем страшнее было самому Федору Андреичу — среди бегучих вопросов о том о сем, о видах на будущее, о фамилии мародера осторожно справиться о неминуемом теперь, роковом сроке события, которое страшился обозначить и которое для него, самого Лихарева, также становилось концом мира.

Как раз с кухни послышался призывающий, по имени, голос сестры, и он был так слаб, что невольно наводил на худшие предположения.

— Вас зовет... — с неожиданно серьезным лицом прислушался Елков.

— Вы тут посидите, почитайте пока,— окончательно растерялся Федор Андреич, выбегая.

И опять, к мучительному стыду своему, он ошибся,— состояние Елены Андревны было еще далеко от той заключительной фазы, с которой он так бессильно и поспешно примирялся — не в первый уже раз на протяжении недели. Сестра встретила Федора Андреича извиняющейся улыбкой:

— Все отрываю тебя, Федя, а вот какое дело... — и закрыла глаза, словно забыла, что́ именно сказать хотела, а Федору Андреичу заодно показалось, что и пару выбивается у ней изо рта гораздо меньше, чем это положено в нетопленном помещении... и опять постыдно ошибался он. — Вот, уж выдам тебе мой секрет, все равно теперь. У меня там сухари насушены, короб, спрятано в книжном шкафу... ты угости Елкова-то, чайку ему дай и сам погрейся. Добрый он... я и не знала, что в нем душевность такая.

— Что же мне делать, господи, что мне делать с тобой... — содрогнулся от ее слов Федор Андреич и как-то шепотом заплакал, закусив зубами рукав.

— Ну, перестань, как тебе не стыдно, Федя, а еще профессор... — с укором сказала Елена и опять закрыла глаза.

Когда, пооправившись, Федор Андреич вышел к гостю, глаза у него были окончательно сухие, а голос твердый, только погрубевший очень.

— Беспокоится, чаю не хотите ли.

— Да нет, мне уж пора, мерси... делишки всякие.

— Лицо у ней какое-то прозеленелое, знаете... мне показалось.

— Э, все нормально, милейший Федор Андреич... — уклонился от прямого ответа доктор Елков, рассчитывая на понятливость интеллигентного человека.

— И еще: там у ней на подушке кровь немножко... ничего?

— А, словом, все ничего теперь! — Елков стал было прощаться, но, сочтя бесчеловечным покидать эту растерявшуюся глыбу в ее равнодушной недвижности, воротился с полдороги к двери. — Чуть не забыл... поразвлекайтесь тут разгадкой ребуса. Титус-то наш... помните, с бакенбардами? Видно, внутрь у него парыв-то прорвался...

— Позвольте мне, я сяду,— без выражения сказал Федор Андреич, наугад шаря сиденье за собой.

— Отдохните, ничего... да я и сам уж опаздываю. Так вот, Титус-то пулю себе в лоб пустил и письмо довольно смутное прислал накануне... так, одна поверх другой, никуда не доползшие строки. И для вас одна, насчет какого-то должка: извинитесь, пишет, что задержу до будущей ассамблеи в небесах... Да и кто теперь истинную причину разберет, интервью с покойника не сымешь. Может, так называемая историческая обреченность доконала, либо бытовые затруднения, а по мне — не попался ли он на мушку тому Варнавину? О, я и сам помню... — заранее перебил Елков, заметив отдаленное несогласие в лихаревском взгляде,— но тогда он страстно желаемое за действительное выдавал. Ведь ежели Варнавин умен да чист был, то, на шваль окружающую наглядевшись, на кой ляд ему стреляться было... мог и похлеще выбор сделать, в живых остаться, например... только в другом лагере. А понешняя-то бурная волна знаете как быстро в зенит возносит? Вот, может, и рассмотрел внизу старого дружка со своих соколиных, дозорных высот... Наверно, оно страсть как приятно, батенька, историческую-то справедливость да собственноручно осуществлять... как вы думаете? А впрочем, пустяки, все бесплодная выдумка одна: никак концовочку к т о м у его рассказцу не подберу, а зудит, признаться, зудит. Живому существу под названьем человек всегда не терпелось как-нибудь истолковать мироздание... и странное дело, ему на всех этапах развития вполне хватало знаний для объяснения всего на свете: даже в своей мезозойской пещере он думал, что понимает все. Интересно, какую заключительную виньетку под нас с вами летописцы приспособят? Ну, ладно,— пора мне.

На прощанье, бегло касаясь лихаревской огромной, на колено положенной руки, доктор вскользь заглянул в его словно невидящие глаза. Ненадолго объявился там тусклый блеск, подобный зорьке гаснущего дня, потом снова стали смыкаться тучи.

— Вот насчет сестры я хотел... может, рецепт ей прописать? — неуклюже, в отмену непроизнесенного диагноза, спросил Федор Андреич.

— Ведь это вы, батенька, для себя рецепт хотите,— деликатно возразил Елков. — А ей бы всего только морковочку теперь... давеча у меня спрашивала по секрету, чего у меня в сумке, не морковочка ли. Эх, я и захватил бы, кабы знать... Ну, адье, и мужества, мужества больше, Федор Андреич!

После его ухода долгое и спасительное оцепенение накатило на Лихарева. Он сидел на кровати, уставясь в коврик под ногами, и что-то происходило в нем, но не мысли, а как бы разглядывал с бесконечного расстояния нечто там, далеко внизу, сливавшееся в мерцающую полосу. Она не то что двигалась, а будто кто-то где-то, оставаясь на месте, куда-то направлялся во множестве, и среди прочих тоже профессор Лихарев. Когда он осознал это, в окнах уже смерклось, пора стало лампу зажигать. По плесканью внутри ясно стало, что хватит лишь на вечер — и то не весь, отчего вспомнился вчерашний еще наказ сестры, непременно не пропустить очереди за керосином, но в какой день — он теперь забыл... и тотчас же разоряющая мысль об этом заслонилась необходимостью найти спички. Это было приятное, выключающее мысли занятие — ходить и трогать бесполезные уже вещи,— на поиск тоже ушло неопределенное время, которое порою как бы тяготило Федора Андреича. Под предлогом чтоб не будить сестру,— если задремала, слава богу! — Федор Андреич не понес лампу на кухню, а решил всего лишь справиться вполголоса о здоровье: ему хотелось верить, что после одной там поворотной точки дело пойдет на выздоровление.

Никто не ответил Федору Андреичу, пришлось для верности повторить вопрос. По первому впечатлению, во всей обманчивой тишине мира только и было звуку, что скреблась мышь.

— А, кто там... а? — как бы сквозь забытье сорвавшимся голосом отозвалась Елена. — А... чего тебе?

Видимо, она опять чем-то слишком занята была, что так долго не отвечала, а может быть, по ее состоянию требовалось всякий раз для ответа силу поднакопить.

— Подойди, Федя, сюда... мне тебя не видно. Пожалуйста... не бойся меня... смешной какой! Мне ведь и самой не хочется. Виню себя, что за работу не засадила... старалась. И я уже, знаешь, ни на бога, ни на кого не сержусь...

— Где у тебя болит? — придумал он спросить.

— Нет, хорошо... ну, ты ступай теперь погулять! ладно, ступай...

Он боялся вглядываться туда, в нишу, словно обжечь глаза боялся, а избрал для этого белевший в потемках незнакомый предмет, который оказался тарелкою с нетронутой пищей, которую он еще утром поставил ей на табуретке; новой пока не требовалось. Сравнительно связная, хотя временами

с паузами, речь сестры не внушала пока повода для беспокойства. Федор Андреич и вправду в последнюю неделю почти не выходил из дому, так почему было не принять еще одной жертвы этой несчастной великодушной женщины, которая хотела освободить брата от неминуемых теперь переживаний...

— Может, мне в самом деле к Елковым за морковочкой сходить? Я быстро обернусь... — воровато засуетился Федор Андреич, то ли добиваясь повторного дозволения сестры на это, то ли желая подтверждения, что она дождется его прихода.

— Ступай... — как бы превозмогая сон и сквозь сжатые губы сказала Елена Андревна.

Еще колеблясь, а пуще боясь, что сестра сквозь свою смертную истому разгадает путаницу его побуждений, из которых не все же подряд подловатые были! — он, пошаркивая слегка, стал уходить с кухни и неожиданно в коридоре носом к носу столкнулся с незнакомым человеком. Какое-то время они стояли так в потемках с сердцебиеньем и придерживая друг друга за плечи. Когда же по-прежнему, не разжимая кулаков, приблизились они к свету, этот упитанный когда-то, судя по свисавшей одежке, коротыш оказался полузнакомой личностью из домкома.

— Извините, от занятий отрываю, я насчет воды... можно мне к вам? Во всем доме замерзло... опасаюсь, не пришлось бы главный стояк отогревать!

— У меня сестра умирает... — неожиданно для себя проговорил Федор Андреич.

Он и произнес-то это, лишь бы отбиться от несвоевременного вторжения, и сам похолодел от смысла слов, что подсознательно сорвались у него с языка, и даже запрятал бы их обратно, кабы не поздно стало.

— А я... — неукротимо визгнул тот на очередное обывательское сопротивление,— а я живой, по-вашему, раз на собственных катушках стою? А кроме домкома, еще в должности орудую, да и на субботниках за троих откозыриваю... — Но случайно взглянул вверх, на лицо стоявшего в помрачении Федора Андреича, вспомнил кстати и тихую, бессловесную женщину, раз в месяц приходившую к нему в подвал за карточками, и мгновенно переменился,— да вы не опасайтесь, не нашумим, не звери же... Где она у вас умирает-то?

— На кухне,— пальцем показал Федор Андреич.

— Ну мы тогда в ванную пройдем!

Обстоятельное исследование стояка подтвердило предположения домкомского товарища, и кажется, увенчавшая его поиски находка заметно улучшила его настроенье.

— Не беспокойтесь, нас Елена Андревна и не услышит... вы только завесьте дверь туда чем-нибудь да снизу поплотнее заложите... для заглушки звуков! а я пока за водопроводчиком смотаюсь...

...Человек восемь довольно щуплых домовых активистов, зато с громадными тенями на промороженных стенах, наблюдали за чумазым неразговорчивым человеком, как взад-вперед водил он по трубе в уборной неистовым пламенным языком. Бензинка урчала, но не сдавалась и труба, а домком все совался пощупать чугун, так что водопроводчик даже оборвал его, тоже шепотом: «уйди, черт-вертяк, с-под руки...» Все в доме уже знали, что за дверью умирает хозяинова сестра. Однако, когда через час пошла вода, натерпевшиеся люди со всех этажей бросились с ведрами в лихаревскую квартиру, и потом два часа длилась эта бесчеловечная, сопровождаемая плеском воды, почти оргией, нестерпимая топотня... но, странно, едва схлынул переполох, Федор Андреич ощутил почти тройную тяжесть на душе. Ужасно страшно стало войти на кухню... Но сразу пришло в голову, что только сейчас, в полной тишине, оглашаемой размеренной баюкающей капелью разбуженной воды, только теперь и могла наконец задремать Елена Андревна... и поэтому не стоило будить ее ради пустяков. Другое дело, кабы хоть морковочка в руке была!.. и вдруг вспомнилось, к пущему потрясению Федора Андреича, что, как только слегла в постель, она вот так же вскользь, стесняясь, попросила его принести ей соленый огурчик... и он даже на улицу вышел, помнится, с этой целью, но встретил кого-то и все безжалостно забыл за разговором. А это единственная возможность была прижизненно отплатить должок Елене, и главное, чтобы бог помедлил с его сестрой, пока профессор Лихарев не добудет в мире помянутой морковки, без чего ему предстояло бы гадко каяться всю последующую жизнь. Федор Андреич даже прислушался из кабинета, не закашляется ли — тем обычным в последнее время надрывным кашлем, словно шестерня срывалась с зубьев, и еще прислушался... но опять нет, не кашляпуло. И уже не из-за сестры жутко стало оставаться в квартире, а с собою наедине, из-за необходимости заглянуть в себя и ужаснуться своему смятению.

«Так почему же все-таки эта святая, кроткая, неслышная душа к чужому человеку, да и то секретно, порешилась обратиться, с последней грошовой просьбицей, не к брату кровному, которому подарила... хотя, возможно, за ненадобностью?.. жизнь свою. Неужели же он, без труда раздобывший лошадиную голову, когда всерьез проголодался, неужели не достал бы ей морковочки в таком огромном городе, пускай даже погребенном под корою тысячелетнего ледника! Да ты просто обязан был, животное Лихарев, одним зноем благодарной души протаять ходы, все подполья его излазить, как мышь это делает зимой, а ты придумываешь отговорки — как все они, эти гадкие удачники на земле,— лишь бы не коснуться смерти... все бежишь и бежишь, от совести своей бежишь, дурак, а не от смерти, которая как раз только и дожидается тебя вон за тем углом. Да и сейчас уж изобретаешь втайне от себя очередную уловку...» Федор Андреич так и не понял, вслух произнес он все это или же лишь сквозь мысли пропустил.

Тотчас ему быстро убедить себя удалось, что еще поспеет взад-вперед смахать к Елкову, если же спать улеглись по позднему времени, то непременно достучится, весь дом поднимет на ноги ради такого случая.

X

На ходу вдеваясь в рукава с оторванной подкладкой, Федор Андреич без шапки бросился на улицу, в подъезде с ног едва не сшиб какую-то женщину со свертком, которая надолго и по-мужски зачертыхалась ему вдогонку. И потом побежал если и не с завидной прытью, то — какая лишь возможна в его возрасте, часто останавливаясь для передышки у водостоков и фонарей, иной раз в обнимку с ними. Подмораживало, и луна показывалась изредка, отчего мертвой и зыбкой выглядела окрестность, как на дне ледяного моря... а дома были там вовсе ни при чем! И уже с первого перекрестка что-то неудержимой тоской перехватило горло Федору Андреичу, так что ничего сразу не жалко стало — ни себя, ни надломленного здоровья своего, ни начатой работы про особенности мезозойского климата... Вдруг живо представив себе Елену, он заплакал на бегу — так сладко и безутешно, как с детства самого не плакал никогда,— даже удивительно приятно, так как после многих десятилетий напряжения смягчалось что-то внутри, затвердев-

шее панцирной, недоступной для человечности кожурой. Словом, так все и бежал, обильными слезами заливаясь, облизывая обындевелые на морозе усы.

Кто-то шарахнулся от него в подворотню, в другой сам притаился, пока двое с закутанным младенцем мимо не прошли. По прошествии кое-какого времени он уже шагом дальше отправился, потому что и без того теперь припадка ночного было не миновать, шел, бормоча навзрыд сквозь закушенные усы: «Прости мне все, моя милая Лена... может быть, всех милых милее на свете, которых я из той же подлой приверженности к бумаге и чернилам старательно, сторонкой обходил. Просто мне все некогда было, прости, все думал — потом, потом, сразу вывалю ей все слова хорошие, которые между делом накопил... вот еще, еще хоть немножко, когда руки совсем остынут и с последней рукописью развяжусь!»

Походка его постепенно замедлялась... и вдруг какое-то обострившееся чувство одиночества, похожее на дуновенье сквозняка, до костей прохватило Федора Андреича. То, чего смертельно боялся, случилось наконец. Дальше растрачивать сердце было ни к чему, однако из честности перед покойницей он дотащился кое-как до конца улицы. А всего их, этих мертвых уличных тоннелей, до Елкова оставалось никак не меньше восьми, в другой половине города. Пора стало домой: поскользнувшись, может и не поднялся бы совсем. Возвращался с померкшим сознанием и, несмотря на это, мокрый от изнурения, поторчал минутку на противоположной стороне. Полный мрак стоял у Лихарева в окнах, как и в прочих этажах, время было за полночь. Дверь стояла настежь распахнутая... закричал бы от одного падения песчинки... кто-то ждал Федора Андреича в кабинете.

Из хитрости Федор Андреич сперва прошел мимо и, хоть головы не повертывал, знал в точности — тот уже сидел бочком на подоконнике, свесив одну ногу до полу, ждал. Ничего не оставалось, как войти теперь.

«Нехорошо как получилось с сестрой-то...» — начал ферт.

«Ладно, ладно... все прошло теперь!»

«Она тебя звала... очень дивилась твоему поведенью».

«Врешь... — весь от гнева и физической боли перекосился Федор Андреич. — Знаешь, знаешь, какая она у меня была?»

«Сам слышал».

«Как же ты слышать мог, если нет тебя?»

Ферт замолчал, видимо обиделся.

«Правда, я всю жизнь много работал, вот даже семьи не успел завести,— стал оправдываться Федор Андреич. — Но я голоса никогда не поднял на Елену!»

«Правда ли? — ощерился ферт, и Федор Андреич даже внимания не обратил, что силуэт его вдруг так четко прорисовался на фоне посветлевшего окна. — А тогда, на позапрошлой неделе?»

Федор Андреич и сам живо помнил тот случай, когда, поздно вернувшись от Елковых, как-то в особенности постыдно визгнул на кутавшуюся в шубку сестру по поводу незавешенных окон. Она вся сникла от несправедливости, ей тогда уже трудно было подыматься на табуретку.

«Окна надо завешивать на ночь... чужие, недобрые смотрят, кроме того, тепло сквозь стекла уходит,— непримиримо сказал Федор Андреич, даже кольнуло в сердце. — Ишь опять как простыло!»

«А ты затопи,— подсказал ферт. — Для себя же одного теперь».

Следуя подсказке, Федор Андреич с зажженной спичкой оглядел кабинет, фолианты в простенке, слишком толстые для отверстия печурки, еще какую-то непонятного назначения вещь. Так и не узнал осенившей его когда-то идеями окаменелости, из которой сейчас, если бы вложить во впадинку зерно фасоли, получался профиль как бы человекообразного существа. Привыкнув, что сестра даже ночью нередко поднималась печурку протопить, Федор Андреич не знал теперь, с чего начать. Следовало давеча попросить тех, с ведрами, чтобы сломали ему на топливо хоть диван.

«Сломай-ка мне диван,— на пробу, из хитрости, сказал Федор Андреич. — Ну-ка, принимайся...»

«Как же я примусь, раз меня нет! Сам и ломай... — усмехнулся ферт. — Но на твоем месте я бы с мелкой бумаги начал».

Явно он намекал на стопку рукописи поблизости, стоило руку протянуть, но, значит, прежде чем совершиться этому, должна была закончиться какая-то нитка его жизни и раздумий. Ферт на время пропал, пока Федор Андреич собирал где придется старые брошюры и пропылившиеся черновики... Скоро обои и потолок озарились неверным, попрыгивающим багрецом.

«Сегодня керосин выдавали, а ты так и не собрался»,— напомнил подобравшийся сзади ферт.

«Тише, сестра услышит».

«Не услышит теперь. А тебе и не надо никуда ходить, пусть мир о тебе заботится, если еще нужна ему **соль земли**. Старая, а правильная твоя мыслишка, Федор Андреич: среди нового инструмента у человечества имеются топоры и бритвы... и пока топор под лавкой валяется, бритва должна в футляре лежать, и не следует их путать. Иначе либо ценный клинок безвозвратно попортишь, либо физиономию повредишь!»

Федор Андреич собрался что-то возразить насчет пребывания топора под лавкой, но как-то незаметно для себя забыл.

Так, на скамеечке перед печкой сидя, железной линейкой пламенный тлен шевеля, Федор Андреич листок за листком посовывал в огонь бумажную ветошь, и с каждой вспышкой все глубже, через колени, вступала в тело блаженная немота забытья.

«Ну, хорошо тебе... хорошо ведь? — снова нашептывал сзади ферт. — А ведь занятно-то как, что лучшие, самые главные свои мечты, священные вдохновенья свои, плоды ночей бессонных человек от века доверял не стали, не граниту, а такому, в сущности, нестойкому коварному другу, как бумага. Не зря поэтому темное зудящее искушенье охватывало древних-то вояк при виде беззащитных пергаментов... стоит спичку поднести, а уж там ветерок порастащит их по пеплинке на все четыре стороны... и вот уж нет ничего, как ничего и не должно быть, если помнить про это некому... как и от самих вояк ничего потом не останется! Потому-то в великие эпохи веселей всего полыхает исписанная чужими мыслями бумага. Твои — тоже для них чужие, не жалей...»

То была уж чрезмерная даже в их отношениях фамильярность.

— Уйди... — свистящим шепотом закричал Федор Андреич, замахиваясь на мрак своей железкой. Не удержавшись, он упал на железную обивку перед печуркой, началось удушье. Так и остался здесь до утра, поднять его было некому.

XI

Утром Федор Андреич застал себя сидящим в кресле. Он долго смотрел в окно, на солнечный свет, радужно дробившийся в ледяных листьях зимы, пока не припомнил все происшедшее

накануне. И не то чтобы уже примиренье у него наступило с жизнью или смиренная человечность снизошла в душу ему,— без понуждения сходил к сестре, даже заглянул к ней за занавеску, приспущенную теперь. Все обстояло сурово, непоправимо, ничуть не страшно... Потом Федор Андреич сходил в домком с заявлением, что в квартире номер два ночью умер человек. Выяснилось после длительных переговоров, что если управятся, то попозже приедут, заберут. К вечеру двое в миткалевых халатах поверх полушубков вынесли закутанную в простыню Елену Андревну,— брат проводил ее лишь до повозки, дальше не позволило сердце.

Трое там еще стояли с непокрытыми головами, пока грузили, и добросердечная соседка перечисляла им простуженно, без слез, однако, жалостные житейские обстоятельства Елены Андревны, с которой столько мерзлых ночек напролет выстояли в очередях.

— Кровью барышня-то залилась... Она из хорошего семейства, видите ли, а вот утехи-то и не получилося! Чахотная она была...

Вернувшись к себе, продрогший до костей Федор Андреич тоже не плакал на этот раз, только, с раскрытым ртом, как в одышке, высидел часа два в полюбившемся ему кресле, после чего произнес вдруг особым, несвойственным ему тоном:

— Леночка, Лена, пойди сюда... мне нехорошо.

Никто не подошел, однако, и на повторный зов, к чему следовало теперь привыкать понемножку. И Федор Андреич привык — за счет каких-то неминуемых смещений в характере, потребностях, даже в распорядке дня. Как и предсказывала сестра, все наладилось после ее отъезда, хотя и не в такой мере, как ей хотелось бы. Крайнее безразличие, почти лень овладела профессором Лихаревым: он просто отвык от многого того, к чему, правду сказать, никогда не чувствовал в себе ни пристрастия — пользоваться, ни таланта — добывать. Что касается наружности, то он еще в молодости, если работалось, научился обходиться без зеркала. Впрочем, следуя заветам сестры, он попытался разок постоять в очереди за мылом, но занятие это ему как-то не понравилось, он вернулся ни с чем. К счастью, кроме т е х сухарей, насушенных ею из утаенного от общего их хлебного пайка, отыскалось еще кое-что в разных тайничках. Она по горстке раскладывала повсюду, словно предвидела, как приятно будет Федору Андреичу делать эти маленькие, в самых неожиданных местах продоволь-

ственные находки, следы ее посмертной заботки о знаменитом брате-профессоре.

Никто не навещал теперь Федора Андреича, даже ферт, избегавший своих визитов в присутствии Елены Андревны. Таким образом, и некому было рассказать Лихареву, как горестно поблек он, осунулся, постарел, причем сам нисколько не замечал происходивших с ним подготовительных к заключительной фазе изменений. В общем, все шло вполне равномерно, правильно, только уж быстро очень, хотя ни разу не подвертывалось ни малейшего повода для прежних, раздражительных неудовольствий, которые когда-то, к великому огорчению сестры, столь портили ему рабочее настроенье. Былой страх смерти выродился в смешное опасенье, как бы вездесущие теперь мышки, пользуясь слабостью хозяина, не пробрались к его запасам. Вследствие их почти безудержного нахальства Федор Андреич как крупку, так и прочие остатки Мухоловичевых приношений культуре подвесил над кроватью у себя, количество же оставшихся картошин записал мелком на стене... В особенности откровенно носилась мышиная разведка по ночам, и это означало, что теперь совсем уж скоро вся полярная мгла, гудя и воя буранами, ринется приступом на последнюю крепость профессора Лихарева.

По счастью, сознанье как бы выключалось порой чуть не на сутки, так что, проснувшись в тот предпоследний денек еще в рассветной мгле, он очнулся, лишь когда вечерние сумерки снова затянули окно, очнулся скорей от пронизывающей стужи, чем от голода... и тут сразу оказалось, что ферт уже давно посматривает на него, небрежно опершись о локоток и враскидку полулежа на кровати.

«Ну, заморозил меня совсем, затапливай. Нечем, что ли?»

«Вот сам и топи...» — огрызнулся Федор Андреич, в точности зная, о чем речь.

«Раз меня нет, значит, кроме тебя, некому... Давай тащи ее к печке!.. Кому нынче нужна твоя бумага. Кабы еще чистая была...»

«Как кому? России!»

Кажется, некоторое время ферт раздумывал:

«Больно охота ей всякий хлам в будущее тащить. Да может, она стоит сейчас и зрит нечто перед собой отверстыми очами... Теперь в гору пойдет, небо зальет в железобетон, шоссе через него прокинет. Да она теперь, Федор ты мой Андреич, хлеб станет делать из воздуха, на трамваях по небу рас-

катывать, в бархатных штанах ходить: жисть! А с тебя какой ей навар? Не более как лошадиная голова... Ну, помочь, что ли?»

«Я сам... — отбился Федор Андреич и взял было рукопись со стола, но одумался на полдороге к печке. — Постой, кажется, спичек нет...»

«У меня тоже нет... но вон в той коробке найдется парочка».

Первая затравка на вчерашней золе загоралась туго и вяло,— огонь брезгливо, с обеих сторон разглядывал страницу, которую предстояло ему пожрать. Лишь с восьмого приблизительно листа двинулось не в пример дружнее. Стылый чугун постепенно разогревался, и, когда Федор Андреич сунул в пасть ему небольшую пачку в палец толщины, заметно потеплело вокруг. Весело урчало в накалившемся докрасна дымоходном колене, но пепла скопилось уже по самое устье, огонь не успевал справляться с участившимися подачками... и тут при одной затяжной вспышке Федор Андреич попытался выяснить, до какого же именно места добрался он в своей расправе. Пригнувшись, так что опаляло жаром лицо, он разбирал верхнюю полустроку. Ага, шла полемика с двумя там легкомысленными французами по поводу принадлежности и датирования некоего бронированного ископаемого, отысканного в одной пустыне, так и не выясненной, потому что стало гаснуть пламя и засветившийся было дымоход снова растворился во мраке. Тогда Федор Андреич помешал кишевшую искрами золу и со стоном подкинул оставшуюся пачку. На этот раз стало сразу так жарко, что пришлось откинуться назад, но и так страшно, когда разохотившееся пламя вырвалось наружу, оставив по себе на полу кучку мелких суетливых огоньков.

Никогда раньше в голову не взбредало, что пятьсот намелко исписанных страниц — так долго и мало. Долго — потому что на создание их потребовалось больше чем тридцатилетняя работа, мало — потому что снова стал зябнуть, прежде чем последняя искра спряталась в золе. Нигде не болело, все прошло удачно, и помнить обо всем этом, слава богу, было некому. Перед дыркой, в которой только что бесследно растворилась человеческая личность и местонахождение которой угадывалось во мраке лишь по исходившей оттуда теплой и тошной гари, сидел потухший вместе с этим пламенем, даже небольшой сравнительно с прошлым старичок. В ту ночь великое умиротворение снизошло наконец ему в сердце и заодно та

самая мудрая человечность, которой так недоставало ему всю жизнь, чтобы умереть без крика.

«Слушай, пусти-ка меня, братец, на постель, а сам пересядь сюда... я устал»,— пожаловался бывший Федор Андреич.

Он стал зажигать спички, чтобы при свете добраться до кровати. Когда над третьей закачалось худосочное пламя, распространявшее сильную серную вонь, стало видно, что место на кровати свободно. Остальное он забыл, ему ничего не снилось в ту ночь, и вообще — легкость такая, будто никогда ничего и не было. Когда же открыл глаза, окно было как бы насквозь пролито солнцем, так что радужно искрились ледяные отпечатки мезозойских папоротников на стекле. Видно, уж давно стучали в дверь, и за ней оказался как раз покровитель культуры Мухолович.

— А... — только и сказал ему бывший Федор Андреич,— давненько не бывали!

Тот вошел с кухни во всеоружии своих потешных ужимок, которые, наверно, помогали скрывать какую-то однажды навеки сконфуженную, никогда не получившую утоленья мысль. Он всегда робел в присутствии знаменитого профессора и теперь, предпочитая общество его сестры, прежде всего спросил о здоровье Елены Андревны. Неожиданно ласковым, даже пугающе кротким тоном Федор Андреич отвечал, что сестра с квартиры уехала, и тот не посмел переспросить. Но тень неверия, почти подозрения, скользнула по лицу Мухоловича, и он даже перестал ненадолго извлекать из карманов очередную дань культуре в виде мелких пакетиков с самой разнообразной снедью.

— Вы не поверите, товарищ Лихарев, как я люблю солнце! Может быть, что-то такое происходит в моем организме, я не знаю, но последнее время, знаете, я буквально не могу без слез смотреть на солнце. Меня все спрашивают, что с вами, Мухолович: вы за всякий пустяк стали такой нервный? А я все хожу действительно, смотрю на солнце и плачу! — И вдруг осведомился вскользь: — Скажите, а она далеко уехала?

— Очень далеко... — тем же тоном примирения отвечал Федор Андреич, все кивая, кивая и по-стариковски присаживаясь, чтобы не устать.

Все поражало теперь пытливый, все более беспокойный взор гостя — какая-то запущенная, неживая, хуже всякого беспорядка, чистота на кухне, никак не заполненная человеческим присутствием, такая же мертвенная пустынность квар-

тиры, куда, не переставая говорить, заглянул Мухолович, самый вид опустившегося за столь короткий срок Федора Андреича — его порванная у ворота фуфайка, давно не знавший гребенки клок надо лбом, самые его глаза — один заметно меньше другого. Какая-то ужасная катастрофа, возможно даже убийство, произошла здесь буквально перед самым его приходом, и вот Мухоловичу оставалось лишь найти какую-нибудь изобличающую улику.

Но приходилось беспрерывно говорить, чтобы не выдать все усиливавшейся тревоги:

— Уж я не мальчик, прямо надо сказать... но, знаете, я так напугался в прошлый раз... когда, помните, моя рыба полетела на воздух. Мне не так жалко самую рыбу, как вас... хотя это была очень свежая вещь. Допускаю, что бывает рыба лучше, но и в судаке все-таки что-то есть. Вы не думаете? В прошлый раз, как я гляжу, вы были немножко не в своей тарелке... а как теперь?

Лишь сейчас он приметил возле чугунной печурки совсем свежую кучку такого легчайшего пепла, что даже шевелился, как живой, от почти неприметных колебаний воздуха, даже от ветерка произносимых ими слов. Гость нагнулся и поднял немножко на пробу, и хотя никаких особых примет не содержалось в щепотке этого невесомого, только замаравшего пальцы вещества, самое молчание Федора Андреича подтверждало его догадку.

И, значит, перед тем как погаснуть навсегда, разум Лихарева испытал прилив какой-то предельной ясности, похожей на последний луч в закате.

— Да-с, именно так, любезный Мухолович... — топом старческого высокомерия заговорил Федор Андреич в ответ па испуганный, осуждающий взгляд своего благодетеля. — Не надо жалеть, не надо обременять собою память счастливых потомков. Этот дом покрасят заново, в нем будут жить новые жильцы. Что ж, они случались и раньше, смены геологических формаций! Нас будут считать исторической ошибкой, а ошибки надо поправлять...

— Боже, и это ваша рукопись? — вскричал Мухолович. — Но зачем?

— Ну, любезный, пам почти не удается вникнуть в истоки человеческих... и прочих побуждений!.. и прежде всего зачем такое множество о т т у д а торопится войти в мир. Вернее, мы всегда умираем чуть раньше, чем узнаем причину... Кстати, и

я тоже пытался выяснить на досуге ваши собственные побуждения... ну, вот всех этих благодеяний! — махнул он рукой на расставленные по столу пакетики с пищей. — И знаете, к чему я пришел? Скажите, любезный, вы не живали в Городище?.. не знавали в молодости моего отца там, а?

Затем взор его стал быстро меркнуть, гораздо быстрее, чем меркнет день, так что устрашенному Мухоловичу была предоставлена возможность наблюдать начальную фазу умиранья. Что-то непоправимо сдвинулось в чертах лица у Федора Андреича, и вот уже стало вполне бессмысленно и отвечать на его вопрос, и даже прощаться перед уходом.

Оставшись один, Федор Андреич прошел к кровати и лег. Мысли его спутались, линии взаимно перечеркнулись. На улице были день, мороз и солнце, внутри — ночь, удушье и конец. Такая наступала отовсюду ночь, что к вечеру у него хватило воли и разуменья зажечь лампу на столе. Это было его последнее исправное солнце, тьма попятилась от него, возможно стало и подремать немного... Лихарев прикрыл глаза от невыносимого биенья в груди: последнее время, приходя, ферт никогда не стучал в дверь, а всегда в сердце.

«Притащился... что́, пора?» — спросил Федор Андреич, присаживаясь и спуская ноги.

Тот не раскрывал рта, стоял возле, все смотрел грустными глазами, как Федор Андреич пошаркал ногами, надевая старомодные профессорские ботики. Придерживая лихаревское пальто, ферт еще раз нечаянно толкнул локтем в бок его владельца, а локоть у ферта был острый, черный, длинный, как рапира.

«Не дергай так,— плаксиво пожаловался Федор Андреич,— ты же знаешь, здесь болит».

«Ладно, нечего уж тут... — только и сказал в тот вечер ферт. — Пошли!»

«Погоди, отдохну только... опять забилось»,— попросил Федор Андреич, присаживаясь на минутку, потому что вдруг не стало больше воздуху.

С удивленьем, как новинку, оглядел он все: чадившую лампу с последним керосинцем, когда-то опрокинутый стул, корзинку сестры на диване, зияющий пустотами стол — ящики были сожжены. Потом беззвучным шагом поплелся к двери, и ферт шел следом, важный и черный, как китайская тень на стене.

Выйдя из подъезда на улицу, Федор Андреич раз и два оглянулся по сторонам, но ферта возле него уже не было. Тогда, в поисках провожатого своего, он подобрался к окну своего кабинета и приплющился к стеклу. В ту ночь особенно густые, пушистые на окнах образовались узоры, но ему-то все было видно насквозь. Там, в запятнанной желтым жидким светом комнате, на полусъехавшем тканьевом одеяле и закинувшись к стене, сидел поперек кровати бывший Федор Андреич и глядел в этого, приплюснутого любопытством к окну, расширенными незрячими глазами.

Декабрь 1922 г., май 1960 г.

ЗАПИСИ НЕКОТОРЫХ ЭПИЗОДОВ, СДЕЛАННЫЕ В ГОРОДЕ ГОГУЛЕВЕ АНДРЕЕМ ПЕТРОВИЧЕМ КОВЯКИНЫМ

ПРЕДИСЛОВИЕ

25 июня 1920 года меня посетил С. П. Ковякин, брат милого моего знакомца, Андрея Петровича Ковякина. Он принес мне печатаемые ниже выдержки из записок брата. Полностью записи Ковякина не могут быть напечатаны по причинам особых свойств. Вместе с тем С. П. сообщил мне грустную весть: в ночь на 18 июня Андрей Петрович бесследно исчез из Гогулева.

«Я еще накануне был у него. Он ходил по своему чердачку, полностью в дорожном виде, за плечами котомочка. Что, спрашиваю, чудишь все, братец? Но он поглядел на меня, как будто не узнавая, и глаза у него были как две дырки без ничего. Тут он и передал мне свои писания...» — таковы подлинные слова С. П. о канунном дне ухода Андрея Петровича из Гогулева. М. И. Бибин, старший сторож клуба «Парижской коммуны», у которого квартировал в последнее время Андрей Петрович, передавал С. П — у, что часто заставал Ковякина за «стенографией» — за рисованием голым пальцем каких-то линий по закопченной стене. На вопрос, что это он делает, Андрей Петрович отвечал: «Ищу выхода из плана жизни...» Страдал ли Андрей Петрович последние дни душевной болезнью, неизвестно. Во всяком случае, из помещенного ниже письма видно, что бесповоротное решение его уйти из родного города возникло в нем не совсем уж неожиданно, под несомненным влиянием какого-то значительного, не упомянутого им «эпизода».

Сам я знавал А. П. Ковякина простым по уму, но душевным и милым старичком,— бородка метелочкой, зоркие голубоватые глаза, синяя поддевочка, сутливость и быстрая, за-

бавная, ручьистая речь. Тогда же, в 1919 году, он и обещал мне прислать свои записи.

Ему, ушедшему из Гогулева навсегда, мое последнее дружеское — прости.

ПИСЬМО А. П. КОВЯКИНА

Любезный друг мой!

Во первых строках кланяюсь и благодарю за истинную память, а именно: 10 ф. сахару, пару фуфаечного белья, калоши (истинно, у нас осенью без калош нельзя), и потом — книга Библии, чтоб читать о бедствиях прошлых времен. Перечисляю потому, что за почту очень опасаюсь. Еще раз спасибочки, истинный друг мой. Очень вы меня, горемыку, посылкой этой порадовали.

С братцем моим (его Сергей Петрович зовут, по служебным делам едет) посылаю вам свои записи. Я их наново написал и выбрал некоторые, которые стоящие или опровергают. А остальные будут на сохраненье у М. Бибина. Там — «Как ловили Афоньку по прозвищу Жох», «Сватовство Татарникова», «Зверская смерть городового Десяткина», «Укус Матвея Александровича», «Машина гнусного шума» и другие еще. Также оставляю у Бибина сочинение мое, которое я писал шесть лет, а именно: «Размышление по поводу хода вещей».

Вы мне в том сентябре поминали, что можно бы даже и отпечатовать. Это очень бы хорошо. Только потом вы пришлите мне книжечки три. Я одну о. Ивану в Пензу пошлю, другую в расход пущу, а третью в сундучок. Только отпечатовайте лучше под чужим фамилием, будто не я. Например: Скользаев. Это гармоничней и непонятней, больше обратят внимание. Опять же в нонешнее время, как я вывел, не очень-то за писания похваливают. По новому веянию могут и в заключение посадить. А ведь мне, друг милый, шестой десяток Андреева дня кончится.

Нет у нас особливых новостей никаких. Да и удивляться перестал народ. Хоть небо на землю упади, а мы скажем «будьте здоровы». Вот Дища, бывшего нотариуса (студнистый такой!), мы от своей компании отдалили: все сооружать собирается. По-моему, так с ума соскочил, хотя в наше время и не отличить. Потом у Пчелкиных собака забесилась и поку-

сала троих. Жары у нас очень сильные стояли. Дождя и ветру никакого, а круглый день жара. Пчелкин — это сапожник у нас, сосед. Может, и собаку-то его помните? Названье Трезор, белая.

Председателя нашего Сеновалова сместили. Говорят, будто хотел бани в Гогулеве снести, а на том месте — Дворец труда. Главное дело, он уж и плотников нанял 9 человек, а его тут и сняли. Новый все грозится, что электричество в каждый дом проведет, чтоб проверять, кто и что делает. Но у нас не боятся, а пуще опасаются, как бы налога нового не назначили. За все теперь берут, с каждого деревца по лычку. У Бибина в палисадничке яблонька стояла, анисовый цвет. Ему сказали, что 3 меры за нее, так он и спилил утречком ее от греха. Да хорошо еще, что догадался. Также болтают, что даже за вид из окна будут брать. Но это уж, конечно, пустое злоязычие без результату. До этого не дойдут.

Вот и все, извините. Так вот и живем, а цивилизации попрежнему никакой. Напротив, поясницу, например, еще больше ломит. Но мы не ропщем, а притихли и молчим. Кряхтим и лезем. Нога вот тоже пухнуть стала. Бибин говорит, что от старости. Не от старости, милый друг, а от дурной мысли!

Вот, кстати, примите во внимание, тленность. Бибин теперь при собственном же домике заместо пса цепного. Да еще заставляют в политграмоту ходить по вечерам. Намедни, однако, в ихний праздник, выдали ему сахарку фунтик и бумазеи на нижнюю половину. Бумазея ничего себе, в розовую клеточку. Но пристало ли, искреннейший друг мой, престарелому гогулевцу в бумазейных ходить? Да некоторые уже и ходят: не узнать Гогулева, перерядился, бельма на лоб. Прежняя гогулевская порода вся вышла. Много значущих поубавилось...

И потом всё смерти, смерти. Марья Ивановна Смирнова (Пушкарский конец, собств. дом), у которой вы свое временное местопребывание имели, умерла. Умер Василий Васильевич от простуды. Также догорела печальная жизнь Димитрия Терлюкова. И даже при несчастных обстоятельствах, а именно: утоп. Многие умирают, чтобы облегчиться от жизни. Многие просто болеют, вследствие видоизменений судьбы. И болезни у нас пошли новые, мы таких не знали в свое время. Э, да что там! Спустишься иной раз к Михайле Ивановичу, сядешь наискосочек, да и шепчешь ему в глаза: эхоньки, глупые мы с тобой два! Ну, да ладно, — ишь строки-то кривые какие пошли, словно тетеров крылом по снегу.

А всякие эпизоды по четвергам у нас случаться теперь стали. В прошлом — свинья в Нижних Тарасах ребенка заела, девочку. А в позапрошлый — вышел на площадь живой человек и закричал караул. Значит, до точки дошел человек, и точка его поглотила. Чем-то нас будущий четвержок хватит,— каким концом, по какому месту...

Еще раз благодарю за истинную память, добрый друг мой. А книжечки вы шлите мне по такому адресу. Вы, может, и помните адресок-то мой, но на всякий случай вот: гор. Гогулев, ул. Розы Люксембург (бывшая наша Огородная), дом бывшего Михайлы Бибина, для передачи мне.

Остаюсь, благословляя пути ваши, гогулевский друг ваш, проводящий стариковскую жизнь, Андрей Петрович Ковякин.

НАЧАЛЬНЫЕ СТИШКИ

Подай мне, господи, терпенья
На трудный мой писанья труд,
Дабы Ковякина Андрея
Не осмеял какой-нибудь.

Так все уныло в этом мире
Под грузом разных там забот,
Вот царь Давид: играл на лире,
А ты крушил его врагов.

И благотворны были звуки
В устах Давидова псалма,
Пусть, несмотря на вражеские штуки,
Я все же не сойду с ума.

Итак, во славу Гогулева
Кладу начало я труду,
Чтоб не забыть судьбу былова,
А благодарности не жду.

ЗАПИСИ А. П. КОВЯКИНА

Да ведают потомки...

Пимен

ЧТО ЕСТЬ ГОРОД ГОГУЛЕВ

Мы город степной. Мы город тихий, заштатный, обделенный. От нас на север простирается степь, а к востоку — татаре вперемежку с лесом и мордва. На юг же — я и сам не знаю что. Вообще же очень много кругом нас голого места. Нас, между прочим, упрекают, что пьем мы много и неурочно.

Это правда, пьем. Но ведь нельзя же и не пить, кто глядит по справедливости, на голом-то месте. Даже хотя это и порок человека. То же самое и небеса. Небеса над нами крутые, большие, круглые. И такая по веснам в них синь, что до трепета в коленках. Но они, небеса, тоже совсем пустые. В небе, как известно, березки не растут, а в летние месяцы и облачко в них редкий гость. Но мы не ропщем. Мы даже привыкли и любим.

Отсюда и жары у нас лютые. Как зажарит с поутрия, так и до поздней ночи. Многие принуждены спасаться в банях, у кого есть. У нас до того доходят жары, что не только собаки, а куры бесятся. Люди же, купаясь, гибнут прямо в речке, несмотря на мелкоту вод.

Зато и зелени в Гогулеве много, особливо по Полынной улице. Вы на названье не смотрите, что полынь, а это сплошной сад целиком. В апрелях, когда черемухам пора, так даже по улицам ходить нельзя, очень хорошо, до тошноты. Но зелень не только ласкает взгляд,— наступление смерти предотвращается рукою зелени. Напротив меня висит вывеска на зеленом доме: «Различные гроба. Я. Вертушкин». Но зелень прилегающей липы заслоняет от меня означенный вид. Кроме того, зелень предохраняет от распространения пожара. В этом главная ее заслуга и польза. Правда, землетрясений у нас отродясь не бывало. Но пожар о сухую пору — это почище трясений, как я гляжу. О, пожары! Они грызут наш Гогулев во все бока. Кой раз сгорало у нас по 115 дворов в сутки, а горим мы ежегодно. Гогулев же стоит незыблемо. Очень на нас красиво глядеть со стороны!

И вся она, зелень наша, населена веселейшими жильцами. Скворец, воробей, ласточка — вот наша птица. Я ворон и галок как-то не считаю за птиц. Тоже и насчет коршунов: это уж зверь, а не птица. А воробья я очень люблю за его веселость. У нас воробей совсем домашний, мало-мало в курятник нестись не ходит. Ласточку же я уважаю за пользу, она ест мух. У нас мух от жары невыносимое количество, цельные табуны, прямо голова от них гудит. Вот если бы все ласточки съели всех мух.

Навещают нас и соловьи. Соловей мне приятен во всех отношениях: пищи ест мало, а поет замечательно. Кроме того, он крупный. Охотники сказывают, что иной до 2 фунтов доходит, но я не верю. Охотники уж кровей таких, завиральных. А живут у нас соловьи где попало. В третьем годе цельное ле-

то у дьякона Куликова (наше названье ему — Шурыга) в саду соловей жил. Весь город ходил слушать, особливо неженатая молодежь. Но попутно обрывали с деревьев, особливо с вишен, недозрелые цветы, которые тут же не стеснялись прикалывать на грудь и так вилять по улицам. Дьякон принужден был тайно разыскать гнездо и разрушить (а по-моему, так просто по нежеланию красоты).

А подумать, так что в том! Потому и ходили гогулевцы соловья слушать, что театров, например, у нас никаких нет. Приезжал в 1904 году цирк, но там только лошади, хотя и ученые, но интересу никакого. Забрался к нам также, просто с дороги сбился, фокусник один, Леонори. Но у него же только глотание огня и потом яишница в шляпе. А чего-нибудь научного ни на грошик. Как-никак мы и ему рады были, очень в нем представительность была: росту длинного, в лакированных сапогах, а по фраку — звезды.

Однако фокусник подружился с Василовым, после чего сошел с кругу целиком. Он остался навсегда в Гогулеве и стал чинить посуду, также полудка самоваров. Пробовал он и жениться, однако нет. Причем оказалось, что и не Леонори он, а просто Лукьян Маркыч Татарников. Чему мы все были довольны, что православный, а не лютеранского, например, происхождения. Зворыкин, хозяин мой, часто приходил к нему, когда освоился и привык, клал рубль на табуретку и спрашивал: «Сделай мне яишницу в шляпе!» Тот делал, а Зворыкин с удивлением съедал и просил еще (доходя до 3—4 рублей). Мы очень такому смеялись, что, мол, он тебя, Козьма Григорьич, и газеты научит глотать! Зворыкин же — ничего. Под названием второй кабацкой затычины (1-я затычина — Василов) Татарников и доселе живет в Гогулеве, даже располнел. Так Гогулев действует на приезжих артистов.

Есть у нас земская больница. Купец Мяуков выстроил, отдал в земство. Есть Гогулевское коммерческое училище (четырехклассное). Также церковноприходские — 3. Была и прогимназия, но ее закрыли за ненадобностью, после того как гимназист укусил незамужнюю барышню, дочь городового старосты Копытина. В этом наша драма, люди не могут удержаться от чувств.

Кроме того, существует Семейное собрание. Здесь проводят время семейные из значущих, упражняясь в биллиард. Холостые допускаются танцевать без принесения напитков. Есть также клуб Вольной пожарной дружины. Там действу-

ют наши музыканты, но, кроме музыки, любительские спектакли, особливо балы. В пятилетие Обувайлиной свадьбы состоялась драма «Мать преступника», жуткая драма, 5 частей. Роль главного преступника играл Губов А. И., местный фотографщик, он же аптекарь, он же баритон (да и по винной части тоже хороший баритон!). Имелось у нас еще Общество любителей церковного пения, но там процветал, к полнейшему сожалению, форменный картеж, и даже хуже того — спиритизм, то есть разговоры с покойниками. Булдасов Степан (сын Григ. Григ.), главный гогулевский фат и женский покоритель, нам признавался под пьяную руку, что это он сам крутит столы, кроме того стуки. Однако ему никто не верит, хоть он и божился. Матвей Матвеевич Мяуков так ему при мне говорил: «Не ври, не ври, братец, будто сам крутишь! Ты уж лучше бабам своим головы крути. Мы с тобой в пустоту заглянуть не можем, потому что пустоты как будто и нет. А может быть, в ней что и есть?» Общество существовало до 1906 года, когда умер С. А. Копытин (78 лет), главный любитель церковного пения.

Теперь упомяну о нашем пятне. Это пятно есть Гогулевское общество трезвости. Зачем вызываться на то, чего не можешь, не понимаю! Всякий непьющий, вступающий в общество, начинал пить и допивался до столпов, целиком. Уж одно то, что председателем у них состоял богоявленский регент Василов (Сергей Василов. Был еще Тихон Василов, тоже регент, с бельмом — это не тот). Василов же — это человек, известный непоправимыми наклонностями. Раз до того допились, что сапоги с них всех стащили, и никто не видал. Сторож же, Яков-младший, сам без задних ног, то есть вповалку лежал. Я им предлагал в 1907 году переименоваться в Гогулевское общество скандалистов (для очистки совести), однако ироники моей никто не понял. Только с 1911 года стали они называться Гогулевским обществом спорта. Это все-таки лучше, по-моему, так как спорт — это по-разному можно понимать!

Не миную я и врагов наших. Врагов у нас много, все больше завистники, что сытно да прочно живем. Про нас они и сказки складывают, и даже довольно низкого свойства. Ругаются же — гогулятниками. Но мне это только смешно, и больше ничего. Так, например, вот. Сорвался бык из стада, поддел борону на рога и мчит на город прямо. Купцы-гогулятники тому напугались, вышли навстречу с крестным ходом и молят, хоругвями-то оземь: «Пресвята мати Гогуля, не ешь ты нашего

города Гогулева!» Бык же, вишь, остановился, да так и прыснул с хохоту. По-моему, так это даже не смешно, а только глупая выдумка. Чего только не наплетут. Вот уж делать-то людям нечего!

Потом вот еще. Как разлилась Сарынка, то накрыло будто с верхом Прасковьину слободку. В одну избу заплыл рыба-сом, да так и остался там, в печи. Гогулятники пришли, когда полые воды спали, заглянули в печь, видят — черная морда и усы. «Это,— говорят,— беспременно есть сапожник, от страху в печку залез и дратву держит» (это усы-то!). А другие не согласны: «Нет,— говорят,— это есть либо старый голубь, либо молодой медведь». Семь лет спорили, а кот пробрался за это время, да и съел сома целиком.

Этим враги хотят уколоть, что пьяными бельмами пречистую мать от быка, а голубя от медведя отличить не можем. Но даже и придумать кстати не сумели, кощунники. Какой же это сапожник (если только он сапожник, а не анчуткин пасынок!) со страху в печь полезет? Какие пустяки! Я на эти прибаутки и складки не серчаю, а только глупо. Мы не хуже других городов и не меньшим прославлены. Поднесь в городовой книге запись красуется, как отбивали мы Стеньку и других ногайцев. Также хранится похвальная бумага от самого царя Алексея, где нам приказано держать Русь, так как мы-то и есть главный рычаг опоры. Кроме того, во времена совсем темные воевода наш Абрам Алтунович Гоголь получил голубого песца на шапку и 4 рубля серебром, деньги в то время немалые. Про это тоже в книге полностью есть. А сколько знаменитых людей, прямо тузов, вышло из нашего Гогулева на всю Россию. Вспомните, граждане, Егора Бобоедова, который умер за человечество, или Артемия Траву, который предсказал всякие события на пятьдесят лет, а мог бы и больше! Бумаги не хватит, чтобы всех героев записать. И после этого смеют еще клевету поднимать враги наши?

Враги, на нас не клевещите
И не завидуйте врагу:
По справедливости глядите
На каждом жизненном шагу!

Точка вам, врагам нашим!

САМООПИСАНИЕ ЛИЧНОСТИ

Я родился при несчастном совпадении обстоятельств. Это событие произошло 10 числа апреля месяца 1860 года. Рядом с нами загорелся дом. Матушка моя, Варвара Алексеевна Ковякина, будучи здоровья хлипкого, от напуга разрешилась мною. Я потому и получился росту небольшого и наружности не особенной, что эпизод рождения моего произошел до предназначенного срока.

Однако радости моих родителей не было конца, так как я был первенцем. На крестины было призвано много гостей, и, несмотря на скудость достатков, был устроен пир горой. Упомяну, что по тогдашнему времени было истрачено семнадцать рублей с полтинником, не считая съестных припасов. (Покойник дядя Ефим приволок живого барана. Игната же Семеныча угораздило притащить крендель, по рассказам доходивший до 30 фунтов.) Сам я затрудняюсь вспомнить, хотя это и интересно удостоверить для истории. Описать всего пира я не сумею, хотя было очень весело. Мои восприемники были: по женской линии отцовской тетки золовка, Катерина Васильевна Пулипа, женщина высокого смысла; по мужской — Иван Платоныч, 35 лет.

Мы тогда жили на Почтамтской. Отец, Петр Иннокентьич, был слабого характера и владел мелочной лавочкой. Но, кроме бакалеи, можно было достать у него и пуговицы, и колесные ободья, а также мыло и шурупы к замкам,— это во всякое время. Однако с открытием подобной же лавки местным жителем Басовым, человеком так себе, отец пришел в форменный упадок. Дела его пошатнулись, здоровье тоже. Он стал неустойчивым к вину и умер преждевременно в 1868 году, 30 апреля. Ему тогда не было и сорока трех полных лет. Умирая, отец сказал: «Андрей, уважай!..» Но кого уважать, он не пояснил, потому что умер. Тогда черемухи цвели, воздухи хорошие, умирать было легко.

Мне было уже 8 лет, и я начинал грамоте, к которой был прилежен, понимая пользу. Тут я приглянулся местному мануфактурщику Зворыкину, Козьме Григорьичу. Ему было написано стать полным моим благодетелем, то есть вторым отцом. Он, будучи купеческого сословия, был самый почти состоятельный в Гогулеве человек. Целый квартал — полная его собственность, не считаю еще мануфактурной торговли, кото-

рая давала значительный барыш. Он принял меня в ученье, платя матушке по целковому в месяц. Это было ей подмогой. Времена шли, и я стал главным доверенным его коммерческого дела. Свои успехи я объясняю честностью натуры. Я человека зря не обижу, как некоторые, о которых умолчу. Человека обидеть — это есть природное скотство, как я гляжу. Взять хозяйское, я тоже никогда не возьму, если даже дело может остаться в тени. Это я проявлял еще с пеленок.

Также почти с пеленок стал я учиться музыке. У отца была цитра без двух струн. Я очень хотел на ней выучиться, однако дела и болезненность сложения постоянно отдаляли меня от этого занятия. Все же я и теперь, при случае, сумею сыграть какой-нибудь танец, а потом романс: «Ты причаль, моя рыбачка». Этот последний могу также и с пением, хотя напев голоса у меня особенный. К нему ранее нужно еще привыкнуть.

У Козьмы Григорьича прожил я 49 лет, не дослужа всего 1 год до 50 и, следственно, до юбилея. Подошла смута, которая подорвала течение судьбы. Двадцатипятилетнего юбилея также не было справлено. Козьма Григорьич был по делам в губернии, а потом справлял свою серебряную свадьбу. О, вот пир был! сколько одного александринского листа пошло! — весь у Губова скупили. 3 дня весь Гогулев шатался, хотя, как известно, земля у нас стоит ровно. Я же оставался в тени и нес дела по магазину.

В те времена очень я любил девицу одну, Наташу Суропову. Она была чудная блондинка, с замечательными волосами и от хороших родителей. Голос у нее был очень хороший, и она пела в хоре у Василова, где я и познакомился, будучи ктитором. Все шло гладко, но вдруг приехал из Барнаула ходатай Фиглев, он закружил Наташу. Увезя ее из Гогулева к себе, дело кончилось печально. Мне даже писать об этом факте трудно, так как слезы застилают мне глаза целиком. Ах, Наташа, что со мной тогда делалось! Я 3 дня есть ничего не мог. После чего я решил не жениться, не хотелось как-то сатану на душу себе принимать. Поэтому никогда у меня домашнего дела и не было.

Живучи в Гогулеве почти безвыездно, разве только по хозяйским делам в Самару, я молчать на события текущей жизни не хотел. Все свободное время посвящал я участию в торжественных эпизодах города. А потом записывал их письменно. Это я стал делать по стопам моего покойного отца,

Он тоже вел летопись города Гогулева, так как у него тоже бродили в голове романтические герои, также идеалы. Но почерк у него был кривой, мысли тоже. Кроме того, тетрадки его у меня украли в марте месяце 1901 года, неизвестно кто.

Писал я в секрете, опасаясь происков врагов. Никому я писаний моих и не показывал, почитая за пустяк. Но люди стороной разузнали, и я прослыл чудаком. Ну, какой я чудак, я просто так, человек!

Также маракую я и стишки, но это уж совсем потихонечку и по мере возникновения чувств. Душа запросит, я и пишу. Как сын города, я сочиняю также кантаты на особливо торжественные факты. Это я могу. А также романс или куплет под веселую руку (хотя я почти не пью, этого у меня нет в натуре).

Козьма Григорьич, будучи меня старше целиком на 21 год, мне неоднократно, выпимши, говаривал, что все на свете есть одна сплошная чушь, плавающая в тумане жизни. «Описание же этой пустопорожней чуши есть токмо дело столичных брехунков, которые ни к какому коммерческому делу не причастны, а только так себе. К тому же у тебя и воображение страдает в полной мере отсутствием...» — так пенял он мне, уже тверезый. Что ж, это и правда! Сызмальства моего учен я больше недоброкачественные ситцы да сатинеты аршином перестегивать, нежели заниматься описанием истории или проникать в причины судьбы. Однако мне К. Г. не резон. Мануфактура — это одно, а записание достопамятного, чтоб не погибло,— это совсем другое.

В гор. Гогулеве я занимал только такие должности, где требовались качества, кроме того сметка, которые у меня есть: помощник ктитора Богоявленского храма, почетный член клуба Вольной пожарной гогулевской дружины, доверенный Зворыкинской мануфактуры, член комиссии по учету недвижимости в 1911 году и тому подобное. Кроме того, меня однажды чуть не выбрали в выборщики. Также участвовал я в Гогулевском сиротском суде, в любительских спектаклях, изображая роли, и был дважды присяжным заседателем.

Теперь я стою на склоне и доживаю дни. События текущего момента целиком отставили меня от жизни. Первоначальный смысл поколебался в устоях, зрение померкает час от часу. Я усмирился, стоя в тени людского забвения, молчу и внимаю. У меня давно уже в одном стишке сказано:

Паук нам ткет забвенья сети,
А мы стоим, сплошные дети,
И горько-горько гибнуть нам!..

Не отрекаюсь, а подписываюсь целиком. Под видом паука изобразил я время, которое идет неисчислимо. О, время! Воистину оно подобно маляру. Нынче красит стену (предположим) баканом, завтра же траурным тоном. И скорей выгорает под солнцем бакан нашей радости, нежели траурный колер горя!

ПОСВЯЩЕНИЕ Н. П. СУРОПОВОЙ

(когда уезжала в Барнаул, 15 окт. 1890 г.)

Когда бы не болела глотка,
Я спел бы вам тогда, красотка,
Всем сердцем искренним романс
О том, как полюбил я вас.

Вы от обедни шли, Наташа,
Был дождь, а на базаре каша.
Вы б в грязь тогда могли упасть,
Я поддержал. Отсюда страсть.

Я не просил у вас свиданья,
Но я к окну твоему ходил.
И там, как нищий подаянья,
Я взгляда вашего просил.

Я на все готов для милой Тали,
А вам любовь моя смешки,
Хотя конфеты принимали
И улыбнулись на стишки! [1]

Мольбу отторгли вы поэта.
Он вас давно простил за это.
Андрей Ковякин к вам не строг,
Прощайте же, прости вас бог!

---

[1] Здесь вот еще как было вставлено, но я вынул такой куплет:

Скажи мне, скольких обманула?
Но адвокат из Барнаула
Тебя житьем переманул,
И вот ты едешь в Барнаул!

ПОВЕШЕНИЕ КОЛОКОЛА К БОГОЯВЛЕНИЮ

Колокол этот мы вешали на собственный счет. У нас и раньше там колокол в 150 пудов висел, но на Пасху треснул. С тех пор стал он испускать звук глухой и скучный. Враги даже прибаутку на нас составили: когда отцы-гогулятники в таз забьют. Это значит — под праздник. И нам от этого обидно, да и церковному делу поругание.

Слава города в его колоколах, ибо колокола вещают его славу. Поэтому стали делать сборы. Матвей Матвеевич Мяуков (мы его потом в гор. старосты выбрали) дал на это дело ровно тысячу рублей, Зворыкин тоже тысячу. Остальные — кто сколько мог, по достатку. Таким образом, собрались большие деньги. Больше всех участвовал в этом деле Бибин М. И., гогулевский купец-стеаринщик (стеариновые свечи, а также мыло). Он отвалил цельных 1650 рублей наличными, по обещанию, которое произошло вот каким манером.

Будучи немного не в своем виде, Михайло Иваныч ехал утром в декабре месяце по Дворянской, где его дом, и встретил о. Геннадия Горностаева (личность тоже значительная, и ростом и вообще). Завидев Бибина, он поклонился и хотел пройти мимо. Бибин же во хмелю не всегда был тих. Быстро выскочил он из саночек (Гогулев очень своими санями славится, большие мастера!) и положительно сграбастал о. Геннадия за плечи. «Докажи,— вскричал он дерзко,— докажи, что земля тоже на ось надета!..» О. Геннадий сразу сообразил, что Бибин с мухой, и отвечал благоразумно, как подобает сану: «Завтра, приходи вечерком завтра, — завтра и докажу». — «Врешь, врешь, долгогривый, врешь, надувало!» — пуще закричал М. И., расходясь как бы для боя (даже кулаком потрясал перед самым носом почтенного протоиерея). Тогда о. Геннадий отшатнул его легонько и ушел.

Вечером того дня о. Геннадий отрешил Бибина от приятия вина и говядины. «Иначе же, — велел он передать Бибину,— я тебя, турецкого остолопа, и в храм не пущу!» Несмотря на такой факт, Бибин стал упорствовать. Неоднократно, приходя под самое окно о. Геннадия, пил он пиво в успеньев пост прямо из бутылки, закусывая скоромным. В такой момент я и видел его. Так и рвал он зубами колбасу, сидя в траве и в неопрятном виде, и подмигивал в окно о. Геннадию. Тот же пил в окне чай и грозил пальцем. Дело все длилось, и Бибин окончательно впал в ерунду. Он завел себе огромную

соломенную шляпу и стал так ходить, пугая всех. Тогда купечество угрозило отставить его от кредита. Пятое-десятое, М. И. попрыгал и сделал пас. Он ходил ночью к о. Геннадию. Все окончилось к полному результату, а именно: помирились к утру на колоколе.

Колокол получился в 227 пудов и был необычайно благозвучен из-за присутствия в большой доле серебра. Его звон был веский и далекий. Многие даже из иногородних, приезжая, любили зайти к подножью и вблизи послушать его медный голос. При большом стечении колокол ввезли в город. Его встретили за версту и ввозили с пением подобающих песнословий. Но еще больше стечения наблюдалось в день его повешения на соборной колокольне. Не только хуторские, но даже иноверные слобожане сошлись посмотреть, каким образом будет происходить дело.

К повешению ждали г. губернатора, которому посылали приглашение на розовой бумаге с массой многих подписей (в том числе — я). Но он так и не приехал, хотя ждали три часа с половиной и успели дважды чаю напиться по случаю жары. Надо сознаться, губернатор нас не посещал ни разу. Наверно, боялся осиротить свою семью по причинам плохих дорог. Это справедливо, дорога наша состоит из сплошных ям, сущая опасность для жизни, ехать затруднительно. Осенью же, так думается, 18 верст в месяц не проедешь. Губернатор же, известно, не птица, летать не приспособлен.

Возле колокольни соорудили помост со ступеньками. Все наши значущие стояли на нем, а также верховоды, в том числе — я. Остальные же и прочая публика помещалась внизу. О. Геннадий начал водосвятный молебен, но тут небо внезапно сгустилось, и пошел сильнейший дождь. Молебна, конечно, не прерывали, хоть лило, как из бочки, если не хуже. Все ужасно промокли, особливо две приехавших игуменьи: на них жалко было глядеть и даже нехорошо. О. Геннадия и о. Ивана, а также Шурыгу в значительной степени от промокания предохраняли ризы. Очень немногие дамы захватили с собою зонтики.

К сожалению, и слово о. Геннадию не вполне удалось. Хотя начал он благозвучно и даже красноречиво. Когда же он упомянул, что, мол, свет ведет к истине, тут все поняли, что светом он намекает на главного жертвователя, у которого стеариновый завод. По-моему, так, конечно, не к месту было на Бибина указать, хотя Бибин и прекрасный человек. Тем более

что стеарин в церковном деле и не употребляется, а только чистый воск. Слово поэтому мало кому понравилось, хотя тут выглянуло солнце и стало обсушивать народ, который не расходился. Ответную речь держал местный учитель Амос Котопахин. Но он так долго и непонятно говорил, что никто не уразумел ни слова. Ипполит же Сергеич (Хрыщ, наш становой управитель) хотел даже прекратить, чтобы не вышло возбуждения.

Затем выступил я. Вышло недлинно, но очень недурно и с теплым участием. Даже произошла давка. Все хотели подойти поближе, чтоб слышать, хотя я говорил достаточно громко. Этим моим выступлением была окончательно исправлена сильная неловкость дождя.

После чего о. Геннадий попросил собравшуюся публику, особливо малоимущих, пожертвовать хотя бы трудом в смысле поднятия. Призыв встретил отклик. Всякий поспешил подымать, давка усилилась. Однако несчастные случаи были на сей раз избегнуты благодаря моей находчивости. Я выступил на самый край и обратился к народу. «Господа,— сказал я,— прошу не напирать! Здесь не цирк, а христианская церковь». Народ отступил. О. Геннадий вслух одобрил мой поступок в зависть врагам.

Все же, едва колокол поднялся аршина на полтора, сызнова произошло замешательство (по малокультурности приезжих). Колокол оборвался и упал, благодаря чему совершенно передавило ноги выше коленных суставов ямщику Прасковьиной слободы, Степану Синеву. Несмотря на скорую помощь, которую оказал ему наш врач С. Б. Зенит, ноги Синеву пришлось потом отнять. Упомяну, что удавился Степан через пять после того месяцев, хотя, в сущности говоря, ямщику ноги и не нужны.

При поднятии всех очень насмешил сам М. И. Бибин. Он успел где-то клюнуть и все просил, чтоб его посадили на колокол и так подымали. К тому же он явился в своей пугающей шляпе, удивляя игумений. Пришлось допоить, чтобы не мешал.

Весь тот день стоял непрерывный звон, все наши верховоды-купцы перебывали на колокольне и обновили покупку. Многих же, пожилых, можно было видеть гуляющими по улицам и слушающими звон.

Вечером после того знаменательного эпизода был устроен торговый банкет в доме моего хозяина К. Г. Между каждым

блюдом я говорил собственные стишки вплоть до самых 5 часов утра, когда все устали и разошлись спать. Перед рассветом разбудили фотографа Губова, и он снял фотографию. (Я стою в первом ряду и читаю как бы по тетрадке.)

Я очень потрудился в тот день, но устал меньше всех, так как умственный труд для меня не утомителен. Я был тогда уже в зрелом возрасте и выдавался качествами. Вот стишки на повешение колокола. Называется: «Крик моего восторга по случаю нового колокола в городе Гогулеве».

КРИК МОЕГО ВОСТОРГА

(Сокращенное название)

Хохочет дико враг надменный,
И точит он на нас клыки,
Долой, долой их род презренный
Одним движением руки!

Давно на нас вы клеветали,
Но Гогулев-город стоит.
И чтобы все вы это знали,
Пусть этот колокол звучит.

В нем 227 п., немного,
Но медь отличная пошла,
И вышиной, скажу вам строго,
Он полных 33 вершка.

Но голос у него отменный,
Когда забьет он языком.
Звучи, звучи нам бесконечно
И в божий храм зови притом!

Теперь я речь свою покончу.
Уж расходиться нам пора.
И тем стишки свои покончу,
Что крикну колоколу ура!

Тут все подхватили мой призыв, и громкое ура трижды охватило весь город. Говорят, что даже в Репьевке был отчетливо слышен этот звук народного ликования. Многие с этой поры дали зарок не пить. Столь обширно влияние искусства на простые души.

ПРОЕЗД АРХИЕПИСКОПА АМФИЛОХИЯ МИМО НАШЕГО ГОРОДА

Все главнейшие события жизни у нас приходились как-то на лето большей частью. Зимой уж очень в сон клонит вследствие холодов. Правда, летом тоже клонит (из-за жары!), но зимой больше. Потому все события мы, по силе возможности, подгоняли к летнему времени.

Как было упомянуто, нас высокие лица ни разу не навещали. Только один раз, и то — ночью, когда все спали, проехал мимо нас губернаторов зять (умница, по словам Дищевой свояченицы, шатен, 38 л.). Но это, в сущности, не эпизод. О нем и поминать смешно.

Как вдруг И. С. Хрыщ (становой) получил уведомление, что в Ольгин день (воскресенье было) проедет мимо города его преосвященство архиерей Амфилохий по делам церковного служения. У нас быстро образовалась торжественная комиссия, в которую на полных правах члена вошел и я. К сожалению, это была суббота, каждому хотелось попариться в бане. Поэтому на собрание пришел только я один, да еще Игнат Семеныч (отец нашего С. И. Обувайлы), человек почтенной наружности, но престарелого ума. Мы с ним поговорили о разном, но постановления не приняли, по малочисленности. Я же, как на грех, не успел составить подходящих стишков, что всего печальнее. Словно со струны соскочило. Вертелись в голове всего три строчки:

Владыка божий, зри на нас:
Погрязли мы в грехах и грязи,
Благословенье дай тотчас...

Но трех строк для архиерея мало! Да, кроме того, и думать не пришлось дальше. Пришлось бежать за доктором Зенитом для Козьмы Григорьича. Он отправился в баню прямо от обеда, причем изрядно перепарился: его вынесли на руках. Поднялась рвота, количество пульсов ослабело. Очень страдал, на крик. Опасались, что погибнет (63 года).

Становой же не спал, как прочие. Пользу дела сумел сочетать с высокоторжественностью дня. Супруга его, Ольга Николаевна, была в тот день именинница. Кроме того, она занимала, несмотря что женщина, пост гогулевского покровительства животным. Становой и придумал ей подарок. Он приказал допускать на Козью горку (откуда возможно было наблю-

дать архипастыря безо всякой даже трубы) не даром, а взимая по четвертаку с персоны. Это вышло очень действительно в смысле дела и красиво в смысле публики. Конечно, сапожник, например, Савелька Галунов четвертака за вид архиерея не даст. Чем и достигается чистота публики! На горку были вынесены все лавки из Сусанинского сада. На них, заплатившии четвертак, можно было сидеть и, несмотря на это, видеть все целиком.

Сумма дошла своим размером до шестидесяти двух рублей, на каковые был устроен впоследствии бал-маскарад в пользу животных. Упомяну, что бал превосходил все виденное размером содержания и веселостью постановки. Бибин тогда оделся обезьяной, Обувайло — слоном (он вместо хобота держал в зубах кусок пожарной кишки, в которую и трубил). Фотограф Губов — крокодилом, и ползал, как бы грызя. Остальные — кто во что горазд. Дамы — цветками и плодами. Василов же замаскировался чертом, но с таким неприличием, что его вывели. Он тогда переоделся фруктом, но его опять вывели. Ольга же Николаевна, как покровительница, дарила на этом бале каждому гостю по котенку. В этом она подражала своему мужу, И. С., который, чтоб легче ему было дома жить, всучивал по кошке каждому посетителю в своей канцелярии. По-моему, этак можно даже повредить отношения с населением. Например, я, — я холостой, к чему же мне кошка?

И до чего ведь дойти человек может. Я в 1903 году зашел к Хрыщам, Ольга Николаевна как раз молодых котят топила (которых не сумела раздарить). Вижу — сердится, что вода на керосинке долго не кипит. «Что ж вы,— спрашиваю,— надутые такие?» — «Да вот, — отвечает,— вода для котяток никак не поспевает». Я удивился: «К чему ж,—говорю,— воду-то теплую, раз все равно топить?» Она же мне так: «Какое у вас сердце жестокое, Андрей Петрович, ведь в холодной воде неприятно. Попробуйте сами в холодную воду лезть!» Господа, при чем тут жестокость, но это несовместимо, несовместимо никак!

Однако вернусь к описанию. В этот день стояла прямо вавилонская жара. Все были как сваренные раки. Очень немногие догадались захватить бутылки с водой, чтобы пить и мочить голову. Мозги положительно варились в собственном соку, такая была жара.

Кусок местности, где дорога, был оцеплен урядниками. Хрыщ сидел на коне. Все оделись в белые кителя и при шпа-

гах. Мальчишкам было запрещено пускать змеи, дабы не напугать архипастыря или его лошадей. Вдруг вдали облако пыли. Все воспрянули и закричали ура. Но это оказался, к сожалению, не архиерей, а воз сена. Все упали духом. Некоторые даже хотели отправиться домой. Как вдруг в пыли показалась коляска. Все по знаку станового (свисток) стали махать белыми платками и кричать ура с удесятеренной силой. Что было шуму! Владыка по врожденной скромности смутился таким приемом. Он хотел отвечать и даже поднялся с места, а кучер задержал лошадей. Но такой взрыв народного восторга поднялся тут, что бомбы не было бы слышно, если бы, положим, случилось. С. И. Обувайло прямо рычал от восторга души, сидя в 1 ряду на Козьей горке. Но никому это не показалось странным, а даже напротив. Только опять чуть всего дела не подгадил Бибин. Он, придя в шляпе, принес трещотку (для птиц на огородах) и все время невыносимо трещал, не стесняясь соседних дам.

Я же находился не на горке, а у самой дороги, в переднем ряду. Будучи гораздо более молодым, я кричал до хрипоты в горле. Столь велик был народный подъем. Владыка обратил на меня внимание. «Кто это?» — спросил он, указуя в меня архипастырским жезлом и прищуриваясь. О. Геннадий, который знал меня по ктиторству и по эпизодам жизни, моментально нашелся ответить: «Старший доверенный Зворыкинской мануфактуры, Ковякин Андрей!» — «Православный?» — спросил владыка, покачивая головой. «Точно, православный, ваше преосвященство!» — ответил, не смутясь нисколько, о. Геннадий. Тогда владыка произнес с удивлением: «Глотка какая!»

Тут эпизод. Кучер слез поправить шлею. Владыка, сидя, благословил собравшихся. Это было причиной нового восторга. Все пришли в полнейший экстаз. Поднялся страшный крик, многие махали платками, палками, шляпами и зонтиками. Некоторые стали даже хлопать в ладоши. Но это уж ни к чему: архиерей не скоморох, а слуга вышнего. Соображай и в момент восторга!

Этот народный восторг толпы чуть не стоил жизни владыке. Лошади чего-то напугались и понесли. Кучер-монашек упал, получив оглоблей в плечо. Только благодаря чудесному геройству городового Десяткина удалось остановить коляску. Владыка был так растроган, что даже не мог говорить. Лошади могли попасть в речку со всего обрыва, что кончилось бы

форменным капутом. Отъезжая, владыка долго оглядывался на нас, мы тоже.

Архиерей Амфилохий оставил во мне очень большое впечатление, так же как и я в нем. Сожалею, однако, что не успел я сложить стишков, вышло бы еще торжественнее. Обратно владыка ехал уже другим путем, и я не мог исправить своего упущения.

Вечером, на именинах О. Н. мне рассказывали (о. Иван Люминарский), что у владыки есть отпечатованные труды. Это — «Собранпе проповедей на праздничные темы». Кроме того, обширное сочинение (190 стр.): «Противоречит ли устройство кита понятию о промысле божием». Интересно бы познакомиться. Я тоже много думал об узости китового горла и даже собирался послать в св. синод свое незначительное соображение на этот счет (21 стр., с рисунком от руки).

Владыку Амфилохия к нам перевели из Тобольской епархии. До него у нас был епископ Ириней. Но он выпал из коляски, ударился головой о тумбу и от этого помер (но больше, пожалуй, по преклонности возраста — 71 год).

ПИСЬМО НАТАШЕ В БАРНАУЛ

(Не послано из-за перемены в настроении)

Вы с Фиглевым уехали, Наташа,
Быть может, и ребенок есть у вас,
А в Гогулеве тихом имя ваше
Все вспоминаем мы почти что каждый час.

У дьякона Семена Куликова
Цветет сирень в саду, и яблоня цветет...
Наташенька, ответствуй мне хоть слово,
Ведь год прошел, почти что целый год!

Василов пьет. Сергей Иваныч помер,
Булдасов крутит с Дищевой женой,
А Бибин нам на днях такой поставил номер,
Что просто со святыми упокой.

А в домик с петушком, что на Гончарной,
Вселилася учительша-вдова...
Я мимо шел и в ужас впал кошмарный,
И даже закружилась голова.

Наташа, Барнаул тебя погубит,
Хотя я в Барнауле и не жил...
Наталья Павловна, пусть Фиглев так вас любит,
Как и Андрей Петрович вас любил!

МАЛОКУЛЬТУРНОСТЬ НАШЕЙ СТРАНЫ

Я этого совершенно не переношу. Два года тому назад посылали мы бумагу в Петербург, чтобы у нас открыли университет для образования малокультурных людей и развития ихнего образования. Но ответа мы так и не получили, ожидая с нетерпением. Чему о. Геннадий радовался, говоря: «Нечего, нечего излишнюю влажность в мозгу разводить!»

Но у наших жителей низшего сословия мозги и без того какие-то сырые. Они никак не хотят понять, что нечистая сила в высшей степени не существует. Я о боге не касаюсь, бог — это другое дело. Но уж черта, извините, никакого нет! Это есть пустое суеверие и даже смешно. Я еще однажды мальчишкой из-за огорчения (К. Г. поучил, на руку был он и скор и крепок) хотел душу черту продать. Но как я его ни призывал, он так и не явился. Теперь-то я уже, конечно, и рад, что не явился. Что бы я теперь-то стал делать, на склоне-то! Это вам раз.

А вот два! У нас две недели подряд говорили, что одна баба (Лукерья Анютина) собственноручными вилами пропорола черту бок. Черт исчез, а на его месте дырка с горячей водой. Я тогда отпросился у К. Г. и поехал во Вьяс выяснить, что за чушь. Нашел Лукерью, баба высоченная, притворился, стал выспрашивать. «Да, — отвечает, — точно, только это не черт, а дьявол был». — «Какая ж,— спрашиваю,— разница?» — «А такая, — отвечает,— что на дьяволе шерсть не в ту сторону растет!» Я тогда велел ей полностью рассказать. Она стала рассказывать: «Намедни возили навоз. Грунька к ребенку побежала,— закричал. Я вилами поддела навоз, он тут и выскочил. Весь темно-рыжий и визжал, как теленок (несуразность какая!). Он в навоз на зиму залег. В навозе ему мягко, а дух тяжелый ему ниночем». Я в этом месте и смекнул, что в бабиных словах огромная примесь. «А дырка с горячей водой где?» — спрашиваю. Баба же мне так: «Сам ты дырка горячая».

Вечером того же дня я выступил с речью (на дне рождения Зои Алексеевны, Дищевой жены). Все мне были очень благодарны, что я вскрыл нарыв нашей отсталости от других стран, например от Англии (у них давно уж литер, а у нас все фунт. В этом и заключается суть).

Суеверия наши до ужасного смехотворства доходят. Например, будто если спорыньи толченой на пороге у жениха в

Крещенье посыпать, то все волосы у него повернутся внутрь расти и он умирает в страшных мучениях. Меня прямо даже смех душит. Я даже попробовал это на одном человеке из незначащих, — ничего подобного. Так растолстел, что кровь по лицу прыщом пошла. Потом вот еще: под троицкую пятницу тулуп с черта стащить, будет тулуп как живой и расскажет, кто на ком женится в тот год. Господа, ну какой же черт, если он черт, а не постный дурак, о троицкую пятницу (когда небо от жары трескается!) станет тулуп таскать. Вот чушь! И кто это сидит на печи да выдумывает такие вещи?

Все же подобные суеверия претворяются в жизнь. Агафья Ильинишна Куняхина (Почтамтская, собств. дом) имеет сонник и черноватенького кота (никакой породы, главное дело), при помощи которых всем приходящим разгадывает сны, а также наводит на зеркало, причем берет деньги. Вот на эти деньги да и закатить бы университет! А Илларион-извозчик всюду видит анчуток, которые им понукают целиком. В пятом годе явилась к нему полусабельная сноха посередь зимы, велела в Самару идти печенкой торговать. Он рассчитался у Мяукова и ушел. А его на дороге, у Сухого озера, волки и застигли. Мне вот и хочется вас спросить: ну, не глуп ли Илларион?

Господа, дело и не до того доходит! Бабка Прасковья Уткина с Лабазного проулка и доныне гадает на воде, на пшеничном квасе, и даже с человеческой костью (мне очевидцы передавали, я сам и не поверил сперва!). Она также предсказывает будущую судьбу и кражи. Мало того, она осмеливается лечить живых людей! Осенью позапрошлого года кто вылечил у вознесенского старосты куриную слепоту, получившуюся вследствие нечаянного опития самогоном? Она! Она же вылечила соседкина Ваську, давая ему пить можжучный квас с сургучом. Причем всенахально уверяла, что у парнишки молоки болят! Правда, Васька через сутки бегать стал, даже окно у Бибина расколотил, но ведь он мог же и умереть. И очень даже свободно, так как сургуч запирает все конечности. И потом, господа же, господа, гражданы, товарищи, ведь молок же у человека не бывает, у человека же нет молок, — тем более у такого парнишки!! Сколько раз я твердил про это всем и при любом разговоре: «Господа, господа, запишите в мозгу красными чернилами: до точки мы с этими молоками дойдем и хлопнем!» Однако ноль внимания. Хорошо, я умываю руки.

Отец Геннадий советовал становому (Хрыщу) сажать всех суеверов под замок, в подлежащее место. Я с таким оборотом не согласен. Разве же гогулятник не человек! А человеку, господа, слово да уход нужны. Если же оглоблю в землю сунуть, то оглобля на собственную же голову и вырастет. А процветания от оглобли не жди!

По-моему, как хотите, а тут нужен университет.

САТИРА НА ГОГУЛЕВ В КУПЛЕТАХ

(Для приезжих)

Что за город, удивленье:
8 улиц, 5 домов.
Для приезжих загляденье
Славный город Гогулев!

Предположим, вы идете
По торговой, то как раз
Сразу в лужу попадете,
Не опомнитесь тотчас,

Если ж прогуляться по Гончарной
На себя возьмете труд,
Налетят свиньи оравой,
Все вам ноги обгрызут!

И народ здесь тоже штучка,
Ну и штучка, ну народ:
Он сутки пьет, а сутки дремлет,
Сутки дремлет, сутки пьет.

Каждый денежный излишек
Норовят снести в кабак,
Не читают вовсе книжек,
А боятся как собак!

Одним словом, приезжайте,
И на месте все узнайте!

МОИ ДЕЛА ПЕРЕД ГОРОДОМ

Мне, конечно, неловко говорить об этом самому. Это дело настоящему историку в руки, а не мне. Кроме того, и трудно перечислить все мои дела, потребовался бы толстый том. Однако в летописи нечего стесняться и даже нехорошо. Поэтому

я попробую очертить только некоторое. Начну с реформ, которые я провел и этим облегчил положение. Во-первых — кладбище.

У нас их три. Одно ископано целиком. На другом (при Борисоглебе) хоронят своих стеаринщики и другие из простого звания. Третье, Гогулевское, самое обширное. Оно отличается богатством памятников и красотой размещения, потому что на горе. Сюда я и направил свою реформу.

Я добился, чтобы усопших клали не как придется, а в строгом порядке. На каждый участок идут покойники по одной только специальности. Купцы к купцам, военные к военным. То же самое насчет священников, деятелей или исторических писателей, как, например, я. Такого порядка, насколько я знаю, нигде еще не случалось. Я даже хотел ввести, чтоб и на участках хоронили не просто, а, предположим, по буквам. Сперва все покойники на букву А, потом Б и так дальше, до отказа. Этому, однако, воспротивились, особливо Хрыщ. Он говорил: «Этак, я всегда в конце буду лежать, а какой-нибудь прохвост нестоящий — спереди. Не согласен, протестую!» Я его уговаривал до полнейшего изнеможения во всем теле, что это только так на земле, для порядку, а там, перед престолом, все равны. Он же возразил: «Престол — престолом, а Хрыщ — Хрыщом!» (А ведь из этого можно было даже вывести, что он просто неверующий!)

Очень жаль, а то могло получиться очень хорошо и неутомительно в смысле хотя бы розысков любимого усопшего. Вы, положим, забыли, где он лежит, Иван Иваныч, и спрашиваете у сторожа Петра: «Где лежит такой-то и такой-то?» Он же спросит только: «Купец, деятель, военный или исторический писатель?» Вы говорите (положим): «Деятель». Он моментально укажет, где и как. Таким образом, кладбище могло бы походить на приходо-расходную книгу, которую я веду у хозяина в его коммерческом деле. Жаль только, что уже прежде похороненных нельзя переложить, хотя я и предлагал для очистки совести (в городском управлении, куда меня выбрали в 1907 году за деятельность). Тогда же я предложил переименовать улицу Канаву в улицу ученого науки Торичелия, чтобы хоть этим немного скрасить ее грязный вид. Таким образом я способствовал благоустройству города.

Также я упразднил ход с тарелками на Благовещенье. Девки кос не заплетают в сей день, тем более обидно соби-

рать трудовую лепту с верующих. Я был тогда помощником ктитора и потому имел права. Я же настоял посадить березки перед больницей, чтобы доставить больным постоянную видимость рощи. Что и было сделано 20 марта 1907 года в числе 7 (семь).

Из домашних событий замечательно, когда я спас почти весь город от пожара. Я спал, вижу сон, будто воры. Моментально вскочив, чувствую гарь. Выскакиваю в кладовую, вижу пламя, достигающее от двух до четырех аршин (попеременно). Не растерявшись, я быстро сбегал за водой и залил начало пожара. Растеряйся я, дело можно считать погибшим. Так и случилось с Бибиным в 1909 году, когда Спиридон Игнатьевич Обувайло опалился весь в высшей степени.

Кроме того, я пишу разные тетради. Вот их перечень: 1. Размышление по поводу хода вещей. 60 страниц мелким почерком. Размер страницы 7 вер. на 5. Эта тетрадь спрятана, может влететь. 2. Перечень домашних приключений. Также описание примет на погоду. Труд пустячный, но занимательно. Кроме того, разные соображения. 3. Подробное описание жизни А. П. Ковякина с подходящим портретом и таблицей, что и когда случилось. В конце — предположения А. П. К—на о начале мира и о спасении души. Описано все, что известно, также собственные добавления. Предполагаемый план загробного мира. 4. Под названием: «Отсталость нашего народа». Случаи и всевозможные вещи, а также опровержения их разными способами. 51 стр. 5. Домашние советы ближнему, в стишках. Очень интересно, если отпечатовать (31 стр.). Советы расположены по буквам и под номерами. Поучительно даже для детей. 6. Летопись торговых дел. Описание купцов и разные преступления. Опись того и другого. 7. Соображения об узости китового горла и других несообразностях. 31 стр., с изображением внутреннего вида кита. 8. Стишки, оды, романсы собственного сочинения, можно с пением. Все эти труды у меня в сохранности, за исключением №№ 2, 3 и 4, которые украдены неизвестным вором. Также украдена опись родоначальников.

Из других дел, которые нельзя упустить, упомяну: 1. План, как поймать каторжного Афоньку, по прозвищу Жох. Он зарезал купца Кунина с семейством. Очень смелый план. 2. План обложить всех пьяниц в пользу незаконнорожденных

или университета. 3. План водопровода в Гогулев. 4. Покупка трубы на общественный счет, чтоб покрасоваться на лунные горы. 5. План устройства Всероссийского детинца.

Многое и другое можно бы сделать, если бы не смута.

НА РОЖДЕНИЕ ДЕВОЧКИ НАТАШИ

(Наталье Павловне в Барнаул, 10 февр. 1892 г.)

Не ждал Наташи я от вас,
А ждал скорее Гришки:
Не нужны девочки сейчас,
Теперь нужны мальчишки!

Но я от вас не утаю,
И в этом будем дружны,
Позвольте сказать вам мысль мою:
Девицы тоже нужны!..

Хотя от них бывает срам,
Но в них секрет всей жизни:
Не дают погрязнуть нам
В скользком атеизме.

Андрей Петрович вам не врет,
Он любит вас, Наташа:
Пусть как роза расцветет
Таля, дочка ваша!

Пусть оденется она
Бархатом и златом,
Пусть не верит лишь она
Разным адвокатам...

Живи, не старясь, детвора,
Не доходи до точки!
Наталья Павловна, ура
И вам и вашей дочке!!!

ЭПИЗОД КАК Я НАШЕЛ ДРЕВНЮЮ ПУШКУ

Я по археологической науке не знаток. Однако старую вещь могу отличить от новой безо всякого труда. В этом моя особенность.

Едучи в Самару на перекладных, я увидел в стороне от дороги кончик блестящего предмета. Немедленно велев остановиться, я сам вылез освидетельствовать, почему так. Со мной

ничего не было такого, кроме хозяйских бумаг (векселя и накладные), у ямщика же топор. Я обчистил предмет с верхней стороны и сразу нашел, что это пушка. Я так и замер. Конечно, пушка принадлежала тем врагам, которые нападали на Русь именно с гогулевской стороны. Мог быть и Стенька. Я даже размечтался, куда ее положить, и остановился на Сусанинском общественном саду. Там вся молодежь гуляет в летнее время. Вот пусть и лежит на виду у них для сравнительного примера.

Тихонько засыпав пушку, я поехал дальше. А на обратном пути, выкопав из-под праха веков, я с полнейшим триумфом привез в Гогулев. Вот был восторг, все меня поздравляли! Одних фотографий сняли 4 штуки (я сижу возле пушки и как бы думаю). Однако тут вступился дьякон Куликов. Он, будучи священнослужителем по должности, был стрекулист в душе. Он возразил, что пушка дрянь, плохая пушка, гривна в базарный день. Это мне было очень обидное оскорбление. Я не сдержался и обозвал его антихристом. Он же впоследствии до того дошел по наклонной плоскости злобы, что в 1909 году гробик на квартиру мне прислал. Не поскупился на издержки человек, чтоб уколоть. Я гробик продал, а ему закатил по почте письмо без никакой подписи.

Под сенью древес
Сидит лютый бес.
А кто он таков?
Да дьякон Семен Куликов!

Несмотря на это, он все же догадался, что это я, и прислал мне записку совсем нестоящую, а только ругань низшего сословия: «Хоть я и дьякон, а ты бы, пес, не вякал. Очень доволен тобой, помолюсь за упокой!» Это настоящий фараон по наружности и отъявленный субъект. Кроме бегающих глаз, имеет он длинный какой-то бурбонский нос, похожий издали на дверную ручку. С таким носом нужно человеку и гулять воспретить, чтоб не пугал. А уж коли на то пошло, я и больше скажу. Не могу утверждать, но есть основания, что почтальона Радугина в 1906 году он убил, а не Афонька. Просто по ехидству мог убить: «Ах, ты почтальон? Так вот тебе!» И убил.

Дома он составил расписание мук на том свете и каждого гогулевца внес, не щадя даже дам. Мне (через посредство его ребенка) известно, что мне он прописал 4 бочки слез.

Я прямо хохочу от смеху, такая глупистика! Таких, как он, нужно бы ссылать прямо в Сибирь. Только вот что голос у него хороший, огромнейший бас, а то бы в мешок да в воду, как кощонка!

Впрочем, я отошел. Когда дело с пушкой стало затихать, я и думаю: эх, думаю, надо быть нахалом в жизни! Взял я да и написал в «Голос», какую я пушку нашел. Через неделю прихожу к Хрыщу, он мне и показывает газету, где про меня отпечатали. Что вот, мол, нашелся культурный человек, г. Ковякин, которому дорога русская старина. Вследствие чего он, г. Ковякин, и открыл пушку. Со слезами обнял я Хрыща. Он то же самое, но не удержался сказать: «Смотри, Андрей Петрович, в газету попал. Процветание — хорошо, однако бойся элементу!»

Я тогда всюду писал (по совету о. Геннадия), чтоб получить аттестат и медаль. Однако мне ни слуху ни духу. Только из Красного Креста прислали конверт (даже без сургуча). В нем было сказано, что не по адресу, а в Имп. Арх. Общ., там специально по пушкам и прочей старине. Я написал и туда со вложением описательных стишков. Пятое-десятое, но дело заглохло целиком. А жаль, такие поступки населения, как мой, нужно всенародно отличать. Я и не то, может быть, могу еще открыть! У меня давно в голове зудит: «Открой да открой, Ковякин». Пушка же это еще пустяки!

НА СМЕРТЬ НАТАШИ

(Не послано никуда. 18 февр. 1892 г.)

Наташенька, ты слышишь ли мой крик?
Единственная ты моя Наташа,
Андрей Ковякин уж целиком постиг,
Как зла и жалостна судьбина наша.

Зачем ты уезжала в Барнаул,—
Иль гогулевские не милы лица?
Ответь, что делать мне, кричать ли караул,
Запить, повеситься или молиться?

Зворыкин говорит, что в наши дни
Любая суть кончается могилой.
Ах, нет, Наташенька,— возьми с собой, возьми
Мою любовь, мою тоску по милой!

И пуст и неприятен Гогулев...
А степь молчит. А сердце ноет больно.

Прости меня, Наташенька, за глупую любовь,
За то, что осудил тебя невольно!

Лишь об одном, любимая, скажи,
Чем я отблагодарить тебя сумею?
Ах, Фиглев, враг мой Фиглев, покажи,
Какие слезы пролил ты над нею!..

СВАДЬБА НАШЕГО УВАЖАЕМОГО С. И.

Приступая к описыванию этой фигуры, все мое красноречие тускнеет целиком, теряя блеск. Скажу просто: нет слов для подходящей обрисовки С. И. Однако попробую.

Вид Спиридона Игнатьевича был мужествен и значителен ростом. Злые языки врага называли его семафором. Это не подходит, скорее шкап. И он отличался тем, что весь был в волосах, несмотря на молодые годы (42 года). Рост волос не прекращался ни на минуту, они прямо хлестали отовсюду (даже — ужасно! — из-под ногтей). Быстрота же роста была прямо чудесной. В 1910 году (когда Бибин горел) все лицо Обувайлы опалилось до полнейшей голизны. Казалось, наружность его погибла, однако нет. Через неделю он выглядел по-прежнему (снова весь зарос). Нужно видеть, чтоб судить!

Можно бы ожидать, что и голос у него непременно короткий и лютый бас (которому если и петь, то только в местах пустынных). Но, представьте, как можно ошибаться! Колер голоса у него был тонкий и длинный. Иные, когда беседовали с ним, принуждены были оглядываться, подразумевая девочку возле себя, говорящую как бы в шкапе. Ничуть не бывало, это говорил он сам!

Клеветали также, что он не обладает умом. А зачем, скажите, начальнику Гогулевской пожарной дружины ум? Только отягощение голове и вред геройству: умный человек по своей воле в огонь не полезет... А от этого вся Россия в одночасье может сгореть. И останутся умные-то люди на комариной плеши! Что и случилось потом.

Пожар, дым, огонь бьет вверх! Близко не подходи, из боязни обжигания. Люди кричат, плачут и падают, выражая беспокойство по случаю огня. Он же идет, спокойный, как монумент, прямо туда и там делает свое благородное дело под звуки благодарности среди обезумевшей толпы. Видя огонь, он бледнел и начинал гудеть. Как полководец, он протягивал

руку, указывая, куда направлять водяные струи. К. Г. мой смеялся, что палец у Обувайлы (средний, на правой руке) был длиннее других от всегдашнего показыванья. Это, конечно, шутка, но действительно энергия хлестала из него прямо фонтаном. Это уж факт без всяких сомнений.

Он женился на дочери местного почтарика Полуямова, человека так себе, но обладавшего дочерью прелестной наружности. Зима тогда выпала умеренная, снегов много. Зимний путь уставился с ранней поры и очень превосходный. Уже прилетели грачи, чем была особливо отличена эта свадьба от других зимних эпизодов.

В церковь пускали по билетам, чтоб не получилось несчастных случаев. Я тоже присутствовал, успевая повсюду. Я пел в обширном хоре (на клиросе, Василов упросил) и разгонял мальчишек от церкви и даже заменял шафера как неженатый мужчина. О. Геннадий весь сиял, как гривенник, сочетая счастливую пару. Но у Куликова был голос не в ударе, уж лучше бы на сей раз и без дьякона. Горборуков, читая Апостола, сорвался в конце и дал журавля. Все это потому, что все волновались, чтоб вышло хорошо.

Я же приготовил стишки, готовясь выступить, но хранил про себя в секрете до подходящего момента. Даже лицом не показал об их существовании! Невеста была росту большого, жениху под стать, но телосложенье хрупкое. Тонкий румянец озабоченной девственности беспрерывно играл по ее лицу.

Несмотря на успех у женского сословия, Спиридон Игнатьевич женился впервые. Поэтому он смущался и чуть не опрокинул аналоя, а невесте прижег воском руку, чем вызвал крик. Однако никто постарался не заметить. Савельев, сын купца, пожарный дружинник по призванию души, будучи шафером, был выпимши и вел неделикатно в отношениях жениха. Например, держа венец, показывал сзади рога. Это я отмечаю. Уважай человека даже и в момент его свадьбы!

Вот венчанье окончилось, все пошли поздравить, я в том числе. При этом я сказал по возможности громче: «Сколько вы, Спиридон Игнатьич, чужих пожаров затушили, а своего таки-таки и не могли затушить!..» Все засмеялись, невестин же отец (человек без понимания шутки) обиделся. «Это не ваше дело,— сказал он грубо,— и не суйтесь, а молчите в тряпочку». Я ему не ответил, зная недостаточность его образования (после же высказал).

Выйдя из храма, все сели в сани и помчались на пир к Обувайле. Господи, что это были за кони! Это были не кони, а сплошное безумство. Недаром он примешивал в овес моченый горох с медом на собственный счет. Оттого и получалась такая роскошь. Кони его положительно рыли землю и грызли все кругом. Мигом домчавшись до Почтамтской, нас встретил торжественный хор певчих. Они исполнили кантату моего сочинения: «Честь и слава брандмайору, собирайтесь, гости, к нам». (Ноты приписал Василов.) Это произвело огромное впечатление. Затем тот же хор девиц от Богоявленья, но уже совокупно с хором пожарной дружины, под общим руководством регента Василова исполнил русские танцы, кроме того, духовные песнопения.

Затем начался обед. Он обошелся в 150 рублей, не считаю выломанных дверей. Из этого, конечно, можно заключить, что это был за пир горой. Я затрудняюсь описывать. Вино текло ручьями, а об закусках не стоит и говорить. Столы ломились под тяжестью закусок и других блюд, которые разносили пожарные при полной форме, то есть в медных касках и с топорами. Оживление было полное! Между прочим, вот некультурность. Все сошлись (весь почти Гогулев) к окнам, чтоб видеть, как идет свадьба. Но по малости окон видеть приходилось не всем. С досады стали выламывать двери. Получилась драка. Булдасов был с градусом и как бывший военный чуть не убил одного. Едва уговорили не убивать. Наконец вышел Хрыщ и всех успокоил. Все пришло в прежний вид. Двери же завесили тюфяками, чтоб не дуло, хотя и была оттепель.

Вечером весь дом был обвешан богатой иллюминацией. Различного цвета фонарики висели в разных местах, даже там, где их и не ждали. Из них были составлены две буквы С и З (невесту звали Зинаидой). Каланча тоже вся обливалась огнями. Издали очень было хорошо!

Обед тянулся долго. Все говорили поздравления, причем кричали ура полной грудью. Хор духовой музыки исполнял разные марши беспрерывно (по желанию родителей). Было весело, но жаль было жениха. Он, не имея привычки к сюртуку, потел невыносимо. Невеста даже принуждена была нюхать платок, очень конфузясь. Крахмальный воротничок смок на женихе и прилип к шее. В конце концов наш Обувайло рассердился: сорвал его и бросил под стол. Вот именно: облегчай себя, поскольку можешь! После этого все оживилось, а я воспользовался случаем и стал читать стишки. На месте, где

я говорю, обращаясь к пожару: «Он все равно тебя затушит назло враждебным всем врагам!» — С. И. расплакался, как ребенок, и с криком: «Затушу, верь, затушу!» — благодарно кинулся ко мне на грудь (даже чуть не сшиб с места, такой порыв). Все потряслись в высшей степени, невеста же, выйдя нравом в отца, казалась испуганной. Тут грянула музыка марш, с молодых стали снимать фотографию.

Пришлось говорить и жениху. Музыку приостановили, а фотограф Губов устремился к бутылицам. Жених встал, сказав нижеследующее: «Господа,— сказал он,— не могу. Это со мной впервые, чтоб жениться. Влюблялся 30 раз, но огонь отрывал от долга... Не в этом дело, пустяки! Когда у кого пожар, зовите. Залью, сделайте одолжение! Упивайтесь торжеством! Очень рад. Больше не могу». Я оглянулся: Зворыкин сопел, о. Иван Люминарский плакал, Василов с басистым рычаньем доставал из корзины балыков. Тут я, тронувшись, тоже не удержался и сказал экспромт, то есть сразу, не подумав:

Когда вулкан в груди забьется,
Не заливай его вином:
Зови тотчас же Спиридона,
Его затушит Спиридон!

Экспромт, правда, рифмой не особенно звучит, однако все были поголовно зачарованы. Меня стали качать. Невестин отец, Полуямов, зеленел от зависти, что не его, а меня ждал этот веселый сюрприз. А я назло ему только подкрикивал: выше, выше! Впрочем, во мне было опасение, как бы не уронили. Все уже были в достаточном виде, и я отлично чувствовал нетвердое дрожание рук. Но все кончилось благополучно, только воротник немного порвался. Дьякон Куликов, по ехидству, держал меня за воротник и так встряхивал. Долго еще все, забыв молодых, пожимали мне руки. Я же отвечал как умел. Фокусник Лукьян Маркыч, чтоб перебить мой успех, наспех зажег газету и съел. Однако никто даже не засмеялся.

Вдруг получилось недоразумение. Мяуков крикнул «горько». Тогда учитель, Амос Котопахин, подошел к невесте и при полном стечении поцеловал. У меня волосы на голове встали при этом факте! Дамы ахнули, а Козьма Григорьич даже сделал вид, будто снимает сапог, и не заметил. Но не в этом дело. Невеста, покраснев и чуть не плача, возвратила поцелуй этому негодяю с куриным фамилием. Положение получилось

легавое. Жених тоже растерялся (вот простота!) и ворочал глазами. Но тут произошло действие, которое обернуло весь факт обратной медалью. Невеста взмахнула и хлопнула Амоса прямо по щеке. Все от этого засмеялись. Амос же побежал к дверям, теряя всякое соображение, и проговорил на бегу: «Это ничего... ничего! Пустяки...» — «Хороши пустяки, ежель по мордасам отлупцуют!» — не удержался ему вдогон мой К. Г., багровея от негодования. «Он у меня давно уже на счету!» — проговорился и сам И. С. Хрыщ. Василов же проснулся и сказал такое, что Мяуков, человек смешливый, почти свалился со стула. С ним случился хохотун.

Вскорости невеста Зинаида покинула свадебный стол. Это и правда, духота и теснота, несмотря на выломанные двери, были страшные.

Но веселье не нарушалось. Начались танцы, каковыми управлял сын о. Геннадия, Тимофей Горностаев, учившийся в Пензе на землемера. Он, зная капельку по-французски, приводил дам в неимоверное смущение, наравне с Булдасовым. Но я бы его, на мой вкус, не одобрил.

Сперва станцевали пати-патинер. Жених не танцевал, убежав к новобрачной. И. И. Музин, главный фельдшер в гор. Гогулеве, танцевал попеременно то с Дищевой свояченицей, то с мадам Зенит. Он очень красиво танцует, вставляя штучки собственного сочинения, очень неплохо. Зоя Алексеевна прошлась с Булдасовым, подтверждая сплетню. Прочие мадам — с остальными. Сам я, кроме польки, не танцую. Я, имея белую ленту через плечо, распоряжался по хозяйству. Также разносил я мужчинам прохладительное, дамам — бутерброды. Бибин среди танца пустил шутиху под дамскую половину, и веселье еще больше усилилось. Таких свадеб у нас, в Гогулеве, никогда еще не бывало!

После чего гостям в виде сюрприза была показана пробная тревога пожара. Спиридон Игнатьич сел за стол и делал вид, будто выпимши и закусывает. Внезапно вырастает перед ним пожарный дружинник и кричит: «Ваше благородие, пожар!» — «Какой пожар? — как бы с недоумением спрашивает С. И. и даже не двигается с места. — Не может быть!» — «Никак нет, пламя бушует, дети-сироты, а также дамы, гибнут...» — кричит нарочно обученный таким словам пожарный. «Ах, вот как!» — изумляется Обувайло и вдруг отпихивает балык. Балык падает на пол.

Потом он вскакивает с ужасным криком: «Коня мне! Дружинники, к бою... В момент!» Все приходит в движение, все бегут во двор. Наш Спиридон Игнатьич уже не Спиридон Игнатьич, его уже не узнать. Он на коне, с факелом, который дымится, как на картинках. Все кричат ура от восхищения. С него снимают фотографию, осветив химическим горением. Кони храпят, бочки наготове. Пожарные сидят, ворота настежь. Очень здорово все получилось. Я только возражаю, что не всех предупредили. С. Б. Зениту от неожиданности сделалось нехорошо (даже случился казус). То же самое и с одной свахой. У ней отнялись ноги, и она все время пробной тревоги невыносимо кричала, не слушая никаких резонов. Я вот потому и возражаю. Даже приятным сюрпризом не следует до смерти удивлять!

Теперь опровергну неправды. Враги говорят, что во время пира украли три шубы с самых видных гостей. Это не совсем так. Украли ватную кацавейку, плисовый дипломат у свахи и еще камышовую палку у хозяина, К. Г. Получается: враки, враки и враки!..

Также говорят, что у невесты с Амосом нечисто было. Доподлинно мне разузнать не удалось, хотя я и старался, но только у Амоса глаза золотушные, и сам он полнейший субъект во всех видах. Потом, ежели она его любила, то зачем же тогда любимого-то человека по щекам охаживать? Какая ерундистика! И это неправда, что невеста с неохотой шла. Да будь я, А. П. Ковякин, человек пожилой в известном смысле, главный доверенный коммерческого дела, будь я девушкой, да я бы с руками с ногами за него пошла! Да еще благодарить бы стала, потому что для девушки это истинная отрада — под венцом постоять. Плохо вы, враги наши, придумали! Попотейте еще да попридумайте поинтереснее.

А вот уж и совсем пустяк. Будто Бибин М. И. во время пробной тревоги залез на дерево в одном белье и оттуда криком и маханьем рук подражал петуху и другим зверям, чем и напугал родителей невесты. Кричать петухом — кричал, ради шутки и общего интересу. Мы его за это любим и жалуем. Но чтоб в одном белье — это пустяк, пустяк, голая выдумка! Ведь тогда зима была, вы этого и не сообразили? А Васса Егоровна (невестина матушка) разливала в доме чай. Так что пугаться ей было и нечему. А Игнат Семеныч в то время по-

суду мыл, так что и его зря приплели вы. Ах, как вас бог убил, несообразительность какая! По-моему — лги, но украшай ложь правдой, если хочешь красоты...

КАК ПОГИБЛА СЛАВА ДИМИТРИЯ ТЕРЛЮКОВА

Удар судьбы постиг многих из наших ученых. Некоторые отдают себя в пользу опыта науки, другие гибнут в ссылках и заточениях. Третьи просто тают, как воск, без объяснения причин. Такова история моего Димитрия Никаноровича Терлюкова. Эта личность, жившая в Гогулеве до последней поры (Грязный проезд, дом Бубыкиной), могла бы быть даже знаменитой, если бы не случилось непоправимой очевидности.

По происхождению наш Д. Н. человек как будто невысокий. Отец его простой дьячок и даже хуже того — горький пьяница. Но о сыне его описываю я не с презрением, а с жалостью к человеку, к его утерянной в жертву науки славе.

Димитрий Никанорович по своей охоте стал учиться, летами служа в конторщиках и даже в пастухах одно лето. Таким образом он достиг звания действительного студента Казанского университета. Откуда его если и выключили, то не за неуспешность в науках, а единственно за буйный нрав. Это и правда: гогулятник во хмелю суров и несговорчив. Никакой собачкой тогда его не застращать!

По выключении поселился он у родителя на Грязном проезде, и стали они пить вместе. Однако если сам Никанор Петрович пил из дурного обычая, то наш Димитрий Никанорович от горького своего ума пил. Действительно, ум у него был сумрачного сложения. Часто, проходя мимо его окна по Грязному, видел я его сидящим и думающим о ходе вещей. (Из-за него я и стал писать сочинение свое: «Размышление по поводу хода вещей».) И всегда мне было жалко на него смотреть как на обреченного в жертву опыта науки. Один раз я даже спросил его: «О чем же вы это всё думаете, Д. Н.?» Он отвечал: «Сравниваю судьбы разных людей и поражаюсь безмерности. Концы у меня не сходятся с концами, хотя начала и одинаковы». — «Почему же вы так любопытствуете судьбами людей, Д. Н.? Ведь это даже нехорошо!» — спросил я. «Потому, что боюсь я за человека,— отвечал Димитрий Никанорович. — Вышел человек из обезьяны, в обезьяну и уйдет». Мне стало интересно, хотя и не понял. «Что же вы

будете делать теперь, если в обезьяну?» — через силу спросил я, чувствуя прилив необычайной грусти. «Ничего, так»,— ответил он тихо и закрыл окно.

Через три недели, вечерком, проходя мимо, вижу — мастерит что-то наш Д. Н. у себя в палисадничке. Как бы большая коробка и медные трубы, а сбоку четыре колеса (одно побольше, а три маленьких). Сам Д. Н. нагонял молотком пятое колесо на деревянную ось, торчащую в виде кулака из другого бока. Несмотря на прохладу вечера, был он весь в поту от усилия. Из-за худобы очень он тут мне высок показался. Однако я не растерялся, а спросил: «Вы, никак, Д. Н., самолет себе смастерить хотите, чтоб летать и прочее?» Он же посмотрел на меня и головой покачал: филя, мол, филя! Я понял и отошел безо всякой обиды целиком.

Вскоре пошел по Гогулеву слух, что терлюковский сын Димитрий собирается опыт показывать на площади и при полном стечении. Что такой за опыт, в точности никто не знал. Сам Д. Н. переселился к тому времени в отцовский сарай, заперся там на засов и не выходил. Отец его, Никанор Петрович, когда не был пьян, совал хлебца ему в подворотню. Тот брал без никакого ответа и стучал молотком.

Через 4 дня собрались мы к городовому старосте на банкет (старостой был у нас тогда Матвей Матвеич Мяуков, хотя и купец, но любивший потолковать). Вот за выпивкой становой и проговорился. «Димитрий,— сказал он,— Терлюков заявление мне подал. Чтобы ему разрешение на предмет показания жителям небывалого опыта науки». Все так и встрепенулись, охваченные интересом. Хрыщ же опрокинул большую рюмку, крякнул, да вдруг как рявкнет со злостью: «Перпетун-мобиль изобрел мне на горе ваш Димитрий Терлюков! И хочет теперь всенародно пустить его в действие». Все мы так и ахнули. Ведь этакой тихий был, и ждать от него нельзя было чего-нибудь такого. У меня даже закружилась голова, едва я понял, в чем тут дело. Хрыщ же, передохнув, стал рассказывать при полной тишине: «Заходил ко мне Терлюков-сын сегодня утром. Это, говорит, такой прибор, перпетун-мобиль, о четырех колесах и восьми клапанах. И нужно, говорит, пороху немножко, чтоб сначала фейерверк был для блеску. От пороху же вся машина пойдет и будет идти до полной бесконечности без никакой причины». —«Я сие подвергаю тяжким сомнениям,— ответил о. Геннадий,— не может действие от ничего происходить. По-моему, так это даже против бога направлено!»

Все переглянулись, Ольга Николаевна вскрикнула. Признаться, струхнул и я.

«Нынче посылал я бумагу обыденкой в губернию,— продолжал Хрыщ,— чтоб власти указали, как и что. Оттуда ответ: буде он вынесет машину свою на площадь, то препроводить. Машину же осмотреть с понятыми, разрядить и тоже препроводить». Нетерпение прямо сжигало нас, чем кончится дело. Тут вмешался сам Матвей Матвеич. «Исключительно некультурность наша,— сказал он. — Это надо поощрять и даже бы пособие. Предлагаю разрешить ему сделать опыт науки у себя в саду. Есть у него сад?» — «Точно, есть! Не фруктовый, но есть!» — подтвердил я сбочку. «Так вот. И публику не извещать, а только свои». Все с этим согласились, на этом и порешили.

Прошло еще три дня. У нас еще завирушка вышла, со склада 4 куска сукна синего украли (русского, но добропорядочного). Неожиданно от Бибина узнаю, что завтра (а назавтра воскресенье выпадало) уже состоится терлюковский опыт. «Трахтир самыкинский,— сказал он мне,— мы на всю ночь откупили, чтоб чествовать. Ты принимай участие, Андрей Петрович. Перпетуп-мобиль — это не каждый год бывает!» Побежал я к братцу Сергею, а тот уже смеется: «Пьяница-то, сказывают, говорящую блоху завтра будет казать. Семеро нищих о том по Гогулеву поют!» Я еще больше разволновался, вспоминая Егора Бобоедова. Ну, думаю, неужто и впрямь блоха заговорит?

Очень я тревожился также и всю ночь, не зная, составлять мне стишки или не составлять. Если составить, так может случиться, что и не заговорит блоха, а только окажется пустячное круговращение. Если же не написать, упреки врагов могут посыпаться и укоризна друзей. Вот уж где именно мудрость надобна! Хорошее дело легко сделать, трудно решить, к месту ли оно. Однако так и не написал.

Днем, прямо от литургии, забежал домой на минутку, потом лечу в терлюковский сад на всех парах. Там уже все в сборе, посреди — бочка на попа поставлена, а на бочке сам перпетун под рогожкой. Было много дам. Они сидели позади. Напереду же все больше мужчины, как сословье более смелое. Все ждут, но Д. Н. нет как нет. Солнце начинает припекать, как черт, а героя нет. Мы забеспокоились и послали Якова-старшего подсмотреть, что делает герой. Он вернулся, сообщив: «Пуговицы прикрепляют-с на причинное место, ругаются очень...» — «Пьян?» — спросил о. Геннадий шепотом. «Ни в

одном глазу, даже в излишней сухости, но слова изверга-ют-с!» — шепотом же отвечал Яков.

Вдруг выходит сам герой. Я сперва и не узнал его. Он был в сюртуке (взятом на подержание у Дища). Нижняя часть его вида была миткалевая, засунутая в длиннющие сапоги. На шее красовался широченнейший голубой шарф, на голове же сидела ермолка (вышитая Зоей Алексеевной, когда была молода. Про это у нас все знают!). Побрившись перед опытом, Д. Н. имел наружность, дышавшую не красотой, но какою-то научной скорбью, если такая есть на свете. Я отошел к сторонке и, вынув бумагу, приготовился записать.

«Господа! — приступил он, сдергивая рогожку со своей машины и поднимая палец. Все прислушались, увидя на бочке самое машину, похожую на веялку, но только в сломанном или разобранном виде. — Перед вами,— продолжал он,— новейшее открытие в науке. Оно в несомненной скорости покорит весь мир и все поставит вверх дном... Я его жертвую человечеству, как сын и друг!» Он остановился. Все вздохнули от наплыва переживаний, несмотря что солнце лезло и в уши, и в нос, и в глаза прямо невыносимо. «Еще древние алхимисты мечтали о перпетун-мобиле. Но это была только ихняя беззвучная мечта. Голландец Фома Бартолин и другие, как, например, Аристотмен Гильденский,— вот бесплодные зачинатели перпетун-мобиля».

«Да не томи, не мори ты! Уж показывай, показывай! Заморил ты всех»,— жалобно вставил мой Козьма Григорьич, обливаясь потом в полнейшей степени.

«Виноват, прошу не торопить! — возразил Димитрий Никанорович. — Машина — не человек какой-нибудь, а машина». К. Г. после этого уже не выступал, утираясь рукавом. «Итак, мы, взявшись за этот факт науки, твердо нашли, как нужно воплотить в жизнь этот волнующий сон человечества, чтоб все могли есть, пить и ничего не делать, а только гулять и наслаждаться разными видами красоты...» Все слушали со вниманием, стараясь уловить смысл. Димитрий же Никанорович как раз любил замысловатость и некоторым образом затемнение обстоятельств. Я же едва успевал записывать и многое пропустил. «И вот, два месяца тому назад мы открыли, в чем ошибались эти мудрецы науки!» Он отер лоб платком, где-то полаяла собака, а машина стояла как каменная. «Не скажу, в чем секрет, но намекну. Чугун притягивается к земле неизмеримо крепче, нежели медь... Потому что чугунной руды в зем-

ле гораздо больше, нежели меди. Поняли?» — спросил он высоким тоном, закрывая глаза и как бы соображая. «Поняли, поняли!» — послышалось отовсюду, особливо со стороны дам. «Но позвольте, — возразил М. М. Мяуков, желая потолковать, — ведь вы же в недрах земли не бывали, откуда же вам знать, чего в ней больше?» Однако все на него зашикали. «Незнание ваше, — сказал Д. Н. и горько усмехнулся. — Вы почитайте лучше Бартолина, вот тогда узнаете...» Все вздохнули облегченно.

«Вследствие таковего чугунного преимущества, — продолжал Д. Н., поглаживая свой перпетун дрожащей рукой, — я взял и открыл этот прибор бесконечного вращения. Теперь я приступаю. Опасности никакой, а только блестящее горение пороха для дам!» Он улыбнулся в дамскую половину. Там покраснели. Зоя Алексеевна взволнованно побаловалась глазками. Тут Димитрий Никанорович достал коробку спичек. «Прошу придвинуться, — сказал он, — чтоб видеть!»

Однако при этих словах привстал Ипполит Сергеич (как становой) и заявил: «Чтоб ближе, то протестую! Машина — вещь темная. Потом мне же влетит. Господа, раздвиньтесь!» Все раздвинулись, изобретатель же, нахмурясь, зажег спичку и сунул ее в отверстие, проделанное в верхней доске. Одновременно там зашипело, и пошел сильный дым. Колесо же не сдвинулось и на полвершка. Все смутились и молча привстали.

Очень удивляясь такому обороту дел, Димитрий Никанорович наклонился над отверстием. Тогда произошел эпизод. Оттуда пальнуло огнем и чем-то черным прямо ему в носовую часть лица. Звук был как от большой пушки. Терлюков молча упал и, казалось, перестал издавать дыхание.

Вслед за тем становой подбежал к несчастному изобретателю, чтоб поглядеть, что такое получилось. Я бы, откровенно говоря, и не порешился на такую смелость! Однако едва он подбежал, то из боковой дырки вторично хлопнула струя огня и прожгла цельное пятно на его белом кителе. Машина продолжала действовать и стреляла во все стороны.

Мой К. Г. первым выскочил из переднего ряда, крестясь, как от беса. Бибин М. И. просто показал кулак лежащему Терлюкову. А дамы бежали врассыпную и даже с очевидным неприличием перескакивали через ограду палисадника. Особенно туго пришлось одной старой монашене, которая, повиснув на заборе, вблизи от самой стреляющей машины, кричала неимоверным криком. (Монашена эта, как потом разузнали,

приехала к Никанору Петровичу погостить, как к брату, из Владычного монастыря. Решив посмотреть на племянникову затею, она и подверглась такой неприятности. Вообще у нас, в Гогулеве, монашенам не везет: которая ни приедет — непременно родит!)

Скоро около Димитрия Никаноровича, поверженного во прах, не осталось ни человека, словно вымерло! И только через час узнали (когда машина вся кончилась, ее разбили камнями!), что изобретателю вышибло глаз и повредило палец. Палец и доныне остался кривой, такая жалость!

Дома хозяин мой, Зворыкин, так про него супруге выразился: «Счастье его, что не мне он дырку прожег. Я б ему такой перпстум показал, родного отца за черта б принял!» А что касается станового, то он, несмотря на мои увещания, целиком был уверен, что Терлюков нарочно все это проделал, в пику правительству. Даже постановили отца его, бывшего дьячка, служившего сторожем при Гогулевской больнице, отрешить от должности в наказание за сына. Хотели даже под суд отдать, но я восстал против такой необдуманности. Однако слава Димитрия Терлюкова погибла навек.

Я не осуждаю. Уж если Бартолин ошибался, нашему Терлюкову и совсем не грех. Да и вообще — при наших обстоятельствах уж лучше не изобретать. Мне его очень жалко,— от науки погиб человек. Но все же нельзя к таким вещам с бухту-барахту подходить. А уж если изобрел, то отходи подальше!

САТИРА НА РЕГЕНТА ВАСИЛОВА

Шел вчера он по Базарной
После выпивки одной,
В настроении кошмарном
Пробирался он домой.

Вдруг навстречу идет Булдасов,
Гогулевский наш главный фат,
Говорит он грубым басом:
«А, Василов! Очень рад!

Протяни, приятель, руку!
Пойдем к Самыкину в трахтир,
Там разгоним нашу скуку
И забудем цельный мир!»

Выпить всегда готов Василов,
Он тотчас же руку дал

И к Самыкину трахтиру
Моментально зашагал.

Сели, водочки спросили,—
Пропустили по одной,
Огурчиком закусили,—
Пропустили по другой.

Глядит Василов на соседа,
Да вдруг как пустится в бега:
Из Булдасова, он видит,
Прямо вверх растут рога!

Он очнулся уж под лесом,
И тут лишь только понял он,
Что сидел в трахтире с бесом,
С настоящим целиком.

ДАЛЬНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ЖИЗНИ

И вдруг подошла пора... Что это было за времечко! При одном только воспоминании мутить начинает.

Представьте: в пруд бросают камень. От этого рыба, конечно, разбегается, ища себе другого приюту. Потом долго не умолкают круги. Что есть Гогулев? Тот же пруд без никаких сомнений. И вдруг камень. Именно: кто есть мы? Мы есть рыбы! Не в ругань или осуждение, а для точности смысла обозначу я благодетеля моего через щуку, ибо он длинен телом и любит глубину. И. С. Хрыщ есть осетер, судя по праздничному позументу. Кто назовет Обувайлу кроме как севрюгой? А Михайло Иваныч есть скользкий налим (он быстр на слова и лыс в высшей степени). Ну, одним словом, и так далее. Я же — карасик, как я теперь дошел, об нас разговор только после сковородки. Карась для того и родится, чтоб его жарили. Вышло, будто выловили нас всех и посадили в ведро. Время же то, как мы из Гогулева смотрим, подобно вполне кручению ведра па палке.

В то время у нас война была. Это мы знаем, что война. К. Г. купил билетов военного займа, потому что родина, както неловко. Кроме того, рекрутов у нас взяли. Бибин их всех напоил у Самыкина, провожали с музыкой, выдавая каждому бесплатно по иконке (разного содержания), по фунту свеч и по рублю на брата. А я стоял в сторонке, и сердце во мне обливалось кровью целиком. И хотелось мне выйти на Козью

горку и закричать на весь свет: «Господа, не убивайте молодых! Никакая кровь не создана, чтоб ею землю мочить... Живите без ерунды!» Но с Козьей горки на весь свет не накричишь, и я смолк в полнейшей тоске. Потом пошла война. До нас вести доходили скудно, да и боязно было как-то узнавать: а вдруг дела плохи? Что мне тогда делать,— мне, Ковякину? Плакать, кусаться, на хвосте скакать? Да у меня и хвоста-то нету!

В 1916 году только тем у нас война и отразилась, что Яков Вертушкин, не прикрывая прежнего (гробового) дела, открыл еще заведение искусственных ног, собирая барыши в свои карманы. Я еще тогда же несообразности одной дивился: взяли у Парфена Бубнова сына на войну (он только что женился). Там его убили (груди вырвали железным снарядом), а жене беременной прислали медаль. Господа, куда ж ее вешать, медаль-то, раз груди-то молодому человеку оторвали? Ведь грудей-то у молодого человека теперь нет, зачем же ему медаль? Грешен человек, тут я и подумал: надо, думаю, изменить человеческие законы. И вдруг — камень!

Дело | это началось с предчувствия: Федосьи Тихоновны глухонемая дочь Ольга видела зимой шестнадцатого года сон. Толком рассказать не умела, но изъясняла движениями рук и кривыми показаниями лица, что небеса над ней всю ночь глумились, кроме того тараканы... Тараканов у нас действительно хоть на вывоз. Но при чем же тут небеса? Матери, однако, я тогда же сказал, что от девушкиной сырости такие сны, что ее бы замуж. Любая девушка снами нехорошими дотла может изгнить. Это раз, а два — это тараканы.

Козьмы Григорьича супруга есть женщина чистоплотности невыносимой. У ней в каждой комнате прямо по рукомойнику. И чтоб при таких обстоятельствах таракан, который заводится, как известно, из грязи (и вообще из плесени)? Ни в коем случае. Но вот в январе 1917 года произошло нашествие тараканов на наш дом. Они стали являться к нам обезумевшими ватагами и селились скопом, где попало. Один даже в ухо заполз к супруге К. Г. И это произошло не ночью, а днем! Я это подчеркиваю, что днем. Увидя свое белье загаженным тараканами, я стал с ними бороться, даже раскаленным утюгом, но безуспешно.

Вот после этого-то и камень, то есть переворот. 4 марта Ипполит Сергеич приходил вечером к хозяину и был бледен, напоминая молочный кисель. За чайком сообщил он по

секрету и при закрытых ставнях, что царю конец. Не прикончили еще, но близко того. А замешан, мол, во все это дело фатерлянд, который давно уж стремился, чтоб на месте России находилось голое место, безо всяких наших следов.

Было даже поверить затруднительно. Я решил ждать времени. Никогда не спеши, дай отстояться правде,— такое у меня правило. К. Г. не поверил так же, как и я. Супруга стала плакать. Тут я и поверил в предчувствия. Нельзя, господа, не верить, раз указание налицо!

Однако, пятое-десятое, все осталось без изменения. Даже Хрыщ остался на прежнем месте, переименовавшись немножко для порядку. Несчастных случаев тоже не произошло никаких, хотя все притихли и чего-то ждали. Вдруг о. Ивана Люминарского в Пензу перевели и представили к повышению. Очень жаль, истинный гогулевец был поп Иван. У Козьмы Григорьича свояк умер в Самаре, тоже мануфактурщик (особливо по ситцам). Он давно уже, впрочем, страдал болезнью в ногах. Потом было у нас убийство: брат брата убил, и даже не в пьяном виде, а затрезво. Пошел кругооборот!..

А вот и смешное. У нас в Гогулеве проживал некий мещанин Сосульников. Это была личность ничтожная (в некотором смысле даже прелюбодей в отношении к своей хозяйке). Он объявил вдруг себя анархистом и вывесил в окне досточку с надписью: «Ничего не признаю точка Александр Сосульников». Я к о. Геннадию — так, мол, и так, анархист завелся. Он объяснил, что это такие люди, которые хотят, чтоб круглым счетом ничего не было. Ну я так и понял: труба. Жил этот субъект дому нашему, зворыкинскому, наперекосок. Это было очень противно для глаза. Поэтому мой К. Г. решил его изводить. Каждый вечер он выставлял в окно граммофон и заводил раз десять одно и то же, а именно «Боже, царя храни». Сосульников из упорства принужден был закрывать окно и даже завешивать одеялом, чтоб не слышать. Почему он и лишался доступа вечерней прохлады (воздух у нас вечерами удивительный и пахнет, как цветок). Досточка же анархистова продолжала висеть.

Когда же граммофон испортился от тараканов, залезших в пружину, Козьма Григорьич давал дворнику Голованову трубу в руки и приказывал кричать прямо в окно субъекту: «Анархистов не признаю точка Козьма Зворыкин». И так до без конца. Сами же мы сидели на лавочке и подзуживали вслух.

Вскорости к хозяйке приехал муж, бывший пять лет в безвестной отлучке. После чего анархист исчез, получив по заслугам в полной мере. Мы устроили домашний банкет. Кроме того, в июле произошел дикий эпизод. Ипполит Сергеич задержал и хотел уже препроводить двух темных элементов. Они со слезой уговаривали стеаринщиков идти вешать всех купцов, какие попадутся. А тем как-то неудобно отказаться было, раз дело в такой степени. Если б, конечно, не задержать, могла получиться кровь. Однако через день прибыла телеграмма, чтоб освободить и даже извиниться. И. С. приходил к К. Г. вечером и сказывал, проглатывая слезы: «Теряюсь в смыслах и не нахожу вывода! Элемент, а надо извиняться. Все пошло против течения природы, элементу же дан картбланш...»

Матросы потом какие-то приезжали производить муть. Хрыщ, как начальник гогулевской милиции, ходил к ним ночью и пробовал уговаривать чуть не на коленях, чтоб без греха уезжали. Но они его вышибли, поддавая тузов.

Да тут еще и Бибин объявил себя элементом. Он стал стращать публику, обещая надеть бант и производить волнение. О. Геннадий ходил его отговаривать. «Постыдись! — говорил он ему при мне. — Тебе ли в элементы идти? Ты лысый, а элемент всегда имеет на себе волосы. К лицу ли тебе такая марка? Нехорошо, нехорошо!..» Но Бибин нас напоил и заставил меня стишки говорить, зная слабую струну сердца. Все же, хоть мы и не удержались по отношению к вину, его отговорили.

Многие и другие странные явления стали происходить. Ситец очень стал в цене баловаться, паршивая китайка бархат стала зашибать. А к зиме за ситцем вслед скакнул и сахар. Суконный подвоз совсем прекратился. К тому же, как мы ни торговали, барыши протекали мимо карманов. Пришлось часть товаров спрятать, чтоб переждать. Многие также стали (словно сговорились!) закупать муку, будто к осаде готовились.

Кстати, тут еще Матвея Матвеича в старосты прокатили, а выбрали какого-то Катулинера (весь черный и в волосах). Мы его не знаем, мы даже и не знали, что есть такие. И вдруг на́ тебе: Катулинер! Кроме того, кот у нас побесился и полдюжины кур (плимутроков) покусал. В одну из таких минут Козьма Григорьич (он все чаще сердиться стал, перестав разговаривать, а как-то тыкал) и обозвал меня запятою. Я не

обижаюсь (может, я и вправду на запятую похож?), но только ни к чему упоминать. Не сам себе человек рожу выдумывает, все рожи ведь свыше!

Между прочим, вот тоже эпизод. Семейное собрание Катулинер закрыл и замок повесил. А ночью кто-то ухитрился в замок напакостить. Ведь вишь, на какой винт человеческая голова настроиться может! Вот уж именно: в каждом факте жизни есть прискорбие, только поищи.

И все же это только цветочки были. А как стали падать ягодки, не успевали мы даже, извините за выражение, отряхиваться.

КУПЛЕТ НА ЗАКРЫТИЕ БАНЬ

(9 сентября 1917 г. чуть не закрыли бань, потому что дров не стало. До того дело дошло, что камышом два раза бани топили. И лесу кругом достаточно, а вот возьми: нету дров — и все! М. И. Бибин меня и упросил стишки составить, чтобы послать Катулинеру без подписи.)

Удивительное дело
И удивительная весть:
Негде теперь вымыть тело.
Надо в речку прямо лезть! *(Два раза.)*

Нету дров и нету мыла,
Нету денег ни черта.
А не житье теперь — могила,
Одним словом, тру-ля-ля! *(Два раза.)*

Пусть будем все мы, как цыгане,
Катулинеру под стать,
И к чему она вам, баня:
Разве с ней — не умирать? *(Два раза.)*

Нету мыла, нету хлеба,
Нету денег, нету дров.
Но зато осталось небо:
Услаждайся, Гогулев! *(Два раза.)*

Вставши утречком пораньше,
Можешь небо прямо есть.
Нету бань? К чему нам бани:
Можно в речку прямо лезть!! *(Два раза.)*

(Куплет этот Василов пел под гитару. Очень недурно вышло, кроме того смешно.)

НЕПРИЯТНОСТЬ В СЕМЕЙНОМ СОБРАНИИ

И тут приехал к нам бритый человек и сказал: «Я ваш комендант». Мы его, конечно, опросили: «А фамилья,— мол,— вам какая будет?» — «Полковник Барсов». Ну, мы и стихли. Мы раньше и не предполагали, что нам когда-нибудь комендант понадобится. А раз прислали,— значит, нужно. (Кроме того, у нас на Ногаевом холму казарму деревянную выстроили, в ней поставили жить солдатский полк. Там растительности кругом никакой, и воздух дикий, потому что свалка. Разве можно в таком месте казарму воздвигать! Я даже прошение посылал, чтоб не строили, но выстроили. Потому и было у солдат мрачное недовольство. Отсюда ужасы.) Тот же комендант Барсов и начальником у солдат стал.

Что это был за ягодка, настоящий занзибар целиком! Чего только он у нас не выкидывал, находясь в постоянном кураже. Так фортелял, что даже Бибин, имеющий склонность к приключениям жизни, ходил весь не в себе. Притом вид его ужасал: лицо — таз тазом, слева припухлость, пальцы по огурцу. Но главное — усы. Они были такие: все усы, усы, усы, и вдруг на концах (полнейшая неожиданность, если глядеть!) рыжие такие бутоны. Девушке даже глядеть на него, по-моему, стыдно. Я его выносить не мог, хотя я и не девушка. И где таких сохраняли до поры до времени? В кладовках, что ли?

Всегда он ходил с денщиком, которому и фамилья была стоящая: Засядко Иван! Это была тварь (извините за выражение, не могу!) высоченнейшего роста и всегда сонный. Он не любил кошек. Едва завидит, как уже мчится, норовя переломить. Вот они-то двое и выкинули коленце, поражая Гогулев.

Наше учительство и значительные люди устраивали бал и гала-спектакль без напитков и в пользу будущего университета в Семейном собрании. Гала-то гала, а вышли и смехи и слезы. Я там присутствовал как член, с полным правом. После спектакля должны были танцы, которыми распоряжался учитель русского языка Суворов (не родственник, а однофамилец). Этот старичок (Семен Антипьевич) и надел себе на руку, как распорядитель, красный бантик.

Прибывает Барсов. Всеобщее движение, музыка — марш, разговор и шарканье ног. С ним — Засядко, полнейшая мумия, даже шапки, стоерос, не снял! Вдруг Барсов глядит на Суворова, видит бант. Моментально глаза закатил и говорит денщику, указывая пальцем: «Того стрекулиста вытряхни и дай ему

раза!» Тот мгновенно шагает, Суворова цап за ворот и в дверь, на лестницу. Там он дает ему турмана правым коленком. Наш Суворов, как полнейший старичок, в положительной беспомощности съезжает с лестницы на некотором месте. Одним словом: будь здоров, Капускин! После чего музыка гремит, все переглядываются. У всех так, словно гири на ногах нацепили. Так проходит время, танцев нет.

Вдруг Барсов залютел и поднял бровь. Потом говорит вслух: «Позвать мне вашего председателя». Сам же пощипывает ус, того гляди, губу себе с места своротит, и все шпорами, шпорами. Побежали искать нотариуса Дища. Тот же, засев в известном месте, упирается: «Не пойду,— шепчет,— не пойду... Он и вас всех, голубчиков, переляпает!» Наконец двое привели под руки, нет на нем лица. Барсов и рычит ему в упор: «Начинайте,— рычит,— танцы, я и сам стариной тряхну! Покажите мне, которая у вас тут мазурку может?» А Дищ в страхе шепчет: «Счас, счас, мы счас...» Тут уж Булдасов спас его от казуса. «Ваше превосходительство,— выскочил он и дал ногами мельчайшую дробь,— не могут у нас танцы начинаться. Распорядителя нашего приказали вы того-с!» Все в ужасе ждут, что-то будет.

Но тут уж и Барсов смутился. «Так ведь он же с красным бантом фигулял!» — «Точно, красный, только это распорядительский бант-с!» — напирает Булдасов, усиливая дробь в ногах. «Ах, вот в чем дело! — роняет Барсов в ужасном смущении. — Засядко, немедленно доставь мне того старикана, желаю извиниться». Засядко камнем в дверь. Суворов же сидел в то время на нижней ступеньке, соображая обиду и делая выводы. Бант он спрятал в сапог. Однако, завидя барсовского элемента, он пустился в бег. Тот же, имея шаг более длинный, догнал его на Гончарной. Привыкнув к кошкам, Засядко был легок на рысях. Сцапав Суворова в кучу, он приволок его обратно, награждая словами.

Барсов стал извиняться. «Пардон,— сказал он,— что я вас этак, по-военному. Я не знал. Вижу — бант, значит, и сообразил. Вы не думайте, чтоб я старых убеждений. Я и сам в свое время полностью страдал как революционер. И даже очень! Однако чтоб бант, этого не терплю, чтоб напоказ...» Суворов в слезы от умиления: «Что вы, что вы, ваше превосходительство! Ничего-с! Это даже любя, по-отечески... пожалуйста!»

Всем вокруг тоже очень понравилось, что без кровопролития. От радости тотчас же повели Засядку в буфет кормить бу-

тербродами, как героя. Музыка заиграла пати-патинер, закружились веселые пары. Что же касается Суворова, то он, покрикивая, принужден был часто сморкаться, чтоб скрыть полную внезапность радостных, от умиления, слез.

Я, придя домой, долго не ложился, а раздумывал. Боже мой, думал я, как мы забывчивы на обиды. Правой рукой нас бей, а левой поглаживай,— мы и тихонькие, как теленочки. А тогда: хочешь — в сапог нас прятай, хочешь — греби лопатой. И как этого враги наши не сообразят? Именно: бей, но не забывай поглаживать!

МОЕ ПРОШЕНИЕ О НЕСТРОЕНИИ КАЗАРМЫ НА НОГАЕВОМ ХОЛМУ

(Вот мое прошение г. губернатору. Прилагаю для интересу и для сравнения, как я предсказал. Меня за это писание даже хотели освидетельствовать (Хрыщ передавал). Какое непонимание!)

Ваше высокопревосходительство!

У нас в Гогулеве на Ногаевом холму казарму собираются строить. Я против не имею, но только хочу высказаться. Я, ваше превосходительство, не губернатором урожден. Мне суждено было по другой жизненной части пойти. Конечно, Ногаев холм — ваше дело целиком, однако прикажите лучше не строить. Все дело может погибнуть, а выйдет один всероссийский конфуз. Там вокруг расстилается мрачный вид. Там летом собаки даже задыхаются от тяжести температуры. Что же с солдатами сделается?

Я уж больше полувека в Гогулеве живу (Огородная, дом К. Г. Зворыкина). Я дело знаю в точности, проверьте чистосердечное движение моей души. Кроме того, уж поверьте, ваше превосходительство, что не в пику, а по мере теплого участия, как гогулевский деятель. К тому же солдат есть целиком тот же элемент во всякое время. Пожалейте Гогулев, ваше превосходительство!

Я и вообще, извиняюсь за смелость, против солдат, ваше превосходительство. Я прямо весь сгораю от стыда, когда солдат вижу. Разве ж можно, ваше превосходительство, обучать человека убийству? Ведь тот же самый человек и вас, например, ваше превосходительство, часом в брюшко может пырнуть. И даже с полным на то удовольствием, войдя во вкус,

как легко это сделать. Может выйти куролесие. Нет, как хотите, а так нельзя!..

По-моему, знаете, и совсем воевать не нужно. Возьмем меня,— да к чему же мне воевать, раз я человек хороший и мирный. А если не воевать, так это даже выгода государству: мундиров не придется шить. А суконце-то теперь ох как кусается!

А уж если на то пошло, то и государств никаких не надо, чтоб не бунтовали зазря. Сказать всем людям: люди, трудитесь без надувательства, потому что ведь люди же вы, а не скоты, например. Как бы хорошо-то было, и вышло бы счастье всего мира целиком! Ваше превосходительство, снаряд летит, чтоб убить, а ведь он денег стоит. Вы лучше на эти деньги штанишки купите соседкину Ваське,— ведь сколько радости-то будет! Он без штанов так и бегает: и зазорно и холодно.

Я человек маленький, и фамилья у меня не именинная. Я просто травка по сравнению с вами, ваше превосходительство, которое как дуб развесистый (так и в песне поется). Но я жизнь могу отдать, чтоб хорошо вышло, без крови. Скажите, ваше превосходительство, всем другим превосходительствам с высоты чина и положения: Ковякин, мол, несмотря ни на что, боится за человека. Ковякин страдает, даже тайком слезы льет! И вообще не смейтесь над Гогулевом, ваше превосходительство: смехи слезами запиваются, а слезинки заедаются человечинкой. Петля выходит. Но вы не обижайтесь и не отчаивайтесь: всякое дело поправимо, окромя крови. Пролитой крови, уж извините, в жилы не вернуть.

А уж если строить, то лучше сумасшедший дом. У нас этого товару сколько вам угодно. Это полезнее подходит к делу. Тревожась, как сын, за участь города, в котором живу, остаюсь в надежде на нестроение казармы.

Вашего превосходительства друг и доверенный Зворыкинской мануфактуры А. П. Ковякин.

P. S. Слышал я, что оранжерейками вы на свободке изволили подзаняться. Это очень хорошо (то есть цветочки — хорошо!). Тем более что человек уже перестал быть цветком природы. Он уже более походит на самый фрукт, готовый упасть. Вы еще обратите внимание на помидорки. Лучше всякого цветка — пухленькие, кругленькие, прямо из самой серединки земли лезут. До слез меня трогают эти помидорки!

PP. SS. А лучше всего — университет, если денег хватит. А. П. К.

ЭПИЗОД СМЕРТИ БЛАГОДЕТЕЛЯ МОЕГО К. Г. ЗВОРЫКИНА

1 ноября все Козьмы-Демьяны именинники. Мой хозяин тоже. Он как пришел от заутрени, так и говорит: «Беги,— говорит,— Андрей Петрович, скажи Михайле Иванычу, чтобы на грибки вечерком заходил!» (У нас всегда 1 ноября торжество первого засола справляют, очень хорошо.)

Единым духом лечу на Дворянскую, где Бибин жил, спешу, чтоб на завод не успел уехать, застать. Вылетаю на площадь... А тут еще в проулочке слышу набат. Не иначе как Бибин загорелся, думаю. Встревожась, вылетаю на площадь, вижу драму и переполох. Вот вид! Барсов, лютый гогулевский наш командир, лежит на мостовой в беспамятстве, без никаких движений, ровно спит в неудобстве. Вокруг солдаты и кулаки сучат. Я не успел подбежать, чтоб спасти, как один уже перекрестился да камнем в лоб Барсову как цапнет с маху. Зажмурившись, я ахнул. Охватила меня страшная тоска...

На углу 1-й Навозной стол вытащили от Самыкина, на столе живой человек кричит и зубы таращит, кулаками же тычет прямо в небо. А небо такое грустное, цвета голубиного помета. Ну, думаю, держись, Гогулев! Тут оглянулся я на зворыкинский магазин и такое увидел, что так и присел раком, да как заверещу.

Вообразите момент! Каменное помещение благодетеля моего разбито в полнейший дрызг. На окнах ни кусочка материи никакой нет. Внутри же солдаты, и оттуда пулемет. Я к ним подскочил разом и закричал: «Убирайтесь,— кричу,— не то хозяина позову счас!..» А они смехом мне, да и наставляют пулемет, самое дуло, в упор на меня. Визгнул я и помчался. Ноги топнут по колено, а я бегу.. Хорошо еще, что вдогон мне не стреляли, я бы умер со страху!

Влетел я на Навозную, еле дух перевожу. И тут только различать стал. Люди суетятся, двери все спешат закрывать. А небо все кап да кап, пометом. Повернул я в Батальонный переулок, а там ведут солдаты самого станового, И. С. Хрыща. Ах, как все изменчиво, особливо людская красота! Никакой в нем представительности, одна была чистая грусть. Растерзанный, встрепанный, без кителя и об одном всего сапоге. В руки же ему, для смеху, флаг красный дали нести. Как завидел он

меня, так и кричит (неосторожность какая!): «Прощай,— кричит,— Андрей Петрович, прощай, голубеночек! Убивать ведут...»

Тут один солдат и показал на меня пальцем: «Прихватите,— говорит,— дяденьку-соколика!» Я моментально шмыг в первейшую подворотню, полы раздул, лечу. От неминуемой смерти упасся единственно быстротой тела. Кроме того — дыра. в панюшовском заборе: мне давно известна, а им нет.

Прибежал я домой, весь в грязи, ужасающий: хозяйская супруга горшок со сметаной на пол ухнула. К Козьме Григорьичу влетаю, а он чай пьет: сбоку — грибки, с другого — пирожки с печеночкой. «Ты что,— спрашивает,— запятая, анчутку встрел?» — сам смеется, пирожок жует да ручкой сзади наподобие хвоста делает. Мне же не до смеха, злость на него, на идола, берет. Стоню я ему ошарашенно, угорелым матом: «Народное,— кричу,— смятение, бунт и каша заварилась!» Он мне: «Не каша, а свадьба небось! У тебя, запятая, двоеточие видеть стало плохо!»

Тут мы слышим выстрелы, гам и грохот,— Гогулев стал как бы сотрясаться. «Полковника-то Барсова,— кричу я ему и плачу сквозь гам,— камнем в лоб... Бибин дом горит... магазин вдрызг... Хрыща убивать повели...» Мой К. Г. встает, блюдце в руке, и делается красный весь прямо до нехорошего. «А шевьот?» — спрашивает он глухо, а блюдце так и прыгает в руке, чай на пол льется, а глаз подмаргивает левый. (А мы только что заграничного шевьоту партию перекупили, в денежку стукнуло.) «И шевьот,— кричу,— и Хрыщ... камня на камне... Пыль одна!»

Я глаза зажмурил, слышу — трах что-то на пол. Открыл глаза — мой К. Г. на полу лежит, весь лиловый, как туча, даже кресло, вспоминается, опрокинул тяжестью падающего корпуса. Лежит, дрожит и хрипит.

Супруга прибежала, в тесте вся, в руках судочек с подливкой. Сама из астраханских была: рыхлая, белая, кволая. Увидала и застыла тут. Я же разошелся, глаза вылупил, руками туда-сюда машу, все смыслы из меня выскочили. «Вашего,— кричу,— супруга дрожащий Кондратий хватил. Вот он, на полу!!»В этом месте и супруга ахнула, да на пол кубарем, а судочек опрокинулся прямо К. Г. на лицо.

Встал я над ними и стал соображать, какие я дела наделал. Благодетеля подкосил, а супругу целиком вывел из равнове-

сия. Поднялась во мне горечь, прямо сил нет. Брякнулся и я на пол, ползаю по ним, прощенья прошу. Однако поздно дело: Кондратий не изжога, можжевеловой настойкой с красным перцем не изгнать!

На улице одновременно полнейшая суматоха. Рамы прыгают в звон. Бибин действительно загорелся. Обувайло по этому поводу коней настрочил: летит, рычит, давит. Чего тут только не было! Сколько передавлено кур, сколько стекол выбито! Сам я не знаю, как могу записывать недрожащей рукой такие происшествия, случившиеся в Гогулеве, несчастном и мизерном городишке нашем. Но полагаю, однако, что когда Помпея и Геркулес погибали в извержениях Везувия, была у них на улицах такая же муть, а в квартирах ровным счетом недоразумение.

ОДА НА СМЕРТЬ К. Г. ЗВОРЫКИНА

Преужасная кончина!
Только смута началась,
Великана-исполина
Унесла она от нас.

Наша жизнь — одно мученье!
За весной идет зима.
Все вы видите, без сомненья,
Спит во гробе раб Козьма.

Жил сурово он и просто,
Ни у кого взаймы не просил.
Мог бы жить он лет так со сто,
Но шевьот его скосил.

Пил, но все ж не допивался,
Посвящал себя труду,
Он с супругой обвенчался
На тридцать первом лишь году.

Часто ездил он в Самару
По коммерческим делам.
Жил и прожил без скандалу:
Вот пример достойный вам!

От него бегла зараза,
Не болел почти ни раза,
И погиб, пожалуй, зря
В день 6-го ноября...

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ В ЖИЗНИ

Никакая игра воображения тут не сможет проникнуть. Так, например, М. М. Мяуков, последний могикан старокупеческого Гогулева, стал вдруг покойником, как представитель старого режима. Катулинер же исчез. Его очень искали, но прямо между пальцами провалился. Очень жаль, что исчез! А потом чертогон начался какой-то.

Я в первое время после смерти благодетеля жил еще у него в доме, но вскорости пришлось оттуда убираться. Нрав у благодетелевой супруги проявился полный злобы, все норовила сделать рывком, в обиду. Она мне требование предоставила, чтоб я просиживал ее диван, который у меня в каморке, по силе возможности равномерно на всех местах, чтоб не получилось протирания до дырки на видном месте. Я после того плюнул на каверзу и съехал. Однако через три недели ее тоже вышибли. Дом зворыкинский кому-то понадобился (ужасно тесно у нас в Гогулеве стало!). Выдали ей из всего обихода три предмета: шаль, китайскую ручку для чесания спины (К. Г. покойник любил после ужина) и третье такое, о чем умолчу по причинам. Умирая без языка, К. Г. не успел мне жалованья за полгода цельных выдать. Я остался в полной мере на бобах. Спасли меня крохотные мои сбережения про черный случай, ими и перебивался. А квартировать я переехал на голубятню во второй бибинский дом. Холодно там, сквозняки по всем линиям ходят, голуби летают, и рам почти что нет, а так себе, деревяшечки для прилику. Я печурку там сложил, глиной обмазал, да так и жил, ожидая исхода. Базар закрыли, а председателем дали нам Сеновалова.

Это был человечище об одном глазе. Но и одним глазом он стращал так, как я и десятком не сумел бы. К тому же бомба за поясом, в открытую. Настоящий элемент, даже без застежек! Случилось, я тогда пачпорт в сутолоке потерял. Выбрался с голубятни, пошел в Совет, чтоб выдали. Дверку одну отворил: «Здесь пачпортист?» — спрашиваю я. А он, Сеновалов, как зыкнет на меня глазом. Я кубарем, кубариком по лестнице-то, забился в голубятню и дверь поленьями засыпал. Всякое мое соображение было тут утеряно, как и пачпорт. И вдруг, представьте! — узнаю, что у Сеновалова вроде жена и мать есть, вместе и живут. Ведь вот,— даже и не подумаешь!

Поп Порфир, которого нам поставили вместо о. Ивана Люминарского, тоже проявил себя порядком. Прямо сибирский

субъект, Куликову под стать. Он ездил прямо по деревням и выменивал ризу на муку,— такая натура. Мы (я, Игнат Семеныч и Горборуков) ходили к Сеновалову жаловаться, но он нам так хохотать стал, что мы, струсив, как бы бомба не разорвалась от сотрясения, поспешили уйти.

Вдруг хлоп — Игнат Семеныч помер, Обувайлин папаша. Варили они конину, а старику не сказывали, боясь потрясти. Но один раз Спиридон Игнатьич и решил проучить папашу: «Папаш,— говорит,— а ведь ты коня ел!» Тот остолбенел сперва, а потом брык под стол. У него все нутро рвотой вывернулось, в одночасье помер. Вот уж именно: словом можно прикончить человека, такие уж слова стали у людей!

Ах, да стоит ли припоминать, да и много ли припомнишь? Высыпали тебе на голову мешок подсолнухов. Который же вам подсолнушек выбрать для описания? Все черноватенькие, все одинаковенькие, а и попадется белый — так червоточинка заместо зерна...

ПРИКЛЮЧЕНИЕ С ОБУВАЙЛОЙ

Совсем у нас туго стало в отношениях пищи. Пить у нас, правда, перестали, но зато перестали и закусывать. И повадился тогда народ за грибами ходить. Гриб — он такой! — на него ордер не нацепишь! Но от грибного обилия в пузырях людей одна плесень разводилась, а глаза у них гноиться стали. Кроме того — бессонница.

Вот мы и порешили, трое стариков — я, Василов да Обувайло Спиридон,— на охоту пойти, чтоб добыть пропитание. Василов владел ружьем, у Обувайлы нашелся порох, меня же по давнишней дружбе прихватили. Для охоты наметили мы пруд в Засеках, очень глухое место и в высшей степени уютное (по воспоминаниям). Да нам и нужно-то немного было, по парочке на брата для подкрепления сил в борьбе с жизнью.

К месту мы на рассвете пришли. Василов зарядил. Но утки словно прослышали о нашей затее, ни одна не хотела показываться, несмотря что Василов стрелок вполне замечательный.

Пруд был не совсем заросши. Средина его даже не рябилась, ветру никакого не было. Звуку тоже никакого, но все торчал в ушах словно какой-то крик, ужасно. Мы ходили уже около часа, но результат не приходил. Тогда Спиридон Игнатьич

и решил попугать уток. Он пошел на другую сторону пруда и там стал издавать как бы дикий треск горлом. Это он правильно придумал, потому что одна утка тут же взлетела и закачалась на середине пруда. Моментально Василов ружье к плечу и пальнул. Утка быстро исчезла, зато с противоположного берега вдруг раздался жалобный писк. Я крикнул тогда: «Спиридон Игнатьич, что это у вас там?» Однако ответу нет.

Быстро обежав кругом, мы раскрыли орешник и увидели Обувайлу. Он лежал животом на мокрой траве, держась рукой за некоторое место. Оказалось, что это он сам издавал те слабые писки, корчась от мучений. «Не подходите, не подходите! — застонал он, когда мы наклонились к нему. — Я умираю». Мы с Василовым переглянулись. Однако бывший регент вдруг засмеялся: «Не бойсь, не помрешь, Спиридон,— это в тебя рикошет от воды попал. В которое место попало?» Обувайло умирающим взглядом показал на некоторую второстепенную часть своего тела, где действительно имелись дробовые следы. «Эге, вот как я тебя, в самый раз! — мрачно усмехнулся Василов. — Ну, вставай, лежать тебе тут нечего». Однако Обувайло еще пуще застонал, уверяя, что к нему подошла крайность. «Что ж, будем из тебя дробины вынать,— сказал Василов. — Помоги мне, Андрей Петрович, амуницию снять с него!» Вытащив Обувайлу за ноги (он сильно цеплялся) и разложив его как следует, мы принялись за дело (которое оказалось трудным по причине многих волос).

Что было муки при этом! Обувайло гудел и грыз зубами палку, чтоб не издавать криков своего мучения. Василов же направлял свой садовый кривой ножик прямо в такие места страдальца, где чувствительность тела превосходит все остальное... «Терпи, Спиридон,— хмуро ворчал регент,— будь человеком до конца!» — но С. И. совсем потерял всякую точку опоры. «Скажите Зиночке,— шептал он помертвевшим тоном,— я прощаю ей Амоса». Таким образом мы узнали весь секрет Обувайлиной жизни, беру прежние свои слова назад. Я же чуть не плакал от этого зрелища, покуда регент, упиваясь моментом, кромсал Обувайлино тело. «Не кусайся, черт,— ворчал Василов, сидя у Спиридона на спине. — Возьми его за ногу, Андрей Петрович, ишь дергает. Ну, Спиридон, последняя!» Так, с разговорчиком, мы возвратили Обувайлу к жизни. После чего, промыв водой из фляжки, поставили на ноги.

А возвращались мы из лесу гораздо веселее, чем раньше. Особенно сиял сам пострадавший. «Экий ты! — смеялся он ре-

генту. — Что я теперь жене-то скажу, ведь этакое место!» Я же думал: вот истинное добродушие. В него же всыпали чуть не полвосьмушки дроби, и он же шутит над эпизодом жизни. Хорошая это машина — человек, практикованная.

ПЕРЕПОЛОХ МОЕЙ ДУШИ

Вот так весь год прошел, и сызнова потом месяцы второпях побежали. Переживая страдания одиночества, я ни в каких событиях жизни участия не принимал. Все сидел я на службе (совнархоз, строительный отдел) и тыкал пером в бумагу. О чем я тыкал, я и сам не знаю,— да и много ли натыкаешь с пустым-то пузырем? Но все кругом меня тоже тыкали, говоря грубым тоном, и нагибались, чтоб не задело.

Бросил кто-то книжечку в уголок, а я подобрал и прочитал ночью вприсест. Объяснялось, будто все существование от обезьяны. Потому, мол, и вышел человек таким, что он от обезьяны! Я прочел, закрыл страничку, и так мне тут обидно стало, сам не знаю отчего. Что ж, думаю, значит, и волос прикрывать не надо, если от обезьяны? Зачем же, думаю, хвастаться-то человеческим голышом? И так сидел я всю ночь как в столбняке. Поясницу ломит, а мысли бегут и бегут все. Даже мне тут холодно стало: какую еще дулю, думаю, поднесут мне, что ж это за эпизоды такие?! И вдруг на рассвете 14 сентября 1918 г. понял я целиком, что стишки мои — это чушь! Я даже понял, что и все чушь! И я чушь, и братец чушь! И всякое, что пищит, тоже чушь, потому что от обезьяны! Цвели на полянке вот там одуванчики, но их вытоптала чушь. Прав ты был, незабвенный благодетель мой, что все на свете есть чушь, плавающая в тумане жизни. Дивлюсь я только, как это над чушью такое небо голубое висит, как не стыдно! Должно быть, я стал сходить с ума...

Что ж, думаю, за дело такое? Где же судьба людей? И вдруг припомнил я Терлюкова, что он еще поране меня над обезьяной голову ломал. Побежал я к нему. Он сидел и пришивал карман к шубе медным проводом (медным — чтоб крепче). Вбегаю к нему, спрашиваю: «Димитрий Никанорович, как же,— говорю,— если все от обезьяны?» А он мне: «Точно,— говорит,— от обезьяны. Но только человек-то от волка повелся!» Обалдел я весь, спрашиваю его тихо, а у самого в горле так и хрипит: «А волк откуда вышел? Отвечай, Димитрий

Никанорович, дай ответ сердцу, миленький!» — «А волк,— говорит,— полагаю, от червя, или там от блохи какой!» — и сам хмурится. «А блоха, блоха,— откуда она, мерзкая, свой корень имеет?» — «Блоха? Полагаю — от сырости блоха завелась»,— отвечает Димитрий Никанорович и начинает палец грызть. «А сырость откуда получилась? Не молчи, не молчи, терзай до конца!» — кричу я ему в смятении души. «А сырость от скуки, полагаю, завелась. Было скучно, стало сыро, вот и началась игра...»

Я и глаза раскрыл. Не знаю — реветь, не знаю — драться. Вылетел я от Терлюкова, помчался прямым ходом к о. Геннадию. «Геннадий,— еще в дверях кричу,— неужто мы с тобой от скуки завелись? Разреши сомненья, где тут суть?» А Геннадий засмеялся: «От скуки, говоришь? Это наврал тебе Терлюков. Начало всему есть вышний! А в Терлюкове это толчок неопытного беса!» Ага, думаю, изобретатель одноглазый! — и полетел к Терлюкову. Бегу к нему через весь город, спотыкаюсь, зубами поскрежещиваю. «Врешь ты,— кричу я ему, едва прибежал,— перпетун несчастный! Я от вышнего, а это ты от скуки завелся!» А он, Димитрий-то Никанорович, смеется да так и пронзает меня цельным своим глазом: «Тебе поп наврал, чтоб власть над тобой взять. В наше время всегда так будет: кто лучше врет, тот и властвует! Вышнего никакого нет, а вышний твой тоже от скуки завелся...»

Поняв, что небылицу городил мне всю мою жизнь Геннадий, осатанел я вконец. С криком, как бешеный, помчался я к нему стремглав. «Поп,— кричу,— нет никакого вышнего! И сам твой вышний из сырости произошел. Зачем ты врал мне, Геннадий, которого я считал другом своего сердца!» А Геннадий усмехнулся тонко и говорит: «Что ж, в голенище на небо смотреть, так не то что вышнего, а и луны иной раз не увидишь...»

Я тут хотел «караул» кричать и собственным криком поперхнулся. Скакнул я в дверь, а Геннадий захохотал мне вслед. Даже не помню, как перескочил я через все Геннадиевы пороги. А на другой день я и слег. Сперва мутило, потом знобило, а потом как бы чуркой по голове. Я и провалился. Спасла меня бибинская супруга — добрейшая бабочка, жить ей кротко и безболезно сотню лет! Бывало, очнусь,— Катерина Андреевна рядом сидит, на сундучке. Печка трещит, за окном снег падает, а в голове пустота. И вся она, голубятня моя, дырява, как мышеловка. Тут я снова провалюсь куда-то, и нет меня. Все

Наташу видел я в темной ямке моего бесчувствия, будто я ей стишки написал, а она все отмахивается: «Какие уж тут стишки, все это чушь в полнейшем виде целиком!»

Потом встал я через месяц, все во мне клубилось. Еще больше тоска меня стала прижимать, чем тогда, в те часы, как я от Геннадия к Терлюкову через весь Гогулев петушком бегал. Ах, хуже это Помпеевых трясений — переполох людской души!

Пробовал я потом справки наводить, что это за человек такой был, что до обезьяны додумался? «Великий человек!» — отвечают. Тут я и пожалел о тех временах, когда ни одна личность великая Гогулева не посещала, ни сном ни духом. Помоему, как я дошел, чем больше личностей, тем хуже. Всякая личность такая крови требовает. А мне так кажется, что больше капля крови человеческой стоит, чем вся личность с потрохами целиком. Ох, славно на земле жить будет, когда личности переведутся: тихо и безмятежно! Некому будет допытываться, от которой причины цветы цветут. И птичку никто резать не будет, чтоб узнать, которым она местом поет. Поешь — и пой, и очень превосходно!

ВСТРЕЧА С БЕГЛЫМ МОНАХОМ ФЕОФАНОМ

В эти дни, в канун болезни и в край осени, объявился на деревнях неизвестный чудотвор. Чудес он, правда, не творил никаких, а только ходил по деревням и рассказывал мужикам темные вещи. Никому не понятно, а каждому лестно и любопытно, потому что как хочешь, так и понимай.

Зашел раз вечерком на голубятню ко мне братец Сергей Петрович (он письмоводителем в Совете). Сел противу меня, усмехнулся: «Все пишешь, товарищ?..» — спросил он, посмеиваясь. «Что ж, и пишу!..» — ответил я без обиды, однако перо отложил в сторону. «Голубей-то всех съел?» — спросил он еще. «Голубь не человек, не любит, чтоб его ели...» — так же отвечал я. «Ну, пиши, пиши, пописывай,— сказал он и добавил, помолчав: — Про Феофана-то слышал?» — «Нет,— отвечаю,— не слыхивал. Какой такой Феофан?» — «А чудотвор-то!» — «Про чудотвора,— говорю,— слышал, сказывал Пелевин. Так разве он Феофан?» — «Да-а, Феофан!» — протянул этак братец и смолк. Меня же так и встряхнуло при этих словах: что же это такое, думаю, перст уж или самая десница? Братец потом

посидел-посидел, сказал: «Текет у тебя крыша-то?» Я говорю: «Текет, дырок много... К зиме вот бумажкой заклею!» Он усмехнулся опять, посидел полминутки и ушел.

Стал я после него волноваться. Досушил на лампочке свои писания и карандашиком на стенке записал: «Не забыть повидаться с Феофаном». Хотя я и знал, что он есть беглый монах, однако хотелось мне спросить его: конец ли это и где исход. И что юродивец он, то есть человек без прикрепления, я тоже знал: это-то и распаляло мое воображение вконец.

Сеновалов приказал ловить Феофана, ибо от него поднималась муть и сотрясение в умах. Были посланы люди, чтоб поймать, однако Феофана укрывали мужики. То провозили они его в соломе, то рядили в бабское и так охраняли, внимая открытым сердцем безумным Феофановым речам. Люди волновались, грозя вспыхнуть. Все ходили и поддакивали, но во всех были замешательство и содом. А мужик все слушал и все слышал и молчал, Сеновалову на страх.

7 сентября 1919 года пришел ко мне Бибин, М. И. Весь он был в грязи, а глаза торчали из него, как палки. «Почет и уваженье,— сказал он мне,— чуть сапог и даже ног на Базарной не оставил». — «Грязь?» — спросил я. «Грязно и мерзопакостно!» — ответил он и покривился губами. Мы посидели. «Конинки хочешь?» — спросил я. «Я сам себе конинка,— ответил тихо М. И.,— скоро так брыкнусь, что щепа полетит!» Жалея его, я замолчал. «А Феофан-то!» — сказал он вдруг, и глаза его углями сверкнули. Я прикинулся, что не понял. «А что Феофан?» — спрашиваю. «А то, что его и во Вьясе, и в Репьевке, и даже в Кирьеве, за семьдесят верст ищут... А он тут, рядышком, на опушке в Засеке сидит, грызет сухарик черный да ждет!» — «Думаешь, дождется?» — тихо спросил я. Но Михайло Иваныч только пальцами в стол постучал и промолчал.

Дальше я не мог больше терпеть никак. В ту же ночь вышел я из Гогулева, имея при себе немножко хлебца. Потому что знал про Феофана, что он как дикий зверь, что его можно приманить хлебцем. Направился по косым линиям к Засеке (если б за мной следить стали), трижды я таким образом весь Гогулев обошел. А потом и пошел. Лес под Гогулевом выходит клином, потом расширяется бесконечно, а мы, гогулятники, как бы на тычке.

Цельных три часа шел я полнейшим ходом по грязям да по кочкам. Стало светать. Птицы какие-то посвистали. Холодало слишком. Заморозком вдарило, идти было легко. Лес объя-

вился мне местами красный, а местами унылый догола. Тут я и сообразил, какую меня чушь сделать угораздило: разве в лесу иголку сыщешь?

Огорченный внезапным таким соображением, я пошел дальше вдоль опушки. В голове моей полыхало, а небо серело над голой землей, как небеленый холст. Пройдя шагов сто, сук треснул. Подняв голову, вижу: на березе сидит огромный, черный, рваный мужик. Я даже испугался. «Ты что? — спрашиваю. — Ты не ворон,— говорю,— па березе-то сидеть!» Он же мне пропел хриплым петухом. Я сразу понял, что это и есть Феофан. «Здравствуй, Феофан!» — прокричал я ему слабо и по земельку поклонился вдруг. Хотя и очень смущала меня такая несообразность, что человек — и на дереве сидит. Он мне опять дал петуха. Так меня в этом месте и бросило в холод, однако спрашиваю: «Хлебца вот, Феофан, не хочешь ли? Слазь, у меня хлебец вот есть черный!» Но он не спускался, а молчал, глядя в меня пустыми черными глазами. «Феофан... просвет где?» — закричал я ему, впадая в слезы. Он же тряхнулся сильно на суке всем телом, словно я каленым обухом его пихнул. Но молчал.

Тут ветер подул низовой, и лист, шурша, посыпался желтый. Потом и все деревья затрепетали, и отовсюду посыпалось. Оголилось все передо мною, и жалко мне себя самого стало. «Феофан,— закричал я опять,— которы же дороги правильны?..» И опять он задергался всем телом, а из рукава рубахи выглянул кусок веревки. Не то утка, не то дерево скрипнуло — звук. И, не понимая Феофанова молчанья, сажусь я на пенек, гляжу в землю и вот начинаю плакать. Не могу удержаться, льюсь слезами без истока. И сладки мне были горшие полыни глупые слезы мои по уходящей гогулевской старине!..

Так сидели мы почти что час цельный, не обмолвясь и словечком. Я растекался, а Феофан глядел с березы в небо, серое, конца-края нет, зимнее, и ворчал, как пес, изгоняемый отовсюду. И он пригибался и как бы сук грыз, на котором сидел.

Вдруг стало мне и жутко и холодно... Я встал и пошел прочь, не оборачиваясь. Тут мне вдогон колоколом трескучим закричал Феофан: «Пришитая борода грядет!.. грядет...» Я оглянулся в страхе и увидел Феофана. Сойдя с березы, он стоял на пеньке. Ветер бил по нему скоса и с маху, колтуны на Феофановой голове встали по ветру, как сучья. Казалось, что не было у него глаз, а просто в двух темнотах кипит и вертится сама душа, не находя пути. Он махал руками, как

заправская ветрянка, и, оскалив зубы, глядел на тучу, бежавшую над головой. Она, то есть туча, и действительно была похожа на бороду без никакого лица.

Тогда взорвался я слезами. Не знаю — уходить, не знаю — оставаться. Он же кричал: «Уходи... уходи...» Не поняв, мне стало нехорошо. Я помчался очень шибко, уже не озираясь. Очнувшись же, застал я себя сидящим на сундучке и прилаживающим петельку. Тут и сломалось. Я огляделся и сунул петлю в огонь, чтоб сгорела.

...Феофана так и не поймали, хотя общарили окрест каждый кусок — камешек в поле подымали и заглядывали: не сидит ли. В конце же ноября прошлого года видал я сызнова Феофана, во сне. Распухший и черный, волосья по соломине, сидит он на кочке и кричит невыразимым криком. Слов я не помню, да и не интересно. Так как, прикоснувшись к течению цивилизации, это я отлично понимаю, что сны есть не что иное, кроме как отражение на пустоте.

ДЕНЬ 16 МАРТА 1920 г.

Я сижу у окна на своей голубятне. На душе спокойно и холодно. Впереди меня стоит дом, окна разбиты в нем, а из окон несется бурно ко мне ихняя музыка.

Вертятся в голове моей стишки:

Прощай же, гогулевская сторонка!
Сижу на голубятне, у окна.
Гляжу и вижу: зелень, жеребенка,
А над Гогулевом небо синее без дна.

Вчера Бибин спрашивал меня: «Что это ты, Андрей Петрович, в архаровца перерядился? Уж не собираешься ли Гогулев поджечь, чтоб золушка одна осталась, а ее ветерком?..» Ведь этакое, милый человек, сгородит. Весна идет, а вот скворцы все еще не прилетали. Может, и боятся скворцы, как бы не съели их в Гогулеве. Эх, Михайло Иваныч, ждет душа скворцов на Благовещенье, а дождется ли — кому весть?

1923

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ РАССКАЗЫ О МУЖИКАХ

ТЕМНАЯ ВОДА

С малолетства одолевали Мавру сны. А в девичье время привиделось Мавре, будто ехал близко-мимо в каретах черный народ, и один, высунув руку, ткнул любопытливую Маврушку в щеку. С той поры завелась на щеке у Мавры блажь; стала блажь зреть, стала нарывать — вот и покривился на сторону Маврин лик. Жених, который прославился впоследствии как самый гнусавый дьячок в округе, бежал, а иного не нашлось чудака поселить такое чудище в стародедовской избе. Мавра осталась вековухой и, когда стукнулась в Маврину жизнь старость, ее приняла Мавра безропотно, как умеют только мужики. Так и жила Мавра в древней своей лачуге, смиренно дожидаясь, когда обвалится на нее обветшалая кровля.

Старухе подавали в дни родительских поминовений, а летом сама батрачила на покосах и богатых гумнах. В няньки не брали Мавру: дети пугались чудовищной ее гримасы, а беременные за версту обходили при встречах. Такая отверженность ожесточила ее, и когда, огромная и жилистая, проходила деревней, несла, как хоругвь, бесстыдно и напоказ, свое знаменитое в округе уродство. Впрочем, понимая нерушимое право младости попирать старость, старуха постепенно примирялась и с этим, и как бы во исполнение сего закона завелся на Мавриной кровле резвый и гибкий березовый пруток. Ветром занесло малое семя на этот гиблый прах вчерашней жизни, и вот вскудрявился, окреп и потянулся к небу... и это случилось в ту весну, когда, заедино с полыми водами, темная нахлынула на Мавру беда.

Мавра не приметила ее прихода; потому и страшился мир Маврина сглаза, что остры и зорки были черные ее очи. Но однажды, когда еще таился снег в овражках, озябла Мавра, и взгрустнулось ей о платке. Она поискала и, увидя на лавке,

протянула руку взять, но взъерошился платок и цапнул когтем старухин палец. Она устрашенно отдернула руку, еле признавая во враге своем сердитого соседского кота; она ударила кота скалкой, и кот убежал, но не растаяла в ней уже возникшая тревога: в хваленое ее зрение темная просочилась вода. Ночь она промаялась в испарине животного страха, а утром надела лучшую свою юбку и, подоткнув, чтоб не забрызгать грязью, торжественно, как на богомолье, отправилась в больницу за шесть весенних верст.

Талая вода стояла на дорогах, но Мавра терпеливо вынесла и стужу, и двухчасовое ожидание приема. Она была лукава, она верила, что дурашливые лекаря дадут ей взамен недужных глаз молодые и смешливые, как у девочки Мавры, очи. Внушительно кашляя, она вплыла в приемную и села, сплетя руки на коленях. Фельдшерица была простенькая женщина, в белом халате и с грустными глазами; от малокровия у нее падали волосы, но она уже не надеялась, что люди и время вернут ей прежние ее, девичьи, косы. Через дырочку в зеркале она долго разглядывала выпученный Маврин глаз; потом села, так же как и Мавра, складывая руки на коленях.

— Капли дашь аль порошок? Я на все согласна... Очень я капли обожаю. — Она с тоской покосилась на промокшие свои полусапожки. — А то и порошок давай!.. окосолапела я совсем без глаз, копейку негде стало достать. Мне бы хоть каменю ворочать, так ведь и к камени без глаз-то не допустят. Мне бы хоть бычиный глазок-то: я на все согласна, пра...

— Немедленно поедешь в город, бабушка, там спросишь доктора Гвоздева. Возможно, придется резать тебе глаз...— сказала фельдшерица и встала, чтобы впустить на перевязку тщедушного мужика с разбитою рукой.

«Ишь ты, резать...» — важно подивилась Мавра, и, хотя обидно было ей уходить без капель из больницы, она поняла бесполезность дальнейших упрашиваний. Подвода в город стоила не меньше семи рублей, а идти вслепую пятьдесят верст по распутице не порешилась бы Мавра и в юные свои годы.

Суровая и с почерневшим лицом, Мавра покинула больницу. Из пушистых облачных заслонов прорывалось солнце; юные озими, вчера еще пробрызнувшие из земли, волновали и тешили душу, а ветры гулко катались по полям. Мавре казалось, что и на этот раз она перехитрила мир: она видела, видела и эту благословенную дрожь озимой, и напряженную зыбь

на лужах. Она не понимала лишь, что ощущение ее было душевным трепетом перед весенним обновлением мира. Она шла уже почти на ощупь и не сбивалась с дороги, путеводимая опытом своих шестидесяти лет.

К полудню заволокся облаками и сумерками этот кратковременный проблеск весны; ветер понес изморось и кислую деревенскую скуку. Печь топить стало незачем: Мавра пожевала хлеба и запила водой. Потом она сидела одна, бездельно отщепляя ногтем лучинки от стола. Все мнился ей в воображении овражек, и в нем бежит непрозрачным ручейком темная вода. Ветер хлопал ставнями, шумел в стекла: весна ломилась в дом. Мавра суеверно пересела на другое место, но тревога не рассеивалась. Тут-то и забежал по церковному делу дьячок, бывший ее жених.

Сидя на лавке и протирая полой рубахи очки, он болтливо распространялся о деревенских новостях, а Мавра копалась в узелках, стоя к нему спиною. Найдя обещанный богу пятак, она села против дьячка и тихо ужаснулась: она видела все вокруг гостя, но на месте самого дьячка сидело на лавке мутное, зловещее пятно. Мавра с волнением протерла глаза, и тогда лиловые запрыгали в пятне огоньки.

— Ой, никак, постарел ты, Серега! — невпопад сказала Мавра, вертя глазами всяко, чтобы уловить гостя в поле зрения.

— Да и тебя, бабушка, замуж-то теперь уж никто не возьмет! — задиристо вильнул дьячок.

Тогда старуха посуровела:

— Мрак на меня ползет, Серега! Песня — правда: кому счастье, кому два, а кому ни однова... Лекарша говорит, резать надо мне глаза мои.

— Резать не давайся,— сразу возразил дьячок,— а проси очки. Стекло — оно свет притягивает. Я в очках-то всяку блошку издали вижу. На, примерь!

— Так ведь не подойдут поди. Твой глаз серый, аки пепел, а мой — эвось, угольки!..— Однако она боязливо вскинула на нос дьяковы очки, и хотя еще неразборчивей стал ей мир, Мавра заволновалась. — Ух, стекло какое!.. И тебя вижу, и рубаху твою. — Все же она побоялась назвать цвет дьячковой рубахи.

Возможность спасения через очки развеселила старуху. Ей не сиделось на месте, и, когда дьячок ушел, она пошла во двор взять петуха с нашести. Птица орала и билась крыльями,

но Мавра закутала ее в тряпицу, и птица тотчас примирилась со своей холстинной тюрьмой. И оттого, что на дорогах бушевали полые воды, ветры и сумерки, Мавра еще бесстрашней вышла на улицу, держа петуха под мышкой. В полях, еле освещенных скудной полоской заката, рыскал ветер, а к ногам липла грязь; все же, томимая жаждой исцеления, Мавра полдороги прошла без передышки. Здесь она присела на жердину, выпавшую из загороды, и враждебно внимала происходившему в мире, а в мире происходила весна. Грохотал воздух, и стонала земля, распираемая весенними соками. И, точно заслышав призывные вопли земли, петух заворочался в своей темнице, но старуха деловито потискала ему шею, и он покорно замолк.

Неприметно для самой себя, она ковырнула землю пальцем: земля была рыхлая и вовсе не ледяная, одинаково пригодная и чтоб сеять в нее зерно, и чтоб рыть в ней могилу. Она уже не волновала Мавру, как прежде, эта весенняя земля, и старуха сама поняла это. Стократно битая судьбой, она подавила в себе отчаянье и двинулась дальше в весенний мрак. Пройдя поле, деревню, да еще два поля, Мавра поднялась на крыльцо фельдшерицына дома и стукнула в дверь. Никто не отозвался ей: тогда она толкнула незапертую дверь и вошла, крепко сжимая в холстине свой беспокойный дар. Воздух в доме стоял лекарственный, духовитый; он вселял веру во всемогущество лекарей, и Мавра лукаво усмехнулась. В комнате играли мальчик и девочка, фельдшерицыны дети, мастеря сады из черепков и еловых прутиков.

— Играйте, играйте, детушки... ваша могила еще не близкая! — вместо приветствия сказала старуха, приглядываясь к детям неиспорченным краешком глаза.

Испуганные ее огромной и горестной рожей, дети замерли и молчали, а когда Мавра распутала шаль с головы, детей в комнате уже не было.

Она кинула петуха к порогу и села у стола в ожидании хозяйки. Ее беда была единственно важным событием за всю жизнь, беда равняла ее с людьми и миром — горе ее стало ей сладостно, а сидеть тут было ей несказанно приятно. В темном углу часы звонко веселили тишину, а на столе, одетая в пестрый колпачок, горела лампа. Мавра потрогала ее: лампа была новая, фитиль действовал исправно, и это почему-то окончательно успокоило Мавру.

— Штучка какая... все штучки разные! — сказала Мавра, бесцельно трогая вещи на столе. — Щикатулка!

Подстрекаемая скукой ожидания, она открыла коробочку и пытливо заглянула внутрь. Там лежали деньги, месячное жалованье фельдшерицы. Еще не зная, зачем она решилась на эту кражу, Мавра взяла несколько бумажек из коробки и неторопливо сунула их в обширный карман юбки. Потом она продолжала сидеть, зевая и крестясь, с каменным лицом и сытым сердцем. Ей казалось, что теперь она отомстила миру за обиду и лишение ее счастья. Она еще не додумалась до мысли, что на краденые эти деньги она сумеет нанять подводу в город, когда вошла фельдшерица. Усталое лицо ее было забрызгано грязью не меньше, чем убогое ее пальтишко. Она вернулась из дальней волости, от мужика, которого захлестнуло деревом на рубке леса.

— С незапертыми дверьми живешь, недобрых людей не боишься,— сказала Мавра укоризненно, хотя и знала, что фельдшерицу любили в округе. Та раздевалась, не отвечая, и, присев к столу, закрыла лицо руками. Тогда Мавра опять заговорила, тревожась возникшего молчания. — Виделось мне надысь, будто играет со мной во сну мальчик кудрявый, а может, и барашек... да вдруг как толкнет меня в глаз! Скочила я, вся шкура на мне трясется, и ничего мне не видимо. Спичку, милая, зажгла, а огня-то и не вижу. Вот очков испросить пришла. Я и петушка притащила, свари деткам... Деткам петушок полезно.

Отняв руки от лица, фельдшерица странно глядела на старуху, и левая ресница билась у ней, как подбитый зверек.

— Я велела тебе в город ехать, а ты опять здесь... Каждый час дорог, атрофия глазного нерва у тебя! — Она заметалась и поблекла, не выдержав черного, насмешливого взгляда старухи.

— Ишь ты доля какая! — холодно сказала Мавра, дивясь мудреному слову, за которым спряталась ее слепота. — Что ж, хорошо это аль плохо? — Фельдшерица не отвечала: глаза ее смыкались, простудный озноб мутил разум, и уже не хватало сил усидеть на стуле.

Отказ в очках Мавра приняла как новое поношение мира; уходя, она уносила и своего петуха. И опять, твердой стопой меряя весеннюю дорогу, она сердито держала петуха за горло, чтоб не шумел, не бередил живучестью своею смертной раны в Маврином сердце. Она шла твердо и гордо, разбрызгивая лужи и неся горький мрак свой, как знамя безжалостной борьбы против мира: злоба влила новые силы в ее огромное

тело. Дома она раскутала петуха и сунула его на нашест; он сел безропотно, принимая за должное свое ночное путешествие. Потом, засветив коптилку, Мавра достала деньги из кармана.

— Синенькая... — считала она, еле разбирая цвет бумажек уже последнею, еще не умершею частицей глаза. — Синенькая да красненькая — тринадцать. Ишь ты доля какая!.. Так не дашь очков-то? И порошка не дашь? А вот еще синенькая... — Пересчитав, Мавра завязала деньги в узелок, узелок сунула в валенок, а валенок запрятала в чулане.

Три последующих дня прошли в беспрестанных заботах об этом кладе. Почти ежечасно ходила она в чулан пощупать свое сокровище, злосчастную цену своей слепоты. Так в звериной жизни ее объявилась наконец цель существования. И все ждала Мавра, что фельдшерица сама придет за своими деньгами... и уж тут-то потешится Мавра над несговорчивым врагом! Однако текли подслеповатые деньки, вливалась в мир весна, пруток на кровле почти звенел, вытягиваемый ветром, а фельдшерица все не шла на Маврину расправу. Тогда новая затея отемнила Маврино сердце. Ей захотелось овладеть и остальными деньгами в фельдшерицыном коробочке; это была не жадность, а скорее жажда восполнить какой-то пробел в бескрасочной судьбе своей. В воскресный вечер Мавра привычно взяла петуха с нашести и отправилась в далекий дом, куда влекла ее тоска. И опять билась птица, и опять усмиряла ее Мавра кратким пожатием петушиного горла. Ударялся ветер в Мавру, обвивал и тормошил, вынуждая на волпенье, но Мавра была угрюма и равнодушна к безумным его крикам. И опять дверь оказалась незапертой, и ничто не преграждало пути старухе.

Она вошла в комнату фельдшерицы, огляделась и прислушалась. В комнате стояли мрак и тишина: хозяев, по-видимому, не было дома. Переждав на всякий случай хитрую минутку, Мавра двинулась в угол, где находился, по памяти, стол фельдшерицы с заветной на нем коробочкой. В полной тьме, локтем прижимая петуха, она нашарила во тьме коробку и, раскрыв, запустила туда свои поспешные и ставшие совсем молодыми пальцы...

— Зачем ты берешь чужое, бабушка? — спросил ее из мрака дрожащий голос фельдшерицы, и тотчас всякие шорохи и восклицания раздались по углам.

Мавра вздрогнула и лишь крепче сжала заметавшегося петуха. Жестокая догадка облила ее холодным потом: комната была ярко освещена, и много людей, весь мир с затаенным дыханием наблюдал ее глупое воровство. У фельдшерицы были гости, а мрак Маврин был мраком окончательной слепоты. Все же она не потерялась, не отступила, и в лице ее не отразилось ничего.

— Забыла я, милая, как его фамилья... вот, который очи-то мне станет резать? — сухо спросила она, вытягивая голову в направлении,— куда подсказало ей смятенное чувство.

Тогда кто-то из гостей, двое, взяли ее под руки и молча повели вон. Она не противилась непрошеным своим поводырям; навсегда уходя из мира, она высоко держала голову, и это было страшно. На крыльце ее оставили одну, а сзади глухо простучали запоры. Мавра спокойно спустилась со ступенек и пошла в свою двойную ночь. Совсем слепая, она медленно двигалась среди полей, чутьем стопы улавливая дорогу. Мерцали озими, и раздираемое весеннею луною, стремительно бежало небо над головой, но Мавра не видела. Мрак свой она уже благословила и солнца во тьму свою не звала. На ноги налипала черная, тяжкая земля, и вдруг Мавра поняла, что сбилась с пути и идет по цельному полю. Правой рукой ловя воздух, а левою держась за шею петуха, она поискала дороги, но всюду был одинаковый, мягкий и вязкий мрак. До утра она блуждала так, приучая себя к новому положению в мире, а на рассвете ее довез до деревни проезжий мужик.

Ушибаясь об углы и спотыкаясь на порогах, она вошла в нетопленную избу и, обведя ее незрячим взором, пошатнулась. Но она нащупала рукой угол лавки и вдруг, легко и просто, вспомнила расположение вещей в мире и свое собственное место среди них. Петух, освобожденный из холстины, лежал смирно, шея его была гибка и покорна, и хотя Мавра не видела его, она догадалась, что петух умер. Тогда, присев на лавку, Мавра заголосила тоненько, бесслезно и неискренне, и не определить было, что огорчало ее больше: гибель ли петуха или другие два внезапные мертвеца, ее померкшие очи. А поголосив, она вытерла краем головного платка плотно сжатые губы и уже на ощупь принялась затапливать печь.

1927

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОПЫЛЕВА

Д. Н. Кардовскому

В сумерки Мишка снова вышел на опушку и, забравшись на дерево, озирал родимые места. Веяло осенью с заката, острые туманцы покачивались в низинках. Мишку знобило; был он бос, а одет в лохмотья, которыми надеялся вымолить пощаду у мужиков. Деревня казалась неживой, но блеял за стогами заблудший баран и повизгивали в дальней тишине качели, а Мишке слышался вдобавок и веселый девичий смех. Даже изнеможенного бездомными ночами, одолевали его любовные соблазны. Все мнилось ему, будто на весенней луговине сходятся и расходятся девичьи кадрили, а посреди красуется он сам, первый кавалер в округе. Сидя на дереве с поджатыми ногами, Мишка густо покраснел от стыда за хламной свой вид, в котором судьбы и зима пригоняли его на родину. Шла ночь, из лесу наползали тоска и страхи. Мир предавался дремоте, великодушно предоставляя и Мишке на ночлег его осклизлый сук.

Здесь вырос Мишка, отсюда вскинуло его великим ветром на житейские вершины, и когда забунтовали здешние мужики, сюда послан был Мишка на их усмирение как мужик по рожденью и знаток окрестных мест. Румяный и статный, облеченный властью эпохи, подступил Мишка с войском к родной деревне. Мужики нагромоздили бороны на взъездах зубьями вверх, но Мишка подпалил деревню и, взяв на приступ, усмирил ее своим мужицким способом. Согнав на сход покоренное племя, сподручный Мишкина завоеванья разъяснял мужикам суть наступающей нови, а Мишка, в розовой рубахе и увешанный оружием, важно сидел тут же, в кресле, реквизированном у попа. Еще тлели головешки вчерашнего пожарища, и мужики покорно преклоняли головы перед идеей, которую приносил им Мишка Копылев.

Неделю прогостил Мишка в родной деревне, куря сытные папиросы и страдая прыщом; войско следовало примеру военачальника. Иногда Мишка выходил гулять и шел вниз, к пруду, таща за собой на веревочке пулемет: чутьем угадывал Мишка затаенную немирность мужиков. «К водопою собачку повел...» — украдкой шутили мужики, но ни одна живая собака не смела облаять железную собаку Мишки Копылева. Порой нападала на Мишку тревога перед великим безмолвием округи, и тогда, застигнув земляка на дороге, мытарил его тягучими разговорами. Так попался ему раз бондарь Ермил Полушкин, мужик татарской видимости и сокрытного ума; как ни старался бондарь, не отвертелся от беседы с могучим завоевателем.

— Должон ты понимать, гражданин, кто я есть. Я нонче в зенитах, все могу. Могу заветную рощу сжечь, могу коней пострелять... все в моей власти, Полушкин. Я вас бью блага ради мужиковского, потому — сам я мужик. Человека не бить, так он забыть может, что он человек. Понимаешь, отчего я говорю тебе все это?

— Убедительно вынуждают понимать,— тряхнул плечами Полушкин.

— Что же ты понимаешь, ответь мне своими словами! — важно приказал Мишка, удерживая собеседника за плечо.

— Боязно, Миша. Слово не стрела, а хуже стрелы,— вилял Ермил, косясь на бряцающую оружием грудь Копылева.— Кричишь, пытаешь, Миша, а на себя кричишь... и получается в тебе оттого сосание сердца. И невдоумок мне: начальник ты, все можешь, а боишься, боишься меня, Миша!

— Уйди, отчадие ада! — гневно затопал Копылев, всклубляя сапогами пыль дороги.

Не из дурачества лютовал в те сроки Мишка, а от ленивой прямолинейности ума и еще по крохотной причинке, неведомой миру. Еще в прогеройскую пору, когда был только бабником и озорником, возникла в его могучем теле беспамятная любовь к Аринке Гусевой. Девочка возрастом, она приманила грубую его силу нежной грустью, которую таила в глазах. Студеные озерки, весенние чащи и прочие волнительные чудеса отыскал в них Мишка, но она отвергла его ухаживанья и посмеялась над угрозой. В поисках другого счастья покинул Мишка деревню, но удачи завлекли его в глубь жизни, откуда он вернулся уже опаленным пожарищами эпохи. Мечта об Аринке толкала его на бурные самодурства, за которые впо-

следствии и выгнали его отовсюду,— в мире не пригодилась глупая его сила...

Лишь теперь до него, посинелого от стужи, доползла удушливая гарь давнишнего пожарища. Новые избы белели в сумраке, призывно светились окна, но мнилось ему все это ловушкой, где, прикинувшись Аринкой, караулит его мужиковская месть. Ища пути к бегству, он воровски оглянулся назад... Лес усмешливо молчал, замахивался руками, пугал, дразнил... Тогда, мыча и пыхтя от звериного одиночества, Мишка спустился с дерева; ноги его обожгла ледяная роса предзимья. Неохотно подняв с земли суму и палку, суковатую палку странника, он бесчувственной стопой шагнул вперед, на деревню.

Он шел быстро, просырелые лохмотья задымились паром; все еще стоял в неизвестности надоедный бараний плач. Перепрыгивая ледяные грязи и длинные световые лучи от окон, Мишка бежал вдоль главного порядка домов, когда женский голос из тьмы опросил его о пропащем баране. С бесовской увerткой Мишка вильнул за случившуюся тут часовню, но наткнулся на женщину и замер, вцепившись в ее рукав и сердцем учуяв в ней Аринку.

— Мишка? — тихо сказала она без испуга или удивления. — Ступай, ступай, откуда пришел. Тут из тебя жмурика сделают...

— Аринушка,— бесстыдно и с непонятной надеждой шепнул Мишка, переступая босыми ногами,— замужем ты аль еще в девках бегаешь? — Но она оттолкнула его и растаяла во тьме, такой плотной, что было бы ее хоть рубанком строгать.

Встреча внушила Мишке бодрость: Аринка помнила его, не прокляла, не ужаснулась, даже пожалела беспутную его долю. Забыв про опасность, в дом свой он ломился всем телом, просившим тепла и отдохновения. Сооруженье прадеда, дом был мрачен и просторен. Мишке отпер глухонемой его брат и сразу замычал, выражая бурное свое удовольствие.

— Ну-ну, развалишься от радости. Корми старшака-то! — неестественно захохотал Мишка и вбежал в избу.

Нежилым запахом дерева и сухой малины встретил его дом отцов, но лежал на всем отпечаток как бы бабьей руки. Вымытый пол простелен был половиком, печь выбелена, горшки в солдатском порядке и опрятности стояли на полках, а на стене торчал в трех гвоздях осколок облезшего зеркала. «Сидит один, как редька, делать ему нечего, вот и старается»,—

подумал Мишка про глухонемого, который суетился, готовя брату еду и сухую одежду, и даже в порыве усердия вытер место на лавке картузом. Нешумный и покорный своему бесцветному жребию, он не обижался на молчание вернувшегося хозяина, который торопливо примерял на себя его простиранные рубахи. Мишка был крупнее телом, и рубахи глухонемого лопались на нем, как бумажные.

Сидя спиной к окну, Мишка жадно пожирал печеную картошку, и повеселевшее его сердце почти примирилось с предстоящею участью. Мирская кара нагрянет не прежде утра, а пока впереди ждали теплые нары и крепчайший сон. Раз попав в западню, Мишка вдосталь лакомился чудесною ее приманкою. Валенки согрели ноги, и кровь пламенно вливалась в опухшие щеки. Вытянув ноги, он домовитым оком озирал внутренность избы и не особенно огорчался ни разлохмаченной паклей в стенах, ни провисшим полом. Окрепшее от еды и тепла тело уже теперь требовало труда, но он справился с собой и усидел на месте, поборов кстати и сладкую дремоту. Предчувствие сна было ему слаще самого сна.

Вместо того, подняв сумку с пола, он стал разбирать вещи — трофеи своих завоеваний: кусок сахару, пару ветхого белья, неизвестного происхождения царскую копейку и бритву, утонувшую в размякшей краюхе хлеба. Бритва была вполовину сточена, но острая и без недостатков; бритва была драгоценностью в деревне,— бритву Мишка вытер о штаны и положил на стол. Вдруг необоримое желание побриться возникло в нем. Натерев мылом щеки и пальцем разведя на них серую пену, Мишка приступил к делу перед зеркалом, снятым со стены. Глухонемой с восхищением дикаря наблюдал за братом и тянулся потрогать невиданную вещь.

— Это бритва, понимаешь?.. Во, были щеки в волосах, а теперь, эвось, ровно коленка у девки. Это еще что! Вот в городе у меня бритва была,— востра, конца даже и не видать... еще и в руки не брал, а уж порезался! — Он покосился на глухонемого, который восхищенно чмокал губами, уставясь в Мишкин рот. — Потерял я, брат, тую бритву... все потерял. Но ты не гляди, что я в нищем образе вернулся: это я нарочно пугало огородное ограбил! Смекай мою хитрость, дурачина, уважай за столичность, я все могу!

Однако, предупрежденный мычанием глухонемого, Мишка обернулся к окну и тотчас в испарине отпрянул в угол: в окне, деловитое и с приплюснутым носом, мерцало лицо Ермила По-

лушкина. Так прошла минута, потом глухонемой задернул занавеску и побежал посмотреть на крыльцо. Тревога была напрасна: деревенский мрак плотен, а сон нерушим. Завернув бритву в тряпочку и положив под образа, Мишка привернул лампу и стал укладываться на ночь. Он долго лежал без сна, слушая вздохи глухонемого и пугаясь потрескиваний в подполье: больше всего он боялся, что его застанут во сне. Потом стало представляться: на обугленном пепелище сидит кошка и глядит в Мишку щурким глазком. Мишка перевернулся на живот и уснул сразу, как дитя...

На рассвете состоялся деревенский сход, и утром мужики пришли за Мишкой. Глухонемой топил печь, густой огонь лизал котелок в печи, когда вошли мужики. Они принесли с собой уличный холод и заследили вымытый пол, ночью выпал первый непрочный снежок. Мишка лежал на лавке, головой под образа, накрытый простынею и со сложенными на груди руками; в головах у него горела страстная свеча. Мужики переглянулись и подошли ближе. Двое, друзья, Анфим Фионин да Левак Петров, выдвинулись вперед из толпы.

— Никак, помер? — сказал Фионин.

— Дышит,— усмехнулся Левак.

— Ишь ты, яко бы мертв лежит! — продолжал Фионин.

— В покойника прячется,— презрительно откликнулся Левак. Тогда Полушкин раздвинул сборище, беря власть на себя.

— Погодите, граждане,— сказал он важно. — Мертвый не живой, мертвый простых слов не слышит... и наперво надо свечу задуть, еще пожара наделает! — Он значительно снял шапку. — Миша, успеешь помереть! Отмолви хоть словечко землякам, эку рань для тебя поднялись. Молчит... Слушай, злобы в нас нет, а порешил тебя мир убить за твои грехи. Помолись, дружок! —прокричал он в самое ухо Копылева, но тот не отзывался. — Дай сюда иголку,— сухо приказал он глухонемому и тут же, приподняв безжизненную Мишкину руку, медленно погрузил иглу в мякоть ладони. — Видали вы, граждане, чтоб из покойника кровь текла? — вопросил он, беря каплю на палец и показывая молчащему миру.

Мужики зашумели и заволновались: румянец явно выдавал страшное Мишкино притворство, но он был мертв и не откликался ни на боль, ни на бранное слово, а убивать мертвого ни у кого не подымалась рука. Мишку толкали, щекотали, прижигали огнем, и уже смрадная гарь распространялась от

обожженного пальца,— Мишка лежал торжественно и недвижно, лишь беззащитностью своею сопротивляясь темному гневу мстителей. В углу тихонько выл глухонемой, а из котелка выкипала еда.

— Чего ж парня портить зря! Рука ему нужна, рукой ему работать надо,— сказал тут Матвей Гусев, отец Аринки, отстраняя смущенного Полушкина. — Нам его убить запрету не положено. — Он был прав: никто в мире не ведал, что Мишка возвратился из дальних странствий на родину. — А мертвого убивать не след, мертвый — прощеный. Мертвому неколи в нашу игру играть! А зовите сюда, мужички, Зотей-Васильича.

Мир зашумел опять, но уже развеселясь затеей Матвея Гусева. Кроме славы великого знахаря, слыл Зотей Васильевич замечательным рассказчиком в округе, и когда на сходах доходило слово до Зотея, хохотал до упаду мир. Седенькому и в оловянных очках смехотвору этому ведомо было высокое таинство смеха не хуже, чем заговорное его могущество. Распутицы на полмесяца останавливали мужиковское бытье, и оттого вдоволь было времени потешиться над отступником.

Зотей Васильевич вошел мельконьким шажком и, покрестившись на образа, сел у Мишкина изголовья. Наскоро ему объяснили надобность, и он лукаво улыбнулся на мертвенное Мишкино спокойствие.

— Зря тебе ноне, Мишка, псалтыря читать, а лучше послушай, Миша, сказочку... мрак свой могильный повесели! — ласково зачал Зотей, и хотя ничего покуда не было сказано смешного, разразились мужики хохотом на Зотеево вступленье. — Жил на скушном, несподрушном этом свете единый дурак и пошел со скуки к попу на исповедь. Поп и спрашивает: «Сладким не грешил ли?» — «На твоей,— отвечает,— батюшка, на пасеке!» — «Та-ак, а бабой,— дескать,— не сквернился ли?» — «На твоей,— отвечает,— батюшка, на матушке...»

Дальше ничего стало не разобрать. Кто где, а иные, просто присев на пол, предавались полномерному веселию. Лай, писк, треск и грохот наполнили избу: тяжко мужиковское веселие, как тяжек мужиковский труд. Даже сам Матвей Гусев, староверского корени старик, держался за живот, мелко взрыдывая от смешливого удушья, а другие и того хуже. Лишь один глухонемой пугливо взирал с полатей на пытку смехом, самую опасную для смешливого Мишки. Но тот лежал в прежнем гробовом уединении, молчанием посрамляя Зотеево мастерство.

Вдруг Зотей обиженно смолк, разом прекращая бешенство смеха, всслившееся в мужиков.

— Пощекотить бы его,— молвил он, озабоченно качая головой.

— Щекотали уж, дядя Зотей! — хором пожаловались мужики. — Хочь голову отверни, не прочкнется. На тебя всю надежду возлагаем.

— Дайте конский волосок тогда,— сумрачно повелел Зотей и, когда повеление его исполнили, засунул гибкий волос в Мишкин нос, деловито присматриваясь к лицу испытуемого.

Он вертел орудием своим всяко, волосок свирепо танцевал внутри; лицо Мишкино побагровело, и судорога воли сузила набухшие губы, но сам он не шевельнулся, отдаваясь полностью на горькую милость мира.

— Оборотень! — сознаваясь в своем бессилье, определил Зотей и поднялся уходить. Хватало ему дел и без Мишки: заговаривал Зотей порезы, заколы и запаленных лошадей.

Мужики ушли, потеряв на этот раз надежду пробудить Мишку от смерти ложной к смерти истинной. Но на другие сутки, в полдень, они пришли опять, хотя и в меньшем количестве, пришли негаданно. Мишка снова лежал под образами, и в головах у него зловеще пылала свеча. Кто-то заметил, что на мертвеце новая была рубаха, и это разъярило мужиков. Мишку за волосы потащили к колодцу и, бросив под колоду, поливали осеннею, с ледяным хрящиком водою. Ничем, однако, было не вызвать Мишку из могильного его оцепенения; плюнув на злодея, мстители разбрелись по домам. Под колодцем пролежал Мишка до сумерек, а в сумерки пропал, и когда зашел проведать мертвеца Ермил Полушкин со товарищи, нашел его уже сухого, на лавке, с тою же свечою в головах. Присев рядком, Полушкин долго и горестно выговаривал Мишке его нечестность в игре, но уже не посмел отнять у мертвеца обрядную его свечу.

— Не ждали мы от тебя подобного злодейства, Миша! Полдеревни по ветру пустил, старшине два пальца отрубил в допросе, а ныне дитем прикидываешься, бессовестный. Эка серость твоя, Миша!.. Утешь сердце, хошь побить себя дайся.

Так целую неделю, но все в меньшем числе, приходили мужики удостовериться в Мишкиной кончине, а тот все лежал, непетый, безладанный. Примечали мужики, что в промежутках между посещениями все новее выглядит внутренность избы, а

однажды, придя невзначай, застали в избе плотницкий верстак и свежие стружки, но сам-то плотник лежал покойником. Мужики качали головой и уходили, вконец обиженные Мишкиным небрежением к мирскому гневу. Глухонемой надрывно скулил в уголку, плохо поддаваясь на расспросы: мертвого бить совестно, а дурака и грешно! Наконец, наскучив злодеевой судьбой, целую неделю никто не нарушал Мишкиных трудов по дому. Только ввалился как-то в одиночку пьяный Полушкин и в последний раз увещевал предлежащего однодеревенца.

— Неправильно играешь, плутуешь, Миша. Запил я из-за тебя вó. Лежишь? Ну, лежи, злодей, до второго пришествия! — плакался бондарь, мелко постукивая кулаком по Мишкиной груди, как по кадке.

Мишку забывали, но еще не разрешали от греха; показаться ему на улицу значило пойти на безвременную гибель, да и дома приходилось быть настороже. Как бы то ни было, Мишка новил дом, перестелил пол и вообще существовал полным мужицким бытом; даже прошел слух, что он видается с Аринкой Гусевой в окончательное посмеяние мирского гнева. И правда: еще через неделю почуял себя Мишка вправе и в баню сходить. Баня стояла на задворках, густо заросшая вишенником.

Тонкий снежок пропорошил в этот день округу, и пар в бане, стараниями глухонемого, вышел на славу. Уж полчаса хлестался Мишка веником и уже выпарился, как морковка, а все не мог отстать; слезала с него слоями многолетняя кожура. Как бы молодая березка распускалась над головой, а душистые ее корни сидели глубоко в легких, щекоча кровь и дыхание. Тут пожелал Мишка окатиться ледяной водой для здоровья, но вода нагрелась в ушате, да и не хватило бы ее на полное Мишкино удовольствие. Как был, голышом, Мишка выскочил с ведром на огород, к колодцу, но вдруг тишина кругом зашевелилась мужиками. Отовсюду протянулись к нему черные, корявые руки, и Мишка покорно откинул в сторону ведро. Десятки рук жадно держали его за локти, плечи и даже за голову. Тут же накинули на него тулуп и повели в избу к Фионину, где заранее собран был сход для решения его участи.

— Как же ты следов-то наших на снегу не приметил? Ишь утоптали,— воодушевленно шутил Полушкин, ведя добычу свою под руку.

— Да уж больно жар-то хорош. Эко прямо сад райский, а не баня! — отвечал Мишка, бесстрашно шагая к казни.

— Баня первый сорт,— охотно соглашались из толпы, следовавшей сзади.

...Невиданное оживление охватило деревню; бабы галдели под окнами, малые ребята рвались вовнутрь. Злодея провели в избу и двери замкнули на засов. Воздух был спертый, а запах густой, чернохлебный. Впереди сели старики, но как-то вышло, что еще ближе оказались молодые. Мишку поместили у печки; он дрожал от холода и все натаскивал на распаренное плечо сползающий тулуп, на котором еще висел замерзший бабий плевок.

— Трясется Миша от предчувствия,— сказал, между прочим, один мужик, вертя цигарку и кивая на обреченного.

— Ежели кто когда вздрогнет невзначай, это значит — по могиле его прошли! — отозвались от двери.

Тут Мишка приподнялся, прикрывая конфузно срам от стариков.

— Убивайте, коли насолил... а то дайте хоть одеться, дьяволы: всяка жилочка во мне продрогла! — крикнул он, но Анфим Фионин да Левак Петров молчаливо усадили его на отведенное место, и тогда выдвинулся вперед Матвей Гусев, единодушно выбранный за почетность в обвинители.

— Не тормошись, а сиди, славь бога в дудочку! Дело к вечеру, а с утра иные дела ждут. Нонче и решим твою судьбу,— кинул ему Матвей и огляделся на мир, который с одобрением внимал ему. — Сам мужик, мужикорожденный, можно сказать, на мужика пошел: изменщика порешил тогда покончить мир. Нагрешил и сбежал, а земля-то и притянула злодея... крепчай магнита действует земля-то! А только и смертью, полагаю, неразумно злодея учить. Парень крепкий, устойчивый, наш... Чего ж его губить за ребячий разум: муравей и тот своей кучи не рушит... А следует нам, мужички, поучить его телесно!

— Меня нельзя... я «Георгия» имею,— с дрожью в голосе возразил Мишка, но мужики только рассмеялись.

— Эк ты, человечинка с ветерком! Мы «Георгия»-то с тебя сымем, и станешь ты обнакнавенный мужик. Ну-ка, крестись да раскладывайся.

Полушкин сдернул на пол тулуп с Мишки и легонько толкнул на скамью, а бабы и ребята подавали в окна старую крапиву, седую от инея, мелколистую, самую злую. Ломалась

промороженная трава, и тогда сбегал Полушкин за вожжами. Однако, прежде чем дать знак к началу порки, он суетливо потрепал рукой пышное Мишкино мясо, оставляя на нем ржавый след бондарской руки.

— Крой, Ванька, бога нет! — отрывно крикнул он потом, отступая в сторону и хмуро стискивая зубы к предстоящей забаве.

Те же самые Анфим Фионин и Левак Петров, друзья, со рвением выполняли мирскую волю. Хитрый Фионин действовал всласть и на оттяжку, а простодушный Левак рубил своей вожжой, как дурак цепом. Без стона и брани, а вначале даже посмеиваясь, принимал Мишка присужденное наказание; потом он замолчал, лишь пристальнее упершись взглядом в одну точку. Только в одном месте, когда начинала синеть спина, стал он было покряхтывать, но закусил губу, и тотчас же черная обнаружилась на подбородке кровь: остатком сознания помнил он, что в толпе баб за окном могла находиться и Аринка. Веселые вначале восклицания мужиков теперь прекратились совсем, уступив место мерному визгу вожжей: молча, насупив лица и блестя зубами, следили мужики за происходящим действом.

— Эко молодецкое тело, что переживает! — похвалил наконец один и нагнулся посмотреть в упавшее Мишкино лицо.

Подернутые пленкой бесчувствия, медленно закрывались злодеевы глаза, точно клонило их в непробудный сон, но на раскусанных губах мертвенная лежала усмешка. Тогда Гусев остановил наказание, а палачи вытерли рукавами пот с лица. Разжав ножом оскаленные Мишкины зубы, Полушкин бережно вылил туда полчашки самогона. Затем Мишку осторожно переложили на тулуп, и четверо понесли его домой. Одновременно вызван был из своей закутки Зотей Васильевич лечить исполосованное тело Мишки Копылева.

Как неделю назад, но уже на животе и глухо вздрагивая от предсмертной икоты, Мишка лежал у себя на лавке, и чадная свеча над ним имела теперь свой истинный, ужасный смысл. На столе возле Мишки стояли травные Зотеевы снадобья и щедрые дары деревни: сметана в крынках, пироги с грибами, холст и темный самогон в бутыли. К ночи прибежала Аринка и, невзирая на присутствие знахаря, плакала и гладила Мишкины волосы, слипшиеся в смертном поту. Поверженный и усмиренный, он стал ей ближе теперь, чем в пору

лютого своего владычества над округой; теперь она его любила и почти недевической лаской призывала из грозного его оцепенения. Потом она замолкла, незамужняя вдова Аринка, и так, дикая и растрепанная, сидела до самого прихода отца.

Гусев пришел с мужиками; они вошли тихо, шикая друг на друга и снимая шапки еще до порога. На широкоскулой харе Полушкина отпечатлен был давешний испуг. Виновато топчась у порога, они спросили Зотея о Мишкином здоровье.

— Отлежится! — ответствовал знахарь, привыкший и не к такому. — Главное, жилы в целости...

Подойдя ближе, Гусев приподнял со спины Копылева мокрую простыню и тотчас же опустил, почти выронил ее на прежнее место.

— Обняла бы женишка-то своего,— смущенно сказал он дочери, косясь на Зотея, мешавшего в плошках цветные снадобья.

— Нешто не обнимала! — сурово сказала та, кладя руку на Мишку и как бы берясь защищать его теперь против всего мира.

Мужики поспешили уйти, струсив Аринкина взгляда.

Трудно борясь со смертью, две недели пролежал Копылев пластом, а по миновании срока встал и, на глазах у всей деревни, с вилами и топором полез на дом перекрывать крышу. Проходя мимо, мужики снимали шапки и торопились уйти. Остановиться перед Мишкиной избой посмел один только Ермил Полушкин.

— Как попрыгиваешь, дружок? — закричал он вверх, виновато усмехаясь.

— Да эвось... песьяк на глазу скочил! — отвечал Мишка, наколачивая топором новую тесину на конек и не прерывая работы.

— Песьяк-то хорошо навозцем смазать аль-бо на узелок!

— Пройдет и так,— отмахнулся Мишка, показывая, что после пережитого песьячный чирий ему только в удовольствие.

Все не уходил Полушкин, все мялся внизу да теребил рваную шапку в руках.

— Ожениться надумал, Миша? Дело правильное, мужицкое дело. Что ж, Гусев — род значительный. Да и девочка налимиста, статна тоись. Надо теперь хозяйством тебе обзаводиться... У нас пудов за десять неплохую телочку укупишь. Сиротой ты к нам вернулся, а, вишь, как бы и усыновили злодея. Дороже сына ты нам теперь, пра...

— Ладно, заходи сутемень, угощу! — посмеялся Мишка, отмахиваясь от удовлетворенного бондаря.

Приклепав боковую тесину, Мишка уселся верхом на высокий конек кровли и озирал окрестные места. Денек выпал знойкий, пасмурный, редкие снежинки опять летели на зыбучую, распутную грязь, но Мишке сладостно было сидеть тут, на юру, возиться с непослушной духовитой соломой, уставать, дышать, жить. Впереди ждала его свадьба, труды и простецкое мужицкое счастье. Все вглядывался он в дальнюю опушку, ища дозорной своей березы, но даже и дороги не различал затуманенный его взгляд; сумерки быстро струились из просыревших полей.

Внизу говорливой стайкой пробежали к качелям девки, и одна чаще остальных взглядывала на приправленную Мишкину кровлю, под которой предстояло ей жить.

— Эй, куклы! — заорал вдруг Мишка, наливаясь кровью, и сам вздрогнул от неожиданного своего крика; даже зачесались в спине незажившие царапины. — Погодите, я вас сам покачаю. Вот он я, Мишка Копылев... все могу! — И, не договорив до конца о своих возможностях, стал поспешно спускаться на землю, к глухонемому, который грустно и одиноко смотрел снизу на его непонятное веселье.

1927

ПРИКЛЮЧЕНИЕ С ИВАНОМ

Она рассмеялась убогому его приношению и, смяв в комок, бросила на снег, к ногам Ивана. Потом, уставя руку в бок, она высмеивала любовную его горесть, но Иван не слышал... Еще парнишкой, работая на торфу, подхватил Иван лихорадку и страдал долго, пока не надоумили сироту сходить к барыне в усадьбу. Помещица жила одна и со скуки лечила мужиков; она дала Ивану хины, много хины, и сказала: «Оглохнешь, но будешь здрав». И верно: вылечился Иван от трясовицы и на радостях не приметил внезапной своей глухоты. Она не мешала ему нести мужицкое ярмо, она избавляла его от деревенских распрей, она спасла его от войны, и хотя глухота глупила его, он свыкся с нею и даже полюбил свою нерушимую тишину.

Мир стал ему беззвучен и грустен; плавали в нем тучи и птицы, росла трава, падал снег... Людей Иван не примечал в мире, но больше всего доставалось ему от людей. Слыл он, кроме прочих своих смекалок, изрядным плотником, но жилось ему впроголодь. Ничем не обижал он мира, ни птиц его, ни травы его, но любо было попу не заплатить ему за рытье могил, а парням покидать в пруд забавы ради немудреный инструмент Ивана. Жизнь его изобиловала такими приключениями,— именно этим словом выражал он беззлобное свое удивление перед устройством мира. И хотя ничто, казалось, не могло омрачить смиренной радости его существования, неудача сватовства к Лёнке Брагиной огорчила его.

Покорно поднял он головной платок, скомканный Лёнкой, разгладил и положил за пазуху. Деревенские ребятишки дразнили его, скача по снегу вкруг простофили, но Иван не слышал их. Единственным существом, способным разделить его смущение перед судьбою, была тетка; к ней и лежал теперь

Иванов путь. Тетка жила в богатом селе за двенадцать верст, тетка доживала век в няньках у попа, тетка была добрая, тетку звали Марьей. К ней зачастую он приносил свои печали и, погостив три дня, в новом веселии о своей судьбе возвращался к себе в деревню. Печали мира не волновали его.

А в тот суровый год оборвалась война. Мир болел, катался по земле и в судороге грыз ее, отравленную собственной кровью. Обезумевшие от жажды видеть родимый дом, семью и строить новую жизнь, солдаты покидали фронт и разбредались по стране. Немирными ватагами они проходили мимо деревни, ибо на тракте стояла деревня, в которой жил Иван Есаков. Шоссе бежало по высокой насыпи, и в закатные вечера бывало видно, как в голом, огненном небе плетутся понурые фигуры, черные от гнева и отягощенные оружием, которое про всякий темный случай несли с собой. Видения эти, зловещие предвестья испытаний, иногда заходили в деревню за хлебом и водой, пугали мужиков, но не Ивана, запертого, как в крепость, в непроницаемую свою тишину.

Ивану не ведомо было ни про что... Шел мягкий и ласковый снег, дорога была привольна и пушиста; приятно было брести по ней в безвестную мглу на далекий теткин огонек и думать о Лёнке. Гордой и красивой, ей незачем было идти за белобрысого всемирского батрака, и когда Иван понял это, разом порешил он подарить платок тетке Марье в благодарность за заботы, чтоб носила в праздники и помнила о сироте. Темнело, когда, миновав лес и пойму, Иван подымался на село. Оно стояло на горе, колокольня торчала прямо в небе, и над ней вились вечерние птицы. Обычным путем он прошел к поповской избе и постучал. Ему отперла не тетка, а старшая попова девочка, и сразу кольнула сердце Ивана такая явная несообразность. Виновато улыбаясь и тиская шапку в руках, он глядел на юную поповну, которая сварливо топала на него ногой в валенке, гоня вон из усадьбы.

На крик ее вышел заспанный поп в полосатых, матрацного рисунка штанах, нечесаный и сердитый.

— Помре твоя старуха,— сказал он, копаясь в громадных своих волосах. — Помре и под камушек положена!

Тогда Иван стал кланяться и униженно благодарить попа, и делал это очень долго, а когда очнулся, то сидел на крылечной скамейке и перед ним стоял тощий теткин сундучок, а шапка валялась перед запертой дверью. Нахлобучив шапку на жидкие волоса, Иван достал из-под пазухи платок, который

приладить в жизни стало уже не к кому, и с удивлением глядел на него. Платок был дешевый, с бедной цветочною каемкой по краю, но красный, красивый; в сумерках он пылал и жег Ивановы руки. Торопливо сунув его на прежнее место, за пазуху, Иван сошел со ступенек. Мертвенную мглу пронизывали тусклые снопы света из поповских окон; в них падал снег.

— Приключение,— сказал он, потерянно улыбнувшись самому себе, и оттого, что приткнуться в огромном селе стало некуда, а возвращаться назад, к Лёнке, мешали волки, он пошел к шинкарке на выселки. Баба варила самогон из яблок, и производство ее славилось в округе. С засученными рукавами и добротной грудью под ватной вдовьей безрукавкой, почти воительница, она деловито взяла Ивановы деньги и вынесла бутылку.

— Густ получился, хоть разбавляй,— сказала вдова и прислушалась к тоненькому в ночном безмолвии визгу. — Опять Ефим жену бьет. Очень по щекам любит. Скажи, какие пристрастия бывают на свете! — Вдруг, признав в покупателе глухого, она надоумилась развлечь Иваном вдовью свою скуку.

Приблизя тучное лицо к Ивану, она по-мужски хлопнула его по плечу, захохотала и толкнула в избу. Недошитая кумачовая кофта валялась на столе возле лампы, и оттого как бы красный пар стоял у вдовы в доме; самогонная закваска скрывалась в углу, в кадке — пар был пряный. С тою же конфузливой улыбкой Иван вошел в избу и, присев у печки, наблюдал, как вдова расставляла угощение на столе: моченые яблоки, орехи и уже оплаченную Иваном бутылку. Потом она важно опустилась на лавку, складывая руки на животе и предоставляя Ивану хозяйствовать. Стараясь не глядеть на зловещую дырку в крепких зубах вдовы, память о первом драчливом муже, Иван взял стакан со стола и мгновение смотрел на собственное отражение в жидкости, темной, как судьба; потом он сморщился и выпил и сразу потянулся за вторым стаканом, но оробел чего-то и сел на лавку.

Тяжело и величественно наблюдала вдова его несвязные движенья.

— Чего больно плачевен сидишь, не играешься? — спросила она, разгрызая тугую яблочную оболочку. — Не на кого тебе серчать... живешь, а ни к чему в жизни свое существование имеешь... Эва, каждая ворона на ночь в свою конурку лезет, один ты безгнездный, сиротина! — Горькой слезинкой сочувствия любо было вдове предварить любовную утеху. —

И глаз у тебя сму-утнай, недужный... рази можно с таким глазом к бабе подходить? Баба скотина безрогая, лукавая... бабе веселье надо. Иная так тебя за это боднет, только потрохи звякнут! Одна, знать, я тебя жалею...

Иван молчал, безотрывно смотрел на желтый листок пламени в лампе и думал, что против волков хорошо иметь спички. Вдова уже сидела рядом, ласкалась и обольщала, обдавая парня красным зноем, но он не внимал ее прикосновеньям. С непривычки он захмелел сразу и, хоть вспомнил про теткин сундучок, уже не имел воли подняться. Тут вдова привернула огонь; Иван смущенно обернулся, но на ее месте стояла тьма, насыщенная тем же красным пахучим паром. Глухая тишина его взвилась, зазвенела, понеслась; второпях он ударил что-то зыбучее, но красный пар лишь засмеялся, тешась его сопротивлением... Он заснул лишь к рассвету и видел во сне тихую лесовую дорогу, зимник, пропорошенные смутной, волнительной грустью об Лёнке...

Стремясь избегнуть пересудов и не надеясь на новые от Ивана любовные подвиги, вдова разбудила его рано и, некормленого, вытолкала на улицу через двор. На сытом и чужом ее лице не приметить было следов минувшей ночи, истощившей Ивана; изнемогшая от одиночества, не насытила Иваном тоски своей вдова, а исправные мужики еще не возвратились с войны... Горя стыдом за первое в жизни т а к о е приключение, Иван и не пытался остаться долее у бабы.

С минуту, пока злостно громыхал за воротами засов, он стоял в раздумье, потом вздрогнул и цельным снегом побежал к околице. Тело болело и томительно сосало в спине, пока снова не вошел в лес, только что виденный во сне. Тут все умолкло: и боль и стыд, потому что собственная его тишина совпала с тишиною мира. Каждый шаг пространства был ему здесь волнительно знаком, любое дерево втайне знал он по имени, помнил в лицо всякий можжевеловый куст. Сотни раз бывал тут, но и в этот раз порадовала его немая торжественность утра, в котором как бы крылась и его собственная неосмеянная правда. Грудь наполнялась упруго и весело, а тело стало легкое, и нести его навстречу судьбе было необременительно. Вдруг Ивану захотелось крикнуть, и он не крикнул лишь потому, что на дороге вдалеке показались сани.

— Эка, спеши, парень... там у Крутилиных ночью коня свели! — скороговоркой прокрикнул старичонка из саней, но признал глухого и только рукой махнул, причмокивая налив-

ной своей кобылке. Тревога слов его не коснулась Ивана, а к концу пути и вовсе выветрились его вчерашние печали; он чуял только голод, а когда распахнулась перед взором последняя равнина во всем своем снеговом великолепии, опять готов он стал к удивительным своим приключениям. Было близ полдня, и уже плелись навстречу Ивану незнаемые люди в солдатских рубахах.

Взойдя на холм, который главенствовал над деревней, Иван с тоской остановился на вершине. Внизу, возле амбаров, где с адамовых времен сбирались сходы, толпился народ. Гневные вздымались над головами кулаки, и в ярости суетили по снегу мужиковские валенки; густой пар дыханий стоял над сходом. Вперемежку с мужиками топтались захожие солдаты, числом до дюжины, и также обсуждали ночное происшествие. Два добродушных мужика с обындевелыми бородами держали под руки кузнеца Зотова, а остальные сплотились в кольцо, предотвращая бегство. Кузнец, известный конокрад в округе, мрачно усмехался на грозное мирское судбище, материл и плевался, заранее примирясь со своею участью. Тем временем высокий и худой мужик, сам Фома Крутилин, держал слово перед миром... не столь перед миром, сколь перед захожими солдатами... и даже не столь, пожалуй, перед солдатами, сколь перед темной силой их винтовок, на которые и косился обозленным глазком.

— ...я и спрашиваю, мужички, что ж этто за явление? — домогался мирской справедливости Фома. — Етак придется коня на ночь прямо в избу вводить! Лошадка-то, главное дело, фартиста, как щука растягалась в беге... Властей ноне посымали,— сами, дескать, правьте собою, мужички... а как же править, коли ворье тем временем и штаны с тебя сымет, и избу за плечами унесет. Опять же сидит, эвось, Зотов, бесскорбно сидит, без слезиночки, пакостит мир словами до упада, а чтоб покаяться, так и мысли нет! Кайся, подлец, свел ты мою Воронуху?! — тоненько прокричал Крутилин, в изнеможении ударяя шапкой о снег.

— Ну, и свел,— угрюмо сознавался кузнец, свертывал цигарку и сплевывал на снег побойную кровь.

— Расстрелять, сукина сына... по военному времени! — в тишине молвил ближний солдат и раздумчиво поковыривал винтовкой утоптанный снег.

Уже вступал в силу приговор злодею, произнесенный устами захожих людей, как вдруг вышел на средину схода Васи-

лий Брагин; ростом был он невелик, языком зол, сердцем немилостив. У него всегда слезились больные глаза, и никогда не глядел он никому в лицо, и оттого ценил и боялся мир суждений Василия Брагина.

— Думается мне,— начал он, своеобычно пощипывая колючую свою сединку,— не придет боле кузнецу в разум чужими коньками баловаться... — Он имел в виду ночные кузнецовы побои. — А только чем Зотова казнить, лучше нам своею рукою наших коней пострелять. Кузнец у нас один, мужички, на полторы волости... он нам и кобылку кует, и жеребеночка, скажем прямо, коновалит, и шину перетягиват на колесе. Зотов в нашем хозяйстве первый гвоздь, Зотова в ямку рано пхать. Мы солдатикам премного благодарны... как обреклись они войне и везде живут по военному закону, а нонче, скажем прямо, соскучились ребята по работке. А только кузнеца мы заступим и в забаву солдатикам не дадим! — Он сделал передышку и вскинул сощуренные глаза на холм, откуда уже спускался в деревню глухой Иван; в ту минуту слезящиеся глаза его смотрели бесстрастно и мудро. — А и пропускать нам такого случая немысленно... надо нам злых людей смертию остраститъ. Кузнец у нас один, мужички, а плотников четверо. Вот и думается мне, что легчаї нам на такой предмет с плотником распроститься, чем с кузнецом...

Он спрыгнул с бревна и разом замешался в толпе. Никто не посмотрел на Василия Брагина, но всяк думал его мыслью и решал его решением. Тут-то и протолкался Иван в круг мирского сборища, одолеваемый губительным любопытством глухого.

Все молчали, и вдруг он заметил, что все глядят на него. Он был сирота, он был плотник, он был убожий человек, оплакивать которого было б некому; он был виновен потому, что миру нужна была его вина. Он заулыбался по сторонам, но лица у всех стали на один покрой, чужие и холодные.

— Смирись, Иван, все равно тебе! — сказал ближний старик, грозя Ивану сведенным пальцем.

— Пожалей мир, Ванюша. Сам видишь, одолели конокрады, а уж мы тебя не забудем.

— Как сына похороним... во! — крикнули сзади, и голос покорял своим искренним отчаянием, но Иван не слышал.

Он удивился протянувшимся к нему отовсюду рукам и заметался, но сход уже сдвинулся с места и повлек его среди себя за деревню. Бесстрашно улыбаясь и не оправдываясь, ибо

даже помыслом не согрешил против мира, он шел с толпою за деревню; он только думал, что приключения его пошли как-то уж слишком быстро. Ему казалось даже, что он обманывает мир своею якобы виною,— это и было причиной его конфузливой улыбки. Выйдя за околицу, толпа пошла по цельному снегу поля; позади деловито ковыляли старики, а впереди неслись ребятишки, бежавшие взглянуть на последнее Иваново приключение. Его поставили у овражка, и двое солдат, чьи глаза глубже, чем у прочих, завалились под лоб, зарядили винтовки. В тот же миг, как по сговору, высоко заголосили бабы.

Там было ветровое место, и в разметанном снегу торчали черные будыли тысячелистника; Иван сорвал один из них и, растерши в пальцах, потерянно нюхал его густой и острый на морозе ромашковый запах. Он все еще улыбался и, только встретясь взглядом с двумя прищуренными солдатскими зрачками, уразумел многое из своей судьбы и, прежде всего, горькое несоответствие свое стремительным бурям мира. Опять воспомнился Ивану забытый теткин сундучок, наследство, но уже некогда было думать о сундучке.

— Лёнке кланяйтесь,— только и крикнул он в воздух, где парила птица, и вторично на протяжении дня собственная его тишина совпала с тишиною мира.

1927

БРОДЯГА

Чай походил на сенной настой, а сахар отзывал керосином. Чадаев скинул недопитое блюдце на стол и рассеянно внимал гомону постоялого двора. К полудню, как всегда в дни воскресных базаров, сутолока возрастала, но Чадаева облекала пустая тишина. Вдруг он грузно встал и с руками, выкинутыми вперед, двинулся в заднюю дверь трактира. Блюдя беспорочную славу заведения больше, нежели единственный глаз свой, трактирщик вышел следом, но подозрения его пришлись впустую.

В зеленоватых пахучих сумерках двора, пронизанных лучами из щелей, постоялец запрягал свою кобылу. Мягкая и расплетистая, она неохотно отрывалась от сытной кормухи; постоялец не сердился, он не замечал. Однако он поднял с грязной соломы оброненную кем-то краюшку хлеба и долго глядел на нее, прежде чем положить в дорожную суму. Тут, разочаровавшись в чадаевском секрете, трактирщик выступил из своего укрытия, и Чадаев смутился.

— Дома-то ведь собаки встренут,— тихо сказал он про хлеб.

— А я тебя рази спрашиваю, человек, кто тебя встренет? — откликнулся тот и, поморгав злым, смешливым глазом, ушел вовнутрь трактира.

Чадаев выехал со двора.

Рассыпчатыми жавороночьими трелями опутан был апрельский полдень. Слепительно рябились лужи, неуловимое журчанье наполняло мир. Просачиваясь в сердце, оно вселяло приятную, почти хмельную легкость,— но бесчинством ошалевших стихий показалась Чадаеву эта сорок пятая его весна. Достав

из-за пазухи письмо жены, ради которого до срока и вопреки смыслу покидал уезд, он снова попытался понять его задиристые каракули. «Дорогой мой супруг,— прочел он больше по памяти,— я скучаю. Дорогой мой супруг, я каждый день плачу. Дорогой мой супруг, не знаю, как время провести. Дорогой мой супруг, мы гулям...» Слова шумели на ветру, лукавили, хлестали Чадаева жестоким и счастливым смехом. С той же силой ударил он кнутом кобылу, и полоз зашипел унывней в разъезженной колее.

Всю жизнь, на зависть миру, сопровождала его привычная удача — награда ненасытным рукам. В предпризывной год женился он на веселой Катеринке, и даже в древнем его, скрипучем доме не меркла шумливая Катеринкина младость, а по веснам стоял в окнах немолчный скворчиный свист. Снабженный всем на одоление жизни, одного лишь дара смеха лишен был Чадаев, но и эта горькая несправедливость судьбы приносила ему барыш: его боялись. Война пощадила это рослое и рыжее, как сосна в закате, тело; домой вернулся он целым, даже неподшибленным. Вдруг мелкие, как мыши, напали беды. Целый год он бился с ними, чумея от борьбы, но все новые набегали стайки подгрызать знаменитое его благополучие. В дни передышек он озлобленно вглядывался в самого себя и не находил причин своей разрухе. Лишь теперь ему, едущему на последнюю расправу судьбы, вспомнилось одно фронтовое приключение... и, хотя не стыден мужику никакой грех, прикрытый солдатской шинелью, это воспоминание жгло, точило поры в чадаевском существе, и вот уже не вытравить его стало ничем.

В пору военного затишья и революционной вольности полгода томился под южным солнцем его бесславный полк. Там сошелся Чадаев с молдаванкой, такою же мужичкой, как и сам. Она была утешительна, как и собственная его Катеринка, ее и звали так же, и она скучала по муже, который, отвоевав положенное, томился в плену. Ее прельстила неспокойная, северная чадаевская сила; он дневал и ночевал в ее домике под акациями, жрал ее кур и пил ее вино и часто рассуждал в кругу друзей о скрытых прелестях своей молдаванки. То, что было ему временной утехой, была ее молдаванская любовь. Ее покинул Чадаев без сожаленья, а слезы помешали видеть женщине, что, увозя с собой на север ее короткое счастье, он увозил и швейную ее машинку, приглянувшуюся в любовный час...

Еще Чадаев не забыл, как ехал на вагоне семнадцать непогодных суток, валяясь в тифозной дремоте и цепко держа покражу между колен. Она стала ему дороже хлеба и жизни, потому что он вез ее в подарок северной Катеринке, которую положил в основу своего мечтательного, в сущности, счастья. Но когда вечером, по пригоне скотины, он всходил на крыльцо родного дома, весь в голодном поту и шатаясь от заветной ноши, Катеринка заплакала. Остановясь, Чадаев мутными глазами взирал на плачущую, и борода его огневела, точно в ней приносил он чужую кровь с войны.

Болезнь и пробуждение к жизни открыли ему странные сокровища, стоявшие дотоле вне скудного его муравьиного обихода. Почти ведовскими глазами он осмотрелся вокруг себя и всему — летящей мошке и растущему дереву — отдал дань своего немужицкого восхищения; мужик, однако, одолел в нем человека. С тем большим рвением подправлял он всю зиму пошатнувшееся хозяйство, чистил сад и выставил перед домом такое множество скворешен, точно самое счастье пытался приманить в замшелые стены. Не прижились скворцы, яблони бил червяк, сошла вместе со снегом Катеринкина веселость. Тогда он растерянно ждал детей, но, хотя и плодовиты мечтательные, не было детей. Катеринка билась, как в банное стекло крапивница, чаще сбегала из дому по соседкам, выглядела старше матери. Но раз вернулась она с покоса светлой и помолодевшей, была молчалива и весь вечер просидела у окна. Ночью, когда спало все чадаевское, скот и вещи, Катеринка засмеялась сквозь сон. Спустясь со своей печки, Чадаев сумрачно наблюдал ее, разметавшуюся и освещаемую воровским светом луны. Как ни вглядывался Чадаев в эту крохотную щелочку Катеринкиной тайны, ничего не разглядел в ту ночь. Вокруг все было тихо, за окном ни малой ветринки.

На рассвете прошел дождь, дни побежали погожие, в дом возвращалась утраченная улыбка. Оставаясь наедине со своими мыслями, Катеринка пела старые девичьи песни, и, хотя еще не хватало голоса допеть их до конца, муж тревожно радовался ее преображенью. Изобилие снова посетило это скрипучее место, и птицы орали на деревьях, точно купленные. Чадаев дремал, как гора, убаюканная ветерками, и только последнее письмо жены, негаданный всплеск чужого счастья, пробудило его громоздкое оцепенение. Бросив дела в уезде, куда поехал про-

сить о сложении недоимки, он возвращался домой, как на неотвратимую могилу.

Трактирщик пророчил правду,— даже собаки сбежали на свою собачью свадьбу: никто не встречал хозяина. Приарканив кобылу к плетню, Чадаев пристально глядел в безответные дыры окон, затянутые закатным глянцем. Ледяная сосулька под навесом роняла надоедные капли; Чадаев бешено хлестнул ее кнутом и ждал опять, но не было жены. Тут мальчишка, пускавший кораблики в оттепельной лужице, крикнул ему сквозь палисад, что Катеринка у Сереги на выселках. Чадаев дрогнул и огляделся: чесалась у дерева соседская кобыла, прося жеребца, и две бабы у колодца откровенно наблюдали его смятение. Тогда, как был в сермяге и с кнутом, Чадаев пошел на выселки, и опять руки его сами вытягивались вперед, точно спешили на злодейство.

Пересекая церковную лощинку, все искал он качеств в Сереге, которыми совратилась Катеринка. Был то беспутный мечтатель о таком переустройстве мужицкого хозяйства, чтоб росли в одном сообщем саду золотые яблоки; за диковатину эту и был он наказан должностью в волостном исполкоме. Он жил со вдовым братом, и на шестах вкруг их жилья развешены были медные советские нитки. В зимние вечера зачастую сбиралась к нему молодежь и с благоговейной дремотой взирала, как, передвигая рычажки на самодельном ящичке, прислушивается Серега к самому неслыханному в мире... Приближаясь, Чадаев усмехался и все косился на рыжий пожар заката, заливаемый вечерней тенью. У крыльца толпились бабы; они враждебно расступились перед Чадаевым, остекленевший взор которого предостерегал грознее, чем кнут, стиснутый сквозь рукавицу. Ни одна не посмела вступить за ним в горьковатую темень сеней.

Сперва только лиловые колеса, виясь и качаясь, всплывали в глазах Чадаева, но сердце уже учуяло преступное присутствие Катеринки. Тишина показалась ему неблагополучной, и он подозрительно переступил с ноги на ногу, не решаясь войти сразу на чужую беду. В предчувствиях своих он не ошибся: ранним утром Серегу захлестнуло деревом на рубке леса, и теперь он умирал, лежа на лавке посреди избы. Приподнятое подушкой желтое его лицо призрачно мерцало, точно большая восковая свеча отражалась в нем. Он лежал недвижно, но бегали в его теле суетливые мелкие струйки, а губы рас-

пахнула жадная и горькая улыбка. Чтоб утишить его страданья, под ухо ему приложили трубку радио, она одна жила холодными сверканьями в потемках избы. Чадаев увидел жену. Стоя возле на коленях, Катеринка жалостно смотрела в любовниково лицо и, повторяя все его движенья, как бы и сама слышала все то, чему в последний раз улыбался Серега.

Оно длилось уже с утра, это необыкновенное свидание, даже сам Чадаев не посмел прервать его. Он кашлянул, и Катеринка обернулась. По ее исплаканному лицу скользнул строгий ветер, едва разглядела в руке мужа кнут. Оживленный теплом чадаевской руки, кнут бился и двигался, и Чадаеву стоило труда усмирить его злую прыть. С опущенными глазами Чадаев беспрепятственно прошел к изголовью соперника.

— Теперь уже не поблудуешь, Серега... а? — горько спросил он, протягивая ему прощенье, в котором тот уже не нуждался. Серега задвигался и неверной, в ссадинах рукой стал натягивать на себя тулупчик, которым прикрыты были искалеченные ноги. — Холодно? Пока жив — все холодно, как помрешь, так и согреешься,— строго и важно прибавил Чадаев и, сам дивясь силе, которая удержала его на месте, помог Сереге переместить тулуп.

— Не стращай его смертью, ему и жить не слаще... — бросила Катеринка, и новый холодок, подувший с ее лица, заставил Чадаева умолкнуть; потом опять бесстрашно и жалобно она припала к своему еще не оплаканному праху, точно была с ним наедине.

Серега, казалось, дремал; трубка радио отвалилась от его щеки. Чадаев взял ее украдкой и прижал к собственному уху. Там глухо звенела пустота, и, лишь вникнув всем существом, он различил глухое журчанье труб, обвиваемых как бы длительными и гибкими вздохами. Музыка доносилась отдаленно и таинственно, как бы сквозь сотню закрытых дверей, но еще явственней, чем в ту свирепую ночь, раскрывалась в ней Катеринкина тайна. Он суеверно отдернул руку и дико покосился по углам: никто не следил за ним... и опять, весь красный и в поту, он подслушивал пугающий и влекущий Серегин мир. Музыка переменилась,— нечеловеческий голос, вкрадчивый и покорительный, пытал Чадаева его детьми, которых, как ни молил он, так и не дала ему судьба; его конями, давней и неутоленной страстью Чадаева, одна мысль

о которых холодила лицо; всем самым дорогим для человека на земле. Качая головой, точно чурался колдовской близости счастья, он ринулся из избы и на крыльце столкнулся с докторицей, за которой в обед съездил Серегин брат.

Катеринку поздно вечером привели бабы и оставили у крыльца. Чадаев видел с печки, как она, постояв с раскинутыми от горя руками, пластом повалилась на лавку. Черный от любви и униженья, Чадаев спустился к ней и присел рядом. Катеринка в каменящем страхе глядела на обезображенное страстью лицо мужа, готовая к любому истязанью. Тогда, едва смея дышать, он наклонился к ней и обнял ее плечи.

— Сучка ты, бедная моя... — шепнул он, люто страдая от недостатка иных, нужных слов.

Она медленно сдвигалась в угол, но едва коснулась ее виска рыжая проволока мужней бороды, она метнулась в сторону и закричала, как от ожога. Застигнутый врасплох Катеринкиным воплем, Чадаев озадаченно топтался посреди избы, а жар вторично не истраченного прощенья чадно дымился в нем. Потом он шатко потащился к своей печке. Не топленная накануне, она была холодна, а холод сообщал его забытью отрывистые и дикие виденья. Кроме прочего, ужасного, как казнь, снилась ему и молдаванка; она призывающе протягивала руки к уходящему Чадаеву, и самые руки ее издавали манящий и ранящий звук. К рассвету стало сыро, в окнах падал скверный снежок, Катеринки не было в избе. Чадаев посидел на лавке, слушая, как охает что-то в подполье, потом вышел в сад, но там было еще неприютней, он воротился в дом. Тут-то и пришел к нему председатель Сорокин с повесткой о взыскании недоимки.

Маленький и по пронырливости с хорьком схожий мужик этот никогда не приходился по душе Чадаеву; он все спешил куда-то и задыхался, даже жил со злостью, точно исполнял досадную повинность. Положив повестку на стол перед Чадаевым, он приказал расписаться.

— Печатный знак могу прочесть, а писать не надоумлен, — просто сказал Чадаев.

— Крест поставь что читал, а завтра и опишем... — скрипуче ответил Сорокин.

Они встретились глазами, и оба отвернулись, точно ловили друг друга на лжи.

— Беда меня посетила, Сорокин,— глухо сознался хозяин, глядя в нелепую сургучную печать на поле председателева полушубка, доставшегося ему, видимо, по описи. — Серега-то ведь на постель ко мне ходил!..

— Ну, и что ж в том особенного? — холодно ответствовал тот, даже и малой лжинкой не украшая этой жгучей житейской мелочи.

— Так ведь Катеринка жена мне... одиннадцать лет вот где ее таскал!— вскричал Чадаев, ударяя себя почему-то по шее; борода его при этом затлела и шарахнулась, как кусток в пожаре.

— Что ж особенного? — еще невозмутимей возразил тот и расправлял замятые уголки повестки.

— Любил ее... — скупо выцедил Чадаев, пробуя всяко сердце казенного человека.

Тут Сорокин поднялся.

— Какая ж твоя беда!.. Счастье тебе привалило. Помер Серега-то, нонче утром помер. Теперь владей, Фаддей, своей Маланьей... — сказал он с лицом злым и скучным и, отвернувшись, барабанил пальцами в подоконник.

Чадаев сидел, низко склонясь к повестке; бумага слабо шевелилась от его дыхания. На мгновенье, когда узнал весть о Сереге, оглушительное ликование вспыхнуло в нем, но потом представилось все дальнейшее, прежде всего — обезумевшая от горя Катеринка, и это поубавило его вражды и ревности к обоим. Повестка росла в его рассеянном воображении, делалась в стол и больше, вставала на дыбы, наваливалась, душила... Повинуясь странному влеченью, Чадаев вдруг скомкал бумагу и, положив себе в рот, неспешно и на глазах у побледневшего председателя жевал эту тошную и насильственную пищу. Затем, проглотив, он опустелым глазом смотрел на Сорокина, который отражался там очень маленьким.

— Ответишь!.. — в смущении и не сразу нашелся тот, а застегивался и надевал картуз как-то очень долго, точно давал время обидчику на раскаянье.

— Вострый ты... а коса об камень тупится,— возразил ему Чадаев вдогонку.

По его уходе Чадаев достал суму и стал собираться в дорогу; при этом он разбил блюдце, но, хоть и не торопился никуда, не подбирал осколков. Одевшись, он вышел через двор. Ничто более не удерживало его в этой могиле обманутых чаяний. Сквозь пасмурное уныние сквозило солнечное тепло,

но Чадаеву и без того не было холодно от гнева, который уносил в себе. У ворот сада он остановился и свистом позвал собак, сидевших у колодца. Они завиляли хвостами, заюлили, страдая от собачьего конфуза, и остались сидеть. Он крикнул их по именам, в смятенье хлопая себя по колену, но одна повернулась к нему задом, а другая сделала вид, будто разглядывает жучка, который полз по срубу в полном очумении от снега. Чадаев ушел навсегда.

Сперва он отправился к вдовой сестре в недальнюю волость и просил приютить его хотя бы как батрака. Сестра, тоже рыжая, как все Чадаевы, рыжая и осатаневшая от нищеты, накинулась на него с бранью, а накричавшись, дала брату щей и отвела место на полатях по соседству с целым выводком тощих детей. Здесь он провел первый свой бездомный месяц, пахал землю и славил своего мужицкого бога за освобождение от многих напрасных забот. Но однажды принесли повестку о вызове в суд, и тогда Чадаев скрылся от сестры в неизвестном направлении.

Дороги были ему пока не загорожены, и в Поросятниково он поспел к покосу. Усердный в новой должности, он всемерно оправдывал своим хозяевам скудное содержание. Но раз прибежал на пойму, где он косил со многими другими, секретаренок из волости с бумажкой на Чадаева. Время выпало страдное, а день погожий, и сопровождать преступника было некому. Потому и дали ему в конвоиры Аксюшу, девочку десяти годов, отвести злодея за пять верст на законную расправу. И тут Чадаев засмеялся впервые в жизни, беря девочку за руку и отправляясь в дорогу.

Они вышли еще по росе, а близко полдня взбухло кудрявое облачко в зените, зарокотала возмущенная синева, и все растущее вытянулось в невыразимой тоске. Чадаев с Аксюшей едва успели укрыться под елью в перелеске, когда ливень ринулся со свистом на иссушенный прах полей. Девочка боялась грозы; она жалась к дереву и дрожала, не выпуская, однако, чадаевской руки. Тогда, прикрывая Аксюшу от мелкой водяной пыли, он стал рассказывать ей все то, чем когда-то мать веселила его собственное скудное детство. Там действовали черти, глупые и волосатые бедокуры, колдуны и одноглазые прозорливцы, а среди прочих призраков, уходящих и наивных, сам Илья, тот самый, который грозы содержит, как соколов на руке. Ни с кем еще не говорил Чадаев таким языком; голос его сплетался с треском леса, а смысл рассказа пол-

ностью совпадал с тем, о чем громово и огненно повествовала гроза, и настороженней, чем страшной перекличке туч, внимала Аксюша дикой сказке Чадаева.

Тут широким зеленым крылом солнце омахнуло поля, задев и босые Аксюшины ноги. Ливень перестал; капли, повисшие на ветвях и в воздухе, исполнились сверканья; у самых ног, в траве, не страшась быть раздавленным, затрещал кузнечик... и только где-то вдали, под радугой еще урчала темная, несытая утроба.

— Врешь поди? — лукаво покосилась девочка и, памятуя шутливые наставления старших, деловито потащила Чадаева на дорогу. Ни словом до самой волости не обменялся он больше со своим неподкупным поводыренком, точно и не сроднила их недавняя опасность грозы.

Из волостного узилища он сбежал лишь под утро, чтоб через неделю поступить в лесные сторожа.

Местности южнее шли безлесные, потому на каждое дерево в чадаевском обходе было по лесному вору. Воры были люты в своей борьбе за воровское право. Чадаевскому предшественнику, поймав, вставили воры жердь в рукава и пустили на волю, чтоб гулял всю жизнь и мерил охраняемый лес. А лес был красный, нечистый, сдавна ославленный молвой, будто камни в нем по осени поют, а елки с места на место переходят... и если не имелось в нем лесовика, по заслугам вступил Чадаев в пустующую должность. Самым бессмысленным существованием своим уже устрашал Чадаев. Быть бы ворам без работы, ворятам без еды, но под вечер однажды, когда сидел он босой у канавки да смотрел, как пляшут в красной лесной воде комариные головастики, распахнулся куст и вышел оттуда милиционер в полной форме и с бумагой на чадаевскую волю. Чадаев засмеялся, пошел в сторожку обуться, а когда, не дождавшись, отправился за ним милиционер, никого там не нашел, кроме сычонка, накануне из жалости подобранного Чадаевым в лесу. Сидел сычонок на столе и моргал на казенного человека, который даже отшатнулся от такой обиды. Чадаев растаял посреди лесных темнин.

Эта первая его бродяжная ночь, проведенная на дровяной заготовке, в поленнице, благоухала. Его разбудил жучок, залезший в просторный чадаевский нос. В воздухе сновала птичура, и какой-то красноголовый носач, устав дубасить дерево, раздумчиво поглядывал за поведением пришельца. Ча-

даев вспомнил вчерашнее и рассмеялся на людей, которые все еще не устали записывать его преступления. А грех с грехом в дружбе живут: к делу о недоимке и самовольном съедении повестки присоединилась неявка в суд, потом объявилось самоукрывательство, а когда сюда же присовокупился и побег, стало ясно, что сам себя навсегда отлучил он от мира. Так родился бродяга.

Он уже не прикреплялся ни к чему, а существовал в постоянном движении. Он все ходил, а мир все писал. И никто не интересовался им самим, но его грехами. Порой, наскучив лодырным одиночеством, он брался за дело; лето ходил в пастухах, зиму почтальонил в уезде, весной попал на сплав, а осенью я встретил его на реке, куда забрел в поисках одной удивительной травы, воспоминания детства, названья которой я не узнал никогда. Возможно, что меня приманил и странный квокающий звук. Спустившись с бугра, я увидел Чадаева; в занятиях его мне почудилось колдовское. Лежа на плоту и приподняв в одной руке полено, а в другой деревянный, странной формы ковш, он изредка ударял им по воде. Полчаса спустя, когда окончились взаимные обнюхивания и он удостоверился, что я не собираюсь свершить над ним закон, он объяснил мне, смеясь и потроша усатую добычу, что так он ловит сомов. При тихой погоде квок его слышен издалека; любопытствуя узнать, что за звук, сом подходит ближе, за что и бывает наказуем положением во щи.

Мы посидели у костерка. На высоком речном скате, укрытом черемуховой порослью и осинничком, оранжево и печально дотлевало лето. Дымок щекотал глаза, и что-то понуждало меня усерднее подсовывать в огонь обгоревшие и отвалившиеся ветки. Ни словом в скупой беседе не проговорился Чадаев о своей молдаванке, но мне почудилось, что он все время думает о ней, что он однажды войдет, пустой и кроткий, во двор ее, а муж ее будет палить свинью. Он постоит недолго, привлекая на себя остренькое вниманьице хозяина, потом уйдет навсегда. Домыслов моих, однако, ничем не подтвердил Чадаев.

— ...через годик совсем чертом стану, а черту что! — густо сказал бродяга, и мне померещилось, что это он и есть — рогатый, оживший предрассудок. — А черту что, говорю! Сквозь него даже можно пройти, а он смеется...

Варево поспело, но ложка была одна. Я пошел по дороге, так и не найдя моей травы. День меркнул, деревья стали плоски, дороги лиловы, поля влажны. Мне все казалось, что непременно встречу верхового, который проскачет мимо меня, держа высоко над головой бумагу на Чадаева, с предписанием зашить в рогожу и доставить на обследование в уезд. В ту минуту я почти верил в мужицкую легенду о медведе, который на глазах очевидца вышел на опушку и, поклонясь деревне, близ которой прожил жизнь, ушел в глубь леса, чтоб не возвращаться никогда.

1928

МЕСТЬ

Высокий, надежный забор окружал огород, на котором трудились ребята. Их труд был напрасен,— прелые клубни лопались на руке, испуская сок, грязный, как ветреное небо того дня. Утром опять шел дождь, и проникнутая осенними запахами земля грузными ломтями ложилась на лопату. Весь в грязи и в поту, Никитка со злым усердием выбирал с грядок уцелевшую картошку, когда Корявый, ткнув в плечо, приказал чесать спину. Он ждал с сердитым достоинством, ему уже надоело ждать. Никитка не двигался, и Корявый внушительно оглянулся на него через плечо.

— Чеши же, муха... свербит очень! — тоскливо прибавил он.

Закусив губу, Никитка продолжал упорствовать, и вся колония исподлобно взирала на это неравное единоборство. Никитка безмолвствовал, но за все одиннадцать лет скандального своего существования на земле так не волновался Никитка — даже в тот раз, когда вернулся отец из проруби, в которую нырял за упущенным ломом. Войдя, он бросил обмерзший лом на пол и опустошенно молчал,— но его смятенно раскинутых рук и грохота падающего лома никогда не смел забыть Никитка. Он оставался спокоен, когда впоследствии беспризорная шпана вбивала в него свою поганую мудрость; он лишь усмехался, обучаясь презрению. Минуя сладостные дни детства, он так и вступил в жизнь молчаливым старичком, бесчувственным к своим лишениям. Он улыбался на людей и великодушно прощал им их нищенскую ласку, под которой они прятали какой-то сокровенный страх перед ним. Примирить его с людьми могла только катастрофа, способная исторгнуть жалость из Никитки,— сожжение мира или потоп, и он ждал этого момента с холодком созерцания. Теперь же волнение внушал ему

сам этот кислый осенний денек, пропитанный странной предвестной напряженностью.

Корявый зловеще усмехнулся, готовый совершить лютое правосудие сильнейшего. Примирясь с мыслью быть когда-нибудь расстрелянным, он уже не ждал пощады от людей и не страшился ничего. Он имел длинные неспокойные руки и лицо, рыхлое, как ляжка, с нарисованными на нем глазами. И потому, что непослушанием своим Никитка поднимал явный бунт против него, повелителя и коновода, Корявый лениво ударил его в грудь, заряжая себя злостью. Никитка шатнулся и, подставив спину Корявому, стеклянными глазами уставился в угол забора, где, прикрытая репьем и щебнем, зияла дыра в мир. Никогда прежде он не примечал ее, и теперь рассеянно ждал удара, второго и самого сокрушительного, за которым сразу наступит бессилие Корявого: тот имел больное сердце, и оттого драчливый задор его никогда не бывал длителен. Корявый медлил, и Никитка досадливо обернулся; тут лишь понял он причину промедленья.

В колонии появился новый гость. Это был серый котенок, смешное и тощее существо, забредшее сюда во утоление ребячьей любознательности. Больше того: это был тропкинский котенок, а Тропкин был сторож при колонии. Тропкин выловил его из пруда и пригласил разделить нелюдимое свое одиночество.

— Он и есть жисть моя,— значительно сказал он учителю Шарадаму, наблюдавшему внедрение мокрого сего зверя в тропкинский обиход. — Покеда живет, и я поживу. А то древен я. Нет у меня старушки, негде руки погреть...

Тропкина не любили в колонии. Тропкин был законник и даже бога своего подчинял закону, писаному и земному; иметь бога строжайше воспрещалось в колонии, и потому Тропкин содержал своего бога за занавеской, которую отдергивал по надобности. Бог его был угрюмый бог,— по должности своей он правил миром, состоявшим из одних нарушителей закона. И бог и раб его были одинаково скоры на руку и скупы на язык, а котенок не знал, по-видимому, что он — тропкинский. Видный отовсюду, он открыто переходил двор, бережно ставя лапки и блюдя чистоту. Ему очень хотелось казаться страшным, почему и было в его щуплом тельце нечто, позывавшее на улыбку.

— Путешествует по водам... — воодушевленно сказал Харламчик, и тотчас все дружно посмеялись его мелкой глупо-

сти. — Тропкин подсматривать за нами подпустил! — уже со злым умыслом открыл он, но смех его заглох в одиночестве.

Точно учуяв недобрый смысл всеобщего внимания, котенок перебежал к ногам Корявого и там обреченно урчал, ласкаясь и льстя сапогу человека. Десятки рук тянулись к нему отовсюду погладить и подбодрить к дальнейшим прогулкам в мир, а котенок пугливо озирался на обступившие его ноги.

— Ликвидировать... — важно сказал Корявый, и это слово прозвучало как заклинание в его землистых устах. Он щурким взором окинул ребят, приводя всех к повиновению, и сразу двор стал велик, как мир, и ни ямки на нем, чтоб спрятаться. — Расступись! — сипло крикнул он и, отведя ногу, с величием первенства ударил котенка.

Вряд ли кто думал о мести Тропкину, но, обезумевшие от жажды угодить Корявому, ребята усердно играли котенком в футбол. И хотя ни один не испытывал удовлетворения от этой забавы, всякий щеголял безрассудной жестокостью. Игра велась в полном молчании, и каждый раз, свершив смертный полет, котенок еще находил силы на писк и попытку к побегу. Потом он уже не касался земли, а лишь порхал, мутно и красно, все нескладней и косолапей. Вдруг, точно по сговору, гонимые отвращением к совершенному, ребята разбежались по сторонам. Бушевал ветер, нес брызги и шумные листья, пронизывал насквозь. Тогда в томительном затишье преступленья Никитка сдвинулся с места. Он шел стариковским шагом, храня в лице презрение и холод, а подойдя, склонился к котенку, полный, казалось, жалости и стыда за остальных; потом он изогнулся и со свистом неистовства поддал котенка ногой в сторону Корявого.

— Принимай паса! — вызывающе крикнул он, выставляя острое и злое плечо наперерез всему свету, если бы тот двинулся на него.

В его голосе прозвучал одновременно и упрек и угроза. Он устрашал; губы его сжались и стали жестки, как щель почтового ящика, а Корявый понял, что новым и молодым пора уступать власть и место. Едва ускользнув от жуткого Никиткина послания, он согнулся и заковылял в глубину двора. Руки его гнусно мотались по сторонам, а спина вихлялась, как битая, свидетельствуя об окончательном посрамлении. Никитка пристальными глазами проследил его уход, потом вытер запотевший лоб и усмехнулся низости поверженного. Тотчас трое кинулись тащить его корзину в дом, а остальные

нерешительными возгласами приветствовали победителя в этом скверном поединке.

Именно с этого часа началось возвышение Никитки. Его молчаливость сочли за несуесловное сознание могущества; его давно осмеянная тихость стала представляться грозовой, готовой изрыгнуть смрад и молнии на голову соперника. В обед он сожрал лучший кусок мяса, в чай он положил шесть кусков сахару и терпеливо пил его, задыхаясь от сладости и власти, а вечером Харламчик притащил ему три папиросы в поисках высокого Никиткина расположения. Никитка не курил, к великому огорчению подхалима и ростовщика.

В эту ночь ему снился отец. Синий и мокрый, он стоял посреди невнятного пространства и пронзительно глядел в сына; ледяные вихры торчали из-под расклокоченной шапки. Никитка заметался и, приподнявшись на локтях, вгляделся в окно. Там стояло дерево, но Никитка увидел только ночь. Она неизъяснимо звенела в Никиткиных ушах. Кроме того, бредил сквозь сон Корявый и сопел Харламчик; за стеной дрыхнул на семейной кровати и в объятьях скучной Мыги учитель Шарадам; где-то у ворот спал, наверно, лютый Тропкин, держа в руках палку, которая тоже спала. Погрузясь в сон, колония не ведала про необыкновенность ночи. Дрожа, ступая по ледяному полу, Никитка перебежал к окну.

От окна дуло сыростью. Жидкой плотности туман наполнял двор. Странными призраками населяло его ночное Никиткино воображение. Они двигались и жили, а длинные, как на ходулях, тела их глянцевито поблескивали в измороси. Вдруг они униженно побежали в глубь мрака. Никитка беззвучно засмеялся и еще жадней приник к стеклу. Тут стремительная струя света пересекла небо и, раздвоясь в зените, опрокинулась вновь, ища кого-то в осенней мгле, искала и не находила, и всегда, когда она обессиленно падала на Никитку, обнаруживался зубчатый, как пила, забор, которым мир защищался от беспризорной колонии.

Где-то невдалеке стояла красноармейская часть, и несколько раз в неделю непогодное небо обшаривали световые пятна, направленные из прожектора чьей-то властной рукой. Никитка не помнил, откуда,— дыра в заборе, виденная утром, звала его в мир, обещая чудеса, сокрытые по ту сторону забора. Дрожа, как в ознобе, Никитка торопливо одевался, привлекаемый струйчатым светом в окне. Крадучись по стене, он вышел на крыльцо дома. Листва одинокого дерева звучала дробным со-

ломенным шорохом. Никитка высунул руку из-под навеса: шел мелкий дождь. Над головой все метался, то слабея, то усиливаясь, мутный столб света; облака пожирали всю его световую силу, но не иссякал свет и не утолялась мгла. Ступая осторожно, как зафутболенный утром котенок, Никитка спустился во двор.

Он был без шапки и не замечал; памятуя лишь о неусыпной бдительности Тропкина, он не замечал ни сырости, ни ужасной беззащитности своей. Во мраке он споткнулся о кирпич и с падающим сердцем схватился за водосток; железо хрустнуло, но звук был сухой, сонный. В воздухе прохладно пахло мокрым лесом. Освоясь с обстоятельствами ночи, Никитка прислушался, но Тропкин спал крепко. Тропкин и его глупая палка думали, что все в мире обстоит благополучно. Всегда такое зоркое окно его сторожки сонно вглядывалось во мрак; оно дразнило и приманивало. Тогда, повинуясь необоримому позыву к озорству, мальчик быстро пересек двор и почти с отчаянием геройства заглянул в окно.

На стене, вися наклонно к полу, горела лампа. Тропкин сидел на лавке, спиной к окну, положив голову прямо на стол. Руки его, жилистые, ожесточенные трудом, валялись тут же, вблизи медного чайника. Он спал. Сон застал его врасплох, и вся поза его поражала своей неустойчивостью. На скудной известковой стене висела пила, а в углу, скрытый занавеской, дремал унылый тропкинский бог. И тут же, приставленную к столу, Никитка разглядел знаменитую палку сторожа Тропкина. Она была белая, хитрая, костыль старца и поучение непослушной юности. Точно подтолкнутый, Никитка слабо потянул дверь на себя и вошел в сторожку. Дверь спала, как и все в колонии, если смел уснуть сам Тропкин; спросонья она взвизгнула в петлях и снова уснула. Закрыв глаза, Никитка протянул руку вперед; Тропкин спал, и сон был ему дороже палки. Всем телом ощущая присутствие спящего чудовища, Никитка взял палку и робко удивился: она не обожгла, не закричала, она была легка, как из ольхи, смешная, обманная, нестоящая палка. Потом, с плененной палкой в руках, он ошалело носился по ночному двору, страдая от незнания кары, которую она заслуживала. Он яростно сломал ее о колено и олохмаченные концы закинул в обе стороны мрака, по которому еще рыскал тускнеющий прожекторный свет. Колени его подкашивались от сознания могущества и жажды все новых и новых свершений.

Снова через окно удостоверясь в тропкинском бездействии, он уже по-хозяйски вошел в сторожку. Ничто не изменилось в ней, только опустелое место возле стола, где стояла палка, ошеломляюще зияло в его сознании. Все было позволено в ту необычайную ночь, и Никитка беспрепятственно творил свою наивную расправу. Еле справляясь с удушьем хохота, он плюнул в недопитую кружку и размешал лучинкой. Он остановил часы и согнул маятник, утеряв надежду вырвать его бесшумно из колесатого чрева. Уже неробко, грохая казенными сапожищами, он бегал по сторожке, скверня ее всяко, пакостя тропкинское место, сон его и закон его. Тут звук, более страшный, чем при падении отцовского лома, взгремев над головой, обрушился на Никитку. С безумным сердцем и смертельно сомкнув глаза, он присел к полу и ждал развязки, но все длилась эта нестерпимая тишина. Он уже уверовал в месть тропкинского бога, но, пошарив рукой за спиной, с облегчением понял, что со стены упала пила. А Тропкин все спал; он спал так крепко, что и разрушение мира не пробудило бы его.

— Тропкин, эй... дяденька! — тоненьким голоском и весь в испарине страха закричал Никитка. — Тропкин, проснись... — по-ребячьи стонал он, топая ногами, но безмолвствовал Тропкин, и руки его остались недвижны, точно устали карать нарушителей закона. Тогда Никитка ветром вырвался из сторожки, оставляя позади себя грохот и вой проснувшихся вещей.

Уже не соблазняла ночь на дерзость, и прожектор не нарушал плесневого ее покоя. Никитка проскочил двор и, ворвавшись в общежитие, плечом припирал дверь, как будто мертвый Тропкин мог настигнуть его и отплатить за поруганье. Во мраке у окна, где стояла Харламчикова койка, скрыто тлел уголек папироски; это успокоило его. Шаря руками мрак, он пробрался туда и сел на край кровати.

— Дай курнуть,— тихо сказал он. Потом, взяв окурок из дрожащей руки Харламчика, долго и неутоленно втягивал в себя непривычный дым. — А я вот на прожектор ходил смотреть. Ишь играет! — Он кивнул на окно, но там было пусто. — Ты чего же не спишь-то?.. Ты спи.

— Мне тут сон снился... ангелы,— смутно начал Харламчик. Он никому не доверял своих мечтаний, скрывая их с той же тщательностью, как и ненавистное людям дворянское имя своего отца, и только это явно ощутимое смятение Никитки принуждало его на откровенность. — И один все на скрипке играл... — прибавил он еле слышно.

Никитка не понял его порыва; ему показалось, что Харламчик нарочно выдает на посмеяние свою убогую тайну, чтоб хоть этим добиться его, Никиткиной, приязни.

— Они не играют на скрипках,— гадливо сказал он и, выплюнув папироску, стал снимать сапоги. — Знаешь... Тропкин умер. — Харламчик оглушенно молчал. — Умер! Я в окно видал... — раздельно проговорил Никитка, и вдруг ему стало холодно и тоскливо с Харламчиком. Он был чужой, и мечтания его были чужды и непонятны. Он поднялся и с силой оттолкнул Харламчика в лицо. Тот покорно откинулся назад, не выказав ни удивления, ни ропота.

Держа сапоги в растопыренных руках, Никитка пошел к своей кровати. Он заснул сразу, и ему не снилось ничего, кроме звука. Будто все заострялось вокруг него, и где-то здесь, на острие, происходило рождение звука. Звук мучил; он был тоненький и очень гибкий. Никитка проснулся с головной болью. За ночь выпал снег; к вечеру его расточило дождем, но Тропкина увезли еще до обеда. Вся колония хмуро наблюдала у окон, как грузили на подводу вчерашнее чудовище, не годное уже ни к какому сопротивлению. Имущество на телегу не клали, потому что, кроме палки и котенка, не было у Тропкина ничего.

Телега уехала, а долговязый Шарадам все еще суетился около сторожки. Никитка строгими глазами созерцал жирный след, продавленный колесом на снегу. Лицо его остарело; оно стало серо, как у матери, когда уже умирала мать. Он с недоумением внимал внутренней своей суматохе, в которой копошился зародыш настоящего человека. Он испытывал пустоту и стыд, и, кроме того, ему просто жалко было Тропкина. Но он поборол в себе ребяческие всхлипы и ничем не выдал себя колонии, которая с трепетом взирала на него как на сообщника непонятной тропкинской тайны.

Дерево у окна казалось на снегу совсем черным. На нем сидела ворона, качаемая ветром.

1928

ПОВЕСТИ

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

I

Городишечка наш захудалый, и жители все дураки. Не сады и рощи, как сказано в географиях, а неизъяснимая пустыня простирается на нашем месте. Молча мы рождаемся и умираем в ней, воистину подобные тем колючим уродам, которые населяют заправдашние пустыни. Только желание оправдаться перед людьми толкает меня на это повествование. Дом мой пуст, как карман гуляки, который взял у меня мою девочку; в окошке моем снег. Я уже теперь ничего не боюсь — ни бога, ни милицейского, ни гнева умов передовых, ни иронического смешка Василья Прокопьича, перед которым я еще недавно благоговел до самозабвения и почти до ненависти.

Исключением из помянутого правила был только он один, Василий Прокопьич Пустыннов, да и тот не нашего сада лист, а занесло его к нам с иного дерева и ветром иной судьбы. Шло Катюше двенадцатое лето, как перестали мы ходить за водой к Неплюевым, а пошли к Пустынновым: колодезь у нас один на всю Советскую улицу. Неуютный, с комодом схожий домок неплюевский откупили Пустынновы в собственность, своелично подновили его, а позади дома развели пасеку и удивительный огород. Старик Пустыннов уделял этому увлечению всю свою старость, и природа щедро вознаградила его за это. Щеки его были румяны, а взор жив и резв, голос звучен, а мысль быстра и иронична. Оба его сына, Андрей и Яков, победно несли в мир незапятнанное пустынновское имя, когда ладную эту семью постигли чрезвычайные бедствия.

Он мудро любил жизнь, этот полнокровный и счастливый человек, радуясь всякому ее проявлению. Беспорочно пройдя сквозь строй своих шестидесяти лет, он имел право на любовь

своих детей и уважение вощанцев. Причин благоговению нашему перед ним было столько же, сколько было и достоинств в нем; только поистине недалекий человек мог бы обладать столькими качествами. Причина была не в том, что человек этот в годы первой революции совместно с некоим Петром Годлевским застрелил нашего губернатора; и не в том была она, что, следуя порыву сердца, Василий Прокопьич удочерил Лизу Годлевскую после того, как повесили ее отца. Будучи ему братским другом в жизни, Василий Прокопьич возжелал сохранить с ним прежние узы и по смерти уже через Лизу. Причина была проще,— в том, что Пустыннов был действительно благородным человеком. И если сочится кое-где у меня темная струйка намека — это нечистая моя зависть, хотя не кому иному в Вощанске, а именно мне, подарил он свою поэтическую, почти небесную дружбу.

Оправдание ли мне, что и сам я ношу в себе за это лютую муку? Когда великая дрянь обрушилась на бедного друга моего, я, наперекор разуму, выискивал в нем еще не отмеченные миром доблести, я свирепо боролся с самим собой за добрую славу его имени, я делал глупости, я терзался, я страдал... и все оттого, что возлюбил этого человеческого человека, которого искал всю жизнь... и наконец нашел, и, поклоняясь, воззавидовал, и, не насытясь восторгом моим, возненавидел. Зрячими глазами оглядываясь на безумие, опорочившее мою старость, я верю в него и при свете той скверны, которую накрепко запираю от людей в сердце моем.

Еще утром того злосчастного дня мы сидели с ним на тераске, за кваском, на который Анна Ефимовна великой слыла мастерицей. Тлели бересклеты в саду, и стрекотал, на удивленье мне, запоздалый кузнечик: ударяли заморозки по утрам. Осенний покой стоял над вощанской округой; я молчал, а Василий Прокопьич, держа бинокль у глаз, привычно оглядывал обширные наши горизонты. Стоял на горбу пустынновский домок.

— Гляди, Ахамазиков,— сказал мне этот нестареющий юноша, указывая в безветренную даль,— гляди, как совершенно все это. Люди тщетно ищут вместилищ красоты, а она разлита вокруг нас, смешана с воздухом, которым дышим.

Будучи иного склада в мыслях, я не разделял его восхищения перед сладчайшей скукой вощанской природы. Все же я взял бинокль с его колен и посмотрел в указанном направлении. Шла там туча, вещая конец бабьего лета, да поил свою

клячонку на реке мужик, знакомый мне до зевоты и первый жулик у себя, в Подгорной слободе. Я протер бинокль, но миросозерцание мое не изменилось.

— Картошку-то пора вам копать, я свою всю выбрал,— постарался я отвлечься в сторону.

— Вот Яков приедет, тогда уж с ним,— откликнулся Василий Прокопьич и снова предался размышлениям. — Гляди... Лошадь хочет пить, и каждое ребро в ней полно этой жажды. А хомутишко-то старый-престарый... А облако-то!.. которому так и хочется распасться над землей. Земля! — Сиплая старческая нежность прозвучала в его голосе. — Сколько она познала, сколькими топтана, а какая еще... девическая земля. Стар, седьмой десяток двинулся мне с Покрова, а ведь только вчера начал жить. И все мне дорого, Ахамазиков: дранчатая крыша у соседа, петух... пропел, трава мерзлая, пар от воды...

— Благословенна ваша старость, Василий Прокопьич,— почтительно сказал я, стыдясь его света. — Завидую и сам хочу такой же.

По затуманенным его глазам я понял, что следует его оставить одного. У калитки я оглянулся: он все покачивал головой от переполнявшего его чувства, тяжко расставив ноги; таким я запомнил его навсегда. А через несколько часов приехал, вернее — пришел, Яков; денег у Пустынновых хватало на жизнь в обрез. Всей семьей пили они в комнатах чай, когда я забежал к ним по мелочному поводу. Тугим баском рассказывал Яков о себе и своих успехах, а больше всего — о гидростанции, которую хотя бы в проектах собирался подарить своему народу. В мире он шел напролом, и все ему давалось легко и безбольно, ибо никакая затрата сил не страшила его перед лицом великой цели. Неущемленная младость делала привлекательным его курносое лицо, разброшенные скулы и бугристый лоб, упорный, как таран, которым бьют в ворота осажденного города; я подметил, как Лиза несколько раз обласкала его умным своим взором. Заинтересовавшись, я присел в уголку.

Старик Пустыннов был в расположении, по-видимому, продолжать утреннюю нашу беседу.

— Чудесен мир, Яков,— сказал он, вглядываясь в лицо сына.

— Кое-что перестроить в нем — невредная выйдет штука,— сдержанно улыбался сын. — Железной рукой прополоть надо это сорное поле.

Тогда улыбнулся и отец.

— Вам, молодежи, все бы это ископать, разворошить, распланировать, чтобы не заблудиться в этих дебрях красот и тайн. Это-то и славно, Яков. Идите, ройте, бейтесь... не бежите своего огня. Страдания не бойтесь... огонь не только светит, он и жжет.

— Страданье — недуг, его лечить надо. И вылечим,— снисходительно молвил Яков, и улыбку его как бы сдуло ветром, который незримо бился в него.

Василий Прокопыч казался смущенным.

— Я и сам молод был,— кричал: бей становых, дави стражников... от юного огня кричал, Яков. Но и старость мою славлю и возврата не хочу...

То было старческим отклонением от линии спора, и старик сам понял это. Все деликатно промолчали конфузную эту минуту, и тогда Яков, как бы мимоходом, передал печальное известие об Андрее. Он не скрывал ничего, гнев его был нещаден, хотя и справедлив; к породе мелких гадиков причислял он Андрея, которому надоело глотать архивную пыль, который отравился зловонной этой пылью... Никто не возразил в защиту позорного Андреева деяния; недоброго отчуждения исполнена была сумеречная та минута.

— Неделю назад прибежал в общежитие ко мне,— сухо рассказал Яков,— пьяный, охрипший, весь дрожит... — «Святого подлеца, кричит, раскрыл...» — и все махал какою-то бумажкой.

Он со злостью принялся разламывать яблоко, пахучий плод пустынновского сада.

— Может, и не пьяный? — робко спросила Анна Ефимовна, мать, и я не узнал звучного ее голоса.

Яков не ответил ей, ибо в это мгновенье Василий Прокопьич и выронил из рук свой стакан. Доселе не смею забыть ни злой тишины, объявшей вдруг пустынновское благополучие, ни случайного взгляда Василья Прокопьича, пойманного мною. Тоска о сыновней беде и моление о пощаде читались в нем. Мне стало жутко, но я не мог уйти: ноги мои отказывались служить мне. Вернее, я боялся хоть шорохом выдать воровское мое присутствие. Впрочем, я лгу: то было любопытство узнать сокровенную правду о людях, которых положил я примером своей жизни.

— Ничего, ничего, Василек... — твердила Анна Ефимовна, вместе с Лизой ползая на коленях у стола и собирая осколки. — Битая посуда к счастью!

— Стар, стар становится твой Василек,— подавленно шептал Василий Прокопьич. — Разум мыслей, а руки стакана удержать не могут... — И вдруг, придержав голову жены, значительно поцеловал ее в темя.

Не прощаясь, я бежал домой. Всем было ведомо, что в четыре приходит со службы Катюша, и на моей обязанности лежит приготовить ей еду. Но вот уже готов был обед, и лапша перекипела, а Катюша все не шла. Я составил кастрюлю с керосинки и, присев к окну, бездельно вглядывался в сумерки. Я увидел удивительные вещи: на пустынновском крыльце появился Василий Прокопьич, без картуза и в одной толстовской рубахе. Сойдя со ступенек, он двинулся безвестно куда. А лил чертов дождик, хлябь и зыбь пожирали утреннее благообразие, великое свинство начиналось в Вощанске. Потом появилась и Анна Ефимовна, с плачем призывавшая Василия Прокопьича вернуться, но тот не отвечал. Тут пришла, промокшая вся и грустная, милая моя Катюша, и, когда я снова подскочил к окну, непогодная темень шумела в стекла.

Присев на сундук, который служит мне кроватью, Катюша рассеянно смотрела на угол стола, где лежала краюха хлеба с воткнутым в нее ножом; вдруг она подняла бровь и усмехнулась. Я посмотрел туда же — кроме помянутого, не увидел ничего... Всякому дочь его красавица, но даже и этой простительной ложью не оскорблю я памяти ее. Хорош в ее лице был только рот, беспомощный и до слез мне милый, рот матери ее, да еще брови. Чуть подкинутые с краев, они как бы крикнуть хотели миру что-то, чего не умел выразить словами незрелый ум. Проклятому гуляке и захотелось прочесть тайну Катюшиных бровей, и он, прочтя, ужель не посмеялся над детским смыслом прочитанного? В характере Катюшином пугали странности, а служила она машинисткой в милиции: ни разу не поведала она мне своих мечтаний, хотя я и был ей самым близким; подруг у нее не было, никто никогда не искушал ее любовным признанием, она жила одна. Четыре года назад, в день совершеннолетия, подарил я ей бутылочку духов, дешевых и со смешным названием — «Веспа»; так и стояла бутылочка нераспечатанной. Горюя от сознания девического ее одиночества, я пробовал самолично приглашать к себе молодых людей из союза совторгслужащих, даже выпивал с ними и слушал прыщавые их анекдоты, даже посмеивался им. Долгое время Катюша терпела мои попытки развлечь ее мо-

лодость, пока не посетила меня глупая затея свести ее хотя с Раздеришиным. Тогда ласково, но наотрез она запретила мне мои старания вовсе, и я окончательно примирился с мыслью, что так и минует она вековушкой жизненные свои сроки.

Разогревая ей обед, я поделился с ней скудным знанием моим об Андрее. Она выслушала меня с холодком, не прерывая ни вопросом, ни восклицанием, пока я не повторил Андреевой оценки, сделанной его братом, Яковом Васильевичем. Тут она резко попросила меня прекратить мою болтовню, и в голосе ее прорвалась повелительность внезапно осознавшей себя женщины. Я растерялся: Катюша отходила от меня без сожаления и, может быть, со скрытой радостью. Я с горечью видел, что терял прямую цель своего существования, но потеря эта была предвестьем еще большей утраты. Отвернувшись к окну, я ждал, что Катюша обнимет меня, но она сидела недвижна и далека от мысли об отце. Из оконного стекла глядел в меня пухлый, скучный человек — я сам, но я знал, что это заглядывает ко мне будущее мое одиночество.

— Я не хочу есть. Туши свою керосинку, она воняет,— бросила мне сзади Катюша, и я порадовался за нее, потому что, когда младость теряет свою жестоковатинку, она стареет. Все же мне стало очень больно, что вот уже никому в целом свете не нужна убогая моя котлетка.

Я вышел в сени запереть на ночь дверь; свежий воздух и кусок звездного неба выманили меня наружу. То был обман: туча еще стояла в небе, и только из глубокого провала глядели в меня четыре холодных звезды: одна из них была моя. Ни лай вощанской собачни, ни обычная песня пьяных не бередили тишины, и необыкновенность эта настораживала. Еще не знал я, какой вал и когда нахлынет на меня, но я знал точно, что он идет, неизбежный и последний, как вспышка фитиля, когда он тонет в жидком стеарине. Самый страх этот был мне сладостен. Я прислушался, но ничто в Вощанске не разубеждало меня. В комнату я вернулся трезвым и великодушным: мысль о звездах умеряет страдание и глушит боль. Присев к Катюше, я попытался обнять ее, она посмотрела с изумлением, руки мои, устыдясь неискренности, сами упали вниз.

С тревожной радостью удостоверялся я, что сильный желанный человек вошел в Катюшину судьбу; черная тень его возлегла отныне на ее лице. Выпрямясь, я внимал вещим го-

лосам моих предчувствий. Билась муха в потолок, и трещало пламя в керосине. Именно эта минута и была вступительной к вощанской суматохе, в которой погибло столько душевных порывов и репутаций.

II

Служа в губернии в должности столь же ответственной, сколь и ненужной, Андрей Васильевич Пустыннов работал над документами губернского охранного отделения, готовя обстоятельное исследование этого института самодержавия. Уже готова была к печати книга, как вдруг, за месяц до ее окончания, вернувшись ночью навеселе, чего прежде никогда с ним не бывало, он сжег в печке весь свой труд, на который затратил полтора года. Скука в тот год стояла столь умопомрачительная, что обывательские круги даже желали войны с Англией. Этим объясняется быстрота, с которой распространились коварные слухи, будто, копаясь в архивном мусоре, Андрей Васильевич отыскал документ, который, ежели его опубликовать, вызовет в губернии скандал самый невероятный. Тому верили и не верили, но ни от кого не было секретом, что некое *лицо* свыше в уединенной беседе требовало у молодого Пустыннова пресловутый документ. Андрей Васильевич сдал тогда *лицу* весь свой материал, но никаких важных бумаг, равно как и дома, при одновременном обыске, там не оказалось. Печально покачав головой, *лицо* отпустило Андрея Васильевича на волю, не учинив ему никакого утеснения из внимания к заслугам его отца, нашего Василья Прокопьича.

Вслед за тем Андрей Васильевич запил и в пагубном занятье своем достиг известного совершенства, но я оставляю на совести самого Якова Васильевича сообщение, будто в общежитие к нему Андрей притащился уже на четвереньках. Во всяком случае, злодеяние уже произошло, и волну слухов остановить стало нечем. Стало известно, что Андрей Васильевич кутит не один, а с ним компания каких-то стрекулистов, среди которых затесалась и женщина. Впоследствии я узнал, что зовут ее Налькой, что она открыто живет с Андреем и на его деньги. Тут-то и уместно помянуть, что свихнувшийся пустынновский первенец гулял не на свои, а на те казенные средства, которые имел по службе в своем распоряжении. Гульбу свою, пока не раскрылась трехтысячная растрата, он производил на виду у всех и с показным дебоширством.

Спокойная пора миновала, и некоторая часть губернии заполыхала лютым человеческим пожаром. Шепотком передавали, что, заявившись однажды на местный завод в сопровождении всей своей оравы на выборы, он ударил по лицу заместителя директора, некоего Суковкина, после чего удалился, извинившись перед рабочими за нарушенный порядок дня. Все ждали, что тут и произойдет посрамление молодого человека, ибо Суковкин, безустанно и во всяком месте твердивший о разных высоких и неприятных обывательскому сердцу материях, не мог пропустить безнаказанно публичного своего ущемления. Однако произошло в высшей степени обратное. Суковкин вдруг пропал, испарился, как яйцо в руке фокусника, сгинул с поспешностью, непристойной для заметного человека, даже не сдав дел по заводу. Предполагали, что и тут замешаны липкие казенные денежки, но отчетность при проверке оказалась в порядке, а в кассе даже на четыре копейки больше, чем следовало. Слухи продолжали плодиться, начиналось стихийное брожение умов, и среди нахалов, смевших выражать вслух всякие вольнодумные догадки, нашелся один, который объяснял всеобщий ералаш роковым недугом солнца. Тут новая упала на наши головы новость: Суковкин приехал к нам, в Вощанск, и поселился у Василья Прокопьича, положительно сев ему на шею. Это был невеселый, плотный и с приподнятой бровью человек, украшенный вдобавок усами, толстыми, в толщину руки.

До головокружения раздумывал я над этой загадкой, очевидная нелепость становилась повседневным явлением. Вот уже полнедели жил Суковкин у Пустынновых, давясь слюною от безделья, шутил шутками, стыдными и для пропойного огородника, заставлял Анну Ефимовну бегать ему за квасом и, единственный из всех, смел задевать Якова, не боясь получить за это в филейную, как говорится, часть. К этому времени в Вощанск прибыл и Андрей Васильевич и поселился у маляра на Чудиловом обрыве. Маляр этот, Николай Егорыч, уже в земном, прозаическом качестве друг мой, передавал, что стрекулисты проводили время в беспробудном пьянстве и пении песен, свирепо оглашавших это самое пустынное в Вощанске место. Поздним вечером, сидя однажды якобы в пивной, в тоске и хмеле, созвал Андрей Васильевич к себе за стол разных темных людей, сидевших по углам в безглагольном оцепенении, и тут сразу оказалось, что все они, как и он, растратчики, все уже пропили и теперь с безразличием ждут любого конца.

С тех пор они блудили вместе с Андреем, ибо всех их одинаковая ждала впереди судьба. В Вощанске к их ораве присоединился сам Полуект Раздеришин. Молодой купец нашего времени, обнищалый последыш знаменитого и зубатого рода, лопоухий сын покойного Ивана Парамоныча, мецената и скандалиста,— он тоже имел склонность к несбыточным мечтаниям, которые разоряли его и вгоняли в запой.

— Правильный человек,— сказал мне маляр про Андрея,— а вот бабешка у него сущий дьявол.

Видимо, эта женщина и обольстила Андрея тайным сокровищем, которое такие женщины несут в себе сквозь мир. Видимо, и маляра, который бражничал в общей компании, коснулось тлетворное ее очарование. Опозоренный дважды, Андрей приехал скрываться в Вощанске, и я полагал, что он не посмеет показаться на глаза отцу. Каково же было мое удивление, когда услышал, что Андрей не раз уже приходил к отцу и всякий раз ему отвечали, что отец спит. Мне понравилось, что он имеет честность прийти с покаянием к отцу, но мне одинаково пришлось по душе и то, что отец его не принял. Тому причиной, разумеется, была пустынновская гордыня, ужаленная Андреевым проступком, а нет недуга страшней покалеченной гордыни. Поэтому-то и ужаснулся я, когда и к Катюше прикоснулся в судороге своей Андрей Пустыннов.

В памятный вечер первой моей размолвки с дочерью на нее, возвращавшуюся со службы, напали хулиганы. Несдобровать бы бедной моей Катюше, не случись поблизости Андрей со своей оравой. По-видимому, он провожал затем Катюшу, рассказывая про себя всякие романтические истории, и, уж конечно, воровство свое выставлял в трагическом свете, а Катюша внимала открытым сердцем. Ведь он не знал, что никто дотоле никогда не провожал ее, не проявлял к ней ничего большего, чем равнодушие... Мысли мои мешались и мутнели от ненависти, когда я думал о нем, должно быть, так поступил бы я сам, будь я на месте Андрея.

Вдруг бешенство мое свалилось с меня, как шелуха, я радовался и смеялся моему внезапному решению. Уже представлялось мне, как я предложу ему свой нехитрый план и Андрей со слезами благодарности ухватится за него: я нес ему спасение не только от позора. Еще в дореволюционное время удалось мне всякими самоутеснениями скопить две тысячи рублей на черный день. В этих сбережениях — золотых монетах и ценных изделиях — заключены были лишения моей семьи,

мой труд, мои думы о Катюшином замужестве, мои надежды, мои пороки, моя душа. Даже в голодные годы не тронул я их, хотя неоднократно с тоской поглядывал в темный угол чулана, где были они спрятаны. Ныне на эти деньги порешил я купить Андрея Васильевича для девочки моей и, в случае удачи, продать свой дом, за который могли дать целую тысячу. Катюша была бы ему хорошей женой и матерью многочисленных детей,— качество, достойное во все времена. Для своего собственного существования я имел редкое и доходное ремесло: в трудную минуту обучился я делать из сургуча кораллы, которые в голодные годы имели большой сбыт у мужиков.

Так, в ликовании и с полной верой в беспромашность своей затеи, я переходил улицу, перепрыгивая грязь со следами многострадального мужицкого колеса. Шел я к Пустынновым поздравить Лизу с днем рождения, а покуда в упоении придумывал слова, которыми завтра потрясу гуляку. В особенности занимал меня образ мухи, лежащей под пыльным тюремным сукном, причем никому на свете нет дела, какая муха томится там. Почти с грацией взбежал я по мокрым ступенькам и уже намеревался перешагнуть порог пустынновского кабинета, служившего одновременно и спальней, но вовремя остановился возле медогонки, предупрежденный необычным тоном происходившей там беседы.

— ...но ведь он же оскорбил тебя, отец! — взволнованно выговаривал Яков. — Его даже Андрей бил...

— Ну, уж и оскорбил,— не своим голосом суетил старик Пустыннов. — Семен пошутил, а ты уж и всерьез. Извинись, извинись перед Семеном... Уважение к старикам украшает младость.

— Молокосос, молокосос... — однозвучно, как в барабан, твердил Суковкин и отстукивал ногой, к еще большему воспламенению Якова.

В настроении несколько пониженном я обежал дом, намереваясь войти с террасы, но и тут было занято. Встав за уголком, с недоумением внимал я происходившей между Раздеришиным и Лизой беседе. Лиза гладила платье, до меня донесся чад духового утюга.

— Да у вас и денег-то нет таких,— смеялась она.

— Я не на векселя собираюсь вас купить,— глухо вторил Раздеришин. — Следует в вашем положении понимать благодетеля... дело ясное: грохнул Андрей Васильевич денежки оземь, и поглотила земля. Крышка молодому человеку, а сыновняя

могила на отце лежит. Ужли ж не пожалеете Василья Прокопьича, благодетеля своего?

— А вы убеждения мои знаете, Раздеришин?

— Убеждения при таком казусе следует посолить и в чулан положить, для сохранности. Да и при чем тут убеждения! Может, замуж-то за меня выйдя, вы мне глаза на мир откроете, и я помру на баррикаде... — Голос Полуектов скрежетал обидой, и я представил на мгновение зловещий цвет его ушей.

Сватовство Раздеришина явно нарушало собственный мой план. Я ловко пристроился на выступе деревянной обшивки, прячась от измороси, но задел локтем желоб, и в ту же минуту меня окликнули с террасы. Оставался еще третий, кухонный, вход в дом, и я, уже в гораздо меньшей бодрости, втиснулся туда. Анна Ефимовна чистила картошку... вернее, просто сидела над чищеной картошкой, сутулая и седая, остановясь взглядом на какой-то точке, пожиравшей ее внимание. Всегда насмешливо-улыбчивая, тут показалась она мне достойной хоть и собачьей жалости. Мутным взглядом матери, скорбящей о блудном сыне, она указала мне на табуретку.

— В третью дверь суюсь, а везде занято,— шутливо начал я, избегая ее насильственной улыбки. — Дом-то ваш как часы стал: везде колесики, зубчики, пружинки. Своенравный какой господин, Суковкин-то этот!

— В рабах живем, Ахамазиков,— сурово сказала старуха. Я сделал вид, что не поверил ей, похохотал, подхлестывая молчание шуточками, от которых и сам обливался мурашками стыда. Лишь беспечная моя болтовня и держала ее в забытьи; остановиться — тотчас же она взглянула бы на меня и поняла бы гаерство моего оскорбительного сочувствия. Уже минуты три дикобразил я, изнемогая от созерцания этого монумента материнской горести, как вдруг в кухню вошел сам Василий Прокопьич. При виде меня он что-то вспомнил, смутился и как-то заюлил, а кончил тем, что торжественно пригласил меня в кабинет для секретной беседы. В подозрениях и тревоге я последовал за ним.

III

Лишь потому называлась кабинетом проходная эта комната, что стоял здесь рабочий стол, а вообще-то была пустынновская спальня. Две деревянные кровати, столярный опыт самого Василья Прокопьича, стояли в углу, пара полотенец висела

над ними... да и все здесь было попарное: старики честно делили и огорчения и блага жизни пополам. На столике, сделанном из старого ящика и покрытом салфеточкой, лежала раскрытая Библия. Пока хозяин ходил за стульями, я заглянул: Василий Прокопьич читал об отце отцов земных, Ное. На видном месте, против кроватей, висел фотографический портрет мужчины, увеличение с маленькой карточки. Перекошенное, расплывчатое, как видение, с выпуклыми глазами лицо мужчины было ужасно, хотя фотограф и пытался смягчить его усиками. Но и сквозь искажение это я увидел в нем знакомые Лизины черты и смятенно догадался, что это и есть Петр Годлевский. Значит, так нужно было Пустыннову, чтоб беспрестанно, днем и ночью, глядел в него повешенный его друг.

— Известно ли тебе, Ахамазиков,— приступил Василий Прокопьич, внося стулья,— что не все у нас благополучно?

— Помилуйте, откуда же мне... — осмотрительно вильнул я.

— Андрей растратил три тысячи рублей.

— Андрей Васильевич прохвосты,— сочувственно осудил я.

— Не спеши... Не сердись на дружескую правду, но ты глуп, Ахамазиков. Нет, не обижайся, я высоко ценю твое сердце! — придержал он меня за колено, заметив мое движение. — Андрей честный, он у меня славный, он не вор, Яшка врет. Яшка думает, что жизнь можно пристращать параграфом... Нет, жизнь стоит на земле, темной и... не девической.

С трепетом я видел, что Василий Прокопьич пьян, он задыхался, глаза его были выпучены, как у Петра Годлевского на стене.

— Вам бы водички глотнуть,— осторожно посоветовал я.

— Да, я выпил, Ахамазиков. Но ты свой, у тебя сердце. У кого сердце, тот мне не страшен... а винцо-то приятное, я и не знал, все как-то шиверт-навыверт стало. Хм, какой у тебя нос маленький, даже плакать хочется... Знаешь, кто я есть, Ахамазиков? Я — Ной... — шепотом признался он.

— Какой же вы Ной, вы просто Василий Прокопьич! — с каторжным лицом пошутил я.

— Погоди!.. Андрей — это разум и совесть мои. Если бы ты знал, как они блудят, когда нарушена их девственность. Ты думаешь, в Андрее бес?.. В него Петр вселился, да-да! — Он ткнул пальцем в направлении портрета. — Это Петр пришел за мной.

— На вашем месте снял бы я портретик. Этакий и аппетит отобьет,— посоветовал я.

— Пускай, пускай висит... Вот верчусь, а сказать все не умею. Но в книге есть место: «...и увидали наготу отца, и прикрыли его». Слушай, ведь хоть рогожкой, да прикрыли его! А мой не смог... да и чем прикроешь, чем? Ты слышал, он над книгой работал, а потом сжег ее. Он самого себя растратил...

— Мм... и большая книга? — беззвучно поинтересовался я, не сразу овладевая пошатнувшеюся мыслью. — Притопнуть бы вам на него. Ведь отец вы, имеете высокое право.

— Нельзя... Сын, безумная вещь — сын. Ты сам знаешь, у тебя дочь. Кстати, как ее здоровье? — странно спросил он, и я, разумеется, не ответил ему.

Все его вступление было нарочное, он сознавался загадками, ключа к которым не давал. Он старался разжалобить меня образом вощанского Ноя, но я вовремя уразумел это.

— Нужно мне покрыть Андрееву кражу. Я сам поеду и буду просить, чтоб приняли проклятые эти деньги, но сперва нужно достать их. Слушай, Раздеришин сватается к Лизе... выродку угодно именно Лизой утолить свое мечтание. Он просил меня переговорить с нею и в случае успеха обещал деньги... но мне совестно употреблять во зло Лизино уважение. Понимаешь, я никогда... никогда еще не занимался сводничеством. До этого я еще не дошел. Кстати, почему это я зову тебя на ты, а ты меня на вы... надо нам по-равному, по-справедливому. — Он заикнулся и сорвался на хрип: — Спаси меня... от этой пучины, Ахамазиков!!

— Каким же это образом? — отстранил я его искательные руки.

— Я слышал, у тебя есть сбережения...

— Какие же у меня деньги? — как и он, не глядя в глаза, защищался я. — Вот пятнадцатого получит Катюша жалованье, рублей десять смогу уделить. А такой суммы... да вы просто обижаете меня подозрениями такими.

— Я отдам... — настаивал Пустыннов. — Живого человека спасешь... это почетное, а не обидное предложение.

— Если вы не оставите этого разговора, я уйду, Василий Прокопьич!

Он замолчал, и даже в сумерках видел я на его лице багрец великого конфуза.

— Яблочко хочешь? — спросил он, беря его с подоконника.

— Коричное? — с достоинством осведомился я.

— Нет, анис.

— От аниса у меня десны болят.

Я и сам поверил, что у меня нет таких денег. Я встал и отошел, а Василий Прокопьич все сидел, одержимый душевной лихорадкой. Я снова разглядывал черты Годлевского, но ничего не соображал, точно и сам я напился. Мне даже померещилось, что Годлевский мне подмигивает. Я с отвращением отвернулся, а тут пришла Анна Ефимовна приглашать нас к чаю. Обрадованный избавлению от нравственной моей пытки, я поспешил выйти из комнаты. Однако дьявол мелкодушия приклеил меня к полу тотчас же за ситцевой портьеркой.

— Выпил, Василек? — спросила старуха, и мне показалось, что она обняла его. — Ничего, надо жить, надо нести.

— Рыбу на базаре тухлую продали! — Неуклюжая ложь его прозвучала трогательнее нежности.

Все уже ждали нас за столом, а среди них в лучшем своем платье сидела и Катюша. Слева от нее сопел Полуект, пятнистое его лицо говорило о неудаче сватовства. Справа грыз яблоко Яков, лицо его тоже не предвещало ничего доброго. Суковкин выглядел хмурым, много ел варенья, а чаще брался за бутылку с наливкой, и всякий раз звону ее о рюмку сопутствовало тревожное кряхтенье Анны Ефимовны: руки его дрожали. И только Лиза, певунья и виновница нынешнего торжества, наполняла весельем натянутую тишину вечера.

— Ну, не старься теперь, Лизутка,— сказал ей Василий Прокопьич, гладя по голове рукой, отеческой и нежной, которую Лиза тут же поцеловала, тронутая благодарностью. — Живи весело, Яшке не верь, за Раздеришина не выходи.

— Напрасно людей не цените,— озлобленно откликнулся Раздеришин. — Мамаша за тятеньку шла, и в глаза его не видамши. «Не пойду, говорит, может — балбеска какой». — «Ничего, отвечают, мы тебе его сертук покажем». И вышла...

— За сюртук? — засмеялась Лиза, и все улыбнулись ей.

— За папашу,— криво усмехнулся Раздеришин. — Рано шутить мною начали, Василий Прокопьич. Конечно, я вам не тятенька. Ивана-то Парамоныча не посмели бы шпынять. Тятенька гневался — деревья сохли, огонь в лампах тухнул. Пискарева выбранил — помер Пискарев!

— Будь ты наконец самоличным человеком, Полуект,— укорял насмешливо Пустыннов, протрезвев как-то уж слишком скоро. — Стыдись, а еще церковный староста...

Раздеришину, однако, было не до шуток. Злость еще пуще глупила неумное его лицо; по скромному разумению моему,

оно умнело, лишь когда Полуект считал рубль копейками. Явная надвигалась гроза, а тут еще разговор перешел на спутницу Андреева паденья, Нальку. Дама эта еще недавно, оказалось, изучала этику и эстетику на каком-то литературном факультете, а потом вышла замуж за инженера и приехала к нам в губернию. Взбунтовавшись со скуки, сошлась она с каким-то молодцом, и сразу растратился молодец, а когда того расстреляли, покатилась вместе с Андреем к вощанским омутам. Я запомнил все эти секретцы, стакан мой так и остался нетронутым. Катюша низко склонилась над столом и, судя по ее румянцу, тоже не проронила ни слова из слышанного. Впервые я заметил, что при стечении обстоятельств может и хорошеть бедная моя Катюша.

Василий Прокопьич припустил фитиля в лампе, и тотчас поднялись шутки, тяжесть рассеивалась. Молчали только Суковкин, Яков, Катюша, Анна Ефимовна, Раздеришин... Я смущен: значит, молчали все, кроме меня? Значит, один мой смешок штопором вился во всеобщей тишине? Доселе не ведаю причин тогдашнего моего ликования. Вдруг я смолк, оскорбленный щурким Катюшиным взглядом, полным недоброго внимания ко мне, отцу ее и спутнику жизни. Не за то ли она и презирала меня, что в голове своей я уже таил верный план ее счастья! Я оборвался сразу, и все озадаченно на меня посмотрели. Слякоть глядела в окна, шла ночь, бежать из-под нее было некуда. Кажется, кричала сова... На завтра Полуект приглашал всех на торжество воздвигновения креста после храмового ремонта.

— В церковь-то уже не приглашаю безбожников, а на квартиру закусить пожалуйте,— сказал он, между прочим. Присутствие Василья Прокопьича должно было придать раздеришинскому обеду еще большую торжественность.

Тогда-то и угораздило хозяина снова пуститься в надоедные свои рассуждения.

— Э, Полуект... разве мир прекрасен станет, если включить в него возможность бога? Без него мир крепче, человек разумней, и величественна та равнина, на которой беснуется, свергает кумиров, падает вместе с ними, чтоб снова возникать на земле,— человек. Он мучается, мозг его перерастает его средства к цели. Это-то и хорошо, невыстраданное — некрепкое. Горе делает людей бесстыдными, а счастье — пошлыми: осветляет одно страданье. Тогда мир тебе как новорожденный, и ты сам новорожденный в мире... — Анна Ефимовна стеснен-

но улыбалась, а Яков вышел из комнаты вместе с Лизой, демонстративно пожимая плечами. — Да, ничего не было в мире до меня, я открыл его заново, это солнце и землю... Смейтесь, абрикосовое дерево рубить легко и приятно... руби меня смехом, Яшка!

Давно пора было остановить это сумбурное истечение старческого разума, но никто не смел. Непоправимое уже случилось, и я вижу провидение в том, что Яков за минуту перед тем покинул комнату. Суковкин вдруг зашевелился; я глядел в его лицо, и мое собственное начинало перенимать его выражение. Из-под приподнятой брови торчал круглый, незрячий глаз,— то была сама скука. Она глядела в стену, и сквозь нее, сквозь деревья и ночную мглу за стеной она уставилась в мир. Мертвенно блестело маслянистое его лицо, углы рта оползли вниз.

— Теперь спой ты... абрикосовое дерево. Нагнал тоску... — тягуче приказал Суковкин; если бы загорелся воздух вокруг нас, это было бы менее примечательно. — Пой, смеяться хочу,— капризно повторил пустынновский нахлебник.

— Так и смейся, коли приспичило, деспот,— шевельнулась Анна Ефимовна.

— Смешного ничего не осталось в мире. Пой!..

— В такую минуту, Семен... Ведь я тоже человек! — с поблекшим взором молвил Пустыннов.

— Ты... ты человек? Ты... — закричал Суковкин, замахиваясь локтями, и глаза его грозили вылиться на стол. Он не досказал, а лишь поморщился. — Пой!

— Спой ему, Василек,— спокойно сказала Анна Ефимовна, но пальцы ее суетились по скатерти, точно пытались убежать. И тогда, отведя руки от лица, Василий Прокопьич запел.

Я видел, как скука топтала живую душу, я слышал ее скрип: она скрипит, как разминаемая кожа. Пустыннов не обладал ни слухом, ни голосом, но пел он старательно про серенького козлика и, помнится, даже сделал в одном месте руладку. Суковкин мстил за Андреево оскорбление неслыханным унижением отца. Недвижные, мы внимали глухому дребезгу пустынновского голоса. Раздеришин щупал ухо себе, сгибал его пополам, и оно просвечивало красным. В эту минуту и засмеялась убогая моя Катюша. Немыслимо, чтоб из всего происшествия она восприняла только комичность пустынновского экзерсиса; чрезмерную ее чувствительность я даже по-

рицал порою... Но вот она смеялась, всласть и громко, глядя в самый рот Василья Прокопьича. И вдруг все поняли, что именно смех был спасительным выходом из положения. Мы засмеялись как по команде, и я видел, что даже отрывистому лаю Раздеришина обрадовался Василий Прокопьич как райской музыке.

— Семен, звук не пролезает! — обращая дело в шутку, пожаловался Василий Прокопьич, но тот все глядел в стену. Усы на нем торчали, как на парикмахерском манекене, жидкая скука истекала из его глаз. Смех наш оборвался сам собою, и тогда, распахнув дверь с террасы, вбежала Лиза, а следом озабоченно вошел Яков.

— Андрей идет!! — крикнула она в смятенье.

В раскрытую дверь врывался ветер, задувая закоптившую лампу; к ногам полз холод. Во мраке сада, действительно, кричала сова...

IV

С террасы, топоча, входили люди, много людей, и заученно остановились две шеренги, образуя как бы галерею масок человеческого падения. Охваченных предчувствием еще большей беды, никого из нас не поразила фантастичность стрекулистского появления. Все они были разукрашены — кто маскарадным бантиком, кто бумажным цветком, а некоторые — расписаны сажей и мелом под чертей, но с дурацким неправдоподобием; у одного, неказистого, но самого молодого, торчали сквозь шляпу деревянные рожки, а позади непотребного балахона болтался мочальный хвост: я пожалел его загубленную юность. Однако все мы глядели мимо них, в шумливый мрак ночного сада, откуда должен был явиться Андрей. Василий Прокопьич сделал слабую попытку подняться, но в ту же минуту, спокойный и трезвый, быстро вошел Андрей. Анна Ефимовна шагнула ему навстречу, словно стремилась защитить старика от нападения, хотя за спинкой пустынновского стула, немирный и каменный, стоял Яков. Улыбка Андрея остановила ее на полпути.

— Анд... Андрю... — простонала она, но смешалась и отступила.

— Не узнаешь, мать? — сдергивая шляпу с себя, спросил Андрей.

— Не узнаю, Андрюшечка.

Все еще держа улыбку на жестких своих губах, Андрей остановился посреди комнаты. То был сильной и иронической рукой склепанный человек, отцовского роста и примет; короткие штопаные брючки стрекулиста не делали его смешным, маскарад его был маскарадом крайнего разочарования. Гордый лоб, нависший над глазами, при иных условиях мог бы угрожать мещанскому благолепию нашего городка, но Вощанск-то и отравил мужественную его смелость. Впрочем, и отравленный насмерть, он мог еще смертельно покорять. Беглый взор его столкнулся с тусклым взором Суковкина, и Андрей, мне почудилось, даже кивнул ему. Затем Андрей решительно подошел к отцу и пытался взять его руку.

— Не дам, не дам... — шептал Василий Прокопьич, уже выкручивая свою руку из Андреевой.

— Я поцеловать хочу твою руку, отец! — молвил сын, но улыбка его явно противоречила высказанному намерению. — Да ты дрожишь весь!

— Холодно, Андрюша, холодно... стар,— бормотал Пустыннов.

— Так тебе холодно? — приподымая бровь, спросил Андрей.

— Не бей меня! — вскричал старик.

Тогда Яков вышел из-за стула.

— Поосторожней с отцом, Андрей,— сказал он и отпихнул брата в грудь.

С раскрытыми ртами ожидали мы продолжения их ссоры, но ничего не произошло. Повинуясь окрику брата, Андрей опустился на стул, стоявший поодаль, и вот заговорил. Сбивчивой его речи не помню я целиком, но не забыл, что темные намеки копошились в нем, подобно молниям во чреве тучи.

— Боитесь блудного сына?.. Гав, съем! — Он захохотал, все время, впрочем, посматривая на нас. — Ты прав, покорный сын, следует вести себя прилично даже и с отцом. А все-таки скучный ты человек, Яков!

— А ты... увеселительный,— через силу отозвался тот.

— Мне уже надоело увеселять!.. Странно, что за вещами, к которым привыкнешь, которые оживляешь собственным теплом, всегда прячутся иные смыслы. Берешь палку, простую палку, мать, и она жалит, жалит, как змея. Вот и мне так же... привык к этому дому, здесь гостил на каникулах... и все представлялось мне: в зимний вечер сидишь ты с отцом у

лампы, тишина... а я вот там, где теперь сидит околоточный Суковкин, пью молоко. Ты всегда пичкала меня молоком, мама, помнишь?.. Это немножко чувствительно, но ведь и рождаемся мы не сразу подлецами...

— Негодяи всегда разговорчивы,— из жалости к Катюше сказал я, но он не рассердился.

— Да, ночь застала меня в дороге. Но ты молчи, ты только мышь в обширном подполье мира... Мама, дай мне молока, в той синей кружке! — вдруг попросил он и ждал с ужасными глазами, пока Анна Ефимовна не протянула ему просимого. — Вот, вот и у молока вкус не такой, а горький...

— Небось погребом пахнет,— робко заметила мать.

— Нет, не говори... меняется даже вкус молока! — Он отпил еще глоток и бережно, с померкшими глазами, отставил кружку на стол. — Не следует привыкать к вещам, которых польза только в том, что они украшают мир.

Значительность его прихода уничтожалась тягостной его болтовней, и опять видел я в этом положительное его сходство с Васильем Прокопьичем.

— Освободи нас от присутствия твоего и твоей шайки, Андрей,— холодно вступила Лиза. — Нынче день моего рожденья, а я не звала тебя.

— Мы с тобой детьми играли вместе, Лизутка.

— Стыжусь этого,— резко бросила Лиза.

Густой стыд облек Андреево лицо, а я втихомолку наблюдал Катюшу. Она еле сидела на месте, щеки ее прекрасно пылали, она жила, точно скандал был ее стихией. И я осудил ее именно в ту минуту, когда причудливая расцветала в ее сердце любовь... не к Андрею ли, который так одерзел от собственного своего позорища, что уж ничем стало его не ущекотать.

— Сердишься, что я привел сюда этот паноптикум, Лиза? Это все милые люди, кавалеры... взятки и растраты, такие же, как и я. Им, как и мне, все равно теперь,— понимаешь меня?.. Стрекулисты, назовись! — гаркнул он вдруг, весь темнея.

— Жеребков,— басовито представился первый в левой шеренге.

— Крамалеев,— проскрипел второй, которого я пожалел.

— Фуников,— поэтически вздохнул третий.

— Граф Фаддей Шишкин,— сознался четвертый.

— Маркиз Карпелан,— пятый.

— Барон Балтазар Стутенгейм! — длинно просмеялся шестой.

— Фараон Петесухис... — голодным голосом промычал седьмой.

— Зовите меня просто Мосеич,— вежливо молвил последний, самый старый и с кисточкой на картузе, дернув себя за староверскую бородку. Затем, выступив впереди шеренги, он приятно поклонился нашему собранию.

Было ясно, что все это придумано нарочно, мутным похмельным воображением; Яков качал головой от негодования, Лиза презрительно кривила губы, а Катюша опять смеялась невеселой этой шутовщине.

— Их у меня одиннадцать было, но трех уже выловили,— поддержанный Катюшиным смехом, оправился Андрей. — Хм, пирог. Не хочу пирога... Хм, Раздеришин? Не хочу Раздеришина!.. Слушай, Полуект, а Налька опять спрашивала про тебя: где, говорит, купец с трещиной?.. Закрылся где-нибудь ухом, говорю, и сидит... — Он намекнул на размеры раздеришинских ушей.

Бледностью бешенства наливался Раздеришин, а Андрей все не унимался. Он не боялся врагов и уже не щадил никого. Мы принимали его болтовню как насилие, и внезапно он сам понял это. Сконфуженный, с обвисшими руками, он повернул к выходу. Пороховой замысел его появления пропал впустую, но я видел зато, как вытянулась вся вослед уходящим Катюша, затем встала и, как зачарованная, пошла за стрекулистами. Все глазели на меня, а я дурацки улыбался, пока стрекулист Мосеич не притворил за собою дверь.

— Ты слишком добр к Андрею, отец,— строго проговорил Яков по их уходе, но Василий Прокопьич не откликался, покрытый трупной бледностью; мы поспешили разойтись. Уже не надеясь поймать Катюшу на улице и предупредить несчастье, я еще задержался у Пустынновых из сочувствия родительскому горю. Очутившись же за воротами, я побежал. Было часов около девяти, а мне казалось — близ полуночи. После происшедшего я мог ожидать от Андрея какой угодно пакости с Катюшей. Дома Катюши не было; ее кровать была несмята, и поверх одеяла валялось ее чиновничье платьице, в котором она ходила на службу. Тогда я помчался к маляру на обрыв, разъяренное воображение подсказывало мне ужасные картины Катюшина обольщения: уже давало знать себя мое одиночество. Мертвый туман, плотный — хоть ножом его резать на

куски — окутал Вощанск; на нем были нарисованы черные, диковинные деревья...

Запыхавшись, я остановился, когда уже замигали мне сквозь туман смутные огоньки маляровых окон. Всею грудью вдыхая мглистый воздух ночи, я поднял голову и увидел звезду. Она пристально наблюдала меня, притягивая мои чувства и взоры; бежать мне из-под нее было некуда. Я узнал ее, мою звезду, я узнал все про нее. Она была огромна и дряхла; был тускл ее свет, как пламя огарка. Ее существование становилось ненужным. Трагически увядая во мраке, она жаждала соединиться с другой звездой, вся мудрость которой заключалась в ее молодом полете по предназначенной высокими законами орбите. Она караулила ее по-паучьи посреди своего одиночества, чтоб слиться, поглотить синий ее свет, похитить ее младость, заразиться прекрасной ее стремительностью... Переведя дух, я двинулся дальше и знаю, что бежал не для Катюши, а во исполнение воли моей звезды, пути которой должен был я повторить в малом моем отражении.

В тридцати всего шагах от Чудилова обрыва стояла малярова усадьба. Скулила по-собачьи темная обрывная пустота. Еще отец Николая Егорыча, маляр и неустрашимый в отношении любой высоты человек, стяжал себе эту усадебку. Сын его продолжал отцовское дело, но страшные напали на маляра беды: утонули жена и дочь, которую та бросилась спасать, разбился с колокольни брат... Тогда Николай Егорыч с остервенением предался гульбе, почему он так гостеприимно и приютил у себя Андрееву компанию. Усадьба поветшала, всегда бушевал над ней обрывный ветер, рвал дранчатую крышу, подгрызал столбы; от славного когда-то огорода осталась негороженная щербатая десятина, заросшая лопухом и жалостная, как самая малярова судьба. Единственное, что поддерживал из всех сил Николай Егорыч, была баня. Скосившаяся и припертая кольями, она еще могла порадовать паром знатока. Пробегая мимо бани и удивясь свету в окнах, я слегка прильнул к запотевшему окошку и в смятенье отшатнулся.

Я увидел спину... никаким стихом не описать ее. Это была спина женщины, которую я не знал и уже любил. Лампа висела на ближней ко мне стене и оттого не мешала мне видеть черной внутренности бани. Губы мои дрожали, ноги подкашивались. Спина была молода, нежна и безыменна, как молодая звезда. По ней замедленно текла вода, розовая и сверкающая. Круглые мышцы переливались под кожей, ведя свою таинст-

венную игру. Чудо приходило в вощанскую пустыню, и я дикарски распластывался перед ним на земле. На протяжении пятидесяти моих лет я видел только спину покойницы жены, обычную, семейную и плоскую,— на нее можно было поставить стакан чая или, разлиновав на квадратики, играть в шашки. Я понял, что, кроме вощанской жизни, есть и другая, полная чудес и потрясений. В груди моей стояло мычание... Вдруг я перестал видеть: стекло запотело от моего дыхания.

Мне стало холодно и неудобно, я оглянулся, по-черепашьи втягивая голову в плечи. Позади, в двух шагах, стоял Андрей. Я не слышал его приближения, но понял, что уже не первую минуту он наблюдает меня. Все вокруг нас было безмолвно и пустынно. Я воровски оглянулся на окно: оно померкло, Налька ушла одеваться.

— Нравится? — спросил он, кивая на окно.

— Ничего себе... — вздрогнул я, не пытаясь оправдывать непристойное зрелище старика, подглядывающего за новою Сусанной.

— Вас Катюша давеча искала,— строго сказал он и не двинулся, пока я не отошел на дорогу. Лицо мое было неприлично, как подмышка, невыносимо болело лицо мое. Я шел, как пьяный, страдая от позора первой моей вылазки в мир. Несколько раз я вглядывался в небо, как бы испрашивая совета, но не увидел там моей звезды. Однако всю дорогу я напевал какую-то пошлятину, вознаграждая себя за перенесенное издевательство. Вытирая тряпкой ноги, я уже испытывал бурную приятность. Помнится, что я поцеловал Катюшу на ночь с небывалой легкостью: я стал находить вкус в отправлении отеческих обязанностей.

V

Я поцеловал ее уже спящую, но подозреваю, что она только притворялась; втайне я был даже признателен ей за это, ибо еще чуял на лице своем следы недавнего переживания. Какая-то перемена в Катюшиной комнате остановила мое внимание, перемена обонятельная: в комнате пахло духами. Это и тронуло и порадовало меня: незнакомый со свойствами духов, я все опасался, что они прокиснут от долгого стоянья на окне. Катюша не окликнула меня, уходящего, но выражение ее бровей было уже иное.

Мне снилось чудачество, будто я извозчик. Будто я купил петуха и приношу во двор, а лошадь и говорит: «Опять привели мой корм есть»,— да так сердито. Никогда не удивляешься во снах, что звери могут разговаривать. Даже и во сне было мне весело и приятно. Я проснулся от холода, с меня сполз тулуп, которым я укрылся с вечера. Я встал со своего сундука, и была, помнится, ленивая мысль — затопить печку. Внимание мое, однако, отвлеклось непонятными шорохами, кто-то ходил в сенях. Спросонья все мне представало в преувеличениях, но вор уже направлялся прямо в комнату Катюши. Вдруг смешная догадка разметала мои подозрения: конечно, это Андрей шел к Катюше на любовное свидание. Именно здесь, под боком у спящего отца, было удобнее всего расположиться на удовольствие: никакой отец, даже глупец в отношении секретов своего ребенка, не побежит разглашать по городу, что дочка его — девица на испорченном ходу, как говорят в Вощанске. Прикрывая рот ладошкой, я трясся от смеха: такому вору я был только благодарен, ибо в расчеты мои существенным козырем входила и Налька. Все еще смеясь, я приник к трещинке в газетах, которыми оклеены дощатые мои стены, и увидел Катюшу, но она была одна... Дерево за окном запорошилось снегом, и в комнате ее стояла сизая, ледяная светлынь.

Старенький пуховый платок, память матери, укрывал угловатые Катюшины плечи, ее улыбка была обращена вовнутрь. В руках она держала тряпичный сверток, перевязанный веревочкой. Раздумье ее происходило от незнания, куда ей засунуть его. Сперва я не постигал ничего, кроме сознания, что присутствую при великой Катюшиной тайне. Потом, когда она уже спрятала сверток в ворох грязного белья под кроватью, я догадался, что она самовольно взяла из чулана мои сбережения. В конце концов, все обходилось благополучно: Катюша лишь предупреждала мой собственный план в отношении к Андрею, и уж, ясное дело, Катюшины действия в этом смысле были бы успешнее моих.

Взволнованный, я повалился на свой покатый сундук; сон совсем покинул меня. В памяти бежали записи Катюшина детства. Вспоминалось, как девочкой, лежа в кровати, она страшилась высунуть руку из-под одеяла во мрак комнаты, потому что мимо кровати якобы, чуть поблескивая, беспрерывно ходят длинные ножи. Тогда я еще имел смелость доказывать моей девочке, что в мире нет ничего, кроме зримого гла-

зом. Закрыв глаза, ежась под одеяльцем: «Папа, я дорогуша?» — спрашивала она. «Дорогуша!» — «Нет, ты тоненьким голоском скажи», — просила она. Мой ответ уже не заставал ее по эту сторону бытия. Теперь та же самая девочка украла мои деньги, чтоб спасти человека, которого помышляла иметь любовником.

Не страшила меня такая подмена. Каждый день загораются новые солнца, а старые тухнут бесследно: горевать ли о старых, если мир вчетверо возмещает мне мою утрату! Всею душой я торопил приход Катюшина счастья, в котором она почерпнет силы для свершения своей роли на земле. Въедливый запах духов изнурял меня; перегородки комнат не доходят у меня до самого потолка. Я заснул на час и проснулся, когда рассветно серели окна. Мужики ехали на базар, и на первом снегу волнующе цвели их скрипучие оранжевые полушубки. К полудню потеплело, улицы полиняли, старожилы предсказывали дождливые ветры. День выпал пасмурный, суетливый, события усеяли его так тесно, как воробьи — телеграфные провода. После Катюшина ухода я поспешил удостовериться в моем ночном наблюдении, но свертка под кроватью не оказалось, он лежал по-прежнему в чулане. Мне некогда было подумать, было ли то следствием ее раскаянья: пора было спешить на Полуектово торжество.

Публики набралось много, посреди старушечьей завали попадались и степенные мужики, которые имели, впрочем, такое же пристрастие к церковному благочестию, как и к хорошо начищенным сапогам. Приехал архиерей Феогност — руина, доживавшая у нас в Вощанске свою бесцветную старость. По окончании обедни Николай Егорыч с двухпудовым крестом в руках полез на колокольню, и все мы стали свидетелями цеховой его доблести, подкрепленной, по слухам, бутылкой казенного вина. Покачиваясь на лесах от сильнейшего ветра, он водрузил крест и прокричал из своей головокружительной высоты:

— Ваше преосвященство, животворящий крест на месте. Святому кресту святиться, а вашему преосвященству бескончинно священствовать. — Мужики внизу хозяйственно выразили свое одобрение, а маляр продолжал: — Гражданин церковный староста, святой крест на месте. Ему стоять, а тебе долги веки здраву быть. — Слова эти относились непосредственно к Полуекту, который самодовольно покачивался внизу. Тогда-то и кольнуло меня предчувствие, что нынешний день закончится

не безразлично для будущего вощанского летописца. Слухи о раздеришинском запое подтверждались воочию. — Честные прихожане, крест на месте, а вам многая лета,— заключил маляр.

Народ расходился. Намереваясь заглянуть домой, я первым выбежал из храмовой ограды и тут вторично в жизни увидел эту женщину. Уверенно раскидывая ноги, напряженные, как тетива, готовая послать стрелу, тысячи стрел... она направлялась прямо ко мне, на бугор. Ее колени упруго бились в полы пальто, чудовищно пестрого на фоне серенького вощанского денька. Мне стало стыдно, как юноше, когда приближается к нему грех, но я остался стоять. Приятно было глядеть, как легко и просто несет она себя ко мне. Подойдя, она спросила о доме, где обитает Раздеришин; я молчал, весь жар схлынул с моих щек. Я искал в ее лице черт прославленного ее распутства и не находил, она не поняла моего томления.

— Вы знаете меня? — равнодушно спросила она.

— Я вас в баньке видел,— сказал я, с ненавистью глядя в ее лицо, полное розового света.

Она рассмеялась моей неуклюжей дерзости, я смятенно преклонил голову. О, как я восчувствовал теперь сладкую боль вот такой неловкости! Она приказала мне проводить ее, и я суетливо помчался впереди, вызывая изумление во всех встречных. Мы проходили самое красивое в Вощанске место,— гора, обставленная древними монастырями, и я принялся объяснять ей путаную их историю. Беспамятно болтал я что-то о духовной красоте творцов всех этих шатровых, луковичных и иных куполов, которые не пережили ни своей страны, ни своей эпохи и уступили место людям трезвым, грубым и сильным.

— Пустяки, российский гражданин с песенкой вынесет все, чего не вынесет его Россия,— рассеянно бросила она, а я остановился сообразить ее слова в отношении к моим собственным. Мы стояли возле самого раздеришинского дома.

— Мы вовсе не такие мученики или подлецы, как мы себе представляем. Наделил нас творец калечинкой вровень со всеми народами,— возразил я, но она лишь засмеялась и стала подниматься по лестнице.

Когда я вошел, гости были уже в сборе, и посреди, в кресле и лицом к двери, сидел Полуект. Оттопыренные уши его рдели, и весь вид его был таков, точно у него прорвался чирей. В золоченой раме против него висел дикобразный человек

с царской медалью на шее и с расчесанной надвое бородой; подобно жабрам, торчала она из высоких воротничков. Это и был обожествленный Полуектом тятенька его, Иван Парамоныч, скандальную славу которого тщился перебить его бесталанный и безнадежный сынок. Между гостей хлопотал и покрикивал домовый управитель, старичок, свидетель возвышения и падения рода, от мелкой торговли крестьянским холстом — через богатейшую мануфактуру Ивана Парамоныча — к ситцевой лавчушке нынешнего Полуекта.

Ждали архиерея, а тот все не ехал, и Полуект злился, косясь на нас мелким, вурдалачьим своим глазком. А уже было известно, что хозяин пригласил на вечер Андреевых стрекулистов, чтоб потешить владыку: начало не предвещало добра. Стрекулистов держали некормлеными в чулане, чтоб стали злей и податливей на любую архиерейскую прихоть. Стол был накрыт на пятнадцать персон, а греко-римская фигура мужского пола и в натуральную величину — каприз покойного Ивана Парамоныча — была завешена простынью. Вдруг в окне проскрипел архиерейский экипаж... Я потому останавливаюсь на мелочах, что без них непонятен удар, который я кладу в средину своего повествования.

В комнату всунулся мелковатенький попок, один из спутников святейшего гостя. «Принимайте владыку,— шепнул он и, приникнув к дверной щели, сообщил нам все подробности архиерейского приближения. — Уже по ступенькам подымаются... коридорчиком... за половичок зацепились... отцепились. Пожалуйте, ваше преосвященство!» И попок изогнулся перед еще не зримым архиереем.

Сперва протискался протодиакон, потом монах ввел архиерея. Опухший от двухлетнего тюремного сидения, старик этот за весь обед не проговорил ни слова: за него вел беседу протодиакон, мужчина с таким цветным лицом, что неловко было смотреть. Благословив паству по настоянию диакона, владыка столь потерянно стоял посреди, что вызвал у некоторых смех. Вдруг его глаза задвигались.

— Владыка интересуется, кто это? — пробасил диакон, указуя пальцем на хохочущую Нальку.

— Дама-с! — сдавленно отозвался хозяин. — Молодежь...

— Женщина, святой владыка!.. А это? — сунул он перстом в простенок между фигурой и маляром.

— Идол... древний,— глупо ухмыльнулся Полуект.

— Владыка не про это. Кто вот он?

— Маляр-с! — гаркнул усердно Николай Егорыч, и негнущийся его пиджак скрипнул при этом. — Крест нонче вставлял.

— Не ори, не пугай владыку... — строго молвил диакон. — Приблизься. Владыка интересуется, падать не доводилось вам?

— Ни разу-с! — виновато пожался Николай Егорыч. — И даже... в солдатах не был.

— Похвально. Владыка любит труд...

— ...чужой! — при общем смехе заключила Лиза.

Пожалуй, тут и следовало бы увозить архиерея от греха, но попок затянул предтрапезную молитву, и гости принялись усаживаться за стол.

— Не печальтесь, хозяин, сие проходит мимо нас. Птенцы... я и сам был птенцом,— говорил диакон, наливая себе первую. — Ну, первоначальная для сварения в желудке, винцо полирует кровь. Удивительно, пью все белое, а нос все краснеет!

— А владыка красное пьет, а нос все белеет,— резвилась Лиза в сообществе таких же юных гостей.

— Уймите, хозяин! — нахмурился монах.

Настроение падало; тишину нарушал лишь ожесточенный скрип ножей: гусь попался сухожильный, и немногие имели силы на его одоление.

— Владыка интересуется,— снова приступил диакон, постукивая ножом о скатерть и обращаясь к Нальке,— венчались вы с Андреем Васильевичем или же просто так?

— Просто так! — блеснула глазами Налька.

— Просто так, владыко... — насмешливо доложил диакон, входя во вкус своей допросной роли. — Что же потянуло вас бросить супруга, который, как известно, инженер и шишка... и связаться с вором?

— Качества! — сказала Налька и показала язык попику, который захихикал не сравнимо ни с чем.

— Какие ж такие качества? — с достоинством продолжал диакон, вытягивая ноги под столом.

— Мужские! — злостно кинула Налька. — А вы для себя об этом интересуетесь или для владыки?

Со вступлением разговора в скользкие эти дебри владыкины глаза заметались в подбровных ямках. Монах мрачнел, а диакона разъяряла беседа со знаменитой соблазнительницей. Тогда-то Полуект и приказал своему архитриклину ввести стрекулистов. Я улыбнулся Нальке, она с иронией взглянула на меня. И вдруг я почувствовал, что маскарад стрекулистов во

много крат слабей по смехотворности наших собственных вощанских харь. Хари сидели за столом, и на себе я чуял тоже харю, приклеенную на всю жизнь. Улыбкой я старался сдвинуть ее с лица, но ничего не выходило: харя сидела крепко, харя оплывала, харя не повиновалась мне... а Налька все глядела на меня. Я готов был рвать ногтями, срезать бритвой, срывать всячески мою харю, мое земное естество, мое гнусное мясо, готовое в лучшую мою минуту истечь сукровицей, глупую клетку, в которой томилась моя неистраченная душа... Тем временем управитель пугливо докладывал Полуекту, что стрекулисты распили на голодный желудок целую бутыль наливки, найденную ими в чулане. Полуект серел в цвет обоев и покряхтывал, а стрекулисты уже вошли. Их было семеро, восьмого арестовали в минувшую ночь; они шатко встали вдоль порога. Взоры их были незрячие, а лица светились синевой. Я с ужасом видел, что, кроме того молодого и еще не утерявшего стыда, все они были уже полупокойники.

— Преосвященнейший владыко,— сказал Полуект. — Не пугайтесь! Это стрекулисты, продувной народ! Очень смешно и совершенно безопасно. Они казенные деньги промотали... так что им в с е р а в н о теперь. Специально исполняют фантазии.

— Ззанимательно,— прогудел протодиакон.

— ...и поучительно! — докончил Полуект. — Стрекулисты, наззовись!

Однако эффекта не последовало, и все засмеялись уже над самим Полуектом, который со звериным лицом подскочил к самому крайнему, почему-то забинтованному, стрекулисту, бешено схватил его за плечи.

— Этто... бунт? — прошипел он в самое ухо стрекулиста. — Наззовись!

— Мамакин... — тускло, как на расстреле, ответствовал тот.

— Врешь, врешь... Он врет, ваше преосвященство, это барон Балтазар, уверяю вас! — отчаянно вертелся Полуект и чуть не плакал. — Что, что у тебя с мурлетом?

— Упал.

— Да ты пьян, шельма?

— Ты сам пьян! — без выражения и при общем веселии молвил стрекулист.

— Слабого человека обездолить нетрудно... — поддержал его другой.

Неотвратимо надвигалась катастрофа, а тут еще упала простыня с фигуры, что вызвало новый прилив неуместного гоготания. Диакон спешил доесть рыбу, попок хрипел, как стенные часы, а владыки и вовсе не существовало от страха. И тогда-то произошел натуральный бунт стрекулистов. Внезапно поняв, что им действительно дозволено все перед лицом ужасной кары, они стали нахально рассаживаться посреди нас. Проходя мимо владыки, один из них пошатнулся и растопыренными пальцами уперся в самое темя охнувшего архиерея.

— Извиняюсь... в глазах зигзаги,— объяснил он.

— Вставайте, отцы,— с достоинством сказал монах, как мешок приподымая владыку. — Вставайте, бесовское радение началось.

Даже не помолясь по окончании трапезы, священные гости быстро пошли к двери; владыка не сопротивлялся воле своих поводырей. Подобно параличному, сидел Раздеришин в своем высоком кресле, уставясь на портрет отца, который бесстрастно взирал на мамаево это побоище. Несчастие отняло у него дар речи и соображения, один лишь мизинец на руке бился о бархатный локотник кресла. И все же это еще не было концом приключения...

— Стыдно, молодой человек,— с порога возгласил попок, отталкивая плачущего управителя. — Архиерея в блудильный дом приглашаете. За уши драть мало!

Земля вощанская колебалась под нами, веяло мглой посреди нас, а во мгле сидели стрекулисты и пожирали раздеришинские яства. Их царствие настало теперь, а мы, стоявшие вокруг стола, развлекали их своими испуганными харями. Вдруг Полуект скакнул к двери:

— Я тебя на горбу своем сквозь грозу несу, а ты... Ты за копейку в церкви станцуешь!.. Фу, высокого давления масштаб. Мой дом — блудильный? Тятенька в нем Феофилакта принимал, вице-губернатора самолично бил за этим столом... Э, да и какой я купец! Тятенька для архиерея быка жарил, сто человек певчих, фейверк... а у меня гусь сухожильный... — В крайнем остолбенении и слезах он простер руки к портрету: — Восстань, тятенька, и опровергни хулителей моих!! Хор, играй! — еще крикнул он куда-то в стену, но молчала стена. — Молчит хор, нету у Полуекта хора, ничего нет... ограбили!

— Вот у Ивана Парамоныча, действительно, хор был! — подзудил Василий Прокопьич со стороны.

— ...скучно мне, скучно, граждане! — плакался Раздеришин. — Для чего живем, у каких стен плачем, какую скуку питаем собою!.. В окаянстве живем, а свет где? Хха, прыгни, а ангелы поддержат тя. Попробуй, прыгни... Чуда жаждаю!

— Все в мире есть чудо, надо только глаза иметь,— с потемневшим лицом вставил Пустыннов.

— Век наш темный, век смутный, все может статься,— поддакнул и Суковкин.

В крайний предел душевной горячки вошел Полуект Раздеришин. Уже взять бы его да нести в чулан на отдохновение, но невозможно было остановить руками маховое колесо. То была граната, начиненная вырождением и наследственным алкоголизмом. Из его остановившихся глаз выглядывал, один поверх другого, весь раздеришинский род, с сумасшедшими тетками и пропойными дядьками, злые качества которых совокупились в их последыше. Не было покуда среди них одного лишь Ивана Парамоныча, но вот выпрямился мягкий Полуектов позвоночник, судорога пробежала по длинным его рукам, а глаз приобрел свирепую устойчивость: сам Иван Парамонович Раздеришин сошел в сына своего посрамить хулителей рода.

— Чуда!.. стрекулисты, вам все равно... вижу, как вы мертвые лежите, семеро в ряд. Излазьте мне землю, выцарапайте чудо... самое махонькое, приволоките его сюда. Тыщу даю за чудо! — Всеобщий испуг был ему ответом. — Две даю... — с великой властью произнес он, и родитель его беззвучно хохотал из его глаз над опущенными головами. — Три... кто сделает?

Тогда, отрывая от себя жалобные руки жены и не сводя глаз с Полуекта, Василий Прокопьич приподнялся с места.

— Я сделаю,— тихо сказал он.

— В каком смысле имеете намерение?.. — не сразу прищурился Раздеришин.

— А вот прыгнуть... Я и прыгну с Чудилова обрыва.

— При свидетелях сказано. Платим! — зло крикнул Раздеришин. — Лизавета Петровна, спасайте благодетеля!

— Я не пойду за вас, Раздеришин,— сказала она и пошла к выходу из духоты, и никто не осудил ее за то, что, молодая, она не принесла себя в жертву старому.

Дальнейшее не умещалось в переполненном нашем сознании. Образ многосаженного Чудилова обрыва стоял перед на-

ми, мы даже слышали непрестанный свист его и лай. Ни от кого не было тайной, что весь этот преступный спор Пустыннов затеял с целью покрыть растрату сына, а Полуект — чтоб отомстить за постоянные издевательства. По условию, Василий Прокопыч имел право прыгать в шубе и валенках. — В полном молчании мы разбирали нашу одежду и выходили на улицу. Ко мне, уже одетому, подошла Налька и просила принести сумочку, забытую вверху за столом. Я согласился неохотно, она заплатила мне ласкательной улыбкой. Посреди стрекулистского разгрома, в прежнем кресле и с поджатыми ногами, опустошенно сидел Полуект, широко расставленными глазами взирая на портрет отца. Я взял сумочку и, прижимая ее к груди, бесшумно спустился вниз. Но я не застал там Нальки, она не дождалась меня, и я не особенно бранил ее за это: сама судьба гнала меня вторично к маляру на обрыв.

...На улице стоял туман, из которого вылезала пожарная каланча.

VI

Дивлюсь спокойствию, с которым описываю первые приступы своей беды; дивлюсь, что ничего не забыл, дивлюсь моей беспечности, с которой я входил в Катюшину комнату. Я напугал ее; она что-то прятала под кроватью и смутилась при моем появлении. По-видимому, она снова решила воспользоваться моими деньгами. Я поцеловал ее в лоб и даже похлопал по плечу, потешаясь над ее смущеньем и поощряя к новым свершениям на том же пути. Она подозрительно оглядела меня, а мне хотелось одного: скорее накормить ее и отправиться к маляру на обрыв. Налькину сумочку я тайком вынул из кармана и положил на подоконник, прикрыв бумагой. Когда я вернулся с погреба, куда ходил за молоком для Катюши, я застал ее за рассматриваньем этой небывалой в Вощанске вещи. Это была заграничная сумочка, мелко расшитая бисерными розанами, тонкий багрец которых охлаждала прохладная, бисерная же, листва. Катюша наклонялась к вещи, не смея или не желая коснуться ее, и я перепугался при мысли, что Катюша может принять эту вещь за мой подарок ей самой. Она стояла спиной ко мне, схожая с летучей мышью; мне стало жаль ее, я обнял узкие ее плечи, одновременно прибирая искусительную вещь.

— Какая красивая... — сказала Катюша.

— Это вещь Андреевой любовницы,— в упор сказал я, но она встретила мои слова безразлично, точно я лгал. Она недоумевала, как эта вещь попала ко мне, а мне было унизительно оправдываться перед нею. Впрочем, я все-таки заговорил, и раздраженные мои показания кончились тем, что я смущенно уставился в пол.

— Я не спрашиваю тебя ни о чем, отец,— спокойно заявила она тогда.

Она видела, что я не прежний. Звезда моя взошла надо мной, и кактус зацвел среди вощанской ночи. Мне показалось, что она презирает меня и мое право на жизнь и радость. Я остервенел и уже не выбирал слов, кричал и брызгался, хуля Андрея и присных его. Я кричал, что не желаю умирать, не желаю никому уступать свое место, хочу любить и быть любимым, хочу гладить рукой женскую спину, хочу всего, чего смеет хотеть живой человек. Ни одним словом не попыталась она утихомирить мой душевный ералаш и, пожимая плечами, ушла к себе в комнату. Некоторое время я еще сидел, борясь с темным моим гневом, потом вдруг сорвался и, на ходу одеваясь, ринулся в дверь. Доныне звучит в ушах у меня Катюшин смех над увлечением... кем! Теперь он стал глуше и грустнее, мне легко нести его сквозь остаток закатных дней моих, а тогда до безумия расцарапывал мне слух. Ошалев от боли, я несся по каким-то неизвестным мне проулкам, направляясь к маляру. Застывшие в вечернем свете высоты были цвета топленого молока в омшанике...

Трижды права была ты, незабвенная Катюша. Чего искал я в этом доме, куда стучался с таким нетерпением? Любви ответной? Ужели дерзал я отбить женщину у Андрея Пустыннова, хоть и подлеца во многих отношениях, но героя по вощанским масштабам,— отбить Нальку и подкинуть Катюшу? Не ведаю, чего искал я там... но тянется к солнцу кактус не только из тайного стремления вонзить в него отравленные свои колючки. Впервые в жизни я любил без кавычек, диктуемых возрастом и положением моим... На низком подобии тахты, сооруженном из плах и войлока, сидела с ногами Налька: у окна, лицом к обрыву, стоял Андрей. Они торопливо оглядывались на меня: пугливым ожиданием совсем иных гостей были наполнены их тогдашние часы.

— Сумочку принес,— объяснил я свой приход, краснея, как мальчишка.

— Спасибо, дай сюда.

Не обращая на меня внимания, они продолжали свою отрывистую беседу, из которой я понял, что разговор шел о деньгах — уже не на покрытие растраты, а на самое существование. Не будучи в курсе многих обстоятельств, Налька советовала пойти к отцу. Тут-то я и сообщил им о возникшей между Васильем Прокопьичем и Раздеришиным сделке. Ироническим смехом встретил Андрей мое сообщение.

— Налька уже говорила мне... Пустяки! Отец не пойдет на такое дело. Отец — трус.

— Он страдает, Андрей Васильевич,— обиженно заметил я.

— Он страдалец по преимуществу... по профессии,— глумился он над отцом. — Такой не прыгнет!

— Василий Прокопьич поспорил с Полуектом на три тысячи,— сделал я нажим на сумме Андреевой растраты.

Он вздрогнул и задумался.

— Тогда, пожалуй, и прыгнет... — В лице его, впрочем, не приметить было огорчения; вскоре он покинул нас.

Столбнячно сидел я, раскаленный добела и держа влажные руки на коленях. Налька была в красных, отороченных мехом туфлях; волосы ее ореольно светились на фоне окна, в ушах качались широкие кольца, силуэт ее мне казался розовым. Я старался не глядеть на нее, она была прекрасна, как само искушение, предназначенное к моей погибели... и вот я уже болел этим искушением — самому истратить деньги, которые еще утром великодушно предоставлял Катюше.

— Адов холод у вас тут,— сказала она, поджимая ноги под себя. — Дай мне шаль с табуретки...

Ночное видение наяву мутило мне разум. Харя моя покрылась испариной. Я исполнил ее повеление, нарочно замедляя движение и тем самым останавливая время. Она посмотрела на меня с любопытством.

— Укради... — глухо шепнула она.

— Чего-с?

— Это у меня восклицание такое. Что с вашим лицом?

— Лицо как лицо! — дернулся я, щупая себе лицо. — Приятное лицо.

— Как тебя зовут? — Она осознала свою власть надо мной.

— Ахамазиков.

— Чем ты занимаешься?

— Говорящим бюстом служу в балагане! — грубо усмехнулся я.

— Я тебе нравлюсь?

— А я?..

— Ты мне меньше.

— Почему же вы заинтересовались... этим?

— Нужны деньги.

— Много?

— Четыре.

— А четвертая куда же?

— Хочу увезти его куда-нибудь. Он совсем болен...

— Нету у меня таких денег,— тихо сказал я, вставая и переходя к окну.

— Укради... — глухо шепнула она.

Я обернулся:

— Что это... бесстыдство?

— Любовь.

— В Вощанске нет таких денег... и, кроме того, я честный человек.

— Глупости. У меня дядюшка был тоже честный слуга отечеству, а подошел случай украсть, и украл.

— Ко мне еще не подступил такой случай...

— А если подступит?

— Не подступит. Стар я и немощен... — Сам не ведаю, почему сказались эти слова, когда весь я полон был обратного, но я вежливо поклонился в этом месте и пошел к двери.

...Всю ночь я не спал, даже не раздевался. Не удавалась мне моя любовь, хотя покуда это не было отчаяньем. Необоримая усталость валила меня с ног, но даже дрема не посетила моей подушки. В мыслях моих я кощунственно владел уже многим, но все не мог насытиться, ибо ненасытна мысль. Жена, перед памятью которой я благоговел, представлялась мне чудищем, пожравшим мою младость и ушедшим вновь в злой свой мрак. Решение самому воспользоваться моими деньгами укрепилось во мне. Я думал: Андрей все равно не полюбит Катюшу,— не было в ней таких качеств, за которые люди обратного пола дырявят друг друга или бросаются со скалы. Я знал Катюшу, потому что знал себя и ее мать. Все мое внимание было обращено вовнутрь, где было суматошно и пестро, точно настраивали праздничный оркестр.

— Ты не спишь?

Она вошла ко мне неслышно; она присела ко мне на сундук, и — такова была ее тогдашняя потребность — обняла меня. Я сидел с закрытыми глазами, пытаясь установить внутри себя порядок и понять причины, приманившие ко мне прежнюю

мою Катюшу. Ясно, она пришла ко мне сознаться в самовольно взятых деньгах... сознаться, но не возвратить их. Я еще не понимал, что жажда поделиться с кем-нибудь своим счастьем толкала ее на эту неумелую ласку. Она была в одной рубашке и не замечала того, ибо приходила, как та давняя девочка, которую украло у меня время, а теперь крал ненавистный мне человек. Живая Катюшина теплота текла в меня, и мне мерещилось, что другая женщина, желанная, посетила мои сумерки. Муть шла на меня, и я страшился показать дочери мои глаза... но я честно вынес эту пытку огнем и лаской.

— Никогда... никогда не останавливай в себе порыва. Если стучится в сердце счастье, не испытывай его ни временем, ни размышлением. Счастье мстит жестоко,— бормотал я ей.

— Ты любишь ее, папа? — спросила она, поняв мои слова как признание.

Готовая заплакать, она смеялась, она гладила меня по голове, она сочувствовала моему несчастью, под которым, подобно гусенице, извивалась моя суть... Я оттолкнул ее и вышел наружу. Была пуста отстоявшаяся тишина; капли измороси висели в ней. Все спало. В рассвете мутно блестели грязи. Улицу переходила кошка, неся на низких ногах круглое брюхо. Я позвал ее, но она испугалась и, невзвидя света, понеслась по грязям точно так же, как помчался и я менее чем через сутки. Без снов и прорывов в моем забытьи я продремал ночь. Катюша уже ушла на службу. Проснулся я от стука маляра, который изредка любил заходить ко мне потолковать о политике. Пока я готовил чай, он сообщил мне ужасную новость: ночью, когда пришли за тремя стрекулистами, один из них кинулся с обрыва и разбился насмерть; их арестовывали по мере поступления сведений в прокуратуру. Холодок прошел по мне, едва я вспомнил про Василья Прокопьича. Когда он ушел, я отправился на огород подвязать на зиму смородину. Прежде чем я успел наделать достаточное количество соломенных жгутов, сзади обхватила меня Катюша. Короток осенний денек в Вощанске...

Она была весела, ибо уже решилась на многое; ее приподнятое настроение рассеяло и мой собственный стыд за ночное происшествие. Хохоча и обнявшись, как прежде, мы вернулись в дом, и никогда мне не было так легко в отношениях с дочерью. Вплоть до вечера, поталкивая друг друга и подмигивая, мы резвились, как молодые котята на весенней траве. Веселого сумасшествия гений одарил нас в тот вечер радостью.

— Катюша,— спрашивал я, притягивая ее лицо к себе,— где же твои веснушки? Я так любил твои веснушки...

— Глупый, веснушки — весной.

— Так разве не весна теперь?

— Осень... но весна!

В окне уже стояла непролазная темень; опять она будила во мне непоборотые влечения.

— Мне нужно сходить по делу,— глухо сказал я тогда.— Ты ложись, ложись спать, а я пойду...

Она хитро улыбнулась мне и, грозя пальцем, проводила меня до крыльца.

VII

Меня тотчас оглушило и чуть не повалило ветром, беспорядочно и мощно струившимся над Вощанском. Это походило на великое осеннее переселение ветров. Они шли буйными ордами на новые кочевья; я слышал скрип незримых колес, гоготанье скота и ленивые посвисты пастухов. Я вглядывался и не видел ничего, потому что и сам я был для них существом невидимым. Они шли сквозь меня, а я — сквозь них. Раскинутыми лапами, стеня и крича, цеплялись деревья за ускользающий воздух. Сгибаясь и рукавом прикрывая дыхание, держась подветренной стороны домов, я заспешил к маляру. Жуть ночных улиц повышала мое подхлестнутое настроение. Никакие ветры не могли остановить меня или повернуть вспять. В дверь малярова домишка я стучал громко, по-хозяйски, ибо имел мне одному известную власть над этими людьми: я разумею мои деньги. Я входил деловито, как бы имея на лице надпись: «Вот и я... довольны ли вы все, что это я?» Ослепленный, я остановился на пороге.

— ...еще один! — вскричал откуда-то из глубины Андрей, прежде чем я увидел его.

Шла лихая гульба у маляра, и я не узнал маляровой лачуги. Было светло, как от тысячи спрятанных ламп, как в сновидении, и только тут я понял, что означает, когда делается «все равно». Меня вовлекли в происходившее действо, и вскоре я догнал всех их, а кое в чем и перегнал. Еще не оглушенным рассудком я сознавал, что становлюсь стрекулистом, и посвящение свое принимал с удовольствием. Я вошел Ахамазиковым, но уже «графом Цукатовым» при общих аплодисментах присел я на тахту по эту сторону Нальки. По ту сто-

рону свинцовым мешком сидел Полуект Раздеришин, мрачно наблюдавший течение пиршества, точно то были его похороны. Сегодня угощал он сам: ему надоело запойное его одиночество.

Мутнеющими глазами я обвел это зрелище, уже последнее в вощанской комедии. Разряженные домашними средствами, стрекулисты прыгали, чертогонили, тряся паклевыми бородами и стуча деревянными копытами. В углу граф Фаддей Шишкин объяснял осовелому маляру, как следует по-кавалерийски рубить собаку: подкинуть и ждать визга. Барон Стутенгейм братался с Жеребяковым, который только что обидел его неуместным действием. Фараон Петесухис лихо играл на гармонии, доставшейся маляру от покойного брата. То был сплошной апокалипсис человеческого отчаяния... Тут властным окриком Андрей остановил эту кутерьму. Неспешно достав из кармана какую-то бумажку, он согнул ее призмой и поставил на стол. Стрекулист Карпелан подбежал заглянуть, но Андрей свирепо оттолкнул его в грудь, и тот упал куда-то за дверь; в тот вечер он не действовал более.

— Я созвал вас, господа, затем... — начал он словами страшного произведения и подымаясь как бы на ходулях,— чтоб показать, как надо жечь секретную бумагу. Когда весь мир протягивает руки овладеть твоей тайной, надо поставить ее вот так и... дай спички, Балтазар!.. зажечь сверху. При таком способе не бывает ни дыма, ни копоти, а только потепление в воздухе...

Бумага горела ровно, и как зачарованные взирали мы на этот спокойный костер, где незримо миру сгорала и моя Катюша. Сморщенная колонка пепла росла и клонилась на сторону; Андрей ударил по ней ладонью, и черная копоть порхнула по сторонам. Потом снова начался разгул, а я, пропустив одну траурную минутку, решительно придвинулся к Нальке, к самому ее уху, так что витки ее волос щекотали мне лицо. Многих из приводимых ниже слов я не говорил, не смел произнести, но они живут во мне, и я верю, что они были сказаны.

— ...все это творится во имя ваше. Ветром разогнало хлябь большого моря и скинуло вас сюда. Осень — пора ветров, а Вощанск — дно жизни, которая бушует там, вверху... И ветром унесет вас в безвестность! По рачьему этому дну полвека ползал я, таская на себе тяжелую раковину... она вросла, ее не сбросить. Я поднимал голову и видел, как играют наверху

зеленые струи. Тогда я догадывался, что это и есть цвет вощанского солнца, смешной, бутылочный цвет. Через тысячу лет найдет мою скорлупу новый человек и скажет со смехом: «Экие чудаки обитали эту землю!» Ведь он не знает, что и я любил. Благословляю гибель вашу, люблю и буду любить, когда, повинуясь высокому закону, страшная и распученная, вы снова всплывете на поверхность мира...

Она не смеялась над моею правдой, оскорбленным взглядом она глядела мне куда-то в горло.

— Чего смотрите? — улыбнулся я, потирая рукой горло.

— Странно... если твою голову приклеить к шее теменем, вышел бы вполне исправный человек! — Вдруг мглистый ветер прошел по ее лицу, и я увидел у ней глаза Суковкина. — Пляши, Цукатов,— сказала она, указывая на средину комнаты, сразу опустевшую.

— Не умею... — озираясь на тишину, простонал я.

— Пляши, велю... — повторила она, вся подаваясь вперед и высоко занося брови.

Не помню, каким колдовским образом очутился на мне тот тесный глиняный горшок, но я плясал с горшком на голове, когда случилось это. Топотом моих ног заглушался высокий, неживой хохот стрекулистов. Цветные колеса катились сквозь мое сознанье, и в каждом стояло по Налькину лицу. Уже и не смотрели на меня, а я все еще притопывал среди объявшего меня молчания...

— Папа!.. — вдруг крикнул кто-то Катюшиным голосом.

Я обернулся к двери, я увидел Катюшу... Она стояла страшно, держа украденный сверток в руках. Вся темень позорища моего кинулась мне в голову.

— Вон, воровка!.. — завопил я, шагнув ей навстречу. Хари закачались надо мною, все это было как сплошной демонский фортель... и дальше я не помню ничего.

...Я очнулся от воды, которую обильно лил мне на голову Мосеич; за поведение меня выкинули наружу. Горшка на мне уже не было, но какой-то обруч еще теснил мне мысль. С полминуты лежал я с открытыми глазами, а стрекулист все держал надо мной протрезвительный ковш.

— Довольно,— сказал я. — Ну-ка, подыми меня, я пойду домой. Где Катюша?

— Ушла,— сказал стрекулист.

Я поднялся и сел на каком-то бревне; ноги подкашивались подо мной.

— А домой-то я, пожалуй, не пойду теперь... незачем.

— Посидим тут.

— Очень нехорош я был?

— Да чего уж хуже. Подвыпил ты, Цукатов!

Я опустил голову, мучила меня злейшая отрыжка.

— Много ты растратил-то? — пришло мне в голову спросить.

— Сто с четвертаком.

— Ну, и что же?

— Да ничего.

— Почему же ты так?

— Дочь у меня повесилась.

Минутным молчанием мы почтили память самоубийцы.

— Ничего не могу придумать тебе в утешение,— сказал я, вставая. — Пойду пройдусь.

— Погуляй,— напутствовал меня Мосеич.

Мысли мои кружились вокруг меня, как хоровод, и ни одну я не умел поймать. Почему-то я очень долго шел, прежде чем оказался на обрыве. Остановясь па краю, я глядел в расстилавшуюся предо мною ночь. Звезда моя стояла впереди, как покорная собака. Ветер ворчал в бездне подо мною. В далекой, непрозрачной глубине, где таяли звезды, вспухало зарево: осенью вкруг Вощанска горят деревни. Зарево было маленькое, беда далекая, чужая. Вдруг я увидел человека, который шел по краю обрыва, останавливаясь и вглядываясь за его искусительный край.

— Эй ты, Андрей? — спросил он меня, ибо кому, как не Андрею, было стоять над *таким* обрывом в *такую* ночь.

— Нет, это я, Василий Прокопьич.

— Что ты тут делаешь?

— Созерцаю одиночество огня.

— А я, брат, готовлюсь... — смешливо, в тон мне, признался он, запахиваясь от ветра в брезентовый свой плащ. — Хворост сбирал и все кидал его туда.

— Зачем?

— А прыгать-то! Покарябаюсь немножко, а цел останусь. Одним ударом деньги-то какие зашибу... — Он дрожал, но я испытывал смертельное равнодушие к этому человеку, которого взлелеял в сердце своем. — Ты за меня не бойся. Я, знаешь, полено сверху, отсюда, пробовал кидать. Ничего, лежит... упадет и лежит.

— Постой,— остановил я его. — Как же тебе отсюда видно, лежит оно или нет?

— А я вниз сбегу по тропочке, посмотрю... лежит. Я ведь хитрый!

— Ты хитряга, Вася, ты просто прелесть... я тебя люблю. Но ты меня берегись, вот я у тебя жену отобью!

— Ты пьян, Ахамазиков...

— Цукатов! — поправил я. — Слушай, а ведь Полуект-то не заплатит тебе...

— Заплатит! Отец его покупал вещи мертвые, а я продаю живую.

— Кому же он т о г д а платить-то будет?

— Андрею.

— Андрей не возьмет!

— Не смеет не взять.

Я ненавидел этого возлюбленного мною человека именно за то, что он вызывал во мне жалость.

— Слушай... — сказал я, весь трепеща,— а ты сам... присутствовал при казни?

Он пошатнулся, но сделал вид, что не расслышал моего оскорбления, а я не порешился повторить.

— Прах, прах этот люблю, жизнь люблю... Смешно, Ахамазиков, вчера полтора часа просидел на стуле, любуясь на закат!

— А прыгать-то сбираешься — от жизни бежишь?

— Перед Андрюшей оправдаться хочу.

— Ага, значит, есть вещи, которых не следует переживать. Слушай... а Яков знает? Ты Якову не говори.

— Нет, Якову не надо. Яков будет жить, Яков будет инженером...

— ...Яков будет инженером! — важно повторил я.

— Яшка умный, но чудак. Он думает, что дворцы да башни дадут воздвигать... Сарап да собашники заставят строить!

— Нужны и собашники человеку.

— Нет, ты погоди, ты темный, ты самоучка, Ахамазиков...

— Цукатов! — поправил я.

— ...ты не знаешь ничего, а обо всем предпочитаешь догадываться. Мир пропитан тайной. Природа любит тайну, холит и нежит ее...

— Тайна персицкого двора... — захохотал я, представив себе его в тюрбане.

— Да, много есть рогатин на темного зверя, а первый зверь — душа... и никакие клетки не страшны ей. Построят машины, которыми станут доить мир, как корову...

— Ну, всего не выдоишь. Эка махина! — кивнул я на мрак с нахлобученной на него звездной короной.

— ...а душа останется та же, что и в начале дней. И все-таки горжусь Яшкой, Ахамазиков. Благословляю тебя, Яшка!.. И над сараем твоим пройдут люди, сильные, не подлые люди, не мы... пройдут и скажут: «Сыми шапку, здесь человек трудился!..» Но Андрей — старший мой, а кто... кто скажет через тысячу лет: «Сыми шапку, здесь страдал человек!..» А?.. думаешь, не скажут?.. Потомки, я презираю вас! — Он покачнулся: положительно, тянула его в себя предстоящая пучина.

— Спать хочется,— зевнул я ему в самое лицо. — А насчет того, что скажут они через тысячу лет, я вернее знаю: посмеются, Василий Прокопьич! Прощай, милый...

Я завернул за угол пригорода; пахнувший в меня с какого-то сеновала тучный и горький запах выбил из головы моей память об этой встрече. В настроении воистину цукатовском я плелся куда-то, стараясь осмыслить и связать вощанские события в одну формулу. Однако соображение мое было шатко, да и все вещи на пути моем пытались сшибить меня с ног своим спрятанным смыслом, о котором третьего дня философствовал Андрей. Ветряная шумиха заносила странные образы в меня, и я тотчас же переносил их на реальное место в бытии. Так, вдруг увидел я за деревом человека и его собаку; они глядели в иную сторону, но явно подкарауливали меня. Они растаяли прежде, чем я замахнулся на них палкой. Я увидел также огромную серую личность, образованную куском овина и разлохмаченной соломенной кровлей; она уставилась куда-то сквозь меня, но я погрозил ей пальцем, и личность, струсив, растаяла в ничто. Мелкая дрянь пронырливо катилась под ноги мне, я наступал на нее ногой, и она притворялась будто бы с дерева опавшим листом. Я шел напролом, не боясь ничего: плевать мне было на Вощанск и его ночные страхи...

Калитка оказалась незапертой, а дверь раскрытой. Настороженно я вошел, чтобы не разбудить Катюшу. Густой, непрозрачный запах пролитых духов стоял в домике, и вдруг я струсил. Коленки мои подогнулись, глаза запрыгали в орбитах, и прежде всего омертвел мой нос. Страшный образ висящей посреди комнаты Катюши ошеломил мое воображение. Я не смел отворить дверь в ее комнату, чтоб удостовериться, но я знал

об этом всем существом моим. Я метался по темной комнате в поисках ножа... нож пропал, нож спрятался, как сокрылись и спички. Тогда я обессиленно прислонился к печке, пальцы мои прилипли к ледяным изразцам. Тишина терзала мой слух... Мокрый и грязный, спотыкаясь и падая, я побежал по улице. Стенания мои топтал ветер. Какие-то черные, нескладные кибитки шли по мне, окруженные скотом и непонятными людьми... я сходил с ума, и никто меня не поднял, пока я снова не пришел в себя. Тогда спокойно я вернулся в дом. Все внутри меня было строго, почти сурово. Я не замечал ни холода, ни удушающей волны духов. Я отворил дверь к Катюше, я вошел. Комната была благополучна и пуста, но это не облегчило мне моего душевного груза.

Тело мое болело, как от побоев. Я нашел спички и зажег лампу, потом затопил печь и сел на кровать ждать Катюшу. Я ждал терпеливо, Катюша не шла. За три часа я увидел и осмыслил многое. Две мелочи меня раздражали: трещинка на абажуре и репа на окне. Абажур я повернул другой стороной, а репу съел. Катюша не приходила. В комнате был разгром: одеяло валялось на полу, ящики комода были выдвинуты. Тогда воспоминанье о свертке с деньгами упало на меня; я искал его везде, но свертка не было. Катюши не было, ничего не было. Лишь тут я понял, что Катюша, семя мое и радость, навсегда ушла от меня. И первое, что я сделал... я накрепко вытер тряпкой лужицу духов на полу. Самому мне представлялось это так: со спутниками по вощанской пустыне проходит Андрей и палкой сбивает с кактусов дурацкие их головы. Так замахнулся он и на меня и выбил мутный сок из-под колючек... но живучи дети вощанской пустыни.

VIII

Утром я еще раз, на всякий случай, вошел к Катюше. Кровать ее была пуста, и комната уже выглядела нежилою. Делать мне было нечего, кипятить чайник для одного не хотелось; хлебнув холодного чая, я пошел на огород перекапывать малинник. За мной прибежала Лиза с вестью о новом несчастье, которое почему-то совсем не тронуло меня: ночью Василья Прокопьича разбил удар.

— Где это случилось? — спросил я сразу.

— На обрыве у маляра... — заплакала Лиза.

— Не убивайтесь, милая девочка,— утешал я ее, догадавшись, что дождался все-таки сына в ту ночь Пустыннов. — Гоните грусть взашей, молодым грустить не о чем.

— Жалко мне, жалко мне их... и скучно, скучно с ними,— созналась она, вдруг ощутив доверие ко мне. Она была так взволнована, что не спросила о Катюше, а длилось только еще раннее утро.

Пусто и серо выглядел пустынновский дом, как и бессонные лица его обитателей. Только проскользнул мимо нас, пряча лицо, Суковкин с тазом, а в тазу гремел лед. Он делал вид, будто в суматохе не заметил меня. В комнате сидели Яков с матерью; две совы глядели из ее глаз, а нос был красноват, и я подумал, уж не выпивала ли старушка с горя. Анна Ефимовна уговаривала сына скорее уезжать из Вощанска, и тот как-то слишком поспешно и охотно соглашался, ибо приступала ему якобы пора начинать его дипломную работу. Уши его горели, однако, понятным смущеньем.

— Ну, как? — спросил я про Василья Прокопьича.

— Лежит,— деревянно ответила та.

— Говорить-то может он?

— Мычит... по глазам разбираю. «Жена, спрашивает, ведь я никому не должен?» Никому, говорю, лежи... со всеми расплатился.

— Можно к нему?

— Погоди... Андрей у него.

Я бесстрастно подивился присутствию Андрея, которого уже почитал в бегстве с Катюшею, и даже подумал сперва, не искушает ли меня мое ухо... Потом я трезво представил себе, как недвижно лежит в соседней комнате Василий Прокопьич и двое смотрят в него со стороны: живой — Андрей и мертвый — Петр Годлевский. Яков курил, а Лиза сидела возле Анны Ефимовны, обняв ее за плечи. Я прислушался к их разговору.

— Анна Ефимовна, похожа я на папу?

— Вылитая,— качнула упрямой головой старуха, и я усмехнулся ее выдержке.

— Он умирал в больнице, да?

— В больнице. Доктора говорят: «Резать надо». Разрезали, а рак-то уж во все стороны расползся, нити пустил...

Лиза грустно улыбалась; она знала, что отца ее повесили царские слуги, она гордилась этим... Сухую ложь старухи Пу-

стынновой она, по светлости своей, принимала за стремление оберечь девушку от сокрушительности знания об отце. На моих глазах Лиза крепко и душевно поцеловала старуху, и та не воспротивилась ей. Раза три за это время пробегал мимо нас Суковкин то со льдом для хозяина, то по собственному почину, обнося нас чаем. Поставленный на свое место, он положительно мог быть полезным человеком в домашнем быту; вся его фигура выражала готовность услужить. Яков жестоко засмеялся, когда тот подбежал и к нему с своим подносом; ожесточенный собственным горем, засмеялся и я. Тогда-то на пороге и появился Андрей. На охудевшем лице его лежали как бы трупные пятна, но то был румянец. По-видимому, он ничего не соображал, ибо вовсе незачем ему было подходить ко мне...

— Тише, Цукатов,— сказал он мне вполслуха. — Провокатор умирает.

Я преклонил голову перед его ужасной болью. Андрей знал все, и растрата его была судорогой, которую причинило ему несчастное его знание. Он стоял, и никто не заговаривал с ним,— Анна Ефимовна от усталости, а Яков потому, что был уверен, будто отец сбирался прыгать с обрыва по его, Андрееву, уговору. Не останавливаемый никем, Андрей Васильевич вышел в дверь без шапки и пальто, а лил дождь. Придя в себя, я кинулся за ним и догнал его на улице, дома через три от пустынновского.

— Катюша?.. Куда ты девал мою Катюшу? — бормотал я, цепляясь за карманы злодея, но он дико посмотрел на меня, и я выпустил мою жертву, ошпаренный новой догадкой.

Разумеется, Катюша ушла с тем молодым и неказистым парнем, которого я пожалел в самом начале этой суматохи; разумеется, он больше подходил к Катюше, нежели Андрей... Долго еще я стоял, топчась на дожде и потерянно следя за удаляющимся Андреем. Вспухали пузыри на лужах, ползли грязи, ноги мои смертно стыли,— я пошел домой. Все мне было видно вперед и назад с одинаковой ясностью. Есть мне не хотелось, и я мог варить мой обед когда угодно, не боясь доставить кому-либо неудобство. Свобода моя не пугала меня... Вольную в своей судьбе и счастье, я не осуждал Катюшу, но тайком все надеялся, что вот она вернется,— великодушная к слабости старика. День кончался, и я в утомлении закрыл глаза,

а когда открыл их — начинался следующий день. Я проспал сидя.

Вечером потянуло меня на обрыв. Одевшись потеплей, ибо некому было заботиться обо мне, я снова вышел в мир. Неузнаваемо переменился он за дни нравственного моего беспамятства: в мире недоставало Катюши. У маляра я застал Раздеришина, который торговался с ним о покраске решетки на могиле отца.

— Больно дорого хватаешь, почтенный. Эка невидаль, забор покрасить маляру. Ты дырок-то не закрашивай, ты только самую решетку крась... — без воодушевления выговаривал Полуект, пряча от меня опухшее лицо.

— Дырки... чего ж их красить! — вторил маляр, мешая какие-то краски. — Вот мумией и покрашу.

— Неблагородно, пожалуй, мумией-то... да и сохнет долго!

— А мы ее с сиберлетом... голая мумия тоже не годится.

— Что ж это такое сиберлет? — спросил я.

— Порошок такой.

Вскоре Полуект ушел.

— Все, что ли, уехали? — между прочим, осведомился я.

— Ветром намело, ветром и смело. Слышал, ночью-то?.. Крест-то на колокольне ветром опрокинуло, с корнем вывернуло. Придется завтра сызнова лезть.

— Ничто на таком ветру не устоит,— ответствовал я.

Знал, по-видимому, Николай Егорыч и о Катюшином бегстве.

— Поступай-ка ко мне в службу, замазку тереть. Буду я тебе платить шесть гривен в день, сапоги мои... — Была мне целительна грубоватая ласка маляра. — Наш труд веселый! Антенну надысь связывал у секретаря, бурей порвало, стриж в меня на высоте ткнулся... рванулся с испугу и в воздухе споткнулся. Видал ты, как птицы спотыкаются?

...На обратном пути зашел я в малярову баню, могилу моей последней вспышки и колыбель. Ледяной сыростью дохнули в меня черные стены, а посреди стояло приставленное к лавке деревянное корыто. Посмеявшись и потрогав вещи, еще недавно столь чудесные, я пошел по дороге. Теперь я вправе был издеваться над прошлым и будущим, но настоящее издевалось надо мной. Потом время вступило в свою должность. Полагается осенью ждать зимы, а зимой — весны.

В иную жизнь, к успехам и победам, уехали Яков с Лизой, порывая пуповины с Вощанском, и я сам, в числе прочих, махал им платком; свадьба их была мне похоронами, да и не одному мне... Василий Прокопьич выздоравливал, хотя и не мог уже с прежним рвением предаваться огородной страсти. Чаще сидел он на террасе с закутанными ногами, схожий с пиковым королем из растерянной колоды, и уже я развлекал его своею философией. Снег выпал в этом году ранний, Вощанск помолодел, раны закрылись: восхитительна наша зимняя пустыня. Ничто теперь не будоражило уединенной нашей дружбы, бремя которой я нес безропотно. Никогда не заговаривал я с ним об этой вощанской комедии, посмеяться над которой я призываю ныне все истинно передовые умы...

1927

БЕЛАЯ НОЧЬ

I

Огромная розовая лужа стоит на въезде в Няндорск; она спит, потому что утро. В неверном, опрокинутом виде отразились в ней смешное, растрепистое облако и косматая придорожная ветла, — вот так же, розово и зыбко, явь отражается в снах. Белая ночь тает, ржавой позолотой расцвечивает тундру день... все еще длится прохладная тишина, насыщенная тонким комариным звоном. Но вот конь ступает в воду, проваливается в черную жижу колесо, и скрипит ось, мутится ил, и меркнет розовое очарованье лужи.

— Э, расступается, никак, земля? — спросонок бормочет Кручинкин и с неохотой открывает глаза.

Телега проходит по воде, холодок сочится сквозь сермягу. Кручинкину кажется, что утро серо и ветер дует с севера. Сердце его спокойно: вокруг обступила тундра, знакомая, как свой дом. «Эка, край неиссячный!..» Он снова едет, усыпляемый поплескиваньем молока в бидоне; он дремлет и улыбается удавшейся хитрости — уехать из дому в тот самый день, когда жене родить. Должно быть, так улыбается большая глупая рыба, идя в вершу.

Он так до самого конца и не понял, что в городе нехорошо. У заставы его разбудил патруль, и офицер, натуго затянутый в походные ремни, был печален и пронзительно вежлив. Потом на постоялом дворе, где всегда он оставлял подводу, отправляясь с молоком по знакомым домам, напрасно пугали его знакомцы рассказами и про красных партизан, прорвавшихся на Пундож, и про знаменитого бандита, уловленного в позапрошлую ночь, и про английского полковника, которого застрелил

накануне сумасшедший гимназист. Жевал свою баранку Кручинкин и посмеивался занятному предположению, что, пожалуй, и жена и овца разродятся в один и тот же день. Он слушал и зевал, потому что бандит не состоял ему ни в родне, ни в свойственниках, а военный англичанин, должно, и впрямь заслуживал постигшей его неприятности.

Глаза этот мужик имел хитрецкие, на щеках его редкая, как в плохой урожай, произрастала соломка, а усы торчали врассыпную... сразу видно было, что хозяин их — веселый, безопасный человек. И верно: кроме своего мужицкого дела, не разумел Кручинкин ничего. Потому лишь и не поразил его ни привязной аэростат, маячивший над городом, как нудное напоминание, не привлекли вниманья и черные флаги, еще с ночи развешенные по улицам. В душе он даже посмеивался над пустым обычаем людишек тратить добротную ткань на свои печали; безучастный свидетель грозных лет, он явственно видел, что вот и высохли вдовьи слезы, и подросшие сиротки водку хлещут, а потраченного коленкору не вернуть...

Кроме того, застал он серые афишки на заборах; словами торжественными, как шелест склоняемых знамен, горожане призывались в них к скорби об утрате английского испытанного друга России. И еще там же, в немногих пунктах, отрывистых, как щелк взводимого курка, сообщались жителям правила поведения, сочиненные новым комендантом Пальчиковым. Безвестность этого нового няндорского господина пугала больше, чем даже мертвый английский полковник, незримо требовавший себе отмщения и жертвы. Мутные клейстерные слезы выступили из-под афишек, а Кручинкин ехал и думал: «Эки драхмы висят!»

Самой природе, видно, отныне вменялась в обязанность грусть. Зелень полиняла, светило затмилось, а ветер поволок с севера караваны облаков. В опустелых улицах стало тревожно и пыльно, собаки сидели на цепях, а дети точно вымерли. «К вечеру надоть поспеть домой. Получу вот только деньги с толстого доктора — и домой. Соску еще купить наказала повитуха... И хлынет к ночи буря, а я уж дома сына стану нянчить, хи-хи!» — так рассуждал Кручинкин, проезжая мимо знакомого церковного двора. Сухое дерево стояло там, полное галок, сидевших в нем, как в огромной плетухе. Метнулась, точно шавка под ноги, мыслишка, что галки, пожалуй, не к до-

бру, но тут отвлек его вниманье смешной человек с бадейкой. Он сутуло бежал по обезлюдевшему проспекту, изредка приплюскиваясь к заборам, и всякий раз после того оставался квадратный бумажный следок.

— Эй, отдохни, жулябина... весь город заследил! — вдогонку покричал ему Кручинкин, но тот лишь молча погрозил ему бумажным свертком и пропал.

Кручинкин завернул на Мшаник.

Черный флаг, как укрощенный змей, качался на воротах и все норовил лизнуть его в лицо, но мужик схитрил, изогнулся и, гремя бидоном, скользнул во двор, — он всегда так гремел, давая знать о себе заране. Дверь к толстому доктору стояла отпертой, но и этому последнему предостережению както не внял Кручинкин. В прихожей, куда из кухни падал скудный свет, он осторожно поставил на пол свою ношу и ждал, но никто не выходил к нему навстречу — ни сам, ни его свояченица, точно никто не нуждался более в знаменитом его молоке. Тогда он принюхался, — в доме пахло солдатским, пахло бедой, а на подзеркальнике, в соседстве с черной докторской шляпой, лежала офицерская фуражка; ее немигающая белая кокарда в упор наблюдала Кручинкина.

— Ну-ну, чего уставилась... — суеверно махнул он в ее сторону, думая, чтоб не сглазила.

Он замигал виновато, завертелся и, лишь увидев человека, спрятанного за дверью, облегченно вздохнул. Но человек был солдатом, в руках он держал военное ружье, бедой пахло именно от солдата. Из его аляповато раскинутых скул сквозила родная, мужицкая сметливость, только безмолвствовала она, закованная в английскую шинель и военные обмотки.

— Ишь куды поставили-то тебя... — оторопело молвил Кручинкин и, вдруг решась, бережно коснулся солдатовой руки; теплота человека повеселила его: человек был живой, значит — друг Кручинкину. Тогда он заликовал и завертелся, на радостях давая волю языку. — Стоишь, чудодей?.. а безжизненно стоишь, без искорки. Я и сам семь лет у царя в гостях отшагал... и ранили меня, милчок, в эко место, что и довериться совестно. Уж располагал — всему роду пропадать, а ноне, глянь, сына жду! — Он пел сразу всеми голосами птичьими, и по тому, как восторженно морщилось у него переносье, всякий мог видеть, что ему очень это нравится — жить. — И как рожу я сына, слеплю себе домок новый и по всему саду крыжовнику

насажу... Эх, милчок, много заморских плодов я в военные годы отведал, а краше крыжовника не нашел в свете ягоды!

Его заведомая хитрость с головой выдавала его волненье, а солдат все молчал, уставясь в свою солдатскую неизвестность.

— Да, милчок, кто к чему прикован. Ты вот прикован стоять, а я ходить прикован, а иных, станет время, без отдышки летать прикуют. Порхай, скажут, жулябина, а то и ползать не станешь!.. Все мы на сладкую цепь прикованы и неволю свою больше жисти возлюбили. — Он все ждал толстого доктора, который расплатится с ним и отпустит, но время шло, хваленое красноречие мужика иссякало, а барин все не шел.

Тишина беды дальше стала так невыносима, что Кручинкин упал бы духом, если бы не нарушил ее докторский голос, такой ровный, точно читал по книге, такой глухой, точно доктор произносил слова в стакан, тесно прижатый ко рту.

— Мой мальчик застрелил его за то, что тот пристал к его невесте. Так сделали бы и вы, поручик, на его месте! Кроме того, мой мальчик...

— Ваш мальчик глуп,— перебил его другой голос, резкий и неприятный.

— Не раздражайтесь, поручик, а рассудите без истерик. Англичане ведут с нами скверную игру... игра с болваном, поручик! Они вооружают на наших окраинах всех, кому дорого имя России, а потом уходят... или уйдут!.. а оставшихся смоет красная волна. В прежние времена это каралось по тысяча четыреста пятьдесят четвертой статье... поинтересуйтесь! А мы орем «ура» на собственных похоронах... — Он задохнулся, и какая-то мебель яростно поскрипела вкруг него. — Приятнее, разумеется, быть кнутом палача, чем спиной жертвы...

— Я все-таки расстреляю вашего идиотского гимназиста,— очень сдержанно откликнулся другой.

...Со смятенным сердцем Кручинкин внимал разговору за портьеркой, и вдруг, точно мраком его осенило, догадался он, что флаги, пожалуй, не для красы, и к слезам бумажки на заборах, что солдат поставлен тут не для забавы, а для уловления всяких сокровенных преступников, подобных ему, Кручинкину. Бормоча что-то про забытый внизу лестни-

цы сыр, он робко взялся за скобку двери, и тотчас же солдат заученно и лениво отпихнул его назад, лишая последней надежды.

— О, сердитый какой... — подивился Кручинкин, понимая, что отныне уже не принадлежит самому себе, но закону. Именно закон отражался скукой и равнодушием в лице солдата. И оттого, что иного выхода отсюда не стало, он осторожно раздвинул бахрому портьерки и заглянул в комнату.

За круглым, со свисшей скатертью столом сидел сам толстый доктор, весь в табачном дыму. Он курил и безотрывно глядел на каланчу с перебитым шпилем и в тундру за окном, где пятнисто, седые и рыжие, мешались мхи. Там накрапывало. Другой, в форме старшего английского сержанта, деловито потрошил докторские книги и слегка улыбался; в ту минуту он как раз достал оттуда аккуратную пачку николаевских билетов. К нему шла эта снисходительная улыбка; он был очень приятный, какой-то наливной весь, и кажется, если б проткнуть его булавкой, оттуда брызнула бы розовая тугая струйка сгущенного молока. В третьем, сидевшем к двери боком, Кручинкин сразу признал начальника. Молодой и высокий, он как-то противоестественно прямо сидел в кресле, выпуклым затылком упираясь в резную спинку, такую вычурную, что казалась курчавой. Машинально, в такт недобрым мыслям, он ударял кулаком по локотнику, и бархат шипел, пылил, лохматился, и вот уже языками взвивалась пакля из непоправимой раны. И хотя все в нем, от гладких офицерских сапог до великолепного пробора, вопило о некоем самодовольном благополучии, Кручинкин видел, что поручик скоро умрет.

Это и был Пальчиков, новый господин Няндорска, и Кручинкина неотвратимо повлекло к этому громадному начальнику, который мог умереть до того, как успеет распорядиться его, кручинкинской, участью. Трепеща, он просунул голову в щель портьерки и, памятуя, что начальство любит веселых, улыбнулся проникновенно и сладостно, ото всей души и во всю рожу; потом, волоча впереди себя бидон с молоком, как доказательство безвредности своей, он смело сделал первый шаг.

Скосив в его сторону впалые, неживого цвета глаза, поручик дико взирал на приближение Кручинкина, — так он был затравлен событиями предыдущих дней. А тот все двигался,

сам восхищаясь доблестью своей, не сводя глаз с просторного поручикова лба, в котором сосредоточилась теперь, как в темнице, участь его дома, его крыжовника и всего рода его,— шел, им обоим показалось — вечность, мысленно шикая на шумливые свои сапоги; шел, улыбаясь все страшней и ласковей, шел сказать суровому начальнику, что солдат его обидел зря, что товар его дозволен свыше, что он чтит всех полковников в мире и единственно грешную страсть питает лишь к крыжовнику, потому что краше нет на свете ягоды... и еще,— если податлив окажется начальник на дружелюбную беседу,— что не следует зря портить ножичком такой красивенький стульчик.

Он шел, а поручик все бился в кресле, как при галлюцинации, и помраченная мысль текла из его недвижных и белых, как две кокарды, глаз.

— Кручинкин мое фамилие... — весь вытягиваясь и замирая, подобно птице на току, начал Кручинкин и не кончил.

Пальчиков выгнулся, сжался, как в удушье, и выпустил на пол звонкое лезвие из кулака. То, что по всем основаниям представлялось перочинным ножичком, оказалось просто пилкой для ногтей. Но, прежде чем кто-нибудь уловить успел, что именно случилось, Пальчиков со всего маха оттолкнул мужика ногой.

Все это случилось так быстро и нелепо, что никто не сумел предотвратить событие, ни даже сам Кручинкин, с прежнею блаженною улыбкой оказавшийся на полу. Белая, с легкой синцой лужа ползла к его ногам; в ней отражались часть окна и тяжкие, подкованные железом ботинки сержанта. Водя пальцем по своему расплеснутому богатству, Кручинкин ошалело соображал, что соску купить теперь станет не на что, что напрасно, пожалуй, он покинул жену в ее трудный родильный час... Какое-то время они все оставались на своих местах.

Вертя головой в тесном воротнике, точно ему только жарко стало, а не стыдно происшедшего, Пальчиков первую минуту хотел броситься подымать мужика, но раздумал. Кручинкин явно был цел и невредим. Поручик отвернулся,— какой-то палец, тайного недуга или провидения, неотступно давил ему в затылок.

— Вот видите, доктор... —начал он, конфузясь недавнего испуга.

— Вижу,— как-то бессмысленно ответствовал тот.

II

Он ударил Кручинкина именно потому, что испугался его лица. За время гражданской войны он привык не доверять улыбкам, за которыми скрываются самые неожиданные людские намерения. Кроме того, как все неизлечимо больные, он во всем подозревал худшее, и, уж такова была его удача, он редко ошибался. Никто не ведал названия его недугу, но, когда он сам небрежно определял его как переутомление, он лгал. В этом тошном месиве вина и скуки он один из немногих вел трезвую и размеренную жизнь; приятели бежали его подчеркнутого аскетизма, а он любил жизнь больше и с бо́льшими основаниями, чем любой из них. Он и недуг-то свой принял как издевку той самой жизни, которую боготворил.

То случилось в великую войну,— Пальчиков был юнцом, носил на груди иконку — благословение матери. Тогда еще кипели патриотические страсти, не разбавленные покуда ни предательством, ни разочарованием, и ему тоже захотелось стать героем. На зыбком влечении этом он вырастил юношеское свое миросозерцание; покинув политехникум, он на войне искал встреч с гибелью, чтоб, насмеявшись над ней, ее позором укрепить свою собственную волю. Судьба подарила ему эту возможность: конная разведка, в которой участвовал и прапорщик, наткнулась на газовую волну. Отряд ускакал, а кобыла Пальчикова застряла копытом в мостовине. В лихую эту минуту, когда уже гаснул мир, Пальчиков и открыл под мостом неприятельского телефониста; тот пристально наблюдал прапорщикову суматоху, прикрытый резиновой харей со слюдяными глазами — противогазом. Произошла беззвучная и беспримерная схватка; кусаясь и скрежеща, прапорщик отнимал эту спасительную резиновую харю, и скоро уже сквозь захватанную пальцами слюду ее он увидел искаженное лицо врага. В тишине смерти плелся он домой, и музыка переутомления сладостно гремела в его ушах. Мир разверзся перед ним, обнажая свои красоты, именно тем и обольстительные, что были им собственноручно вырваны у смерти. А через установленные сроки на его растрескавшихся губах явились первые язвы.

Втайне от товарищей он старательно заделывал дырки, которые проедала в нем скверная его болезнь, и временами это ему удавалось; только сам как-то отяжелел и на ноги, и на любовный порыв, и на дружескую попойку. Уходила испако-

щенная юность, ненужной стала девушка, в чистоту которой тем приятней было верить, что она предназначалась для него одного, он разучился играть на виолончели, и даже бином Ньютона становился для него мудростью недосягаемой. Дичая и грубея, он дрался за идеи, менявшиеся как дни в календаре. Потом страна шатнулась, сместились политические координаты, подобно паровозу из мрака явился Няндорск, и Пальчиков уже на нем помчался навстречу своему злому жребию.

Няндорск!.. Никогда прежде не засорял он памяти полупочтенным этим городишкой. Но, как невеста украшает себя в преддверье жениха, эта непорочная российская щель превратилась в Няндорск блистающий, с кабаками и штабами, с иностранными комендантами и женщинами, одно появление которых на улицах будило в няндорских дикобразах вожделение и ужас. Впрочем, практические англичане предпочитали визгливых офицерских жен и мечтательных няндорских поповен; протоиерей Иван Градусов, коему за многосемейность и название дали — Восемь Девок, грустно шутил, что девственницы теперь попадаются только при крещении. Волшебством века гриб зацвел пестро и ядовито, и выпал один страшный день, когда про Няндорск узнал весь мир.

Значение Няндорска возрастало по мере приближения фронта: белые отступали, открывая проход к морю. Англичане сердились, грозились уйти, но не уставали давать мундиры, галеты, какие-то нелепые пушки, почти единорогов, оставшихся от бурской войны, а на духовную потребу — ром. Взамен они требовали безусловного подчинения, прославленной русской храбрости и, наконец, известное количество леса с местных лесопилок. Ликование шло повальное, и, хотя впоследствии многие утверждали, что без разрешительного английского штемпеля воспрещалось даже жену любить, медовый месяц протекал благополучно. Она жадно веселилась, эта снежная Африка, и музыке военных оркестров нестройно вторили ропот фронта и глухой арктический буран. Вдруг гриб зачервивел, поползла генеральская заваль, не годная ни на какую затычку, и Пальчиков гневно преклонялся перед почтенными сединами этих воскресших теней. Все чаще нападала хандра на поручика, все неотвязней давил незримый перст в затылок, все настойчивей мытарил призрак великой России, которую, как печать и бремя, положил в сердце своем.

Когда веселого ротмистра Краге выгнали из контрразведки за нерадивость,— это случилось после скандала с английским полковником,— его место занял Пальчиков, командир Волчьей сотни. Так желали в штабе фронта, где Пальчиков имел доброжелателей, но повышение не порадовало молодого офицера. Цинической беспечности к новому ремеслу он и за год работы не успел бы приобрести, а пользоваться готовою моралью веселого ротмистра означало для него степень крайнего падения. «России нужно приказать, чтобы она просветлела. Для этого следует учредить институт чиновников, которые должны ездить по всей стране и давать всем подряд в морду без объяснения причин» — такова была приблизительная установка Краге, которая со времени военных неудач у белых вызывала в сферах достаточное сочувствие.

После ночи пьяных проводов Пальчикова, на которых лишь сам виновник торжества сидел трезвый и угрюмый, он ездил отказываться от назначения, ссылаясь на неопытность в делах секретной психологии и на недобрую боль в затылке; он просил о переводе на фронт, но высокое начальство посмеялось его доводам и не одобрило поручиковой скромности.

— Пустяки, голубчик... Холодный душ снаружи, горячительное внутрь, и вы станете как молодой бог. Дело ваше простое: ловите прохвостов и вешайте, вешайте их, голубчик. Укрепляйтесь на малом, и когда-нибудь мы вас сделаем всероссийским комендантом... Прямая дорога в историю-с!

Пальчикова коробил гаерский тон начальства.

— Тот гимназист уже арестован, ваше превосходительство.

— Да, кстати... мы имеем секретное предписание от английского командования насчет сугубых репрессий. Это по поводу убитого полковника... Вы уж распорядитесь там, голубчик!

— На какое количество вы рассчитывали, ваше превосходительство?..— сухо осведомился поручик.

— Ну, десяток там, два десятка... я не знаю,— с видимой досадой нахмурилось начальство.

— Я не располагаю таким количеством арестованных,— двигая затекшими пальцами в сапоге, сообщил поручик.

Начальство явно сердилось:

— Надо найти... Что-о? Надо найти, говорю. Разве в России люди перевелись, черт возьми! — Оно смутилось присталь-

ного взора Пальчикова. — Ничего не поделаешь, голубчик. Россия плодовита, но в ней не растут, к сожалению, английские полковники... — Начальство улыбчато поюлило глазами, как бы показывая, что принуждено заискивать даже в подчиненном. — Наше дело подневольное, мы на харчах у них, мы не гимназисты, мы военные...

— Африка мы или не Африка, ваше превосходительство? — сдержанно спросил Пальчиков.

— Э, батенька, британцу везде Африка! — откровенно кряхтело начальство.

Ему, по-видимому, нелегко давались такие признания. Начальство неожиданно хлюпнуло носом, и вдруг подчиненный с негодованием увидел, как прозрачная слеза выкатилась из начальственного глаза на сверкающий лак стола.

Тогда Пальчиков нагнулся к пресс-папье и очень вежливо промакнул этот горький залог начальнического расположения и искренности. Удерживаемый бешенством, он продолжал стоять, высокий и жесткий, как шпицрутен, и все глядел, все глядел, не отрываясь, на дрожащую склерозную руку начальства.

— Трупы прикажете доставить в английское командование? — спросил он наконец, с лицом, серым, как оберточная бумага.

Начальство дрогнуло и опустило глаза.

— Взашей мне вас, что ли, гнать, поручик?..

...Ему не стоило особого труда побороть в себе приступ, как ему показалось тогда, малодушия, но, когда он пришел на следующее утро в дом частного поверенного Фидунова, где помещалась контрразведка,— принимать наследие веселого ротмистра,— его объял вдруг брезгливый холод. На столах, чинно разложенные Флягиным, караулили его папки о подозрительных няндорцах, живых и мертвых; там заключалась вся подноготная грязь городка, оскорбительная помесь вымыслов и правды, худшей, чем клевета. Пальчиков едва успел перелистать одну из них, когда начались какие-то необыкновенные явления. Приводили на допрос пленных, еле стоявших от изнурения; из штаба звонили о квартире для японского военного атташе, который нарочно приехал полюбопытствовать о российской сумятице; приходили подпрапорщики из артиллерийской школы с просьбой о крепких напитках для выпускной попойки, а в довершение всего тюремная охрана отказалась есть пайковое лимонное варенье, от которого якобы у нее опу-

хали языки, и потребовали родного, малинового... Во времена веселого ротмистра все это стало обычным явлением, но Краге умел потрафить всем, и близкие к нему утверждали, что даже на допрашиваемых уединенно он производил иногда неплохое впечатление. Полагаясь на разум и врученную свыше власть, Пальчиков разогнал этот клуб и посадил новых, за что и возненавидели его сразу, как по сговору, потому что никто кругом уже не верил в начатое дело. Первые дни должности ошеломили его, и хотя внешне он оставался прежним щеголем, письмоводитель Флягин видел, что Пальчиков уже одряхлел, выветрился и падает неудержимо к ногам судьбы.

Все утро этого второго дня занял обыск у толстого доктора, которого он втайне уважал за его воловью непреклонность в принципах; конечно, у доктора ничего преступного не нашли, но когда подручный по обыску стал извлекать из переплетов припрятанные кредитки, Пальчиков обиженно морщился, точно это он сам верил в реставрацию. Еще больше, чем Кручинкина, ему стало стыдно доктора, который весь както съежился и помельчал; не дождавшись конца, он уехал прямо в штаб фронта, где ему сообщили о возможной эвакуации Няндорска. Только к вечеру он попал к себе в управление и на столе нашел письменное подтверждение приказа о репрессиях. Потирая ноющий затылок, он все вчитывался в казенную бумагу, дивясь подлому могуществу языка, способного и требованию убийств сообщить изящную деловитость.

Тут-то и начиналось испытание поручиковой находчивости. Всех доморощенных няндорских бунтовщиков уже истребил веселый ротмистр, а новые не объявлялись, да и неоткуда было. Фабрик в Няндорске не существовало, а жило тут полуторговое, тихоходное племя, безыменная людская трава. «В России живут преимущественно ктитора!» — вспомнил он сентенцию Краге и насильственно усмехнулся. «Ктитора!.. паршивый городок, не сумевший породить ни одного большевика или иного какого именитого злодея. Ктитора!.. да где же людито в России?» Мысль его подозрительно шарахнулась туда, за линию фронта, откуда надвигалась на него огнедышащая новь, грозя уничтожением и мукой. Нечаянно он вспомнил самого себя, с красной тряпочкой на кокарде, и это обозлило его. «Да, сперва Радищевы, Новиковы, Чаадаевы... эти домодельные свободоискатели и подстрекалы, эти проклятые жернова на шее

русской интеллигенции... Двести лет в голоде душевном бились о вековую стену, двести лет у нас ни дня не пустовал эшафот. Ха, они взошли теперь, багровые дрожжи девятнадцатого века, она пришла, эта свобода, самовластная хозяйка, беспощадная, как хлеб. Радуйтесь, дьяволы...» Он длинно выругался и, перейдя к окну, долго стоял там. Густой слой пыли покоился на подоконнике, и на бриджах его отпечатались две серых полосы.

Поручик глядел в окно.

Дождик не удался: далеко в тундре опускался на ночлег кудлатый, петушиного цвета, шар. Звонили ко всенощной, и на малую минутку это давало обманчивое успокоение. Но перед самым окном — обсажен березкой, обведен струганой загородкой — силуэтно торчал ненавистный дом. Пальчиков знал: под этой зеленой крышей живет баба Анисья Крытых, живет и живет, трава при большой дороге, милостью ветра да прохожих людей. К ней ходят офицеры за хмельными сладостями и молодайки за судьбой; она варит знаменитую брагу и разводит кур. Как раз крупный белый петух пел у калитки, но, как ни вытягивал он шею, его не было слышно: все покрывал густой вечерний благовест. Теперь он уже устрашал, этот поповский грохот, как бы чугунным одеялом накрывая Няндорск,— оно дрожало, и все дрожало под ним. Из-за кустов ломаной струйкой вился дымок: наверно, Анисья варит варенье — крутое, морошковое. В праздники, близ полдня, она выходит за ворота посидеть на табурете, который выносит с собой. На ней тогда черное, апельсинными дольками, платье, и в волосах гребень с фольгой. Она сидит неподвижно и пышно, как молодая сова, лущит тыквенное семя, запасенное от прежних лет, и именно тогда зорким вниманием своим она болезненно раздражает молодого человека.

Порой род безумия овладевает им... и вот ему мнится: лишь для того, чтоб дать ей одной, бабе Анисье, незабываемый спектакль, собрались сюда все эти одичалые и разномастные люди. Она сидит, неподкупный судья и неусыпный свидетель, а перед ней маршируют ряды сытых заморских войск, плетутся пленные красноармейцы, парадируют бритые, в клетчатых юбках, шотландцы, шествуют невиданные оркестры, и капельмейстеры выше поднимают свои нарядные булавы в стремленье отличиться перед Анисьей; едут пушки, бредут попы с хоругвями, острыми, как секиры над плахой, качаются в седлах неслыханные полководцы... весь старый мир со всем

его дурацким скарбом притащился в Няндорск ради одной Анисьи! И она довольна, ей нравится вся эта напыщенная комедия войны. Когда солнечный петух замрет на своем пашесте — горизонте, она унесет свою табуретку и, завернув фольговый гребень в носовой платок, сядет пить чай с морошковым вареньем. Провидя будущее, она спокойна, как Сивилла. Ее сон крепок, сундуки объемисты, здоровье чудовищно. Она знает: гриб отцветет, обмякнет, останки пожрет червь и разотрет сапог, и, может быть, прежде чем изойдет морошковое варенье, прежняя скука оденет неудачную столицу.

— ...вот Анисью-то и шлепнуть в честь английского полковника! — вслух и с ожесточением произнес Пальчиков, но ему не стало весело, как Краге, когда тот тешил друзей своими армейскими афоризмами.

Он упруго повернулся на каблуках и увидел Флягина. Прислонясь к притолоке, он жевал что-то, и вся его румяная старческая харя принимала в этом участие.

— Что ты жуешь? — враждебно спросил поручик, но тот уже успел выплюнуть.

Флягин шагнул к нему навстречу.

— Эх, покомарить бы вам, господин поручик! — вздыхая, произнес письмоводитель; он служил здесь давно и видел многое. Пальчиков молчал, и Флягин поощренно затормошился. — Скучаете вы... и прыщик, гляньте сами, вскочил от отсутствия женщины. Доверились бы, уж постараюсь...

— Не уважаешь ты меня, Флягин,— брезгливо сказал поручик.

Флягин принял это как дальнейшее позволение:

— Мать не уважает, она любит! — И он даже пожевал что-то оставшееся за щекой. — Высохнете вы у нас, господин поручик: я уж скольких перевидал. Быки ломались... Рази ж это легко — заграничной рукой да собственного брата тянать. — Поручик сощуренными глазами изучал осмелевшего Флягина, и тому неудобно стало скрываться долее. — Давешнего мужичка привели, в засаду попал... отпустить его?

— Подоконники вымыть завтра! — мельком приказал поручик, отряхивая пыль с бриджей.

— С молоком он ездит, его все знают... — недобро щурясь, настаивал Флягин.

— Я тебе не Краге... я стрелять стану! — загремел Пальчиков, и все вокруг смолкло, а Флягин как-то незаметно всочился в дверь.

Вслед за тем Пальчиков оделся и, на ходу пристегивая кобуру, вышел в канцелярию. Разговоры разом стихли, и одни только размашисто стучали фидуновские часы на стене. На лавке, возле изразцовой печи, в которой малиново пылал вечер, он увидел Кручинкина. Та самая Россия, комендантом которой собирался быть, сидела перед ним, моля нищими, бестолковыми глазами.

— Лошадку бы мне попоить. Лошадка у меня не поена,— кланяясь, сказала Россия.

— Убрать этого растрепая! —мимоходом бросил поручик и вышел на улицу. Лютое мечтание его сменилось вдруг ненавистью, непосильной для одного человека. «Э, кажется, в должность вхожу!.. а впрочем, покомарить, покомарить надо...» — мелькнули соображения, и холуйское флягинское слово уже не раздражало. Именно с этим намерением он пересекал площадь, направляясь к проспекту, где находилось гарнизонное собрание.

Косые лучи вечера падали в Няндорск. По густейшей пыли беззвучно проехал водовоз и тотчас скрылся за поворотом. Два облака в небе, лиловых и длинных, лучами расходились от заката; похоже было на то, будто мертвый полковник, погружаясь в вечность, простирает в последний раз над городом свои незрячие руки... Теперь навстречу ему, путаясь в полах кавалерийской шинели, шел новый господин Няндорска, мимоходно сбивая стеком колючие головки с татарника. Где-то в отдалении, не мешая тишине, мычала корова, и дробной струйкой доносилась учебная стрельба. В этот час Няндорск был поистине великолепен своей тишиной обреченности...

Впрочем, все это было неточно и неверно, как круги по воде, под которыми иная скрывается пучина.

III

— А, возлюбленный соперник мой! — неискренне закричал Краге, едва Пальчиков появился в дверях. — Одного тебя и не хватало на нашей ладони... — Если он пытался сострить на фамилии гостя, то на этот раз у него сорвалось: их и без

того было пятеро. Однако пятый этот, помощник английского коменданта, свершив все должное, спал в углу на диванчике и мог поэтому в счет не идти. — Вот и славно, будем делать ночь сообща! — В этом месте все как-то неопределенно погудели, что означало удовольствие видеть Пальчикова.

Неизвестно, всех ли одинаково порадовал приход поручика, сдержанность которого и подозрительность всегда угнетали. Оттого-то Краге так сразу и решил, что вечер потерян. Все же он задернул шторы, сшитые из военных английских одеял, зажег свечи, потребовал еще вина и кофе, и в прокуренной этой комнате с провинциальным граммофоном в углу и с красотками в пышных рамах сразу стало уютней и умней. Потом он повернулся в сторону поручика и досадливо поморщился; тот стоял у большого зеркала, разглаживал пробор, охорашивался и делал это с таким спокойствием, что никто не заподозрил бы его в пренебрежении к друзьям.

— Ладно, всех уж пленил! — посмеялся Краге, заранее наливая вино и придвигая к столу порожнее место. Он действительно выглядел весельчаком, неунывающий ротмистр; стриженые усы молодили его многоопытное лицо, на голове пенился густой и темный каракуль, походку же он имел такую, что правдоподобною казалась шутка, будто уже одним мужественным видом своим он лишает девиц невинности. — Ну, как в новой должности?.. все воюешь? Смотри, завязнешь ты, брат, как гвоздь в тесине. А меня вот сбираются смотрителем на кладбище сделать... — Кажется, он шутил. — Читали, читали на заборах сочинение твое!

Пальчиков вежливо обходил стол, здоровался со всеми.

— Празднуете скорую сдачу Няндорска, господа? — приветливо сказал он, и, хотя это даже и в устах Пальчикова звучало шуткой, всем стало как-то не по себе. — Я, кажется, прервал беседу вашу?.. продолжайте, прошу вас.

Он вовсе не нуждался ни в ответе, ни в позволении, но Ситников, молодой и незамысловатый генерал из северодвинских пароходчиков, никак не смог отказать себе в удовольствии пообщаться с притягательным поручиком.

— Что ты, мы так рады! Капитан, понимаешь ли, кое-какие случаи из жизни рассказывал... — Он дружелюбно хлопнул Пальчикова по колену, и ему, видимо, лестно было, что тот не воспротивился его фамильярной ласке. — А то историей сватовства своего поделился, так, веришь ли, у Мишки от хохота подтяжки лопнули! — Он и сам похохотал восторженным фаль-

цетом, а Мишка, прапорщик с ушами вислыми и мягкими, как губы, басовито прибавил что-то про высокое качество подтяжек.

Ни от кого не было секретом, что он заискивает в Пальчикове, этот простоватый малый с генеральскими погонами. Да и в самом деле,— все, о чем мечталось ему в долгие часы ночной вахты на отцовских пароходах, все было достигнуто, и ныне одно огорчало его: что высокий чин еще не давал ему права на дружбу этого повелительного офицера. Деды его, беломорские капитаны, в Норвегу на малых шкунешках хаживали, а сам он сохранил от предков лишь приземистый рост, прозрачные, цвета рассветной волны, глаза да еще лютую храбрость, доставившую ему почесть и славу местного пехотного героя. Деды — дедами, а внук не стеснялся носить очень странную прическу винтом, отчаянный фортель какого-то знакомого парикмахера; кроме того, он приобрел вредную привычку гулять по городу, опираясь на обнаженную шашку... оттого-то и создавалось впечатление, что ограбили своего потомка могучие деды.

— Рассказывайте, капитан, прошу вас,— повторил Пальчиков, чувствуя неловкость за тишину, которую принес с собою.

— Да ведь при тебе неудобно, ты ведь аскет, дева непорочная! — придумал Краге, но поперхнулся и смолк под пристальным взглядом Пальчикова.

Он не боялся его, но у ротмистра вошло в привычку избегать неприятностей, мешающих веселью в жизни; все, однако, посмотрели на него с недоумением. Чтоб поправиться, он вернулся к какому-то разговору, бывшему у него с Ситниковым до поручикова появления. Разговор шел, видимо, об устроении человеков на земле. По словам Краге выходило, что стоит только переделать тюрьмы в театры, и сразу расцветет благодарное человечество, как подсолнечник в огороде. А так как полны тюрьмы, то полезно истребить сперва заключенных во имя всемирного счастья, а там уже и переделывать, декорируя освобождающиеся помещения зеленью и флагами. Сентенция его, которою он собирался посмешить, пришлась некстати, засмеялся один только Пальчиков, и это было всего обидней.

— Я всегда подозревал у тебя красные мысли! — съязвил он при этом.

Краге чертыхнулся, махнул рукой и сдался:

— Что-то не в ударе я нынче... Вали уж ты, Егоров.

Так звали рассказчика; то был штабс-капитан, с калмыковатым лицом, из сереньких, и без особого труда угадывалось, что дальше своего чина он не пойдет. С самого прихода Пальчикова он все время незаметно петушился под этакого забияку и наглеца, стараясь делать это в противовес заискиваньям Ситникова. Упрашивали его недолго, но, приступая к повествованию, он несколько раз с заносчивым достоинством покосился на Пальчикова.

— Философия губит молодых людей,— сказал он и браво тряхнул бритой головой. — Трата времени, и во́лос от нее падает. Но случаются камуфлеты, господа, когда только она способна утешить душевное отчаяние молодого человека. Так случилось и со мной, когда я заболел триппером в Вологде в прошлом году. Дело произошло нижеследующим образом...

— Это уже уморительно! — вставил прапорщик Мишка, располагаясь попросторней. — Я ее тоже, матушку, недолюбливаю.

...Последние два года Пальчиков не пил, но вот ему понравился янтарный цвет ликера, он посмотрел его на свет и отхлебнул ради любопытства. Теплый ветер подул ему в грудь, он задохнулся, пожмурился и налил еще. Ему понравился этот веселящий гной, да и совет флягинский пришелся кстати: именно теперь следовало отдохнуть от мысли, что Няндорск под ударом, что не сегодня-завтра новые хозяева войдут в убогий этот дом, где штабс Егоров потешает друзей своих, уже обреченных на гибель. Он выпил еще и, жмурясь на свечу, забавлялся, как на ресницах его, радужно и непокойно, играет отраженный свет.

Он слышал:

— ...уже отправляться на фронт. А тут иду с покупками по Петровке, подходит дамочка в вуальке, с девочкой, каковой никто больше тринадцати годков... с половиной не мог бы дать. И сразу: «Не угодно ли, говорит, прапорщику развлечься?..» Словом, понимэ? Меня так и кинуло сразу в краску, а потом,— все равно, думаю, убьют. Перед смертью-то и грешить! Эх, рискнем десяткой за такую диковинку... Дамочка поняла. «Вы ступайте с ней, говорит, а если плакать станет, вы не верьте: это у нее прием такой». Эге, значит, опытная! «А вы-то, спрашиваю, на лавочке посидите?» — «Нет, отвечает, я домой пойду,

Она адрес знает...» Взял я ее за ручку, повел. — Егоров вопросительно взглянул на Пальчикова, но тот все еще изучал свет на ресницах. — Ну, пришли, посадил я ее на диванчик и виноградцу сунул, чтоб жевала...

— Тонкий подход! — одобрил прапорщик, покрываясь пятнами; каждое отражало какой-нибудь порок, пятен было множество.

Отодвинувшись с креслом поодаль от стола, Пальчиков затуманенным взором наблюдал случайных собутыльников. Внимание его поразила одна какая-то общая черта, роднившая все эти лица, почти сходство. Он долго мучился над отгадкой, а когда понял, ему стало как-то холодно и любопытно в этой тесной компании пирующих мертвецов. Он перевел глаза на Краге и испытал новый приступ удивления. Слегка припав к столу, ротмистр задумчиво поглаживал стакан, и в напряженных его глазах застыл острый блеск стекла. Наедине со своими мыслями он переставал быть весельчаком, но этот невоенный, с круглой спиной, почти уродливый Краге был ему во сто крат приятнее того, которого все любили. Удовольствие становилось невыносимым... Пальчиков закрыл глаза и знал твердо, что если взглянет — увидит черную дырку в крутом ротмистровом лбу. Он заволновался и привстал.

— Придвиньте мне содовую, ротмистр,— в замешательстве произнес он.

— Пожа, пожа, я вас катаю... — пошевелился мертвый рот Краге; никто не примечал поручиковых странностей.

Егоров рассказывал:

— Вдруг она плакать... тетя, дескать, обещала прийти, а все нету. Ревет и ножками в дверь колотит, понимэ? Позволь, думаю, тут уж не прием! Надел я ремешки свои обратно, спросил, где живет, повел ее...

— Опять за ручку? — завистливо спросил толстый прапорщик.

— Да, конечно... трамваи там, автомобили летят! Привела: дом большой, в плитках, швейцар, как господь бог, в окошечко глядит, а на двери дощечка врачебная. Отпирает нам милый такой толстячок с бородкой, шпак в сюртучке, а в галстуке змейка золотая, понимэ? Я девчонку вперед пихнул, сам рапортую: вот, дескать, какое досадное недоразумение... Он мне: «Пардон-пардон, одну минутку»,— а сам, двери не закрыв, прыг вовнутрь. И тут слышу треск и крик, как бы по

мордасам лупцевание, кроме того — посуда. Я все стою, закручиваю усы, смерть курить хочется, а папиросы в номере забыл. Вдруг выносит он мне за самый кончик пятерку, сам мешок мешком, челюсть дрожит, как канарейка. «Получите, говорит, но ручки вам за это одолжение пожимать не стану, не ждите!» Ну, я и пошел...

— Пятерку-то, значит, придержал все-таки? Это у них подстроено, и девчонка в компании была заодно! — уверенно объяснил Ситников, радуясь, как ребенок, проницательности своей. — А ты бы сразу в полицию!

Егоров не ожидал такого оборота:

— Да нет же... ведь он по растерянности! Сука-то эта мачехой была и к покойной жене толстячка своего ревновала. Ясно, и решила пакость покойнице устроить через падчерицу... понимэ?

— Ну, ей-богу, это прямо Жюль Верн какой-то! — восхитился прапорщик Мишка.

— Дайте же кончить, господа! — искусно взмолился Егоров, заранее предугадывая успех истории своей. — И вот, в прошлом году шагаю я по Вологде, а навстречу мне этакий пончик катится, совершенный цветок, прелесть... и хватает меня за рукав. «Вы, говорит, наверно, забыли меня, а я вас всегда помню...» — «Рад стараться, отвечаю, мадам, но, пардон-пардон, тороплюсь по службе». А сам думаю: непременно сейчас кислотой по ошибке плеснет. «Да нет, говорит, а вы вспомните, как и где вы меня виноградом угощали!..» Тут точно кожу с меня сняли и перчиком посыпали. Она, представьте, та самая девчурочка моя! Но выросла, конечно, расцвела и уже вдова на третьем месяце! «А мы, говорит, сюда переехали, в бабушкин дом... и папа здесь! Заходите...» — Егоров почесал подбородок. — Тут-то я и налетел на него, голубчика. И занятнее всего, что у папы ее лечился впоследствии... Прелестный, надо сознаться, врач, старичок такой!

Он замолк, предоставляя слушателям аплодировать.

— Не особенно весело на этот раз,— заметил вскользь Краге. — Про такие вещи молчат, а когда вспомнится ненароком, так водку для забвения пьют... Понял, милый человек?

— Да и конец-то, наверно, присочинил, мошенник! — смягчая неловкость, подмигнул Ситников. — Присочинил ведь, кайся!

Пожимая плечами, поигрывая темляком, Егоров отшучивался. Он и сам жалел, что сподлил из жажды угодить приятелям; стыд тем более мучил его, что на деле он целыми вечерами просиживал у этой самой Наташеньки, изнывая от бестелесной любви... Потом наступило безразличие; завтра, так же как и в тот памятный день, он отправляется на фронт, и что-то подсказывало ему, что на этот раз его убьют наверняка. Кусая усы, он отошел в угол и завел граммофон; сразу стало шумно и толкотливо, ожили красотки на картинах, и заворочался спящий англичанин, едва в тягостной тишине раздались сиплые вступительные звоны Корневильских колоколов. Прапорщик меланхолически подзванивал им ножом по стаканам.

— А не порезвиться ли нам еще? — бахвалясь конфузом своим, спросил Егоров. — Можно барышень Градусовых позвать... Я бы черкнул им записочку, а? Британца разбудим, танцы соорудим... — Немолодой и невеселый, он играл обтянутыми коленками, весь выгибаясь в своем напускном озорстве.

Откуда-то снизу, где находилась общая зала, донеслась музыка и отрывочный плеск нерусской песни; заглушая граммофон, она прошла между друзей, нудная, как напоминание, и снова притаилась где-то в стенах.

— Скажите, капитан, из какой семьи вы происходите? — неожиданно и через всю комнату спросил поручик.

Капитана застал врасплох вопрос поручика.

— Дорогой друг, к чему это? — барственно поморщился Егоров, но почему-то, на ощупь протянув руку, остановил граммофон.

— Я вам объясню потом,— очень тихо и ласково отозвался Пальчиков.

Мгновенье Егоров раздумывал, сивый ус его брюзгливо опустился:

— Если хотите... мой отец был мастер в депо. Ну, просто слесарь... да,— с нежданным вызовом и нажимом на слове признался он.

— Он был богат?.. владел поместьями? —продолжал Пальчиков свой допрос.

Егоров прищурился.

— Что это, служебная любознательность? — запальчиво напал он, но поручик улыбался так успокоительно, что Егоров не посмел обидеть его молчанием. — Вы же знаете, как

живут слесаря. И, кроме того, я двенадцати лет ушел из дому, сам работал и учился... Ну, теперь ваша очередь объяснять.

Пальчиков слегка наклонил голову, как бы в знак почтения к трудностям капитанова детства.

— Я объясню. Видите, мы сидим за этим столом, возможно, в последний раз. Сохраняйте спокойствие, господа: красными взята Шеньга!.. — Он отпил из стакана, и все тревожно переглянулись. — Мне кажется, что в последний час свой каждый обязан знать, за что он отдает свою жизнь... Мне интересно, каковы ваши цели, капитан?

— Пардон, не понимэ... — насильственно ухмыльнулся Егоров.

— Я и объясняю... Возьмем прапорщика. Он знает, что отвоевывает свое лентяйское право кушать и хохотать на скабрезные истории...

— Это метко, а? — хихикнул толстый Мишка, беспокойно ворочаясь.

— У Краге это наследственное, — отчетливо продолжал поручик. — Война — его труд. Все его деды были военные и кого-нибудь убивали: тут голос крови. Отнимите у него это паскудное в общем-то занятие, и он сопьется... Ситников дерется потому, что большевики отберут у него пароходы. Но ведь у вас нету ничего, вам наплевать на идеалы прапорщика или имущество этого милого военачальника. Вас убьют свои же, верьте слову. Какое же право вы имеете драться против большевиков?..

Все более наливалось краской растерянности и тревоги капитаново лицо.

— Я дерусь потому, — тяжко и торжественно, как в присяге, произнес он, поднимая руку над головой, — потому, что жиды отняли русское золото. Как золото отымем, так война кончится...

Все в этом месте снисходительно улыбнулись на капитанову прямоту.

— Согласитесь, дружок, — сказал Пальчиков просто, — что с такой программой нельзя воевать. На той стороне русских больше, чем у нас англичан. Вы поднатужьтесь, милый, подумайте... а то ведь солдаты смеяться станут!

— Я, может быть, и дурак... — задыхаясь и вытирая испарину, ответил Егоров, — но я делаю то, что велят мне совесть и бог... — Он смолк и стоял одиноко, как на расстреле, и ни-

кто не смел прийти к нему на помощь перед лицом иронического поручика. — Да, именно совесть и бог...

— Он даже и в бога верует! Фу, какая роскошная жисть... — решив примкнуть к сильнейшему, снова хихикнул прапорщик и немедленно осекся.

Подняв кулаки над головой, капитан шатко двинулся к прапорщику; однако, не дойдя двух шагов, он остановился и стоял с закрытыми глазами.

— Молчать! — гаркнул он, как в строю, но крик его одинаково походил и на всхлип; вслед за тем он медленно пошел к двери. Делая знаки, чтобы все молчали, Краге обеспокоенно поспешил за ним.

Ситников едва успел спустить граммофон в углу, как тот вернулся.

— Ну, вот, и рассказывать стало некому. Смутил парня... И день-то выбрал, чертила! — упрекнул он Пальчикова. — Ведь он именинник нынче, на именины ты попал...

— Кстати, он очень познакомиться с тобой искал... — укоризненно прибавил и Ситников.

Они видели, что именины Егорова для него пустяки, не заслуживающие даже обсуждения, и ждали каких-нибудь оправданий. Поручик медленно обвел их глазами; ему хотелось внушить им, что с падением Няндорска начинается новая эра в существовании страны, где им уже не будет места; хотел сказать, что красным уже дан приказ взять город до двадцатого числа, потому что валандаться далее на этом комарином фронте и впрямь бессмысленно... но он взглянул в тусклые глаза тучного Мишки, в квадратное сердитое лицо Краге, на парикмахерский завиток Ситникова и понял, что поражение этих людей принесет стране меньший вред, чем их победа.

— Простите, господа, я испортил вам вечер. Но я вообще не компанейский человек!.. — Он подошел к окну и раздвинул штору. Таинственно курясь, белая ночь вступила в комнату. По безлюдным улицам протянулись слабые и длинные тени строений. Тишина ночи пленяла, как наваждение, но окно в нижнем этаже было раскрыто, и оттуда бестолково неслась английская песня «Tipperary». Должно быть, в этом унывном мычанье и выражалась завоевательская тоска по родине. — Белая ночь, господа... вот в чем дело! — дрогнувшим голосом произнес Пальчиков, но никто не уловил скрытого смысла его замечания.

И он уже собирался покинуть комнату, когда прапорщик Мишка предложил отправиться всей компанией к Анисье Крытых, мириться и гулять. Из его слов получалось, что в укромном этом месте даже огонь с водой можно помирить. Пальчиков прислушался и, решив не увертываться от волны, которая его захлестывала, изменил намеренье.

— Кстати, там наверняка и Егорова найдем. Больше ему идти некуда,— сообразил Ситников. — Эй, инглишмен, каман к Анисье! — Тот безнадежно открыл глаза, но дальше своих зрачков, кажется, не видел ничего.

В настроениях крайне прохладных и подавленных они спустились в раздевалку.

— Эх, маркиз... — сказал Краге поручику при выходе на улицу,— не удивлюсь, если и застрелился теперь Егоров. Он такой,— он, если горлышко у графина отбито, так и остатки о пристенок бьет. Жить ты не умеешь! Брал бы пример с меня: до сорока двух лет дожил и со всеми во всем согласен... Вот как надо жить!

IV

В темной прихожей у Анисьи пахло квасом и монастырем; это привлекало и настраивало на особый полудомашний лад. Все пятеро толпились в сенях в ожидании хозяйки; при этом прапорщик Мишка наступил на что-то ногой, и в темноте зашипело. Он испуганно отдернул ногу, утерял равновесие и почти повалился на Пальчикова.

— Что у вас там? — осведомился поручик.

Присев на корточки, толстый Мишка шарил руками по полу:

— Тряпка... наверно, мокрая тряпка, господин поручик. Я на нее наступил!

— Она вас укусила? — с холодком спросил поручик и, не дожидаясь ответа от посрамленного Мишки, первым открыл дверь в Анисьино обиталище.

Его ударил свет большой керосиновой лампы, подвешенной к потолку и украшенной абажуром из зеленой пропускной бумаги. Волчий тулуп, криво распятый над окном, защищал Анисьиных гостей от уличного любопытства надежнее, чем армия филодендронов, франциссей и столетника, которым мещане лечатся от чахотки. Еще стоял тут комод красной фанеры, а на комоде, сквозь вязаную белую накидку, видне-

лась колода замусоленных карт. С наивным достоинством соблюдался этот дом, и, хотя он был попросту питейным заведением, на столе висел лубок — Демон в водке и табаке.

Егорова тут не было, но зато какие-то два молодых человека — один из них военный — сидели тут, и, войдя, Пальчиков услышал, как один советовал другому не мешать эфир с кокаином. Узнав Пальчикова, они быстро поднялись и с поклоном удалились в соседний чуланчик, где и пропали на всю ночь. Вслед за Пальчиковым вошли и остальные, сопровождаемые самой хозяйкой. Тут-то Пальчиков и разглядел ее.

В этой умной и упругой бабе было что-то от анисового яблока: одинаковые неприхотливость, цвет и, наверно, вкусовая кислинка. Вряд ли она когда-нибудь обольщала, но раз нознавшему ее трудно было бы сбежать от нее на волю. Нестарая, она ухитрилась три раза побывать замужем,— три серебряных кольца, воспоминанья о покойниках, втесную ютились на ее пальце. Наверное, незавидная доля была у этих трех Анисьиных супругов, которых она в разное время держала, как петухов, при своем хозяйстве.

Пальчиков поймал на себе ее совиный, изучающий глаз, и тотчас же она отвернулась идти за хвалеными своими дарами. Скоро на столе явился плечистый кувшин-самохвал, глиняные кружки и уйма всяких квашений и маринадов, распускавших вокруг себя цветистые запахи — то лесной прели, когда пора вылезать петрову кресту, то свежего укропа или копытня, то меда и хмеля, то самого июньского ветра, когда лишь зацветает дрок на лугах. На всем, что она ставила на стол, лежал отпечаток заботливости и уменья: звездчатая морковь и рядки брусники, алой, как тетеревиная бровь, украшали шинкованную капусту, а гриб даже и в свирепом отваре сохранял свой первобытный лесной цвет... Обдернув камчатную скатерть, она присела на укладку, простеленную чистым половиком, и молча наблюдала гостей, готовая к услуге и пахнущая травами.

Никто не знал ее секретов, она варила брагу по стародедовским заветам, и, право, слава ее была заслуженна. Дразня и не насыщая, оно вливалось прямо в душу, это колдовское снадобье, и стоило глотнуть его разок, чтоб навсегда остаться подверженным темной Анисьиной власти. В пропадающем городе, где всякое мечтание упиралось в грозные думы о завт-

рашнем дне, Анисья обладала могуществом не меньшим, чем Пальчиков.

За виночерпия трудился прапорщик Мишка, но еще прежде, чем он успел ублаготворить всех, явился Егоров с двумя сестрами Градусовыми.

— Так и знал, что вы здесь. А я вот зазнобин своих приволок... — пошумел он, и незаметно было, чтоб он собирался ударить о пристенок свой обезгорленный графин. Барышни жеманились, согласные на все, лишь бы развлечь свои топкие девичьи будни. — Кати-Лена, садись за хозяек! — Катей звали младшую.

Сестер Градусовых капитан рассадил так, что Катя оказалась рядом с Пальчиковым; его попытка проявить незлопамятность к обидчику своему еще больше раздражила поручика. При каждом ее движении до Пальчикова доносился тошный женский запах, которого не могли отбить ни табак, ни душистое мыло.

— А я вас знаю... — сразу призналась она, хохоча и сверкая жемчужной россыпью зубов. — Знаете, тот гимназист, который полковника застрелил... это он из-за меня его застрелил! Его тоже расстреляют, Женю... да? — Ее забавляло приключение с английским полковником. — А, знаете, вы совсем не страшный...

— Мерси, душечка,— скривился весь Пальчиков, вспомнив приказ о репрессиях. — А скажите, душечка, вы часто моетесь?

Она не поняла, высоко задрала брови и кокетливо толкнула поручика.

— Ленка,— громко сказала она сестре,— а он за мной уже ухаживает! — Лишь после милого этого хвастовства она улыбнулась и поручику. — Ну конечно, моемся... Только, знаете, зимой как-то холодно, а летом некогда...

— Чем же вы летом-то заняты? — издевался поручик, как в чаду соображая, что весь его нынешний день, полный ссор и столкновений, походит на предсмертную судорогу.

— А летом мы воздухи вышиваем с сестрой. Знаете, при богослужении платки такие. Мы обещания дали с сестрой по сотне вышить, но только сейчас золота такого нет... — Она была все же недурна, и явная глупость ее сходила за очаровательное легкомыслие. — А я сегодня без корсета! — совершенно неожиданно призналась она.

— Ай, как нехорошо... — с ненавистью сказал Пальчиков.

— А я всегда, когда в плохом настроении, то без корсета...

— Занятно! — И, наклонясь к ней, сразу подавшейся в его сторону, он шепнул ей несколько слов, более оскорбительных, чем пошлых. — Ладно? — вслух спросил он.

Она певуче смеялась,— и ничем ее было не пронять.

— Нахал, нахал... — И закрывала кружкой лицо.—Но милый, милый нахал! — Разумеется, она боялась утерять такого редкостного поклонника.

Пальчиков стал смотреть на тулуп, что было ему приятнее. Он думал о времени и людях, людские судьбы представлялись ему как бы волокнами, висящими где-то в отвлеченном пространстве. Вдоль них опускается плоскость — время, и жалкие проекции их, точки на плоскости, лихо мечутся по ней потому, что именно так изогнулась их кривая. «Предназначенность?» — спросил он себя, и оттого, что ответ определял одно очень важное его решение, он не ответил. Его удовлетворили средние формулы,— что время есть только ощущение умирания, а жизнь есть кипение остывающего вещества. Однако эта философия предназначенности и была философией обреченности... Он перевел глаза на Краге и почувствовал, что тот думает о нем. И верно: ротмистр поднял глаза на поручика и стал решительно отодвигать от себя посуду, точно готовился к побоищу.

— Вот вы давеча ошельмовали нашего общего друга, поручик, показав, что вы умный, а он дурак...

— Опять все то же самое,— взмолился Егоров.

— Позволь, ты, что ль, один здесь дурак?! — нетерпеливо осадил его Краге. — Вот я и спрашиваю... разве вы, Пальчиков, не хотите работать, а хотите непременно жить на счет тех, которые уже привыкли работать?.. Нам также любопытно, за что ратует начальник няндорской контрразведки! — Он торжественно умолк.

Все еще думая о своем, поручик рассеянно глядел на руки Ситникова, брошенные на столе, и находил, что именно руки могут порою рассказать о человеке больше, нежели любой его словесный портрет. На мизинце у Ситникова был отпущен холеный и сверкающий ноготь, а на остальных — из-под коротких, полушаровой формы ногтей — просвечивали каемки голубого траура. Вдруг Ситников спрятал руки, и

лишь тогда Пальчиков вспомнил о Краге, который терпеливо ждал.

— Имя России вас удовлетворит, ротмистр?

— Простите, вы о чем, собственно, толкуете?.. О той катавасии, которая постыдна была, или о той, которая будет?

— Я говорю о России,— угрожающе прищурился Пальчиков, чувствуя на себе упорный Анисьин взгляд.

— Так ведь ее ж нету, вашей России, да, пожалуй, и не было совсем. Эй, помолчите, девушки!.. — прикрикнул он на сестер, которые слишком расшалились с толстым Мишкой. — Играли вы в детстве в казаков-разбойников, поручик? Есть такая уличная детская игра.

— Простите, я рос не на улице,— огрызнулся Пальчиков.

— Но я и не хотел заподозрить ваших родителей в низком происхождении,— снисходительно кивнул Краге. — Игра эта весьма походит на высокий тот предмет, о котором речь. И если бы мне предложили: желаете, мол, чтобы еще на двести лет затянулась эта катавасия...

— Я имел в виду Россию не для вас, а для народа,— уже с трудом отражал тот удары Краге.

— Да в народе смеются про это, поручик! Я двадцать три года в армии, и я ни разу не слышал, чтобы солдаты говорили между собой о России... Россию черт сочинил, когда еще он служил в херувимах, вот что-с!

— Пустяшный разговор! — кинул Пальчиков, зная наперед все, что скажет Краге. — Что вам нужно от меня, ротмистр?.. драться хотите, так я не прочь. Ночь еще не на исходе, свидетели есть... Мы еще успеем наделать дырок друг в друге.

Краге взбешенно поглядел на Пальчикова, побарабанил по столу и сдержал себя.

— Нужно иметь великую, непогрешимую идею, чтоб вести себя так, как вы, поручик! — сказал он напоследок.

Наступило молчание, барышни перестали пудрить носы.

Раскидистый филодендрон сидел в кадке — позади Пальчикова; ему не приходилось бороться ни за еду, ни за место,— он рос жирно и похабно, благословляя свою неволю. Один из его лапчатых листьев свисал над самой головой поручика, который, к слову сказать, еще несколько раз поймал на себе пристальный, ведовский Анисьин взгляд. Охваченный вдруг самыми обжигающими образами,— и тут ему представилось, что

она парится с ним в жаркой до озноба русской бане,— он машинально протянул руку и, оторвав краешек листа, вплотную прижал к губам. Теперь он не сомневался, что совет флягинский покомарить касался именно Анисьи. Влажный холодок листа слегка отзывал землею.

— Ты цветов не трожь,— сказал мягкий Анисьин голос, и Пальчиков увидел ее возле себя. — Ты допивай свое в жизни, а цветы не трожь. Цветы не воюют...

— Как она на него глаз-то наложила,— развеселился прапорщик, который был, кроме того что пошляк, вдобавок и миротворец. — Вот и поженим, а? Чем не пара!..

Ему невдомек было, какая тут происходила игра, а игра происходила крупная. Один и тот же шальной вихрь в один сноп споясал Пальчикова с Анисьей, и его уже не раздражало, что ставят вместе их имена. Анисья знала это и, рожденная на радость, радовалась; она одна теперь была здесь, в этой комнате, остальные лишь присутствовали.

— Почем же ты знаешь, сова, что я допиваю? А может, только начинаю пить... — нашелся Пальчиков, заливаясь краской.

— Я все знаю, совы-то по сто лет живут. Когда сове делать неча, она судьбу пытает,— сказала Анисья, и глаза ее призывали сильнее слов.

— Помилуйте, так ведь она гадать умеет! — вспомнил толстый Мишка, и тотчас все захотели взглянуть в будущее свое, но она медлила, пока сам Пальчиков не попросил ее о том же.

Взяв карты с комода, она села с Пальчиковым рядом, так что колени их соприкасались; потом, сдвинув посуду, она вынула из колоды пикового короля, и хотя она колдовала молча, все догадались, что пиковый — это Краге.

— Веселье тебе, офицер! — развела она плечами, смешивая и растасовывая карты заново. — Богато живешь, вино и дружба к тебе отовсюду... — Она все кидала карты на стол и вдруг горделиво подняла бровь. — ...А потом застрелят тебя, господин хороший, как собаку.

Уже никому не приходило в голову принять ее прорицание за шутку.

— Врешь, баба! — хрипло сказал Краге, втягивая голову в плечи. — Гадай еще... я не хочу умирать,— и сделал бессильный жест рукой, точно пытался стереть уже написанное.

— Больше некуда,— усмехнулась баба. — Поди покричи на них, на карты, может, и испугаются... — Она еще много раз полукругами раскидывала колоду.

Так она обошла всех; потешила поповен намеком на замужество, порадовала прапорщика предсказанием карьеры, Ситникову наобещала крест, и непонятно было, к а к о й крест она имела в виду.

— Теперь тебе,— взглянула она на Пальчикова, и открытое ее лицо осенила еще не ласка, но уже обещание ее. Все молча глядели, как происходило это добывание будущего, как в чернофигурной рамке поместился червонный валет, а вправо упал пиковый туз, а влево легла крестовая дама. Она раскинула карты еще раз, и пиковый туз, неотступно, как коршун, кружил над поручиком, но дама уже не приближалась.

— Вишь,— без воодушевления сказала она,—встретились, погляделись и разошлись.

— Крестовая-то — это ты, что ли? — перевалясь через стол, спросил Ситников.

— Крестовая — это я,— сказала она и отставила ногу под столом. Она еще несколько раз, заметно волнуясь, спрашивала у карт о Пальчикове, но вдруг смешала карты и встала из-за стола. — Не стану гадать!

Прежняя, непроницаемая, она удалилась на свое место, и тогда в сенях раздался топот ног, внезапно стихший за самой дверью. Кто-то, стоя там, шумно переводил дыхание. Таился в этом происшествии какой-то черный замысел...

— Входи, дьявол! — заорал Ситников, ножнами ударяя в пол.

Дверь открывалась медленно, потом показался бледный Флягин, он делал немые знаки своему патрону, вызывая его в сени. Здесь он доложил, что начальника несколько раз вызывали из штаба фронта, сердились и грозили словами, которые сам он, Флягин, не смеет и произнести. «Настойчивые!» — подумал поручик, догадавшись, что дело шло все о той же несчастной десятке.

— Я приду скоро, ступай. И потом, чтоб подоконники были вымыты! — почему-то с раздражением вспомнил он.

Одолеваемый бессвязными мыслями — и прежде всего тем, как догадался прибежать именно сюда Флягин,— он стоял во мраке, и ему представлялось, как огромная крестовая

дама приходит к нему ночью в контрразведку. Из чуланчика доносился сдавленный шепот: «Ты к Нине Павловне сходи на почку!» — «Да ведь она ж старая, противно». — «Дурак, она за ночь-то по пять грамм дает!» Пальчиков со всего размаху стукнул в дверь ногой, и там смолкли, точно юркнули в подполье. «Гноятся, а еще не мертвые...» Он вернулся в комнату за шинелью и фуражкой.

— Я принужден покинуть вас... спешное дело, господа! — Он избегал глядеть на Анисью, точно она могла удержать его от неминуемого. — Прощай, сова! — усмехнулся он напоследок и рывком затворил дверь.

...Все еще гостевала белая ночь в Пяндорске. Под ее укрытием, прильнув к оконной щели, поглядывали в Анисьин дом три какие-то фигуры. То были местные жители, которые не пропускали случая узнать настроение временных пяндорских хозяев. «Они встречали нас крестным ходом, они англичанам вопили «Welcome!» [1], они и красных встретят красными флагами... Вот она широта души...» Он с отвращением прошел мимо этих трех микробов паники, застигнутых па месте; проводив поручика рачьими глазами, они тотчас растворились в бесплотной дымке ночи.

Начинался рассвет; на севере это означает, что диск, перекочевав по горизонту, снова всплывает в голубые призрачные небеса, а вещи снова дают тень. Из окон заспанные выглядывали хари, силясь угадать, что означает в общей цепи событий ночная прогулка пяндорского господина.

У гарнизонного собрания он догнал англичанина, того самого помощника коменданта, который спал на диванчике в углу. Проспавшись, он совершал утренний моцион и, видимо, рад был поболтать с кем-нибудь в этот предрассветный час. Некоторое время они шли рядом.

— Do you like our white nights? [2] — спросил из вежливости Пальчиков, применяясь к не вполне устойчивой походке англичанина.

После выпивок тот всегда пребывал в состоянии крайнего благодушия.

---

[1] Добро пожаловать! *(англ.)*
[2] Как вам нравятся наши белые ночи? *(англ.)*

— I like everything in Russia,— тряхнул тот угловатыми плечами и поскалил зубы. — Russia means plenty of timber, of grain and a lot of jolly girls... [1]

— And what do you say of Russian culture? [2] — спросил хмуро поручик.

— Well you have got to keep your eyes open. Russians always try to set fire to the world, spiritually I mean, for the sake of some higher aim. Well, but all these chaps, prophets and reformers, whatever they say about the happiness of mankind they don't really care a damn [3],— свысока процедил англичанин.

«Так... поджигатели, значит, очень хорошо»,— подумал Пальчиков и промолчал оплеуху. Впрочем, англичанин и сам догадался, что и в Африке обижаются; видимо, для того, чтоб смягчить заминку в разговоре, он покопался в бумажнике и достал оттуда скоробленную от близости тела фотографию какой-то девицы.

— This is the girl I am engaged to!.. [4] — сказал он не без мечтательности, дыша винным перегаром в самый лоб Пальчикова. — Ви тож имеете одна? —почему-то приспичило ему спросить по-русски.

— Нет, я не имею ни одной... — сухо поклонился Пальчиков. Он смотрел на длинный нос английской девицы, на ее тощие губы, похожие на шрам, и думал, что девица эта, наверно, стервоза, и когда выйдет замуж, то они станут пить вместе.

— Good bye! [5] — сказал поручик и покинул гостеприимный перекресток, где они обменивались этими приятными речами.

На телеграфном столбе сидела ворона и, глядя на отливающий золотом купол собора, оглушительно кричала: агава, агава... Она замолкла, когда приблизился неравномерный звон поручиковых шпор: был особый военный шик в том, чтобы одна шпора волочилась по земле...

И вдруг он понял, что идет в тюрьму.

---

[1] Мне все в России нравится. Россия — это много леса, зерна и много хорошеньких девочек... *(англ.)*

[2] А что вы скажете о русской культуре? *(англ.)*

[3] О, тут надо глядеть да глядеть. Русские всегда старались поджечь мир во имя какой-нибудь высшей цели. А впрочем, все эти ребята, пророки и реформаторы, что бы они ни болтали о счастье человечества, в конечном счете им на него наплевать *(англ.)*.

[4] С этой девушкой я обручен!.. *(англ.)*

[5] До свидания! *(англ.)*

V

Тюрьмы в Няндорске так и не удосужились построить. Бунтовщиков и опасных мечтателей не заводилось, так как в счастливом этом городке все были довольны своею участью, а воров крепко поучали при поимке и оставляли в канаве на милость божию. Едва же столицей стал Няндорск, и новые у него объявились потребности, под тюрьму передали местную богадельню. К тому сроку прежние старики перемерли, а новые разумно скрывались по своим норкам, и оттого никому не доставило ущерба это диковинное превращение... Расплюснутое строение окружили проволокой в два кола, койки списали местному лазарету, а в окна вставили решетки работы местного кузнеца Тяпина. Старовер и богомол, он всем изделиям своим придавал благообразный облик: решетки вышли изрядные, с лилейными шипами, как в церковном окне.

Угловую плоскую комнату, из окон которой можно было наблюдать громоздкие цветистые, как пасхальная крашенка, закаты, отвели под смертников. В самом начале деятельности веселого ротмистра здесь бывало полно и шумно, но иссякли запасы подозрительных няндорцев, и как ни шарили по домам тайные и добровольные агенты Пальчикова, все бедней становились их уловы. И правда: любой из горожан мог служить примером благонадежности при всякой власти; все владели собственностью, но малюсенькой, все ходили в храм, но лишь потому, что театров в городе не имелось, и пока дело не касалось медяков в кармане, все единодушно поддерживали любую власть. В вечер, когда в эту комнату, оранжево разлинованную закатом, попал Кручинкин, здесь находились всего четверо. То были: гимназист, красный матрос, осужденный скорее за дерзость, чем за преступное свое звание, какой-то необъяснимый хлюст в технической фуражке, — причем, когда распахивалось пальто, на нем оказывались длинные дамские панталоны, — и, наконец, Стенька с Вилёмы, утерявший тут свою грозную репутацию неуловимого. Все они догадывались о предстоящем и потому ничем не прикрывали друг от друга истинных сущностей своих.

Стеньке, дородному и пегому парню с насмешливым взглядом, было здесь привольней всего. Он восседал на единственной табуретке, и, даже когда покидал ее размять ноги, никто не смел хотя бы и временно занять ее. Посвистывая, еще лише вскидывая бровь, которая дугой перебегала в длинную прядь

волос за ухо, он подходил к разбитому окну и смачно затягивался из папироски, которую ему протягивал сквозь решетку часовой; того, должно быть, пленяло предсмертное Стенькино молодечество. Действительно, было в его статной фигуре такое, что так и подсказывало: дескать, «у нас, на Вилёме, все такие!»

Иногда к нему, как к самому спокойному из всех, подходил отвратный хлюст в фуражке и, юля всем телом, спрашивал:

— Простите, что отрываю вас от вашего почтенного раздумья. Как вы думаете, на ваш глазомер, кокнут меня? — Он разнообразил вопросы, но смысл их всегда оставался один и тот же.

— Непременно, гражданин! — У Стеньки был перешиблен нос, и он слегка гнусавил.

Ему не хотелось делать секрета из своего прискорбного знания, и гимназист всякий раз умоляюще взглядывал на Стеньку, если улавливал его недвусмысленный ответ. Тогда он торопливо одергивал свою вышитую, с форменными пуговицами, рубашку и старался отыскать хотя бы в мыслях спасительную лазейку. Ему представлялось, что удастся бежать, и, хоть кругом лежала голая тундра, непроходимый спасительный лес вырастал в его разбудораженном воображении. В лесу он поведет дикарскую жизнь, станет жить в дупле и питаться дичью, ловить которую силками он большой искусник. Но много лет спустя, все такой же молодой и красивый, он выходит из своего убежища в мир, и толпы большевиков, этих простодушных людей с кинжалами в руках и ногах, приветствуют его, качают, плачут, а ему и стыдно и страшно,— вдруг узнают, что полковника-то он застрелил просто из страха, что Катя Градусова сочтет его трусом...

Кручинкин спит, и грандиозные сапоги его спят возле, в богатырском раздумье уткнув руки в боки: так отражается это в бессонном гимназистовом глазу. Храп его заразителен и такой тоненький, будто все спрашивает о чем-то, о такой ерунде, что и отвечать совестно. Гимназист закрывает глаза, и образы иные наплывают к нему из тюремных сумерек. Наверно, как всегда бывает при казнях, к нему пришлют священника с крестом — хитрягу и дельца. Он сядет возле и заговорит длинно и тоскливо, как на уроках закона божьего, а потом даст целовать крест. А Женя вцепится и не будет отпускать, потому что в тот холодный металл уже всочится вся его по-

следняя надежда... А священник, конечно, рассердится и скажет: «Да отпустите же мой крест, молодой человек!..» Камера просторна, как пустой спичечный коробок; из разбитого окна бодрый холодок бежит к ногам, ночь светла, как день осенний; на стене горит лампа во исполнение английского закона.

Кручинкин спит, и продолговатые богадельные клопы семейственно жуют его, но ничто не может прервать его обольстительного сна. Малые струйки его сопенья сливаются в гулливую, половодную реку, усы его качаются, как колос в бурю, он храпит, точно перегрызает тяпинское изделие, и с минуту все враждебно прислушиваются к его ненасытному гуденью. Не разбудить его — он спал бы век, все не утоляясь чудесными виденьями крыжовника.

— Кончай свой храп, оглушил совсем! — мрачно сказал матрос, готовясь вторично ткнуть его ногой в бок. — Нашел время для сна, моржовина!

Все еще ленясь открыть глаза, Кручинкин шарил сапоги и виновато улыбался:

— А сам-то, думаешь, не спишь? Все мы спим, как листья на дереву. И ты спишь, милчок, и сон видишь, будто в тюрьме сидишь...

— Э, лучше проснуться, чем такой паршивый сон досматривать! — прошумел Стенька от окна, и не понять было, о каком пробуждении он говорил.

Чихая от запахов, которые оставались здесь еще и от прежних постояльцев, Кручинкин раскрыл глаза и догадался, что ночь на исходе, что скоро залотошат в своих ящиках петухи, и пора станет возвращаться домой, к сыну, не покидала его тайная уверенность, что за ночь отойдет у начальника сердце, и все кончится очень хорошо.

— Продаешь, что ли? — спросил матрос про сапоги, которые Кручинкин хозяйственно прощупывал, томясь без дела.

— Купи, у меня нога крупная! — молвил тот, и матрос счел это за позволение присесть на сермягу.

— Мне не нужно. В земле и без сапог в самый раз!

— О, никак, надоело в сапогах-то?

Матрос понял, что имеет дело с хитрецом:

— Дурачок аль прикидываешься? — подмигнул кручинкинский собеседник. — Думаешь, дурак, так и помилуют? Нечего, брат, прятаться. Полковника-то кто угрохал?.. я тебя сам видел! — Кручинкинские усы шевелились, как бы исследуя,

откуда шло недоброе слово. — То-то, моли своего бога, чтоб большевики пришли скорей!

Но хоть и глухим уродился мужик на совет чужой и беду людскую, тут уразумел, что моряк этот человек опасный, и на корабле его из тюрьмы не уплывешь. Быстрехонько схватив сермягу с полу, он отошел от зла в сторонку и долго прохаживался по камере взад и вперед, прежде чем оказался возле Стеньки. Тот стоял у окна, держась обеими руками за решетку и не сводя глаз с пустой улицы; зайдя чуть сбоку, Кручинкин заглянул туда же.

В слабых лучах восхода бестелесно желтели березы в палисаднике напротив, и еще видно было, как поднимали над городком дозорную колбасу. Потом по улице неспешно, как в прогулке, прошла женщина, повязанная платком; на щеку из-под платка выбивался клин темных волос. Она возвратилась, прошла еще раз и остановилась у окна, где ждал ее Стенька.

Должно быть, заранее на этот час была условлена у них разлука. Стенька сопел, а та не плакала, знающая все вперед, привыкшая к мысли о расплате. Она стояла с покорными руками, воровская жена, и вдовий облик ее был неотделим от образа белой ночи, проходящей по няндорским пространствам. Вдруг багровая волна, подымаясь снизу, залила Стенькино лицо; оно распухло, исказилось, и рот его, развороченный страданьем, мучительно метался в нем. Он крепко держался за решетку, точно какой-то вихрь, набежав сзади, мог продавить его сквозь лилейные эти шипы; так прошла минута. Стенька прощался с миром и со всем, что было ему дорого в нем. Потом багровость отлила, и краска, серая, как небеленый саван, одела безразличное лицо. Он махнул рукой и отвернулся. Прощание кончилось.

Рискуя получить смертный удар от вора, Кручинкин сунулся к окну, но увидел только спину женщины, которая удалялась.

— Стыдись... куда заглядываешь! — сказал Стенька расслабленно и не ударил, даже не отпихнул.

Уже отбуянила в нем душа, и все бывшие с ним приняли это как недобрый признак и начало их сообщего конца. Как только что окно, сейчас дверь сделалась самым значительным местом в камере: оттуда придут. Каждый шорох или даже слабое скольжение вещи стало привлекать настороженное внимание осужденных. Никто не двигался. Всходило солнце. Лег-

кий рисунок окна отпечатлелся на полу. В тишине полз еле слышный безостановочный всхлип: это плакал хлюст в фуражке, плакал без всякого оживления, плакал о мерзости своей, доставлявшей ему радость.

— Эй... наизнанку выверну! — сквозь зубы крикнул на него матрос, и с этой минуты к нему перешла власть в камере.

Тогда — он запоминался навеки — раздался звон шпор, и одна дребезжаще призвякивала при каждом шаге. Потом, точно крался вор, в скважине осторожно простучал ключ, но почему-то все подумали, что к ним ведут нового временного сожителя по камере.

— Ловись, ловись, рыбка, большая и маленькая... — умышленно громко пошутил матрос, но он ошибся.

Впалыми глазами шаря перед собой, вошел Пальчиков; следом за ним конвойный солдат внес на цыпочках стул и поставил у стены. Дверь закрылась, но замок не прозвучал никак. Медленно, точно соблюдая ритуал, поручик сел на стул и глядел на матроса, пока тот не зашевелился.

— Ежели в гости пришел, так в тюрьму за этим не ходят. И потом: сам на стуле расселся, гад, а мы, ровно поленья, по полу... — сказал матрос, подходя ближе.

— Садитесь, если вы устали,— сказал поручик, приподымаясь.

Отступив, матрос размышлял о странном этом поведении.

— Скоро нас кончат?

— А вам очень хочется? — поднял брови поручик.

— За тем и шел! — резко сказал матрос. Он внимательно приглядывался к Пальчикову. — Ты из Волчьей сотни?.. Ну, я так и знал. Это твой отряд Кодшу обходил?

— Мой,— сказал поручик.

— Собачья публика... Зачем же было мост-то подрывать! Ты уж людей коси, а мост, кто б ни победил, все равно заново надо строить. Эх, грамотные!.. Ну, гад, кончат-то нас скоро?

Пальчиков заговорил лишь через минуту, когда потребность в прямом ответе уменьшилась.

— Скажите... — он помялся,— гражданин, у вас найдено письмо из Вятской губернии... за хлеб благодарят... это от жены?

— Нет, сестра,— сказал матрос,— а что?

— Хорошая у тебя сестра.

— Ну, это не твое дело. Ну-ка, дай папироску, раз пришел. Твое дело хозяйское... — Он, видимо, хотел поскорее закончить бесцельный разговор.

— Я не курю,— ответил поручик. Однако он поискал в кармане и неспешно достал деньги. — Если хочешь курить, возьми деньги и сходи к Анисье... знаешь, это угол Вознесенского и Соборной. Купи себе папирос... для всех купи. Возьми с собой вон того парня, он все знает... — Он указал на Стеньку, окаменело стоявшего у стены и уже как бы простреленного.

Матрос зорко оглядел поручика, но он ошибался, полагая, что понял его намерение.

— Нет, голубок,— сказал он твердо, и темные жилы разбежались по лбу,— отсюда нас только силой выведут!

Пальчиков молчал, и оттого, что он равнодушно принял отказ матроса, того посетила последняя и верная догадка.

— Давай деньги! — тихо сказал он. — А там нас пропустят? — кивнул он на дверь. — Эй, пойдем, воряга. Ну, спасибо тебе... за папироски! — очень просто сказал он, толкая впереди себя перетрусившего Стеньку; Пальчиков не обернулся.

Очевидно, часовые уже имели распоряжение поручика. Скоро мимо окна прошли двое: Стенька все оглядывался, а матрос шел тихо, чуть опустив голову. Они не разговаривали, и, хотя шли по ровному месту, было в ногах ощущение, точно спускались с горы.

— Слушай... — сказал Пальчиков гимназисту, проследив их уход глазами,— иди навести отца. И не беги по улице, а то стрелять будут...

— Потом прикажете вернуться сюда? — взволнованно щупая пряжку ремня, спросил гимназист.

— Дурак,— брезгливо кинул поручик, и ему стало скучно. Гимназист торопливо сбирал вещи с пола — шинель и берестяник, которым снабдили его дома в последнюю дорогу. — Оставьте вещи здесь. Надо же соображать иногда... — резко прибавил Пальчиков и почти в лицо отпихнул его, когда тот послушно кинулся к его руке.

Он все же побежал по улице, этот глупый малый, и в окно видно было, как из подворотни выскочила собачонка и облаяла его, а он, все забыв, с искаженным лицом отбрыкивался от нее ногами.

— Иди со мной,— сказал потом Пальчиков мужику и вышел в дверь первым.

В камере оставался теперь один лишь хлюст в фуражке, которому предстояло пойти в обмен на английского полковника. Нервно и суетливо, как гиена в клетке, он бегал по камере и мучительно искал в самом себе доказательств, что уже сошел с ума.

VI

Прибавлялось солнца в улицах, шумели долгожданные петухи, и стаи галок кружили над ненавистной Пальчикову каланчой. Слегка пророзовев, отплывали дальше в безбрежные степи неба облака. Приступало утро, и у Пальчикова рождалось такое ощущение, точно он захватывает день, ему уже не принадлежащий.

Два квартала Кручинкин бессловесно бежал за поручиком.

— Ты не беги, а то я ровно песик за тобой... — попросил Кручинкин,— не поспеваю!

— Ты издалека? — замедляя шаг, спросил поручик.

— А из села Горы я! — восторженно отозвался тот, радуясь вопросу, как милости: почти затекал от долгого молчания его непоседливый язык. — Из села Горы я, лесишки вокруг... опять же море шибко гремучее. Многие дачники наезжают молоко наше пить, за полагушку гривенник, дарма даем. Приедет — в иголку его проденешь, а к отъезду рожа-то уж как фонарь светится! — Он заглотнул побольше воздуха для дальнейших описаний родных красот. — А то надысь кит в реку-то к нам заплыл, заплыл да и обмелел, обмелел да и обмяк весь, ровно студень на солнышке... Так, веришь ли, два часа мы в него палили, шуму что навели... всех и гагар-то распугали. Всяко били, еле прикончили!..

— Зачем же вы его так? — Пальчиков представил себе, как десять хозяйственных мужичков, подобных Кручинкину, толкутся на спине кита, пластуя и деля дар великого моря.

— А что ж, в трактир, что ль, его весть, раз заплыл? — встрепенулся Кручинкин, и в руках его скользнуло что-то от жаворонка, когда взвивается он над полем. — В киту сало есть, полезно, когда горло заболит, сапоги его тоже любят. Англичана торговали, деньги давали, а мы его на ром да на рези-

новы сапоги... Гляньте, мол, кит-то каков, первый сорт кит, такая жулябина... на всю Англию вам хватит!

— Продали? — Пальчиков прислушивался, точно к голосу из иного мира, уже покинутого им.

— А то как же... Три дня мы того кита пропивали, а потом колышками щекотаться зачали. У нас это только в радости! На Петров день двенадцать человек положили, а на Казанскую, бог даст, еще того более положим. Англичана всё в аппараты сымали на память... Главное дело, если кровь при пробитии головы вытекает, это хорошо. Ставь его на ноги, и снова годный боец. Вот народ, сказывают, мельчат, а я думаю, как губернию, скажем, на губернию каждогодно напущать, так и народ бы от развития крепше стал...

Уже надоела Пальчикову кручинкинская болтовня.

— Ты ступай... ступай, куда тебе надо,— попробовал он отвязаться от неотвязчивого, но тогда оказалось, что при обыске Флягин отобрал у Кручинкина паспорт и все пропуска с английскими печатями. — Приходи завтра, завтра и получишь... — Но Кручинкин не отставал, дорожа бумагами больше жизни. Впрочем, теперь он следовал за поручиком на достаточном расстоянии.

У окна местной газетенки Пальчиков остановился подвязать шпору, звяканье которой вдруг показалось ему непристойным. Заспанный человек вывешивал в окне новую военную сводку; там сообщалось, что под Нюкшей красные немного потеснили белые части, что отступление носит лишь стратегический характер, что настроение частей остается бодрым и непоколебимым... Она была особенно крупна на этот раз, доза успокоительного вздора. Пальчикова потянуло к дому частного поверенного Фидунова, к себе на квартиру, в одиночество.

Часовой у крыльца отчетливо сделал на караул, но поручику безразлично стало, крепка ли дисциплина в его собственной охране; однако он задержался. Ему никогда не нравилось смуглое, не северное лицо солдата, про которого он знал, что тот был председателем батальонного комитета депутатов в первую революцию.

— Никто не приходил ко мне? — ни к чему спросил он.

— Никак нет, господин поручик,— выпалил солдат, помнивший муштру веселого ротмистра.

— Ты с удовольствием приколол бы меня,— колюче посмеялся поручик. — Но ты обожди, всему свое время.

— Точно так... — как-то не по-военному ответил солдат и смутился.

Мимо спящего Флягина поручик прошел к себе и скинул шинель на спинку стула. В памяти все вертелся навязчивый отрывок из Корневильских колоколов. Поковыривая в зубах, поручик подошел к карте, сплошь исколотой флажками, и внимательно осмотрел ее. Под Нюкшей, которая на карте походила на мушиное пятнышко, красные флажки густо выбились клином, и в неуловимой петле их одиноко торчал белый флажок Няндорска. Поручик вытащил белый и вколол на его место красный флажок, самый ближний с запада. Странное облегчение, точно демобилизовался вдруг и волен стал занять любое место в жизни, испытал он тогда: больше не за что стало драться. В ту минуту загудел полевой телефон на столе.

— Да,— сказал поручик, беря трубку,— это я. Не орите, а говорите толком,— заметил он, хотя и понимал, что по ту сторону провода волновалось высокое начальство. — Эвакуация?.. Да у меня уж все готово. Нет, никаких бумаг. Нет, никаких арестованных... — Он откинул трубку, подумал и достал из ящика стола револьвер, подарок штаба, когда еще был командиром Волчьей сотни. Потом он снова взялся за трубку. — ...Да, нас прервали, ваше превосходительство! Что? А вы топните на них ножкой, ваше превосходительство! А у вас есть билет на пароход? Бросьте угрозы: и вы не казак, и я не разбойник. Покойной ночи... — Он не дослушал грозного начальственного внушения и бросил трубку.

Кончалась белая ночь; неистовые розовые светопады за окном слепили. Поручик закрыл глаза и мысленно наспех проследил свою жизнь; так листают альбом выцветших фотографий, на которых изображены смешные и старомодные покойники... Как на параде, истекая вышнею благодатью, перед ним проходила империя, и впереди ее почему-то шли мохнатоголовые гренадеры, которых в солнечный день однажды Пальчиков ребенком видел из окна; потом двигались металлической лентой кирасиры, и медные орлы их готовы были лететь и когтить врагов династии и самодержавия... Потом краски посерели, и в серое вмешалась кровь... Раненые ковыляли на обрубках, и убитые шли смеющимися рядами, подмигивая империи, вставшей на костыли. Пальчиков перевернул сразу

несколько страниц этого богатого и пышного альбома и на последней, жалкой его странице увидел прапорщика Мишку, Ситникова, Краге и себя.

В забытьи он не слышал, как Флягин, ругаясь, искал кручинкинские документы, как благодарил Кручинкин и все звал его вместе с начальником к себе, в преславное село Горы, пить знаменитое молочко. Он очнулся, когда кто-то, ступая босыми ногами,— наверно, баба,— вошел в канцелярию; потом раздался плеск воды и грохот переставляемого ведра. «Подоконники пришла мыть во исполнение вчерашнего приказа»,— как бы сквозь туман догадался поручик. Приглушенная возня за дверью еще раз отвлекла его от раздумий о самом себе.

— ...и не стыдно на старости-то лет! — сказала тихо баба, а Флягин шикал на нее, и видимо, ничто не было ему стыдно на старости лет.

«Комарь, раскомаривай ее!» — хотелось крикнуть поручику, но одолевала дремота... А уже приближался день; он входил одновременно всюду, множественный и всемогущий; он будил мысль и оживлял вещи. Неожиданно скрипнул и как бы покашлял стул в простенке, слегка в непонятном ветерке качнулась занавеска, а в канцелярии поспешно пробили часы. Это напомнило поручику о времени, и он уже знал, что конец няндорской эпопеи начнется с его собственной гибели. Никогда он не видел своего револьвера с дула и потому не узнал его,— черный Анисьин глазок наблюдал за ним и тут; потом он стал двоиться, разъезжаться, и наступило одно мгновенье, когда он совсем походил на пикового туза...

А Кручинкин, зайдя на постоялый двор, поил коня и кормил его щедро, прежде чем собрался в обратный путь. И опять, торопливо едучи через весь город, минуя заставы да патрули, он пугливым глазом соглядатая наблюдал пустые улицы, в которых еще болтались невеселые флаги и грозились афишки поручика Пальчикова. Лишь теперь осмыслив злое их значенье, он гнал своего конягу и не щадил кнута. В душе он уже простил чудаков, проморозивших его целую ночь в тюремной богадельне, и если не забыл еще своего забавного приключения, то лишь потому, что все почесывались клопиные укусы.

И опять он переезжал знакомую лужу близ городовой заставы, но на этот раз была она синяя, точно бросили в нее горсть ализарину. И опять кряхтела подвода, утопая в грязи,

а лошаденка так выбивалась из сил, что казалось, вот-вот перервется ее жидкий позвоночник. И опять пошла дорога, а при дороге мох-деряба, да брусника, да сиха голубая, да клюква, да редкая подорожная сосна. Здесь он чуял себя хозяином, и никакая сила, кроме сна, не настигла бы его тут. Так он и ехал по пылям большой дороги, дремля и улыбаясь; должно быть, так же улыбается большая глупая рыба, уходя из верши.

Домой он приехал задолго до полдня и не прежде вошел в избу, чем распряг конька и втащил телегу под укрытье. В доме непривычный стоял ребячий рев, и Кручинкин, заслышав, тотчас сдернул с себя шапку. Еще не взглянув на жену, не помолясь в угол, не поклонясь соседке, хлопотавшей вкруг печи, он на цыпочках, как к огромному начальнику жизни, приблизился к корзине, подвешенной на веревках возле окна. Обернутый в старую, выстиранную материну юбку, мальчишка слюнявился материнским молоком и голосисто оповещал мир о своем появлении на свет.

— ...а иные орать прикованы! — продолжал он обрывок какой-то мысли. Толстая щечка ребенка так и влекла к себе его узластый и грязный палец. Но тут лоб его наморщился, и колюче распрямилась солома на щеках. — Эх, а соску-то тебе я и забыл купить! — с огорчением вскричал он, и похоже было на то, что он только одного себя считал виновником неисполненного обещания...

1927—1928

ПРИМЕЧАНИЯ

В первый том настоящего Собрания сочинений Л. М. Леонова входят рассказы и повести 20-х годов. С них начинается профессиональная литературная деятельность писателя.

Хотя они принадлежат к раннему творчеству Леонова, им предшествует целый ряд опытов, преимущественно литературно-критических, прозаических и поэтических. Отец его, поэт-суриковец и московский журналист Максим Леонович Леонов (1872—1929), принимал активное участие в революционной деятельности и за издание демократических произведений был приговорен к году и восьми месяцам крепости, отсидел в Таганской тюрьме, а затем был сослан в Архангельск. В одном из своих стихотворений 1915 г. М. Л. Леонов призывал сына допеть не допетую им песню:

На славный, честный путь народного поэта
Благословляю я тебя, мой сын родной.
Я жизнь свою прожил, а песня не допета,—
Так ты иди вперед, так ты ее допой.

Еще будучи учеником 3-й Московской гимназии, Леонид Леонов печатается в газете «Северное утро» (Архангельск), которую редактировал его отец, со стихами, театральными рецензиями и очерками. К своей поэзии, в какой ощущалось влияние поэтов-суриковцев, а также модных тогда символистских течений, сам Леонов отнесся сурово и в 1920 г. сжег толстую рукописную книжку стихов. Из его ранних поэтических опытов следует отметить стихотворение, написанное, когда автору было пятнадцать лет, и вошедшее как песнь Хама о похищении земли в рассказ 1922 г. «Уход Хама». В 1916-м создана поэма «Сказание о Калафате», из нее вырос одноименный рассказ-притча (позднее вошедший в роман «Барсуки»).

Несколько позднее, в 1917—1920 гг., Л. Леонов пробует силы в прозе, испытывая сильное воздействие древнерусской литературы, к которой он приобщился еще в детстве (читал деду Л. Л. Леонову

Жития святых, Киевский патерик, Четьи-Минеи). В 1917 г. написана в народном духе сказка «Царь Афоня».

В феврале 1918 г. Леонов оканчивает 3-ю Московскую гимназию и в мае уезжает к отцу в Архангельск. Он работает в газете «Северное утро», исполняя обязанности секретаря и корректора, а также ведет театральный отдел. Леонов готовится к поступлению на медицинский факультет Московского университета, однако не успевает вернуться в Москву: 2 августа Архангельск занимают английские войска, отрезая его от Советской России. Молодой Леонов проходит через тяжкие испытания жестокого времени, которые позднее отразились в поэме «Запись на бересте» (журн. «30 дней», М., 1926, № 1) и в повести «Белая ночь».

После освобождения Архангельска Красной Армией в феврале 1920 г. Л. Леонов добровольцем отправляется с артиллерийским дивизионом на Южный фронт (в Гуляйполе). Назначенный редактором «Бюллетеня» политотдела 15-й Инзенской стрелковой дивизии, принимает участие в штурме Перекопа (октябрь — декабрь 1920 г.). Л. Леонов является почетным ветераном этой дивизии, после гражданской войны получившей наименование Сивашской, а после Великой Отечественной — Краснознаменной Штеттинской дивизии.

В начале 1921 г. Л. Леонов был переведен в 51-ю дивизию в Одессу, а в марте назначен на работу в орган политуправления Реввоенсовета 6-й армии — газету «Красный боец» (Херсон, Екатеринослав). Летом того же года его откомандировали на учебу в Москву, где он не был принят в Московский университет. После поры бедствий, когда Леонов работает в частной слесарной мастерской за обед, ужин и угол, следует неудачная попытка поступить во ВХУТЕМАС: в ту пору сам он видел свое будущее в призвании художника.

В июле 1921 г. Леонов назначается техническим секретарем газеты Московского военного округа «Красный воин», явившись фактически одним из ее организаторов. До середины 1922 г. здесь печатаются его стихи, фельетоны и очерки. Леонов заслужил любовь редакционного коллектива и добрые слова Д. Фурманова: «Парнишка приятный и всеми нами любимый» (Д. Фурманов. Из дневника писателя. М., «Молодая гвардия», 1934, с. 90).

Свои первые прозаические произведения — как бы в контрасте с окружающей разрухой и голодом 1921 года — Л. Леонов создает в сказочных красках слова, в амальгаме разнородных литературных влияний поэтизируя далекую жизнь. В одном и том же 1922 г. написаны рассказы «Бурыга», «Случай с Яковом Пигунком», «Валина кукла», «Деревянная королева», «Бубновый валет», «Гибель Егорушки», «Туатамур», «Уход Хама», «Халиль», «Петушихинский пролом». В этих пестрых пробах пера поражают зигзаги творческой фантазии молодого писателя,

уносящей его то в средневековую Монголию, то на былинный русский Север, то к библейским истокам человечества, то в мир книжной Персии с ее безусловно поэтичной и одновременно сомнительной достоверностью. Все это были как бы рисунки пером на полях будущих произведений. Пестрые экзотические, разнотемные, рассказы эти, помимо своего незаурядного самостоятельного художественного значения, послужили стилевой школой.

Высоко оценил ранние рассказы Л. Леонова М. Горький: «Прочитал незнакомые мне рассказы «Уход Хама», «Халиль», «Гибель Егорушки» и очень рад еще раз сказать: талантливый Вы художник, берегите себя и не верьте никому, кроме себя, а особенно людям, которые пишут предисловия» (цит. по кн.: Ф. Власов. Поэзия жизни. М., 1961, с. 60).

«Для Леонова в этот период не было существенной разницы между народной сказкой и Достоевским, между Лесковым и Блоком... И самый «орнаментализм» Леонова, его открытое наслаждение самоцветным словом — и подчеркнуто архаизированным, и подчеркнуто рафинированным — происходило от того же стремления утвердить эстетику русского языка и в его исконной народной самобытности, и в его многократном преломлении через все вековые пласты русской поэтической культуры...» (Е. Старикова. Леонид Леонов. М., «Художественная литература», 1972, с. 19).

Критика 20-х годов, откликаясь на появление первых прозаических произведений молодого Леонова, единодушно отмечала его крупный художественный талант: «Большое, свежее и разностороннее дарование» (Ю. Данилин); «Одаренность его такова, что он уже сейчас становится в ряды настоящих мастеров художественного слова» (А. Воронский); «Безусловно талантливый писатель» (Н. Смирнов); «удачливый и богатый художник» (Авг. Р⟨ашевская⟩); «первоклассное дарование» (В. Львов-Рогачевский) и т. д. Однако одновременно указывалось на идейную противоречивость произведений Л. Леонова, неясность его миросозерцания и уклоны в полумистические настроения, литературные влияния (особенно воздействие Достоевского), ограниченность стилизации как главной формы построения его рассказов и на тягу к экзотическим, далеким темам. Впрочем, критика содержала в себе точки зрения на творчество молодого Леонова, которые существенно отличались.

В редакционном предисловии к сборнику Л. Леонова «Рассказы», куда вошли произведения, написанные в 1922 г. (М. — Л., Госиздат, 1926), к примеру, говорилось: «Начальное творчество Леонида Леонова... с формальной стороны имеет уже все те элементы, которые развернутся в «Барсуках» в насыщенную и порою совершенную художественную ткань. Отдельные места в них, в описательной части, в красках, в цветах,

отдельные сцены — нередко превосходят близкие по характеру сцены в романе «Барсуки» или не уступают им в силе изобразительности».

В то же время в этой статье отмечалось «внутреннее, органическое различие между начальным творчеством Леонида Леонова и его последней вещью — романом «Барсуки». Неустоявшееся, колеблющееся мировоззрение, полное мистических и психологических переживаний, ярко и ясно живет и в «Петушихинском проломе», и в «Бурыге», и в «Гибели Егорушки», и в «Уходе Хама».

Иной точки зрения придерживался критик А. Воронский, утверждавший в статье «Леонид Леонов», вышедшей еще до появления «Барсуков» в журнале «Красная новь» (1924, кн. 3), а затем ставшей частью обширного очерка о Леонове в книге «Литературные портреты» (т. 1, М., «Федерация», 1928): «Многие считают Леонова мистиком. Это едва ли так. Художественное нутро у Леонова совершенно языческое, земное... В основе творчество Леонова реалистично и питается языческой любовью к жизни. Леонов любит жизнь, как она есть, в ее данности...» («Красная новь», 1924, кн. 3, с. 303).

Ю. Тынянова привлекло в творчестве молодого Леонова вторжение поэтической стихии в прозу, его высокое мастерство и своеобычность в общем литературном процессе «жизни» и развития, взаимодействия стиха и прозы: «Есть и другой сказ, высокий, лирический. И он делает ощутительным слово, и он адресован к читателю... Лирический сказовик — Леонов, молодой писатель с очень свежим языком... Теперь сам стих необычайно усложняется, сам бьется в тупике; и прозе и стиху предстоит, по всей вероятности, разграничиться окончательно,— но на склоне течений появляются иногда неожиданно яркие вещи,— может быть, Леонов будет таким «бабьим летом» стихотворной прозы» (Ю. Тынянов. Литературное сегодня. — «Русский современник», 1924, кн. 1, с. 301).

Анализируя литературный процесс, В. Переверзев отмечал: «Значительный интерес представляют собою и вышедшие отдельными изданиями сочинения молодых беллетристов: Сейфуллиной, Шишкова, Романова, Леонова. Присматриваясь ко всему этому беллетристическому материалу, делаешь заключение, что в нем много потенциальной силы, сулящей большой литературный подъем. Если она и не дала еще ничего монументального, имеющего большой синтетический охват, то это дело наживное. Важно то, что даже в своих эскизных работах она дышит новизной, свежестью и интересом» (В. Переверзев. Новинки беллетристики. —«Печать и революция», 1924, кн. 5, с. 134).

Встречаются и критические отзывы, явно тенденциозные, сгущающие краски в оценке теневых сторон дарования молодого Леонова. Так, Н. Смирнов утверждал: «Л. Леонов безусловно талантливый писатель,

Однако талантливость его принадлежит к той ее разновидности, которая, не имея под собой почвенной глубины, питается лишь ранее отложенными и, к счастью, неиссякаемыми соками. Творческий рост Леонова будет мучительным и трудным... Леонов хочет быть писателем современности, т. е. писателем, которому обеспечена творческая действенность,— многое он должен переоценить, перечитать и переплавить» (Н. Смирнов. Литература и жизнь. Леонид Леонов. —«Известия», 1924, 17 августа). Появление романа «Барсуки», а затем — «Вора» опровергло прогнозы критика.

Искания Л. Леонова продолжались в течение всех 20-х годов, причем в произведениях «малых» форм, как тех, о которых шла речь выше, так и последующих —«Записи некоторых эпизодов, сделанные в городе Гогулеве Андреем Петровичем Ковякиным», «Петушихинский пролом», «Конец мелкого человека», «Необыкновенные рассказы о мужиках», повестях «Провинциальная история» и «Белая ночь»,— намечаются контуры тех проблем, которые воплотились в центральных произведениях той поры — романах «Барсуки» и «Вор», выдвинувших его в число первых художников молодой советской литературы.

В данном томе произведения расположены в хронологическом порядке по времени их написания или первой публикации. Все датировки в тексте принадлежат автору.

Бурыга (стр. 35). — Впервые опубликован с посвящением художнику В. Д. Фалилееву в альманахе «Шиповник», 1922, кн. 1. Вошел в том I Собрания сочинений Л. Леонова (изд-во «Пролетарий», Харьков, 1928) и в сборники его произведений «Рассказы» (М. — Л., Госиздат, 1926; М., изд-во «Никитинские субботники», 1927, 2-е изд. — 1929).

Первый вариант рассказа был написан в 1920 г. и утерян; вновь рассказ был закончен в январе 1922 г.

Откликаясь на его появление, В. Львов-Рогачевский отмечал: «Совсем недавно выступил еще один совсем еще юный художник: это — Леонов, напечатавший в первом номере «Шиповника» свой лесной, смолистый, поэтичный рассказ «Бурыга»... Автору, пришедшему к нам с севера, от тех лесов, где мечтают о «Белом ските», всего 22 года. Не у Даля, не из книг, а у живых источников собрал он сокровища живой поэтической речи. Эта живая речь давно уже уходит из наших городов и живет на севере диком, где сохранились наши сказки и былины. Поэт, влюбленный в природу и в живую речь, чувствуется в каждом слове» (В. Львов-Рогачевский. Революция и русская литература. — «Современник», кн. II, 1923, с. 82).

Анализируя рассказ, критика отмечала обращение Леонова к стихии крестьянского фольклора, жанру устной сказки: «Автор не ведет повествование от своего лица, не пользуется инвентарем общелитературного языка. Он стилизует свою речь, он подделывает свои произведения под некий заранее заданный литературный стандарт. В «Бурыге» таким стандартом является устная народная сказка, представляющая собой сплав мифологических поверий, книжного языка и элементов цивилизации, влиянию которой подверглась пореформенная деревня» (Д. Горбов. Леонид Леонов. — В кн.: Д. Горбов. Поиски Галатеи. М., 1929, с. 155).

Бубновый валет (с. 54). — Впервые опубликован в кн.: Л. Леонов. Деревянная королева. Бубновый валет. Валина кукла. Пг., изд. М. и С. Сабашниковых, 1923. Вошел в том I Собрания сочинений.

Написан в марте 1922 г.

Гибель Егорушки (с. 60). — Впервые опубликован с посвящением издателю М. В. Сабашникову в альманахе «Круг», 1924, кн. 3. Вошел в том I Собрания сочинений и в сборник произведений Леонова «Рассказы» (М. — Л., Госиздат, 1926).

Первоначальный вариант рассказа создан в марте 1922 г.; произведение переработано в 1923 г.

Рецензируя рассказ, В. Переверзев писал: «Напечатанная в альманахе повесть Леонова «Гибель Егорушки», как и вышедшая отдельным изданием повесть «Туатамур», написаны на экзотические темы с явным уклоном в стилизацию. Первая старается овеять читателя угрюмоватой шаманящей экзотикой беломорья; вторая — ароматом татарских степей с реющими по ней татарскими богатырями. Но и в экзотику автор ушел, чтобы найти там катастрофическую напряженность нашей революционной эпохи...» (В. Переверзев. Новинки беллетристики. — «Печать и революция», 1924, кн. 5, с. 137).

Говоря об исканиях молодого Леонова, Д. Горбов отмечал: «Только в «Гибели Егорушки» и в «Конце мелкого человека», повестях, где творческое созревание писателя сказалось в самом выборе тем, на этот раз взятых из современности,— и сказ приобретает более жизненное, менее формальное значение. Здесь он предстает уже не как проба талантливого пера, которое проходит высший класс литературной учебы, а как прием, направленный к разрешению сложной общественной темы», и указывал на «...слог былин — источник стиля в «Гибели Егорушки» (Д. Горбов. Поиски Галатеи, с. 156, 155).

Валина кукла (с. 84). — Впервые опубликован в кн.: Л. Леонов. Деревянная королева. Бубновый валет. Валина кукла. Пг., изд. М. и С. Сабашниковых, 1923. Вошел в том I Собрания сочинений.

Первый вариант рассказа создан в 1919 г.; рассказ переработан в мае 1922 г.

В своем, в целом критическом, отзыве о сборнике Ю. Тынянов выделил этот рассказ: «Неудачна книжка Леонова «Деревянная королева» с душной комнатной фантастикой, но и эти рассказы (в особенности «Валина кукла») — выделяются своей словесной чистотой» (Ю. Тынянов. Литературное сегодня. — «Русский современник», 1924, № 1, с. 301).

Туатамур (с. 90). — Впервые с посвящением С. Ю. Копельману, владельцу издательства «Шиповник», опубликован отдельным изданием: Л. Леонов. Туатамур. М., изд. М. и С. Сабашниковых, 1924. Вошел в том I Собрания сочинений и в сборники произведений Леонова: «Рассказы» (М. — Л., Госиздат, 1926); «Избранные произведения» (ГИХЛ, 1932; М., «Советская литература», 1934).

Рассказ написан в мае 1922 г.

Канвой для рассказа послужили исторические события нашествия на Русь в XIII в. татаро-монгольских войск Чингисхана и битвы при Калке, подвергшиеся сильному поэтическому переосмыслению.

В критике отмечалось высокое мастерство стилизации Леонова-художника, искусно создающего древневосточный колорит. «Третья книга Леонова —«Туатамур»,— писал Ю. Тынянов,— совершенно лирическая поэма. Экзотический сказ, с восточными образами, с фразами из корана — идет от лица полководца Чингис-хана. Вся вещь лексически приподнята, инструментована «по-татарски». Леонов вводит целые татарские фразы, и эта татарская заумь окрашивает весь рассказ, сдвигая русскую речь и экзотику, делая ее персидским ковром... Еще немного — и она станет стихом» («Русский современник», 1924, № 1, с. 301).

«Своеобразное сочетание лирики с эпосом, точеный язык, правда местами перегруженный татарскими речениями,— указывал А. Воронский,— простота, законченность, продуманность фабулы и всего построения сообщают «Туатамуру» высокую художественную ценность» (А. Воронский. Леонид Леонов. — «Красная новь», 1924, кн. 3, с. 296).

Вместе с тем в других откликах делалась попытка «привязать» творчество молодого Леонова к какому-то узкому литературному направлению, в частности, к «орнаментальной прозе», к произведениям А. Ремизова и Е. Замятина, утверждалось, будто повесть интересна «искусно построенным словесным узором, что иллюстрирует одно из литературных течений современной русской прозы» («Книжные новости», 1924, № 3-4, с. 98).

Недооценка ранней прозы Леонова сказалась и в статье А. Лежнева, который, выделяя высокое словесное искусство писателя, видел в «Туатамуре» и в близких ему рассказах лишь плоды превосходной литературной школы, эксперименты для дальнейших поисков: «Стилиза-

ция сделана автором блестяще, с замечательным мастерством, формы сказа выбираются самые разнообразные (особенно охотно прибегает он к восточному сказу: «Халиль», «Туатамур», «Уход Хама»), но живого, непосредственного, реалистического творчества в этой книге еще нет... Все рассказы рецензируемого сборника можно рассматривать как свидетельство большой работы, которую проделывал над собой молодой писатель, стремясь овладеть литературным мастерством» (А. Лежнев. Л. Леонов. Рассказы (1926). — «Правда», 1926, 12 сентября).

Стр. 90. *Зенбиль-ханым.* — Ханым — госпожа, повелительница.

Бурджигин — племя, покоренное Чингисом.

Тайджуты — племя, покоренное Чингисом.

Улуг-дудурга — крепко умеющий держать.

Тенебис-курнук — племя, покоренное Чингисом.

...от Хоросана до Астрабада. — Хорасан — букв. восход солнца, восток; в III—XVIII вв. историческая область на Среднем Востоке, включавшая северо-восточную часть современного Ирана, Мервский оазис, оазисы юга современной Туркменской ССР, северные и северо-западные части современного Афганистана. Астрабад — до 1930 г. название города Горган в Иране.

...от Тангута до земли Алтан-хана. — Тангуты — монгольское название тибетцев. Алтан-хан — букв. Золотой хан; титул, которым монголы (XIII в.) называли императоров династии Цзинь.

...землю найманов. — Найманы — многочисленный казахский род.

Стр. 91. *Ясак* — подать, дань, налог.

Бахты — хлопок.

Каан — великий повелитель

Орус — русский.

Кызыл-джаулык — красный платок.

Батман — мера веса, в разных местах различная (от 22 до 40 кг).

...павлинья джига праздничного феса мурзы — перо павлина, украшавшее нарядный головной убор знатного господина.

Стр. 92. *Аммэна* — о создатель!

Барлас — лазутчик.

Атабеки — старейшины родов.

...ряды моих дада. — Дада — старший брат; преданные воины.

Нукер — воин личной охраны властителя, знатного человека.

Хакан — правитель, властитель.

В год Коровы. — Восточные народы для летосчисления пользовались двенадцатилетним циклом: год Мыши, год Коровы, год Барса, год Зайца, год Дракона, год Змеи, год Лошади, год Овцы, год Обезьяны, год Курицы, год Собаки, год Свиньи.

Улусы — территориальное деление земель, завоеванных татаро-монголами.

Инак — титул наместника хакана.

Джапанча — верхняя одежда мужчины.

...в сукае — в зарослях.

Стр. 93. *Тахт* — престол.

Буякши — это хорошо.

Дабылбаз — малый походный барабан.

Нишабур и Термиз. — Нишапур — город на северо-востоке Ирана; основан в III в. Термез — город в Туркменской ССР.

...Балха и Бедехшана. — Балх — город в Северном Афганистане; в XI—XII вв. входил в состав владений Газневидов, Сельджукидов, Гуридов; в 1221 г. разрушен Чингисханом; восстановлен в XIV в. Бадахшан — ныне Горно-Бадахшанская автономная область Таджикской ССР.

Фарсанг — мера длины, равная примерно 7—8 км.

Батырь — храбрец, богатырь, силач.

Стр. 94. *Курултай* — съезд, сбор.

Железный Кол (Темир казык) — так называлась Полярная звезда.

...хоть один пул — хоть одну монету.

Мин улымь! — Я мертв!

Стр. 95. *Алдында!* — Вперед!

Кагер тушсун душманга! — Да падет проклятье на врага!

Каберчи — вестник.

Билегез кышилерим! — Знайте, мои люди!

...в долине Джауфрата — в долине Ефрата.

...меньм итаатлим! — мой осторожный!

Стр. 96. *Чатыр* — шатер.

Картка кайга! — Горе старости!

Улымь душманга! — Смерть врагу!

...бис дженебис! — Мы победим!

...болсун шулай! — Да будет так!

Стр. 97. *Улуг-Ана* — Великая Мать.

Алач — мера длины.

Эй, Худда, беним юраклы алаимны сакла! — О создатель, сохрани огонь моего сердца!

Стр. 98. *Аган* — воитель.

Бол — мед.

Сеид-ата. — Саид — господин, ата — отец; почтительное обращение к знатному человеку.

Стр. 99. *Эджегет* — храбрый джигит.

Кагер — проклятие.

Хаким — мудрец.

Е, тагсн? — Ну, еще что?

Стр. 100. *Ханджаулык* — ханский платок.

Аймак — селение.

Шайтанга! — К черту!

Башкурд — башкир.

Стр. 101. *Буздыган* — скипетр.

Стр. 102. *Дешт-Кипча* — степные кипчаки.

Тулпар — скакун, боевой породистый конь.

Сюкэмли, гайретлы яш... — Милый, энергичный молодец.

Яшасын кагерман! — Да здравствует храбрец!

Тарханный ярлык с тамгой хакана — охранная грамота со знаком правителя.

Саба — кожаный мешок для хранения кумыса.

Стр. 103. *Гаскер* — воин, солдат.

Меним батырлар ытагатлы, тынлагез! — Мои послушные богатыри, внимайте!

Согеш ве улымь! — Бой и смерть!

Стр. 104. *...шакши кочиклар!* — Несчастные беглецы!

...послали в Орус — послали в Русь.

Кипча — донгузлар... — кипчаки свиньи.

Стр. 105. *Худданыз джяр болсун!* — Да будет славен бог!

Цветной лоскут с тамгой Чингиса... — Стяг со знаком Чингиса.

Они звали ее Калка. — Здесь речь идет о битве на Калке в 1223 г.

Стр. 106. *Хатунь* — женщина, жена.

...звезду Омур-Зайя — звезду конца жизни.

Стр. 107. *Атаклы балалар!* — Бесстрашные воины!

...кызылбашского лука... — персидского лука. Персов называли кызылбашами за то, что они носили тюрбаны с красными полосами.

Стр. 108. *Свои кричали его Джаньилом.* — Упоминается Даниил Галицкий, мужественно сражавшийся в битве на Калке.

Турсук — кожаный мешок для хранения жидкостей.

Юк — нет.

Мстислаб — речь идет о киевском князе Мстиславе, который обратился в бегство, не желая помочь другим русским князьям.

Стр. 110. *...эджегет орус* — храбрый русский джигит.

Тынлагез баргузда! — Внимайте все!

Стр. 111. *Карбекчи* — гонец.

Бетты юлды хакан кызы! — Окончила свой путь дочь хакана!

Стр. 112. *Ытлыр* — собаки.

...алды реза болсун — пусть благословит бог.

Стр. 113. *...по юрту кангитов* — по жилищам кангитов.

Худдай сакла ханный, бир она узун кымер! — Да сохранит творец хана, дай ему долгую жизнь!

Стр. 114. *Оклар у куб калды!* — В запасе много стрел!

(Перевод с татарского Р. Фаткуллиной.)

Случай с Яковом Пигунком (с. 115). — Впервые опубликован в альманахе «Литературная мысль» (Пг., 1923, № 2).

Рассказ написан в июне 1922 г.

Уход Хама (с. 133). — Впервые опубликован в кн.: Л. Леонов. Рассказы. М., Госиздат, 1926.

Написан в июле 1922 г.

В основу рассказа положен известный библейский сюжет о всемирном потопе, который разработан Леоновым свободно поэтически.

Халиль (с. 144). Впервые опубликован в альманахе «Наши дни» (М. — Л., ГИЗ, 1925, № 5). Вошел в том I Собрания сочинений и в сборник произведений Леонова «Рассказы» (М. — Л., 1926).

Рассказ написан в августе 1922 г.

Стр. 144. *Салям* — приветствие.

Месневи — жанровая форма в восточной поэзии; поэма, характеризующаяся значительным объемом и системой парной рифмовки.

Касыда — жанр восточной поэзии, обычно ода, восхваляющая какое-либо влиятельное лицо.

Джейхун — так арабы прозвали Амударью, что означает мутная и коварная.

Стр. 145. *Бурхани* — чаша.

Ясмин — жасмин.

Турбэ — покои.

Улемы — знать, состоящая из ученых и представителей духовенства.

Херат (правильно: Герат) — город на северо-западе Афганистана.

Муэдзин — духовное лицо, призывающее с минарета мусульман к молитве.

Намаз — обязательная пятикратная молитва мусульман.

Стр. 146. *Хадж* — паломничество мусульман в Мекку и Медину (Саудовская Аравия) — святые места мусульман.

Эзан — призыв мусульман к намазу.

Асаф — управитель.

Симург — мифическая птица, обитавшая, по преданию, на краю земли, на горе Каф. Людям не дано видеть эту птицу, поэтому в восточной поэзии она служит символом невидимого, недостижимого.

Иблис — дьявол.

Фирман — указ, приказ, постановление.

Стр. 147. *...по два тенке* — по две монеты.

Динар — золотая монета.

Мубарек — благословенный; здесь имеется в виду пророк Мухаммед, создавший Коран.

Стр. 148. *Мюрид* — последователь, ученик ишана — высшего духовного лица.

Кадий — должностное лицо.

Хумай — легендарная птица, которая, по преданию, приносит счастье тому, кого коснется крылом.

Кааба — священный храм мусульман в Мекке.

Стр. 149. *Муса* — пророк Моисей.

Сахыб — владелец.

Хадисы — толкователи изречений пророка Мухаммеда.

Стр. 151. *Джелаледдин из Руми* (1207—1272) — один из выдающихся представителей ирано-таджикской поэзии.

Суфий — набожный человек, праведник.

Газэл (правильно: газель) — стихотворная форма в лирической поэзии народов Востока; состоит обычно из 5—12 двустиший с однозвучной рифмой через строку.

Ахмед Есеви (правильно: Ахмед Ясави; ок. 1105—1166) — среднеазиатский суфистский поэт и проповедник.

Хаджи — человек, совершивший паломничество в Мекку.

Стр. 153. *Бербут* (правильно: барбат) — музыкальный инструмент.

Диван — собрание.

Дикхане — крестьяне, земледельцы.

Стр. 154. *Месяц Сафар* — второй месяц мусульманского лунного года.

Дервиш — отшельник, странствующий монах.

(Примечания к рассказу «Халиль» написаны Р. Фаткуллиной).

Деревянная королева (с. 157). — Впервые опубликован в кн.: Л. Леонов. Деревянная королева. Бубновый валет. Валина кукла. Пг., изд. М. и С. Сабашниковых, 1923. Вошел в том I Собрания сочинений.

Написан в июле — августе 1922 г.

Стр. 157. *Гамбит* — название начал шахматных партий, в которых одна из сторон жертвует чаще всего пешку. Гамбит называется по расположению фигур (королевский) или по имени автора (гамбит Эванса).

Стаунтон Говард (1810—1874) — выдающийся английский шахматист, оставивший заметный след в развитии дебютной теории, его имя носит изобретенный им гамбит; основатель журнала «Шахматная хроника»; занимался журналистикой и шекспироведением.

Стр. 158. *Морфи* Пол Чарлз (1837—1884) — американский шахматист.

Стр. 159. *Стейниц* Вильгельм (1836—1900) — первый чемпион мира по шахматам, в своей книге «Современное шахматное руководство» разработал основы позиционной игры.

Андерсен Адольф (1818—1879) — немецкий шахматист, один из основателей современной шахматной композиции.

Стр. 162. *Филидор* Франсуа Андре (1726—1795) — французский композитор, один из создателей французской комической оперы; сильнейший шахматист Европы 2-й половины XVIII в., написал трактат «Анализ шахматной игры».

Петушихинский пролом (с. 170). — Впервые с посвящением художнику И. С. Остроухову опубликован отдельным изданием: Л. Леонов. Петушихинский пролом. М., изд. М. и С. Сабашниковых, 1923. Вошел в том I Собрания сочинений и в сборники произведений Леонова «Рассказы» (М. — Л., Госиздат, 1926; М., изд-во «Никитинские субботники», 1927, 2-е изд. — 1929).

Написан в октябре 1922 г.; в апреле 1923 г. рассказ был прочитан на заседании литературного общества «Никитинские субботники». Присутствовавший на заседании критик В. Львов-Рогачевский вспоминал: «Об этом петушихинском проломе рассказано с изумительным мастерством. Так и пахнуло деревней, дремучей Русью с ее былинными и житийными людьми, с ее дивным, узорно изукрашенным языком. С большой объективностью вскользь очерчены фигуры, «большаков», игумена, монахов, бывшего конокрада. Без психологических изысканий автор дал почувствовать чисто внешними штрихами ту бурю, которая пронеслась над доисторическими, стихийными людьми...

Куда он пойдет и с кем? Преодолеет ли он уклон к мистике? Поймет ли, что надо искать не сказочную радость, которая покоилась будто бы в свинцовом гробу, а живую, творческую, подлинную радость, которая будет расти в Новой России, уходящей от дебрей, восставшей из гроба» («Современник», кн. 2, 1923, с. 82).

«В «Петушихинском проломе»,— по словам А. Воронского,— больше, чем в других своих вещах, Леонов постарался дать читателю почувствовать боль пролома, когда старое безжалостно и неотвратимо испепеляется, а новое еще не пришло на смену, причем это новое отчасти предугадывается писателем, но сердцем не воспринято» («Красная новь», 1924, кн. 3, с. 299).

Ю. Тынянов, которого интересовала более поэтика произведения, отмечал: «Петушихинский пролом» — почти поэма, пейзажи ее могли бы встретиться и в стихах, деревня Леонова — тоже деревня стиховая, пряничная, из «духовных стихов» («Русский современник», 1924, кн. 1, с. 301).

А. Лежнев, рецензируя книгу «Рассказы», объединяющую произведения 1922 г., особо выделял «Петушихинский пролом»: «Единственный ранний рассказ Леонова, предсказывающий автора «Барсуков», это, пожалуй, «Петушихинский пролом»... В ней (то есть в рассказе. — *О. М.)* одной видна уже не только стилизация, но и подлинная красочная жизнь, живая современность» («Правда», 1926, 12 сентября).

Среди многочисленных откликов критиков встречались и такие, где выявлялось неприятие леоновской Руси и сама точка зрения автора тенденциозно искажалась. Такова, к примеру, рецензия К. Локса, обвинявшего Леонова в романтизации «и безграмотного мужика, и кликушу за их своеобразие». «Такова «Русь»,— утверждал К. Локс,— сохранившаяся от московского средневековья, темная, юродствующая, всегда любезная славянофильствующему эстетству. Это — не та Россия, которую знал и любил Пушкин, которую вслед за ним должны знать и любить и мы» (К. Локс. Леонид Леонов. «Петушихинский пролом». — «Печать и революция», 1924, кн. 2, с. 270).

Глубже и точнее подошел к оценке «Петушихинского пролома» Д. Горбов, вскрыв и противоречивость позиции молодого Леонова, и его достижение как яркого художника-реалиста: «Отсутствие сюжетной стройности, ставка на импрессионистски выразительное красочное пятно в «Петушихинском проломе», как и в других повестях этого стиля, были выражением того факта, что художник, оставаясь таковым, не может подойти к отвлеченной истине иначе как через частное и конкретное, но зато и физически, подсознательно ощутимое ее выражение... Поэтому Леонов был прав; он был верен своей природе художника, когда шел от конкретного, не позволяя себе попирать его авторитетные для подлинного художника права в угоду обобщению, которое он (художник) еще не мог вывести органическим путем из этого материала. Идя этой, для художника единственно возможной дорогой, Леонов достигал большой выразительности. Достаточно упомянуть такие страницы «Петушихинского пролома», как описание ярмарки в Пестюрьках, фигуру игумена Мельхиседека и центральный эпизод повести — раскрытие мощей, чтобы признать в импрессионистском письме молодого Леонова значительную действенную силу, притом силу, на этот раз целиком направленную на познание живой пореволюционной действительности» (Д. Горбов. Поиски Галатеи, с. 159).

Конец мелкого человека (с. 212). — Впервые опубликован в журн. «Красная новь», 1924, № 3. В том же году вышло отдельное издание: Л. М. Леонов. Конец мелкого человека. М., изд. М. и С. Сабашниковых, 1924. Вошел в том I Собрания сочинений и в книгу Леонова «Рассказы» (М. — Л., изд-во «Круг», 1925).

Написан в декабре 1922 г.

В многочисленных критических отзывах о повести указывалось на связь Леонова и Достоевского, преемственность идейно-художественного мира, общность образности и стилистики. Иные критики трактовали эту связь упрощенно, обвиняя Леонова в эпигонстве. «Леонов удачливый и богатый художник,— рассуждала, к примеру, А. Рашевская,— но своей манеры у него еще нет... Каждая его книга — пародия, великолепная, но — пародия». Считая, что в повести «Конец мелкого человека» автор «загримирован» под Достоевского, она, однако, отмечала, что «в этой копии больше темперамента, чем во многих оригинальных творениях нынешних авторов, и нет никакого сомнения, что ученик, который способен так виртуозно копировать, окажется очень силен, когда выйдет на подлинно творческий путь» (А в г. Р⟨а ш е в с к а я⟩. Л. Леонов. «Конец мелкого человека». — «Русский современник», 1924, № 3, с. 255—256).

Развернутую характеристику произведения дал А. Воронский, отмечавший, в частности: «В ней (то есть повести. — *О. М.)* много есть от хорошо известных излюбленных мыслей и рассуждений Достоевского, но Леонов впервые показал гибель и распад старой интеллигентной подворотни дней революции, он ввел нас в паноптикум «мозга» страны. Образы Лихарева, Елкова, Кромулина, Титуса, Водянова, Елены, хотя и навеяны Достоевским, но правдивы, художественно верны и убедительны. В частности, художник подвел черту и нашей российской интеллигентской достоевщине, хотел он того или нет» (А. В о р о н с к и й. Леонид Леонов. — В кн.: А. В о р о н с к и й. Литературные портреты, т. 1, 1928, с. 332).

Говоря о значении этой повести в дальнейшей эволюции Леонова-писателя, Д. Горбов подытоживал: «Не будет преувеличением утверждать, что в «Конце мелкого человека» Леонов окончательно сформулировал свою тему и, не дав ей сколько-нибудь отчетливой художественной и общественной разработки, в то же время охватил ее в сжатом, но выразительном очерке. «Мелкий человек», о «конце» которого сообщает повесть, в действительности не умер. Он воскрес в следующих произведениях Леонова,— воскрес, стал центральным и усложнился в своих индивидуальных выражениях» (Д. Г о р б о в. Поиски Галатеи, с. 165).

Стр. 213. *...гипсовым Томсеном...* — гипсовый бюст датского археолога Томсена Кристиана Юргенсена (1788—1865), создателя археологической периодизации по векам: каменный, бронзовый, железный.

З а п и с и н е к о т о р ы х э п и з о д о в, с д е л а н н ы е в г о р о д е Г о г у л е в е А н д р е е м П е т р о в и ч е м К о в я к и н ы м (с. 283). — Впервые опубликовано в журн. «Русский современник», 1924, кн. 1, 2. Отдельное издание: Л. Л е о н о в. Записи Ковякина. М. — Л., Госиздат, 1925. Вошло в том I Собрания сочинений и в сборники произведений

Леонова: «Рассказы» (М.— Л., изд-во «Круг», 1925), «Избранные произведения» (М., ГИХЛ, 1932; М., «Советская литература», 1934).

Работа над повестью была начата в мае и окончена в октябре 1923 г.

Своим искусством стилизации, которое было характерно для ранних произведений и с таким блеском проявилось в «Записях Ковякина», Леонов ввел в заблуждение некоторых критиков, один из которых даже принял повесть за «явную обработку сырого материала, попавшего в руки автора». «В прежние времена,— рассуждал критик далее,— провинция знала таких сумасбродных писак, которые вели несуразные хроники событий, жестоко выразительные в самой своей мелочности и литературной безграмотности», и под конец хвалил Леонова за то, что этот материал обработан «как подлинная сатира на дореволюционную Россию» (А. Придорогин. Леонид Леонов. Рассказы. — «Книгоноша», 1925, № 31-32, с. 19).

Большинство критиков 20-х годов высоко оценили «Записи Ковякина». Так, подводя итог пространному анализу повести, Д. Горбов заключал: «Образ Ковякина реалистичен и социально глубок. В нем нет ни капризного субъективизма «петушихинских» действующих лиц, ни общественной ограниченности образов в «Конце мелкого человека». И хотя в «Записях Ковякина» мы по-прежнему не находим ясно выраженного выхода из тупика, хотя конец этой повести не менее безотраден, чем двух первых, все же нельзя не признать, что «Записи Ковякина»— большой шаг вперед, сделанный Леоновым не только в смысле овладения своими техническими средствами (цельность и полнота образов, выдержанность тона, продуманность мотивировок достигают здесь очень большой высоты), но и в смысле уяснения художником своей общественной темы» (Д. Горбов. Поиски Галатеи, с. 172).

Подчеркивая талантливое изображение «густой бытовой атмосферы российских Гогулевых, безвозвратно уходящих в прошлое», А. Воронский особо отметил как безусловно удачный образ самого Ковякина: «Сквозь пошлые, стоеросовые вирши и писарские записи об «эпизодах» просвечивает печальное, человечное, потаенное, покрытое толстейшим слоем нестерпимой обывательщины, что остается все-таки живым даже в этой изнурительной и отупляющей вконец рутинной, застойной среде. Художник нашел в навозной куче жемчужное зерно» (А. Воронский. Литературные портреты, т. 1, с. 325, 326). О ярком показе «сонной и нелепой жизни маленького городка с его идиотизмом» писал А. Лежнев (А. Лежнев. Заметки о журналах. — «Печать и революция», 1924, № 4).

Необыкновенные рассказы о мужиках (с. 347). — Как цикл под заглавием «Необыкновенные рассказы о мужиках» вошел в

том IV Собрания сочинений, ЗИФ, 1930 (изд-во ЗИФ заканчивало выпуск Собрания сочинений, начатого харьковским изд-вом «Пролетарий»).

В критических откликах на рассказы этого цикла отмечался гиперболизм, стремление писателя трагически заострить ситуацию и довести конфликт до предельной трагедийности. «И если писатель возвращается к образам крестьян в своих последних «Необыкновенных историях о мужиках»,— писал Д. Горбов,— то лишь для того, чтобы и здесь своевольно выискать черты необычайного, анекдотического, подчеркнуто-гротескного, что нарушило бы искони установленное представление о мужике. Сермяжные герои «Необыкновенных историй» нимало не похожи на своих собратьев по классу, на «барсуков» (Д. Горбов. Поиски Галатеи, с. 176—177).

В эту пору Леонову пришлось столкнуться и с догматической критикой рапповского толка, примером которой может служить статья И. Нусинова «Новый мир» и «Звезда». Обзор журналов» («Читатель и писатель», 1928, № 46). С вульгарно-социологических позиций обвиняя прозу «Звезды» в «формалистическом нейтрализме», критик в характерном для рапповской критики безапелляционном тоне заявлял: «Л. Леонов забавляет читателя «Необыкновенными историями о мужиках». Да, действительно, необыкновенные истории. Никто не закрывает глаз на сохранившиеся веками «мужичью» дикость и жестокость. Но деревня знает и иные всходы. Зерна этих всходов бросали именно те, кто деревне разъяснял идею «наступающей нови»... Их Леонов не видит... Показать, как «мертвый хватает живого»,— одна из необходимейших задач нашей литературы. Но живого Леонов не замечает, и он все больше занимается утверждением: мертвый торжествует».

С иных, противоположных позиций оценил «Необыкновенные рассказы о мужиках» Д. Тальников. «Совсем незамеченными прошли в нашей критике «Необыкновенные истории о мужиках» Л. Леонова, напечатанные в «Звезде» и «Красной нови»,— указывал он. — Говорят много и пишут о крупных его романах, как «Вор», а между тем насколько значительнее именно эти крошечные рассказики в несколько страничек. Они, быть может, и вообще составляют самое ценное в художественном смысле, что написано до сих пор молодым писателем» (Д. Тальников. Литературные заметки. — «Красная новь», 1929, кн. 1, с. 242).

Указывая на близость в этих рассказах манеры Л. Леонова Бунину (сопоставление спорное), критик одновременно отмечал: «Эти маленькие рассказы захватывают читателя своей свежестью, в них нет обычной вялости и тягучести леоновской, нет ничего лишнего, все скупо и сжато; линия сюжетная развивается сжато и сильно, образы крепкие, четкие, запечатленные подлинным дыханием художественной правды, подымающиеся — как это всегда в настоящем художественном произве-

дении — на степень символов. Без подчеркивания, без всякой видимой тенденции, просто течет рассказ и просто вытекает из него потрясающий смысл» (там же, с. 243).

Темная вода (с. 347). — Впервые с подзаголовком «Рассказ» опубликован в журн. «Звезда», 1928, № 1. В томе IV Собрания сочинений и в «Избранных произведениях» (М., ГИХЛ, 1932; М., «Советская литература», 1934) включен автором в цикл «Необыкновенные рассказы о мужиках».

Рассказ написан 9—15 декабря 1927 г.

Возвращение Копылева (с. 354). — Впервые с подзаголовком «Необыкновенные истории о мужиках» опубликован в журн. «Звезда», 1928, № 1. В томе IV Собрания сочинений и в «Избранных произведениях» (М., ГИХЛ, 1932; М., «Советская литература», 1934) включен автором в цикл «Необыкновенные рассказы о мужиках».

Рассказ был закончен 17 ноября 1927 г.

Приключение с Иваном (с. 366). — Впервые с подзаголовком «Необыкновенные истории о мужиках» опубликован в журн. «Звезда», 1928, № 1. В составе цикла «Необыкновенные рассказы о мужиках» печатался в томе IV Собрания сочинений и в тех же сборниках Леонова, что и предшествующий рассказ.

Написан 25 ноября— 1 декабря 1927 г.

Бродяга (с. 373). — Впервые с подзаголовком «Из «Необыкновенных рассказов о мужиках» опубликован в № 5 журн. «Красная новь». Вошел в те же издания, что и остальные рассказы этого цикла.

Написан в марте — апреле 1928 г.

Месть (с. 384). — Впервые с подзаголовком «Рассказ» опубликован в журн. «Красная новь», 1928, № 6. Вошел в те же издания, что и остальные рассказы этого цикла.

Написан в апреле — мае 1928 г.

Провинциальная история (с. 393). — Впервые с подзаголовком «Повесть» опубликовано в журн. «Новый мир», 1928, № 1. Вошло в том IV Собрания сочинений (М., ЗИФ, 1930), а также в «Избранные произведения» (М., ГИХЛ, 1932; М., «Советский писатель», 1934).

Написано в сентябре — октябре 1927 г.

Повесть, вызвавшая в печати ряд критических откликов, выявила противоположные точки зрения на эволюцию и дальнейшую судьбу Леонова-художника. И. Нусинов считал, что в «Провинциальной истории» «значительно не то, что от советской правдивой действительности, а то, что от Достоевского. От Достоевского вся смердяковски торжествующая философия. От Достоевского «подпольное» пророчество, что над героическим страданием строителя новой жизни потомки только посмеются...

Л. Леонов потому и идет от Достоевского, что он все больше и больше углубляется в социально мертвого человека» («Читатель и писатель», 1928, № 46). В противоположность ему Д. Горбов, отмечая, что в «Провинциальной истории», как и в других произведениях этой поры, конфликт у Леонова «при всей своей трагической заостренности не получает... полного трагедийного содержания», что писатель «снова сосредоточивает внимание на второстепенных социальных пластах», критик предупреждает от поспешных выводов и огульных критических оценок: «Леонов — писатель молодой и наделенный несомненным крупным талантом. По отношению к нему невозможно теперь же подводить итоги. Совершенно очевидно, что установка последних его произведений не является для него окончательной. Это лишь этап на его творческом пути. Куда пойдет этот путь, можно лишь гадать. Но можно утверждать с несомненностью, что полное развертывание богатых творческих возможностей Леонова, окончательное созревание его как мастера и общественника осуществится лишь на основе пристального всматривания в жизнь, внутреннего слияния своего мастерства с ее ходом, мудрого подчинения своего разума, воли и чувств ее властному, но не крикливому, а потому и не для всех внятному голосу» (Д. Горбов. Поиски Галатеи, с. 180, 176, 181).

Белая ночь (с. 439. — Впервые опубликовано в журн. «Новый мир», 1928, № 12. Вошло в том IV Собрания сочинений, отдельным изданием выпущено в 1932 г. (М., Журн.-газ. объединение), включено в сборники произведений Леонова: «Избранные произведения» (М., ГИХЛ, 1932; М., «Советская литература», 1934).

Повесть задумана зимой 1927/28 г.; начата 13 июля и закончена в октябре 1928 г.

Повесть была положительно встречена критикой, в частности отмечавшей: «Л. Леонову удалось на узком бытовом эпизоде дать почувствовать читателю «предсмертную судорогу» всего белого движения в России. И поэтому поручик Пальчиков, начальник Няндорской контрразведки, вырастает в мрачную и знаменательную фигуру «всероссийского коменданта», видящего неизбежность своей гибели» (Н. П. По журналам. — «На литературном посту», 1929, № 1, с. 72).

Олег Михайлов

СОДЕРЖАНИЕ

Олег Михайлов. О Леониде Леонове 5

РАННИЕ РАССКАЗЫ

Бурыга 35
Бубновый валет 54
Гибель Егорушки 60
Валина кукла 84
Туатамур 90
Случай с Яковом Пигунком 115
Уход Хама 133
Халиль 144
Деревянная королева 157
Петушихинский пролом 170
Конец мелкого человека 212

ЗАПИСИ НЕКОТОРЫХ ЭПИЗОДОВ, СДЕЛАННЫЕ В ГОРОДЕ ГОГУЛЕВЕ АНДРЕЕМ ПЕТРОВИЧЕМ КОВЯКИНЫМ 283

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ РАССКАЗЫ О МУЖИКАХ

Темная вода 347
Возвращение Копылева 354
Приключение с Иваном 366
Бродяга 373
Месть 384

ПОВЕСТИ

Провинциальная история 393
Белая ночь 439
Примечания 483

Леонов Л.

Л47 Собрание сочинений. В 10-ти т. — М.: Худож. лит., 1981. —

Т. 1. Повести и рассказы. Вступ. статья и примеч. Олега Михайлова. 1981. — 502 с.

В первый том вошли рассказы и повести 1922—1928 годов.

Л $\frac{70302-353}{028(01)-81}$ подписное 4702010200 Р2

ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ
ЛЕОНОВ

Собрание сочинений
в десяти томах

ТОМ ПЕРВЫЙ

Редактор О. Афанасьева
Художественный редактор Е. Ененко
Технический редактор Л. Ковнацкая
Корректоры
Г. Ганапольская, О. Стародубцева

ИБ № 2498

Сдано в набор 19.03.81. Подписано в печать 28.09.81. А12307. Формат 60×84 1/16. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 29,39+1 вкл.=29,44 усл. печ. л. 29,9 усл. кр.-отт. 28,32+1 вкл.=28,37 уч.-изд. л. Тираж 200 000 экз. Заказ № 1825. Цена 2 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство
«Художественная литература»
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

